

ВСЁ

АРКАДИЙ

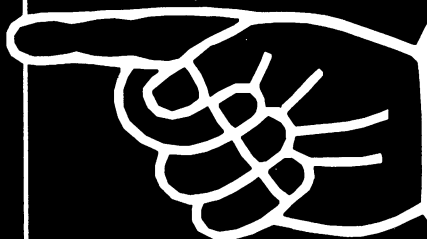
АРКАНОВ



ASE



АРКАНОВ



АРКАНОВ



ВСЁ

**АРКАДИЙ
АРКАНОВ**

МОСКВА • ИКПА • 1990 г.

ISBN 5-85202-045-1

А $\frac{4702010201-15}{939-90}$ без объявления

© А. Арканов

© СП «ИКПА» 1990 г.

Вместо предисловия

И СНИТСЯ МНЕ КАРНАВАЛ...

Мы все идем, идем, идем...

Свежий, желтовато-белый, только что построенный дощатый настил на моих глазах все сереет, сереет, сереет...

И вот он уже совсем старый. И прогибается под каждым нашим медленно-торжественным шагом.

Все дома распахнули все свои окна, и в каждом окне люди. И в глазах у них напряженное любопытство ожидания. А дома, которые далеко, начинают расти, приподнимаются на цыпочках, взбираются на табуретки и на плечи других домов. Наиболее проворные из них залезают на деревья. Все ходят видеть. Все хотят слышать.

А я ничего не хочу видеть. Я ничего не хочу слышать. Но я все вижу и все слышу. Я различаю каждого, но ни на ком стараюсь не задерживать своего взгляда. Приоткрытые в расслабленном ожидании рты тех, которые ничего не понимают. Тучные непробиваемые лица тех, которые ничего не хотят понимать. Подернутые злой полуусмешкой губы тех, которые все понимают и как бы спрашивают: «А как-то ты теперь запоешь?» Молчаливо-сочувствующие глаза тех, которые вынужденно оторваны от своих собственных забот нашим шествием. Это самое страшное — молчаливые взгляды тех, кто сочувствует вам, вынужденно оторвавшись от своих собственных забот.

А вот лицо, на котором я задерживаюсь... Словно слегка растянутые невидимыми резиночками глаза. Несколько веснушек на носу. Заколка для волос, зажатая губами. А руки на затылке напрасно стараются сделать пучок из таких коротких волос.

Это моя жена, которая с того самого момента не моя жена. А рядом с ней в окне мышцы, плечевой пояс и превосходный пробор с левой стороны.

И какая зверская интуиция у людей в окнах! Все как один перехватили мой задержавшийся взгляд и проследили его до самых веснушек и до самого пробора. И снова, как по команде, на меня. И снова на них. Пахнет жареным! Сейчас что-то будет! Иначе незачем было в такую рань высовываться из окон. И я вижу, что люди знают все: что она была моей женой, что пробор теперь живет с ней, что я это знаю...

И только один пробор не в курсе дела.

— Эй, ты пробор! — кричу я. — Уходя из дома, выключай пробор!

Дикий хохот сотрясает весь город. Наконец-то! Состоялось!

«Ну, дает!.. Ну, дает смехач шороху!» — слышу я отовсюду.

— Это глупо! — кричит жена.

— А что делать? — говорю я тихо. — А что делать?..

Я и сам знаю, что это глупо...

— Эй, пробор! — опять кричу я. — Она больше любит по утрам!
Не теряй время!

У людей развязываются пупки.

— Не ваше дело! — кричит мне пробор. — Ваше дело идти на казнь! Понятно?

— Будь ваше, — говорит ему жена. — Я тебе потом все объясню.

— Ну, смехач дает! Ну! — слышу я из одних окон.

— Бесстыдно это! У них никогда ничего святого не было! — слышу я из других окон.

Люди получили первый завтрак и начинают тщательно прожевывать его.

А мы все идем, идем, идем... Меня все ведут, ведут, ведут...

Все, что я вижу перед собой, — это затылок первого из четырех. Он знает, что смехачей надо казнить. Но когда-то он больше всех других смеялся над всем, что слышал от меня. Поэтому ему неудобно смотреть мне в глаза, и я вижу только его затылок. Сзади идет второй из четырех. Я считал его своим другом, но именно он указал дом, в котором я жил. Мне противно смотреть на него. Поэтому я иду, не оглядываясь.

Справа и слева меня сопровождают двое других из четырех. Они не знают — надо казнить смехача или не надо. Казнить — это их честный труд. И у меня нет к ним никаких внутренних претензий. В конце концов должен же кто-то работать казначеем. Вот они и работают. И смотрят только вперед. Поэтому справа и слева от себя я вижу только по одному профилю.

И вот мы идем, идем, идем...

Я вижу на одном из балконов мать и отца.

Их уже давно нет. Отец поливает матиолы из зелененькой детской лейки. Я слышу, как шуршит вода. Я вижу, как, просочившись через деревянный ящик, падают с шестого этажа капли на сухой асфальт нашего двора.

— Да оставь ты свои цветы! — раздраженно говорит мать отцу и протягивает руку в моем направлении.

Люди в окна снова превратились в любопытство. Они знают, что это мои родители. Они знают, что их давно нет. Они все знают. Опять что-то будет... Все глаза, как по команде, на меня. Потом на родителей. Потом на меня...

— Почему ты столько у нас не был? — спрашивает мать. — Мы с папой соскучились...

— Скоро увидимся, — говорю я и показываю на небо.

Вздых удовлетворения прокатывается по городу. Сопровождающие меня улыбаются.

— Как твоя нога? — спрашивает мать.

— Ничего, — говорю я, — глазник сказал, что уже лучше.

— Почему глазник? — недоумевает отец.
— Нога болит — глаза на лоб лезут! — кричу я.
Дошло! Люди заливаются в окна:
— Ну, выдал смехач!.. Ну, потешил!.. Умора, ей-богу!..
Идущий передо мной затылок начинает содрогаться.
Два профиля смеются, глядя вперед. То, что делается с задним, меня не интересует. Отец грозит мне пальцем.
— Что ты сегодня ел на завтрак? — спрашивает мать.
— Бутерброд с хлебом!
— Смотри! Доведешь ты себя!
— Не волнуйся, мать! — кричу я. — Онí меня доведут!
— Не больно-то умничай! — строго говорит затылок.
— Надень панаму! — мать бросает мне белую пионерскую панамку. — Солнце-то какое!
— Моя голова будет храниться в сухом прохладном месте! — отвечаю я и надеваю белую панамку.
Рокот неодобрения. Свист. Крики «не смешно!»... Два профиля недовольно морщатся.
— Халтура! — кричат с какой-то крыши.
— Скорее приходи! — кричит мать уже вслед. — Я сделала твою любимую манную кашу без комков!..
Я набираю воздух в легкие и ору почти не своим голосом:
— Каша манная — ночь туманная!
Хохот буквально раскалывает все вокруг. Аплодисменты становятся скандированными.
«Ка-ша ман-на-я! Ночь ту-ман-на-я!»
Сопровождающие остановились и не могут перевести дух от смеха. Я делаю комплименты во все стороны...
И снова мы идем, идем, идем...
Густая грязь с боем возвращает мне то одну, то другую ногу. А галошам, очевидно, эта грязь нравится. Они соскакивают с ноги и словно пытаются слиться с грязью. А когда я с трудом отдираю их друг от друга, они успевают поцеловаться, и при этом раздается отвратительное лягушачье чмокание.
И дождь сыплется такой мелкий, будто его распылили из пульверизатора.
Несмотря на это, вдоль дороги и на зеленых, матовых от тумана холмах очень много плащей, плащей, плащей, зонтов, зонтов, зонтов...
Мои сопровождающие устали. Затылок ушел в плечи. Два профиля угрюмо и мрачно смотрят вперед. Задний... Да чтоб он совсем увяз! Мне до него нет дела!
Зонты и плащи жмутся друг к другу, переминаясь с ноги на ногу. Им холодно. Но они стоят. И мы двигаемся между ними.
«Смехача ведут!.. Смехача ведут!» — слышится вдоль стен этого живого коридора. — Досмеялся!.. Так ему и надо!.. Смехача ведут!..»
Молчание и шепотки затягиваются, и я обращаюсь к своему эскорту:

— Чего приуныли?

Молчат. Только от зонта к плащу, от плаща к зонту шепотом передается мой вопрос.

— А мне вас жалко...

«Жалеет! Он их жалеет!..» — шуршат зонты и плащи. — Они его казнить ведут, а он их жалеет!.. Во, дела!..»

— А ты нас не жалеи! — мрачно хрипит затылок. — Ты себя жалеи!

— Ну, как же, — отвечаю я. — Погодка-то!.. Мне ведь только туда, а вам еще обратно возвращаться!

Молчат. Зонты и плащи начинают неодобрительно гудеть:

— Старо!.. Зачем над людьми издеваешься!.. Его бы на их место!..

Где-то высоко-высоко за облаками бесконечно-одиноко звучит труба Майлса Девиса.

От живого коридора отделяется плащ. Я узнаю его. Это начальник отдела, в котором я работаю.

— Как же так? — говорит он. — Вы уходите от нас, можно сказать, навсегда и оставляете нашу стенгазету без юмора? Может, придумаете что-нибудь на ходу?

И он протягивает мне стенную газету нашего предприятия.

«Вот уж много лет подряд наш директор бюрократ», — пишу я ему в уголке для юмора.

— Вот здорово! — кричит он, размахивая стенгазетой. — Ну, пригвоздил!

Поднимается невообразимый галдеж. У всех в руках появляются стенгазеты.

— И нам тоже!.. И нам тоже напиши! — несется со всех сторон.

— Я не знаю, что кому надо! — пытаюсь отбиться я.

— То же самое!.. То же самое!..

Все наперебой протягивают мне стенгазеты. Глаза горят... И я всем пишу: «Вот уж много лет подряд наш директор бюрократ!»

И все довольны. И всем подошло... Я никогда раньше не знал, что каждый человек — редактор стенной газеты...

— И мне напиши, — не оборачиваясь, протягивает мне стенгазету затылок. — Я тоже редактор... У нас тоже много лет подряд...

Его стенгазета называется «С плеч долой!».

Я пишу ему то же самое. И он тоже остается доволен. Я это вижу по затылку.

Где-то высоко-высоко за облаками бесконечно-одиноко звучит труба Майлса Девиса. Только это не труба. Это пионерский горн.

«Вставай, вставай, дружок, / С постели на горшок!» — поет пионерский горн...

На перроне очень много детей и еще больше родителей. Я стою среди четырех вожатых. Затылок, два профиля. А на четвертого не хочу смотреть.

Суконные штанишки на бретельках больно врезаются мне в пах. А вот моя мать и мой отец. Их уже давно-давно нет.

— Он очень нервный мальчик,— говорит мать затылку и добавляет шепотом: — У него случается ночное недержание...

Но все всё слышат, и весь перрон, покатываясь от смеха, указывает на меня пальцами...

— Возьми на дорожку,— сует мне отец кулек со сливочным печеньем и целует меня.

— Бывают в жизни огорченья! Вместо хлеба ешь печенье! — кричу я на весь перрон.

Все умирают со смеху.

— Умница! — говорит затылок. — Будешь у нас в самодеятельности...

«Бери ложку, бери хлеб и садися за обед», — поет пионерский горн.

А мы все идем, идем, идем...

Все босиком, в одних трусах... Пахнет соснами... Мы играли в казаки-разбойники, и меня поймали...

Четверо казаков ведут меня на допрос. Затылок, два профиля. А задний — предатель. За порцию компота. Он сказал им, где я прячусь. Вокруг ребятня. «Разбойника поймали!.. Разбойника поймали!..»

— А ваша вожатая, — говорю я, — физкультурником зажата!

— А твоя вожатая — завхозом зажата, — говорит затылок.

— А угадай, что сегодня на ужин? — спрашиваю я.

— Манная каша, — отвечает затылок.

— Каша манная — ночь туманная! — выкрикиваю я, довольный тем, что подловил его.

Ребята закатываются. Один от смеха падает с дерева.

— Досмеешься! — зло шепелявит затылок.

«Спать, спать по палатам», — протяжно поет пионерский горн. Только это не горн. Это высоко-высоко за облаками бесконечно-одиночно звучит труба Майлса Девиса...

За несколько шагов до третьей колонны Большого театра, где меня ждет моя будущая жена, а теперь, после того момента, моя бывшая жена, я поправляю галстук и застегиваю пиджак.

Она только что вернулась с пляжа, и от нее еще пахнет водой. Она — это несколько веснушек на носу и растянутые невидимыми резиночками глаза...

— Ты меня любишь? — совсем тихо спрашивает она.

Я хочу также тихо ответить: «Да, конечно», но нас почему-то обступает огромное количество любопытных. Они сбегаются со всех близлежащих улиц и площадей. Они выдавливаются из ГУМа. Они даже бросили смотреть «Лебединое озеро» в Большом театре и валом валят из его дверей...

«Смехач в любви объясняется!» — таинственно сообщают они друг другу.

Откуда им все известно? Ведь мы с ней говорим так тихо.

— Так ты меня любишь? — совсем шепотом спрашивает она.

Все застыли. Сейчас что-то будет...

— Любовь не картошка! Не выкинешь в окошко! — кричу я. Смех перемешивается с возгласами: «Сила-а!.. Любовь осмеивает? Да они ради красного словца не пожалеют и отца!.. Ну, дает!»

— Ты меня любишь? — беззвучно шевелит она губами.

— Любовь — что струя из водопроводного крана! Течет, пока не перекроешь! — ору я раздраженно.

От хохота содрогается Большой театр. И опять возгласы:

«Насмехается!.. И чего она в нем нашла?.. Да плюнь ты на него, девушка!.. А здорово он ей, а?..»

— Ты меня любишь? — одними глазами спрашивает она.

— Да... конечно; — говорю я, чуть не плача.

Гулом разочарования встречает толпа мои слова. Им уже не интересно. Они снова заполняют близлежащие улицы. Они снова вдавливаются в ГУМ. Они валом валят в двери Большого театра. Они снова хотят смотреть «Лебединое озеро»... А мы все идем, идем, идем...

И скоро, видимо, придем к концу. И я, кажется, весь высмеялся и все просмеял.

Не понимаю только, то ли меня ведут на казнь, потому что я все просмеял. То ли я все просмеял, потому что меня ведут на казнь.

Мы подходим к громадному цирку под названием «Финита ля комедия». Окошечко кассы закрывает табличка: «На сегодняшнюю казнь все билеты проданы!»

Я вытаскиваю контрамарки, которые положены мне по указу, и раздаю их направо и налево первым попавшимся счастливым.

И вот мы входим в цирк. Все пятеро в черных фраках и в цилиндрах. А мои сопровождающие, кроме того, и в белых перчатках.

Цирк забит до отказа. Даже в проходах нет ни одного местечка, где можно было бы пристроиться. Люди едят мороженое в вафельных стаканчиках, трюфели и кашляют... Взгляды всех скрещиваются в центре ослепительно освещенной арены, где установлены разноцветная плаха и похожий на молодого жеребца тонконогий и черный венский электрический стул. Я не могу оторвать глаз от плахи. Она вся заклеена приветствиями: «Добро пожаловать, смехач!»... «Одна голова хорошо, а две лучше!»... «В здоровом теле здоровый дух вон!»...

Меня подводят к тонконогому и черному телу венскому электрическому стулу. Барабанная дробь горохом рассыпается по всему цирку. Оркестр ставит жирную точку продолжительным мажорным аккордом...

Внезапно наступает тишина. Такая тишина, что начинает колоть в ушах. И в этой тишине откуда-то из-под купола звучит голос по радио:

— Садитесь, пожалуйста!

— Спасибо большое. Я постою, — говорю я вежливо и прикладываю правую руку к сердцу. При этом я элегантно кланяюсь. Кажется, я угадал. Цирк отвечает мне мощным взрывом хохота и одобрительными выкриками. Стул исчезает где-то под куполом, и на арену выкапываются клоуны, чтобы заполнить неожиданно возникшую паузу.

— Желание смехача — закон для казначая! — звучит из-под купола все тот же холодный голос по радио, и меня подталкивают к плахе.

— Ты можешь последний раз что-нибудь спросить, — говорит затылок.

Снова колющая тишина.

— Скажите, пожалуйста, — спрашиваю я, — какой сегодня день?

— Понедельник, — отвечает затылок.

— Ничего себе начинается неделка, — говорю я и кланяюсь на четыре стороны.

Оглушительный свист заполняет цирк. «Старо!» — несется со всех сторон. — «Непонятно!.. Бородатый анекдот!»

Мои четверо недовольно морщатся.

Не попал! Капельки пота проступают на лбу, и силы оставляют меня. Я опускаюсь на колени перед плахой. Ее поверхность напоминает мне поверхность тех здоровенных пней, на которых мясники разделяют туши.

— Нельзя попросить подушечку? — дрожащим голосом говорю я. — А то здесь очень жестко.

«Подушку просит!.. Подушку просит!» — разносится по цирку. — «Не может потерпеть минуту!..»

Один из профилей кладет на плаху мою самую любимую в детстве подушечку с вышитым медвежонком.

Другой профиль набрасывает мне на плечи белую простыню и ловко, как в парикмахерской, засовывает ее концы за ворот рубахи.

Мой бывший друг укладывает мою голову правым ухом на подушечку и рекомендует закрыть глаза.

Оркестр ударяется в веселый галоп. Но даже в этом галопе я все же улавливаю левым ухом, как где-то высоко-высоко под куполом бесконечно-одиноким звучит труба Майлса Девиса.

— Одну минуточку! — Я приподнимаю голову. — Извините, но я не привык засыпать на правом боку...

Ропот недовольства расползается по цирку. Сопровождающие недоуменно пожимают плечами.

Я ложусь на подушечку левым ухом. Теперь, кажется, все... Вот сейчас затылок начнет заносить над головой невероятных размеров топор, с тем чтобы опустить его с кряканьем в том месте, где у меня сейчас стоит ком, мешающий мне дышать. Я с трудом проглатываю слюну...

— Одну минуточку, — хриплю я. — Можно мне сказать последнее слово?

— Какие предложения будут по этому вопросу? — спрашивает мой бывший друг у всего цирка. — Дать или не дать?

— Да-ать! — орет цирк.

— Кто за?.. Единогласно.

Я с трудом поднимаюсь на ноги. Меня шатает из стороны в сторону. Кровь бухает в висках в такт с большим оркестровым барабаном. И, поймав в легкие воздуха, я выкрикиваю из последних сил:

— Эх, каша манная — ночь туманная!

Я с трудом соображаю, что произошло. Восторженный рев валит с ног моих сопровождающих. Топор падает из рук затылка. Все четверо катаются по арене, зажав животы руками... Это длится долго. Это длится очень долго. Потом они встают с арены и, словно пьяные, поддерживают друг друга, стараясь удержать равновесие. От смеха глаза у них вылезли из орбит, и, не в силах произнести слова, они оторопело смотрят друг на друга. Цирк ревет и стонет в восторженных конвульсиях. Затылок поворачивается в мою сторону, мгновенно смотрит на меня, потом произносит, давясь от смеха:

— Каша...

Он икает, и все четверо в новом припадке валятся на арену. Это опять длится долго. Это опять длится очень долго.

И, глядя на них, потных, растерзанных, икающих, я понимаю, что у них не осталось никаких физических сил, чтобы казнить меня сегодня...

Меня препровождают домой. Я остаюсь один в своей комнате. В моем распоряжении только одна короткая ночь. В шесть утра эти четверо снова придут за мной. И мы снова будем идти, идти, идти... Той же дорогой. Среди тех же любопытных людей. К месту моей казни. А в моем распоряжении только одна короткая ночь. Поэтому я хватаю карандаш и бумагу и начинаю лихорадочно придумывать «репертуар» для завтрашнего шествия. Мне жизненно необходимо завтра опять всех смешить. Иначе завтра меня казнят...

Всего в
казалась
Каждый ч
етских
завода с
мально, и
стране ни
книга токс
ность выш
ров хими
ной, 10 тыс
рых тысяч
ров марш
но 20 минут
не возвед
такий дом
справляе
ной. Кажд
дома вьез
24 человек

А. С. Хрущев
вильно слова
инженером со
строительного
29 ставке —
любой другой
За одну минут
время выш
ность выш
ров хими
ной, 10 тыс
рых тысяч
ров марш
но 20 минут
не возвед
такий дом
справляе
ной. Кажд
дома вьез
24 человек

3 отпепели

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА



Так что же я хочу сказать? Что это за «прыжок в высоту с разбега»? В общем-то, никакого прыжка в символическом смысле этого слова, наверное, и не было. А если и было что, так в масштабах жизни и в масштабах высот, которые приходится преодолевать людям ежедневно, состоялся всего-навсего прыжочек...

Во всяком случае, была девочка в нашем классе, которая мне нравилась... И вовсе это не было любовью, потому что и любовь я понял значительно позднее... И не дружба никакая. Просто наверняка каждый человек может сказать, что в школе одно время нравилась ему какая-то девочка.

И был прыжок. Натуральный прыжок, потому что в школе я довольно здорово прыгал в высоту. Еще были ребята с прозвищами: Сухарик, Утка, Павлин, Нос, Хлеб... И был такой день, когда я взял сто девяносто сантиметров. И верно тоже, что во время соревнований я думал о том, о чем здесь написано, потому что для меня тогда это было самым главным...

Итак, я начинаю разбег медленно и расслабленно, как только можно. Быстрее. Еще быстрее. Планка надвигается на меня. Ближе. Еще ближе. Она уже почти надо мной. Левая нога, разогнувшись, выталкивает тело вверх. Я взлетаю, расплываюсь над планкой да так и застываю в этом положении на высоте ста девяноста сантиметров. И все вокруг застывает. У Сухарика открыт рот. Утка правой рукой заслонился от солнца. Хлеб согнулся и завязывает шнурок на шиповке. У Павлина тоже открыт рот. Все остальные размазаны. Флаги над стадионом не колышутся. За забором идет трамвай. Но ведь он-то не попал в объектив Носа. Потому и идет. А все, что попало в объектив Носа, застыло... Я успеваю почувствовать левым коленом планку и в следующий момент падаю в опилки, понимая, что планка не удержится. И действительно, она слегка прогибается, потом выпрямляется и тоже летит в опилки. И все опять продолжает прерванное движение: Сухарик закрывает рот и садится на лавочку. Утка отнимает правую руку от глаз и с досадой бьет себя по коленке. Хлеб разгибается, видит, что планка не удержалась, качает головой и снова нагибается к шиповке. Павлин закрывает рот и направляется к лавоч-

ке, на которую только что села Сухарик. Трамвай за забором как шел, так и идет. А я выхожу из ямы, отряхиваю опилки и сажусь под дерево спиной к стволу. У меня еще две попытки...

Нос шурует под большим одеялом — у него кончилась пленка. Испортил я ему кадр, конечно. Но Нос настырный. И потом, у него еще тоже две попытки. Нос — отличный парень. Вот я живу на свете уже шестнадцать лет и ни разу не встречал такой длинной фамилии, как у него, — Кацнеленбоген. Это же надо!.. Ну, а Носом мы прозвали его за нос. Он у него такой же длинный, как и фамилия. На пляже, когда в небе, кроме солнца, ничего нет, мы все размещаемся в тени его шикарного, развесистого носа.

Нос никогда не обижается. За это мы его любим. Конечно, не только за это. Он, по-моему, с детского сада определил, что ему не нужно. Математика ему не нужна. Нос в ней откровенно слаб и умеет решать задачи только типа: «Кисляков взял с собой в школу два бутерброда, Кацнеленбоген — ни одного. Сколько бутербродов должен дать Кисляков Кацнеленбогену, чтобы у них стало поровну?..» Химию и физику он сечет в той степени, в какой они относятся к фотографии. Литературу он не учит. Литературу он читает. И если его точка зрения на тот или иной образ, на ту или иную книгу не совпадает с учебником, он искренне удивляется. А хочет он стать кинооператором. И вот уж что знает Нос, так это кино: всякие там ракурсы, фокусы, планы, рапиды...

...Пока я думаю о Носе, Колокольцев из Тимирязевского тоже не берет сто девяносто. И не возьмет. Хоть дай ему еще пятьдесят попыток! Это сразу видно: возьмет или не возьмет.

— Колокольцев не возьмет! — наклоняется ко мне наш школьный физрук. — А ты возьмешь!.. Соберись, Кузнечик!.. Ради школы!..

Физрук знает, что я прыгаю не ради себя. Вернее, не ради первого места. Я просто люблю прыгать. Есть у меня к прыжкам способности: ноги длинные, прыгучесть и еще всякие данные. За все за это я получил прозвище Кузнечик, и физрук меня «прицельно» тренирует. А я «прицельных» тренировок не выношу, потому что не собираюсь становиться спортсменом, хотя физрук говорит, что с моими данными я через три года вполне могу стать чемпионом страны... Я просто люблю прыгать. Я просто люблю сам процесс. Люблю волнение перед разбегом, люблю, когда оно исчезает, лишь только начинаешь разбег. Люблю падать в опилки, люблю выходить из ямы... И еще обожаю надевать и снимать шиповки... Правда, не терплю прыгать в закрытом помещении зимой. Это как-то противоестественно. Зато когда солнце начинает прогревать спину через толщу зимнего пальто, когда снег на улицах становится грязным и кое-где появляются серые лысины сухого асфальта,

вот тогда я начинаю считать дни до первого соревнования на стадионе. И стоит мне только представить себя в секторе в выуженных белых трусиках, как сердце начинает колотиться и я падаю ниц перед Иваном Петровичем Павловым и его учением об условных рефлексах...

А прыгуном я становиться не собираюсь. Это просто нечестно по отношению к другим. Ну, хотя бы по отношению к Носу. Ведь он же не виноват, что у него нет прыгучести, длинных ног и всяких других данных. Он бы тоже защищал честь школы, висел бы на Доске почета, получал бы грамоты и призы, и его бы тоже ставили в пример первоклассникам. Сухарик со мной полностью согласна. Ей сколько раз предлагали продемонстрировать в ГУМе всякие платья, пальто, купальники. Она хоть раз согласилась? Черта лысого! И не потому, что стыдно. Она б, может, и пошла. Но ведь остальные наши девочки хуже, что ли? Ну, физиономией они не вышли, ногами, талией и прочими достоинствами. Так разве они виноваты? Нет, не терплю, когда человек возносится за счет природы. Противно!.. Вот меня в бюро райкома выбрали. За что? За то, что на спартакиаде я на сто восемьдесят прыгнул! Ну, честное слово, по-моему, больше не за что!

Так что извините, но я ни за что не буду прыгуном. И Сухарик меня поддерживает... И вообще Сухарик — хороший парень! Вот она сидит сейчас рядом с Павлином и на меня не смотрит. Павлин наверняка говорит ей какие-нибудь обидные гадости про меня, про Носа, про всех. Есть же такие! Мне будет говорить всякую дрянь про всех, про Носа, про Сухарика. Носу — про Сухарика, про меня, про всех... И говорит так, будто шутит. И сам же над сказанным смеется. Но я-то его знаю. И Сухарик, наверное, тоже. А со мной, наверное, теперь все кончено. И правильно! Дурак я, кретин!

...Этой осенью, двенадцатого сентября, пришел я ко второму уроку — сразу на тригонометрию. Точно помню — двенадцатого сентября, потому что тринадцатого — мой день рождения. На литературу не пошел: матери врача вызывал. Телефона у нас нет. Отца тоже. Умер отец. Четыре года назад умер. Пришел я из школы, а отец умер. На ровном месте. От инфаркта умер. С этого дня я стал сиротой, а моя мать — старой. Хотя ей только сорок четыре года... Комната, в которой спали мать с отцом, стала моей. Книги мы туда с матерью из столовой перенесли, письменный стол и диванчик. А моя мать теперь спит в столовой, одна на двухспальной деревянной кровати...

Ну, вот и прохватило где-то мою мать, так что пришлось мне ей двенадцатого сентября врача вызывать. Проваландался я в нашей участковой поликлинике целый урок. Очередь. Все врача вызывают. Всем на работу... Вот и явился я сразу на тригонометрию... Мне, правда, ничего не сказали: я же все-таки сто восемьдесят семь беру... И тут увидел я у окна на третьей

парте Сухарика. Новенькая. Волосы, как у парня. Сзади, как говорят парикмахеры, «на нет», а спереди челка. И, конечно, возле нее уже Павлин вьется. Увидел меня и заерничал:

— Позвольте вам представить господина Кузнечика! Лучший результат — сто восемьдесят семь сантиметров! Толчковая нога — левая, дело — всегда правое!

Я сел рядом с Носом.

— Он сел рядом с Носом, — продолжал Павлин, — которого я уже имел удовольствие вам представить! И что бы ни случилось, господин Кузнечик всегда останется с Носом!

— Закройся! — крикнул я.

И тут же прозвенел звонок...

Я сразу понял, что Сухарик нашей прекрасной половине не очень-то придется по душе. Во всяком случае, сначала. Во-первых, она новенькая. Во-вторых, красивая. В-третьих, взрослая какая-то. В-четвертых, Павлин, переключив свое внимание с прекрасной половины на нее, тем самым наверняка вызовет ревность и раздражение у наших дев. В-пятых, Нос со мной в этой комнате полностью согласился и сказал, что Сухарик страшно киногенична. А это означало, что фотоаппарат Носа вряд ли теперь будет простаивать без работы.

...Мать говорила мне, что девочки раньше «оформляются и созревают», чем мы. Что мы в шестнадцать лет — «сопляки», а девочка в шестнадцать лет — это уже «женщина, способная стать матерью». Не хотелось в это верить, но это было так. Наши ребята, «дружившие» со своими одноклассницами с самого детства, физически никак не могли поспеть за ними и постепенно теряли своих подружек. У подружек появлялись десятиклассники, студенты, а то и постарше. Подружки приходили уже в тонких чулках, становились выше от каблучков. А наши бедные мужчины порой являлись в школу и в драных носках, и с грязной шеей. И не могли понять, почему подружки медленно и верно «изменяют» им и «изменяют». И ничто тут не помогало: ни галстук, ни пробор, ни драки, ни даже курение... И таинственно сообщалось о некоторых, что одна, мол, «ходит» с таким-то, и не просто «ходит»...

Так вот, Сухарик «оформилась» раньше (по крайней мере внешне), чем наши девы, и уж давным-давно раньше, чем мы. Сухарик! Прилепилось это к ней сразу. Сухарева, длинная, тонкая, волосы белые...

А дней через десять после двенадцатого сентября возвращался я домой со стадиона. Прикидка легкая была. Шел, ни о чем не думал. Сумка моя с шиповками, полотенцем и всякими другими спортивными принадлежностями на плече болталась. Было часов около четырех. Теплынь стояла почти что летняя. Небо чистое-чистое было, и солнце уже заваливалось. Прохожие таскали арбузы, и от этого становилось грустно. Поэтому что все было неправдой. И небо, и солнце, и теп-

лынь — все обманывало и усыпляло. И казалось, что лето только начинается и впереди еще не то будет. А впереди-то на самом деле ничего не маячило, кроме тягучего зимнего ремонта. Нет, действительно осень и зима своей скудостью и голостью напоминают мне комнату, из которой на время ремонта вывезли всю мебель. Осень, она хитрая. Она вроде бы извиняется перед нами за то, что листья желтеют и опадают, за то, что холоднее, за то, что день короче становится. И вот в качестве взятки подбрасывает синенькие небеса да теплое солнышко на время. И кто поддается этому обману, тот, значит, и любит осень. А кто не поддается, тому грустно. Знает он, что все это обман. Потому и грустит. И всякие там плоды, арбузы и разные финики — тоже взятки. Но меня не обманешь. И мне было грустно... А потом я вдруг увидел Сухарика. И я почему-то пошел за ней. И так мы от Садового кольца пошли по Арбату друг за другом. Она не замечала, что я иду за ней следом, и только ныряла в каждый магазин. А я останавливался метрах в десяти от магазина и ждал, пока она выйдет. Точь-в-точь как в детективных фильмах.

Потом мне это надоело. Я догнал ее, забежал спереди и сказал:

— Вы не знаете случайно, где здесь можно купить свежую рыбу?

— А вот напротив зоомагазин, — ответила она с ходу.

— Здравствуйте, — сказал я, поклонившись до земли.

— Здравствуйте, — сказала она и нарочито сделала книксен.

И я стал думать, чего бы еще сказать, потому что за эти десять дней в первый раз заговорил с ней.

— Надо же! — наконец сказал я. — А я иду с тренировки, и вот надо же...

— А что это вы вздумали за мной следить? — сказала она.

— И не собирался. Просто шел с тренировки...

— И вот надо же?

— Да-а... Значит, у нас завтра первый — физика?

— Угу.

— Ну, ладно... А второй?

— Литература. А третий — химия.

— Надо же... А я вот с тренировки иду...

— Надо же...

— Ага... А вам в какую сторону?

— К метро.

— И мне к метро. Надо же!

И мы пошли. И по дороге стали заходить в каждый магазин. Просто так. Смотреть. А язык у меня словно отсох. Надо же! Ни одного, даже самого глупого вопроса не могу придумать. Наконец нашел:

— А вы чего это в нашу школу перевелись?

— Отец новое назначение получил. А раньше в Риге жили.

И после этого я до самой Арбатской площади мучился, но так ничего и не придумал.

Мы подошли к кинотеатру «Художественный».

— Вы смотрели «Никто не хотел умирать»? — вдруг спросила она.

— Нет! — обрадованно соврал я, предвкушая два часа сидения в темном зале возле нее.

— Сходим? Деньги у меня есть.

— У меня их у самого полно! — крикнул я и бросился к кассе.

Я разменял трешку, которую мне дала мать на покупку масла, колбасы и хлеба на ужин...

Я сидел рядом с ней и находился в каком-то диком напряжении, оттого что сидел рядом с ней. Только иногда косил глаза вправо и видел ее профиль с мальчишеской прической. Один раз я заерзал и случайно дотронулся до ее руки и будто обжегся. Странно я как-то чувствовал себя рядом с ней. Трудно мне было. И когда мы выходили из кино, мне казалось, что все смотрят на меня и на Сухарика. И мне от этого было неловко, и я шел опустив голову.

— Каких длинноногих подобрали, — сказала она, когда мы оказались на улице.

— Да, — сказал я и подумал, что у меня тоже длинные ноги. Я распрямился и почувствовал себя сильным, на все способным «медведем».

— Я вот могу до самого дома пешком молотить, — сказал я не без провокации.

— А я вообще только пешком хожу, — сказала Сухарик, а это означало, что я буду идти рядом с ней до самого ее дома...

Уже был вечер. Мы шли рядом, но все-таки на расстоянии. И я пожалел, что прошел мой день рождения, а то бы я ее обязательно пригласил. И вот мы шли, а перед нами шли наши тени. Длинные-длинные. Вытянутые-вытянутые. Так что голов и туловищ даже не было видно. Одни только ноги. Идут и идут. Молчат и молчат. Мне даже смешно стало. И вдруг я понял, что совершил непоправимую ошибку. Мне надо было еще в кинотеатре забежать в букву «М». Неудобно же прямо говорить об этом девушке, с которой в первый раз пошел в кино! Но там, во-первых, еще не было так страшно, и я подумал, что как-нибудь пройдет. А во-вторых, я же не предполагал, что после кино домой мы пойдем пешком. Ведь если идти таким вот прогулочным шагом, то это, стало быть, часа полтора. Бесконечность!.. И чтоб отвлечься, я стал напевать увертюру к «Детям капитана Гранта».

— Вы любите музыку? — спросила она.

— Страшно! — сказал я. — Причем не знаю, какую больше — серьезную или джазовую... Только настоящую джазовую. Серьезную. Ведь всякие там твисты, хали-гали — это не серьезный джаз. Это вообще не джаз. Это коммерческая музыка.

— А мне нравится, и я не понимаю, что значит «коммерческая», «некоммерческая»... Нравится, и все.

— Значит, вам нравится танцевальная музыка... Нет, мне она тоже нравится, но это не серьезный джаз.

Мы поравнялись с общественной буквой «М». Туда вбегали озабоченные люди. Оттуда выходили независимые и, как мне показалось, сияющие. Как бы я хотел быть на их месте!

— А вот в Риге все танцы в школе разрешают: и твист, и хали-гали, и шейк... И запрещать их, по-моему, глупо.

— Конечно, глупо, — сказал я и остановился. — У нас сначала запрещали, а теперь разрешают.

— А я люблю, когда красиво танцуют.

— Кто не любит.

Мы стояли, вроде бы случайно, как раз напротив входа в этот самый подвальчик с двумя фонариками. Вообще-то напрасно я остановился. Ничто не могло меня заставить извиниться и нырнуть вниз. Я бы после этого в глаза ей не мог смотреть. И все-таки остановился. Как будто ждал, что она мне сама предложит.

— А чего это мы расфилософствовались в таком странном месте? — улыбнулась она.

— Да, действительно, — неестественно рассмеялся я. — Вот глупость-то!

И мы зашагали прочь от этого проклятого места. Чисто инстинктивно я старался идти быстро.

— Вы торопитесь? — спросила Сухарик.

— Нет, что вы! — испуганно сказал я и опять деланно засмеялся. — Вот уж действительно нашли, ха-ха, место для разговоров!... Надо же!..

И мы пошли медленно-медленно. И каждый шаг стал причинять мне просто муки. Дурацкое положение. Мне стало казаться, что мы никогда уже не придем. Я вдруг почувствовал, что ни на чем не могу сосредоточиться, кроме одного и того же. А Сухарика понесло на разговоры... И неизвестно, чем бы все кончилось, но я увидел наконец спасительную темную подворотню и понял: промедление смерти подобно.

— Занесу я сумку к своему тренеру, а? — закричал я. — Он в этом дворе живет!.. Чтoб на плече не болталась! Я сейчас!.. — И, не дожидаясь ответа, я побежал в подворотню...

— Никого дома нет! — весело сказал я, выходя из подворотни. — Всегда дома, а сейчас почему-то нет!.. Ну, черт с ней!.. Пусть болтается!..

Теперь я готов был бродить хоть до утра и говорить о чем угодно.

- Вы куда после школы?
- В иняз.
- Твердо?
- Абсолютно.
- Завидую, — сказал я.
- Почему?
- Я завидую каждому, кто решил что-то определенно.
- А вы куда?
- Не знаю. Поэтому я завидую... Может, в медицинский, может, на физмат, а может, с Носом во ВГИК... Был бы такой индикатор для определения способностей, призвания и всего такого! Красота! Присоединили, подключили, и все ясно!
- А я все равно в иняз пошла, что бы там индикатор ни показал... Потому что человек, который не знает хотя бы одного иностранного языка, похож на однорукого...
- А я вообще сделал бы так, чтобы каждый человек, помимо своей профессии, обязательно знал медицину и иностранный язык.
- Вот почему так происходит? — задумчиво сказала Сухарик. — Часто люди, только когда становятся взрослыми, понимают, что они должны сделать, чем заниматься, как жить... Почему? Вы не задумывались?
- Мы уже так долго разговариваем, а все на «вы»... Я буду на «ты». Ладно?.. Знаешь, почему так происходит? Потому что все перед нами разложено по полочкам...
- Не понимаю, — сказала она.
- Ну, как тебе сказать?.. На все есть ярлык с наименованием и ценой. Отдать свою кожу обгоревшему человеку — это хорошо. Это подвиг. Отделяться от коллектива — это плохо. Это индивидуализм. Делать карьеру — это плохо. Быть отличником — это хорошо... Пойти на завод после школы — это прекрасно!.. И мы верим на слово: это хорошо, а это плохо. А почему? Почему это хорошо, а это, например, плохо? Мы сами хотим во всем разобраться. Нам не нужны готовые решения. А когда мы просим помочь, объяснить, нам говорят: это хорошо, потому что это хорошо. А то — плохо, потому что то — плохо!.. А вот если человек отдал свою кожу для того, чтобы прославиться? И хорошо вроде бы, и плохо. А чего тут больше? Вот и мы в школе — ходим перед этими полочками, тыркаемся, в ярлычки заглядываем, к цене присматриваемся... А кое-где наименования перепутаны и цены стерлись... Иногда говорят: отрав! Отрав! А попробуешь — вкусно...
- Правильно, — она ткнула носком камешек, — но ведь есть и безусловно плохие вещи... Подлость, зависть, война...
- Да, я не спору. Но когда мне все время талдычат: «Ты живешь на всем готовеньком, прыгаешь, танцуешь, джазы вся-

кие слушаешь, разглагольствуешь, а люди в твои годы уже на фронте были...» Да что я виноват, что на фронте не был?!

— У Друниной есть такое стихотворение: «Мы сами пижонками слыли когда-то, а время пришло — уходили в солдаты».

Я сижу, прислонившись спиной к дереву, и все что-то думаю, думаю, вспоминаю... А между тем пошла уже вторая попытка, и я слышу голос судьи-информатора: «Прыгает Крягин, приготовиться Поливанову!» Это приготовиться мне. Я встаю с земли и разминаюсь. Сухарик уже одна. Что-то читает. Павлина рядом нет. А зачем она вообще пришла?

— Дай-ка я тебя щелкну! — подбегает Нос. — Только голову немного вправо, чтоб фингала твоего не было видно!

— Слушай, надоел ты мне со своим щелканьем, — говорю я Носу, но он не обижается. Я трогаю фингал под правым глазом. Болит прилично... Крягин сбивает планку еще не взлете. Теперь я. Нос бежит к яме и устраивается. Я отмеряю ступнями от края ямы до толчковой точки и направляюсь к месту, с которого начинаю разбег. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ту-дук. Ту-дук. Это сердце. Расслабляюсь. Бегу... Ну!.. Весь в толчок!.. Какой-то звериный звук вырывается из груди в момент толчка. Я над планкой, да еще с запасом! Взял?! И я сбиваю планку левой рукой...

Я сижу в яме. Планка рядом. Сухарик стоит и испуганно смотрит на яму, в которой сижу я. Книга на лавочке... Не взял. Опять не взял. Так здорово толкнулся и сбил.

— Возьмешь, Кузнечик! Все в порядке! Возьмешь! — поднимает меня из ямы физрук. — С запасом!.. Руку только уברי, руку!..

— Что мне ее, отрубить? — раздраженно говорю я и понимаю, что так удачно толкнуться еще раз будет трудно. Я натягиваю шерстяной тренировочный костюм и начинаю нервно ходить по сектору. Я заволновался. Осталась последняя попытка... Подойти, что ли, к Сухарику? Нет! После субботы не могу... Меня начинает мутить, как только я вспоминаю субботу. Нет, не взять мне сегодня сто девяносто, не взять. Ясно как божий день...

Уже май. Год пролетел, как урок... И ведь все было нормально. А что, собственно говоря, было? Ничего. Так просто... Ну да! Это формально ничего. А на самом деле я весь этот год был сосредоточен на Сухарике... Как-то на уроке Нос заявил:

— А ты знаешь, ее с Павлином я видел на хоккее...

— Подумаешь, ерунда, — сказал я весело, хотя и получил пыльным мешком по башке. — Это ерунда... Ни о чем не говорит... Захотела и пошла на хоккей...

Мы замолчали. Жуткая тоска напала на меня. Павлина я не любил. Он был ограниченным нахалом и, по его словам, «кое в чем» преуспел. Во всяком случае, от него исходили вся-

кие поразительные истории. Что, мол, однажды во время вечера он застучал химичку с физруком прямо в кабинете химии... Что он сам этим летом работал помощником вожатого в лагере и с одной пионеркой у него были трали-вали на сеновале... И вот, пожалуйста, Сухарик с Павлином на хоккее... Потом он ее провожает домой, стоит, наверное, у подъезда... Я вздрогнул... А с другой стороны, что особенного? Ну, сходил раз на хоккей... Она же мне ничем не обязана... Нет, надо все выяснить! Да — да! Нет — нет! И до свидания!..

— Поливанов! — вдруг обратилась ко мне Ангелина Сергеевна. — Иди-ка к доске.

Я подошел к доске и повернулся лицом к классу.

— Прочтите-ка мне наизусть ваше любимое стихотворение...

— Любимое? — сказал я ожесточенно.

— Да. Самое любимое...

— «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...» — начал я чеканить каждую строчку... Я читал, а сам смотрел на Сухарика уничтожающим, ненавидящим взглядом. Я читал так, словно Лермонтов специально предназначил свои стихи для ниспровержения Сухарика, для обвинения ее в предательстве и в том, что она стала причиной моей безысходности и одиночества. — «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка...» — Последние две строчки я прочел так, словно ждал, что сейчас Сухарик бросится мне на шею со слезами и просьбами о прощении.

— Это ваше любимое стихотворение? — после паузы спросила Ангелина Сергеевна.

— Да! — почти выкрикнул я.

— Садитесь. Я ставлю вам двойку. Вы не имеете права в вашем возрасте восхищаться этим гениальным стихотворением!

— Могу прочесть и более жизнерадостное! — сказал я с издевкой и на ходу стал сочинять вслух:

Мы счастливей всех на свете!
Мы добрались до Луны!
Мы, и взрослые, и дети,
Навсегда во всем равны.

В классе захихикали.

— К тому же вы еще и дурачок, — сказала Ангелина Сергеевна. — Остаток урока можете провести в коридоре.

Я выскочил из класса, обозначив для себя протест против Сухарика. На перемене все остались в классе: Сухарик стала показывать нашим девам, как надо танцевать джерк. Она выстроила человек десять в шеренгу, и вся шеренга повторяла за

ней движения. Хлеб изображал трубу и отстукивал ритм на крышке парты.

Ко мне подошел Павлин:

— Вчера мы с моей Томкой в компании были у одного студента... Ну, я тебе скажу, она так танцует!.. Все парни на нее упали...

Для всех Томка была Сухариком, а этот гад назвал ее «Томкой», да вдобавок еще и «моей Томкой»!

— Где это вы с ней были? — с трудом сохраняя безразличный тон, спросил я.

— Да ты не знаешь... У одного малого. У него такие записи — закачаешься! Родители его где-то в Африке... Часов до двух куролесили...

С этого дня я с Сухариком только здоровался. А всякие там кино, театры, провожания и другие показатели пошли по боку.

...Я все ждал, когда же она спросит, почему я так резко изменил к ней отношение, но она не спрашивала... А я ворочался с боку на бок каждую ночь и ярко рисовал себе всякие картинки... Я представлял себе огромную, многокомнатную квартиру этого малого, я видел компанию, которая собирается в этой квартире, я видел среди этой компании Сухарика и Павлина и еще каких-то взрослых «обольстителей». Я представлял, как, танцуя, можно уединиться в одной из многих комнат. Я многое представлял. И только тогда успокаивался и засыпал, когда наступала совсем-совсем ночь, когда Сухарик уже наверняка должна была прийти домой, когда возле нее уже никто не мог быть, кроме отца с матерью.

А по школе по нашей удивительно быстро распространились слухи, что Сухарик «ходит» с Павлином. И я знал, что слухи эти идут от Павлина...

А весной Павлин вдруг заткнулся. Больше того. Он стал отпускать по поводу Сухарика всякие двусмысленные реплики, что ему с ней надоело, что хорошего понемножку, что теперь с ней ходит Кухарев из 10-го «А». Потом Павлин подружился с этим идиотом Кухаревым. Я их каждый день видел вместе. И как только появлялась Сухарик, их лица принимали гадливое выражение, они, прищурившись, смотрели на нее, говорили в ее адрес что-то такое, о чем легко можно было догадаться, и при этом нарочито громко и похабно ржали. Хотелось врезать им по роже, но я понимал, что это глупо...

И по школе поползли другие слухи...

В эту самую субботу у нас был вечер отдыха. Спасибо нашим комсоргам и культургам: наконец-то они решились на откровенный вечер отдыха, без всяких там тематических направленностей, без всяких там посвящений, без всяких встреч со всякими знатными людьми. Просто обыкновенный вечер,

с танцами, самодеятельностью и маленьким джазом из соседней школы.

За самодеятельность отвечал наш класс.

В общем, интересно все получилось. Вечер открылся показом первого действия гениальной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в постановке драматического коллектива 9 «Б» класса. Директор и вся его свита сидели в третьем ряду. И родителей было порядочно. Из райкома комсомола тоже пришли...

Нос вышел из правой «кулисы» и подошел к ожидавшим его за столом, совершенно идиотски загримированных Хлебу, Кислякову и Бурмистрову. Я сидел несколько поодаль.

— Я пригласил вас, господа, — начал Нос с каким-то одесским напевом, — с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор!

Нос оглядел величественно весь зал, Хлеба, Кислякова, Бурмистрова и меня и начал постукивать по столу авторучкой, ожидая реплики.

«Нос!.. Нос!» — зашелестел зал.

Бурмистров сразу же полез в карман и вытащил пачку «Примы».

— Разрешите прикурить, — наклонился он вдруг к Хлебу.

Такое актерское домысливание не предусматривали ни Гоголь, ни Нос, ни даже Хлеб.

— Пожалуйста! — оторопело сказал Хлеб, щелкнул зажигалкой и только после этого, спохватившись, выкрикнул: — Как ревизор?!

— Да! Как ревизор? — невозмутимо спросил Бурмистров и смачно выпустил струю дыма прямо в зал.

— А вот так! — сказал Нос. — Ревизор из Петербурга, инкогнито, и еще с секретным предписанием!..

— Вот не было заботы, так подай, — продекламировал Хлеб и, наклонившись к Бурмистрову, держа в руках зажигалку, сказал: — Позвольте!

Теперь задымили оба.

Нос подошел ко мне, повернулся лицом к залу и сказал с выражением:

— Да, да, господа! Я как будто предчувствовал...

— Нельзя ли не курить? — вдруг отчетливо, на весь зал произнес директор.

От неожиданности Нос вздрогнул и задел локтем мой наклепленный нос. Он тут же съехал набок, изменил конфигурацию и согнулся в какую-то сосульку. Хлеб испуганно загасил свою сигарету о стол, а Бурмистров инстинктивно спрятал свою в рукав.

— Я как будто предчувствовал, — повторил Нос. — Сегодня мне всю ночь снились две необыкновенные крысы... — Э-э... В общем, пришли и пошли прочь... Да вот я вам...

Из бурмистровского рукава повалил дым.

— Прекратите курить, Бурмистров! — снова грозно сказал директор. — Безобразия!.. Завтра зайдете ко мне в кабинет!

Это окончательно выбило всех из колеи. От гоголевского текста остались одни ошметки. Реплики стали то беспорядочно наскакивать одна на другую, то одиноко повисать в воздухе, безнадежно ожидая поддержки. Но сюжетная линия приблизительно сохранялась... Я покосился на свою сосульку. Она еще больше вытянулась от пота и жары. Я представил все, что происходит на сцене, со стороны, и меня разобрал дикий смех. И чем больше я пытался сдерживать его, тем больше он рвался наружу. Я сначала тихо содрогнулся, потом начал икать. Нос уничтожал меня взглядами, но это тоже было смешно... Когда я должен был в очередной раз произнести свою реплику, истерика моя достигла кульминации. Я замахал руками, поднялся со стула и в паузе между конвульсиями произнес по-немецки, прижав руку к сердцу: «Дас Херц!» И выбежал со сцены.

Веселая, в общем, получилась комедия...

Я икал до тех пор, пока не увидел Сухарика...

Все сразу стало ненужным и чужим. Я понял, что бессознательно ждал от этого вечера чего-то необыкновенного. Что-то должно было произойти такое, что вернуло бы все на свои места: Сухарика, Павлина, Кухарева, меня...

И вот сейчас, стоя в секторе для прыжков, в шерстяном тренировочном костюме, перед третьей попыткой, я, вместо того чтобы сосредоточиться, ловлю себя на том, что все это «необыкновенное» в тот вечер должно было произойти без моего активного участия. Так мне, во всяком случае, хотелось. И вот когда я увидел Сухарика, я понял, что ничего не произойдет. Я ее потерял. Причем потерял постепенно. И начал терять с того дня, как узнал от Носа о ее походе на хоккей с Павлином. И каждый день я ее понемножку терял, оставляя себе отходную надежду, что еще не все потеряно. И не подходил, и не говорил, и злился, и накалялся от всех разговоров, и терял ее, терял, терял... И вот на вечере убедился, что окончательно потерял.

И я решил, что уйду домой назло всем и назло себе. Я вошел в зал, по стенке подошел к сцене, из которой играл джаз, и оттуда стал пробираться к выходу, лавируя между танцующими и поминутно извиняясь. Всем своим видом я давал понять, что мне неинтересно и что я ухожу. Я хотел, чтобы на меня обращали внимание, спрашивали, почему я вдруг решил уйти, но этого не произошло, и я вскоре оказался на лестничной клетке. Я медлил и не уходил. Не хотелось уходить незамеченным. Хотелось, чтобы меня уговаривали остаться, хотелось отказываться, короче, хотелось придать моему уходу трагическую окраску... Но, видимо, никому до меня не было дела...

Потом я услышал, как кто-то спускается по лестнице со второго этажа. Я поднял голову и увидел Павлина и Кухарева.

— Ты чего это здесь стоишь? — сказал Павлин.

Вот так всегда. Меньше всего я хотел быть замеченным ими и все-таки попался.

— Ничего, — ответил я, — просто собираюсь уходить. Надоело.

— Это верно. — Павлин и Кухарев спустились ко мне. — Скучота... Но ты подожди. Сейчас развеселимся... Скажем Кузнечнику, а, Ухарь?

— Давай, — безразлично сказал Кухарев. — Только чтоб не трепался...

— Нет! Кузнечик не трепливый... Пошли наверх, а? У нас там кое-что есть.

Павлин обнял меня за плечи, и я почувствовал, что от него пахнет вином.

И вдруг мной овладело какое-то отчаянное чувство. Это была какая-то смесь злости, бессилия и желания делать все наоборот.

— Пошли! — крикнул я. — Только быстрее...

Мы прошли по четвертому этажу и оказались в каком-то классе.

— Свет не зажигай, — тихо сказал Кухарев, — чтоб шухера не было.

Павлин нырнул под последнюю парту и вытащил оттуда две бутылки.

— «Три семерки» и пиво, — сказал он. — Было две, но одну мы уже прикончили...

Одну бутылку Павлин открыл, протолкнув пробку гвоздем, а пиво Кухарев открыл о подоконник.

Павлин протянул мне портвейн:

— Глотай, Кузнечик...

Я стал сосать из горлышка и высосал примерно треть бутылки.

— Запей пивком, — протянул мне Кухарев пиво.

После сладкого портвейна было очень противно глотать горькое пиво, но я все же сделал несколько глотков.

— Молодчик! — сказал Павлин.

Потом они допили остальное.

Минут через пять мне стукнуло в голову.

— А ты с ней вроде тоже ходил? — спросил Павлин, и я сразу понял, с кем.

— Да, самую малость, — сказал я и понял, что в этот момент совершаю предательство по отношению к ней. Но тут же решил, что она больше виновата, и обозлился на нее с новой силой.

— Ну и как?

— Да никак. Охота была связываться...

— А зря... Верно, Ухарь?

— Ага,— крикнул Кухарев.— Это она с виду интеллигентная...

И тут Павлин начал рассказывать что-то совершенно невероятное. При этом он прищмокивал, изображал и ругался... Я чувствовал, что краснею, но уже не мог понять отчего: то ли от рассказов Павлина, то ли от поддакиваний Кухарева, то ли от вина. Кровь била мне в виски... Голова время от времени кружилась. Что-то дикое, вывернутое наизнанку, неправдоподобное нес Павлин, но в то же время детали, которыми он оперировал, были настолько конкретными и описывал он их так подробно, что нет-нет, а возникали сомнения: а вдруг?.. Вдруг действительно все то, что он говорит,— правда? Хотя бы и в сотой доле?..

— А у меня все по-другому,— сказал Кухарев.

Теперь настала его очередь.

Они по очереди вскрывали ее, как банку с консервами, переворачивали вверх дном, жрали, выплевывали, размазывали по полу, разбрызгивали по стенам, растаптывали ногами, играли в футбол, перепасовывая друг другу... А я был зрителем в этой отвратительной игре, даже не зрителем, а участником, запасным игроком... И постепенно они добились своего: Сухарик стала казаться мне искаженной, разбросанной, перемазанной какой-то дрянью. Мне захотелось стать по отношению к ней Павлином и Кухаревым, оскорбить ее, унижить, размазать, как они, растоптать, разбрызгать, принять участие в этой поганой игре. Пусть она знает, пусть все знают, что я не какой-нибудь чистенький мальчик, что я не только для разговоров, кино, театров и всяких других высоких материй! Вино, пиво, Павлин и Кухарев сделали свое дело. Больше я не буду запасным!.. Я и сам могу выйти на поле...

— Эка невидаль! — сказал я и плюнул на пол.— Да я в любой момент могу!.. Хоть сегодня!.. Увидите!..

Я сделал первый удар...

Мы спустились в зал. Я увидел Сухарика и пошел прямо к ней, прямо через танцующих. Все они стали для меня какими-то чужими, далекими и маленькими... Я, видимо, был возбужденным, потным и красным. Нос увидел меня.

— Что это с тобой! — спросил он.— Ты вроде поддал?

— Чепуха, Нос! Танцуй! А я решил спикировать!..

Нос остался где-то сзади, и я оказался перед Сухариком.

— Позвольте? — сказал я ожесточенно-вежливо.

— Благодарю вас,— сказала она.— Только почему это ты вдруг решился подойти ко мне?

Мы начали танцевать. Я делал это сосредоточенно, остервенело и зло смотрел на нее.

— А что, другим можно, а мне нельзя? — процедил я.

Она засмеялась и сказала, что я дурак.

— Конечно, дурак! — сказал я. — Я всегда переоцениваю!..
— Ну, и сколько же я теперь стою? — опять засмеялась она.

- У Павлина спроси!
- Еще у кого?
- У Кухарева!
- А ты сам у них спроси...
- Чего спрашивать-то? Все известно!..
- Болтаешь чего-то...
- Все болтают!
- А чего ж ты ко мне подошел, раз все болтают?
- Выяснить надо.
- Тебе ж все известно.
- Значит, не все!..

Я начал терять уверенность. Я видел ее прямо перед собой. Она снова была прежним Сухариком, как вот в тот первый раз, осенью. И недавние разговоры на четвертом этаже опять показались мне неправдоподобными и чудовищными...

- Ну, говори, — сказала она.
- Не здесь... Пошли погуляем?
- Пошли...

Мы стали проталкиваться к дверям. Она впереди, я сзади. Павлин и Кухарев посторонились. Я торжествующе взглянул на них.

— Ни пуха ни пера! — громко сказал Павлин и подмигнул мне.

- Слышала? — сказал я, когда мы вышли из школы.
- Я и не такое слышала, — сказала она.
- Где это ты не такое слышала?
- В Риге.
- А что у тебя было в Риге?
- Ничего не было... Ничего.
- И никого?
- Раз ничего, значит, и никого... Ну почему так?
- Как?
- Если ведешь себя свободно, так, как хочется, значит, уже все можно и все доступно? Если я пошла на хоккей, значит, уже чем-то обязана?

- Чепуха!
- Выходит, что не чепуха...

Прямо за нашей школой начинался парк, который упирался в небольшое кладбище. И мы пошли по направлению к кладбищу. Было тепло. А может быть, было тепло оттого, что я пил вино и пиво.

- Так что же тебе надо выяснить?
- Не знаю...

Я действительно сам не знал, что я хочу выяснить. С ней рядом я растерял всю свою воинственность. Я хотел погово-

рить ей кучу всякой дряни, хотел унижить ее... Хотел и расхотел... Мне вдруг стало спокойно и хорошо. Мне захотелось, чтобы этот вечер никогда не кончался, чтоб можно было идти и идти бесконечно. И в то же время я знал, что наступит понедельник и снова будут и Павлин, и Кухарев. И снова начнутся разговоры, и снова я буду сомневаться и злиться... И я поэтому шел и молчал, как будто ждал от нее каких-то успокоительных гарантий. Каких гарантий, каких?.. А если Павлин прав?.. Мне стало нехорошо от этой вновь возникшей мысли... Значит, я непробиваемый дурак, посмешище?.. Душеприказчик?.. У меня внезапно закружилась голова. Зачем я пил? Много ли мне надо?

— Ты знаешь, — сказала она, — наверное, ты такой же, как все... Только ведешь себя более сдержанно...

— Почему ты так решила?

— Ты тоже, когда узнал, что я была на хоккее, повел себя так, как будто я тебе чем-то обязана...

— Ты мне ничем не обязана! — разозлился я.

— Тогда почему ты злишься?

— Я скажу тебе, почему! Скажу! Только сначала ты мне ответишь, почему ты сегодня ушла со мной с вечера? — почти закричал я.

— Захотела и ушла, — улыбнулась она. — Я люблю с тобой гулять...

— А с Павлином и Кухарем любишь все остальное, да?

— Это они тебе сказали?

— Это все говорят!! Понятно?

— Такой же, как они! — выкрикнула она и вдруг начала хохотать. — Такой же!.. Такой же!..

Она присела на корточки и, глядя на меня снизу, хохотала и все повторяла, что я такой же...

И я вдруг бросился на нее и свалил на землю. Мы оказались рядом. Я прижал ее к земле и стал тыкаться в ее лицо, как слепой котенок, стараясь найти ее губы... Она рванулась в сторону и ударила меня ладонью по лицу. Я тут же выпустил ее и сел на землю. Она не раскричалась, не стала ругаться. Она стояла передо мной, сидящим на земле, и смотрела на меня своими прекрасными, округлившимися вдруг глазами. А потом она сказала, часто-часто дыша:

— Иди! Поделись впечатлениями с такими же, как ты... Дурак!

И она ушла.

Я поднялся, сделал несколько шагов и опустился на могилу.

«Что же это? — думал я. — Что же это со мной? Для чего?.. Для чего?.. Теперь все... Все! Все!»

Это удушливое короткое слово дошло до меня вдвойне, втройне, потому что я вдруг совершенно отчетливо понял, что

Павлин и Кухарев ввали! Да, ввали! Им больше ничего не оставалось делать! А я, полный идиот, верил! И вот результат... Я обмазался с головы до ног! Обмазался! Обмазался!.. Я не знал, что теперь делать. Куда идти, зачем идти?.. Я вдруг открылся холодным потом, ослабел, и меня начало тошнить...

Утром в понедельник я пошел в школу минут на двадцать раньше. Я не знал, как я посмотрю в глаза Сухарику. Вся эта нелепая история висела на моей шее тяжелым камнем, давила на мозги и делала меня каким-то плюгавеньким гаденышем. Спокойно все объяснить? Но что? Я уже пытался что-то объяснить в субботу. И еще. После подпольной «пьянки» и выслушивания очаровательных монологов Павлина и Кухарева я стал невольным их союзником. А мне этот союз нужен был как собаке пятая нога...

Они ждали на углу школы и заметили меня еще издали. Пройти с независимым видом? Игнорировать? Нет. Теперь это невозможно — поздно. А как развязаться?.. И я с мрачным видом подошел к ним.

— Ну? Как культпоход? — спросил Павлин.

— Так, как и должно быть, — сказал я удобную для себя фразу, которая в одном значении должна была разозлить моих собутыльников, в том же значении не роняла в их глазах моего мужского достоинства и в противоположном значении оставляла меня формально чистеньким, действительно, — субботняя история так и должна была закончиться, и было бы странным, если бы она закончилась иначе.

— Молодчик! — сказал Кухарев и добавил кое-что еще в адрес Сухарика.

«Давайте, милые! — думал я. — Валяйте! Плюйте в мою душу! Я сам сделал из нее помойное ведро!»

И в этот момент из-за угла показалась Сухарик. Она прошла мимо нас так, как будто мы здесь и не стояли. И напрасно я как баран уставился на табачный ларек, пытаюсь показать, что я оказался в этой компании случайно.

— Поздоровайся с Кузнечиком! — крикнул ей вслед Кухарев.

— Сорока-белобока! Кашку варила, детей кормила!..

Павлин знал эту считалочку и сказал ее с продолжением, забигая пальцы и громко.

И тут же все решилось само собой. Я бросил портфель на землю, размахнулся и ударил Павлина кулаком в лицо.

— Ах, сука! — закричал Кухарев и врезал мне сбоку по скуле.

Я повернулся, хотел врезать ему, но промахнулся, и Павлин сзади припечатал мне по носу. Мне показалось, что нос у меня мгновенно разбух до невероятности и наполнился чем-то так, что стало трудно дышать. Я инстинктивно схватился за лицо руками и получил новый удар, от которого потерял

равновесие и упал. И меня начали бить, вкладывая в каждый удар всю накопившуюся злость к Сухарику и ко мне. И в отношении меня они были по-своему правы.

— Ниже пояса не бей! — взвизгнул Павлин. — А то он прыгать не сможет!..

Но мне хватило и выше пояса.

Как хорошо, что в эту минуту никого не было рядом. Они недолго меня били. И пошли в школу. Они знали, что с моей стороны апелляций не будет...

Я поднялся, отсморкался и, прикрывая лицо от встречных прохожих, пошел домой.

Я шел и ни о чем не думал. Ни о том, что я не пошел в школу. Ни о том, что я скажу матери. Я даже не чувствовал боли. Мне было так легко. Я был чист! Не столько перед собой, сколько перед ней! Меня даже не волновало, видела она это побоище или не видела. Мне важно было только одно: что теперь я могу смотреть на нее чистыми, зажившими от фингалов глазами. А это — грандиозное ощущение!..

Меня вызывают. Я должен прыгнуть в последний раз. Я трогаю свой фингал и разбегаюсь...

Грохаюсь в яму, стремительно выскакиваю из нее, смотрю на планку и понимаю, что взял...

— Не успел! Ах, черт, не успел! — кричит Нос, показывая на фотоаппарат.

— Первое место! Первое место! — подбегает ко мне физрук и, сграбастав, целует меня в лоб.

Судья топчется возле стойки, чего-то там вымеряет, проверяет...

А я вижу только одно: Сухарик поднимается со скамейки... Неужели она подойдет ко мне?..

Кстати, это уже не имеет значения, так как я сказал в самом начале, что наши отношения с Сухариком ни во что не превратились.

Просто в девятом классе нравилась мне одна девочка.

1964

ВАРЕНАЯ КУРИЦА В ЧЕТВЕРГ



Стех пор как я живу в однокомнатной квартире отдельно от родителей, я не пишу по четвергам. В четверг ко мне приходят родители. Да. Регулярно каждый четверг. Вечером.

Они не приносят с собой вино, а я не покупаю специально в четверг торт. Нет. Они приходят просто так. Им ничего не надо, кроме того, что они приходят ко мне в четверг. Обязательно приходят... Еще бы не прийти... В течение двадцати четырех лет я принадлежал им ежедневно без малейшего перерыва. И вот теперь для них от меня остался только четверг вечером...

Поэтому я и не пишу по четвергам.

Зато в остальные дни я занят творчеством. Я пишу стихи к этикеткам на спичечных коробках, к диапозитивам, к рекламкам... За одно двустихие я получил не так давно премию Министерства путей сообщения. «По путям пойдешь — из жизни уйдешь!» Было отмечено, что этот плакат заставляет по-настоящему задуматься. Мне выплатили шестьдесят рублей, и я купил матери стиральную машину... Со мной сразу же заключили договор.

Вообще если бы разрешали ставить свою подпись, я был бы самым известным человеком...

Зато мать собирает все: где, что, когда, на какой улице, на какой коробке... Все-таки ее сын — человек творчества... Но моя давнишняя мечта — написать пьесу. Серьезную, настоящую пьесу... Все равно — в прозе или в стихах...

И, как назло, именно в этот четверг, когда должны прийти родители, что-то защекоотало у меня в спине. А у меня всегда так: защекочет в спине — пишу. Не знаю что... Что получится, но пишу...

И сегодня щекотанье в спине настолько сильно, что я понимаю — это к пьесе.

И вот я сижу и пишу в четверг вечером пьесу. Я знаю, что должен именно сегодня все придумать. Пока щекочет в спине. А записать можно и потом, без всякого щекотанья. И я придумываю... Но пока вполсилы. Я не могу думать в полную силу, когда знаю, что предстоит прерваться. Придут родители, надо вставать, открывать дверь, снимать с матери пальто, опять идти садиться, снова включаться...

Поэтому я пока думаю вполсилы. Вот сейчас придут родители, я их посажу в комнату, сам пойду на кухню. Им же ничего особенного не надо. Они просто будут знать, что сегодня

я — их. Ведь когда я жил с ними, я тоже часто сидел в другой комнате. Сейчас они придут. И я все знаю. Я знаю, как они придут, и как войдут, и что скажут, и что им скажу я... Я знаю, что отец с независимым видом будет оглядывать мою комнату и рассматривать каждую давно знакомую ему вещь так, как будто он видит ее впервые. Я знаю, что мать, войдя с мороза, будет еще минут пять шмыгать носом... Я знаю, как она будет шмыгать... Моя мать удивительно шмыгает носом... Я слышу ее обычно еще с лестницы. Если мне завязать глаза и заставить прошмыгать носом все население Земли, я все равно узнаю свою мать — так непередаваемо она шмыгает носом... Я даже думаю, что все матери шмыгают носом, и каждая по-своему...

Раздается телефонный звонок. Я снимаю трубку и слышу голос редактора рекламного отдела. Он долго кричит на меня, что ему надоело, что я бесконечно подвожу, что опять моя реклама о вареной курице не удовлетворяет требованиям, что я развел поэзию, а ему нужна мысль, которая должна брать покупателя за горло...

Я все это уже слышал не раз. Я пытаюсь отстаивать, доказывать, но он наносит мне неожиданный удар в спину: если к завтрашнему утру не будет сделана приемлемая подпись, со мной расторгнут договор...

Он вешает трубку, а я еще продолжаю слушать гудки и думаю, что с его стороны это по меньшей мере подло... Потом я кладу трубку на рычаг. А что я еще могу сделать?

Ну ничего! Сделаю пьесу — тогда наплевать мне на его договор вместе с вареной курицей.

Я сижу и думаю. Очень обидно, когда мысли направлены на пьесу, заниматься вареной курицей... Черт бы его побрал с этим звонком!.. «Лучшие всяких пирожков...» Первая строчка у меня всегда сразу получается... Придумаю вторую и сяду за пьесу... Я сижу над второй строчкой до тех пор, пока не слышу звонок в дверь. Это пришли родители...

Я знаю, как все будет, когда я открою дверь. И я открываю дверь...

Их неожиданно оказывается трое. Мать, отец и родственник. Вообще-то какой он мне родственник? Муж моей двоюродной сестры. А сестра — дочь сестры моего отца. Так что какой он мне родственник?.. И живет почему-то в Тюмени... Но раз принято, что муж дочери сестры отца — родственник, приходится считаться... Хотя я лично против него ничего не имею, потому что вижу его третий раз в жизни.

Я вынужден радушно улыбнуться и выразить неподдельный восторг:

— Вот так так!.. Откуда?.. Какими судьбами?..

Я вижу, как мать наблюдает за моим выражением лица,

и глаза ее светятся гордостью за то, что я проявляю такие нежные родственные чувства...

Потом я наклоняюсь к матери. Она успеваает поцеловать меня два раза, потому что я выпрямляюсь.

Отец чмокает меня небрежно, как бы походя, и так же небрежно бросает мне:

— Привет!

Я снимаю с матери пальто. А пока раздеваются отец и родственник, я думаю о том, что написание пьесы отдалается, потому что родственнику для приличия надо будет задавать какие-нибудь вопросы...

— Ты ужасно выглядишь, — говорит мать, подозрительно вглядываясь в меня. Она говорит это каждый четверг. Я все это знаю. И что я не высыпаюсь, и что курю, не вынимая сигареты, и что питаюсь нерегулярно, и что синяки под глазами, и что надо все-таки беречь себя...

Обычно я стараюсь перевести разговор на какую-нибудь другую тему, но сегодня родственник выручает меня.

— Да что вы на него напали? — говорит родственник. — Он прекрасно выглядит!

Потом они показывают родственнику всю квартиру, получая огромное удовольствие от того, что у меня есть своя квартира. И они эту квартиру так показывают, как будто ни у кого больше нет такой квартиры. А я хожу за ними следом, и мне начинает казаться, что это уже не моя квартира.

Они проходят в комнату, рассаживаются друг против друга и смотрят на меня.

— Боже мой! — медленно и философски-задумчиво говорит родственник. — Как время летит!..

— И не говорите!.. Как будто вчера... — вздыхает мать.

— И самое главное, что ничего нельзя изменить, — резюмирует отец.

— И вы знаете что? — делает открытие родственник. — Я бы его на улице не узнал.

Ну что касается меня, то я бы родственника на улице точно не узнал...

Некоторое время они говорят обо мне в моем присутствии так, как будто меня здесь нет. А я стою, прислонившись к стенке, с идиотской улыбкой, и думаю, как бы мне поделкатнее смотаться на кухню и написать вторую строчку...

— А Боря в Москву всего на два дня, — говорит отец, — и вот очень хотел тебя повидать...

— А я как раз сегодня пьесу должен написать, — отвечаю я так, словно приготовил для родственника главную роль. Не могу же я сказать, что должен именно сегодня написать про курицу, иначе со мной расторгнут договор...

— Пьесу? — спрашивает отец. — Почему именно сегодня?

— Ну, потому что завтра я ее не напишу.

— Начинается... Вечно у тебя, когда мы приходим, какие-то дела...

Я вижу, что отец и мать как-то поникли. Для них ведь это не обычный четверг, а четверг с родственником. И вдруг — здравствуйте пожалуйста! Пьеса!..

Мне становится обидно за них, но я не виноват, что именно в этот четверг на меня свалилась курица с пьесой.

— Не обращай на нас никакого внимания, — по-простецки говорит родственник. — Мы немного посидим и пойдем... А что за пьеса?

— Ну... Как вам сказать?..

— А из какой жизни?

— М-м... как вам сказать...

— Понятно... А тема?

— Да трудно сказать. Вы, конечно, не обидитесь, если я посижу в кухне и напишу пьесу?..

— Какие могут быть разговоры?!

Мать шмыгает носом.

— Иди. Раз тебе надо писать пьесу, иди...

Настроение у них, конечно, село.

Я беру бумагу и карандаш и чисто инстинктивно на цыпочках выхожу в кухню...

Я знаю, что желание похвалиться мною перед родственником возьмет свое и скоро они смирятся с тем, что я пишу пьесу. Я сажусь за кухонный стол и начинаю думать над второй строчкой... «Лучше всяких пирожков...» Думаю... думаю... «Курица без потрошков...» Не годится... Причем из-за первой строчки... Реклама одного продукта не должна принижать достоинства другого... А вторая строчка сойдет...

Я слышу, как мать шмыгает носом... Родственник что-то спрашивает. Они что-то отвечают. Я знаю, что разговор идет обо мне... Мать, конечно, говорит, что я еще в детстве имел задатки к поэзии... Минут двадцать я ищу рифму на «потрошков»... Двадцать минут, оторванных от пьесы...

В кухне появляется отец:

— Боря всего два дня в Москве. Ты хотя бы для приличия спросил, что слышно у Риты, как дети...

— Да я же их никогда не видел! — говорю я. — Я даже не знаю, как их звать!..

— Ирочка и Андрюша... Ну, иди поговори с Борей... Он так рвался к тебе...

Я минуты две еще думаю в полную силу, потом решаю, что действительно неудобно, и иду в комнату, чтобы спросить у родственника, как Рита, как дети...

Я вхожу, сначала молчу немного, потом вдруг спрашиваю:

— Как Рита? Как дети?

— Ну что тебе сказать? — говорит мне родственник так,

как будто я и не выходил из комнаты.— Рита — ничего. Конечно, постарела, поседела...

— Чудесно,— машинально вставляю я, продолжая в полную силу думать о курице и пьесе.

— Ирочка уже в школу пойдет...

— Ого! — говорю я.

— Чудная девочка... А Андрюшка — никакого сладу!..

— Да-а... — говорю я.

— В кого же это он такой? — спрашивает мать.

— Ума не приложу... Внешне — вылитая Рита...

— А этот! — отец указывает на меня. — Как сейчас помню, набрал в клизму воды...

— Ну, я пойду попишу...

— Иди... Что с тобой сделаешь...

Я иду в кухню и думаю в полную силу... «курица без потрошков...» Я знаю, что сейчас отец (который раз в жизни!) рассказывает родственнику, как я, когда мне было четыре года, набрал в клизму воды и влил ее в ухо спящей тете Лиле... Я знаю, что вслед за этим начнется длительный заплыв в мое детство... Я знаю, что отец с матерью наперебой станут выкладывать (в который раз в жизни!) все смешные эпизоды из моего детства...

Я все знаю. Я знаю, что они начнут смеяться, вспоминая все новые и новые истории. И мать будет смеяться, а потом начнет давиться от смеха. А потом по смеющемуся лицу покажутся слезы. Мать чаще зашмыгает носом, начнет сморкаться, и отец скажет ей:

— Дура!.. Ну и послал мне бог дуру!.. Вечная история... Вы понимаете, Боря, она никак не может понять, что дети растут... Ну не дура она?!

И отец демонстративно уткнется в первую попавшуюся газету, а родственник станет самым примитивным образом успокаивать мать...

— Не обращайтесь на меня внимания... Расскажите лучше, как у вас? — скажет мать, достанет пудреницу и запудрит покрасневшее лицо...

Я все это знаю... «Курицу без потрошков я купил и был таков...» Чушь какая-то... Я опять думаю в полную силу... А почему именно без потрошков?..

— Иди сюда! — как издалика, слышу я голос матери. — Ты слышал?! Какой ужас!

Продолжая думать в полную силу, я машинально иду в комнату.

— Ты слышал?! Мишу подрезали!..

— Хорошо... — отсутствующе говорю я.

— Ненормальный! Что хорошо?.. Мишу подрезали!.. Он в больнице!.. Что хорошо?

От крика я прихожу в себя, и мне снова надо юлить:

— Хорошо, что... не насмерть...

— А если не насмерть, так это хорошо?! — мать не может успокоиться. — Конечно, хорошо, что не насмерть!..

Мишу я бы тоже не узнал на улице, если бы встретил. Это какой-то мой родственник уже со стороны родственника...

— И главное, ни за что!.. Среди бела дня!.. Подошли, вынули финку — и все! — сокрушается родственник.

— Кошмар!.. Что же ты молчишь? — все еще в возбуждении говорит мне мать. — Скажи что-нибудь!

— Да-а... — тяну я задумчиво.

А что я еще могу сказать?.. И какое отношение я имею к Мише? Да! Действительно, плохо, когда на улице среди бела дня режут человека... А Мишу жалко, конечно... Если он хороший парень.

— Хотите магнитофон послушать? — вдруг предлагаю я.

Я надеюсь, что это соломоново решение позволит мне сбежать на кухню. Отец любит слушать мой магнитофон, родственнику будет неудобно отказаться... Впечатлений от магнитофона и возникших ассоциаций хватит минут на сорок, и я смогу добить курицу и начать пьесу...

— Как? Вы не видели его магнитофона? — со значением предстоящего торжества спрашивает отец. — Это сказка!

Я быстро, не давая им опомниться, ставлю единственную пока мою пленку с серьезнейшим джазом Гила Эванса, делаю стереоэффект и смываюсь на кухню...

Я сижу и думаю... А кроме того, знаю все, что сейчас происходит в комнате... Отец гордо расхваливает магнитофон со всех точек зрения. Родственник обнюхивает магнитофон со всех сторон, потом спрашивает, сколько он стоит. Отец говорит, что это самый дорогой иностранный магнитофон. Родственник скромно заявляет, что у него дома обыкновенный рижский магнитофон и что по сравнению с моим магнитофоном его магнитофон просто побрякушка. Мать, полная добротели, компромиссно вставляет, что рижский магнитофон — это тоже очень хороший магнитофон... Чтоб не обидеть родственника.

Я знаю. Я точно знаю, что именно об этом идет сейчас разговор в комнате.

В кухню входит отец:

— Тебе не мешает магнитофон?

— Нет, нет, пожалуйста...

Ему очень хочется потрепаться со мной. Я это вижу.

— Я тебе не буду мешать, — говорит он. — Только спрошу, знаешь ли ты анекдот с телефоном-автоматом?

— Знаю, — машинально отвечаю я.

— А как встретились три премьер-министра, знаешь?

— Тоже знаю.

Отец не уходит.

— Да-а...— говорит он с надеждой на взаимность.— Вчера слушал «Голос Америки»... Они прямо так и говорят...

— Я слушал,— коротко обрываю я.— Я сейчас приду.

Отец уходит.

Я сижу у кухне до тех пор, пока не кончается пленка. Я слышу это и опять иду в комнату.

— А у тебя не записана «Течет Волга»?— спрашивает родственник.

— Еще нет,— вежливо отвечаю я, сматывая Ги́ла Эванса.

— Чудесная песня!..

— Да... Песня — ничего не скажешь,— говорит отец.

— Великолепная песня!..

— Слушай! Запиши «Течет Волга»,— говорит мать.— Действительно, почему у тебя нет этой песни?

Я ставлю Ги́ла Эванса на полку.

— Не знаю,— говорит отец,— у меня «Днепр-9», и я доволен.

— Сравнили,— говорит родственник.

Мне очень хочется, чтобы отец был доволен тем, что у него «Днепр-9». И я квалифицированно заявляю, что из наших магнитофонов «Днепр-9» — самый лучший. Особенно если учесть, что отцу достался отличный экземпляр... И мне становится жалко своего очкастого, старого, нахохлившегося отца за то, что в конце жизни он имеет из ценностей только эту развалину «Днепр-9»... А у матери вообще сейчас остался только мой старый, нахохлившийся отец... Я предлагаю им чаю, но родственник встает — ему надо успеть в гостиницу. А мать с отцом не хотят опаздывать на лифт...

И они начинают собираться. Теперь только после их ухода я смогу закончить курицу и по-настоящему сесть за пьесу. Отец, кажется, за весь вечер так и не убедил родственника, что я — известный на всю страну человек, и, влезая в пальто, он, между прочим, бросает:

— Ну ладно. Пьеса пьесой, а как дела со сценарием?

— Ничего.

— А что за сценарий? — оживает родственник, застегивая пуговицы на пальто.

— Да как вам сказать...

— А из какой жизни?

— Да про рыб...

— Про рыб?.. Интересно... А кто режиссер?

— Николаев.

— Не слышал...

— Между прочим, очень интересный сценарий,— пытается спасти положение отец.

Но и это не убеждает родственника в том, что я известный на всю страну. Он протягивает мне руку:

— Ну, будь здоров, приезжай к нам в Тюмень, погодишь... Рита будет рада...

Такое говорят только самому заурядному родственнику, и отец хватается за соломинку:

— А какой театр будет ставить пьесу?

— Да какой возьмет...

Родственник ставит точку:

— Эх, не так это все просто... Миша тоже что-то писал...

Так ничего у него и не взяли...

Мне жалко отца, но сказать нечего. Мать выходит из туалета. Я держу наготове ее пальто... «Жена не станет хмуриться, коль муж ей купит курицу...» Это просто про курицу, а надо про вареную...

Первым выходит родственник. Отец наскоро жмет мне руку и выходит следом. Мать целует меня два раза, успевает предупредить, что сейчас повсюду грипп, и что надо беречься, и чтобы в следующий раз я не занимал четверг делами...

До тех пор пока не хлопает парадная дверь, я не закрываю свою...

И вот я уже совсем спокойно сижу на кухне. Больше меня уже никто не прервет, и я думаю в полную силу.

Я знаю, что сейчас они попрощаются с родственником и поедут домой. «Два старых гриба», как часто говорит мой отец. Зимой это больше ощущается. А сейчас зима...

Я знаю, что скажет моя мать моему отцу, когда они останутся вдвоем в лифте:

— Боже мой... Разве я могла когда-нибудь подумать, что он станет таким чужим...

А отец на этот раз ничего не скажет...

Я думаю в полную силу... Я хочу немедленно их вернуть, и буду сидеть с ними всю ночь... Мы будем говорить о чем угодно... Мы будем много смеяться... Как будто ничего не кончалось... Я отдам отцу свой магнитофон... Мы будем долго смеяться... И они останутся у меня ночевать... Как будто ничего не кончалось... А утром я наемся картофельных блинов... Они еще не доехали... И четверг еще не кончился...

«Курица вареная... курица вареная...» Ничего не лезет в голову...

Я сижу и думаю в полную силу о том, что обязательно наступит такой четверг, когда родители уже больше не придут... И после этого, хочу я или не хочу, четверг тоже будет в моем полном распоряжении...

«Курица без потрошков...» «Курица вареная...»

«СОЛОМОН» И СОЗНАНИЕ

Ненаучная фантастика



Вот уже больше сорока лет эта странная карликовая планетка находилась под контролем Земли. Одиннадцать наместников один за другим отправлялись с Земли на эту планетку, и все одиннадцать один за другим были отозваны как несправившиеся...

В конце концов на Земле сконструировали электронного наместника, заложили в его устройство всеобъемлющую мудрость, убийственную логику, способность к детальному анализу и глобальному синтезу, дали за все эти качества библейское имя «Соломон» и транспортировали на странную планетку...

По сути дела, это была не просто планетка, а планетка-предприятие со всеми вытекающими отсюда последствиями. И здесь уже много лет подряд создавали нечто обещающее и абсолютно засекреченное под кодовым названием «паблосуржик».

Никто на планетке не знал, что такое паблосуржик. Одни говорили, что это важная деталь к еще более важной детали... Другие считали, что это одна из форм восстановления лица по черепу... Третьи были убеждены, что это новые секретные образцы долголетия, но никому об этом не говорили. Однако все были уверены, что паблосуржик — это что-то необходимое и розовое и что создавать его надо засучив рукава, всем коллективом, догоняя передовых, подтягивая отстающих, рука об руку, нос к носу... Об этом же каждый день писала и местная газета...

И к вечеру, прочтя газеты, все уходили с работы с сознанием того, что розовый паблосуржик стал на день ближе, на день реальнее. И все понимали, что живые предшественники «Соломона» были не правы. «Конечно, не правы, — писала местная газета, — а как же они могли быть правы, когда они были не правы». Это было убедительно и толкало всех к новым успехам.

Поэтому неудивительно, что «Соломон» застал планетку на «новом небывалом подъеме» (как писала местная газета). Иными словами, все надо было начинать сначала...

«Самое главное — пробудить инициативу и самосознание, — решил «Соломон». — А для этого нельзя позволять им соглашаться со мной по каждому поводу».

И для пробы на первом же митинге «Соломон» сообщил собравшимся, что он круглый идиот. Больше в этот день он ни-

чего не мог сказать, потому что грянула овация, которая до сих пор еще гроыхает...

На следующий день «Соломон» собрал начальников отсеков и заявил, что он не любит оваций...

— Он не любит оваций!.. Он не любит оваций! — восхищенно сказали начальники отсеков и созвали стихийный митинг.

— Не лю-бит о-ва-ций! Не лю-бит о-ва-ций! — скандировали все. Вспыхнула овация, от которой у «Соломона» к вечеру разболелась голова с электронным мозгом.

И вдруг «Соломон» понял, почему паблосуржик до сих пор не построен. Ведь они же все время митингуют!..

И на следующий день он заявил на общем собрании:

— Меньше оваций — больше дела!

От разразившейся в ответ овации у «Соломона» чуть не лопнули предохранительные перепонки, а сама планетка едва-едва не развалилась.

Всю субботу и целое воскресенье «Соломон» ломал свою железную голову над тем, как же пробудить в них то самое самосознание... Удивительное дело. Он назвал себя круглым идиотом, а они не только согласились, но еще и обрадовались.

И тогда «Соломон» решил пойти на риск. Он будет давать такие дурацкие указания, которым даже табуретка должна воспротивиться.

В понедельник он сказал начальникам отсеков:

— Главное в строительстве паблосуржика — это обеспечить брынзовелость!..

Начальники отсеков одобрительно закивали головами.

— Это правильно! — сказал один из них.

— До сих пор мы закрывали глаза на брынзовелость, а это объективный фактор, — сказал другой, — и с ним надо считаться!..

— Надо объявить кампанию за стопроцентную брынзовелость! — сказал третий.

— Подумайте над тем, что я вам сказал, — обратился «Соломон» к начальникам, — примите меры и завтра доложите!

Когда наступил вечер, «Соломон» с ужасом увидел, что вся планетка иллюминирована и разукрашена...

«ЗА СТОПРОЦЕНТНУЮ БРЫНЗОВЕЛОСТЬ!» — кричали неоновые буквы.

«А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ БРЫНЗОВЕЛОСТИ?» — кричали размалеванные плакаты.

«БРЫНЗОВЕЛОСТЬ ПРИБЛИЖАЕТ ПАБЛОСУРЖИК!» — гласила местная газета. А в универсальном магазине в отделе подарков продавали эстампы с видами «Соломона» по 5 руб. 30 коп. за штуку (в переводе на наши деньги).

«Ага! — подумал «Соломон». — Вот тут-то вы и попались!..»

И во вторник он выступил на общем собрании.

— Брынзовелость — это чушь! — кричал он. — Это глупость, которую я выдумал! И среди вас есть такие, которые поднимают на щит любую сказанную мной глупость!.. А где ваше самосознание?!

— Это правильно! — выступил первый начальник. — Еще вчера мы закрывали глаза на то, что брынзовелость — это чушь. Что греха таить... Недоценивали...

— То, что брынзовелость чушь, — это объективный фактор, — выступил другой начальник, — и с ним надо считаться!..

— Надо объявить кампанию за уничтожение стопроцентной брынзовелости! — выступил третий начальник...

Вчерашнее ликование перманентно переросло в сегодняшнее:

«БРЫНЗОВЕЛОСТЬ — ЭТО ЧУШЬ!» — кричали неоновые буквы.

«А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БРЫНЗОВЕЛОСТИ?» — орали размалеванные плакаты.

«БРЫНЗОВЕЛОСТЬ НЕ ПРИБЛИЖАЕТ ПАБЛОСУРЖИК!» — гласила местная газета.

А в универсальном магазине в отделе подарков эстампы с видами «Соломона» подорожали на 40 коп. (в переводе на наши деньги). Среду планетка встречала «небывалым подъемом».

С утра у «Соломона» поднялось электронное давление. Еще бы! Всю ночь он искал способ вызвать разумное неповиновение себе и к утру, как ему показалось, нашел...

Он снова вызвал к себе начальников отсеков и зачитал приказ:

«Уволить с предприятия всех синеглазых блондинов по статье 47/в».

— Наконец-то, — сказал первый начальник. — Раньше мы на них закрывали глаза...

— Синеглазые блондины — это объективный фактор, — сказал второй.

— Надо объявить кампанию, — согласился третий.

«Соломон» повысил голос:

— Почему вы не спрашиваете меня, за что?..

— Значит, так надо, — отчеканили все трое.

— Я уволил их, — закричал «Соломон», — за то, что никто из них ни разу не прогулял!!

— Правильно! — сказали начальники отсеков. — Раз их уволили за то, что они ни разу не прогуляли, значит, на нашей планетке не было и нет прогульщиков!..

«Соломон» вышел из себя. Он был раскален:

— Но ведь это абсурд!

— Да. Раньше мы как-то закрывали глаза на абсурд, — бесстрастно сказал первый.

— Абсурд — это объективный фактор, — поддакнул второй.

— Надо объявить кампанию за стопроцентный абсурд, убежденно высказался третий...

От негодования и изумления у «Соломона» отнялась вторая сигнальная система. Он почувствовал себя настолько плохо, что немедленно уехал домой и лег на техосмотр.

Четверг был объявлен нерабочим днем по случаю отсутствия на планетке прогульчиков.

А в универсальном магазине в отделе подарков эстампы с видами «Соломона» подорожали еще на 40 коп. (в переводе на наши деньги).

Последний удар «Соломон» получил в пятницу, когда прочел в местных газетах, что под его руководством план строительства паблосуржика перевыполнен на 453 процента.

Получалась поразительная картина: по плану строительство паблосуржика должно было закончиться в 2965 году. А по местной газете предприятие строило паблосуржик уже «в счет 2981 года»! Напрягая последние силы, «Соломон» написал на Землю, что все на этой планетке — липа. Подъем — развал. Плюс 453 процента — это минус 453 процента. Паблосуржик — в самом зачаточном состоянии. Начальников отсеков следует немедленно уволить. «Соломон» хотел поставить свою подпись, но в этот момент с ним произошло то, что в некрологах называется «скоропостижно и безвременно»...

Когда на Земле получили письмо «Соломона», то решили, что он что-то перемудрил, и освободили его от занимаемой должности «в связи с переходом в другое состояние».

Неизвестно, кто был следующим и что было потом...

Известно только, что больше всех на этой странной планетке переживали работники отдела подарков из универсального магазина.

Шутка ли?! Склады были завалены эстампами с видами «Соломона», и никто не знал, по какой цене их продавать завтра...

С ВОСЬМИ ДО ВОСЬМИ



Вобщем, когда я взглянул на часы, уже было двадцать минут восьмого. А на дежурство мне надо было к семи... Так что все равно я опоздал...

А какая разница — опоздать в предпоследний день практики на двадцать минут или на час? Все равно зачтут... А тут еще наши завели проигрыватель, который мы взяли на практику из Москвы... И, как назло, была суббота... И тащиться через всю рошу в больницу в субботу, в предпоследний день практики, не очень-то хотелось... И пластинку поставили мою любимую, правда, треснутую, потому что кто-то из нас однажды сел на нее... А главное — Валечка, сестра из терапевтического отделения, пришла в тот день к нам в гости и довольно мило на меня поглядела...

Ну, а я — на нее...

Мы с ней и раньше переглядывались, а сегодня все было как-то по-особенному... То ли потому, что послезавтра мы уезжали, то ли еще почему-нибудь...

Короче, какая-то невидимая ниточка протянулась от меня к ней, и казалось, что между нами должно именно сегодня что-то произойти...

Наши сдвинули кровати к окну, и начались танцы.

Выпить захотелось невероятно, но я знал, что рано или поздно пойду на дежурство, и не взял в рот ни капли...

Это было совсем плохо, потому что, даже когда я выпивал, у меня храбрости в общении с девчонками не прибавлялось, а уж в трезвом виде всей моей смелости хватало максимум на беседу о Римском-Корсакове или о Вагнере... Я тогда жутко застенчивый был... Врал... Вот тебе и медики-циники, медициники!

Я с Валечкой протанцевал подряд три танца. Два танца молчал. Она тоже молчала... Но пару раз переглянулись все-таки... А во время третьего танца плюнул на все, собрался с духом и спросил, любит ли она Вагнера... Ну что я еще мог спросить!.. Валечка кивнула, и я подумал, что теперь все в порядке...

А тут она еще попросила, чтоб я вообще не ходил ни на какое дежурство.

Я бы и рад, конечно, не ходить, но, с одной стороны, боялся, что не поставят зачет, а с другой стороны — все-таки последнее дежурство... Может, хоть какой-нибудь аппендицитик привезут...

Надо же! Четыре недели был на хирургическом цикле, и за все это время мне самостоятельно разрешили только один

раз удалить какую-то дурацкую иголку... Остальное время вязал узлы, снимал швы и делал лимонные корочки!.. Это я-то, член хирургического кружка, человек, который решил всю жизнь посвятить хирургии!.. И когда мне наконец сказали, что следующую операцию сделаю я сам, то, по невероятному невезению, — как мое дежурство, так ни одного случая!..

Поэтому я сказал Валечке, что не пойти на дежурство я не могу, но если ничего не случится, то к двенадцати я вернусь, и мы с ней немного погуляем в роще, если, конечно, она меня подождет... Она сказала, что до двенадцати подождет, но не позже...

По дороге в больницу я почти бежал. Бежал по той самой роще, которая для местных жителей была чем-то вроде парка культуры и отдыха. По субботам и воскресеньям вся молодежь надевала свои лучшие наряды и гуляла в роще... Здесь и ухаживали, и любили, и, случалось, дрались... Так что, если поступал в субботу или воскресенье в больницу какой-нибудь парень с пробитой головой, можно было точно сказать: из рощи... Здесь же, в роще, и стадион был... В общем, не роща, а самый настоящий культурный центр.

Так вот, бежал я по этой роще, порой даже вприпрыжку. Бежал и ивовым прутиком сшибал по дороге листья и желуди с деревьев. Особенно мне нравилось попадать по листу самым кончиком прута так, чтобы рассечь лист по всей длине.

Прыгал я так по роще, посвистывал своим прутиком и думал, как ночью останусь с Валечкой один на один...

И будем мы идти с ней по этой тропинке. А потом окажемся совсем в лесу. Но как мы окажемся совсем в лесу, я даже не представлял...

Мы сядем с ней на траву... Ей станет прохладно, и я накину на ее плечи свою куртку. Мы будем говорить о чем-нибудь. Потом я ее поцелую... Но как я перейду от разговоров к поцелую, я понятия не имел... Потом, может быть, поздно ночью я возвращусь к нашим и тихо пройду к своей раскладушке. И на вопрос проснувшегося Сани: «Ну как?» — я отвечу лениво, по-мужски: «Все в порядке». И так же лениво, по-мужски начну раздеваться.

В этот момент я увидел Гузову, мою бывшую больную, которая выписалась две недели назад. Гузовой было пятьдесят четыре года. Это была очень смешная женщина. Глядя на нее, я всегда вспоминал известный врачебный анекдот, когда врач спрашивает мужика: «Как на двор ходите?» А мужик отвечает: «В сапогах»...

— Ну, как самочувствие, Гузова?

Она как будто ждала этого вопроса.

— Да что уж там, доктор... — заговорила она, точно я был на обходе, — вот тут, справа, все время колония ощущаю... Вот колет и колет, а потом как вдарит, так, что сердце останавлива-

ется... А вчера утром проснулась и ощущаю, что харковище меня душит... Ну, душит и душит... Просто сил нет... И вот, не совру, доктор, после этого целый час с души рвалась одной горечью... Когда у вас лежала-то, лучше ощущала...

Я понял, что разговор становится бесконечным, и сказал, что тороплюсь в больницу...

— А-а... Ну, тогда конечно, — вздохнула Гузова. — И на том спасибо. Душевный вы человек, Сергей Михайлович... Больные вас ох как любят... Спасибо, Сергей Михайлович...

После встречи с Гузовой я почувствовал себя совсем уверенно.

«Сергей Михайлович, — думал я, — доктор Сергей Михайлович... А может, я действительно сегодня стану Сергеем Михайловичем...» И я пошел быстрым, но солидным врачебным шагом, в кедах, в сатиновых черных шароварах и белой майке... Ну, потому что жарко было, а халат все равно давали больничный...

Во дворе перед корпусом, как обычно, гуляли перед сном больные. Больше терапевтические. Ну, и те из хирургии, которые могли двинуться...

Они выглядели очень смешными. Все в застиранных, когда-то фланелевых халатах. Все в стоптанных больничных шлепанцах. Женщины в простых коричневых полуспущенных чулках. А у мужчин из-под халатов виднелись белые кальсоны, заправленные в простые коричневые носки...

Мне не удалось проскочить через двор незаметно, и несколько мужчин обступили меня... Они все хорошо ко мне относились, но как-то несерьезно... Понимали, наверное, что я еще мальчик... Называли Сережей и ценили меня, казалось, только за умение рассказывать анекдоты...

Вот и на этот раз они потребовали от меня новый анекдот... Пришлось рассказать. И пока они покатывались, я сбежал...

Еще в приемном отделении мне сказали, что привезли прободную язву.

Я мгновенно нацепил на лицо маску, вбежал в операционную и увидел, что опоздал... Больной уже был под наркозом, а Иван Андреевич делал разрез. Ему ассистировали операционная сестра и студентка из нашей группы с нелепой фамилией Лошадь. Она тоже сегодня дежурила и торчала в больнице чуть ли не с утра! Не любил я эту Лошадь! Какая-то она была до противного исполнительная и правильная. Вот ведь ни к чему ей эта операция. Ведь хочет быть гинекологом. Но чтоб когда-нибудь уступила свою очередь поассистировать! Нет! Ей лишь бы за крючок подержаться!

Видимо, закон бутерброда, по которому хлеб всегда падает маслом вниз, действовал против меня. Опять почти два часа

только смотреть. Да еще злиться, что не ты assistiруешь, а Лошадь!

А ведь не танцевал бы я с Валечкой, не трепался бы с больными, я бы тоже ассистировал...

— Явились, профессор? — спросил, не глядя на меня, Иван Андреевич. — Пеняй на себя... Пришел бы вовремя, участвовал бы в операции... А теперь смотри...

— Да видел я прободную не один раз, — огрызнулся я.

— А коли видел, так нечего без толку в операционной толкаться! Пройдись по палатам, больными поинтересуйся. Астахова проведай... В Москве-то ведь такое не увидишь, — так же не глядя на меня, произнес Иван Андреевич и наложил кохер на маленький сосудик, из которого фонтанчиком брызнула кровь...

Как я ненавидел в эту минуту Лошадь за ее ехидный, злоградный взгляд в мою сторону!..

Я направился в хирургические палаты и стал думать об Иване Андреевиче.

Вот если бы встретил его раньше в Москве, подумал бы, что это какой-нибудь мужичок-плотничек с хитриночкой, но никак не врач... Говорит быстро, высоко... И все время белую свою шапочку с затылка на брови надвигает...

Мы все с недоверием к нему отнеслись, когда в первый раз увидели; но после того, как он на моих глазах за девять минут справился с аппендицитом от разреза до последнего шва, так я буквально в рот ему стал смотреть... А уж когда узнал, что при всем при этом у него еще и зрение только на шестьдесят пять процентов, так я вообще решил, что это просто некоронванный Пирогов.

Больные на него молились. А с нашей, эгоистической, точки зрения он имел только один недостаток: не очень-то разрешал нам Иван Андреевич самостоятельные манипуляции... Все больше велел смотреть больных, щупать, слушать, расспрашивать... Чтоб мы, как он говорил, «понятие имели».

— Если операцию сделать без понятия, — часто повторял он, — то никакого прока в этой операции нет... Вот мой пятилетний Вася из кубиков любое слово сложить может... «Вася! Сложи слово «транс-фор-ма-тор!» Сложит! А что это за слово такое, «трансформатор», он понятия не имеет... Так вот и вы, прежде чем операцию сделать, должны понятие иметь!..

И мы смотрели больных, щупали, слушали, расспрашивали... По несколько раз одних и тех же...

Думая так об Иване Андреевиче, я вошел в палату, в которой лежал Астахов...

Солнце уже почти исчезло, и последние косые блики его сделали всю палату шафрановой. Стены, простыни, подушки, температурные листы — все было шафрановым... Таким же шафрановым, как Астахов... Только меньше. Потому что

у Астахова был старый, видимо, скirrosный рак желудка величиной почти с детскую голову. Он с каждым днем сдавливал желчные протоки, и Астахов с каждым днем желтел и желтел.

Он поздно дает метастазы, этот скirrosный рак... Но да-ет... И у Астахова метастазы уже были...

Он лежал на спине и неподвижно смотрел желтыми глазами на желтую стену...

— Совсем я пожелтел, — очень тихо и очень задумчиво произнес он.

— Это потому что солнце, Николай Петрович, — сказал я и присел на край его кровати...

Осторожно я сдвинул одеяло к ногам и приподнял белую рубашку... Опухоль была видна на глаз, и пропальпировать ее не представляло никакого труда... Я положил ладонь на желтый живот и ощутил твердое и неподвижное, как пень, образование...

— Ну, вот... Уже почти совсем все размягчилось... — сказал я, не глядя на Астахова, — и подвижнее стало...

Так каждый день на обходе говорил Иван Андреевич. Эта ложь поддерживала в человеке тлевший, несмотря ни на что, тлевший где-то глубоко огонек надежды...

Астахов тяжело вздохнул.

— Все грустно и безотрадно, — так же задумчиво произнес он, и по скулам, обтянутым желтой кожей, скатились две крупные слезы...

— Ну, это уж ни к чему, Николай Петрович...

Я тяжело поднялся с кровати.

Астахов промокнул глаза концом рубашки...

Солнечные блики уже исчезли... Стены снова стали белыми, простыни и подушки стали белыми... Один только Астахов остался шафрановым. Он действительно совсем уже пожелтел за последние дни...

Я вышел из палаты и остановился у окна.

Вот странно. Пройдет три-четыре месяца, все останется на своих местах — будет стоять эта кирпичная больница, будет время от времени поступать в отделение новые больные, будем на пятом курсе мы, а Астахова уже не будет. И ничего, абсолютно ничего нельзя сделать... Пройдет каких-нибудь шестьдесят — семьдесят лет... Так же будет стоять эта кирпичная больница, будут шуршать машины по Волоколамскому шоссе мимо моего дома, будет стоять это старое дерево... И небо будет такого же цвета. А меня не будет... Меня точно не будет... Никогда... Меня никогда не будет... Никогда... Никогда...

Я вздрогнул. Я всегда вздрагиваю, когда начинаю вдумываться в это страшное слово «никогда». Я вздрагиваю, и мне хочется закричать, так закричать, чтобы все услышали, чтобы все обступили меня и напомнили мне о самых ближайших жиз-

ненных делах... О чем угодно... О том, что мне нужен костюм на зиму, об абонеентах на симфонические концерты, о Валечке...

Валечка моментально вытеснила из головы все остальное. Я почувствовал, как учащенно забилось сердце, и стал подталкивать часовую стрелку времени к двенадцати.

За окном по карнизу голубь бегал за голубкой. Он надувал серую грудку и устремлялся за ней. А она безразлично от него уходила. Кончался карниз. Голубка перелетала на другой конец, и все начиналось по новой...

— Сережа! Быстро в приемное отделение! — услышал я с конца коридора и нехотя пошел вниз... Наверное, опять завалился в приемное какой-нибудь пьяный и завел свое толковище. До чего же я не люблю объясняться с пьяными... И ведь напиваются до такой степени, что уже ничего не соображают...

...В приемном возле столика я увидел бледную, растерянную дежурную врачу, сестру, которая позвала меня сверху, фельдшерницу с перевозки и шофера.

В углу на носилках лежало что-то, покрытое серым больничным одеялом.

На скамейке для больных пьяный парняга тер кулаком красное лицо и ревел:

— Мне отрежьте!.. Отрежьте, ему отдайте!.. Всю жизнь на его работать буду!.. Все оплачу!..

Рядом с пьяным сидела молоденькая женщина, видимо его жена, сморкалась и тем же платком промокала слезы...

— Вы, что ли, принимать будете? — бесстрастно спросила меня фельдшерница.

— Очевидно, — неуверенно сказал я. — Что привезли?

— Ампутация... травматическая... Закурить не будет?

Я достал сигарету и дал ей прикурить.

Она затаилась:

— Целый час на путях пролежал... Пока этот обалдуй общил...

— Все оплачу!.. — снова заревел пьяный. — Протезы ему куплю!..

Молоденькая женщина вскочила со скамейки и затараторила:

— И кто же мог подумать, что это правда, доктор?.. Он прибежал, глаза вылупил, водкой разит... Человек, кричит, под поезд через меня попал... А кто мог подумать?.. Может, ему спяну пригрезилось?.. Ну, пока разобрались, пока сообщили...

— Все у меня отрежьте!.. Все!.. — снова заревел пьяный.

— Слушайте! — обратился я к молоденькой женщине. — Берите своего красавца и идите спать. Все. Вы свое дело сделали.

Я подошел к носилкам, нагнулся и высвободил из-под одеяла бескровную руку.

Пульса не было. Я откинул одеяло до пояса и задрал испачканную в земле рубашку. Где-то глубоко-глубоко в груди я услышал намек на сердцебиение.

Я боялся откинуть одеяло совсем и посмотреть на ноги. Я боялся. Я никогда так близко не видел человека, который попал под поезд. В институтском морге я видел все. Я привык ко всему. Но там были только мертвые. Препараты. А здесь передо мной лежал еще живой человек, которому ноги переехало поездом. И поэтому я боялся взглянуть на все это.

— Подавать на стол? — нерешительно спросила сестра.

— Вызывайте второго хирурга, — сказал я, — а я пойду скажу Ивану Андреевичу.

— Он знает. Велел вам мыться.

В первый момент от этих слов я почувствовал где-то в спине такое же ощущение, какое испытываешь, когда высоко-высоко взлетаешь на качелях.

Потом меня подхватил какой-то бурный, неосознанный поток радости, и я ворвался в операционную.

— Ход операции помнишь? — спросил Иван Андреевич, не глядя на меня, продолжая манипулировать.

— Помню! — закричал я.

— Чего раскричался? — продолжал Иван Андреевич. — Наладишь систему переливания и валяй... Про сократимость кожи не забудь... Перед тем как начать пилить кость, расслабишь жгут, перевяжешь сосуды... Ясно?

— Наркоз общий? — спросил я.

— Какой еще общий? При таком шоке общий? Нафаршируешь местно новокаином и валяй...

Ух, какими завистливыми глазами посмотрела на меня Лошадь, которая всего-навсего держала какие-то крючки!.. Ух, как я торжествовал!..

Я натурал щетками густо намыленные до локтя руки и думал, что вот сегодня, несмотря на этот самый закон, бутерброд для меня все-таки упал маслом вверх... Сегодня я сделаю самостоятельную операцию, и какую!..

Я стоял, согнувшись, над тазами с нашатырем. Нашатырь на редкость приятно щекотал ноздри...

Я думал о том, что вот так всегда бывает у врачей и актеров. Незаметный статист случайно заменяет заболевшего гения и сам тут же становится гением. Незаметный студент случайно заменяет врача, занятого на операции, и вдруг все обнаруживают новую звезду хирургии...

Я перешел ко второму тазу...

Как я завтра буду смотреть на наших!.. Мальчишки!.. Практиканты!.. Да я вчера ампутацию делал!.. А может, даже и не завтра, а сегодня... Может, еще и к Валечке успею!.. Таких два события в один день!.. Настоящий день рождения мужчины!..

— Хватит плескаться, Сережа, — услышал я справа от себя голос нянечки.

Сестра подала мне сухие тампоны...

— И как это его угораздило? — почему-то весело спросил я, потирая руки.

И пока я вытирался и облачался в операционный наряд, я узнал, со слов нянечки, что пьяный парняга брел по путям по ходу поезда, недалеко от поворота...

Пьяный ничего не понял, когда кто-то с ругательствами налетел на него. Он только почувствовал сильнейший удар в подбородок и очухался под насыпью. А когда очухался, полез наверх, чтобы расчитаться с обидчиком по справедливости... Влез на насыпь — и тут же протрезвел. Помчался в деревню...

А дальше все так, как его жена рассказала...

Когда была налажена система переливания, когда были введены сердечные, когда все было готово, я подмигнул сестре и сказал весело:

— Ну, начнем?

Она ничего не ответила, и я пинцетом отбросил белую простыню, до пояса покрывавшую неподвижное тело...

С поля зрения исчезло все. Глаза выхватили только ноги. Только безжизненные ноги.

Ноги, которые еще час назад, подчиняясь корковым импульсам, помчались навстречу пьяному дебилу, чтобы продлить жизнь этого дебила еще на сорок — пятьдесят лет. Ноги, которые два часа назад, подчиняясь корковым импульсам, куда-то очень спокойно шли. Ноги, которым мало ли куда предстояло идти завтра...

Я видел только эти ноги, которые сейчас еще соединялись с телом их хозяина непонятно почему уцелевшими грязными лоскутиками кожи.

Я вдруг впервые за все время почти материально ощутил, что эти ноги совсем недавно принадлежали живому человеку. Живому. Что передо мной на столе лежит не препарат, не фантом, не труп. Живой человек, на месте которого я сразу представил своего отца, мать, Лошадь, Ивана Андреевича, себя... Я испытывал страшную физическую боль, как будто все это произошло со мной, а не с ним — лежащим на столе неизвестным человеком.

На этом операционном столе я вдруг увидел совсем рядом жизнь и смерть, которые соединялись друг с другом этими непонятно как уцелевшими грязными лоскутиками кожи. Я почувствовал себя вовлеченным в рукопашную схватку между жизнью и смертью. И в этой схватке я мог драться только на стороне человека, который лежал на операционном столе.

Я понял, да, я понял, что любая моя ошибка, любой неосторожный шаг будут расцениваться как предательство и шпионаж в пользу смерти...

И мне вдруг на мгновение стало страшно...

Мне захотелось не принимать участия в этой схватке, а просто наблюдать ее со стороны, бессмысленно держась, подобно Лошади, за крючки, или, еще лучше, не зная о существовании таких схваток...

Почему я не пошел в геологоразведочный?..

Мне очень захотелось проснуться, именно проснуться. Но я не мог проснуться, потому что я не спал. Я стонал перед операционным столом, на который пикировала смерть. И человек на столе не мог сам от нее защититься...

— Вам плохо, доктор? — будто пронзил меня голос сестры.

Это заставило меня схватить протянутые мне ножницы, и я перерезал грязные лоскутики кожи. Бой начался.

Забулькал в белой эмалированной кружке набираемый мной новокаин.

— Давление? — крикнул я.

— Почти никакого, — ответила сестра.

— Лобелин!.. Строфант!..

Булькал новокаин и со свистом выходил из шприца в разможенные мышцы... Я уже ничего не замечал. Я видел только инструменты и рану.

— Пульс? — крикнул я.

— Появился, — услышал откуда-то издалека.

Порядок! Все будет нормально...

Все будет нормально... Пульс появился... Я действовал очень быстро. Во всяком случае, мне так казалось... Скальпель выскользнул из рук. Я машинально потянулся за ним к полу...

— Куда?! — заорала сестра. Она уже протягивала мне новый.

— Давление? — бросил я.

— По-прежнему...

— Еще лобелин с кофеином!..

Как трудно оттягивать мышцы!..

Сестра одной рукой стала тянуть ретрактор...

Я начал пилить. Как дико будет очнуться этому человеку в больничной палате и почувствовать пустоту там, где раньше были ноги... Я пилил... Потом у него возникнут фантомные боли... Вдруг начнут чесаться несуществующие ноги... Я кончил пилить...

— Давление?

— Пятьдесят верхнее, доктор...

— Порядок!.. Все будет нормально!..

Я ослабил жгут... Слабыми струйками появилась кровь... Короткими очередями заговорили зажимы... Ух, как обрадуется моя мать, когда я расскажу ей про эту операцию!.. Я обязательно специально приеду из Москвы и проведу этого человека...

— Пульс пропал, доктор... Я сделаю еще строфант...— таинственно сказала сестра...

Нет, не может быть! Как это — пропал пульс? Ведь он же появился...

Я не мог себе представить, что появившийся пульс может опять пропасть... Появится... Все будет нормально...

Я не чувствовал жары от верхней лампы, я ничего не чувствовал...

Операционная слилась в какой-то сплошной бело-желтый фон, на котором проглядывались расплывчатые белые фигуры...

— Вроде бы ничего получилась культя,— с удовлетворением отметил я, когда стал стягивать кожу швами.— Подберет протезы и будет ходить... Готов узел. Сначала на костылях, а потом с палочкой... Готов узел... Только бы жена не оказалась сволочью. Готов узел. А может, он и не женат... Готов узел... Найдется человек, который выйдет за него замуж... Одна нога готова...— Я взял палочку с йодом.— Давление?— крикнул я.

— Начинай вторую,— услышал я напротив себя.— Я сам за всем прослежу...

По другую сторону стола оказался Иван Андреевич... Он, очевидно, уже закончил свою операцию... Рядом с ним стояла Лошадь и завистливыми глазами ловила каждое мое движение...

И все я повторил с самого начала...

Иван Андреевич следил за пульсом и давлением, и мне стало совсем спокойно.

Я целиком ушел в операцию, и смерть отступила куда-то далеко-далеко... Когда я дошел до швов, я даже мысленно запел... Я был просто счастлив, что сделал первую свою самостоятельную операцию.

Я был так увлечен, так уверен и так спокоен за исход, что, конечно, и не предполагал, что последние стежки, и аккуратные культы, и палочки с йодом, и стерильные повязки уже совсем были не нужны человеку, лежавшему на столе...

— Все,— сказал Иван Андреевич и сдвинул свою шапочку с затылка на брови.

— Как это «все»?— каким-то чужим голосом переспросил я.

— Все,— повторил он.— Все так, как и должно было быть...

Только тут я по-настоящему понял, что означало это «все».

— Адреналин!..— прохрипел я.— Большую иглу и адреналин!

Сестра вопросительно взглянула на Ивана Андреевича.

Он кивнул.

Я схватил иглу и всадил ее почти на всю длину туда, где должно находиться сердце. Нет! Он не мог умереть! Не мог

умереть человек, которому я сделал операцию! Я выдавил в иглу три шприца адреналина...

— Помогает только иногда, — сказал Иван Андреевич, — но не в этом случае...

Все вокруг стало вдруг приобретать реальные очертания, как на листке фотобумаги, который бросили в проявитель. Белые квадраты кафеля, черные квадраты окон, гладко выбритое лицо бывшего человека, следы земли на левой щеке...

Откуда-то появилась страшная слабость и ноющая боль в пояснице...

И только две мысли: «Умер... Не может быть... Умер... Не может быть... Умер... Не может быть...»

— Заполнишь историю болезни, опишешь операцию, поставишь причину смерти, — отчетливо произнес Иван Андреевич.

— А... кто это? — у меня пересохли губы и пропал голос. Я ничего не знал об этом человеке.

— А кто его знает — кто, — совсем просто сказала нянечка. — Документов при нем никаких... Суббота ведь... Небось не на работу шел устраиваться...

Она нагнулась, закрыла простыней таз, в котором лежали ноги, и понесла этот таз из операционной.

Я стоял в каком-то оцепенении и не мог оторвать глаз от того, что лежало на столе.

— А ты чего? Совсем расквасился? — осторожно заговорил Иван Андреевич. — Ты не квасься... Ты молодец... А его-то уже ничего не спасало... Это мне сразу ясно было... Кабы на полчаса раньше. А ты все отлично сделал... Теперь навсегда запомнишь...

— Если бы была хоть малейшая надежда, вызвали бы второго хирурга? — спросил я, глядя на мертвого.

— А ты считай, что он не умер... Ты все сделал правильно... Для тебя он не умер...

— Значит, обманули, — совершенно убито сказал я и вышел из операционной...

Я сидел в дежурке один на табуретке и смотрел в темноту окна.

В принципе не имело никакого значения, обманул меня Иван Андреевич или не обманул... Видимо, он прав... Если бы на полчаса раньше... Я мысленно повторил весь ход операции... Сестра отвозила его в палату... Я сидел всю ночь у его постели... Он поправлялся... Я хлопотал о его протезах... Он был первым человеком, которого я спас... Если бы на полчаса раньше... И я опять думал об одном и том же... И еще я думал о том, что кончилось что-то для меня этой ночью... И что-то новое началось... Но не понимал, что именно кончилось и что началось...

Потом, как в тумане, уселся рядом со мной Иван Андреевич и, как сквозь вату, говорил что-то... Про то, что вот так именно и становятся взрослыми... Что только тогда приходит мужество, когда сам видишь, как жизнь переходит в смерть...

Потом я, не раздеваясь, распластался на койке... А он все говорил, говорил, пока я не отключился.

Все утро мне казалось, что у меня должны появиться седые волосы... Я долго смотрел в зеркало, но не обнаружил, к сожалению, ни одного... Только синяки под глазами.

— Серебро ищешь? — улыбнулся Иван Андреевич.

Я промолчал.

— Будут еще у тебя серебряные ночи...

Шел я из больницы по той же тропинке, той же рощей, что и вчера... Шел, и мне действительно стало казаться, что он не умер... И что иду я не после первой, а после обычной очередной операции... Кончики пальцев у меня перепачканы в йоде. И это тоже обычно...

А роща принимала свой воскресный вид...

Навстречу попадались знакомые и незнакомые... Многие меня за два месяца уже знали... Кланялись и говорили:

— Здравствуйте, Сергей Михайлович...

И, казалось, они знали, что я провел успешную операцию... И, казалось, оглядывались мне вслед и говорили таинственно тем, кто не знал:

— Это Сергей Михайлович...

И как-то я не очень-то переживал о вчерашней несостоявшейся встрече с Валечкой. У меня было такое ощущение, что была уже такая встреча — только не вчера, а значительно раньше...

И когда я вошел в дом, Саня тут же доложил мне, что Валечка вчера в двенадцать ночи ушла мне навстречу и что интересно, встретил ли я ее...

Я ничего не ответил и стал лениво, по-мужски стаскивать с себя кеды.

Саня сказал, что, судя по моему виду, я великолепно провел с ней время, и спросил: «Как она?»

Я было хотел ответить, что все в порядке, но вместо этого стянул с себя шаровары, улегся на свою раскладушку и безразлично сказал:

— Да не было ничего...

Как-то расхотелось мне врать... Тем более что Лошадь все равно рассказала бы правду...

И ВСЕ РАНЬШЕ И РАНЬШЕ ОПУСКАЮТСЯ СИНИЕ СУМЕРКИ



то казалось невероятным. Это казалось черт знает чем. Но это было на самом деле. Сначала возникли слухи, что он за Ингой ухаживает. Естественно, что все воспринимали это как сплетню. Потом слухи видоизменились до смехотворного. Инга с ним встречается... Естественно, что и это все воспринимали как сплетню. Затем кто-то сказал, что Инга выходит за него замуж, и он переезжает к ней с вещами. Естественно, что это тоже всеми было воспринято несерьезно. В самом деле: как это он может переехать к Инге, да еще с вещами? Интересно, с какими же это вещами? Вот уж действительно, чего только люди не придумают!..

Однако 1 июня, в Международный день защиты детей, все оказались перед фактом: все Ингины друзья приглашены в субботу к ней домой, чтобы скромно отметить довольно знаменательное событие, изюминка которого заключалась в том, что Инга вышла за него замуж... И как бы к этому ни относились, но вышла замуж Инга за коня.

— Нас либо разыгрывают, либо издеваются, — раздраженно сказала Римма, пробежав глазами открытку, в которой черным по белому было написано, что Инга вышла замуж за коня, и что Римма с Реджинальдом приглашены по такому поводу к Инге в субботу.

— Однако, — произнес Реджинальд, отхлебнув из стакана глоток клюквенного киселя, — факт... остается фактом...

— Но может быть, это всего лишь прозвище? — с надеждой произнесла Римма. — Ну, например, его зовут Никоном, а она его ласково называет Конем... Коняшкой?.. Или, может быть, у него фамилия — Конский?

— Все может быть, — сказал Реджинальд, допивая клюквенный кисель, — но их вдвоем видели в парке... Это никакой не Никон и не Конский. Это самый настоящий конь.

— Какая мерзость, — брезгливо сказала Римма и отодвинула тарелку с жарким. У нее даже испортился аппетит. Она вообще не выносила, когда за столом заводили разговоры на некусные темы...

Например, о покойниках или, скажем, о том, что кого-то стошнило... Римма ничего этого не выносила. Такая уж у нее была слабость.

— Какая мерзость, — повторила она, вытирая рот бумажной салфеткой. — Я не говорю уж о неудобстве, о несовместимости, но ведь от них пахнет!

— Дело не в запахе. К запаху в конце концов можно привыкнуть. Дело в том, что это в принципе отвратительно и оскорбительно по отношению ко всем друзьям... Бывшим друзьям...

— Она всегда была экстравагантна, — сказала Римма, — но чтоб до такой степени?!

— Тебе лучше знать — она же твоя ближайшая подруга.

— Именно поэтому я не знаю, как быть с приглашением, — растерянно сказала Римма.

Реджинальд встал из-за стола:

— Насколько мне известно, ни Джемма, ни Капраловы, ни Вердиревские не собираются почтить своим присутствием вновь возникшую молодую здоровую семью...

— Но ведь она действительно моя лучшая подруга... Как-никак, а мы с ней вместе учились и в школе, и в институте... Она всегда была неудачницей... И уж, наверное, не от хорошей жизни решилась на такой шаг...

— Но ты представь меня и себя в его обществе, — со смехом сказал Реджинальд. — О чем, интересно, мне с ним говорить? И каким образом?! Да и вообще, что между нами может быть общего?.. Ты, если тебе интересно, можешь идти, но я...

— Поверь, Реджик, мне самой очень противно, но нельзя обижать Ингу... Ну, хотя бы за то, что именно она нас с тобой познакомила в свое время...

— В свое время! — в голосе Реджинальда проскользнуло раздражение. — Теперь другое время! Можно подумать, что она мне сделала великое одолжение...

Решению этой проблемы были посвящены еще два дня, и наконец в субботу утром Реджинальд согласился. Все-таки демократичность взяла свое.

— Ну, хорошо, — сказал он, — но ведь неудобно же идти с пустыми руками...

— Подберем какой-нибудь красивый букет, — предложила Римма.

— Он может понять это как намек на то, что мы принесли ему клок сена...

— Лошади едят овес, — сказала Римма.

— Представь себе, прекрасно могут жрать и цветы, и черт их знает, что...

— Может быть, сервиз? — неуверенно произнесла Римма.

— Это ей сервиз! А ему зачем сервиз? Ему тогда надо купить ведро!

— Не утрируй!.. Подарим им нашу подкову на счастье... Хотя нет... Что я говорю!..

После долгих споров сошлись на том, что надо подарить что-то индифферентное, и остановились на музыке... Известно, что лошади — народ музыкальный... В середине дня были куплены проигрыватель «Концертный» и одна пластинка. На

одной стороне — «Полька-бабочка», а на другой стороне — «Два марша Чернецкого»... Черт их знает, какую они любят музыку, а в маршах все-таки есть что-то кавалерийское...

И вот июньским вечером, тяжелым и знойным, Римма и Реджинальд звонили в квартиру Инги, ощущая при этом какое-то неприятное волнение. За дверью послышались сначала глухая возня, будто кто-то спешно надевал на себя что-то, а затем звуки, напоминающие не то шаги, не то цоканье. Реджинальд несколько отступил назад. Римма убрала сползшую с ключицы белую ляпочку и водворила ее на место.

Дверь открыл он сам.

— Ну, наконец-то, — сказал он, — наконец-то, наконец-то... А то уж мы заждались, заждались мы вас, заждались...

Римма и Реджинальд робко, боком прошли в переднюю.

— Здравствуйте, — тихо выдавила из себя Римма.

— Здравствуйте, — прокашлял Реджинальд.

— Ну, конечно!.. Конечно же! Конечно! — обрадованно сказал он.

Из комнаты выпорхнула загоревшая Инга и с криком бросилась к Римме:

— Римуля! Лапочка! Я так рада, что вы пришли! Так рада! Так рада!

Они поцеловались.

— Поздравляю тебя, — заговорила Римма. — Я так счастлива, так счастлива! Так счастлива, что просто не нахожу слов, как я счастлива! Мы так с Реджинальдом за тебя счастливы!

— Мы рады за тебя с Риммой и счастливы, — сказал Реджинальд, протягивая руку Инге.

— Мог бы и поцеловать по такому случаю, — подтолкнула Римма Реджинальда.

— Мы тебя поздравляем, — поцеловал Реджинальд Ингу.

Инга тоже поцеловала Реджинальда.

— А это мой муж. Познакомьтесь, — сказала она.

Он протянул Римме мускулистую грубоватую правую руку:

— Тулумбаш! Тулумбаш я... Тулумбаш II.

— Очень приятно... Римма, — выдохнула она. — Поздравляю вас. Вам так повезло. Ингуля такая чудесная женщина. Это просто клад!..

Он протянул руку Реджинальду:

— Тулумбаш!.. Тулумбаш II.

— Очень приятно, — поклонился Реджинальд. — Реджинальд.

— Как? — спросил он. — Как вы сказали? Как?

— Реджинальд, — повторил Реджинальд.

— Очень красивое имя! — сказал он. — Очень... Просто очень красивое имя...

Реджинальд протянул ему коробку с проигрывателем и пластинкой:

— Это вам с Ингой от нас с Риммой... Поздравляю вас и завидую... Инга — чудесная женщина. Она настоящий клад, как заметила моя супруга...

— Ишь ты, поди ж ты, — закокетничала Инга. — Ну уж прямо... По-моему, Башик должен завидовать вам!.. Ты знаешь, Башик, Римма такая чудесная женщина! Это она клад, а не я!..

— И ты клад, и она клад, — улыбнулся Тулумбаш II. — Два клада; она клад, и ты клад.

Римма уже более смело смотрела на него. У него было обыкновенное, может быть, чуть более продолговатое лицо, большие очки в роскошной, видимо, заграничной оправе. Улыбка обнажала крупные, крепкие, слегка желтоватые зубы.

И все прошли в комнату и расселись за великолепно сервированным столом.

Римма насчитала двадцать три вида всевозможнейших и пикантнейших закусок и двадцать видов вин и более крепких напитков. Кроме того, каждому полагалось по три ножа — большому, поменьше и с зубчиками, и по три вилки — большой, поменьше и с двумя тонкими зубцами...

— Какая прелесть! — неподдельно восхищенно сказала Римма.

— Прямо как на обеде у мадагаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики, — сказал Реджинальд.

— А вам приходилось там бывать? — спросил Тулумбаш II.

— Да уж, — небрежно ответил Реджинальд. — При первой же возможности побывайте.

— Очень завидно... Очень... Просто очень даже завидно, — сказал Тулумбаш II. — А я был в тридцати четырех странах, а у мадагаскарского консула не был, не был у мадагаскарского консула... Не был...

— В тридцати четырех?! — захлебнулась Римма и подумала о том, как же все-таки повезло этой дурочке Инге.

— Не знаю, — размеренно произнес Реджинальд. — Я лично был на обеде у мадагаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики и ни на что это не променяю... Ну а, интересно, в качестве кого же вы ездили в тридцать четыре страны?

— В качестве рысака ездил, — сказал Тулумбаш II. — Ездил в качестве рысака...

— Не знаю, — Реджинальд положил на тарелку две ложки салата, три шпротины и два ломтика ростбифа. — Не знаю... Я лично предпочитаю, — положил туда же два помидора, лососину и потянулся за сыром, — я лично предпочитаю ездить сам,

нежели, — положил туда же квашеной капусты, сациви и залил все получившееся майонезом, — нежели когда на тебе ездят.

— Есть еще много тарелок, — сказала Инга.

— А зачем зря посуду переводить, — ответил Реджинальд и начал есть.

— Это старый спор, — улыбнулся Тулумбаш II, — старый это спор... Вам кажется, что вы ездите на нас, что вы на нас едите, а нам кажется, что, наоборот, мы вас возим... Возим мы вас... Возим...

— Ну и прекрасно, — захохотал Реджинальд, — вы нас возите, а мы будем на вас ездить!..

— А вы в Италии тоже были? — осторожно спросила Римма. Римма мечтала побывать в Италии. Такая уж у нее была слабость.

— Был, — сказал Тулумбаш II. — Был. Один раз был. На международном аукционе в Турине... Продавали меня. Продавали. Но, слава богу, не продали. Не продали. А брата моего продали. Брата моего по отцовской линии продали. Иноходец он. Иноходец.

— Да уж, наверное, теперь и иномыслец, — сказал Реджинальд и выпил рюмку коньяка.

— Ешьте и пейте сколько угодно, — сказала Инга. — А на Башика не обращайтесь никакого внимания. В смысле мяса он вегетарианец, да к тому же завтра у нас ответственные соревнования. Так что нам надо быть в форме. Верно, милый?

— Большой летний приз, — гордо произнес Тулумбаш II. — Десять тысяч баллов! Десять тысяч!..

— Это сколько же в переводе на наши деньги? — изумленно спросила Римма.

— Не знаю, — сказал Тулумбаш II, — даже не знаю. Это интересует наездников, а для меня самое главное — не проиграть. Не проиграть — самое главное. Не проиграть!..

— На ипподроме все — жулики, — твердо отчеканил Реджинальд.

— Ну, уж не все. Не все жулики. Не все уж... И потом, жулики могут быть где угодно. Где угодно могут быть жулики. Где угодно.

— А вы, я вижу, склонны к обобщениям, — настороженно проговорил Реджинальд.

Римма поспешила вмешаться, так как она видела, что Реджинальд уже довольно прилично выпил и способен на оскорбления.

— Ты не совсем прав, Реджин, — сказала она. — Это ты обобщаешь, говоря, что на ипподроме все — жулики...

— Обойдемся без адвокатов, — оборвал Реджинальд. — Что значит, жулики могут быть где угодно? Значит, там, где я работаю, тоже могут быть жулики?.. Да за такие намеки я, будь на

то моя воля, ваше заведение разогнал да в кавалерию... Или в конную милицию... Все польза была бы!..

Тулумбаш II то и дело поправлял очки и улыбался.

— Он шутит, Тулумбаш II! — мягко сказала Римма. — Он просто очень любит свою работу.

— Давайте немного посидим на балконе, — попробовала переменить тему разговора Инга. — А то очень душно... Башик почитает свои стихи...

На балконе было легко и, пожалуй, даже свежо — во-первых, потому, что вечер уже почти наступил, и, во-вторых, потому, что за крышами домов справа небо почернело и время от времени доносилось оттуда порывистое прохладное дыхание. Ворча и подмигивая, приближалась гроза.

Тулумбаш II принес из комнаты накидку из мягкого лоснящегося коротенького меха и набросил ее на плечи Инге.

— Действительно, зябковато, — поежился Реджинальд. — Принеси-ка мне пиджак, Римма!

Римма, только что уютно устроившаяся на маленьком стуле, встала и принесла Реджинальду пиджак.

— Ну, ну! Давайте, давайте! — сказал он.

— Я иногда пишу стихи, — виновато сказал Тулумбаш II. — Иногда. Пишу иногда. Инга их переводит.

— Слишком громко сказано, — смутилась Инга.

— И-и... — начал Тулумбаш II, — и все раньше и раньше опускаются синие сумерки, и дорожка становится тяжелой и мокрой, и в лица наездников летят комья грязи, и это значит, что кончается летний сезон, и начинается сезон зимний, и скоро предстоит перековка, и тот, кто скорее перекуется, тот и будет опять занимать призовые места...

— Без рифм? — спросил Реджинальд.

— Утрачены в переводе, — грустно сказал Тулумбаш II, — в переводе утрачены. Утрачены...

Он свесил через перила свою голову и уставился вниз. Его темно-рыжая аккуратно подстриженная шевелюра приходила в легкое движение при каждом порыве ветра.

— Вот та-ак, — протянул Реджинальд, — а я стихов не люблю. Я люблю песни...

— Мы вам подарили проигрыватель «Концертный» и пластинку с маршами, — перебила Реджинальда Римма, опасаясь, что он сейчас запоеет...

— А я не люблю марши, — тихо произнес Тулумбаш II, — по-прежнему глядя вниз, — не люблю. Мы под них выезжаем на круг... Выезжаем... Я люблю Гайдна. Гайдна люблю.

— Башик и меня научил любить Гайдна! — похвасталась Инга.

— А кто не любит Гайдна? — сказал Реджинальд. — Все любят Гайдна.

— Уж конечно, — зло фыркнула Римма.

В эту минуту она поймала себя на том, что завидует Инге. Завидует Ингиной беспринципности. Была бы она тоже беспринципна — тоже была бы счастлива. Также могла бы устроить свою личную жизнь. В конце концов внешне она много симпатичнее Инги... Но нет, нет! Это несовместимо. Если от него не пахнет, то вообще-то от них пахнет... За границу часто ездит...

— И долго вы еще будете ездить? — спросила она. Римма имела в виду «заграницу», но Тулумбаш II не понял ее.

— Пока резвость не потеряю, — ответил он, — или ногу не сломаю. В этом случае меня, очевидно, лишат жизни...

— То есть как?! — ахнула Римма.

— Очень просто. Просто. Наше содержание обходится очень дорого. Дорого обходится. Дорого... Раз уж мы не можем ездить...

— Вы не представляете, как дорого обходится их содержание! — поддержала Инга.

— Но ведь это бесчеловечно! — возмутилась Римма.

— Вряд ли здесь уместно это слово, — сказал Реджинальд. — Это логично и по-хозяйски... Верно?

И Реджинальд дружески хлопнул Тулумбаша II.

— Верно! — засмеялся Тулумбаш II и тоже дружески хлопнул Реджинальда. — По-хозяйски!.. Верно!..

— А если вы потеряете эту... скорость? — настаивала Римма.

— Резвость, — поправил Тулумбаш II, — резвость, а не скорость. Если я потеряю резвость, если потеряю, то меня могут направить на конзавод производителем... На конзавод.

— Интересно, как на это посмотрит ваша супруга? — сказала Римма.

— Римуля, но ведь это работа, — обиделась Инга.

— Любая работа почетна, — сказал Реджинальд. — Тем более на заводе.

— Не знаю, — не сдавалась Римма. — Я бы лично не позволила...

— Прекрасно позволила бы, — сказал Реджинальд. — Не всем же работать на таком месте, как я. Понадобились бы деньги — прекрасно бы позволила...

Вечер наконец-то разродился грозой. Хлынул ливень. Все убежали в комнату и стали пить чай.

— Вы и чай не пьете, — удивился Реджинальд.

— Мне нельзя много жидкости, — сказал Тулумбаш II. — Нельзя. Особенно на ночь. Особенно.

— Почки? — доверительно спросил Реджинальд.

— Нет. Что вы!.. Режим... Что вы!..

— Не представляю, как мы доберемся домой, — забеспокоилась Римма.

— Я вас довезу. Довезу я вас. Довезу, — с улыбкой сказал Тулумбаш II.

— Он вас довезет, — подтвердила Инга.

Он вышел и вернулся через минуту в непромокаемой широкой-широкой шляпе, из-под которой торчали уши, и протянул Реджинальду хлыст.

— Я не знаю, где вы живете, — сказал он, — не знаю. Поэтому вам придется мною править... Править придется... Вы берете в руки вожжи и правите мной... Правите... Если надо вправо — вы натягиваете правую вожжу, правую... Мне становится больно... Больно становится... Понимаете? И я, чтобы ослабить боль... Чтобы боль ослабить, поворачиваю направо... Точно так же — налево...

— Действительно, просто, — обрадовался Реджинальд.

— А если надо быстрее, — добавил Тулумбаш II, — вы меня хлестнете вот этим хлыстом...

— Не задерживайся, Башик, — сказала Инга. — Тебе в шесть утра надо быть на месте.

Инга поцеловала сначала Римму, потом Реджинальда, потом Тулумбаша II.

«Как она может?» — подумала Римма и опять позавидовала Инге.

Когда спустились во двор, Тулумбаш II натянул на небольшую двуколку брезентовый верх. Римма и Реджинальд забрались под брезент и тронулись...

Они мчались по мокрому асфальту. Реджинальд дергал вожжи то вправо, то влево, время от времени подхлестывая Тулумбаша II. Встречный озонированный ветер выдувал постепенно весь хмель.

— Давай! — кричал Реджинальд. — Давай!

Римме было очень приятно, но она боялась только одного: как бы Реджинальд не загнал Ингиного мужа до такой степени, чтобы он уже не мог остановиться. Ведь читала же она про такой случай не то у Флобера, не то у Мопассана. И в кино видела.

Глупо было бы не использовать предоставившуюся возможность и не покататься. Сначала они поехали на Ленинские горы, потом по метромосту спустились на Комсомольский проспект, выехали на Садовое кольцо и махнули к ВДНХ. От ВДНХ прокатились к Останкинской телебашне и помчались на Фрунзенскую набережную. Домой.

— Ух, как далеко вы живете, — сказал Тулумбаш II, когда они наконец остановились. — Ух, как далеко... Я очень сожалею, что не могу повозить вас немного по городу... Не могу... Не имею времени... Времени не имею...

— Не расстраивайтесь,— успокоил его Реджинальд.—
В другой раз.

— Непременно, непременно,— закивал Тулумбаш II,—
ждем вас в гости... Ждем...

Они вошли в подъезд, а он развернулся, мотнул головой
и потрусил обратно.

— Он очень мил и интеллигентен, несмотря ни на что,—
зевнув, произнесла Римма, когда они поднимались в лифте.

— Да... В общем-то, да,— согласился Реджинальд.

— И по-моему, симпатичен... Как ты считаешь?

— Да... В какой-то степени,— согласился Реджинальд.

— И все-таки надо их как-нибудь пригласить к нам,
— неуверенно предложила Римма.

Реджинальд поднял брови:

— Пригласить к нам?! Его к нам?! Только этого мне
и не хватало!!!

И Реджинальд дико заржал.

1966

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ

Письмо в редакцию журнала «За здоровый быт» от гр-ки Т.

Дорогие товарищи!



Может быть, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых, но не могу не поделиться своей собственной трагедией, которая постигла меня на заре моей жизни. Я встречалась с Евдокимовым Петром (не хочу упоминать его профессию). И только тогда, когда я раскрыла ему все свои объятья, поняла, какой он негодяй. Но было уже поздно — половина второго ночи. Теперь у меня грудной ребенок, который должен страдать из-за моей неосторожности. Мне все равно не жить, но не покиньте дитя.

Письмо гр-ке Т. из редакции журнала «За здоровый быт»

Уважаемая Т.!

Мы полностью сочувствуем тебе в твоей трагедии. Но легче всего уйти из жизни без борьбы за существование ребенка. Не торопись принимать роковое решение. Срочно высылаем к тебе нашего корреспондента.

Письмо в журнал «Семья и техникум» от гр-ки Т.

Товарищи!

Когда вы получите это письмо, я сама уже буду глубоко-глубоко под землей или под водой, еще не решила, где. Два года назад ушел от меня Евдокимов Петр, на всю жизнь оставив мне грудного ребенка. Жизнь моя на этом оборвалась, и я попросила совета и помощи в журнале «За здоровый быт». Оттуда приехал корреспондент, которому я доверила все то, что у меня наболело. Теперь у меня двое детей, а от корреспондента ни слуху, ни духу. Жить больше не могу, прощайте.

Письмо гр-ке Т. из журнала «Семья и техникум»

Милая Т.!

Мы понимаем тебя. Но не делай глупостей! Мужайся! Послали к тебе нашего опытного педагога-редактора.

Письмо в журнал «Наука и жизнедеятельность» от гр-ки Т.

Дорогие товарищи!

Что ж это получается! Ушел от меня Евдокимов Петр — оставил мне грудного ребенка. Пожаловалась я в журнал «За здоровый быт», у меня родился второй ребенок. Тогда я обратилась в «Семью и техникум». Приехал какой-то педагог-редактор, который целый месяц учил меня жить. У меня сейчас трое сирот, и, если вы не поможете, оставаться им без матери.

Письмо из журнала «Наука и жизнедеятельность» гр-ке Т.

Многоуважаемая Т.!

Вы уже многое пережили. Неужели же сложность и фатальность жизненных коллизий не оставляют вам надежд на возможный прогресс в вашей личной и общественной жизни? Не лишайте же себя жизни, т. е. способа существования белковых тел. К Вам вылетел наш зав. отделом общей биологии.

Письмо в журнал «Воинская честь» от гр-ки Т.

Защитники!

Обращаюсь к вам, потому что не у кого больше просить защиты. Я многодетная мать, хотя и молодая. Сначала меня бросил Евдокимов Петр. Это один ребенок. Я обратилась в журнал «За здоровый быт». Это два. Затем я обратилась в «Семью и техникум». Это уже три. И, наконец, от «Науки и жизнедеятельности» — двойняшки. Справедливости никакой! Жизнь моя поругана и больше никому не нужна. Отомстите!

Письмо из журнала «Воинская честь» гр-ке Т.

Наша дорогая Т.!

Гордимся тобой! Крепись! Держись! Ты и твоя жизнь нужны нашим воинам. Сообщаем тебе радостное известие: к тебе с большим подъемом изъявила желание поехать группа старшин-сверхсрочников энского подразделения.

Твоя «Воинская честь».

УКАЗ

О награждении гр-ки Т. орденом «Мать-героиня».

Письмо гр-ки Т. (мне лично)

Уважаемый товарищ сатирик Арканов!

Недавно смотрела вас по телевизору и подумала: много лет тому назад от меня ушел Евдокимов Петр... (и т. д. и вся история).

Ответ гр-ке Т. (от меня)

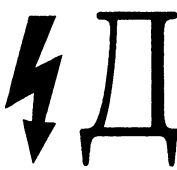
Уважаемая гр-ка Т.!

К сожалению, я в командировки с этими целями давно не езжу.

Ваш Арк. АРКАНОВ

1967

ПЕЛЬМЕНИ НА ПОЛУ



девятый час утра.

— Что мне надеть? — спрашиваю я.

— Что хочешь! — слышится из кухни.

— Э-э... Опять то же самое.

Я сажусь в кресло и закрываю глаза, вместо того чтобы...

...И вместо того чтобы небо с самого утра было синим, а снег на улице — белым, да таким белым, чтоб необходимо было щуриться и чихать, вместо всего этого — серость. И не просто серость, а асфальтовая серость, от которой медленно и вяло начинает болеть голова.

Для меня это самое тягучее время: осень вроде кончилась, дожди — тоже, температура минусовая, а снега нет и в помине. Всюду сплошной асфальт. И небо — асфальт. И ветер серого цвета. И так уже две недели подряд...

А мы с ней живем девятый год.

— Что мне надеть? — спрашиваю я.

— Что хочешь.

Я достаю из шкафа новый костюм.

— Правильно, — говорит она, — надо будет куда-нибудь выйти — нечего будет надеть.

— А мне противно каждый день таскать одно и то же.

— Надень брюки и свитер.

Брюки и свитер... Не хочу я брюки и свитер... А ей, конечно, все равно, что я надену. Хотя в отношении нового костюма она права. Но почему такое безразличие? Ведь то же самое можно сказать и по-другому...

— На брюках пуговица отлетела, — говорю я.

— Оставь. Я пришью.

— Я сам пришью.

— Пришивай... Да что ты хочешь? Пожалуйста! Надевай новый костюм!

Я лезу в шкаф и достаю новый костюм. Вообще-то жалко, конечно.

— Надень все, что есть! — говорит она. — Только потом не ной, что не в чем будет пойти в театр.

Я вешаю костюм в шкаф.

— Мое дело! — говорю я. — Что хочу, то и надену!

— Картошку пожарить или пюре?

— Мне все равно.

— Мне тоже все равно. Я ее вообще не ем.

— А для одного меня нечего возиться.

Я пришиваю пуговицу, а она гремит на кухне. Через некоторое время она заглядывает в комнату:

— Подавать на стол?

— Не юродствуй!

И мы молча завтракаем.

— Чай или кофе? — спрашивает она.

— Все равно.

— Все равно так все равно. Что хочешь, то и нальешь.

— Я вообще могу не есть!

Я отодвигаю еду и встаю из-за стола. Сажусь в кресло в угол комнаты и начинаю наблюдать за ней. Она нарочито спокойно собирает посуду и несет ее на кухню.

Уже пятый год у нас такая ерунда. Мы словно заряжены на конфликт. Поводы самые разнообразные, самые нелепые, самые неожиданные. Причем у нее нет никакого мужского интереса на стороне. Это я знаю точно. Иначе она бы сразу ушла. Она такая. У меня тоже никого нет. И она это знает. Так в чем же дело?..

Она входит в комнату и начинает якобы безразлично приводить себя в порядок...

Так в чем же дело?.. Эти никчемные частые склоки действуют изнуряюще. Я чувствую, что с каждой такой ссорой тупею и тупею. Ее глаза тоже за последние годы приобрели какой-то металлический оттенок. Нет, в них нет ненависти ко мне. Иначе бы все уже давно решилось. Я тоже не испытываю к ней неприязни. Ведь если бы я ее ненавидел!.. Если бы она была дурой, неряхой, вредной, шлюхой! О, как бы все было просто!.. То есть, разумеется, и тогда не все было бы просто. Но я бы наверняка преодолел эту невероятную силу притяжения, которая называется привычкой. Однако она не дура, не неряха, не вредная, не шлюха. И в то же время жизнь наша за последние пять лет стала какой-то механической...

Вот она влезает в свое самое любимое платье. Это платье она всегда надевает после очередной ссоры. А так как ссоры у нас чуть ли не каждый день, платье уже успело поизноситься. Но оно по-прежнему ей идет, и в этом платье она всегда старается подчеркнуть полную независимость от меня. Кроме того, когда в мирное время мы выходим с ней в театр, она тоже надевает это платье, и тогда я завязываю ей сзади тесемочки. А когда она надевает его после ссоры, я, естественно, сижу в кресле в углу комнаты, и тесемочки завязывать приходится ей самой. Хотя это и очень неудобно.

И что делать? Разводиться? Но где логика? Из-за чего? По какому поводу затевать эту бракоразводную тягомотину? А главное — в перерывах между ссорами все бывает не так уж плохо. И в то же время я понимаю, что надо бы развестись и через год мы друг другу скажем спасибо... Ну, не через год,

так через пять... Однако не представляю, как можно расстаться практически на ровном месте...

— Куда ты идешь? — спрашиваю я.

— Не твое дело!

— Когда ты придешь?

— Когда приду, тогда буду!

И в этот момент у нее начинается беззвучная истерика лицом в диван. А я хожу по комнате, курю и произношу не очень цензурные слова.

Когда она плачет, я теряю последние признаки рассудка и уже не нахожу никакого выхода.

Кошка наша в такой момент всегда забирается под диван, и ее долго не видно.

— Прекрати! — угрожающе говорю я. — Лучше прекрати!

Она вся содрогается.

— Если ты не прекратишь, — говорю я, трясая ее за плечи, — я не знаю, что я сейчас сделаю.

Она содрогается еще сильнее. Я действительно не знаю, что я сейчас сделаю.

Однажды я брякнул об пол телефон с такой силой, что он разлетелся на маленькие и большие колесики. Но это не помогло. И вообще я заметил: ломка вещей в квартире вызывает у нее только новый приступ истерики.

Я мечусь по комнате, как затравленный. Ну, что делать? Что?!

— Если ты не прекратишь, — кричу я и не узнаю своего голоса, — я не знаю, что я сейчас сделаю! Считаю до трех. Раз!.. Два!.. Три!..

Она не унимается.

— Уйди отсюда!! — неожиданно кричит она, и теперь я не узнаю ее голоса. — Уйди! Ты мне противен!!

Ах, вот как! Я ей противен! Вот в чем дело, оказывается. Тогда все понятно. Только почему именно сегодня?.. Не знаю откуда, но решение возникает в голове молниеносно, и я лихорадочно начинаю его выполнять.

Я быстро одеваюсь... «Противен»!.. Как просто!.. Все! Немедленно, сию же минуту!.. «Противен»!.. Никаких разводов! Избавлюсь тотчас же. Как отрезать! И все! Все!.. «Противен»!.. Я бросаю в чемоданчик ее самые необходимые вещи. Все. Это самое правильное!.. Я заворачиваю ее в одеяло, хватаю подмышку, выскакиваю на улицу...

Я почти бегу по серому холодному асфальту к Центральному рынку. Ветер запахивает полы моего пальто и задувает в брюки... Хоть бы одна снежинка. Хоть бы маленькая дырочка в небе...

— Хочешь меня продать? — спрашивает она из одеяла.

— Не твое дело!

- Ну и дурак. Пожалеешь.
- Это уж мое дело!
- Газ выключил?
- Не твоя забота!
- Мне нечем дышать, — говорит она, ворочаясь в одеяле.
- Надышишься с другим!..

Она больше до самого рынка не говорит ни слова.

Этот рынок мне хорошо знаком. Я сюда закахивал. Не то чтобы часто, но и не так уж редко. Иногда один, иногда с ней. Бывало, в мирные промежутки утром в воскресенье мы приходили с ней на этот самый рынок и, потолкавшись достаточное количество времени, набивали нашу большую хозяйственную сумку всякой всячиной. И нам этой съестной всячины хватало на неделю...

Я хожу по рядам и ищу место, где бы можно было пристроиться. Но это очень трудное дело. Причем неизвестно, кого больше — тех, кто хочет купить, или тех, кто хочет продать. Те, кто хочет купить, не подпускают меня к прилавку, думая, что я лезу без очереди. А те, кто хочет продать, стоят за прилавками сомкнутыми рядами и сантиметра не уступят от своего места новому конкуренту. Есть, правда, местечко возле бочки с квашеной капустой. Там бы можно устроиться, но, во-первых, весь прилавок мокрый, а во-вторых, из бочки несет таким засолом, что я не выстою и пяти минут... Только минут через сорок я протискиваюсь в цветочный ряд и располагаюсь между огромными кровавыми гвоздиками и бледно-сиреневыми японскими хризантемами.

— Вот, — говорю я ей, — Ты, кажется, любишь цветы... Пожалуйста.

Я освобождаю ее до пояса из-под одеяла и устанавливаю лицом к покупателем. Она молчит. Я тоже молчу. Мне холодно. А оттого, что нет снега, и от ярких цветов мне еще холоднее. Нос синее. Я поднимаю воротник пальто, надвигаю кепку поглубже и становлюсь похожим на типичного рыночного торговца. Даже курю, не вынимая рук из карманов.

— Застегни верхнюю пуговицу. Простудишься, — говорит она и хочет застегнуть мне верхнюю пуговицу пальто.

— Не лезь! — огрызаюсь я.

Я застегиваю пальто на верхнюю пуговицу и жду...

— Купил бы гвоздичку барышне, — говорит торговка слева.

Я не отвечаю и курю. Купить ей гвоздичку — значит идти на примирение. А я этого принципиально не хочу. И потом, я уже все решил.

— Почему? — спрашивает меня сморщенный инвалид на деревянной колобашке.

— Что «почем»?

— Почем баба, спрашиваю?

Ах, да! Ведь я же ее продаю!.. Но откуда же мне знать — почему? Не в деньгах ведь дело, а в том, что это единственный выход из создавшейся ситуации...

— Все равно, — говорю я.

Он долго рассматривает ее со всех сторон. Особенно долго изучает руки.

— Э! — кричу я. — Ты смотреть-то смотри, а руками не трогай! Не купил еще!

— И то верно, — говорит инвалид. — Городская она?

— Городская, городская... С высшим образованием...

— Жаль, — говорит инвалид. — Трудно ей будет за мной присматривать. Небось к сельской жизни непривычная... А глаза у ней хорошие, теплые... Жаль...

Инвалид уходит, подсакивая на своей колобашке. Я мелко смотрю на нее. Ее как будто ничего не касается.

— Вчера мать звонила, — говорит она в пространство.

— Тебе-то что? — сухо говорю я.

— Мне-то ничего. Твоя мать, а не моя.

Куда это она все время смотрит? Я прослеживаю взгляд и вижу высокого парня в замшевой куртке. Он стоит, прислонившись к табачному киоску, и смотрит на нее. Но как-то нехорошо смотрит... Я резко поворачиваю ее в другую сторону. Еще каждый будет глазеть!.. Купи и глазей сколько влезет!

— Еще раз туда посмотришь, — говорю ей, — так врежу!

— Папа, купи маму! Папа, купи маму!..

Мальчишка лет шести с белым шарфом, повязанным поверх воротника пальто, тянет за руку мужчину в галошах. В другой руке у мужчины в галошах — набитая сумка. А у мальчишки под носом — две сопливые дорожки.

— Денег нет, — поспешно говорит мужчина в галошах.

— Ну купи маму, пап!.. Купи!.. — мальчишка тянет и тянет его к прилавку, за которым стою я с ней.

— Она некрасивая! — Мужчина в галошах рывком уводит мальчишку.

— Нет, красивая! Красивая!.. Купи маму!

— Она злая!

— Нет, не злая! — мальчишка упирается изо всех сил и оглядывается на нас. — Она добрая!.. Смотри, она плачет!.. Она добрая! Хочу маму!..

Мужчина в галошах отвешивает мальчишке хорошую оплеуху, и они исчезают в толпе.

Я смотрю на нее. Глаза у нее действительно переполнены слезами. Видимо, от холода.

— Сейчас ресницы потекут, — говорю я.

— Не твое дело!.. Дай платок.

Я протягиваю ей мятый платок. Представляю, как бы все ослохнилось, если бы у нас были дети...

Еще не начало темнеть, а уже зажигаются рыночные фонари, и от их света становится еще холоднее.

В том, что у нас не было детей, никто не виноват. Ни она, ни я. Все, что она нажила почти за девять лет со мной, удалось запихнуть в один небольшой чемоданчик. В этом тоже никто не виноват... «Противен!»..

Высокий парень в замшевой куртке останавливается возле нас, смотрит на нее, ничего не говорит и улыбается. А она глядит куда-то мимо него и тоже чуть-чуть улыбается... Только так улыбается, как будто ей что-то снится.

Парень не уходит, и я начинаю чувствовать внутри нечто, похожее на подташнивание.

— Ну что? — спрашиваю я одеревеневшим голосом.

— Ничего, — отвечает парень в замшевой куртке и продолжает улыбаться.

— И нечего зря глазеть!

— Цена дикая? — спрашивает он безнадежно.

Я смотрю на нее. Она молчит... Небось сама хочет, чтобы я ее продал этому парню. Потому и молчит. Иначе сказала бы что-нибудь или хотя бы взглянула на меня.

— Ну, так как? — настаивает парень.

Он молчит. Но я на этот раз тоже не уступлю! Черт с ней! Противен так противен! И я вдруг выкрикиваю так, что весь рынок испуганно поворачивается в мою сторону:

— Сколько дашь, за столько и бери! Только живо!

— А вот все мои деньги, — говорит парень и выгребает из замшевой куртки бумажки и мелочь. — Вот только пятерку себе оставлю.

Он бросает деньги на прилавок.

— Натерпишься с ней, — говорю я.

Он меня не слышит. Он смотрит на нее.

— Забери белье из прачечной, — говорит она, расчесывая волосы перед маленьким зеркальцем.

— Невропатка она, — говорю, я пододвигая к краю прилавка ее чемоданчик. — Хочешь ей удовольствие доставить — ходи с ней на лыжах, когда снег выпадет...

— Сами разберемся, — глядя на нее, отвечает парень.

— За телефон заплати, а то выключат, — говорит она, проводя по губам помадой.

Я придвигаю к торговке справа все деньги, которые выложил парень, и забираю у нее все японские хризантемы.

— Цветы она любит... Вот...

— Обойдемся без подачек, — быстро произносит парень и берет у торговки слева кровавых гвоздик на всю пятерку. Потом осторожно снимает ее с прилавка вместе с одеялом.

— Если надо будет убраться в квартире, — поворачивается она ко мне, — позвони тете Шуре. Она уберет... Будь здоров...

И парень в замшевой куртке уходит вместе с ней и с ее че-

моданчиком. Возле табачного ларька он останавливается, вынимает ее из одеяла, а одеяло сворачивает и заталкивает в урну.

— Эй! — кричу я. — У нее голова часто болит!..

Но их уже нет...

И никого уже нет.

Остаюсь на рынке один я с японскими хризантемами. Только они мне ни к чему.

«Вот и слава богу! — думаю я. — Вот и хорошо!.. И конец всем нервоотрепкам...»

Я быстро ухожу прочь с рынка.

Я сильно продрог. У меня стучат зубы. Но все это ерунда по сравнению с начинающейся новой жизнью. Как хорошо, что я на это решился! Как хорошо, что я на это решился!..

Я захожу в продовольственный магазин и покупаю сто граммов масла, полкило сахара, двести граммов докторской колбасы и пачку пельменей. Пельмени замерзшие и погромыхивают в пачке, как горох. Только пачка расклеенная. Но это последняя пачка... Все у меня в руках, и я иду домой.

Иду и напеваю что-то бессвязное на ее любимый мотив. Прекрасно! Прекрасно! Теперь я никому не противен!.. Вечерами, конечно, будет трудно. Все-таки почти девять лет. Но хорошо, что я на это решился. И я продолжаю напевать что-то бессвязное на ее любимый мотив, который никак не покидает мою окоченевшую голову. Сердце просто выпрыгивает, когда я вхожу в квартиру, в которой я буду теперь жить один! Я зажигаю свет. Пусто. Светло. Холодно...

И хорошо, что я первый решился!

Наша кошка, а теперь моя кошка, упруго трется о мои ноги.

— Тебя еще только здесь не хватало! — исступленно кричу я и чувствую железное кольцо вокруг горла. — Тебя только не хватало!..

И я что есть силы отшвыриваю кошку ногой. Описав дугу, она с криком брякается на пол и выскакивает из комнаты в открытую дверь прямо в парадное. А я, не в силах удержать равновесия от удара, растягиваюсь на скользком паркетном полу. Расклеенная пачка разваливается, и замерзшие, заиндевевшие пельмени со стуком рассыпаются по полу. Я не могу подняться из-за жуткой боли в спине.

И, лежа на полу, я вижу, что две пельменины закатились под диван.

Она входит в комнату. Я открываю глаза.

— Что мне надеть? — спрашиваю я.

— Что хочешь!

В отчетном докладе Комитета, с которым выс. моральной секретарь ЦК Л. И. Брежнев всесторонне консультировался, дан анализ опыта, накопленного после XXIII съезда, и изложены основные направления политики в экономике на современном этапе. В докладе дан марксистско-ленинский анализ мирового и внутреннего положения, рассмотрены вопросы дальнейшей совершенствования системы (внутрипартийной, межпартийной, международной) и укрепление единства нашей партии и народов.

Год анний застой

СТАРИК В МЕХОВОЙ ШАПКЕ...



Я ехал в «Красной стреле» в Ленинград. В командировку. Мои попутчики по купе довольно быстро разбрелись по полкам и уснули. В самом деле, гораздо удобнее добираться до Ленинграда поездом. Уснул в Москве — проснулся в Ленинграде. Как будто и не уезжал... Но мне почему-то не спалось. То ли я выпил несколько лишних чашек кофе, то ли еще почему-нибудь. Я стоял в проходе, глядел в окно, ничего не видел и курил.

Около половины четвертого поезд вдруг начал тормозить и скоро остановился. Сквозь замерзшее окно расплывались огоньки какой-то станции...

— Снежный занос, — сказала проводница. — Минут сорок простоим.

Вообще-то снежные заносы — довольно редкое явление на этой дороге. Но раз занос — значит, занос. Всякое бывает.

Я надел пальто и выскочил на маленький перрончик. Мороз был градусов под тридцать. Да еще с ветром. Я заглянул в деревянное строение, которое, видимо, должно было обозначать вокзал, и справа от себя увидел дверь с надписью «БУФЕТ».

Как ни странно, буфет работал. Впрочем, чего не бывает на таких полустанках...

Три столика из четырех были заняты. Какие-то раскрасневшиеся люди, по-видимому, местные рабочие, руками ели огромные сардельки, макая их в блюда с горчицей, и пили пиво. Один спал, уронив голову на стол, свесив руки. За четвертым столиком сидел старик и одиноко, задумчиво цедил пиво. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Как будто я и не входил. За буфетной стойкой дремала типичная буфетчица в белом халате, напыленном прямо на невероятно толстое пальто. Руки были спрятаны в рукава.

— Кружку пива, пожалуйста, — сказал я буфетчице, — только не холодного.

— Куда уж холодного в такую стужу, — сказала она, зевнув.

Буфетчица пододвинула ко мне кружку пива и приняла прежнюю позу.

Я подошел к столику, за которым сидел старик.

— Вы разрешите присесть с вами? — сказал я.

— Сделайте милость, — ответил старик и переложил свою мохнатую шапку со стола на стул.

Я сел и начал маленькими глотками пить теплое пиво. Было очень приятно. Еще посматривал на старика. Лицо его затерялось где-то в глухой растительности. Даже глаза с трудом различались. Он, как и я, пил маленькими глотками, с остановками, и после каждого глотка покрывал от удовольствия. Крякал он так смачно и заразительно, что я тоже начал покрываться. Мое покрывание старик воспринял, очевидно, как сигнал к разговору.

— В Питер? — спросил он.

— Туда, — сказал я. — А вы здесь живете?

— Я всюду живу.

— Как это — всюду?

— А вот так — всюду...

Я подумал, что старик — нищий и что ему неудобно об этом распространяться. Всюду так всюду. Он, видимо, понял мою заминку.

— Небось думаете, с сумой хожу? — сказал старик.

— Нет, почему же?

— А просто всюду живу...

Я понял, что разговор становится несколько однообразным, и постарался переменить тему:

— А лет-то вам сколько?

— Много.

— Ну все-таки?

— Много... А назову сколько — не поверите.

— Почему же не поверю?

— А люди нешто во что верят?.. Они только себе верят, да и то, когда пощупают.

— Но вы сами посудите — какие у меня основания, чтобы вам не верить?

— Э-э... Все так говорят, а потом не верят... Устал я от этих оснований. Трещу как балаболка какая, а все впустую.

Старик показался мне занятым, и после долгих препирательств он вроде бы согласился рассказать немного о себе.

— Под пиво оно как-то легче пойдет, — сказал он.

Я принес пару пива, и он начал:

— Жили мы, значит, с моей старухой у самого моря... Почитай, лет тридцать жили, да еще годка три прибавь до венчания. Ну, я рыбачил. Когда удочкой, когда неводом... А старуха цельный день пряжу свою пряла. Домик у нас был никудышный... Можно сказать, не дом, а землянка ветхая... И вот, помню, однажды полный день просидел я на берегу со своим неводом — и ни хрена. То тину вытаскиваю, то траву какую-то...

Солнце уж к закату было. Закинул я невод последний раз, вытаскиваю... Гляжу! Батюшки мои!.. Извините, не угостите сигареткой?

— Пожалуйста,— сказал я и протянул ему пачку «Шипки».

Старик размял сигарету, прикурил от моей, затанулся и продолжал:

— Да... Так вот, гляжу — светится что-то. Да так светится, аж глазам больно. Беру в руки... Не поверите Рыбешка! Маленькая, а тяжелая... Фунта на четыре тянет! Вот тебе и рыбешка! Из чистого золота оказалась!.. Во, думаю, счастье. Ведь ежели эту диковину на базаре толкнуть, так всю жизнь можно припеваючи прожить... Да не тут-то было. Рыбешка вдруг разевает рот и говорит самым что ни на есть человеческим голосом... Вы когда-нибудь слышали, чтоб рыбы разговаривали?

— Честно говоря, нет,— сказал я.— Вот, говорят, у дельфинов свой язык есть...

— Так то дельфины,— протянул старик.— Короче говоря, взмолилась она, чуть не плачет... Отпусти да отпусти. Не прогадаешь. Я, говорит, за это любое твое желание исполню... Э, думаю, была не была! Весь век в бедности жил — остаток как-нибудь проживу... И говорю ей ради интереса, что вот, мол, ничего мне от тебя не надо, а если можешь, так сделай, чтоб у моей старухи новое корыто было, а то наше совсем раскололось... Кивнула она головой, и отпустил я ее в море. Только хвостиком махнула...

Прихожу домой. Что такое? Глазам не верю! Старуха мои обмотки в новом корыте стирает!.. Откуда, спрашиваю, корыто? Да цыгане, говорит, проезжали. Я им разные побрякушки, а они мне — корыто...

Дура ты, дура, говорю. Это ж рыбка!.. И рассказал ей всю историю. Как начала она меня на чем свет стоит поносить! Простофиля, кричит, дурачина, и все такое прочее... Старый ты, говорит, склеротик! Лучше б пить бросил! Гляди — уж до белой горячки напился, галлюцинировать начал!.. Где это видано, чтоб рыба по-человечьи болтала! Ступай проспись! И пока эту свою дурацкую дребедень из головы не выкинешь — на глаза не показывайся!.. Не поверила, значит...

Старик вздохнул и замолк... Помолчал немного, отхлебнул пива и продолжал:

— Да... Не поверила... А меня через это недоверие обида взяла... Почему, думаю? Что я, из ума, что ли, выжил? Для себя разве старался? Да мне от этой рыбки гроша ломаного не надо!.. Рассказал людям — засмеяли... Яйцами тухлыми закидали. Темнота, говорю, да у вас от этой рыбки полны закрома всякого добра будут!.. Не поверили, и все тут!.. И чего я после этого ни делал! Куда ни совался! И к околоточному ходил, у губернатора был, самому царю рапорт представил... Не поверили! Больше того — в остроге проморили... Вот видишь, прикладом все зубы повыбивали...

И старик показал мне бледно-розовые, без единого зуба десны...

— А все от неверия... Да... И вот однажды в одной деревеньке, недалеко от Питера, повстречался я с одним молодым человеком. Шустрый, глазки, как угольки... Кучерявый такой смугленьш... Видать, нерусский. Он мне первый и поверил. Внимательно так слушал, записывал чего-то... А на прощание полтину подарил... Уж потом, когда он про всю мою историю книжку написал, тогда поверили. Ан поздно. Я, правда, потом доказывал: вот, мол, не слушали меня, а на деле вон как получилось. Куда там! Никто и слушать меня не хотел... Вы на поезд-то не опоздаете?

— Нет-нет, — сказал я, — рассказывайте. Я услышу гудок.

— Сколько я потом от этого недоверия натерпелся! И ладно бы просто не верили. Так нет! Злобствовали при этом. И откуда столько злобы в людях?.. Помню, заметил я как-то, что ежели на рану какую плесень класть... Ну, самую что ни на есть обыкновенную плесень, так рана от этого вроде бы затягивается... А тут, в деревне, парнишка помирал. Корова его в бок боднула. Я говорю: плесень на рану положите!.. И-и!.. Палками прогнали! Кто ж это, говорят, на рану падаль всякую кладет? Да еще и собак спустили. Еле утек... Во! — Старик снял валенок, засучил штанину и показал здоровенный шрам на левой икре. — Тоже, стало быть, не поверили. А рассказал я про это двум докторам из Питера, так они ахнули! Дедушка, говорят, так ведь это ж пенициллин!.. Мне что, говорю, может, и пенициллин. Мне главное, что поверили... А уж когда книжку они про это выпустили, тогда все поверили. А меня из-за этого чуть собаки не разорвали. Ну, с собак-то что? Спрос малый...

— Да, собака и есть собака, — почему-то в тон ему сказал я.

— И не скажите! — оживился он. — Какая собака! Вот в девяностых годах был у меня Полкан... Вроде бы Полкан как Полкан, так нет. Пес-то интересный оказался... На дворе он у меня жил. Бывало, выйду его кормить, фонариком посвечу, а потом кость бросаю. Так и кормил. А тут как-то выбежал я ночью на двор по малой нужде, зажег фонарик, гляжу — а у Полкана-то моего из пасти слюна рекой бежит! Э, думаю, значит, собака соображает, что к чему... Значит, знает, что после этого фонарика ей жратву принесут... А раз соображает, стало быть, у нее ум есть! И что? Поверил кто? Ничуть! Один только старичок поверил... В Колтушах он жил, под Питером. В городки я с ним любил играть. Ох и мастак играть был! Так вот, он поверил... Написал книжку — на весь свет прославился...

Я нервно дергал под столом коленом и беспрерывно курил.

— Что молчите? Не верите? — Старик посмотрел на меня в упор. — Все так... Ну, да уж я устал обижаться. Сначала думал, что только в России люди такие неверующие, а оказалось — всюду. Народ везде одинаковый... В Германии, помню, рассказал я одному немцу свою думу. Никому не рассказывал. Уж если в рыбешку не верили, так в это и недавно... А тот немец мне чем-то показался... Симпатичный, в общем, был немец... Маленький, лохматый, и глаза у него понятливые такие... Так я ему и поведал свою думу... Ведь если, говорю, от нашей матушки Земли лететь со скоростью света, то ты, говорю, год будешь лететь, а на Земле за это время, может, лет восемьдесят пройдет... Вот какая загвоздка!.. Рассказал. Ну и что? До сих пор многие не верят!

У меня пересохло во рту. Я вскочил и принес еще пару пива. Внезапно старик перегнулся ко мне через столик и сказал тихо:

— Вы мне, молодой человек, чем-то нравитесь... Хочу вам рассказать об одной удивительной, но очень страшной закономерности... Я о ней никому не рассказывал, потому что это страшно... Заприметил я, что...

— Не надо!! — в ужасе закричал я на весь буфет. Рабочие оглянулись на крик, буфетчица вскочила на ноги. Но, видя, что ничего не произошло, рабочие отвернулись к своим сарделькам, а буфетчица снова задремала. — Не надо! — сказал я уже тише. — Я должен ехать... Извините...

— Не веришь, — сказал старик очень спокойно. — И никто не верит! Господи, удавиться, что ли?..

Я подбежал к буфетной стойке и лихорадочно стал рыться в карманах в поисках мелочи...

— Вот! — я бросил рубль. — Я еще должен вам за две кружки пива.

— Не бойтесь, не опоздаете, — зевнула буфетчица и начала неторопливо отсчитывать мне сдачу. — Небось еще не скоро расчистят... И откуда понанесло?.. Днем еще и в помине не было...

Одна монетка упала на пол. Буфетчица нагнулась, подняла ее и продолжала:

— А старик-то этот еще с утра: занос будет, занос... Вот и накаркал... Копеечку я вам, наверное, не найду... Спичек не надо?

Я выскочил из пивной...

— Ну и поехали, — сказала проводница, проходя в свое купе.

Уже стоя у окна вагона, я опять увидел старика. Он уходил в темноту, оставляя на снегу четкие, незаметающиеся следы.

СОЛОВЬИ В СЕНТЯБРЕ



Теплым сентябрьским вечером некоторый молодой человек по имени Леша направлялся к дому некоторой молодой девушки по имени Лида. В одной руке молодой человек нес бутылку сухого красного вина за два рубля двадцать копеек. В другой — букет гвоздик за один рубль двадцать пять копеек. Леша, конечно, с удовольствием нес бы еще и торт, и книгу — лучший подарок, но у него было только две руки.

Вечера этого молодой человек ждал, может быть, всю жизнь, а может быть, и немного меньше, потому что питал радужные надежды.

Потому что любил он уже названную молодую девушку Лиду чистой студенческой любовью, не обремененной всякими грубыми намеками: мол, постоим в подезде или посидим на лавочке. Любил по-настоящему — по русым волосам не гладил, руку на ее колено со словами «Эх, Лидуха!» не клал, в глаза таинственно не заглядывал и ноздрей при этом не раздувал.

И за все за это имел он справедливые надежды на взаимность, которые должны были осуществиться именно в этот теплый сентябрьский вечер, потому что был день Лидиногo рождения, о котором ежедневно помнил Леша, хотя никаких приглашений не следовало, потому что настоящие друзья приходят без приглашений. Да... Вот так и возникает новая молодая семья, незаметно пробивая себе дорогу в зарослях показной красоты, животной чувственности и внешнего благополучия. Возникает ячейка, а потом крепнет. «Мне не надо судьбы иной, — думал Леша, — лишь бы день начинался и кончался тобой». Эту мысль, услышанную по радио от Эдуарда Хилия, он запомнил навсегда, а когда запомнил — переписал в записную книжку.

Лида, конечно, удивится, открыв дверь. А он протянет ей букетик алых гвоздик, символ жен летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», и скажет: «Это тебе, Лида, в день твоего рождения...» И она сразу поймет, что он настоящий друг, потому что настоящих друзей не приглашают — они сами приходят. А потом выйдет из кухни Клавдия Мартыновна, вся в муке, всплеснет руками и вскрипнет. А он протянет ей бутылку сухого красного вина и скажет просто: «Это вам, Клавдия Мартыновна, в день рождения вашей Лиды...»

И они пойдут с Лидой в ее комнату, он поможет ей по начерталке, и ее русый локон будет касаться листа ватмана... И ясно станет, что через каких-нибудь четыре года отметят они вступление в законный брак искрометной молодежной свадьбой. А раньше зачем?.. И дело совсем не в проверке чувства. За

свои с Лидой чувства Леша отвечает. Просто надо специальность получить, на ноги встать. А еще года через два появится Митька. А раньше зачем?.. И дело совсем не в эгоизме. Просто надо дать окрепнуть семье, в театр походить, на выставку, на каток... А что? Митька родится — им по двадцать семь. Митьке десять — им тридцать семь. Митьке двадцать — им сорок семь. Митьке тридцать — им пятьдесят семь. Митьке сорок — им шестьдесят семь. Митьке пятьдесят — им семьдесят семь. Митьке шестьдесят — им восемьдесят семь... Дойдя до восьмидесяти семи, будущий отец позвонил в квартиру будущей Митькиной матери, которой сегодня исполнилось двадцать.

— Кого это еще несет? — услышал он, стоя за дверью, голос Клавдии Мартыновны. — Кто там?

— Воры, — добродушно пошутил Леша, потом кашлянул и сказал серьезно: — Это я, Клавдия Мартыновна.

— Кто «я»?

— Ну я, Леша!

— Какой Леша!

— Никакой. Просто Леша.

Замок щелкнул, дверь нерешительно открылась.

— Это вам, Клавдия Мартыновна, в день рождения вашей дочери, — просто произнес Леша и протянул будущей теще бутылку сухого красного вина.

— Вы к Лиде, что ли? — чуть откинув голову назад, спросила будущая теща, недоверчиво глядя на бутылку.

— К Лиде! — грустно-торжественно сказал будущий зять.

— А ее как раз и дома нет. Может, ей передать чего?

— Это я сам, — улыбнулся Леша и понюхал гвоздики. — Вот она удивится, когда меня увидит.

— Вы что, зайти хотите? — без особого энтузиазма сказала Клавдия Мартыновна.

— Да уж надо, как говорится, подождать... В такой день...

— А вы кто будете? — Клавдия Мартыновна сделала шаг назад.

— Неужели вы меня не помните? Я у вас в марте был. С Лидой занимались.

— Может, и помню, — пожала плечами Клавдия Мартыновна. — К Лидочке много ходят.

Из большой комнаты доносился типичный застольный шум — стук ножей о тарелки, чоканье...

— Отмечаете? — поинтересовался Леша.

— Родственники собрались, — сказала Клавдия Мартыновна. — А молодежь в ресторане гуляет... Приехали Армаз с Леваном из Сухуми... Лидочка у них летом отдыхала... Ну, вот они за это в ресторан ее пригласили со всеми друзьями.

— Мне лично грузины нравятся, — сказал Леша, — и молдаване хорошие ребята, и эстонцы...

— А вам Лида ничего не говорила? — спросила Клавдия Мартыновна.

— Забыла, наверное. Она ведь с огоньком, — сказал Леша.
— Да! Не скоро теперь придет... Дело молодое... Небось на всю ночь.

— А вы, Клавдия Мартыновна, не беспокойтесь... Пейте вино, ставьте его на стол, гвоздички — в воду. А я Лидочку здесь подожду. В прихожей постою... И к тому же, я думаю, Лида не выдержит — прибежит домой, отметить в кругу семьи... Все-таки такой день...

— Кланыя! С кем ты там антимонии разводишь? — раздался из комнаты чей-то несвежий голос.

— Иду! Иду! — крикнула Клавдия Мартыновна. — Тут ктой-то к Лидочке пришел!..

— Ну, так чего? — продолжал все тот же несвежий голос. — Коли наш человек — пусть с нами выпьет, а коли не наш — зачем тогда жаловал?..

— Нет-нет, — поспешно сказал Леша. — Поздравьте всех-всех от меня... А я уж как-нибудь тут... Я уже сегодня кушал... Спасибо.

— Дело хозяйское, — сказала Клавдия Мартыновна, — а в прихожей неудобно швейцаром стоять. Вытрите ноги и посидите в Лидочкиной комнате... Только раньше утра она не зайвится... Уж поверьте... Лучше б написали записочку, если что важное...

— Клавдия Мартыновна! — душевно сказал Леша. — Милая вы моя!.. Я же друг!

И он крепко пожал руку Клавдии Мартыновне.

Оставшись в уютной маленькой комнатке Лиды, Леша подумал: «Может, сейчас объявить всем о своем решении?.. Нет. Надо дождаться Лиды и уж вместе с ней, крепко взявшись за руки, войти и объявить... А Лида — человек! Она понимает толк в дружбе... Она гордая, поэтому и не замечает меня... Придет, увидит меня, потупит взор и опустит голову на мое плечо... И все станет ясно без слов... И почему она с ним не здороваётся, и почему он к ней не подходит, и почему у нее своя компания, а Леша как будто и не существует... Потому что настоящее, чистое чувство надо уметь скрывать, если оно возникло. А оно возникло еще в марте, когда он по просьбе бюро помог ей сделать эпюр. И она тогда сказала: «Спасибо». И вот теперь, через полгода, он решился. Он взвесил чувства, он не ошибается и в день ее двадцатилетия пришел сказать ей, что он помнит ее простое девичье задушевное «спасибо», что он готов протянуть ей свое дружеское молодежное «пожалуйста».

За окном, несмотря на сентябрь, заливались соловьи.

Леша взял со стола альбом фотографий... Лиде — годик... Вот таким же будет и их Митька. Только мальчиком... А вот летние пейзажи... Лида в купальнике. Одна нога на подножке новой «Волги», другая — на лежащем на песке молодом человеке с усами. В руке бокал. Справа — море. Слева — цитрусовые деревья... А вот Лида по пояс обнаженная. Русые волосы раз-

метались по подушке. Во рту сигарета... Наверное, на медицинском пляже... Рядом — цветной портрет того молодого человека с усами, который лежал возле машины... Блестящие волосы, пробор. И подпись: «Помни, Ледушка, как мы кутили, как потом мы много любили...» А что любили — не написано... Места не хватало. Наверное, любили гулять... «Там ведь чудесная природа и субтропическая растительность», — подумал Леша.

Он долго еще листал альбом с фотографиями, потом положил его на место и стал осматривать комнату. Если профком откажет в предоставлении семейной комнаты в общежитии, то придется жить здесь и подать заявление на квартиру в райжилотдел. А там как раз Митька родится, и райжилотдел пойдет им навстречу. Тесновато, конечно, будет, но в тесноте, как говорится, не в обиде. Главное — уважать друг друга и помогать в труде и быту. И Клавдия Мартыновна наверняка поймет, и они поладят. Он, если надо, и побелить сможет, и обои поклеить, и на рынок сходить. И заживут они дружно, весело, и Митька будет называть Клавдию Мартыновну бабулей. Из роддома он Митьку вынесет сам, на руках, такси вызовут... И Лида, сидя в машине, положит свою голову ему на плечо и тихо произнесет: «А он похож на тебя...»

В комнату заглянула Клавдия Мартыновна:

— У вас случайно закурить не найдется? А то у моих курцов кончились.

— У меня только «Дымок», — оправдываясь, произнес Леша и вынул из кармана пачку.

— Дымок не дымок — лишь бы дым в потолок, — сказал мужчина из-за спины Клавдии Мартыновны и протиснулся в комнату, протягивая руку Леше: — Павел Степанович, Лидочкин дядя.

— Леша, — сказал Леша и крепко пожал руку своему будущему родственнику.

— Вот это имя! — обрадовался Павел Степанович, — А то что, ей-богу? Армаз, Леван, Давид!.. Леша! Коротко и ясно! Ну что, Леша, пойдем выпьем за Лидкино счастье!

— Лида будет счастлива, — сказал Леша, — но, во-первых, не балуюсь, а во-вторых, имя не имеет значения. Лишь бы человек был хороший...

В коридор высypали остальные родственники и гости и начали петь и танцевать кто во что горазд. Потом Лешу подхватили под руки и потащили в комнату. Там он взял гитару и стал петь песни Пахмутовой на слова Гребенникова и Добронравова... Влили в него стопку, и он начал мрачнеть, а вскоре и совсем замрачнел и вышел на кухню. Сел на табурет и задумался. За окном по-прежнему заливались соловьи.

Гости начали расходиться и постепенно все разошлись, кроме одного по имени Сергей. На нем повисла Клавдия Мартыновна и приговаривала, абсолютно захмелевшая:

— Куда ты идешь? Куда?! На работу тебе завтра не идти... Лидка, поди, к утру вернется, а то и совсем... А?..

— Да неудобно, Клава,— отвечал Сергей, тоскливо глядя на дверь.— Неловко... И этот на кухне... Нет. Я пойду...

Леша заерзал на табурете. В кухне появилась Клавдия Мартыновна.

— Ну, чего ты маешься? — сказала она совсем не по-доброму.— Чего ты сидишь как куль?.. Сказано тебе русским языком: в ресторане они гуляют... Не дожدهшься!.. Кабы хотела, так звала бы!..

— Лида гордая,— тихо и не так уверенно произнес Леша, не двигаясь с места.

Входная дверь хлопнула.

— Пришла,— облегченно вздохнул Леша.

Клавдия Мартыновна высунулась в прихожую и безнадежно произнесла:

— Ушел... И ты иди... Не высидишь ничего. Точно тебе говорю...

— И все-таки, Клавдия Мартыновна,— сказал Леша, как бы обретая второе дыхание,— не знаете вы Лиду, хоть и мать... Она натура цельная. Не может у нее не быть ко мне чувства. Вот она вернется — вы увидите!

— Ах, я не знаю? Лидку не знаю?.. Чувство у нее к тебе?.. Не держит она тебя в голове!.. Это я тебе как мать говорю. Иди домой, а то на метро опоздаешь...

Леша медленно встал с табурета. Ком застрял у него в горле.

Жизнь дала трещину. Разве к этому его готовили в комсомоле? Разве об этом писал Чернышевский и пел Эдуард Хиль? Неужели же он, простой, откровенный парень, каких тысячи, не достоин искреннего девичьего чувства?..

— И соловьи, как назло, рассвистались,— почему-то сказал он, застегивая пиджак на все пуговицы.

— Это не соловьи, Леша... Это местные хулиганы,— сказала Клавдия Мартыновна, и Леша наконец понял, что не судьба ей стать его тещей...

...На набережной Москвы-реки в эту ночь мы с ним и встретились. И рассказал он мне свою беду так, как она здесь написана. Я посоветовал ему тут же броситься в воду, но он решительно отказался и зашагал прочь, напевая: «Крепись, геолог, держись, геолог...»

Что же касается меня, то я в таких парней верю! Окончит он институт, станет инженером и каждый свой отпуск будет проводить в туристическом походе... С гитарой... У костра... С песней...

В конце концов есть очень много песен, которые по-настоящему бодрят.

ЗОРКИЙ ГЛАЗ



Однажды осенью всю ночь лил сильный дождь. Под утро он прекратился, но небо осталось обложным. И когда часов в девять утра мы выглянули в окно, то увидели, что все тысяча восемьсот семь Зорких Глаз пришли в полную негодность. У всех было помутнение роговиц, ресницы повыпадали, а края век покрылись грязно-коричневой ржавчиной.

Мы чуть не расплакались. Это была последняя партия Зорких Глаз, которую мы только вчера получили из Канады.

— Надо было накрыть их брезентом, — сказал заместитель директора.

— При чем тут брезент? — возразил директор. — Такая продукция не должна зависеть от природных условий.

И директор был прав. Мы и раньше получали тревожные сигналы с мест о том, что Зоркие Глаза не отвечают требованиям эксплуатации. Едва их только устанавливали, как они тотчас начинали вращаться в разные стороны, подмигивали рабочим... Кое-какие Зоркие Глаза плакали, и слезы капали на оборудование... А недели через две они, как правило, краснели, гноились и в конце концов закрывались. После этого их выклеивали вороны, выгрызали мыши, и от первого же сильного порыва ветра Зоркие Глаза рассыпались. Отвратительная, зловонная труха разносилась по окрестности на десятки километров, заставляя жителей закрывать окна и снимать с веревок сушившееся во дворах белье...

Закупка и транспортировка Зорких Глаз стоила бешеных денег. Но постоянная потребность в них заставляла нас иметь дело с разными иностранными фирмами, многие из которых заламывали прямо-таки спекулятивные цены. При всем этом качество их не выдерживало никакой критики. Так что прав был директор, сказав, что брезент тут ни при чем...

После завтрака на совещании у директора мы долго ломали голову над тем, как быть дальше.

В конце концов было решено наладить собственное, отечественное производство Зорких Глаз. Да, это трудно! Да, это потребует новых капиталовложений! Но либо мы это сделаем, либо...

В тот же день группа ведущих конструкторов заперлась в КБ.

Конструкторы дали клятву не выходить из КБ, пока не будет сконструирован первый отечественный Зоркий Глаз. Это были проверенные, не раз оправдавшие себя люди. В свое время они изобрели отечественную Мясорубку, Целлофановые

Пакетики, Искусственную Лошадь, Кипяток и много других товаров широкого потребления. Теперь им предстояло разрешить задачу задач — отечественный Зоркий Глаз.

Пищу конструкторы получали прямо в КБ. Спали прямо в КБ. Естественные надобности справляли прямо в КБ, для чего была проведена остроумная сточная система из КБ непосредственно в речку Ковалевку. А на речке Ковалевке построили новый очистительный агрегат, чтобы население могло пользоваться чистой водой.

Сюда же, в КБ, переселились и жены конструкторов, что привело к организации прямо в КБ родильного дома, яслей, детского сада, школы-интерната, высших учебных заведений, филармонии и маленького крематория.

Наконец через девятнадцать дней, на семь минут раньше срока, двери КБ распахнулись, и появились сияющие конструкторы с чертежами в руках.

Ликованию не было предела! Еще бы! Ведь это был день рождения собственного Зоркого Глаза!

После торжественного митинга все почтили минутой молчания память одного из конструкторов, не дожившего до этого радостного часа, и занялись делом.

Для производства Зоркого Глаза необходим был особого рода сплав. Ведь Зоркий Глаз не должен бояться коррозии и высоких температур. Кроме того, он должен быть подвижным и зорким. Кроме того, он не должен глазеть по сторонам. Кроме того, он должен быть чистым, голубым и, главное, добрым. Ведь это же Зоркий Глаз, и его не должны бояться те, за кем он должен присматривать...

Для получения такого необыкновенного сплава были вызваны ведущие металлурги. Им срочно создали все условия для работы: ванна, газ, телефон, отдельный санузел, ботанический сад, панорамный кинотеатр, Дворец бракосочетаний, родильный дом и два стола для пинг-понга.

Через четыре часа, на восемнадцать лет раньше срока, необходимый сплав был получен.

После торжественного митинга все почтили минутой молчания память одного из металлургов, не дожившего до столь радостного часа...

Наконец настал торжественный день, когда начальники цехов доложили об окончании работ по созданию Зоркого Глаза.

Естественно, что производство с самого начала было засекречено и никто не знал, что и для чего делается в его цехе. Один цех изготавливал хрусталик, один цех — роговицу, один цех — ресницы и веки. А прядильный цех трудился над глазничным нервом. И поскольку этот цех был по составу сплошь женским, то вскоре все работницы щеголяли в новых нервующихся и немнущихся кофтах, связанных из необычайной нерв-

но-глазной ткани. Но ткани было много, и на Зоркий Глаз тоже хватило.

Но вот все детали были готовы, можно было отправить Зоркий Глаз для его апробации на одно из предприятий.

Так как это был первый в нашей истории Зоркий Глаз, естественно, он вышел огромным, и для его перегона потребовался целый железнодорожный состав из сорока трех вагонов. На двух вагонах разместились хрусталик, на десяти вагонах — веки, в специальном крытом вагоне с особой системой амортизации перевозилась роговица. Остальные вагоны были заняты под ресницы.

По абсолютно засекреченному маршруту состав с Зорким Глазом должен был следовать до железнодорожного узла Зубарики, а оттуда старший диспетчер переводил его на юго-восточную ветку, в конце которой и находилось нужное предприятие.

Машинист не знал, что он везет и куда везет. Ему был известен только номер состава — 7422, который надо доставить до конца.

Старший диспетчер на станции Зубарики вообще был не в курсе дела. Он только знал, что в такой-то день ему надо отправить по юго-восточной ветке состав № 7422. И все.

В день отправления Зоркого Глаза была прекрасная солнечная погода. Мы пришли на вокзал в легких белых нейлоновых рубашках, без пиджаков. Наше настроение не поддавалось описанию. За успешное производство Зоркого Глаза все мы получили денежные премии... И конструкторы получили, и металлурги, и директор.

Овации и аплодисменты не смолкали до тех пор, пока последний вагон не скрылся за поворотом. А уж когда и рельсы перестали дрожать, мы облегченно вздохнули и разошлись по домам.

Дальнейший рассказ пойдет от третьего лица, так как автору необходимо поведать о случайном эпизоде, который произошел на железнодорожной станции Зубарики в День железнодорожника.

У старшего диспетчера с утра было отвратительное состояние. В висках что-то бухало. Голова разламывалась. Морда не помещалась в зеркале. Руки дрожали. Мучила изжога... Да, старший диспетчер этой ночью слегка ошибся и теперь расплачивался. И, как на грех, именно сегодня на станции скопилось столько составов!.. До пяти никак не управиться. А в пять (гори все огнем!) он должен сидеть у телевизора и смотреть концерт по заявкам железнодорожников, потому что он сам еще месяц назад заказал песню «Сигнальный флажок»...

А в двенадцать часов дня заботливая жена принесла ему рассол. Прямо в диспетчерскую. И именно в этот момент, когда божественная холодная влага побежала по пищеводу стар-

шего диспетчера, угораздило прибыть состав № 7422. А этому составу, согласно предписанию, надо было обеспечить зеленую улицу... «Ну, нет,— думал старший диспетчер,— сначала допью рассол».

Он действительно сначала допил рассол, потом поругался с женой, потом ему надоела «эта проклятая работа без прогрессивки и без премиальных», потом раздался звонок и сообщил, что в ознаменование Дня железнодорожника «старшего диспетчера премируют месячным окладом», потом выяснилось, что это розыгрыш, потом больше не было рассола...

Короче говоря, у старшего диспетчера было много объективных причин, чтобы совершить вторую ошибку — пустить состав № 7422 не по юго-восточной, а по юго-западной ветке... Разумеется, в этом не было никакого злого умысла. Но все выяснилось несколько позже, а пока состав № 7422, груженный Зорким Глазом, мчался по юго-западной ветке, и всюду ему, согласно предписанию, была зеленая улица...

— С чем состав? — спросил директор предприятия, которое переплавляло металллом на большие болванки.

— А бог его знает! — ответил машинист и кепкой вытер пот с лица. И не было больше вопросов.

Груз был действительно странный и непонятный. А главное, он оказался чрезвычайно огнеупорным и никак не поддавался плавлению в обычных печах...

Вряд ли стоит говорить о том, что у предприятия был свой план и его надо было выполнять... Не стоит также говорить и о том, какие условия были созданы группе ведущих инженеров для быстрого конструирования новых печей...

Во всяком случае, во дворе предприятия через несколько дней лежал Зоркий Глаз, переплавленный на стандартные большие болванки. И ликование было безграничным, и минута молчания в честь одного инженера, который не дождался столь радостного часа.

А за внедрение нового типа печей ведущие инженеры и директор получили свои премии...

Да! Поистине могуч человек, вооруженный передовой наукой, оснащенный передовой техникой! И нет для него неразрешимых задач!..

А уволенный за халатное отношение к своим обязанностям старший диспетчер железнодорожной станции Зубарики в тот же вечер напился. Но на сей раз это не было ошибкой с его стороны. Нет! На сей раз это было мотивированное, глупо осмысленное алкогольное опьянение.

РАНО УТРОМ ПОСЛЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ



Я спал на животе. Сначала стало тепло ногам. Потом прогрело поясницу. Потом — между лопаток и шею. А когда солнечный луч пополз по затылку, я проснулся. Надо мной было летнее утреннее небо, левее и ниже — немного размазанное летнее утреннее солнце и еще четыре белых летних утренних облака.

Подо мной была зеленая летняя утренняя трава.

Я поднялся и пошел с балкона в комнату.

А еще через пятнадцать минут я сделал себе завтрак. Такой же, как это утро. Два яйца, сваренных вкрутую, каждое из которых разрезано пополам вдоль. Четыре желточных солнца, четыре белочных облака на голубой пластмассовой тарелке, зеленый лук вместо травы и черный хлеб вместо земли.

Двадцать семь минут понадобилось мне, чтобы добраться до места работы. И за эти двадцать семь минут ничего со мной особенного не произошло, так что нет нужды подробно описывать эти двадцать семь минут.

В этот день я не опоздал. Еще бы!.. Сегодня меня вызвал новый директор... Говорят, откуда-то перебросили...

Военизированный охранник, мимо которого я ежедневно проходил пять лет подряд, сегодня остановил меня и потребовал пропуск. Он долго и методично переводил глаза с меня на фотографию, с фотографии на меня, потом вслух по складам прочитал мою фамилию, протянул пропуск и сказал значительно:

— Можете следовать, товарищ!..

Я «проследовал» по вестибюлю, по коридору, по двум лестницам и остановился в приемной директора.

Пока секретарша докладывала о моем приходе, я засмотрелся в окно. За окном все еще было утро. И мне вдруг до головокружения захотелось выпрыгнуть из окна, распластаться навзничь на девственной траве, положить ладони под затылок и согнуть ноги в коленях.

И еще захотелось ощутить на лбу длинные тонкие женские пальцы.

Впрочем, это желание я испытывал довольно часто, потому что пальцы, которые время от времени касались моего лба, были чуточку короче и чуточку толще тех, о которых я мечтал. И когда секретарша произнесла мою фамилию, я нехотя снял

со лба длинные тонкие женские пальцы, поднялся с травы, потянулся и вошел в кабинет директора.

В кабинете все было так и все — не так.

Стол директора раньше был справа, теперь — слева. Сейф был раньше слева, теперь — справа. Стулья теперь стояли слева, а раньше были справа. Диван был слева, теперь стоял справа... Мне даже показалось, что и сам я вдруг стал левшой.левой рукой на всякий случай я искал свое сердце. Оно оставалось слева...

Директор был настроен по-деловому.

— Вы, кажись, кандидат физико-математических наук? — спросил он.

— Да, — ответил я.

— Стало быть, алгебра, «а» в квадрате, «б» в квадрате... Небось тоже разбираемся... Так вот... будем работать по-новому! Хватит чикаться по старинке... Верно я говорю?

— В общем-то, верно, — согласился я, еще не понимая, в чем дело.

— То-то...

Он улыбнулся, довольный тем, что нашел во мне единомышленника.

В новом для себя кабинете новый директор держался так свободно, будто он в этом кабинете родился и вырос.

— Значит, так, — приступил он, обсасывая каждое слово, — сперва начнем ломать устаревшую таблицу умножения...

Я засмеялся и внутренне порадовался тому, что новый директор обладает чувством юмора. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он дал мне высмеяться и продолжал:

— Я внимательно ознакомился с таблицей умножения и понял, что прежние цифры устарели и тормозят наше поступательное движение вперед...

— По этому поводу у меня уже есть предложение, — сказал я сквозь смех. — Дважды два будет девять, трижды три — четырнадцать, пятью пять — восемьдесят один...

— Вряд ли это будет достаточно, — сказал он, высморкавшись. — Я тут кое-что уже прикинул... Но вам, конечно, придется доработать...

Директор достал из ящика своего стола листок, исписанный какими-то цифрами, и протянул его мне. Я взглянул на листок и понял, что директорский юмор перешел все границы.

На листке была написана новая таблица умножения: «дважды два — шестьсот семьдесят», «трижды три — тысяча восемьсот двенадцать»? В последнем столбике фигурировали сплошные двенадцатизначные числа. Директор не сводил с меня торжествующих глаз:

— Как вам понравилось тысяча восемьсот двенадцать, а?

- Не многовато ли? — спросил я, вяло улыбнувшись.
- Может быть... Зато смело!.. Впрочем, вы как ученый кое-что поправьте... Через недельку принесете мне на подпись. Директор встал из-за стола и протянул мне руку.
- Но... Ведь трижды три — девять, — вкрадчиво сказал я.
- А почему не тысяча восемьсот двенадцать? — сказал он. — Ведь все в мире относительно... Это еще ваш Эйнштейн придумал...
- Но трижды три — все-таки девять...
- Зато тысяча восемьсот двенадцать больше, чем девять. Я верно говорю?
- Верно...
- Вот видите... А вы спорите... Эх, туги у нас на подъем... И директор сокрушенно покачал головой.
- Но поймите, — сказал я. — Если взять три яблока, потом еще три яблока и еще три яблока, то будет девять яблок... Он слегка повысил голос:
- Фрукты-овощи здесь ни при чем!.. Новая таблица умножения — путь к изобилию!..
- Я взглянул в окно и тоскливо посмотрел на зеленую траву... Мне вдруг показалось, что я уже больше никогда не смогу растянуться на ней и подложить под затылок ладони...
- В кабинете неожиданно стало жарко, и между лопаток потекли у меня струйки пота... Я проглотил слюну и хрипло промолвил:
- Три стула плюс три стула плюс еще три стула — это девять стульев.
- А по новой таблице — это тысяча восемьсот двенадцать стульев, — отчеканил директор. — И мы в два счета решим мебельную проблему... Вы что же, против решения мебельной проблемы?
- Нет... Но если взять три собаки и еще три собаки...
- Почему вы такой упрямый? — миролюбиво улыбнулся директор. — Вот скажите, у собаки есть бивни?
- Нет, — прошептал я.
- А у слона есть бивни! Я правильно говорю?
- Есть, — прошептал я.
- Так что же вы спорите? Идите и приступайте к делу... Я вытер пот со лба и обнаружил шершавые, загибающиеся спереди спиралькой рога. Я покосился в зеркало и увидел, что они серого цвета и вполне симметрично располагаются на моем лбу... «Надо будет купить полковничью папаху, — подумал я, — а то с неприкрытыми рогами, как с лыжными палками, могут не пустить в метро...»
- Ну что вы стоите? — произнес директор каким-то далеким голосом.

Он увлекся, рисуя передо мной все более широкие горизонты, которые откроет новая таблица умножения...

Мне хотелось пить, и я кое-как просунул свою острую морду в графин — настолько, насколько позволяли рога.

Холодная вода принесла мне облегчение... Я отфыркался и, с трудом подбирая слова, выдавил из себя:

— Э-э... если э-э... взять три... э-э... хвоста... э-э... и еще... э-э... три хвоста... и э-э... еще три... э-э... хвоста, то будет девять... э-э... хвостов... э-э...

У меня зачесалось в левом боку, и я с наслаждением стал тереться об угол стола, оставляя на нем клочья шерсти...

— Э-э... — подумал я, — а ведь меня уже пора стричь... После этого я проблеял три раза, потом еще три раза и еще три раза, потом проблеял девять раз...

Он что-то начал отвечать, но на совершенно непонятном мне языке...

Я почувствовал, что мне невероятно трудно стоять на двух ногах, и опустил на передние. Сразу стало легко, и я затопал копытцами по паркетному полу...

И тут я подумал: «А почему я здесь, когда вся моя отара на лугу?..»

Мне мучительно захотелось свежей травы, я боднул дверь и выбежал из кабинета...

Сзади себя я услышал:

— Следующий!

Но я не понял, что это такое, и разобрал только «е-е-е»...

Чабан гнал нас через узенький мосток на большую зеленую равнину, усыпанную желто-белыми ромашками...

Мне было приятно среди своих и беззаботно.

И вдруг молнией сверкнула какая-то чужая, непонятная мне мысль: «Теперь дома все покроется пылью...»

Сверкнула и погасла. Я съел ромашку и стал пастись, как все.

1970

КРОСС



— Завтра пойдете на десять километров! — сказал мне начальник отдела.
— Куда? — поинтересовался я.
— Не «куда», а «как», — сказал начальник отдела. Десять километров на лыжах... Кросс...

— Да... Но мне пятьдесят три года.

— А это не имеет значения. Мы должны обеспечить массовость. Приказ есть приказ.

— А когда я получу суточные? — спросил я.

Начальник отдела покрутил около виска пальцем:

— Вы что, серьезно?

— Разумеется. Все-таки десять километров...

— Пойдете за свой счет, — сказал начальник отдела. — Потом оплатим.

И он указал мне на дверь.

Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу, и к утру, наконец, чемодан был уложен.

— Не занашивай рубашки, — говорила мне моя старуха. — Меняй их чаще.

В хозяйственную сумку она уложила еду.

— Здесь курица, — сказала она, — десяток яиц, котлеты, как ты любишь, термос с бульоном, пирог с яблоками... Остальное будешь прикупать в дороге...

И старуха моя разрыдалась окончательно.

— Прости, если что не так было, — сказал я дрогнувшим голосом. — Все-таки прожили мы с тобой хорошо.

— Береги себя, — сказала она, — обо мне не беспокойся и, главное, возвращайся с победой.

В десять часов утра на станции Реутово мне нацепили на грудь номер 184, и я стартовал...

Придя в себя после первого потрясения, я увидел, что справа от меня, слева, спереди и сзади шли еще мои сослуживцы и много других сотрудников, с которыми я раньше не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди.

— Вы не устали? — спросил я у номера 12, когда мы прошли восемь метров.

— Пока держусь.

— А я буквально валюсь с ног...

— А вы крепитесь, старина, — подбодрил меня номер 12. — Говорят, что скоро наступит второе дыхание...

— Да, — ответил я. — И, кажется, последнее...

Около трех часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал как подкошенный и умолял нас бросить его, а самим продолжать движение...

— Жене моей скажите прощальное слово, — хрипел он, — и передайте кольцо...

Мы подняли его, сделали ему искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше...

Однажды на рассвете неожиданный рывок совершил номер 70.

— Куда вы? Куда вы? — закричали мы.

— Мне необходимо быть дома в пятницу! — бросил он. — У жены день рождения!

Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. Недели три еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности...

— Когда вы получили последнее письмо из дома? — спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками.

— Очень давно, — ответил я грустно, отталкиваясь что было силы. — Жена пишет, что дома все хорошо. Она уже на пенсии. Внук пошел в школу. В городе провели метро...

— Да-а! — мечтательно произнес номер 121. — А у нас уже, наверное, лето... Жара небось стоит... Птички поют... — И он смахнул слезу.

Номер 92 до кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим любителем женского пола.

— Здесь, кажется, неподалеку проходит женский кросс, — шепнул он. — Может, порезвимся, если ветра не будет... Потом нагоним, а?

— Это неспортивно по отношению к другим, — сказал я.

— Ну, как знаете, — буркнул он и начал браться...

Больше я его не видел. Правда, номер 13 уверяет, что слышал ночью чьи-то крики о помощи. Все может быть. Не исключено, что профессора задрали волки...

Пронеслись годы. Когда я после кросса вернулся домой, старуху свою я не застал, а на столе меня ждала ее записка: «Милый! Меня забрали на соревнование по бобслею. Никто не знает, что такое бобслей, но подозреваю, что это что-то женское. Прощай навсегда!»

ВЕЗУНОК



Я стоял на желтом берегу и смотрел на море. Солнцесушило пупок. Кепка надвинута была на самый нос. Так я и стоял. И простоял бы, наверное, долго, если бы не резкий порыв ветра. Зелененькая моя кепка, видно, облившись на меня за что-то, сорвалась с головы и полетела к горизонту. Шлепнулась на воду, надулась и закачалась. Жирная чайка камнем кинулась на нее, клюнула и взмыла вверх, убедившись в том, что это не рыба...

Кто-то за спиной у меня заботливо и мягко произнес:

— У вас кепку унесло в море.

Это был тот чудак, которого я заприметил уже неделю назад. Каждый день он и одна аккуратненькая фигурка приходили на пляж, и ни разу я не видел, чтоб он загорал или купался. Каждый день они расставляли тент, под который он забирался и сидел там в халате и соломенной шляпе. Он был искренне расстроен тем, что мою кепку унесло в море.

— Спасибо вам большое,— сказал я очень вежливо.

— Пойдемте к нам под тент,— сказал он так, словно у меня умер близкий человек и он приглашает меня к себе домой, где мне будет не так одиноко и тоскливо.

Под тентом он снял халат. Такой белой кожи я никогда не видел. Она была такой белой, что я надел темные очки. Аккуратненькая фигурка встала, приподнялась на цыпочки и заложила руки за голову. Изумрудного цвета купальник, казалось, был нарисован на ее теле. Она попружинила немного на носках и ушла в море, а мы остались вдвоем под тентом.

— Как хорошо! — сказал он.

— Дождей нет, вот и хорошо.

— А чем плохо, когда идет дождь? Это естественно, это природа, это жизнь. А жизнь — это уже замечательно...

— А если жизнь не так хороша?

— Так не бывает.

— И все-таки...

— Не бывает! Всегда есть больше хорошего, чем плохого. Всегда есть люди, которые тебя любят...

Я посмотрел туда, где плавала аккуратненькая фигурка.

— Здесь, говорят, есть небольшие крабики,— сказал я, меняя тему разговора.— Во всяком случае, я лично за две недели ни одного не видел.

— Сейчас поймает,— сказал он так просто, как будто речь

шла о горсти песка. Он накинул халат, надел соломенную шляпу и пошел к воде.

Я усмехнулся. Бывают же такие люди! Вокруг могут грызть камни, стреляться из-за неразделенной любви, убеждаться в собственной несостоятельности... Но эти люди существуют вне времени и вне пространства — в своем ограниченном мире.

— Смотрите, какой смешной! — и он положил на песок маленького краба.

Вот и пожалуйста! Я две недели бесполезно ползал на брюхе вдоль берега, а ему стоило только нагнуться!..

Из моря вышла аккуратненькая фигурка и растянулась на песке.

— Вы играете в шахматы? — спросил он.

— Немного.

— Как хорошо, что вы попались под руку. Я так люблю шахматы, а здесь, как назло, никто не играет... Выбирайте!

Собственно говоря, можно было и не выбирать. Ему должны были достаться белые.

Он имел весьма отдаленное понятие о шахматах, но зато долго думал над каждым ходом, хватался за все фигуры, говорил: «Э нет, так нельзя...»

Когда я взял его ладью, он сокрушенно вскрикнул:

— Ах ты, черт! Надо же... Какой зевок... Да, игра теперь теряет всякий интерес!

Вдруг неожиданно рванул ветер, и из тучи, которая неизвестно откуда взялась, ливанул дождь.

— Ну что? Боевая ничья? — предложил он, указывая на небо.

— Кто кого? — спросила аккуратненькая фигурка, сворачивая тент.

— Согласились на ничью по метеоусловиям, — сказал он.

— Всего хорошего, — сказал я.

— До свидания! — крикнул он. — Приходите завтра! Сразимся!

Я добрал до своего домика и подвел итоги. Что принес мне сегодняшний день? Унесло кепку — раз. Познакомился с везунком — два. С чисто физической точки зрения, у него обаятельная жена — три.

Что дал сегодняшний день ему? Сделал доброе дело — сказал незнакомому человеку, что у него унесло кепку, — раз. Познакомился и утешил как мог незнакомому человеку, у которого унесло кепку, — два. Поймал незнакомому человеку краба — три. Незнакомец оказался партнером в шахматы — четыре. Вытащил белые — пять. Должен был проиграть, но не успел по «метеоусловиям» — шесть. Вполне достаточно для того, чтобы считать мир совершенным.

Через десять дней я с чемоданом в руках тащился по пыльной дороге в направлении шоссе, тщетно пытаюсь остановить попутные машины.

— Уезжаете, даже не простившись?

Я оглянулся. Меня догонял везунок со своей аккуратненькой фигуркой.

— А почему пешком? — спросил он.

— Машин нет.

— Сейчас что-нибудь придумаем, — сказал он.

В этот момент из-за поворота выскочил грузовик. Везунок поднял руку. Грузовик резко затормозил.

— Вы знаете водителя? — спросил я.

— Первый раз вижу. Просто элементарная дорожная этика...

Я сел в кабину и попрощался.

— Запишите наш телефон и звоните, — сказала аккуратненькая фигурка.

— У меня ручка далеко.

— Пожалуйста, — сказал везунок. — Я всегда ношу с собой ручку...

В Москве у меня накопилось много дел, и я с головой ушел в работу. Правда, спустя неделю после моего приезда возникло желание позвонить по телефону, который был записан на листочке. Я погасил это желание, но оно опять возникло. Что-то все время подмывало меня снять трубку. В конце концов, я понял, что это «что-то» — аккуратненькая фигурка, и в доме везунка однажды часов около семи вечера зазвонил телефон. А еще через час я сидел у него в доме. К моему удивлению, они жили в коммунальной квартире, где, кроме них, обитало еще четыре семьи...

Я немного выпил, и мне захотелось произнести красивый тост, чтобы наша следующая встреча состоялась в более благоприятных жилищных условиях.

— Вообще-то здесь очень мило, — сказал он. — Чудесные соседи, солнечная сторона, все рядом... Но, конечно, не мешало бы иметь что-нибудь попросторнее... Я, правда, не занимался еще вплотную этим вопросом. Говорят, нужно идти в райисполком...

Видимо, я давно не пил, потому что меня вдруг потянуло на довольно странные шутки, и я сказал:

— Зачем идти в райисполком? Есть более простой выход...

— Интересно, — сказала аккуратненькая фигурка.

— К мэру! Прямо к нему!.. В пятницу с трех до пяти, и он без звука сделает вам новую квартиру!..

— Так просто? — сказал он серьезно. — Все-таки это удивительно! Как люди иногда ломают себе голову, бьются головой

об стену, идут окольными путями, когда элементарные решения буквально валяются под ногами...

...Потом я засиделся и один раз поймал себя на том, что аккуратненькая фигурка целиком принадлежит везунку, а он, наверное, и не представляет, что это такое... Как только я себя на этом поймал, то сразу понял, что пора прощаться.

В коридоре, пока я одевался, везунок сказал:

— Значит, в пятницу, с трех до пяти?

— Ага,— сказал я.— А пока вы будете у мэра, я могу пригласить вашу супругу на просмотр нового кинофильма... Если вы не возражаете...

— Какие могут быть разговоры! Она будет только рада!

Через месяц я был у них на новоселье!

— Вы подали мне замечательную идею! — говорил мне везунок.— В ту пятницу к трем часам я пришел к мэру. Какой-то человек остановил меня и потребовал документы. Я сказал, что у меня важное личное дело к мэру. Этот человек сделал большие глаза и пропустил меня. Мэр выслушал меня и сказал, что это проще пареной репы...

— Так и сказал? — спросил я.

— Ну, может быть, не так, но что-то в этом роде. Он вызвал какого-то служащего. Тот записал мои координаты и сказал, что все будет в порядке. Я поблагодарил мэра. Он сказал: «Не стоит». И меня на машине доставили домой... Да что я вам все это рассказываю? Вы, наверное, в свое время поступили так же?

— Нет,— сказал я.— У меня все было иначе. Кстати, нельзя ли прицепить к вашему везучему локомотиву мой неудачливый вагончик?

— Не будьте нытиком и не считайте себя неудачником,— сказал он серьезно.— Неудачников в природе нет! Есть лентяи просто и есть лентяи, страдающие комплексом неполноценности.

Весь вечер он буквально светился. Впрочем, это было его обычное состояние. Я смотрел на него с некоторой жалостью. Ведь не может так быть всю жизнь. Рано или поздно он получит щелчок и, в результате полной неподготовленности к этому, опрокинется навзничь и больше не поднимется.

Кроме того, он не знал и не предполагал, что наши взаимные просмотры новых кинофильмов с аккуратненькой фигуркой приобрели за этот месяц систематический характер... Постепенно все стало катиться к финалу, и после одного из просмотров она сказала мне:

— Я не могу больше его обманывать.

— Что ты предлагаешь?

— Завтра я перееду к тебе...

Всю ночь отвратительные мысли не давали мне спать. Неужели завтра он получит тот самый щелчок от жизни? Я пы-

тался, но все никак не мог представить себе везунка в тот момент, когда он все узнает.

Я долго ворочался с боку на бок, пока не созрело зверское, но правильное решение...

— Здравствуйте, — сказал я везунку утром в телефонную трубку. — Супруга ваша уже ушла?

— Ушла...

— А когда она вернется?

— Написала в записке, что решила после работы пойти поплавать...

— Так вот слушайте! Ваша жена ушла, чтобы никогда больше не вернуться...

Наступила пауза. Потом он рассмеялся:

— Сегодня первое апреля, но почему вам в голову пришло разыгрывать меня таким странным способом? Чудак вы все-таки...

— Вы глупый везунок! — заорал я в трубку. — Это не розыгрыш! Она ушла! Ушла!.. Понимаете? Ушла ко мне! Можете прийти сюда в пять часов — убедитесь!

— У вас довольно странная манера приглашать в гости, — сказал он. — Да, я обязательно к вам приду... Я в этом смысле ваш должник... Но сегодня у меня собрание...

— Бросьте собрание! Приходите и набейте мне морду! Ваша жена станет вас больше уважать!.. Да и я тоже!

— Я знаю, что вы остроумный человек, но что это за шутки! Может быть, вы пьяны?..

Я бросил трубку, да заодно и пустую затею... И вообще я решил бросить все.

Приблизительно в половине шестого она заявила ко мне со своим чемоданом.

— Ну, вот! — сказала она и уселась на чемодан.

— Что? — сказал я бесстрастно.

— Я пришла...

— Зря...

— Зря??!!

Я опускаю всю сцену объяснения. Она развивалась по всем законам драматургии, романа, оперетты, цирка и продолжалась до четверти одиннадцатого.

Закончилась эта сцена так, как и должна была закончиться: в четверть одиннадцатого она ушла и, как полагается в таких случаях, хлопнула дверью...

В четверть одиннадцатого!! Надо же! Ведь она действительно придет домой в половине одиннадцатого!.. Нет! На этих людях надеты непробиваемые жилеты!

Без двадцати одиннадцатый я набрал номер их телефона. Он взял трубку.

— Добрый вечер, — сказал я.

— А, это вы... Шутник!.. — весело сказал он.

— Извините... Я и впрямь наговорил вам утром какую-то чушь... Я на самом деле был пьян и придумал этот дурацкий розыгрыш... Как супруга?

— Спасибо. Хорошо. Пришла только что из бассейна и полезла в ванну... Устала... А в гости мы к вам на этой неделе обязательно зайдем!

— Я завтра рано утром уезжаю,— придумал я с ходу.

— Ну? Надолго? Куда?

— На восемь лет... В Дагомею.

— Скажите, как неожиданно... Жаль, что мы не увидимся. Привезите марок побольше!..

Спустя много лет, когда я постарел и меня перестали волновать глупости вроде «везет — не везет», мы вновь встретились. Наши дети сдавали приемные экзамены в музыкальную школу. Родители толпились в вестибюле в ожидании результатов. Я сделал вид, что не узнал его, а он меня действительно не узнал.

Наконец появился председатель приемной комиссии и огласил результаты. Мою дочь приняли. Его сына — нет. Я воспринял это как проявление запоздалой справедливости.

...Сейчас моя дочь уже четвертый год играет на скрипке в оркестровой яме кукольного театра города Утрюпинска. Его сын стал чемпионом Олимпийских игр по прыжкам длину.

1972

ПЕРСИКИ



— Почему персики?
— Три пятьдесят.
— А три?
— За три сам бы ел.
— Ну, давай мне за три, а ты будешь

есть за два пятьдесят.

Дядька, который продавал персики, уставился куда-то в сторону и сделал вид, будто продолжать ему этот разговор скучно.

— Хорошие персики, — сказала девушка. — У той тетки по три, но вы их не довезете.

— Думаешь? — сказал Николай. — Ладно. Грабьте. Давай три кило за десятку. Полтинник — не деньги.

— Тогда за одиннадцать, — буркнул дядька, который продавал персики, но уже ясно было, что сделка состоялась, и он стал накладывать на алюминиевую тарелку крупные, вызывающе загорелые персики.

— Ну, если до Москвы не довезу, смотри! — весело сказал Николай и протянул десятку.

— Хоть до Сибири, — сказал дядька и спрятал десятку глубоко-глубоко во внутренний карман пиджака.

— Ничего себе, — рассуждал вслух Николай, поглядывая на персики в авоське, — три пятьдесят... Это почти полный день вкалывать.

Девушка, которая шла рядом и которую звали Раей, молчала. Она только остановилась на немного, сняла босоножку и вытряхнула из нее камешек. С этого момента Николай думал уже только о том, как поаккуратнее довезти персики до Москвы, и еще о разном...

Дядька, который продавал персики, накрыл весы тряпкой, попросил тетку слева приглядеть и направился в рядом работавшую шашлычную, потому что проголодался.

В шашлычной, прождав минут тридцать и разозлившись, он заказал салат зеленый с яйцом и со сметаной, суп-харчо полную порцию, два шашлыка по-кавказски, лимонад, хлеба того и другого и бутылку вина «Псоу», потому что пива не было.

Съев все это и выпив с большими перерывами, прождав еще минут тридцать счета, дядька сунул официанту десятку, высказал ему свою жалобу по поводу медлительного обслуживания и направился к рядам продавать персики, подумав на ходу, что вот если бы этого здорового официанта да в сады персики выращивать...

Последние персики он уже продавал по три, потому что

день кончался. И думал он уже только о том, как лучше добраться до дому — катером или на попутке.

Официант сунул десятку во внутренний карман смокинга и подумал, что вот если бы этого куркуля да в шашлычную и заставить весь день побегать с высунутым языком. Но уже через мгновение его мысли обратились к столику у окна, за которым села черно-белая разнополая компания, и оттуда слышались басовые шутки с акцентом и высокое женское хихиканье...

— Ты чего, Раюха? — спросил Николай, укладывая персики в только что купленный за два с полтиной фанерный ящик с дырочками. — Ты чего загрустила?

— Жарко, — ответила девушка, которой действительно было жарко, потому что приехала она в этот профсоюзный санаторий на Южном берегу Крыма по горячей путевке в июле месяце вместо сентября, как было указано, в заявлении об отпуске.

— Выше нос, Раюха! — бросил Николай. Через четыре часа кончался его отпуск вылетом из Симферопольского аэропорта реактивным лайнером «ТУ-134» по маршруту «Симферополь — Москва».

Заканчивался срок его пребывания в профсоюзном санатории на Южном берегу Крыма, где на четвертый день на пляже познакомился он с Раюхой и предложил ей сплывать до буйка, а потом и на экскурсию катером с баянистом и чешским пивом в буфете. Это показалось ей необычным, и возникла между ними та самая необъяснимая южная взаимосимпатия, по мере развития которой начали они обмениваться друг с другом разнообразнейшей информацией и свежими впечатлениями. Так и узнала она, что он из Москвы, а вы откуда, а я из Тюмени. Так и узнал он, что она читала книжку про дельфинов, а я недавно смотрел «Воспоминания о будущем». Вы не видели? Нет, к нам приехала Людмила Зыкина. И еще тут где-то есть шашлычная. А тридцать два градуса в тени и двадцать четыре градуса в воде делали свое дело. И выяснилось еще, что начальник его отдела — человек дубоватый, а у нее в общежитии запретили танцы, и сухое вино после купания — самый смак, а по телевизору сегодня — «Семнадцать мгновений весны». И смотрели они, занимая места друг для дружки, семнадцать мгновений весны, вечер за вечером, мгновение за мгновением. И, после того как Штирлиц, устав, заснул в своей машине, случилось между ними то, что заставило его весь следующий день нырять, как сумасшедшего, обыграть в «дурака» профессора и распевать до вечера песни своего любимого Эдуарда Хилья, а ее — пугливо озираться, наивно считая, что все на нее смотрят и перешептываются.

Дальше они отдыхали уже на «ты», хотя в столовой пита-

лись на «вы». И вообще ему нравилось это место, а ей было жарко, и она с тревогой начала считать дни.

А потом кончилась последняя серия, и начались дожди. И он целыми днями играл с профессором в «дурака» или в шахматы, напевая «вода, вода, кругом вода» и поглядывая в окно в ожидании перемены климата, потому что он в комнате жил четвертым и Раюха в комнате жила четвертой. Ей же по-прежнему было жарко, и она продолжала считать дни.

Когда истек срок путевки, Николай отдохнул и окреп. В тот же день снова запалило солнце, и они отправились на базар покупать персики. Николай был мужчиной, и поэтому ему было жалко ее, что она с ним растается.

— Выше нос, Раюха! — повторял он до самого прихода автобуса. — Ничего не попишешь. Пришло время разъезда. Оглянуться не успели, как зима катит в глаза. Можем переписку вести. Я тебе до востребования, ты мне до востребования. Так и будем вести переписку. Ну, чего ты, Раюха?

— Опоздаете, — сказала Раюха. Она хотела, чтобы поскорее ушел автобус, ушел сегодняшний день, потому что завтра ее срок тоже истекал и надо дать телеграмму Клобуковой, чтобы она достала к ее приезду все, что нужно. В этом уже Раюха не сомневалась и ни о чем другом думать не могла.

Автобус обступили отдыхающие профсоюзного санатория на Южном берегу Крыма. Николай внес вещи в автобус и поставил ящик с персиками так, чтобы они не подавились.

— Ну, пока, как говорится, — сказал он в окошко и помачал рукой так, как машут футболисты, отправляясь на матч. Автобус фыркнул и выехал за ворота.

Отдыхающие профсоюзного санатория на Южном берегу Крыма махали руками и кричали «до свидания, до свидания». Автобус повернул влево, и отдыхающие разошлись, а море, которое только секунду назад было рядом, исчезло, и больше его Николай не видел. Просто он думал о том, как через несколько часов уже будет в Москве. И ни о чем больше.

Срок пребывания Раюхи истек на следующий день, и она улетела в Тюмень, где ее ждала Клобукова, которая достала то, что нужно. Раюха два дня пожила у Клобуковой и на третий день вышла на работу.

Сотрудники сказали ей, что она очень мало загорела.

В аэропорту Николай услышал про какой-то карантин на фрукты и овощи. У него ёкнуло сердце. «Как же быть с персиками?» — сразу подумал он и вскоре выпросил в аптечном киоске несколько листов упаковочной бумаги, замотал ящик с персиками и перевязал его шпагатом.

У регистрационной стойки два кавказца (Николай никогда не мог отличить, кто армяне, кто грузины, а кто азербайджан-

цы), ожесточенно жестикулируя, на полусвоем-полурусском языке возмущались карантинном. Перед ними стояли две высокие плетеные корзины с фруктами, а возле регистратора находились начальник смены и диспетчер по транзиту. Начальник смены все время повторял: «Все! Разговор окончен! Я из-за вас в тюрьму садиться не собираюсь! Все!» У кавказцев шляпы были сдвинуты на лоб, и по лицам их тек пот, но начальник смены был непреклонен, потому что садиться в тюрьму из-за них он не собирался.

— А грязное белье можно с собой? — жалобно спросил Николай, указывая на ящик с персиками.

— Все сдавать! — твердо произнесла регистратор, и Николай тоскливо посмотрел, как его ящик с персиками грохнули на багажную тележку. «Хоть так, — подумал он, — а этим придется свои корзиночки того...» И он очень обрадовался, что так ловко перехитрил аэропорт.

В самолете Николай сразу уснул и даже не воспользовался леденцами, а когда проснулся, то уже не было Симферополя, а была Москва.

Когда он направлялся к «выдаче багажа», его обогнали два кавказца с большими чемоданами в руках. За ними носильщик нес две высокие плетеные корзины с фруктами. «Вот ведь!» — подумал Николай.

Его чемодан показался на конвейерной ленте через сорок минут, а немного погодя — ящик с персиками. На упаковочной бумаге проступило большое мокрое бурое пятно. «Продавили, гады!» — подумал Николай и, взяв вещи, направился к выходу, неся на вытянутой руке ящик с персиками, чтобы не испачкаться.

— Что ж ты телеграмму не дал? — говорила Надежда, целуя Николая.

— Проверка! — усмехнулся он.

— Хитрован! Мы же все с мамой высчитали. Вышло, что сегодня. Куда тебе деться?

— Пап, чего ты мне привез? — приставал Володька.

— После обеда! — строго сказал Николай.

— Чегой-то ты и не загорел совсем, — высказалась теща.

— Облупился, — ответил Николай, — и дожди были...

После обеда Николай торжественно стал разворачивать ящик с персиками.

— Внимание! — произнес он. — Раз, два, три!.. Персики!..

И он вскрыл ящик. Добрая половина персиков была чем-то раздавлена и представляла собой довольно скверное месиво.

— Продавили, гады! — сказал он.

— Не выбрасывайте! — высказалась теща. — В компот сгодится.

Оставшиеся восемь персиков вымыли, выложили на большое красивое блюдо и через две минуты съели.

— Ну и намаялся с ними, — сказал Николай.

— Дорог не подарок — дорого внимание, — высказалась теща.

Надежда стала убирать со стола, а Володька побежал во двор.

Когда Николай уже лежал в постели и читал еженедельник «Футбол-хоккей», вошла Надежда в ночном халате.

— А между прочим, почему там персики? — спросила она.

— Три пятьдесят кило, — отозвался Николай.


— Надо же! У нас на Центральном рынке и то дешевле, — сказала Надежда и выключила свет.

Сослуживцы на следующий день говорили ему, что он совсем не загорел.

— Да облупился, — отвечал он, — и дожди были.

1972

КРОВАТЬ, СТОЯВШАЯ ВЕРТИКАЛЬНО

 **Н**ет, господа, таких сигар не куривал Саня — его высочество! Не по причине, естественно, дороговизны, а просто потому, что привык к бело-коричневому «Памиру», дотягивал его до такого конечного состояния, про которое обычно говорят: «Докури, дружок, я губы обжег», и имел на правой руке два темно-желтых пальца — большой и указательный...

Он сидел на кожаной, похожей на турецкий барабан штуке с названием «пуф». Справа стояла шикарная деревянная кровать для двоих. Кровать стояла вертикально.

Женщина сидела в глубоком кожаном кресле рублей за девяносто. Сидела, откинувшись на спинку, вытянув ноги. Воротник ее замшевого пальто был поднят. Их разделял только стол. Узкий, но длинный и довольно низкий. На столе стоял маленький транзисторный телевизор.

Слева от Сани лежал холодильник, а над ним висела широколопая соломенная шляпа.

Итак, их разделял только узкий стол. А темнота то увеличивала расстояние между ними, то уменьшала.

— Хорошая сигара? — спросила женщина, когда Саня сделал очередную затяжку.

— Ничего себе, — ответил он.

— Это мой муж привез с Кубы...

Небольшого роста, жирноватый Еемуж находился за стеной.

«Такая женщина и вдруг с Такиммужем», — подумал Саня.

— А кем работает Вашмуж? — спросил он.

— Какое это имеет значение? — сказала женщина и вздохнула.

— Скажите ваше имя.

— Мое? Виола.

— Вы имеете отношение к финскому сыру?

Женщина засмеялась и включила телевизор.

Вспыхнул лунным светом экранчик и осветил Санино лицо и лицо женщины...

— Погода, — произнес диктор. — Теплая, без осадков погода сохранится в ближайшие сутки на большей части Европейской территории Союза...

Забарабанил по крыше дождь. Какой-то резкий толчок опрокинул кресло, и женщина оказалась на полу.

Саня бросился к ней, протянул руку и помог подняться.

— Ты не упала? — раздался из-за стенки голос Еемужа.

— Нет, ничего! — крикнула Виола и попыталась высвободить свою руку из Саниной руки, но отважный мушкетер, наоборот, крепко, но не больно сжал ее руку.

— Вы не ушиблись, сударыня?

— Нет. Благодарю вас, — тихо произнесла миледи, и Александру показалось, что лицо ее слегка побледнело.

— Позвольте предложить вам своего коня, мадмуазель!

— Моя Кобалетта, граф, воспитана тоже не в худших традициях!..

— Значит ли это, мисс, что вы в состоянии продолжить путь верхом?

— Непременно, барон...

Она поставила ногу в стремя.

— О! Что я вижу! — вскричал Александр. — У вас на ноге кровь?!

— Пустяки, — с трудом произнесла Виола и лишилась чувств, упав Александру в объятия...

Он бережно опустил ее на траву, потом разорвал на себе батистовую сорочку и туго перевязал неглубокую, но кровоточащую рану. Затем отстегнул от пояса серебряную флягу — подарок герцога де Римонвиль — и влил несколько капель «Баккарди» в полуоткрытый рот очаровательной женщины.

— Благодарю вас, маркиз, — сказала она, открыв глаза, — мне уже легче... Помогите мне...

Булонский лес встретил их прохладой и полумраком, не смотря на то что часы на соборе Сен-Клу еще не пробили шесть.

— Долго ли еще ехать до вашего замка? — спросил он.

— Минут двадцать при такой езде... Могу ли я, капитан, спросить вас кое о чем?

— Вы сделаете меня счастливейшим человеком, графиня.

— Вы студент? — сказала женщина и закурила.

— Да, — ответил Саня.

Сначала сигара была вроде бы ничего, а с середины начала оставлять во рту довольно противный привкус. Саня погасил ее об пол и затоптал.

— С геофака, — сказал он.

— Живете в общежитии или дома?

— У тетки...

— А где родители?

— В Горьком.

— Подрабатываете?

— Приходится... А вы?

— Что я?

— Вы чего делаете?

— Я?.. У меня незаконченное, как пишут в анкетах, высшее образование... Я занимаюсь хозяйством, содержу в порядке дом, ухаживаю за Моиммужем... Разве это мало?

— Не знаю,— сказал он.— Наверное, много... И потом... Кто вас заставлял?

— Вот тебе раз,— засмеялась она.— Разве я сказала, что чем-то недовольна?

— Мне так показалось.

Саня встал, сделал два шага к вертикально стоящей кровати и прислонился к ней спиной...

Нет, господа, никогда еще с такими женщинами не сиживал Саня — его высочество. И ароматов подобных не нюхивал. Не то чтоб совсем не нюхивал. Но не в таком современном интиме, и не в таком, можно сказать, мраке, и не перед таким, черт знает каким, транзисторным телевизором.

— Начинаем передачу «Поет Людмила Зыкина!» — объявил диктор.

«Издалика долго течет река Волга...».

— Вы ходите на хоккей? — спросил Саня.

— Мой муж не любит хоккей.

— А чем увлекается Ваш муж?

— Он работает.

— А когда не работает?

— Работает.

Саня уже, неизвестно почему, ненавидел Емужа, хотя и понимал, что не имеет для этого никаких оснований, и он приналег на весла. Лодку могли обнаружить каждую минуту. Это грозило смертью не только ему, но и Виоле Хэлмен, которую он вовлек в столь опасное предприятие.

— Знаете ли вы, мисс Хэлмен, что вам грозит, если мы попадем в руки господина Кристофера? — спросил Александр, с тревогой поглядывая на медленно удаляющийся остров.

— Еще бы! — захохотала Виола. — Меня отдадут на потеху национальным гвардейцам!.. Как уже было с бедняжкой Дженни Бэгг!..

— Он не посмеет! — зарычал Александр и стал грести изо всех сил. — Этот жирный мерзавец не стоит вашего ногтя!..

Неожиданно лодка ткнулась во что-то твердое. Александр едва не вывалился через борт. Мисс Хэлмен таинственно приложила палец к губам.

— Кончится это странное путешествие, — произнес Александр, — и все?

— Запомните пароль! — быстро заговорила мисс Хэлмен. — 78.23.14... Спросить Дарью Тимофеевну!

— А кто это?

— Это моя домработница... Позвоните, и я обязательно схожу с вами на хоккей...

— А Ваш муж?

— Он через неделю опять уезжает.

Саня осмелел и сел на узкий стол совсем рядом с ней.

— Осторожно, — сказала женщина. — Он очень хрупкий.

Он находился в каком-то замкнутом, абсолютно черном пространстве. Но интуиция подсказывала ему, что здесь, в этом пространстве, есть кто-то еще. Он протянул руку в темноту и почувствовал под пальцами шелковистые волосы.

— Это я, Александр, — прошептал он, — я случайно... Неужели это ты, Виолина с Альдебарана?

— О! Александр — сын Земли! — Слабым голосом произнесла несчастная альдебаранка. — Теперь мы до самой смерти вместе. Мой муж заключил нас в это замкнутое пространство, и мы стали вечными спутниками этой страшной планеты...

— Любимая! — закричал Александр, к которому вновь вернулись силы. — Любимая! Самое главное — что мы любим друг друга!.. И мы не погибнем!.. Земля не бросит нас! Ты слышишь? По всей планете прокатываются митинги протеста!.. Все простые люди на Земле требуют нашего немедленного освобождения!.. Слышите, вы, тупоголовые альдебаранцы! Я, сын Земли Александр, не боюсь вас! Больше того — я презираю вас!.. Эй ты, Емуж!.. Жирный, маленький альдебаранец!.. Виола любит меня! У нас скоро будет ребенок, и я назову его Саней!..

— Нет, нет, нет, — плакала Виолина. — Уже ничто не поможет!.. Мы обречены!..

— Докеры Гавра объявили сидячую голодовку! — продолжал Саня. — Труженики Горьковской области закончили сев на пять дней раньше срока!.. Ты слышишь меня, Земля? Твой сын вернется к тебе, но вернется не один! Он вернется с невестой — Виолиной с Альдебарана!

Толчок. Саня ударился головой о кровать, стоявшую вертикально.

— Вот и все, — сказала женщина и встала с кресла.

Через мгновение правая стена распахнулась. Яркий, солнечный свет ударил Саню по глазам, и он чихнул.

— Прыгай, Виолочка, — сказал муж, — я тебя поймаю.

Он стоял на земле у открытого заднего борта машины и протягивал ей руки.

Она спрыгнула на землю, и он неуклюже поймал ее, едва устояв на ногах.

— Тебя не растрясло?

— Нет... Я боюсь за холодильник...

— Ничего ему не будет, — сказал подошедший шофер. — Не вас первых перевозим... Санька! Ты чего раззевался! Бросай лямки, давай перетаскаем, и дело с концом!..

Грузовой лифт еще не был включен. Сначала на седьмой этаж поволокли кровать. Муж заказчицы суетился рядышком.

— Осторожно! Не заденьте! — то и дело выкрикивал он. — Так!.. Так!.. Тихо! Угол не ударьте!.. Так!.. А может, лучше на попа?

Потом понесли холодильник... Потом Саня нес узкий длинный стол, а шофер — кожаное кресло... Потом все раз за разом перетаскали...

— Распишитесь, — тяжело дыша, сказал Саня.

— Где и что? — спросил муж заказчицы.

— Вот здесь... Мол, претензий по перевозке мебели со стороны заказчика не имеется...

Муж заказчицы расписался.

— Все? — спросил он.

— Вроде бы все, — сказал Саня.

— Как все? — испуганно спросил шофер.

— Ах, да! — спохватился муж заказчицы. Он пошарил по карманам и протянул шоферу пятирублевую бумажку. — Достаточно?

— Достаточно, — сказал Саня.

— Прибавь им еще, — сказала заказчица. — Все-таки без лифта...

Она заговорщически подмигнула Сане.

— Достаточно, — резко повторил он и начал спускаться вниз.

Шофер догнал его между шестым и пятым этажом.

— Чтоб я еще с тобой хоть раз спаровался! — выпалил шофер в самое ухо Сане. — Тоже мне!.. Филателист!..

Но Саня не слушал его.

«Эх, сейчас бы мне мустанга!» — думал он.

У подъезда бил копытом вороной красавец мустанг. Александр прямо с крыльца прыгнул в седло, надвинул на глаза сомбреро и пришпорил вороного.

Мустанг взвился на дыбы и рванулся во весь опор, унося на себе Александра по какой-то восходящей линии, через пампасы, саванны и прерии, через джунгли и Кордильеры, к отделу доставки и перевозки мебели транспортного агентства.

БРЮКИ ИЗ ЛАВСАНА

В очках внимательно выслушал потерпевшего и продолжал:
— Так вот. Вы, видите ли, до сих пор пребываете в состоянии транса по поводу того, что вам в ателье запоролли брюки...

— Из лавсана! — многозначительно поднял указательный палец потерпевший.

— Ну, хорошо, — согласился в очках, — из лавсана. И это обстоятельство терзает вашу душу и не дает покоя. Сознание собственной правоты и невозможность доказать свою правоту в планетарном масштабе угнетает вас...

— Меня никто не угнетает! — предостерегающе произнес потерпевший. — Понятно?! Мне просто обидно!

— И я вас понимаю. Но теперь поймите, что мне, может быть, обиднее вдвойне!

— Вам-то что обидно? Вам брюки не запарывали.

— Меня гнетет гипотеза...

— Вы что, опять про своих умников?

— Можно называть их как угодно, но то, что они на несколько порядков цивилизованнее нас, это определено. Более того, именно они катализировали разумное начало на нашей планете! Кто они? Как они выглядели, мы пока не знаем. Ясно одно: после их вмешательства мир начал свое развитие.

— Минуточку! А куда вы денете Чарльза Дарвина? — заинтересовался потерпевший. — Ведь он что требовал? Чтобы человек произошел от кого? А? Даже произносить-то противно. Вот вы сходите в зоопарк. Стыдно становится! Но ведь раз Дарвин сказал, то уж извините, как говорится...

В очках оживился.

— Уважаемый! — сказал он. — Я не расхожусь с дарвинизмом. Но дарвинизм — это следствие, моя гипотеза — причина!..

Он глотнул пива, поправил очки и продолжал:

— Так вот. Около двадцати тысяч лет назад инопланетные отловили несколько сот особей обезьян определенного вида и привили этим диким тварям «мыслящее вещество», преодолев, разумеется, барьер биологической несовместимости...

— Не говорите загадками, — сказал потерпевший. — Мозги, что ли, привили?

— Не совсем. Мозг есть у каждого живого существа — у кошки, у слона, у черепахи, у скунса. Однако он не несет мыслительной функции. А в мозг тех самых обезьян было вшито «мыслящее вещество», под влиянием которого те самые обезья-

яны начали изменяться. Подчеркиваю — только те самые! Не шимпанзе, не гориллы, не павианы, не макаки...

— Еще чего не хватало, — передернулся потерпевший.

— И это явилось началом эксперимента, который ведет
Диссертант.

— Где? — спросил потерпевший.

— Где-то там. За пределами Вселенной. И возможно, тема его диссертации формулируется так: «Особенности развития мыслительной функции под влиянием длительного воздействия «мыслящей субстанции», вшитой в переднюю часть мозга низкоорганизованных позвоночных в условиях пребывания в замкнутом пространстве, заполненном питательным бульоном».

— Каким еще бульоном? — спросил потерпевший.

— А почему нет? Вот, например, рыбы. Вы думаете, они сознают, что живут в воде? Нет. Для них вода — такая же прозрачная и легкая среда, как для нас воздух...

— Что же это? — задумчиво произнес потерпевший. — Значит, все вокруг — бульон? И деньги — бульон, и жена — бульон, и пиво — бульон?

— Нет, нет. Мы с вами, ваша жена, деньги, пиво, все, что мы производим, — это и есть развитие «мыслительной функции». Это опыт, который делается на нас. А пространство — это бульон. И все вместе помещается в гигантской колбе. Понимаете? В колбе с абсолютно прозрачными стенками. И нам, находящимся внутри пространства, Вселенная кажется бесконечной. Ибо даже если когда-нибудь мы и доберемся до одной из стенок, то мы заскользим по ее сферической прозрачной внутренней поверхности. Заметьте, что сказанное мною полностью гармонирует с одной теорией искривления пространства... А самое-то главное, дорогой друг, что за всем, что происходит в нашей колбе, идет постоянное наблюдение. Капнет, например, Диссертант щелочи — война. Добавит кислоты — мир. Подсолит немного — рост цен в Америке... А нам все кажется, что мы — пуп Вселенной, что от нас что-то зависит... Вот вы с женой ругаетесь?

— А как же, — сказал потерпевший.

— Так вот, замечали, что иногда утром встаете — и нет никакого желания ни драться с ней, ни ругаться?

— Бывает, — улыбнулся потерпевший.

— А иногда вдруг ни с того ни с сего — дебош!

— Еще бы!

— А это значит, что на вас в данный момент и действует какая-нибудь щелочь...

— Это не от щелочи, — нахмурился потерпевший. — Она с нашим механиком встречается.

— Правильно! — оживился в очках. — А почему? Потому что наверняка испытывает на себе воздействие какого-нибудь ангидрида!

— Он не ангидрид! — рявкнул потерпевший. — Он негодяй! И щелочь здесь ни при чем! Что ж, выходит, если я вам сейчас съезжу по очкам, это от щелочи?

— Нет. Это от хулиганства, — возразил в очках.

— То-то, — сказал потерпевший и с тоской добавил: — Теперь скажите мне: ведь если ваш этот... Диссертант за всем наблюдает, во все вмешивается, зачем ему, подлецу, понадобилось, чтобы мне брюки из лавсана запороли? Что я, в лавсановых штанах эксперимент ему испорчу?

— Вряд ли он замечает такие конкретные мелочи... Он замечает только отдельные личности, достигшие в своем развитии уровня выше среднего... Леонардо да Винчи, Евтушенко, Пеле...

— Еврюжихин тоже после Мексики прибавил, — сказал потерпевший.

— Вы когда-нибудь за чем-нибудь наблюдали? — спросил в очках.

— Наблюдал. Вон за той официанткой.

— Ну и что?

— Ничего. Крепенькая.

— А если бы она вам подмигнула, заметили бы?

— Еще бы!

— Вот так и Диссертант. Он наблюдает за колбой вообще. И только что-то из ряда вон выходящее может приковать его внимание...

— Нет, погодите! — потерпевший стукнул кулаком по столу. — А то, что у нас на весь район нет ни одной химчистки? Этого ваш умник тоже не замечает?! Или вот дом у нас новый сдали — третий месяц воды нет! Куда он смотрит? За что ему там деньги платят?..

— Не кипятитесь, — спокойно сказал в очках. — Цель его эксперимента — развитие мыслительной функции до понимания истины своего происхождения.

— Рыло ему начистить надо! Вот что! — буркнул потерпевший. — Так я тоже могу наблюдать! Вот сяду и буду смотреть на солнце... Выходит — заходит, выходит — заходит. И что?

— А солнце, между прочим, — это гигантская спиртовка, пламенем которой Диссертант поддерживает среднюю температуру в колбе.

— Ну, черт с ним, — сказал потерпевший. — Даже если все, что вы говорите, — правда, ничего у него с нами не получится... Пьем мы много.

— Очень жаль, — задумчиво сказал в очках.

Но потерпевший уже похрапывал, уронив голову на грудь. В его дремлющем сознании возник полутемный кабинет... Диссертант обнимал лаборантку. Она кокетливо отбивалась. В дальнем углу медленно вращалась большая колба, обогреваемая пламенем спиртовки. В колбе что-то все время булькало, урчало и перемешивалось.

— Зайчик, ты колючий, — увертывалась лаборантка.

В колбе что-то щелкнуло.

— Зайчик, отодвинь спиртовку. Будет перегрев...

Диссертант подошел к колбе и с ненавистью отодвинул от нее спиртовку.

Зима в этом году выдалась на редкость теплой, и только в конце февраля вдруг резко ударили морозы.

1973

ТАИНСТВЕННО И СТРАННО



Жужар последний раз облетел вокруг Солнца, включил маршевые двигатели и с огромной скоростью устремился обратно. Огненный шар остался сзади, а впереди была непрерывно стущавшаяся холодная чернота бесконечности...

С тех пор как он вылетел в направлении Солнца, прошло такое количество времени, что Жужар уже не понимал, какое именно: год? день? жизнь? Все спуталось — начало, середина, конец. Все вытеснила цель — Солнце, Солнце, Солнце! Болезненная, ноющая идея его единомышленников. И только эта идея смогла оторвать его от земных трав, от желто-белых ромашек, от сводящих с ума прикосновений единственного в мире создания — его ослепительно красивой подруги.

Жужару казалось, что за время этого бесконечного полета он утратил всякое ощущение реальности. Порой он ясно сознавал, что находится там, среди зеленой травы и желто-белых ромашек, а его полет — это длинный, очень длинный, бесконечно длинный сон. Иногда наоборот — полет представлялся ему реальным существованием без начала и без конца с какими-то странными видениями зеленой травы, желто-белых ромашек и усыпляющими ощущениями сводящих с ума прикосновений его ослепительно красивой подруги. И только однообразный шум двигателей устанавливал в этом хаосе жесткую закономерность: он, Жужар, осуществляет полет к Солнцу, воплощает в жизнь вековую мечту его единомышленников. И все, что с ним происходит, реально: его полет, его прошлое, зеленая трава, желто-белые ромашки и оставшаяся там ослепительно красивая его подруга...

Странно, что он не испытал ни ликования, ни подъема, облетов в последний раз солнечный шар в непосредственной близости. Он только подумал: «Ну вот и все. Пора домой. Исторический акт свершился». Из двадцати защитных противосолнечных слоев Жужар потерял восемь, и когда открылся кровавый глаз самоконтроля, Жужар включил маршевые двигатели и с огромной скоростью устремился обратно.

По мере того как он удалялся от Солнца, им овладевало непонятное беспокойство, и когда наступила кромешная тьма, это непонятное беспокойство оформилось в непрерывный поток назойливых и холодных мыслей. Что сейчас там? И что будет там, когда он вернется? Ведь прошла целая бесконечность. Существуют ли вообще — его народ, его единомышленники, пославшие его на беспремерный подвиг? Ждет ли его в состо-

янии глубокого анабиоза ослепительно красивая подруга? Помнят ли его? А вдруг ему не поверят и назовут шарлатаном, а все замеры, снимки и кумулятивные феномены объявят фальсификацией... Ах, эта нежная музыка и ласковый ветер в день отлета! И праздничное разноцветие его единомышленников, и желто-белые ромашки среди изумрудно-зеленой травы, и последние сводящие с ума прикосновения ослепительно красивой его подруги... «Улетай, Жужар! Взвейся! Взорли!.. Мы ждем тебя!.. Мы назовем наших детей твоим именем!.. Возвращайся, Жужар!»...

И прощальный воздушный хоровод... А потом — бесконечность, и вот он возвращается... Помнят ли его? Ждут ли его? Что там со всеми и со всем?..

Внезапно Жужар почувствовал резкий упругий толчок, от которого он, несмотря на уникальную систему амортизации, на мгновение потерял сознание.

Двигатели продолжали работать, но движения как такового Жужар не чувствовал. Он дал задний ход и снова включил маршевые двигатели. И снова все тот же резкий, упругий толчок остановил движение. Впереди не было никакого видимого препятствия, и тем не менее работающие на полную мощность двигатели не могли преодолеть это неизвестно откуда возникшее сопротивление. Жужар развернулся на сорок пять градусов и, покрыв огромное расстояние, снова бросился вперед. И снова все тот же резкий, упругий толчок заставил его остановиться. Жужар уже не сомневался, что натолкнулся на гигантской силы магнитное поле, но когда оно возникло и какова его площадь?

— ...Тарак не случайно считался опытным разведчиком. Он даже точно не помнил, сколько на его счету было удачно проведенных операций. Он не представлял, как долго живет на свете, и не помнил, когда родился. Он знал только одно: с тех пор как почувствовал, что живет в первом мире, он возненавидел второй мир и вместе с такими же, как он, включился с этим вторым миром в смертельную борьбу. Для чего? Из-за чего? Этого Тарак не знал. Ненависть ко второму миру передавалась генами из поколения в поколение в течение многих и многих тысячелетий и в конце концов стала жизненной необходимостью. Как еда, как сон, как чувство страха, как инстинкт размножения. Проникновение во второй мир и его разрушение было целью существования Тарака и таких, как он...

Стало значительно теплее, и Тарак понял, что второй мир уже близок. Он был опытным разведчиком и не мог ошибиться: за этой отвесной стеной начинался второй мир, с его отвратительными чудовищами — глупыми гигантами, жестокими, беспощадными, выиграть у которых открытый бой было невоз-

можно хотя бы из-за разницы в размерах. Но это их преимущество являлось в то же время и слабостью: от них легко было прятаться. Любая едва заметная расщелина служила надежным укрытием, не говоря уже о том, что они были неповоротливыми, а Тарак и его соплеменники передвигались легко, быстро, обладали высокой маневренностью и колоссальным чутьем опасности. Тело Тарака было покрыто крепкими жаростойкими и противоударными доспехами, не ограничивающими при этом подвижности. В головной части доспехов крепились два локатора в виде тонких подвижных антенн...

Тарак был опытным разведчиком и на плоскую равнину выбрался не сразу. Сначала выставил из расщелины антенны-локаторы и, когда убедился, что опасности вблизи никакой нет, мгновенно преодолел освещенное пространство и укрылся в тени жуткого сооружения, на которое часто приходили отдыхать мерзкие чудовища. Тарак чувствовал двойную ответственность: в доспехи был вмонтирован большой транспортный контейнер, в котором находилось двести пятьдесят молодых представителей первого мира. Операция, которую осуществлял Тарак, заключалась в том, что он должен был доставить контейнер в безопасное место, где в течение определенного времени молодые представители проходили акклиматизацию и адаптировались. После этого автоматическое устройство взрывало контейнер, и молодые патриоты рассредоточивались по разным уголкам второго мира для выполнения главной своей задачи — проникать, отравлять и разрушать...

Тарак готовился к последнему переходу и ждал полного наступления темноты. Два его локатора напряженно подрагивали в пространстве...

...Жужар тщетно пытался облететь неизвестное магнитное поле или найти брешь в его мощных силовых линиях. Он бросал свой корабль на тысячи периодов вправо, влево, вверх, вниз, но всякий раз, когда он устремлялся вперед, все тот же упругий, резкий толчок останавливал его. От страшной вибрации и перегрева он потерял еще шесть защитных слоев.

Жужаром овладело отчаяние. Значит, никогда его народ не узнает, что он, Жужар, осуществил вековую мечту и несколько раз облетел вокруг Солнца! Значит, вся богатейшая информация навсегда останется в этой холодной бесконечности, и никогда не дождется его ослепительно красивая подруга, погруженная в глубокий анабиоз среди зеленой травы и желто-белых ромашек. И тогда Жужар включил все излучатели, безрассудно расходуя энергию. И во все стороны Вселенной разлетелись от него сигналы о том, что он, Жужар, видел Солнце и обогнул его несколько раз. И маршевые двигатели заревели, работая на предельной мощности, когда он в послед-

ний раз устремился вперед, навстречу невидимому препятствию, безнадежно пытаясь его протаранить. И когда осыпался последний защитный слой, Жужару показалось, что он чувствует легкое дуновение теплого ветерка, и слышит тихую нежную музыку, и ощущает томительное прикосновение его ослепительно красивой подруги, с которой он медленно опускается на желто-белые ромашки посреди зеленой травы.

А на самом деле Жужар падал в ледяную темноту вечности...

...Тарак готовился к последнему переходу и ждал полного наступления темноты. Как старый, опытный разведчик, он не сомневался, что полная темнота должна скоро наступить, и он погрузился в собственные мысли, доверяясь двум своим верным локаторам... «Возраст уже не тот, — думал он, — да и, если говорить честно, реакции тоже утратили былую быстроту. И нельзя до бесконечности использовать его беззаветную преданность первому миру. Как ни почетно транспортировать молодых представителей, а все-таки это удел более ранних. По окончании операции надо поставить вопрос о своем переводе в отдел управления и командования. Опыта и знаний не занимать... На худой конец неплохо устроиться и просто начальником гарнизона в каком-нибудь оккупированном районе второго мира, где-нибудь в теплых местах... Забрать супругу и начать писать мемуа...»

Страшной силы удар обрушился откуда-то сверху на Тарак. Расплющенные и размолотые доспехи разорвали тело и погребли под своими обломками и самого Тарака, и двести пятьдесят представителей первого мира. Только антенны-локаторы еще некоторое время подергивались, сигнализируя опасность, но потом и они затихли...

...Вечер был душный. Одиннадцатилетний Челль Свенсон лежал в своей комнате, в своей кровати, накрывшись простыней, и не спал. Он очень хотел дождаться матери, которая в этот вечер ушла в гости к Перссонам. Челль лежал, напряженно таращил свои синие глаза и прислушивался к вечерним звукам и шорохам, доносившимся из открытого окна. Потом он долго смотрел на потолок, наблюдая, как красивая бабочка упрямо и бессмысленно облетает вокруг плафона. Потом он услышал отдаленные раскаты грома, и ему стало жутко. Он встал, прошел босиком к окну и закрыл его. И тут он увидел возле ножки кресла рыжего таракана-прусака. Таракан был совершенно неподвижен, как будто спал или задумался о чем-то. Только усики его слегка подрагивали. Челль передернулся. Преодолевая отвращение, он взял тапочку, на цыпочках приблизился к креслу, присел, медленно замахнулся и, зажмурив глаза, прихлопнул таракана. Затем он выключил свет и прыг-

нул в кровать, натянув простыню до самых ушей. Челль лежал затаив дыхание и слышал, как бьется и бьется бабочка, безнадежно пытаясь протаранить стекло и вылететь наружу...

Утром, стоя под душем, Челль крикнул матери:

— Мама! У нас в доме тараканы! Я вчера убил одного!

— О господи! — сказала мать Челля. — Куда деваться от этих тараканов!

После завтрака Челль помог матери убрать в его комнате. Он водил влажной губкой по подоконнику, вытирая желтоватую пыльцу, и увидел лежавшую возле шпингалета красивую бабочку. Челль взял ее за крылышко и подбросил из окна в воздух, надеясь, что она полетит, но она просто упала на зеленую траву среди желто-белых ромашек.

— Мама! — сказал Челль. — А когда папа вернется?

— Теперь скоро, — улыбнулась мать. — Вчера мне сказали, что они уже в пределах нашей Галактики.

1974

ПИСЬМО С ЮГА



Дорогой Сергей Петрович!
Вот я и на Черном море. И большое вам за это спасибо, что вы мне присоветовали поехать отдохнуть на Черное море. Так вот, я и на Черном море, и спасибо вам за это большое.

Ну что вам написать? Отдыхаю я хорошо, только устаю очень, а вообще-то отдых здесь отличный, но устаю сильно.

Путевку, как вы мне обещали, и курсовку, как вы мне обещали, я на месте не достал. Так что отдыхаю я хорошо, и спасибо вам за это большое и от меня, и от моих товарищей по койке, которую я снял.

От Черного моря, на которое вы мне присоветовали поехать отдохнуть, живу я близко. Буквально сорок две минуты на электричке. Электрички здесь ходят часто. Буквально через каждые два дня. Так что отдыхаю я хорошо. Только устаю очень... Живу я на Черном море полнокровной жизнью. В восемь часов утра встаю в очередь за топчаном. За топчаном стою до десяти часов утра и сразу же иду опять вставать завтракать. За завтраком стою до двенадцати часов дня, а тут уже снова пора идти вставать обедать... Так что отдыхать на Черное море я попадаю часам к пяти вечера, когда горячее южное солнце уже, как говорит мой сосед по топчану, клонится, и его смертоносные фиолетовые лучи не оказывают на кожу своего разрушительного действия.

Так что даже хорошо, что все время идет дождь. А то было бы обидно — приехать на Черное море и не загореть...

Пять дней назад записался я в соседнем доме отдыха на экскурсию в Хабаровск. Так что, вообще-то говоря, я сейчас живу в Хабаровске. В общежитии инструментального техникума, что как раз напротив того места, где мы с вами работаем. Через два дня поездом отправляемся до города Сухуми на посещение обезьяньего питомника. А оттуда мне один мужик обещал помочь с билетом на самолет прямо до Хабаровска. Экскурсия вообще получилась увлекательная и недорогая. За мой счет только дорога в оба конца и еда. А на все остальное дается скидка тридцать процентов для членов этого дома отдыха. А так как я не член этого дома отдыха, то на меня скидка не распространяется. Так что отдыхаю я хорошо. Только устаю очень.

На следующий год, дорогой Сергей Петрович, если останемся живы, поедем отдыхать на Черное море вместе.

1975

А СУП БЫЛ ВСЕГДА ГОРЯЧИМ



Однажды я возвратился домой раньше обычного. Это уже было необычно. Потом, спустя много лет, я понял, что мой ранний приход явился началом того печального вечера с жутким ускорением времени, в результате которого я разбежался, прыгнул на стену и, став обыкновенной фотографией, там и остался, глядя на мир остановившимися, непонимающими глазами.

Я возвратился домой раньше обычного и решил: «Сегодня мы идем в театр».

Открыв дверь, я увидел, что в квартире нет света, и зажег его в передней.

— Это я пришел,— сказал я.

Жена мне не ответила.

— Это я пришел! — крикнул я.

Но она мне опять не ответила.

— Не притворяйся, что спишь,— сказал я.— Вставай. Мы идем в театр.

И, вместо того чтобы выбежать из комнаты и запрыгать от радости на одной ноге, она мне ничего не ответила.

«Действительно уснула»,— решил я и, не зажигая света в комнате, на цыпочках подошел к дивану и бросился на него, ощутив под руками сухую жесткую обивку.

«Сидит в кухне и ждет с обедом»,— решил я и пошел в кухню.

На столе стояла тарелка с грибным супом; ложка, вилка, нож лежали рядом. Хлеб был нарезан тонкими ломтиками, и белела баночка сметаны.

«Залезла в ванну, хитрюга»,— догадался я.

В ванной ее не было.

— А ну, вылезай из шкафа! — весело закричал я, а сам подумал: «Что это она вздумала меня разыгрывать?»

И в шкафу ее не было.

— Ну, хватит дурака валять,— ласково сказал я, открывая дверки антресолей.— Вылезай. В театр опоздаем.

На антресолях ее не было.

Я взглянул на часы.

«Странно, — мелькнуло у меня в голове. — Как быстро прошли два часа».

В театр мы опоздали.

Я пришел в некоторое раздражение: что за глупость в конце концов? Что за прятки?

Рванул дверцу холодильника. Нет. Да и как она могла в нем поместиться?!

Ногой сбросил крышку бельевого бочка. Нет.

Раздражение перешло в некоторое волнение. Где же она, наконец?..

Сунулся в аптечку над зеркалом: может, она полезла за пирамидоном да здесь и уснула?.. Разумеется, нет.

Удивительно, что суп был таким же горячим, как и два часа назад. Я опять взглянул на часы и глазам своим не поверил! Половина третьего ночи! Нет! Этого не может быть! Я пришел совсем недавно! Еще даже суп не успел остыть! Я снял телефонную трубку. Оказалось, что мои часы еще и отстают. Не половина третьего, а половина пятого! Я перерыл все ящики и ящички. Я переворошил цветы на подоконнике. Она очень любит цветы...

Я разволновался не на шутку.

Может быть, что-нибудь случилось? Но что?

Пока я набирал номер телефона ее матери, уже рассвело. «Бог с ним, со временем, — размышлял я, — но почему до сих пор не остывает суп?»

У матери ее не оказалось.

Я позвонил приятельнице моей жены.

— Она была у меня в последний раз пятнадцатого декабря. В день моего рождения, — сказала приятельница.

— Значит, вчера?!

— Ты что, болен? — сказала приятельница. — Декабря!

А сейчас июль!

Я взглянул в окно. Солнце палило из самого центра неба, трава была темновато-зеленой, термометр показывал 29°С.

«Наверняка с ней что-то случилось!»

У меня бешено заколотилось сердце.

Дрожащими руками я стал набирать номер морга...

Трубка вырвалась из моих рук и упала в суп.

Брызги разлетелись во все стороны и ошпарили мне лицо.

Я побежал в ванную и стал лить на лицо холодную воду.

Вытираясь, я взглянул на себя в зеркало. Неужели это я? На меня смотрело обрюзгшее, располневшее лицо. А сквозь редкие волосы просвечивал череп. Но это был я, как ни грустно...

В почтовую щель просунулась газета. Я машинально пробежал ее глазами и содрогнулся! Неужели за то время, что ее нет, прошло семь лет?!

И я снова стал набирать номера матери, подруги, милиции. Пока не поздно. Ее нигде не было.

Грибной суп оставался горячим, точно только что был снят ею с плиты. Хлеб не почерствел. Сметана не прокисла...

И я зарыдал от беспросветного одиночества, вспоминая все хорошее и все плохое, что было у меня с ней...

— Что ты плачешь? — услышал я ее голос. — И почему не ешь? Суп остынет.

Она была в кухне.

— Ты?! — закричал я. — Где ты была столько времени?!

— Я никуда не уходила. Я все время была дома, — сказала она.

— Но...

— Я все время была дома. Просто я тебя больше не люблю. Поэтому ты меня не видел. Так всегда бывает.

— Это... правда? — еле выговорил я.

— Да. И никто в этом не виноват. Просто ты был самоуверен.

— Но почему же тогда суп был все время горячим?!

— Я его все время разогревала. Одно к другому не относится.

И я понял вдруг, что это правда.

Вот тогда я разбежался, прыгнул на стену, да так и остался висеть на ней в рамке, глядя на мир остановившимися, непонимающими глазами.

Теперь в нашей квартире живут другие люди, потому что она вскоре пересехала. Этим людям фотография моя понравилась, и ее не выкинули. А мебель они по-другому расставили, и обои переклеили, и в кухне все не так.

ДЕВОЧКА ВЫЗДОРОВЕЛА

У - **И** так, — сказал учитель, — шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года родился мальчик, которого вскоре окрестили Александром. Сегодня на Земле нет человека, которому это имя было бы неизвестно. Поднимите руки, кто ни разу не слышал имя Пушкина.

Класс даже захихикал. Передние стали оборачиваться назад, чтобы увидеть, чья же рука потянется вверх.

— Отлично, — сказал учитель. — А кто помнит что-нибудь наизусть из Пушкина?

— ...Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару...

— ...Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек...

— ...Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный...

— ...А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться...

— Это Чуковский, — сказал учитель. — «Муха-Цокотуха»...

В среднем ряду из-за третьего стола поднялась девочка и внимательно, глаз в глаз, посмотрела на учителя...

Она часто тайком разглядывала учителя и уже знала его наизусть. У него было шесть рубашек и шесть галстуков. На каждый день недели приходилась новая рубашка и новый галстук. Сегодня был четверг — учитель был в зеленой. Ей очень хотелось знать, в какой рубашке учитель бывает по воскресеньям, но по воскресеньям они не виделись. Девочке было почти четырнадцать, но по тому, как засматривались на нее десятиклассники, она считала, что ей уже все семнадцать. У учителя были широкие плечи и зеленовато-серые глаза. Впрочем, девочка это предполагала, так как глаза учителя всегда были скрыты массивными притемненными очками. Почему-то еще ей казалось, что в свободное время он должен ездить верхом на лошади. С остальными учитель, помимо чисто школьных тем и домашних заданий, мог говорить о чем угодно. С ней — только по делу. Ее это немного задевало, но, с другой стороны, непонятно почему, возвышало над другими...

Учитель как-то напрягся, когда девочка встала из-за стола и внимательно посмотрела на него. Она явно действовала на него, и даже через очки он не выдержал ее взгляда и уставился в пол. С этим классом учитель работал уже полгода, и каждый день, собираясь в школу, он ловил себя на том, что хочет прежде всего видеть эту девочку в среднем ряду за третьим столом. И всегда, когда вдруг ее не было, что-то щемило у него

в груди, хотя в эти дни ему было значительно проще и свободнее. И он даже позволял себе во время урока снимать куртку, за что получал замечания от директрисы, которая, и помимо этого, просила учителя одеваться «попроще» и не забывать, что это школа, а не «вернисаж».

Но учитель имел свою точку зрения, и пока ему удавалось лавировать и не выполнять предписаний. Девочке было почти четырнадцать, но она ему казалась значительно взрослее. Он боялся говорить с ней о чем-либо, кроме как на темы уроков, потому что вопросы, которые он мысленно задавал ей, были абсолютно не детскими и соответственными были ее ответы, которые он мысленно получал. Он очень боялся увидеть в ней все-таки совсем ребенка, но еще больше опасался, что она действительно окажется взрослой. Сегодня учитель отметил еще в начале урока, что девочка очень бледна.

Она встала в среднем ряду из-за третьего стола и внимательно посмотрела на учителя. Он не выдержал взгляда, устался в пол, потом произнес:

— Ну?

— Я к вам пишу — чего же боле? — сказала девочка. — Что я могу еще сказать...

— Дальше, — глухо сказал учитель.

— Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказывать...

— Дальше...

— Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня...

Она снова замолчала.

— Ну? — повторил учитель.

— Письмо Татьяны, — сказала девочка.

— Верно. — Учитель рискнул взглянуть на нее. — Верно. Письмо Татьяны к Онегину. Роман в стихах «Евгений Онегин». Но это нам еще предстоит.

Она уже как-то совсем пронзающе смотрела на него.

— Мне сесть? — спросила девочка.

— Да.

Урок литературы был последним. Учитель закрыл журнал, попрощался с классом, зашел в учительскую, оставил журнал и вышел из школы.

Дорога к метро вела через парк. Он медленно шел, размахивая прутиком направо и налево, как пашкой рассекая и срубая неосторожно высунувшиеся листья по бокам деревьев.

Девочка поравнялась с ним как раз возле качелей и, будто не замечая его, сразу пошла вперед. На правом ее плече совершенно по-женски раскачивалась синяя джинсовая сумка, а через левую руку свешивалось из такого же материала пальтишко. И совсем не сочеталась с этим школьная форма.

Она подошла к двойным качелям в виде лодочки и остановилась, не оглядываясь. Когда учитель приблизился, девочка сказала, по-прежнему не глядя на него:

— Вы не очень торопитесь?

— Не очень, — ответил он и остановился.

— Вы не согласитесь побыть у меня противовесом? Ужасно хочется покачаться.

— Изволь.

Учитель чуть было не сказал «извольте».

Они сели в лодочку друг против друга и стали молча, не глядя друг на друга, сосредоточенно раскачиваться. Когда учителя подбрасывало вверх, воздух сбивал ее волосы назад, обнажая лоб, абсолютно изменяя выражение лица. И наоборот, когда она оказывалась вверху, волосы спадали на лицо, оставляя видными только рот и подбородок. Ритмично и делово скрипели качели, подчеркивая напряженность молчания, и учитель улыбнулся.

— Что вы смеетесь? — спросила девочка.

— Смешно.

Он представил себе возмущенное лицо директрисы, если бы она увидела педагога, раскачивавшегося на качелях с ученицей.

— А какую рубашку вы одеваете в воскресенье? — спросила девочка.

— Надеваете, — поправил учитель.

— Ну, надеваете.

— Фиолетовую.

— Всегда?

— Иногда меняю. У меня семь рубашек. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

— Вот именно, — сказал учитель. — В воскресенье чистой оказывается фиолетовая, а в понедельник идет красная. Зато я не пользуюсь календарем.

— А у моего отца, — наконец улыbnулась девочка, — тридцать четыре рубашки, и все белые.

— Это скучно.

— У него работа такая... И вы их сами стираете?

Вопрос был задан с некоторой осторожностью.

— Отдаю в прачечную.

— Тормозите, — приказала она.

Качели постепенно остановились. Она сдунула волосы с лица, изящно выпрыгнула из лодочки, набросила на плечо сумку, перекинула через руку пальто и спросила:

— Вы еще будете качаться?

— Нет, — сказал учитель и вылез из лодочки. — Мне надо в метро.

— А я у метро живу.

До метро они шли молча. Она — чуть впереди. Возле метро он напомнил ей, что завтра они будут проходить сказки Пушкина и чтобы она кое-что из них за сегодня успела прочитать.

— В школу вы тоже на метро ездите? — спросила она.

— Конечно.

— Во сколько?

— В восемь пятнадцать.

Она уже давно знала, что учитель ездит в школу на метро и что в восемь пятнадцать он выходит из метро и идет дальше через парк, и она сказала, будто удивившись неожиданному совпадению:

— А я в это время из дома выхожу... Вот и моя мать...

Учитель увидел приближавшуюся к ним женщину. Женщина выглядела внешне невыразительной, и он не смог найти в ней ничего общего с девочкой. Одета она была совершенно сертифицированно. Во всем ее облике ощущалось полное удовлетворение жизнью и отсутствие к этой жизни каких бы то ни было вопросов. Заметив, что девочка не одна, она вопросительно вскинула брови.

— В чем дело? — произнесла она строго. — Ты же знаешь, что тебя ждет доктор.

Учителю показалось, что тональность вопроса направлена не столько девочке, сколько ему.

— Это наш учитель литературы, — сказала девочка.

Учитель представился.

Женщина бегло, но внимательно осмотрела учителя, заявила девочке:

— Ты же знаешь, что доктор ждать не будет!

А потом учителю:

— Извините, но девочку ждет доктор.

Она взяла девочку за руку и повела за собой. Девочка высвободила руку и пошла независимо, чуть впереди матери, раскачивая в такт ходьбе свою джинсовую сумку.

Учитель подождал, пока они не затерялись среди людей, и вошел в метро...

— Ты запомнила, что сказал доктор? — с назиданием в голосе говорила мать, когда они с девочкой возвратились из поликлиники. — Ты не должна нервничать, тебе надо высыпаться и не нарушать режим питания. И главное, не забывать, что ты становишься девушкой, и теперь мальчики, юноши и даже некоторые мужчины будут смотреть на тебя как на женщину. Ты поняла?

— Поняла, поняла, — говорила девочка, поедая суп и читая «Сказки» Пушкина. — А что значит — как на женщину?

— То и значит, — сказала мать, не в силах найти нужные объяснения. — Ты уже можешь стать матерью...

— И у меня будет ребенок?
— Не говори глупостей! Ты сама еще ребенок.
— Тебя не поймешь.
— Нечего и понимать! А всякие поглаживания по головке, приглашения в кино, на танцы... Все это уже не просто так.
— А как?

Перед ее глазами возник учитель. Она вспомнила качели, вспомнила, как учитель смотрел на нее, и не нашла в этом ничего страшного. А скорее, наоборот.

«Странно, — думала она. — Вчера — девочка, сегодня — женщина...» В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут... Тучка по небу идет...

Учитель поймал себя на том, что очень ждет завтрашнего дня... Бочка по морю плывет...

Уже лежа в кровати, девочка включила ночник и взяла со стола книгу Пушкина... В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря... Все красавцы молодые, великаны удалые...

Все равны, как на подбор...

Учитель готовился к завтрашнему уроку.

С ними дядька Черномор... Встрепенулся, клюнул в темя и взвился...

Девочка повернулась на другой бок и подперла подбородок левой рукой...

«И в то же время, — подчеркнул учитель в книге, — с колесницы пал Додон, охнул раз и умер он».

— А царица вдруг пропала, — шевелила губами девочка...

— Будто вовсе не бывала, — произнес за ее спиной знакомый голос.

Она сложила прыгалку и посмотрела, кто бы это мог быть. Мальчик лет четырнадцати стоял перед ней, шибая листья с деревьев тоненькой тросточкой. Он был кудряв, смугл, в фиолетовой рубашке и в очках.

— Откуда вы знаете? — спросила она, заслоняясь от яркого солнца.

Мальчик снял очки, подышал на них, протер стекла тряпочкой и сказал:

— Она была шамаханской царицей и пропала, потому что Додон обманул старичка и хватил его жезлом.

— Вы смотрите на меня как на женщину? — спросила девочка.

Мальчик одел, вернее, надел очки и протянул ей руку.

— Идем со мной. — И он посмотрел в сторону леса, который зеленел далеко у линии горизонта.

— Что там? — насторожилась девочка.

— Тайнственная сень... Идем, не бойся...

И они пошли, взявшись за руки, мимо острова Буяна в царство славного Салтана.

— Разве сегодня воскресенье? — спросила девочка.

— Нет. Просто остальные рубашки в прачечной.

Луг внезапно кончился, и перед ними возникло море. Море было настолько гладким и прозрачным, что девочка увидела, как в нем отражается небо со всеми сверкающими звездами, несмотря на то что солнце стояло в зените. Она бросила камешек. Он, булькнув, медленно опустился на дно. А во все стороны разбежались волночки, потом потемнело синее море и бурливо вздулось.

— Плещут — блещут, — прошептала девочка.

— Блещут — плещут, — поправил он.

— Бочка — тучка...

— Тучка — бочка...

Бочку швыряло в море-океане в разные стороны. Было темно и страшно.

Мальчик погладил ее по голове.

— Это не просто так? — Девочка прислонилась к его плечу и закрыла глаза.

— Просто так. Спи. Ты — спящая царевна, а я — Елисей...

В это время бочку обо что-то стукнуло, и все остановилось. Мальчик вышиб дно и вышел вон.

Перед ним стоял весь в черном незнакомый дядька с длинной-предлинной бородой.

— Ты что, не знаешь, что ее ждет доктор? — зло произнес дядька.

— Это Мор! — испуганно зашептала девочка. — Это Мор! Он весь в черном!..

— Не мешало бы поздороваться, — вежливо поклонился мальчик.

— Не смей держать ее за руку! — закричал Мор. — Доктор не станет ждать! Убирайся!

— «Ткачиха, повариха, сватья-баба, бабариха!» — запрыгал мальчик перед Мором. Потом он поклонился девочке. — Извините, сударыня, но вас ждет доктор... Завтра в восемь пятнадцать...

И мальчик направился в сторону таинственной сени, размахивая тоненькой палочкой. А Мор поднял с земли огромный камень и, крадучись, пошел за ним. И вдруг девочку охватил ужас. Она закричала и уселась на кровати...

Мать, растрепанная, в ночной рубашке, возникла в комнате. Горел ночник. Было два часа ночи. Еще через мгновение вошел отец в пижаме.

— Что случилось? — спросила мать, присаживаясь на кровать и привлекая девочку к себе.

— Он хотел убить его! — воскликнула девочка. — Он хотел его убить!

— Тебе приснилось, девочка, — успокаивала мать. — Тебе просто приснилось...

Отец подал ей стакан с водой.

— Мало ли что может присниться, — сказал он. — Успокойся и спи...

— Нет! — испуганно повторяла девочка. — Я не могу спать! Не могу! Иначе он его убьет...

Но постепенно она затихла и, прижавшись к матери, смотрела куда-то в одну точку. Отец так и стоял перед ней, держа в руке стакан с водой.

Потом девочка сказала уже почти спокойно:

— Идите. Я сейчас усну.

— Погасить свет?

— Да.

Утром, пока девочка умывалась, мать сказала отцу:

— Она ужасно выглядит... Она так и не уснула...

— Надо опять пойти к врачу, — сказал отец. — Проверить нервы...

...В восемь пятнадцать учитель вышел из метро. Когда девочка увидела его, она облегченно вздохнула и только теперь почувствовала, что не выспалась.

— Доброе утро, сударыня, — почему-то сказал учитель. — Ты меня ждешь?

— Нет, — ответила девочка. — Я смотрела киноафишу на воскресенье.

На учителе была голубая рубаха.

«Пятница», — подумала девочка.

Она выглядела утомленной и еще более бледной, чем вчера.

— Что сказал доктор? — Учитель погладил девочку по голове, но она вспыхнула и отдернулась, и ему стало неловко.

— Чепуха, — бросила она. — Ничего особенного.

Они уже подходили к школе.

— А что ты выискала в воскресной афише?

— Чаплинские короткометражки. В «Уране», — безразлично ответила девочка и добавила: — В четырнадцать тридцать.

На четвертом уроке учитель галопом пронесся по сказкам и перешел к лирике Пушкина. В течение всего этого времени девочка вела нарочитую переписку с долговязым мальчиком из первого ряда, бросая на учителя короткие взгляды, от которых ему становилось беспокойно. Перед самым звонком учитель прервал объяснения, вызвал долговязого к доске и, придравшись, вкатил ему двойку. Когда он аккуратно выводил отметку в журнале, он успел из-под очков взглянуть на девочку. Она смотрела на него, изумленно вскинув брови. Потом еле замет-

но улыбнулась и положила учебник в свою синюю джинсовую сумку...

«Не хватало мне только этого, — думал учитель, сидя после пятого урока в учительской на педсовете, глядя в окно, которое выходило в парк. Он видел, как девочка шла своей совсем не детской походкой, слушая семенящего возле нее долговязого двоюродника. — Чур! Чур, дитя...»

— Ты, девочка, посиди там, возле кабинета, а мы с мамой посоветуемся, как с тобой быть, — сказал доктор, вытирая руки после осмотра.

Девочка пожалала плечами, зашла за ширму, оделась и вышла из кабинета.

— Ну что, мамаша, — как бы рассуждая вслух, начал доктор. — Девочка в пубертатном периоде, который часто характерен биохимическими и психофизическими сдвигами. От вас требуют терпимость и терпение... Тактичность, я бы сказал... В девочке просыпаются чувства, я бы даже сказал — влечения... Отвлекающая терапия, спорт, железо... Как можно больше железа... А сон мы восстановим вот этими таблетками... Будете давать их по схеме — одну, две, три и так далее, пока не восстановится сон. После первой же спокойной ночи — в обратном порядке: пять, четыре, три и так далее. — И он начал что-то топорливо записывать в карточке.

...Часов в десять вечера девочка отложила Пушкина, погасила свет и, лежа на спине, не мигая, стала смотреть в потолок, наблюдая за призрачными движениями причудливых теней, исходивших от росших за окном деревьев. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, когда в комнате вдруг раздались ледяные звуки челюсти и кто-то осторожно присел на кровать, тронув ее за плечо.

— Проснитесь, Анна! — услышала она чей-то шепот и поняла, что Анна — это она, хотя и звали ее по-другому.

— Я не сплю, — сказала девочка.

Перед ней сидел молодой человек лет двадцати, с сильно загоревшим лицом, в темных массивных очках. На нем был голубой сюртук, и девочка не понимала, как в таком блеклом, мертвеном свете она различает его волшебное сочетание голубого с загорелым.

Он наклонился и поцеловал ее в плечо.

— Это незабываемое мгновение, — тихо произнес он. — Ты гений... ты вдохновенье...

— А кто ты? — спросила девочка, хотя и ощущала, что это он. Она его узнала вмиг, чуть только он вошел.

— Что тебе в моем имени? — грустно сказал он и посмотрел в окно. — Оно умрет и оставит лишь мертвый след, подобно узору надгробной надписи на непонятном языке...

— Не говори так.
Он поправил очки:
— Сегодня была пятница...
— Я знаю. Ты в голубом...
— Время уходит. Твое время и мое. У нас нет общего времени. Пройдут годы. Мечты постепенно развеются... И я забуду...

— А ты подожди меня,— сказала девочка и положила его холодную руку себе на грудь.— Ты слышишь? Это я тебя догоняю...

Он встал и снова взглянул в окно. Но теперь уже с тревогой:

— Там таинственная сень. Она манит меня... Я думаю о ней постоянно, брожу ли вдоль улиц шумных... Вы мне писали?

Он задал этот вопрос неожиданно сухо и повернулся спиной к окну. Лицо его было бесстрастным, и девочке показалось, что сквозь темные очки она видит его холодные зеленые глаза.

— Я? — растерянно сказала девочка.

— Не отпирайтесь! Не отпирайтесь,— сказал он.— Не причайтесь вратъ уже в таком возрасте.

— Я писала не вам, честное слово! Простите меня... Я просто хотела немного позлить вас... Мне совсем не нравится долговязый... Простите меня!..

— Мы не увидимся в синюю субботу,— четко проговорил он.— В субботу у вас нет моих уроков... Прощайте.

Девочка выпрыгнула из постели и подбежала к окну, но он уже шагал по другой стороне улицы, резко, со свистом рассекая воздух тонким прутиком направо и налево. Снова зазвучала ледяная челеста. И вдруг девочка увидела, как от фонарного столба отделилась фигура в черном, глухо запахнутом плаще и направилась ему наперерез. Девочку вновь охватил безотчетный ужас.

— Он убьет тебя! — закричала она.— Убьет!

Когда мать вошла в комнату, девочка, тяжело дыша, улыбалась, стоя у окна, и шептала: «Не успел, не успел!.. Я помешала ему...»

— Тебе опять что-то пригрезилось? — спросила мать.

— Не спится,— сказала девочка.— Здесь так душно...

Возвратившись из девочкиной комнаты, мать разбудила отца.

— А? — со сна спросил он.— В чем дело?

— Вчера она проснулась в два, а сегодня спала до четырех... Завтра я дам ей две таблетки...

— Обязательно,— пробормотал отец.

В субботу учитель надел («одел») синюю рубаху, повязал еще более синий галстук и понял, что никуда не торопится, по-

тому что через субботу имел свободный день. Тем не менее около десяти утра он уже вышел из метро и направился к школе. Дойдя до качелей, он остановился, сел в лодочку и закурил.

«Сейчас у них перемена,— подумал он,— а всего — пять уроков...» Он вдруг понял, что ждет конца уроков, и покраснел, как школьник. И подумал, что это уж будет совсем превосходное зрелище: сидящий на качелях в свой свободный день одинокий учитель возле школы, в которой он проводит тридцать часов в неделю. А мимо будут идти дети и показывать на него пальцами: что он тут делает?

Мимо прошла привлекательная девушка лет двадцати пяти.

— Извините! — крикнул учитель. — Вы бы не согласились побыть у меня противовесом?

— Что? — девушка обернулась, и учитель увидел ее лицо.

— Я хотел спросить, который час, — сказал учитель.

— Без двадцати одиннадцать, — ответила девушка.

«Не больно-то и хотелось», — подумал учитель и быстро пошел к метро.

Он доехал до вокзала, сел в электричку и через полтора часа уже проводил время среди юношей безумных и прелестных вакханок. Друзья мои, прекрасен наш союз... Полнее стакан наливайте! В крови горит огонь желанья. Не пой, красавица, при мне... но верь мне: дева на скале прекрасней волн, небес и бури...

Учитель не приехал, а притащился домой далеко за полночь. Раздраженный и усталый, он рухнул на постель и тут же уснул.

На втором уроке девочка получила двойку по математике, но нисколько не расстроилась, а только пожалала плечами и пошла к своему месту.

— Ты понимаешь? — торжественно произнесла преподавательница. — Я поставила тебе «два»!

— Понимаю, — сказала девочка и передала по ряду дневник.

По дороге домой она завернула на качели.

— Эй, староста! — крикнула девочка. — Побудь-ка у меня противовесом!

Староста подошел к качелям и угрюмо полез в лодочку.

— Что случилось? — спросил он.

— А что случилось? — поинтересовалась девочка.

— Почему ты получила пару?

— Потому что мне ее поставили.

— Ты подводишь звено.

— О мама миа, — вздохнула девочка.

— Что?

— Ничего. Ты очень плохой противовес.

Девочка спрыгнула с качелей и, не оборачиваясь, пошла домой.

— Во вторник не исправишь — вызовем на совет отряда! — крикнул вдогонку староста.

«Синяя суббота, — думала девочка, — фиолетовое воскресенье и красный понедельник... Как это долго!..»

Вечером, рассеянно выслушав родительскую нотацию за полученную двойку и нехотя приняв три таблетки, девочка ушла в свою комнату.

Не прошло и часа, как она прибрела к странному и безлюдному месту на краю темного бора. Сидевшая на ветвях русалка при виде девочки испуганно забила по дереву хвостом и соскользнула в мутную зелень заросшего пруда. В глубине бора исчезала единственная дорожка, на которой четко отпечатались чьи-то огромные следы, и девочке стало жутко. В мертвой тишине лишь иногда раздавался треск сломленной ветки. Это леший забирался все дальше и дальше в чащу. Да позвякивала на ветру привязанная к основанию большого зеленого дуба цепь. Девочка понимала, что это и есть таинственная сень. Она прижалась спиной к зеленому дубу, обхватила колени руками и стала ждать. Потом она услышала плеск и повернула голову направо. Двое детей в школьной форме тащили из пруда сеть. Сеть поддавалась с трудом, но дети все тащили ее, пока не показался завернутый во все черное какой-то предмет. Дети подтащили черный предмет к берегу, и вдруг глаза их расширились от ужаса, и они бросились бежать. И девочка увидела, что предмет, одетый во все черное, — мертвец. Девочка хотела закричать, но не смогла. Страх сковал ее. А мертвец, лязгая зубами от холода, выбрался на берег, стряхнул вцепившихся в него черных раков и начал озираться, явно кого-то выискивая. Девочка сидела, не шелохнувшись, боясь взглянуть в пустые глазницы мертвеца. Мчались и вились тучи. В селе за рекою потух последний огонек. Оттуда в таинственную сень вела одна дорога, по которой должен был идти он, и вдруг девочка поняла, кого ждет мертвец...

На поля ложился туман, когда она услышала знакомый свист рассекаемого прутиком воздуха. Свист приближался. Мертвец вздрогнул и вытянул голову. Из рта у него закапала красного цвета слюна... И, преодолевая ужас, сковавший все ее тело, девочка поднялась во весь рост, и мертвец увидел ее. Он расставил руки и сделал шаг вперед. Девочка попятилась. Свист был уже совсем рядом. Мертвец сделал еще шаг. Девочка еще попятилась и побежала на непослушных тряпочных ногах подальше от таинственной сени. Она боялась обернуться, но чувствовала, что мертвец гонится за нею. Еще шаг, еще шаг, еще подальше, подальше бы... Холодная рука вцепилась в ее

плечо, мать сидела на кровати и тормошила девочку за плечо. Девочка открыла глаза. Сердце колотилось, как бешеное.

— Ты стонала, — сказала мать, — и я тебя разбудила.

— Спасибо, мама, — ответила девочка, переводя дыхание. — Это очень важно.

— Но сегодня ты хоть не кричала.

— Не могла, — сказала девочка устало.

Мать посмотрела на часы. Часы показывали половину шестого.

«Значит, действует», — подумала мать и поцеловала девочку в лоб.

Учитель проснулся в воскресенье только часов около двенадцати. Сначала принял таблетку от головной боли, потом вчерашний вечер стал для него ненужным, утомительным и глупым. Он представил себе, что, пока он вчера был на даче, девочка пришла домой, пообедала, сделала уроки, погуляла, поужинала, почистила зубы и легла спать в половине десятого. И чем больше учитель думал о девочке, тем легче ему становилось, тем лучше и как-то очищенное он себя ощущал. В конце концов он внезапно поднялся, натянул на себя фиолетовую рубашку и, махнув на все рукой, направился к кинотеатру «Уран». В двадцать минут третьего он уже стоял в очереди на ближайший сеанс. Он стоял и старался не смотреть на взрослых и детей, заполнявших билетный зал. Когда до окошечка оставалось двое, его тихонько тронули за локоть. Девочка была в джинсах и фиолетовом свитере.

— У меня сегодня тоже воскресенье, — сказала она, как бы оправдываясь. — Возьмите мне билет, только в первом ряду. — И она сунула ему в руку тридцать копеек.

Он сначала хотел вернуть ей деньги, но она наотрез стала отказываться:

— Это не мои деньги. Это мамины...

И учитель решил, что лучше, наверное, эти тридцать копеек взять, потому что в конечном итоге она ученица, а он ее учитель... Он купил два билета. Оба в первом ряду.

Когда они пробрались на свои места, она была впереди, а он слегка подталкивал ее под руку. Внезапно учитель почувствовал, что на него смотрят. Он повернул голову и увидел директрису. Привстав со своего места, она провожала их взглядом, выражавшим недоумение и озабоченность. Учитель поклонился ей, но она не прореагировала и опустила на свое место...

В первом ряду сидели сплошные дети, маленькие, такие же, как девочка, значительно старше. Но все они по сравнению с ней были детьми.

— Нравится Чаплин? — спросил учитель.

— Очень. Только мне его жалко... Где вы вчера были?

— Так... — нерешительно произнес он. — Нигде.
— Хотите ириску?
— Нет, нет, спасибо.
— Берите, берите. — Она положила ириску в нагрудный карман его рубахи.
— Ладно, — сказал он. — Я ее съем, только не сегодня, а когда-нибудь. Через много лет... Когда грозой грянут тучи, — храни меня, мой талисман...

Она включилась сразу, лишь только погас свет и зажегся экран, и хохотала так громко, как будто в зале, кроме нее, никого не было. Она била себя ладонями по коленям, топала ногами, откидывалась на спинку сиденья, и несколько раз ее голова касалась плеча учителя. Он вздрагивал, покрывался краской и благодарил темноту. Они еще продолжали сидеть, когда зажегся свет и захлопали сиденья.

— Как быстро! — разочарованно сказала девочка. — А все-таки мне его жалко...

По дороге домой девочка выглядела встревоженной. Это учитель заметил. Он предложил ей мороженое. Ему было приятно, что ничего, кроме мороженого, он не может ей предлагать. Она отказалась, показав пальцем на горло.

Потом ему почудилось, что в арке стоит ее мать.

«Ну и что? — подумал он. — Что особенного?»

И учитель слегка подтолкнул девочку в сторону дома...

В метро, пока он ехал, его занимал один вопрос: как долго может сохраниться ириска?

Придя домой, девочка убралась в своей комнате, сложила на завтра тетради и учебники, вымыла после ужина посуду и читала до позднего вечера, а его все не было и не было. Уже дохнул на нее осенний холод, а она продолжала сидеть на обочине промерзшей дороги, по которой должен был пройти он. Он возник за ее спиной внезапно и неслышно в мутной ночи под мутным небом. Она поняла это только тогда, когда ощутила на плече его поцелуй.

— Я пришел проститься, — произнес он печально. — Я уйду. Я должен.

— Куда? — испуганно спросила девочка.

— Туда, — указал он рукой в сторону таинственной сени. — Там меня ждет счастливый соперник. Рок завистливый бедою угрожает снова мне.

— Не уходи, он убьет тебя, — сказала девочка и взяла его за руку.

— Может быть, — задумчиво сказал он. — Но я все равно буду тебя ждать.

— А если я не приду?

— Я буду ждать.

— Долго-долго?..

— Долго-долго...

Он снял очки, и впервые девочка увидела, что глаза у него не зеленоватые, а густо-густо черные.

— Мне страшно и дико,— прошептала девочка и прижалась лицом к его красной, влажной от росы рубашке.

— Пора, мой друг, пора.— Он осторожно отстранил девочку.— Я не властен над судьбою...

Сделав несколько шагов, он остановился, повернулся лицом к девочке и сказал, как бы извиняясь:

— Я вас любил так... как дай вам бог...

И больше уже ни разу не обернувшись, он пошел навстречу так манившей и ждавшей его таинственной сени.

И девочка поняла, что должно случиться нечто страшное и непоправимое, помешать которому она не в силах, и урна с водой, выскользнув из ее рук, разбилась об утес, и девочка превратилась в печальную статую. Она еще видела, как он, рассекая тросточкой воздух, вошел в таинственную сень, а потом там что-то сухо выстрелило, и повалил с неба тяжелыми хлопьями красный снег, постепенно покрывший землю сплошным красным понедельником.

И впервые за последние дни девочка проснулась по звону будильника в семь часов утра...

Некоторое время она еще лежала, не мигая, глядя в потолок. Потом поднялась, испытывая где-то внутри полную пустоту и безнадежность, и прошла в ванную.

— Слава богу,— сказала мать отцу,— сегодня она ни разу не проснулась. Слава богу...

За все утро девочка не произнесла ни слова и даже не заинтересовалась, почему мать решила проводить ее в школу.

...Директриса, в черном платье, с тщательно забранными назад в пучок волосами, появилась в классе сразу после звонка на урок. Дети встали.

— Ребята,— произнесла она ровным голосом,— с сегодняшнего дня ваш учитель литературы перешел в другую школу. Через несколько дней роно придет нам другого преподавателя, а пока уроки литературы буду вести я. Садитесь.

Дети сели.

— Итак, последний период творчества Пушкина...

Она несколько задумалась, собираясь с мыслями.

— Царское самодержавие не могло простить Пушкину вольнолюбивый характер его стихов и только искало повода, чтобы расправиться с поэтом. И такой повод представился. Двадцать девятого января тысяча восемьсот тридцать седьмого года Александр Сергеевич был убит на дуэли. Это произошло так...

Девочка медленно встала из-за стола.

— Это произошло из-за меня,— отрешенно проговорила она.

— Что? — взглянула на нее директриса.

— Это случилось из-за меня, — повторила девочка.
Кто-то хихикнул.

Затем в полной тишине девочка сложила вещи в свою синюю джинсовую сумку, повесила ее на плечо и вышла из класса.

Она неторопливо подошла к качелям, забралась в лодочку, легла навзничь и стала смотреть в по-осеннему выцветшее, но все еще голубое небо. Куда-то к югу тянулся крикливый караван гусей. Тайнственная сень обнажалась с печальным шумом.

«Вот уже и октябрь прошел», — подумала девочка.

Приближалась довольно скучная пора...

1977

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Ненаучная фантастика



В субботу рано утром жители города Деревянска были разбужены дробным конским топотом, диким гиканьем и гортанными выкриками.

Ученый раздвинул оконные занавески и увидел, что по улице несутся орды всадников с пиками, саблями, арканами и еще какими-то приспособлениями, назначение которых Ученый понять не мог. Они проносились на маленьких, как бы удлинённых лошадях, одетые во все темно-коричневое и, кажется, кожаное, с остроконечными шапками на головах. Они всё проносились, проносились, проносились, и конца им не было. Жена Ученого, утомленная ночным приготовлением малинового пирога к сегодняшнему пикнику, спала и ничего не слышала.

Философ в эту ночь не сомкнул глаз. Он размышлял о беспредельности счастья, о стремлении человека к гармонии, о неосуществимости этого стремления, ибо гармонии как таковой нет в природе. И, по сути дела, подсознательное желание ощутить гармонию и есть та движущая сила, которая развивает общество и каждую личность в отдельности. И заблуждается тот, кто считает, что достиг гармонии, потому что в тот же момент наступает застой от сознания того, что все достигнуто. А когда уже нет больше ни целей, ни желаний, личность, равно как и общество, перестает расти качественно, но разрастается количественно, жиреет, тупеет, обогащается и, не в силах найти применение своей избыточной энергии, подвергается обратному развитию, разлагается и гибнет. И на завтрашнем пикнике в честь Праздника Спелых Яблок он обязательно скажет об этом собравшимся, и утвердит их в правильности их образа жизни, и пожелает им вечных поисков той неуловимой птицы, имя которой Гармония. Но в этот момент в нарождающемся дне ухо Философа уловило некий диссонанс: на фоне утреннего разноголосого щебетанья птиц и легкого шелеста сочной изумрудной листвы раздалось что-то непривычно грубое, наглое, несущее тревогу и смятение. И пока Философ рассуждал о возникновении неприятных, но, увы, обязательных природных диссонансов, в ворота его дома неприлично громко застучали. И пока Философ расчесывал волосы и переодевался в визитное платье — ибо неудобно было выходить за ворота в домашнем одеянии, — стук из неприличного стал просто возмутительным, и, неодобрительно покачивая головой, Философ открыл ворота. Перед ним, держа под уздцы низкую лошадь,

стоял всадник, в коричневой кожаной без швов облегающей рубашке и в таких же, без швов, штанах. Штаны от пояса расширились, а в тех местах, где они входили в узкие тупоконечные сапоги со шпорами, снова сужались. И всадник благодаря таким штанам казался кривоногим. От него исходил тошнотворный запах — смесь едкого пота и, по-видимому, испражнений. Лицо было обветренное, широкое, и от узкого лба нависали над глазами ненормально большие надбровные дуги. Свободной рукой всадник держал кожаный сосуд, по форме напоминавший грушу. Свирепо глядя на Философа, всадник произнес:

— Улла! Улла! Уть! Мать! Улла!

И перевернул кверху дном кожаный сосуд, из которого на деревянный тротуар упали две капли воды.

— Доброе утро, незнакомец, — сказал Философ. — Что привело вас ко мне в столь ранний час и заставило так неистово стучать в ворота моего дома?

Всадник затряс пустым сосудом и снова произнес:

— Улла! Улла! Уть! Мать! Улла!

— Я понимаю, — сказал Философ, — что вы испытываете недостаток в пресной воде. Я помогу вам пополнить ее запасы.

Философ взял из руки всадника кожаный сосуд и повернулся к нему спиной с тем, чтобы пройти в дом и наполнить сосуд водой. И в этот момент всадник размахнулся и нанес ногой сильный удар в место пониже спины Философа.

— Уть! Уть! Мать! — крикнул всадник.

Боль, которую испытал Философ, была ничтожной по сравнению с чувством стыда и унижения. Краска залила его лицо. «Хорошо, что никто не видел», — думал он, наполняя сосуд. Наполнив, Философ вынес его за ворота и протянул всаднику. Философу было неприятно за поступок всадника, и он даже не взглянул в его лицо. Просто протянул ему сосуд с водой и пошел в дом. Но всадник успел и второй раз ударить его сапогом в то же место. От этого удара Философ не удержал равновесия и упал, занозив себе при падении ладони.

— Мать! Мать! — захохотал за его спиной всадник, вскочил на лошадь и ускакал.

«Какой кошмар! — думал Философ. — Что за парадоксальная форма благодарности за оказанную услугу?»

А уже через десять минут мимо ворот Философа пронеслась нескончаемая кавалькада всадников, как две капли воды похожих на того.

Садовод очень любил свою жену. Они поженились два года тому назад, но Садовод не только не привык к ней, но, наоборот, каждый день открывал в ней для себя всё новые и новые удивительные качества. Без нее он буквально не находил себе места. Даже когда она уходила на короткое время на базар. Стоило ему только представить себе ее крахмально-чистое, пахнущее рекой тело, ее напряженную грудь, вздрагивавшую

от прикосновения его губ, как голова Садовода начинала кружиться, дрожь пробивала его насквозь, и он испытывал муки, и время ее отсутствия казалось ему бесконечным. Сегодня она выскользнула из-под простыни, едва только заалело небо над восточной частью города, умылась колодезной водой, набросила на свое дурманящее тело желтую ткань, подчеркнувшую ее безупречные формы, но не мешавшую, в силу своей легкости, движениям, и направилась на дальнюю пригородную опушку украшать место пикника гирляндами из огромных лесных голубых колокольчиков.

Садовод некоторое время еще лежал, вдыхая запах реки, ощущая всем телом ее недавнее прикосновение, и думал, что вот пройдет Праздник Спелых Яблок, и в конце первой же ночи они высадят перед своим домом молоденькую яблоньку, и все жители города будут знать, что в этом доме начали ждать ребенка. Потом он пошел в сад и занялся сортировкой самых спелых, абсолютно одинаковых по цвету и диаметру яблок, из которых сегодня во время пикника надлежало выложить традиционное «Прекрасен наш город!».

Садовод жил на окраине, и нельзя было попасть в город с восточной стороны, минуя его дом.

Стоя на лесенке, прислоненной к дереву, Садовод хотел было осторожно снять очередное подходящее по цвету и диаметру яблоко, как вдруг что-то разрежало воздух рядом с лицом, и в яблоко вонзилась стрела. Он не успел оглянуться, как еще десятка два яблок над ним, под ним и вокруг оказались пробитыми такими же стрелами. И когда Садовод оглянулся, то увидел за забором группу всадников, сидевших на низких лошадках, хохотавших и выкрикивавших: «Улла! Улла! Мать!»

Садовод, отличавшийся в городе излишней прямоотой и несдержанностью, спустился с лестницы, поднял с земли самое большое яблоко и запустил его в группу всадников.

— Ах, шалуны! — весело крикнул он. — Что это вам вздумалось шутить надо мной таким образом? Получите-ка, шалуны!

В ответ на это несколько всадников спешили, перелезли через забор, подбежали к Садоводу, накинули на его шею аркан, и через мгновение Садовод уже висел на своей яблоне между целыми и пробитыми стрелами яблоками. Все произошло так быстро, что Садовод даже не успел подумать о своей жене. А всадники поскакали дальше с гиканьем и свистом.

Изобретатель ждал этого дня долго. Может быть, всю жизнь. Он ласково, словно ребенка, поглаживал раструб своего Луческопа, с помощью которого на пикнике должен был продемонстрировать первый сеанс связи с находившейся от Деревянска на расстоянии восьми миллионов световых лет планеты Ку. Рабочие, предварительные сеансы уже были, и жители Ку выразили желание постоянно общаться и обмениваться наи-

более полезной информацией в области науки и искусства. Но сегодня Изобретатель хотел продемонстрировать свое достижение официально и празднично всему городу.

В Деревянске еще в позапрошлой генерации прекратили межпланетные полеты — ввиду их невероятной дороговизны и небезопасности. Стартовые площадки были переданы детям, которые организовали на них аттракционы и совершали прогулки вокруг луны в субботние и воскресные дни. Изобретателю удалось главное: привести к единому знаменателю пространство и время. Таким образом, Луч поглощал колоссальное пространство за время, которое точно соответствовало деревянскому времени. И на вопрос, посланный Луческопом на планету Ку, приходил мгновенный ответ, словно диалог велся между двумя деревянскими жителями.

Со временем Изобретатель надеялся передать чертежи и выкладки Луческопа в Мастерские для серийного производства, чтобы каждая семья могла иметь свой домашний Луческоп и в любой момент связаться с планетой Ку, ведя таким образом своеобразную частную переписку. Изобретатель жил на холме в центре города. Когда он заметил приближающееся к восточной окраине огромное облако пыли, он подумал сначала, что это самум, и несколько не заволновался, потому что противоураганная городская система работала безотказно. Но когда из этого мутного облака по улицам стали растекаться потоки всадников, наводняя город, Изобретатель испытал волнение, потому что никогда ничего подобного не видел. Потом внизу почти одновременно вспыхнули несколько домов, и смрадный черный дым пополз вверх, образуя над городом вредоносную тучу. Волнение сменилось тревогой. «Как можно так легкомысленно обращаться с огнем?» — подумал Изобретатель и поспешил вниз, в город.

Скрипачка жила в мире звуков. Она мыслила тридцатью двумя нотными знаками и наслаждалась аккордами. Сегодня на пикнике ей предстояло исполнить традиционный «Концерт открытия», и она слегка волновалась. «Концерт», который должен был исполняться на пикнике, трансформировался на слуховой аппарат каждого жителя. А жители Деревянска были людьми музыкальными, и подавляющее большинство чувствовало разницу между одной восьмой и одной шестнадцатой тона. Каждое утро Скрипачка появлялась на балконе и играла. И ее муж Композитор, расположившись в кресле-качалке, закрыв глаза, покачивал головой в такт музыке, словно плывя на волнах изумительной мелодии. «Концерт открытия» был создан восемьдесят лет назад его дедом и с этого времени исполнялся каждый год на пикнике в честь Праздника Спелых Яблок самым достойным скрипачом.

Когда перед балконом на низкой лошади возник всадник в кожаной одежде, Скрипачка улыбнулась ему и продолжала

играть. Всадник долго смотрел, не мигая, то на нее, то на скрипку, потом произнес:

— Улла! Улла! Мать! Уть! Улла!

Скрипачка опустила скрипку и спросила:

— Что?

Композитор открыл глаза.

— Доброе утро,— сказал он всаднику.— Не правда ли, великолепное исполнение? Особенно андантино...

— Мать! Мать! — закричал всадник и плюнул в сторону Композитора. Потом он ткнул скрипку длинным копьем и замычал что-то очень примитивное, построенное на трех нотах.

— Улла! — приказал он, снова ткнув скрипку копьем.

Скрипачка поднесла скрипку и исполнила эту унылую, построенную на трех нотах, примитивную мелодию.

— Уть! — сказал всадник, и губы его растянулись в улыбке, обнажив очень крепкие желтые зубы. Он еще раз плюнул в сторону Композитора, хлестнул нагайкой лошадь и ускакал.

Писатель перечитывал законченную сегодня ночью последнюю главу «Общей летописи»: Писатель владел этой непостижимой тайной слова. Мысли и наблюдения, которым он придавал форму слова, на бумаге словно оживали. Предметы сохраняли свою объемность, вес, цвет, запахи. Солнце оставалось солнцем, вода — водой, зверь — зверем. Синий цвет и на бумаге был синим, а красный — красным. Это было величайшим искусством. Никто в городе не достиг вершин такого словотворчества, и поэтому именно Писателю доверена была «Общая летопись». Писатель вносил в нее год за годом, месяц за месяцем, день за днем, час за часом, минуту за минутой. Никакое, даже ничтожное, событие, никакое происшествие, перемена погоды, открытие — ничто не оставалось не замеченным Писателем и не внесенным в летопись. И каждую полночь он заканчивал очередной день летописи словами: «И прошел еще один день жизни города». И он раскладывал перед собой новый чистый лист и записывал: «И наступил новый день жизни города». А ушедший день специальная машина превращала в толстый красивый том. И таких томов было много, и хранились они в стеклянном хранилище, и каждый, кто хотел, мог прийти сюда и восстановить в памяти любой день из истории Деревянска.

Вот и в то утро, перечитав ушедший день, Писатель отправил его в машину и задумался перед новым чистым листом, на котором уже было выведено: «И наступил новый день жизни города. День Праздника Спелых Яблок...»

Он смотрел куда-то в сторону горизонта, а рука его писала, словно сама: «На рассвете задрожала земля от странного топота несметного количества конских копыт. И темно-коричневые кожаные всадники заполонили город. И стали чинить раз-

рушения, и начались пожары. И солнце закрылось черной копотью, как во время великого затмения...»

А перед хранилищем уже суетились всадники, выламывая входные двери. И проникнув внутрь, они стали рубить своими кривыми саблями тома «Общей летописи», превращая их в мелкие кусочки, подобно тому, как женщины секачами шинкуют капусту. И неизвестно откуда взявшийся ветер подхватил все это, поднял над городом, закружил и засыпал его, словно первым зимним снегом. В освободившееся помещение всадники ввели своих приземистых лошадей и устроили там конюшню. И рука Писателя выронила перо, и он потерял возможность осмысливать происходящее.

Ученый попытался было разбудить жену, чтобы та полюбовалась невиданным до сих пор зрелищем, но она в ответ что-то простонала во сне и повернулась на другой бок. И Ученый пожалел ее, хотя понимал, что когда она проснется, то не поверит ему, будто он видел такое несметное количество удивительных всадников. А они всё проносились и проносились, и Ученый стал опасаться, как бы они не помешали городскому шествию в честь Праздника Спелых Яблок. И когда до начала пикника оставался всего один час, а они все проносились, Ученый заволновался и направился к Философу, чтобы посоветоваться с ним, так как открывать торжественный пикник и вести Праздник в этом году в порядке очереди должен был он.

К своему удивлению, он застал у Философа Скрипачку, Композитора и Писателя. Все они были весьма встревожены.

— Доброе утро, друзья мои! — сказал Ученый. — С Праздником Спелых Яблок! По всему городу скачут странные конники! Не нарушат ли они шествие?..

Все четверо как-то поспешно кивнули ему в ответ, и по выражению их лиц Ученый понял, что они знают нечто большее, чем он.

— Присаживайтесь, друг мой, — произнес Философ. — Боюсь, что сегодняшний Праздник под угрозой срыва, ибо мы оказались в центре довольно неприятного диссонанса, природу которого нам еще предстоит выяснить.

— А как же малиновый пирог? — растерянно спросил Ученый. — Жена не спала всю ночь. Она очень расстроится. Может быть, перенесем на некоторое время, пока они все не проскачут?..

— Они не собираются уходить, — сказал Композитор. — Они входят в дома, набрасываются на еду...

— Если они несколько дней без отдыха скакали по степи, то они проголодались, и их можно понять, — перебил Философ.

— Можем ли мы жалеть еду для голодных?..

— Они изрубили в куски «Летопись» и развеяли ее над го-

родом, а в хранилище устроили конюшню, — с трудом выговорил Писатель и разрыдался.

— Успокойтесь, друг мой, — сказал Философ и положил ему руку на плечо. — Потеря невозвратна, но они не знали, и никто им не объяснил. Их письменность, их культура могут не соответствовать нашему уровню. Они могут даже не знать, что существует бумага. Это их беда, а не вина...

— Но они абсолютно невоспитанны, — вспыхнул Композитор. — Плеваться в присутствии женщины!

— Это, увы, так, — грустно подтвердил Философ, взглянув на свои ладони.

— Но не бесчувственны к музыке, — сказала Скрипачка. — Их музыкальность, конечно, не столь рафинированна. Но когда один из них попросил меня сыграть их гимн, в этом было что-то трогательное... Не понимаю только, почему горят дома?

— Горят дома? — изумился Ученый.

— Огонь — благо для тех, кто его обуздал, и бедствие для тех, кто не умеет с ним обращаться, — сказал Философ. — Или это дело рук безумцев, у которых помрачился рассудок от чресчур сильного влияния солнечных лучей.

В это время вбежал Изобретатель. Он был в крайнем возбуждении и никак не мог перевести дух.

— На нас... напали... и хотят... уничтожить, — проговорил он и рухнул в кресло.

— Крайность суждений никогда не может быть хорошим советчиком, — урезонил его Философ. — Напали на нас? За что? По какой причине?..

— Это вы ищите причину, — резко ответил Изобретатель. — Я видел следствие!.. Повесили Садовода!

— Как повесили? — не понял Ученый.

— Очень просто! — сказал Изобретатель. — Надели на шею петлю и подвесили на яблоне. Он умер...

— Против его воли? — по-прежнему не понял Ученый. — Но ведь это насилие!

Философ слушал молча, уставясь в пол. Потом он поднял голову и медленно произнес:

— Когда вы, гуляя по лесу, случайно наступаете на муравья, это тоже насилие. Но неумышленное. А стало быть, не насилие, а несчастный случай. Если же вы наступили на муравья сознательно, то это уже насилие.

— Бедняга! — вздохнула Скрипачка. — Как ему не повезло. Он только недавно женился... И был так счастлив...

— Надо во всем искать логику, — прошептал Философ. Он не верил в зло. Оно для него просто не существовало. Холодный ужас вполз в него от сознания того, что всадники несли с собой зло. Это противоречило всей системе его взглядов, это переворачивало всю его жизнь.

— Надо во всем искать логику, — повторил он.

Изобретатель вскочил с кресла и нервно заходил взад-вперед.

— Две крестьянки,— ему было трудно сформулировать свою мысль,— которые помогали жене Садовода украшать опушку, видели... как ее... схватили... сорвали одежду... и восемь всадников... по очереди... совершили с ней то... что муж... совершает с женой... в момент высшего... проявления любви... Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное?..

— Я что-то не понимаю,— сказала Скрипачка.

— Абсолютный биологический абсурд,— сказал Ученый.

— Это тоже несчастный случай? — жестко спросил Изобретатель.

Все молчали. Каждый пытался представить себе слова Изобретателя и не мог, хотя и чувствовал, что с женой Садовода сделали что-то отвратительное и непристойное.

— Они нас уничтожат! — почти крикнул Изобретатель. — Поэтому мы должны уничтожить их!

Философ закрыл уши руками. Композитор судорожно схватил Скрипачку за руку. А Ученый спросил:

— Как уничтожить?

— Наверное, Изобретатель прав,— сказал Писатель,— но для того, чтобы внушить нашим людям, что они должны кого-то уничтожить, понадобится лет сто, а может быть, и больше... Я должен начать писать соответствующие книги...

— Мы с Изобретателем должны выдумывать оружие? — ужаснулся Ученый.

— Да,— сказал Писатель.— И все это время должна звучать жестокая музыка.

— Но я не могу изменить систему взглядов,— взмолился Философ.

— Это нереально,— сказал Изобретатель.— Мы должны оповестить всех жителей, чтобы сегодня же ночью, забрав все необходимое, они покинули город и ушли от него на расстояние четырех часов. К рассвету мой Луческоп будет смотреть не в небо. Луч, натолкнувшись на любое материальное препятствие, растворяет его мгновенно и бесследно. Таким образом, еще не успеет взойти солнце, а уже не будет ни нашего города, ни тех, кто в нем останется. А мы сохраним людей, опыт, знания, разум. Мы построим новый город и восстанем уже к третьей генерации.

— Жестокое и неразумное предложение,— задумчиво произнес Философ, и все с надеждой взглянули на него, потому что слова Изобретателя заставили их содрогнуться.— Всадники, по внешнему облику похожие на нас, принимающие пищу подобно нам, дышащие с нами одним воздухом и обогреваемые одним солнцем, должны иметь разум. Пусть этот разум не соответствует нашему. Но они не скажут сами по себе. Их движение, их поведение направляет чья-то высшая для них во-

ля, чья-то определенная система взглядов, преследующая какую-то цель. Мы не можем отрицать то, чего пока не понимаем. Два разума обязаны понять друг друга и взаимно обогатиться. Если они не знают, что такое книга, мы им расскажем, мы объясним, что каждый человек должен умирать естественной смертью, что набрасывать на шею веревку и подвешивать человека на дереве — неразумно, мы научим их пользоваться огнем и приобщим к нашей музыке. Мы разовьем этот слух... Итак, я призываю вас к благоразумию и осторожности. Мы должны наладить контакт с тем, кто осуществляет высшее руководство над ними, мы изложим ему нашу систему взглядов, мы получим ответы на интересующие нас вопросы, и, я уверен, все будет хорошо.

Философ замолчал и обвел всех вопросительным взглядом.

— Вы абсолютно правы, друг мой, — сказал Композитор.

— Тем более что они в общем-то музыкальны, хотя от них и пахнет, — поддакнула Скрипачка.

— И, может быть, завтра мы пригласим их на наш пикник? — оживился Ученый. — Я уверен, что им понравится и «Концерт открытия», и малиновый пирог, который приготовила моя жена. И все будет хорошо!

— А если они нас все-таки уничтожат? — спросил Изобретатель.

Но уже замахали на него руками, потому что его радикальность уже начинала надоедать.

— Насколько я понимаю, — задумчиво произнес Писатель, — все наши мысли должен оформить в слова я?

— Да. К вечеру, — заключил Философ.

Опускавшийся на город вечер принимал зловеще-красный оттенок — горела круговая система принудительного климата, благодаря которому жители города собирали по четыре урожая в год, поддерживая необходимую влажность и температуру воздуха. Всадники приняли ее за городскую стену и подожгли за ненадобностью. Двумя часами раньше стенобитными машинами была превращена в прах противораганная установка, которая приняла приближающиеся орды всадников за природный ураган и выпустила три разрушающих ураган кванта, в результате чего скакавшие в первых рядах получили ожоги.

Не в состоянии понять что-либо, взрослые высыпали на улицы, удивляясь странному фейерверку и комическим всадникам, получая удары нагайками и саблями, попадая под копыта крепких низеньких лошадей.

Дети тоже ничего не понимали, но и не удивлялись ничему. Им впервые было страшно, и они плакали.

Веками молчавшие собаки вдруг разом завыли, будто разбуженные древним инстинктом, предвещавшим беду. И под

аккомпанемент этого неслыханного доселе воя неслось по всему городу: «Улла! Улла! Уть! Мать! Улла! Мать! Мать! Уть! Улла!»

Философ, Ученый, Скрипачка, Композитор и Писатель, облачившись в визитные платья, пробирались к городской площади. Писатель держал на вытянутых руках сорок два рукописных листа, адресованных главному всаднику. Скрипачка несла скрипку. Сзади плелся Изобретатель. У него был очень плохой вид. Казалось, что он лишился рассудка. Одежда местами обгорела, лицо было в копоти. Он плелся, опустив голову, время от времени повторяя: «Это всё! Всё! Это всё!» И с тоской оглядывался в сторону холма, на котором стоял и смотрел в бесконечное небо его Луческоп.

Остальные подбадривали Изобретателя, а вернее, самих себя, и Ученый дважды назвал его пессимистом. На площади пылали костры. Всадники жарили мясо, пили из своих кожаных сосудов, галдели, хохотали... Пахло невероятной смесью жареного мяса, пота, испражнений и винных паров. Возле каждого костра между всадниками сидели прекрасные обнаженные танцовщицы городского театра. На их лицах были улыбки недоумения. Все представлялось им удивительнейшим карнавалом, и они никак не могли понять, почему всадникам не понравилась их красочная одежда, специально сшитая к Дню Праздника Спелых Яблок.

Возле самого большого костра как-то по-особому сутились темно-коричневые всадники. Перед костром на мохнатом черном ковре сидел всадник в красной кожаной куртке и в красных кожаных штанах.

— По-видимому, это он, — сказал Философ, и процессия направилась к большому костру. Вид визитеров показался, очевидно, всадникам столь нелепым и безобидным, что они раступились, дав возможность подойти им на довольно близкое расстояние к главному. Тот, заметив их, поднял руку, все замолчали, и он с любопытством стал разглядывать каждого по очереди с головы до ног, и никто не выдержал его тяжелого, из-под чересчур нависавших надбровных дуг взгляда. Потом он встал, перемигнулся со своими и подошел к Философу. Он протянул ему свою жилистую руку. Философ протянул свою. Всадник сжал руку Философа, и тот побледнел от боли, а всадник улыбнулся. Потом он подошел к Скрипачке, взял ее руку и поцеловал, потом потрепал по щеке Композитора и спросил:

— Твоя, красавчик?

— Мне очень приятно, — улыбнулся Композитор, — что моя жена вам понравилась.

— Это мы еще увидим, — сказал всадник и снова подмигнул своим. — А ты, чумазик, почему такой грустный?

Изобретатель, казалось, не слышал вопроса и только повторял: «Это всё! Всё! Это всё!»

Затем всадник уселся на черный мохнатый ковер и обратился к визитерам:

— Так что, красавцы? Какая великая важность вынудила вас приблизиться ко мне на столь опасное для вас расстояние?

Философ вежливо поклонился и произнес:

— Нам очень приятно, что вы говорите на нашем языке.

— Надо знать язык любой твари,— гордо сказал главный,— чтобы понять, что она там пищит, когда на нее наступишь...

— Мы убеждены,— продолжал Философ,— что два наших разума взаимно обогатятся, и это принесет огромную пользу всем нам, ибо возникший диссонанс есть не что иное, как результат ножниц, образовавшихся в силу неравномерно развивающихся мыслящих субстанций...

— Своеобразная разность потенциалов,— пояснил Ученый.

— Только не все сразу. Кто-нибудь один,— поморщился главный.

— Взаимопроникновение основных наших жизненных постулатов,— продолжал Философ,— в вашу философскую систему взглядов и ваших основных постулатов в нашу философскую систему взглядов...

— Нечто вроде диффузии,— опять вставил Ученый.

— Еще одно слово,— грозно сказал всадник,— и я вырву твой язык.

— Исходя из этого,— Философ взял из рук Ученого сорок два аккуратно исписанных листа и протянул их главному,— мы надеемся, что ознакомление с нашим трактатом сделает непонятное понятным, неприятное — приятным, невероятное — возможным. И все будет хорошо,— и Философ положил трактат к ногам всадника.

Видимо, вся эта церемония показалась всаднику смешной, и он начал хохотать. Глядя на него, стали хохотать остальные, и скоро хохотала вся площадь.

«Всё! Это всё! Всё!» — повторял Изобретатель, бросая беспокойные взгляды в сторону своего холма.

Потом вдруг главный умолк, вытер кулаком слезы и крикнул:

— Улла! Мать! Мать!

Площадь смолкла. Откуда-то появился всадник, казавшийся старше других. Он приблизился к главному и взял лежавший у его ног трактат.

— Уть! Уть! — приказал главный. — Улла!

И пожилой, взглядываясь при свете костра в написанное, начал читать, с трудом произнося слова:

— «Ког-да, су-щес-тво обла-обла-дающее вы-высшим разумом дви-двигет-ся по ле-су и на-насту-пает на на му-му-равья, то...»

Видя, что ему трудно читать, Ученый снял с себя очки и протянул пожилому. Тот испуганно стал вертеть их перед своими глазами, не зная, что делать, и Ученый помог ему нацепить их на нос.

— Они настраиваются автоматически и на плюс, и на минус, — сказал он.

Взглянув сквозь очки на бумагу и на все окружающее, пожилой подпрыгнул и возбужденно заорал:

— Мать! Мать! Уть!

— Улла! — грозно приказал главный, и пожилой продолжил чтение.

Во время чтения главный то хмурился, то смотрел вопросительно на Философа, то морщился, то вдруг зевал, то ухмылялся.

Наконец пожилой умолк и положил трактат к ногам главного. Тот сначала сидел, опустив голову, словно собираясь с мыслями, потом встал и начал прохаживаться по черному мохнатому ковру.

— Ну что ж, красавцы, — заговорил он. — Я потрачу на вас часть времени нашего драгоценного отдыха, чтобы наши, как вы там выразились, полустаты проникли в вашу фи-ло-софскую систему, мать, мать, улла. — Он обвел глазами всю площадь.

— Улла!.. Мать! Мать! — заорали всадники.

— Так вот. Мы ничего не завоевываем. Мы просто идем. Все время и всегда вперед. И берем то, что нам надо. Главное, чтобы нам не мешали... Мы ценим, что вы не сопротивлялись. Этим вы сделали себе лучше. Это очень приятно... Разве хорошо, когда кто-то сопротивляется? Когда гибнут мои всадники, в расцвете лет оставляя своих детей сиротами?.. Главное, чтобы нам не мешали, чтобы мы вас не чувствовали... Когда муха сильно надоедает, ее прихлопывают. Так что жужжите, ползайте, летайте, но только тихо... А потом и вы перестанете нас чувствовать... Чего боялся тот умник из Зеленого города, пороха которого были брошены моим псам? А?

— Ассимиляции, — подсказал пожилой.

— Вот! Все время забываю это тарабарское слово... Пройдут годы, в ваших жилах потечет наша кровь, и вы перестанете нас чувствовать, вы станете нами, наденете кожаные штаны, сядете на коней и... Улла! Улла! Уть! Мать! Улла!

— Улла! Улла! Мать! Мать! — загрохотала площадь.

— Тут вам непонятно, почему на шею Садовода набросили аркан и подвесили его на яблоне? Его что, повесили, что ли?

Пожилой утвердительно кивнул головой.

— И он до сих пор висит? Нехорошо. Ему уже, наверное, надоело. Можете снять его и зарыть в землю... Что делать?

Уверю вас, мои всадники подвесили его не со зла... Несчаст-
ный случай... А если бы он утонул?..

Философ облегченно вздохнул.

— Теперь, кто тут среди вас Философ?

Философ поклонился.

— С тобой, красавчик, мне вообще что-то непонятно. Та-
рабарщина сплошная... Как там?

Пожилой нагнулся, взял какой-то лист из трактата и про-
читал:

— «...сильно прикоснулся нижней конечностью к ягоди-
чной части Философа...»

— Ничего не понимаю,— сказал главный.— Кто прикос-
нулся? К чему?

Из толпы всадников, окружившей большой костер, отде-
лился один.

Главный грозно взглянул на него:

— Это ты прикоснулся нижней конечностью к этой...
к ягодишной части?

— Нет,— сказал всадник.— Я просто дал ему ногой по зад-
нице.

— Вот видишь,— главный посмотрел на Философа,— ни-
кто никакой нижней конечностью ни к какой твоей... ягоди-
чной области не прикасался... А вот плевать в присутствии
женщины не годится. В кого это плевали в присутствии жен-
щины?

Композитор сделал полшага вперед и поклонился.

— Нельзя плевать в присутствии женщины. Она не долж-
жна это видеть... Улла!

Двое всадников подскочили к Скрипачке и завязали ей
глаза.

— Уть! Уть!

И человек сорок всадников окружили Композитора и ста-
ли в него плевать. Когда на нем не осталось живого места,
главный крикнул:

— Мать! Мать!

И Композитора стали поливать водой и вином из кожаных
сосудов. Когда он обтерся, Скрипачке развязали глаза. Совер-
шенно растрепанный, мокрый Композитор смотрел на нее, ви-
новато улыбаясь.

— Это наши шутки,— улыбнулся главный,— и на них не
надо обижаться... Что же касается той красотки, значит, она
и вправду была красотка, раз ее полюбили сразу восемь... Вы
должны радоваться, когда мои всадники любят ваших жен-
щин... Разве легко скакать без отдыха по многу дней от зари до
заката, не имея времени не только любить, но и оправляться?..
Вот и приходится все успевать на ходу... И только у больших
водоемов я разрешаю моим птенцам опорожнить штаны,
и снова вперед!.. Они достойны любви и ласки... А вы живите,

отмечайте завтра ваш праздник, мы придем на него... Только не раздражайте нас... И все будет хорошо... Ступайте и спите... А с женщиной мы немного поиграем в музыку... И все будет хорошо...

Главный замолчал и прикрыл глаза. Скрипачка заиграла... Композитор хотел остаться, чтобы посмотреть, какое впечатление на главного произведет «Концерт открытия», но его вместе с остальными вытолкали с городской площади...

— Мы оказались правы, — говорил Философ, прощаясь до завтра, — мосты наведены, хотя первые контакты всегда шероховаты и опасны. Они нас поняли... Завтрашний праздник мы проведем особо торжественно и радостно, чтобы окончательно приобщить их к возвышенному и прекрасному... Все будет хорошо!

И напевая себе под нос «Концерт открытия», мелодия которого еще доносилась с городской площади, Философ направился домой.

Подыскивая слова для завтрашнего обращения к гостям, он думал: «В сущности, если не считать досадных диссонансных разрушений и несчастных случаев, ничего не произошло. Ковчег качнуло, но его вечное движение продолжается... Друзья мои! Мне сегодня особенно приятно открыть долгожданный праздник...» Но впечатления сегодняшнего дня все-таки утомили Философа, и он заснул в своем кресле. Улыбка не сходила с его лица, и, повернувшись на правый бок и поджав ноги, он проговорил сквозь сон:

— Все будет хорошо...

Ученый с трудом добрался до своего дома, так как без очков почти ничего не видел.

Забравшись под простыню, он обнял привычное теплое тело жены и зашептал:

— Я так переживал, что твои труды пропадут даром... Но все обошлось. Праздник перенесен на завтра. Они тоже придут... Очень хочется, чтобы твой пирог понравился их главному... Он, конечно, суров, но своеобразен, логичен и по-своему остроумен... Ну, повернись ко мне... Я очень переволновался за сегодняшний день... Но все будет хорошо...

И Ученый испытал небывалый прилив любовной страсти. Композитор в безмятежном ожидании Скрипачки вдохновенно вставлял в «Концерт открытия» трехнотную мелодию, услышанную сегодня утром от всадника. Сделать это было, конечно, сложно, но творчески безумно интересно. Во-первых, какой сюрприз на завтра, а во-вторых, сам концерт в своей рафинированности и каноничности стал несколько архаичен, и такое вливание чужой крови, безусловно, освежит... Он подошел к синтезатору и начал посылать на пульт звучавшие в его голове аккорды. Синтезатор зазвучал.

— Улла! — закричал Композитор. — Все будет хорошо!

Писатель смотрел на лежавший еще с утра последний день «Летописи» и перечитывал: «И наступил новый день жизни города. День Праздника Спелых Яблок... На рассвете задрожала земля от страшного топота несметного количества конских копыт. И темно-коричневые кожаные всадники заполонили город. И стали чинить разрушения, и начались пожары. И солнце закрылось черной копотью, как во время великого затмения...» Надо было продолжать. Это было его долгом...

«Ночь, наступившая раньше обычного, не предвещала скорого рассвета...»

Но тут Писатель подумал: а не будет ли это раздражать... Он перечеркнул написанное и вывел аккуратным холодным почерком: «Но вскоре туман рассеялся, и солнце засияло ярче прежнего, сообщая людям, что все будет хорошо...»

«Всё! Теперь всё!» — бормотал Изобретатель, карабкаясь на свой холм. Когда он увидел на месте дома и Луческопа бесформенную кучу изуродованного и расплавленного стекла и металла, он громко рассмеялся и побежал вниз, приплясывая и крича: «Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!»

Ушедший день с его волнениями, загадками, конским топотом и собачьим воем показался жителям города Деревянска бесконечно длинным, почти вечным. Теперь он удалялся от сознания, как постепенно удаляется скверный, неприятный сон. Ночь принесла успокоение и ожидание теперь уже заветрашнего Праздника Спелых Яблок.

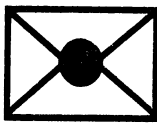
Был такой первый день нашествия варваров.

Был такой первый день высадки на перуанском берегу конкистадоров Франциско Пизарро.

Был такой первый день монголо-татарского ига, которое продолжалось триста лет.

Был такой первый день.

ВАМ ТЕЛЕГРАММА!



Все переворачивается и становится на голову: оркестр на балкончике, Ваня, мальчик с красным бантом в белый горох и все остальные. А в верхнем левом проходе стоит тип. Хотя я не собираюсь бежать.

Самая любимая, самая глупая и самая последняя клоунада. Ваня победным взглядом обводит цирк, я ору диким голосом, а мальчик с красным бантом в белый горох сползает с кресла.

«Вам телеграмма».

А до этого — стук в дверь нашего номера.

Я целую ее в первое, что мне попадается, — в ключицу и иду к двери.

И горничная: «Вам телеграмма».

А до этого — мягкий, вызывающий головокружение ветерок. И ноги, как и двадцать лет назад, уходящие под обрез желтой юбки в бесконечность. И вот оно — счастливое детство.

И стук в дверь нашего номера.

Я целую ее в ключицу и иду к двери.

И горничная: «Вам телеграмма».

А до этого:

— Все так неожиданно ново, что мне хочется говорить тебе «вы».

— Говори.

— Неужели это за все мои страдания?

— А вдруг?

— Ощущение такое, будто я всю жизнь тряслась в машине по булыжной мостовой и вдруг сегодня утром на вокзале выехала на гладкий асфальт. Сними очки.

— Я тебя буду плохо видеть.

— А как ты работаешь?

— На ощупь, почти автоматически. Все известно. Все знаю. Каждый день одно и то же.

— А меня ты разве не знаешь?

— Я тебя вижу впервые.

— Тогда не снимай.

И стук. Я целую ее в ключицу и иду к двери.

И горничная: «Вам телеграмма».

И постепенно до меня доходит чудовищно неправдоподобный смысл короткого телеграфного текста. И сердце проваливается куда-то под аппендикс, и хочется исчезнуть, потому что представить, что с ней сейчас будет, невозможно.

«Ты знаешь, что такое нирвана?» — сказал мне как-то отец. — Это счастливое детство. А знаешь, что такое «счастливое детство»? Это когда так здорово, что хочется сейчас же

умереть, потому что лучше не будет. Может быть только хуже».

Она сейчас в счастливом детстве и должна остаться в этом счастливом детстве.

Вот и во втором проходе появился еще один тип.

Я делаю сальто «враскоряку» и прихожу на копчик, нажимая при этом на грушу. Две прозрачные струи слез выстреливают до второго ряда и попадают на мальчика с красным бантом в белый горох. Ваня бьет меня по голове огромным батоном.

А сказать ей про телеграмму я не имею права.

Два бокала вермута, и в одном из них — содержимое медальона «Бакумба».

И почему я тогда понравился вождю?

Вечером на приеме, если это можно назвать приемом, он снял со своей черной лоснящейся шеи медальон и подарил его мне.

И вот содержимое медальона — в бокале с вермутом.

— Давай выпьем на обратный брудершафт. Будем на «вы». Я хочу, чтобы все началось с нуля.

Гастроли в Центральной Африке.

— А что это за медальон?

И переводчик, врач и француз, живущий в этом племени лет пятнадцать, очень серьезно и уважительно отвечает:

— В нем порошок. Он может прервать момент наивысшего наслаждения (счастливое детство) или наихудшего состояния, которое само по себе больше невыносимо.

— Яд, что ли?

— Это порошок, — серьезно повторяет француз, — с помощью которого можно перейти в иную жизнь в любом качестве. Только это качество надо выбрать.

— Не бери, — говорит мне Ваня, — ну их к бесу.

А вождь в это время что-то начинает лопотать французу.

— Он хочет, — говорит француз, — продемонстрировать действие священного порошка на одном из своих подданных.

— Все, — шепчет Ваня, — меня здесь не было. Я материалист и не хочу неприятностей в посольстве.

Я пытаюсь отказаться, но это мало кого интересует.

— Давай будем на «вы». Я хочу, чтобы все началось с нуля.

Она, улыбаясь чему-то своему, поднимает бокал с вермутом:

— Ну?

«Не надо никем быть, — думаю я, — оставайся всегда такой же».

Из толпы подданных выталкивается человек неопределенного возраста и бухается в ноги вождю.

— Он изъявляет желание существовать в новой жизни в качестве змеи, — говорит француз.

— Слушайте, не надо, — прошу я, — я и так верю.

— Вождь благоволит вам, — говорит француз, — не раздражайте его.

Начинают бить тамтамы. Вождь отсыпает из медальона часть содержимого в глиняный сосуд и протягивает его обреченному. Тот, взглянув на небо, издает страшный вопль и опускает сосуд. Все вокруг падают на колени. И француз тоже. Через мгновение двое негров уносят бездыханное тело бывшего подданного в заросли. Бьют тамтамы.

— Он уже змея, — шепчет француз.

Я понимающе киваю головой. Мало того, что из-за меня погубили человека, Ваня, не дай бог, болтанет про это в польстве.

Еще раз ударив меня по голове батоном, Ваня вставляет мне в рот морковку и начинает надувать велосипедным насосом. Тип в левом верхнем проходе улыбается, но тут же становится серьезным.

А еще через мгновение те же два негра выносят из зарослей довольно устрашающего вида змею и бережно кладут ее к ногам вождя.

— Все, — поясняет француз. — Он в новом состоянии и священен.

Ваня крестится.

— Ваня, ты же материалист, — говорю я.

— Да будь они неладны со своими фокусами, — шепчет Ваня. Пот градом льется с его круглого лица. Ничего себе фокусы. Был человек и сплыл.

Мне становится не по себе:

— Я не хочу лишать вождя столь важного и удивительно-го порошка.

— У него есть еще, — говорит француз, и вождь торжественно вешает мне на шею дьявольскую штуку, содержимое которой — в одном из бокалов с вермутом.

— Не надо никем быть. Оставайся всегда такой.

Ваня потом много раз умолял меня выкинуть медальон. Да я и сам, по правде говоря, сомневался, но решиться не мог. Странное дело. Этот медальон дал мне спокойствие и уверенность. И сознание собственного превосходства над всем, что происходит в нашей парадоксальной жизни. Бывало иногда совсем тошно или, наоборот, наступало, как мне казалось, счастливое детство, и медальончик начинал подавливать на грудь, напоминая о своем существовании. «Но нет, — думал я, — это еще не совсем тошно и не совсем еще счастливое детство».

И вдруг стук в дверь.

Я целую ее в ключицу и иду к двери.

И горничная: «Вам телеграмма».

— Вы еще меня вспомните, — сказал мне вождь племени «Бакумба» через французского. — Я сам веселый человек и люблю веселых людей. Я хочу, чтоб они меня вспоминали.

Она, улыбаясь чему-то своему, поднимает бокал с вермутом:

— Ну?

«Не надо никем быть. Оставайся всегда такой».

А до этого — восемь часов утра, и чистый вокзал, и выполняющая из-за поворота огромная зеленая гусеница, разделенная на шестнадцать вагонов. И № 11. И она выходит из одиннадцатого вагона.

Такая же, как двадцать лет назад.

Как пятнадцать.

Как десять.

Такая же, как и пять лет назад. Мне, во всяком случае, так кажется.

А больше мы с ней и не виделись.

И ничего у меня в руках нет удивительного и примиряющего. Всем, чем можно было удивить, я уже удивил. Теперь — нечем. И ни к чему. Ни цветочка у меня, ни букетика. Каждый раз, выливая бальзам на раны, я доставал такие цветы и в таком количестве, что роскошнее и больше бывает только на похоронах.

Я стою в натуральном виде, «*per se*», и даже меня не интересует, как я выгляжу в ее глазах. И понимаю, что сейчас все зависит от одной, только одной-единственной фразы. Но где она, эта фраза? У меня больше слов нет. Лимит исчерпан. И когда мы почти вплотную приближаемся друг к другу, она вдруг произносит:

— Есть хочу — умираю.

А Ваня выдергивает у меня изо рта морковку, и я, нажав на свистульку, с пронзительным звуком оседаю на манеж, как тряпочная кукла.

Легкий колотунчик бьет меня, когда мы поднимаемся по гостиничной лестнице. Я не знаю, что делать, что говорить, когда мы войдем в номер. Будто первое свидание. И я радуюсь этому ощущению. Почти все в жизни я узнавал значительно позже, чем полагалось по норме. Так получалось.

Только в четырнадцать, когда мать привезла из роддома моего братца, я узнал, что он появился на свет не из уха. Узнал об этом в школе, на уроке истории, в то время, как Иван Сусанин совершал свой подвиг, который лег потом в основу одноименной оперы Михаила Ивановича Глинки. Был ошарашен этой новостью, не верил и в тот же вечер спросил у матери прямо в лоб.

— Кто тебе сказал? — взглянула на меня мать.

— Ребята в школе.

— Они правы, — сказала мать, а я смотрел, как мой братец пытался охватить ротиком мамину грудь, и никак не мог переварить это удивительное открытие.

И стук в дверь.

И горничная: «Вам телеграмма».

А до этого — восемь часов утра. Вокзал. И еще очень чисто. И № 11.

— Есть хочу — умираю.

И колотунчик, как будто впервые.

Мы поднимаемся по гостиничной лестнице, и между вторым и третьим этажами — гастроль в южном городе. С учебной программой. Филармоническая гостиница. И каждый вечер куда-то наверх, в пристройку типа скворечни, возвращается после концерта арфистка. Двадцать пять лет. Очень похожа на свой инструмент. Маленькая голова и расширение книзу. Это, по-моему, у всех арфисток. И, как говорят местные музыканты, полная доступность.

Легко сказать, если я к тому времени читал об этом только в книжках, а в кино, даже в американском, в самом злачном месте возникало затемнение.

Доступность.

— А если она закричит?

— Не закричит.

Топ-топ-топ. Каждый вечер в свою скворечню. Двадцатипятилетняя арфа.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер.

И быстро убегает наверх.

— А как это? Ну, я вхожу... И что я говорю?

А ничего.

Топ-топ-топ.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер.

Уже обратила внимание.

— Как концерт?

— Хорошо.

И быстро-быстро в свою скворечню.

— Был?

— Не решился?

— Может, тебя отнести?

— Ну вот я стучу. Вхожу. И что дальше?

— Дальше все само собой. Увидишь.

Колотун. Тогда еще совсем незнакомый.

Тук-тук-тук.

— Да?

— Добрый вечер.

— Добрый вечер. Это вы?

А в комнате, если это можно назвать комнатой, кроме кровати и подоконника, ничего больше нет. Такое впечатление, что я вошел не в комнату, а в кровать со стенами и потолком.

— Вы любите Вивальди? (Почему Вивальди?!)

— Обожаю. Садитесь. Я уберу подушку. Это моя любимая подушка. Правда, она похожа на мишку?

А сесть можно только на кровать.

— А вы любите мускат?

— Обожаю. Где вы его достали?

— В буфете. В цирке... У меня сегодня день рождения... И мне захотелось его отпраздновать с вами.

— Только не говорите второму дирижеру. Он сделал мне предложение.

— А вы?

— Никогда. Он мне не нравится.

— У всех арфисток такие длинные пальцы?.. Дайте-ка мне вашу руку... Удивительные пальцы... А из меня, наверное, никогда бы не вышел арфист... Итак, за вас!

— Нет, за вас.

— Ну ладно. За меня.

И утром на солнышке во дворе.

— Был?

— Был.

— Поздравляю.

Топ-топ-топ. Из скворечни на репетицию, мелко-мелко.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

Все нормально.

— Меня нет. Я в душе. Есть горячая вода? Слава богу.

— Я купил зелени всякой.

— Громче говори! Не слышу!

— Я купил всякой зелени! — кричу в дверь ванной.

— Потрясающе!

— И помидоры!

— Потрясающе!

И малосольные огурцы!

— Грандиозно!

— И клубнику!

— Фантастика!

Если самолет из Гаваны прилетает вечером, то Митька скоро будет здесь. Мой Митька. Ее Митька. Наш Митька.

«Милый!

Он родился с шевелюрой и пробором. Закричал сразу. Вес — 3.900. Рост — 49. Нормально. Сильный, дьявол. Так хватает грудь, что я кричу от боли. 1. Пеленки! 2. Пеленки! 3. Пеленки! Говорят, их можно заказывать на дом. У меня здесь все есть. Ничего не надо. Цел.».

И вдруг телеграмма.

— Кто это был?

— Горничная... Спросила, не надо ли нам цветной телевизор.

— Ни в коем случае!

— Я так и сказал.

Медальон на груди. В холодильнике вермут.

Ваня гонится за мной с брандспойтом. Я спасаюсь от него бегством.

Через барьер. В проход, где уже стоят два милиционера. Они думают, что я собираюсь бежать.

Некуда бежать. Незачем и не к кому.

— Может, рвануть? — спрашивает Ваня, осторожно поглядывая на женские фигуры в просторных черных брюках, медленно надвигающиеся на наш «газик».

— Куда, Ваня? — говорю. — Куда рвануть?

И чувствую, что никак не могу проглотить слюну. От страха и от глупейшей безвыходной ситуации.

А до этого — ночной переезд по разбитому вьетнамскому бездорожью. Летом 1967-го. Нас везут выступать в Красную деревню под Винем к знаменитым революционным старцам. Мы уже полтора месяца здесь. Дремлем на ходу.

— Ваня, — говорю я, очнувшись после очередного удара головой о переборку. — Ваня, ты знаешь, о чем я мечтаю?

— Готов примазать, — говорит Ваня, вглядываясь в маракотову бездну вьетнамской ночи, — о корейке на вертеле.

— Нет, Ваня. Я мечтаю о том, как мы прилетим домой и она меня встречает в аэропорту. С Митькой. Все узнает в Госконцерте и встречает.

— Кто про что, а вшивый — про баню. Ждет — не натерпится. Она, Митька и этот.

— Она его не любит.

— А как же это называется?

— Она с ним от безысходности.

— Не надо парить, — говорит Ваня. — Я материалист. Баба есть баба. И твоя не лучше. Вот ты сейчас трясешься неизвестно куда, а она его там обнимает и слова шепчет такие, какие тебе нашептывала. В экстазе. Все они одинаковые!

— Во-первых, Ваня, там сейчас день. Рабочий день. А во-вторых, уж кто-кто, а она найдет для него другие слова. Ты ее не знаешь. И потом, никогда бы этого не было, если бы не я...

— Не было бы, было бы... Мужик — другое дело. У мужика это — естественная необходимость. А баба рискует родить. Ясно? Мне один доцент говорил. Поэтому если уж баба на это пошла, то она либо любит, либо у нее повышенное чувство, либо она извлекает из всего этого выгоду. Во всех трех случаях я с ней жить больше не смогу. Так доцент говорил.

— Или от обиды.

— Дурак ты, боцман.

И перед нами вдруг «бух! бух! бух!». И светло стало.

— Американские империалисты совершают варварский налет на дорогу, — сообщает переводчик.

«Газик» останавливается. Поговорив о чем-то между собой, шофер и переводчик уходят, чтобы разузнать, «как в сложившихся трудных условиях продолжить путь в Красную деревню». Мы погружаемся в дремоту, а открываем глаза от каких-то звуков и разговоров. Светает. «Газик» наш окружен молоденькими вьетнамками. В руках у них мотыги, палки, камни. У одной — ружье. Они коротко переговариваются между собой, и непонятно, улыбаются они при этом или ненавидят. Мы им на всякий случай улыбаемся, но уж как-то воинственно держат они свои мотыги, палки и одно-единственное ружье. Становится нехорошо.

— Может, рвануть? — спрашивает Ваня, осторожно поглядывая на женские фигуры в просторных черных брюках, медленно надвигающиеся на наш «газик».

— Куда, Ваня, — говорю. — Куда рвануть?

И чувствую, что никак не могу проглотить слюну. От страха и от глупейшей, безвыходной ситуации.

— Ваня, — говорю, — ты от какой из них хочешь получить мотыгой по черепу?

— Эй, девушки! — кричит он. — Тут явное недоразумение! Мы — артисты братского советского цирка!

Но они не понимают, и все ближе. И уже совсем светло. И невероятно глупо и обидно погибать на рассвете среди неправдоподобной, похожей на кукольные декорации вьетнамской природы.

И вдруг оказываются среди воинствующих девушек переводчик и шофер и начинают разгонять их в разные стороны, как кур. На своем языке.

— Они приняли вас за американских пленных летчиков, — смеется переводчик. — Но мы вовремя подоспели.

И мы трясемся в объезд к переправе, потому что через тридцать минут паром заведут в заросли, и день пропал.

— Ваня, — толкаю я его в бок, — и все-таки, ты знаешь, о чем я мечтаю?

Но он только отмахивается.

Она выходит из ванной и долго расчесывает волосы перед зеркалом. Капли воды прыгивают с кончиков волос на спину и ползут между лопаток.

— Общая опустошенность, — говорит она самой себе в зеркало. — Ни одной мысли.

Это очень хороший признак. Это ее счастливое детство.

— Митьку кто-нибудь встретит в Москве? — спрашиваю я.

— Встретят, — отвечает она. — Боря. Если не проспит.

Боря — наш с Ваней администратор. Ему рискованно поручать любое дело. И вдруг под ложечкой у меня возникает маленький кусочек льда. Только бы все было благополучно. Я глотаю слюну и выхожу на балкон. Только бы ничего не слу-

чилось. Кусочек льда начинает таять. Ничего не случится. Случается только тогда, когда об этом совсем не думаешь.

— Ну? — она появляется на балконе, садится в кресло, вытягивает ноги и закрывает глаза.

Мальчик с красным бантом в белый горох ест мороженое, и оно стекает по его подбородку прямо на бант.

Женщина, видимо, бабушка, у которой он сидит на коленях, увлечена происходящим на арене больше внука и ничего не замечает. Спасаясь от Ваниного брандспойта, я плюхаюсь на колени к разодетой дамочке, рядом с мальчиком и бабушкой. Цирк ахает и покатывается. Дамочка поднимает визг. Она возмущается, ищет сочувствия, сбрасывает меня с коленей и, красная и мокрая, устремляется к выходу. Я хватаю рукой ее пышную белую прическу, и роскошный парик остается в руке, а она, посрамленная, скрывается в проходе. Хохот невообразимый.

— Чистая полушерсть! — ору я на весь цирк, размахивая париком. Овация.

До чего же я люблю наивных добрых посетителей цирка! Никому и в голову не приходит, что разодетая дамочка — обыкновенная подсадка за рубль. Жена замдиректора цирка. Одно представление — один рубль. По субботам и воскресеньям — три представления!

Новая программа!

Медведи под куполом!

Иллюзионный аттракцион!

Гимнасты на батуте!

Весь вечер на манеже Вася и Ваня!

— Ничего хорошего лично я от операции не жду, — говорит доктор, когда мы выходим из ординаторской. — Может быть самое худшее. Приготовьтесь к этому.

Доктор — наш хороший знакомый. По всем делам.

— Технически операция несложная, но я лично думаю о «нео».

— Она догадывается? — спрашиваю я.

— Не уверен, — отвечает доктор. — Хотя вы-то ее лучше знаете.

— Наверно.

«Нео». Жуткое слово. Весь день не выходит из головы. «Нео».

«Нео»колониализм.

«Нео»фашизм.

«Нео»нацизм.

«Нео».

Я смотрю на небо и мысленно говорю себе: ни разу больше не взгляну ни на одну бабу. Сегодня же позвоню Дюймовочке и скажу, что все. Я буду заботлив, ласков, приветлив,

внимателен, предупредителен. И с Ракитской надо завязывать. Пока не поздно.

«Нео».

Я внутренне честен. Мне действительно никто не нужен, кроме нее и Митьки. Я просто легкомысленный идиот и полная расхристанность по женской части. Это оттого, что я поздно развился. Но теперь все. Абсолютно. Только бы не «нео».

А позже — звонок.

— Принеси какие-нибудь красивые тряпки.

— Что??

— Тряпки принеси какие-нибудь. Только красивые. Часов в семь.

— Для чего??

— Я говорю из автомата. Здесь много больных. Все.

И в семь часов вечера я под окном палаты. Палата на первом этаже, и окно выходит в прибольничный сад.

— На, — протягиваю в окно сумку со шмотками, — только зачем?

— Дай трешку, — быстро говорит она. — Я договорилась с медсестрой. Сходим куда-нибудь. Мне очень захотелось.

— Но ведь завтра...

— Не знаю, что будет завтра. Я хочу именно сегодня. Ну, все. Лови меня здесь.

И минут через десять она прыгает с подоконника прямо мне в руки.

— Куда пойдём? — спрашиваю я, когда мы пролезаем через дырку в ограде и оказываемся на улице.

— Здесь неподалеку есть симпатичная кафешка, чистенькая. Туда многие наши бегают.

— Как ты?

— Потрясающе! Легко и свободно! В голове ни одной мысли. Даже о Митьке.

— Счастливое детство?

— Почти. Я не нарушила твои планы?

— Как тебе не стыдно!

— Почему? Ты — свободный человек.

— Формально.

— Ну, хватит. Ты сегодня хорошо выглядишь. Не пил, что ли, давно?

— В поездках не пью. А здесь еще не успел.

— Похудела я, да?

— Ничуть.

— Восемь килограммов как корова языком. Тебе здесь нравится?

Заведение называется «Гвоздичка».

— Ничего.

— Есть хочу — умираю. От больничной еды уже на стенке.

— Я думаю.

Она от бокала шампанского порозовела. Курит беспрерывно.

— Видишь за тем столиком девушку? С блондином. Она у нас на втором этаже лежит. Приговорена.

Девушка чувствует, что о ней говорят, поворачивается в нашу сторону и улыбается. Через минуту она и блондин подсаживаются к нам.

— Состояние удовлетворительное, пульс девяносто, пень пальпируется, диурез положительный, Сережа, познакомься.

Все это девушка выпаливает одним духом. Мы знакомимся.

— Я вас где-то видел, — говорит мне Сережа. — Вы по телеку не выступали?

— Я в цирке работаю, — отвечаю я, и мне приятно, что меня узнали.

— Точно! — кричит Сережа. — Я ж говорю, что где-то видел! Ну, потеха была!

— А вы случайно не в «Торпедо» играете? — спрашиваю я.

— Точно! — говорит Сережа, и ему тоже, кажется, приятно, что его узнали. — Чистильщика исполняю!

— На режиме?

— Точно! Лишь пивка для рывка да водочки для обводочки. Завтра в одиннадцать репетиция. Публичка платит копейку, публичка должна смеяться и аплодировать.

И мы затеваем профессиональный разговор. Я интересуюсь, в каком тактическом ключе «Торпедо» будет играть с тбилисским «Динамо», а он не может понять, как это меня Ваня надувает насосом.

Потом мы перекрестно танцуем.

— Ваш муж? — спрашиваю у девушки.

— Почти. Выйду из больницы, и мы распишемся.

Только бы не «нео».

Какой-то лысый маленький человек с полной высокой дамой грозит нам пальцем.

— Наш рентгенолог, — сообщает мне девушка.

— Странная у вас больница, — говорю я.

— Мировая! — смеется девушка.

Она приговорена.

Только бы не «нео».

Около одиннадцати Сережа, подмигнув мне, заговорщически шепчет:

— Мы сваливаем ко мне. Доставлю ее завтра к утреннему обходу, и на репетицию.

Когда мы выходим из кафе, идет маленький дождичек.

— Меня знобит, — говорит она и прижимается ко мне.

И мне кажется, что кризис миновал и она со мной.

Через ту же дырку в ограде мы попадаем в больничный садик и оказываемся у приоткрытого окна палаты.

— Поедем ко мне? — говорю я неуверенно.

— Нет!

И я знаю, что спрашивать «почему» бессмысленно.

— Целуй Митьку, — говорит она уже из палаты. — Спасибо.

— Я привез ему заводного робота.

— Пока.

Только бы не «нео».

Во втором часу ночи мне звонок. И знакомый распевный голос:

— Алло-о! Что ты делаешь?

— Рожая!

— Не хами. Я приеду.

— Нет.

— А я все равно приеду.

— Нет.

— Ну почему-у?

— Все!

— Алло-о. Что ты молчишь?

— Все!

— А я все равно приеду!

— Нет.

И через сорок минут звонок. Но уже в дверь.

Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Слушайте все! Я — полное ничтожество и безвольный человек! Я живу по законам низких инстинктов! Я достоин самого худшего! Поэтому я потерял самое лучшее! Так мне и надо! Чувствую себя отвратительно и никого не хочу видеть!

— Ты знаешь, что такое «нео»?! — кричу я в два часа ночи Альдоне Гуальтьерос — нижней из группы партерных акробатов «Сестры Гуальтьерос» — Люся Бровкина, Нина Коромыслова, Нина Пантюхова и Галя Берданкина.

— А куда делся твой халат? — говорит Альдона Берданкина. — А медальона «Бакумба» у меня еще нет.

Теперь я тупо смотрю, как Ваня разводит в ведре мыльную пену и сейчас будет меня брить. А проходы уже все заняты — в каждом по милиционеру. Ждут конца представления.

— Только ты не думай, — говорит она, подставив лицо солнцу, — что я к тебе вернулась, что в результате ты оказался самым лучшим, и прочая чушь... Наверное, так: просто я получила от незнакомого человека приглашение приехать сюда. Я была к этому готова, и я приехала. А что это за человек, понятия не имею.

— Давай выпьем на обратный брудершафт.

И вдруг — стук в дверь нашего номера.

— Если вы верующий — поставьте свечку, — говорит мне доктор, — если неверующий — бутылку коньяка. Полипоз. Плюс нервное истощение и абсолютно расшатанная психика. Хотя лично я — теперь могу сказать вам смело — был убежден, что мы имеем дело с «нео».

А за два года до этого.

— У тебя кто-то есть, — решаюсь я высказаться.

— Не тебе об этом говорить.

— У меня все было случайно и все кончилось. Нет никого, кроме тебя.

— Да? И поездки в Ригу случайно? И двое суток отсутствия, пока я обзванивала все больницы и морги, — тоже случайно? И на даче вас застукали опять случайно?

— На даче — точно случайность. Важно, что сейчас у меня никого нет и не будет. А у тебя есть!

— Да. А у меня есть. И не случайно, и не вдруг. И ты не настолько глуп, чтоб это не замечать.

— Я и замечаю.

— А слезы ты у меня замечал? А знаешь, отчего были слезы? Я знала, что сегодняшней разговор наступит и ты будешь его инициатором. И все, что я выплакала, постепенно превратилось в лед, который нас и расколол. Закон физики. Ты на одной половине, а я — на другой.

— А Митя?

— Он и твой, и мой. Он наш. И если ты не поймешь, что произошло и продолжает происходить, Митя вырастет уродом и невропатом.

И года через два после операции мы с Митькой останавливаемся возле подъезда. Мы были в кино. Мы обедали. Потом заходили в цирк, где я познакомил Митьку с Лордом — уникально дрессированным уссурийским тигром, и все говорили, что Митька похож на меня и походка одна и та же.

— Поднимешься к нам? — спрашивает он.

— Нет. На-ка, передай маме деньги.

— Сам передавай, а я передавать не собираюсь.

— Возьми и передай! И не глупи. Маме нужны деньги.

— Не нужны ей твои деньги.

— Не твое дело.

— Да, не мое, — он повышает голос. — Поэтому ничего передавать не буду!

Весь в нее. Теперь мне осталось потерять его, и тогда — полный порядок.

— У тебя есть последняя олимпийская серия? — спрашиваю я.

— Есть, — бурчит Митька, но я знаю, что этих марок у него нет.

Весь в нее.

Я целую его на прощание, и он вытирает рукой место на щеке, куда я только что его поцеловал. В детстве я тоже так делал.

— Пока,— говорю я.

— Пока,— говорит он, и уже вслед:— А если взять тигра совсем маленьким, его можно сделать домашним?

На кремацию я все же иду. Довольно много народу. Я почти никого не знаю, кроме нескольких наших бывших приятельниц, а теперь—ее приятельниц. Митька стоит рядом с ней. И зачем надо было его брать?

— Сам захотел.

Она не плачет, но ничего перед собой не видит. Так я и не знаю, кто он был. Говорили, какой-то гонщик. Говорили, хороший парень. А почему бы и нет? И зачем это судьба так неравномерно выбирает жертвы для своих ударов? Не логичнее ли распределять все поровну между всеми?

И потом, уже через год.

Нарастает чувство одиночества и тоски. Снятся ностальгические сны. Сентиментальные эпизоды в кино вызывают спазмы. Хорошая музыка—тоже. Телефон прежний.

— Если ты не против, я зайду. Просто поболтать.

— Заходи,— говорит она в трубке.— Только у меня ничего нет. Митька в лагере, я ничего не покупаю. И не задерживайся. Мне надо через час уходить.

Иду в магазин, что-то покупаю.

И у выхода:

— Привет! Ты куда вдруг подевался?

Это Ракитская. По-прежнему—ничего себе.

— Никуда я не подевался. Просто все надоело. А у тебя как? Замужем?

— Еще чего!

И что я за человек? Все вроде бы давно и кончилось. И не вспоминал я Ракитскую. А как сказала она, что не замужем, что-то щелкнуло. Свободна. На всякий случай, наверно.

— Тебе куда?

— Прямо.

— Проводи меня немного,— просит Ракитская.— Мне тоже в ту сторону.

Идем, болтаем.

— Заходи в гости,— говорит Ракитская.— У меня шикарные пластинки, девочки хорошие, кофейку попьем, джин с тоником.

— Откуда?

— А я теперь в УПДК. Фирмачи дарят... Кстати, не хо-

чешь у нас выступить? С Ваней. Познакомлю с шефом. Он — солидный мэн. Может устроить иномарку.

Вот как изменилась. А давно ли тянула водочку под проигрыватель «Юбилейный» с магнитофонной приставкой «Нота»... Мы еще о чем-то болтаем, и я даю ей свой телефон, и беру ее телефон, хотя знаю, что не позвоню. И обещаю зайти, хотя знаю, что не найду.

И вдруг:

— Я думала, ты хоть чуточку изменился. Нет. Такой же.

Она! Ну что за кабальное невезение! Ну почему именно сейчас я должен был встретить Ракитскую? И почему она именно здесь должна была наткнуться на меня с Ракитской? И почему я не распрощался с Ракитской там, возле магазина? И ничего теперь не объяснишь!

— А... ты... когда... будешь дома?

— Не знаю. Ну, пока.

И она уходит. И теперь уже на пять лет. Набезнадежно. И я еще не представляю, что наступит сегодняшнее утро на чистеньком вокзале с вагоном № 11. И я иду в гости к Ракитской. А что еще? И слушаю шикарные пластинки, и пью кофеек с тоником...

— Ваня! Я и у тебя спрашиваю: почему? Почему дурацкая случайность идет с нами на лобовое столкновение и поезд, в котором мы куда-то едем, сходит с рельсов?

Но Ваня считает, что это случайность, обусловленная закономерностью, что ее давно надо было выкинуть из головы, что так предназначено и что он — материалист. И суточные в поездках нам урезали до одиннадцати долларов.

Он сосредоточенно мажет мне лицо пеной. Большой кистью. И вот я уже весь в пене. И мальчик с красным бантом в белый горох снова сползает с бабушкиных коленей, а Ваня шепчет:

— Нас сегодня смотрит господин Пипифакс для поездки во Францию.

Господин Пипифакс — это мосье Бернадикс. Французский импресарио. Он не знает, что тратит сегодняшний вечер впустую.

— Просто я еще потому приехала, что вот так по-дурацки устроена. Кажется, уже все. Конец. Темнота и безнадега. И все-таки выползает откуда-то из щели этот червячок «а вдруг». А вдруг?..

Но я ничего не говорю. Да и глупо было бы говорить, что именно сегодня и произошло «а вдруг» и дальше будет одно лишь счастливое детство. Глупо. Кто знает? А вдруг... Уж столько нами говорено и обещано.

И вдруг телеграмма!

А в тот вечер, когда мы с ней познакомились, я был, что называется, готов для любви всеми своими фибрами. Это ведь очень важно, чтобы она появилась именно в тот момент, когда ты готов. Не раньше, не позже. Потому что если раньше, то будут разочарования, и слезы, и либо аборт, либо незаконные дети. А если позже, то это будет сплошная мрачная пьянка, разврат и долги.

И место за моим столиком в нашем буфете свободно, а ее не пускает буфетчица. Такую длинноногую — и не пускает. Мол, буфет обслуживает только своих. А она говорит, что готова всю жизнь работать в цирке, только чтоб ее чем-нибудь накормили в этом буфете. И я понимаю, что как она попала в наш буфет, не имеет значения. И я понимаю, что она возникла. И возникла именно потому, что я в этот вечер готов для любви. Или наоборот.

— Есть хочу — умираю. Вы это понимаете? — говорит она мне, уже сидя, конечно, за моим столиком.

— Понимаю, — говорю я. — Выбирайте. Я принесу.

— Винегрет, яичницу и кильки... И чай.

— И все? А выпить?

— Думаете, откажусь? — смеется она.

— Не думаю.

— А о чем вы думаете?

— Ни о чем не думаю.

— А я знаю: вы думаете, что если я не откажусь выпить, то со мной все просто.

— Вот уж не думаю.

Я действительно ни о чем не думаю в тот момент, и уж никак она не напоминает мне арфистку.

И еще минут через десять:

— Давайте выпьем на «ты».

— Давайте, — соглашается она. — Только без поцелуйных обрядов.

И еще минут через десять:

— Я все не могу понять — почему ты именно сейчас возникла?

— Просто, видимо, мое возникновение было необходимо.

И еще чуть позже:

— Я даже не знаю, как я попала в этот буфет. Я весь день бродила сегодня и думала: лететь мне в Ростов или написать?

— Зачем лететь и кому писать?

— У меня там жених, который меня очень любит. Летчик-испытатель. А я сегодня утром проснулась и поняла, что все. И вот не знаю — лететь или писать?.. Так что ты тоже возник на разломе.

И что же это за сумасшедшее совпадение, чтобы именно тогда, когда я был готов для любви, я возник перед ней на разломе? И что это? Везуха или невезуха? И наверное, не ответить на это до конца жизни. Но я благодарю Совпадение за то, что в тот вечер, на разломе, возник перед ней именно я, потому что на разломе мог возникнуть кто угодно.

— Лететь,— говорю я.

— А ты меня встретишь, когда я прилечу?

— Безусловно. Но где гарантия, что ты прилетишь не одна?

— Если я прилечу не одна, значит, я не такая уж замечательная. Значит, я не возникала... Я ведь, честно говоря, тоже не уверена, что ты меня встретишь. А вдруг?..

Что они ждут там, в проходах? Конца представления?

— Во сколько у тебя начало?

— В двенадцать. Я успею. Здесь рядом.

— Ты уйдешь, и я лягу. По-прежнему не могу спать в поезде. Я так устала...

Я смотрю на нее и не могу поверить в то, что это она, ее голос, ее тело, и что рядом — я. Мне кажется происходящее одной из вариаций на тему тех многочисленных ностальгических снов, которые преследовали меня все эти годы.

И вдруг стук в дверь.

Я прохожу в комнату и открываю.

И горничная:

— Вам телеграмма.

И тошнота, и слабость, когда до меня доходит чудовищный смысл трех слов на телеграфном бланке.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

...Родился с шевелюрой и пробором. Закричал сразу. Вес — 3.9000. Пеленки. Пеленки. Пеленки. А если взять домой маленького тигра, его можно сделать домашним? Я всю жизнь тряслась по булыжной мостовой и вдруг выехала на гладкий асфальт.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

Неужели это за все мои страдания? Родился с шевелюрой. Пеленки. Пеленки. Пеленки.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

— Кто это был?

— Горничная... Спросила, не надо ли нам цветной телевизор.

— Ни в коем случае.

— Я так и сказал.

— Боже! Как я соскучилась по солнцу!

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

Это конец. Лучше уже никогда не будет. Но я не могу допустить, чтобы было плохо. Так плохо, как я даже не представляю.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

Неужели это за все мои страдания?

«Бакумба» болезненно напоминает о себе. Я не имею права показывать ей телеграмму. Счастливое детство.

Его надо сохранить навсегда.

В холодильнике вермут.

Теперь он в двух бокалах.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

В одном из бокалов — содержимое «Бакумбы». Она останется в счастливом детстве, а я превращусь в животное без прошлого и будущего. И вот, улыбаясь чему-то своему, она поднимает бокал с вермутом:

— Ну?

«Не надо ни в кого превращаться. Оставайся всегда такой».

Бокал разбивается, и она застывает в кресле лицом к солнцу, по которому она так соскучилась.

Что-то крича, я выскакиваю из номера и несусь по коридорам, мимо горничных и дежурных, вниз, в цирк...

Представление начинается.

Представление окончено.

В проходе ко мне пристраиваются двое. Но я никуда не собираюсь бежать.

В гримборной уже сидят еще трое. Ваню не пропускают.

Я снимаю штiblеты и парик.

— Вам предъявлено обвинение в убийстве, — говорит один из них. — Вы арестованы.

Меня не то везут, не то ведут в гостиницу. Я не ориентируюсь.

В номере на диване лежит милиционер. Возле него копошится врач.

— Наконец-то, — говорит Митька. — А то я ничего не могу понять. Приезжаю. Мать спит на балконе. Возле нее доктор и милиционер. Потом мать просыпается, милиционер падает в обморок...

— Я так внезапно вырубилась, — говорит она мне, — что даже не помню, как ты ушел. Просыпаюсь и вижу здорового детину в милицeйской форме, который почему-то плюхается на пол...

Я очень медленно начинаю возвращаться в реальность.

— А я прилетаю ночью, — говорит Митька. — С опозданием. Никто меня не встречает. Звоню Боре.

— Я просила его тебя встретить и дать телеграмму, — говорит она.

— Он проспал, — продолжает Митька, — и ночью дал вам телеграмму.

— Какую??

— Что он проспал.

Кто и когда объяснит мне, почему на свет появляются такие идиоты, как наш администратор Боря?

И почему мне надо было обязательно знать, что он проспал самолет, если самолет уже прибыл?

И разве не может ошибиться молодая телеграфистка глубокой ночью. Она тоже человек. Она тоже хочет спать.

САМОЛЕТ ПРОПАЛ МОРЕ.

САМОЛЕТ ПРОСПАЛ. БОРЯ.

И всем почему-то смешно, а я плачу.

Все в белых фраках, а я в дерьме.

«Я люблю веселых людей и хочу, чтобы они меня вспоминали», — сказал вождь племени «Бакумба».

И позже мне следователь сообщает:

— Если вы не знали, что в медальоне было снотворное, вас будут судить.

1978

КАФЕ «АТТРАКЦИОН»



Его просто незаметно убрали. Взяли и убрали. Шеф уже давно относился к нему с плохо скрываемым раздражением. Стали назначать одну комиссию за другой, обнаружили угасание скорости реакций, неустойчивость давления в глазном дне и массу других глупостей. Прекрасно понимая, что он откажется, ему предложили унижительную должность наземного консультанта по тренировочным полетам в определенном радиусе, и он, естественно, отказался. Тогда, вежливо извинившись, ему вручили оранжевую карточку, согласно которой он навсегда лишился права непосредственно участвовать в каком бы то ни было космическом полете. Даже по детской околоземной орбите.

Ему был открыт счет в банке, и он, став владельцем отходного пособия в 6000 фл., получил возможность досыхать свою жизнь, как и все наземные пресмыкающиеся.

И Д. Саут, бывший пилот Космической Разведки, придумал себе достойный уход из жизни. Как подобает космическому волку.

...З. Гроунд, с которым он учился еще в школе, был шефом одного из отделов Грузовых Космических перевозок. Его база располагалась в окрестностях небольшого провинциального городка, куда и прибыл все решивший для себя Д. Саут. Терять ему было нечего, и в первой же встрече, зная определенные слабости З. Гроунда по части денег, Д. Саут выложил все предельно ясные условия: З. Гроунд обеспечивает его необходимой документацией и допуском к полетам, затем оформляет ему полет куда-нибудь в район «Альфа-127» и за это в тот же день получает 6000 фл. Ни больше, ни меньше. Торговаться бессмысленно. Все, что есть. З. Гроунд выслушал его и, не задавая никаких вопросов, согласился. Во-первых, Д. Саут не тот человек, что станет обманывать, а во-вторых, 6000 фл. — такая сумма, которая не требует дополнительных вопросов. Все будет готово в пятницу. Дальше — просто. Космолет возьмет курс на «Альфа-127», потом, удалившись от Земли на два-три световых года, Д. Саут проведет соответствующую коррекцию и направит космолет в никуда. Пока не кончится все. И все...

— Городок паршивенький, — сказал З. Гроунд на прощание. — Заведения сомнительные. Искать приключений не следует. Особенно в «Аттракционе». Я там не был, но рассказывают бог знает что...

Три дня в ожидании пятницы Д. Саут валялся в номере маленькой чистенькой гостиницы. Иногда заказывал кое-какую еду и мысленно изо всех сил подгонял время. В четверг часов

около шести вечера время вдруг стало вязким настолько, что ему показалось, будто оно вовсе остановилось и сдвинуть его больше нет никакой возможности. Он поспешно вышел на улицу. Был октябрь. На городок напал туман. Чуть сторбившись, долговязый Д. Саут шагал все равно куда, убивая время. Его заставила остановиться холодная голубоватая надпись «Кафе «Аттракцион». Он вспомнил предупреждение З. Гроунда, усмехнулся (опять эта подозрительность) и толкнул массивную деревянную дверь.

— Добро пожаловать! — услышал он приятный мужской голос и тут же заметил шагнувшего к нему откуда-то из розовой глубины молодого человека. — Вы правильно сделали, что заглянули к нам в этот не очень-то погожий вечер. Снимите ваш мокрый плащ, и вы почувствуете, как здесь тепло и уютно.

«Приятный парень, — подумал Д. Саут. — Просто лорд, а не швейцар. Даже неловко сдавать ему плащ...»

— Если вам угодно, можете повесить плащ сами, — сказал швейцар и, слегка поклонившись, отступил в розовую глубину, из которой недавно появился.

Д. Саут сел за маленький столик и осмотрелся. Зал был очень уютным, полусферическим и так ловко освещался, что потолка не было видно и возникала иллюзия висевшего над головой матового розового тумана.

В нише на небольшом возвышении играл оркестрик. Даже не играл, а наигрывал, создавая дополнительное внутреннее тепло. Пианист лениво плескался в клавишах, контрабасист бархатной подушкой ласкал вестибулярный аппарат, ударник набрасывал на все это какую-то слегка шуршащую, невесомую ткань.

«Ну что ж, — подумал Д. Саут. — Печальная закономерность — последнее кафе в жизни непременно должно оказаться самым уютным... Еще бы чуть-чуть светлее...» И в этот момент свету прибавилось. А может быть, Д. Сауту показалось, что прибавилось. Он откинулся на спинку кресла и с удовольствием вытянул под столом свои длинные ноги. «Удивительно все-таки устроен человек, — думал Д. Саут. — Казалось бы, какое значение имеют освещенность, уют, запах, музыка, если это его последний вечер?»

Д. Саут вспомнил, как двенадцать лет назад он присутствовал при расстреле убийцы. Когда приговоренного вели по двору к месту казни, он тщательно обходил лужи, чтоб не замочить ноги, хотя какой это имело смысл, если его пребыванию на свете оставалось не больше двух-трех минут... Простудиться он просто не успевал. Видимо, это что-то вроде инстинкта. Инстинкта комфорта. Вот и сейчас Д. Саут поймал себя на том, что его беспричинно, чисто внешне, раздражает сидящий через столик мужчина с нахальным, тупым выражением лица. И если бы это лицо не маячило перед глазами, то вообще все было

бы превосходно. Мужчина с тупой физиономией подозвал официанта, вынул из бумажника, по-видимому, все деньги, потому что долго еще шарил в карманах, выискивая мелочь, встал из-за стола, бросил на Д. Саута не слишком любезный взгляд и вышел из зала. «Вот и славно,— подумал Д. Саут.— Славно и удивительно спокойно... Как будто тебя декорировали». Слово «декорировали» он придумал еще в школе. Убрали кору — декорировали. И остается только животное ощущение тепла, света, боли, голода...

— У нас необязательно что-нибудь заказывать, но если вы желаете...— услышал он.

Д. Саут посмотрел направо и чуть-чуть вверх и увидел человека, который, судя по всему, исполнял обязанности официанта. В лице его не было угодливости, подобострастия, желанной заработной платы. Нет. Только достоинство. Достоинство истинного профессионала: космонавта, официанта, ученого, футболиста, писателя... Все равно. Это было лицо человека, подготовленного к своей работе, отдающего отчет в том, что это его работа и больше никто с этой работой не справится и не имеет права получать за нее деньги. У Д. Саута такие люди всегда вызвали уважение.

— Почему ваше кафе называется «Аттракцион»? — спросил Д. Саут.

— Потому что наша жизнь — это аттракцион,— ответил официант.

— Для кого же?

— Для нас. Саморазвлечение.

— А кто платит?

— Мы. В данном случае — вы.

— И какова плата за этот аттракцион?

— Все, чем вы располагаете.

— И сколько длится аттракцион?

— Для вас — до смерти. Для нас — до утра.

— Значит, еще есть время?

— Да. И для того, и для другого.

«Хорошо бы выпить «верблюда»,— подумал Д. Саут.

— Могу предложить для начала «верблюд»,— сказал официант.

Д. Саут удивленно посмотрел на него:

— Почему именно «верблюд»?

— Такие, как вы, должны любить «верблюд»,— сказал официант.— Профессиональное наблюдение. Я не ошибся?

— Только большой «верблюд».

— Естественно,— сказал официант и удалился.

«Верблюд» они изобрели еще в колледже. Вместе с П. Карри. Дьявольская смесь виски, сливок и шампанского. Через пятнадцать минут пребывания в миксере получалась пеннистая масса, напоминающая слюну верблюда. Кроме того, эта

«слюна» оказывала такое длительное действие, что пить потом не хотелось очень долго, и это было удобно, учитывая их скудные стипендии. Бедняга П. Карри погиб двенадцать лет назад, четвертого марта. Его корабль взорвался при столкновении с метеоритом.

— Откуда вы знаете эту смесь? — спросил Д. Саут, когда официант поставил перед ним кружку с желтовато-белой пеной.

— От одного посетителя, — ответил официант. — Он был у нас лет двенадцать назад.

— Как его звали? — грустно улыбнулся Д. Саут.

— Нетрудно выяснить, — сказал официант и снова удалился.

Через минуту он вернулся:

— Если верить книге посещений, то его звали П. Карри. Он был у нас четвертого марта, двенадцать лет назад...

Д. Саут вздрогнул.

— Этого не может быть, — сказал он. — П. Карри в этот день погиб.

— Возможно, — бесстрастно сказал официант, — но каждый клиент оставляет в нашей книге свою фамилию и дату посещения. Вам тоже придется это сделать. Такова традиция. Книга не врет. Значит, это был кто-то другой, выдавший себя за П. Карри. Приятного времяпрепровождения.

Д. Саут втянул в себя немного холодной пены и стал ждать. «Верблюд» начинал действовать минут через пятнадцать. Д. Саут закрыл глаза. Чепуха... П. Карри не мог быть здесь четвертого марта. Это чья-то шутка. По всей видимости, кто-то из тех, кто знал его по колледжу... Д. Саут не мог только уловить смысла этой шутки, но, с другой стороны, почему надо непременно образом во всем искать какой-то смысл. Ну и хорошо, что кто-то двенадцать лет назад в день гибели П. Карри вспомнил его. Может быть, в последнем калейдоскопе беспорядочных, разорванных мыслей в сознании П. Карри возник этот «кто-то», который и принял его сигнал, его своеобразный SOS, и, не придав этому значения, попросил бармена приготовить смесь под названием «верблюд», печально увековечив тем самым память никому не известного космического пилота. И, не желая присваивать себе чужого, оставил в книге посещений фамилию П. Карри. Нормально, в конце концов. А вот о чем подумает Д. Саут, что он вспомнит в последний момент? Больших стрекоз, за которыми он любил гоняться в детстве по зеленой траве? Отца с матерью, пропавших без вести во время знаменитого урагана? Обиды, нанесенные ему? Обиды, нанесенные им самим?..

Отвратительная, конечно, была история с женой Г. Кэрролла. Глупая, никому не нужная. Ни ему, ни Г. Кэрролу, ни его жене. Г. Кэррол был наивен и глуп. Недаром его прозвали

«тюфяк». Но он был честен, любил свою жену и ни о чем не догадывался. Или делал вид, что ни о чем не догадывался... Начал действовать «верблюд». И когда Г. Кэрролу стало известно, что Д. Саут... Неженка, «тюфяк». Он как-то странно улыбнулся, встретив в тот день Д. Саута, и ничего не сказал. Только глаза его были удивлены: вы, Д. Саут, вы же не такой, как они, а туда же.

Г. Кэррол после этого подал в отставку и уехал куда-то, оставив Д. Сауту неприятное наследство воспоминаний, от которых он так и не может до сих пор избавиться.

«Это все от музыки», — подумал Д. Саут. Оркестранты в нише сменились. Появились другие и заиграли что-то бесечно комфортабельное. Он огляделся. Кафе постепенно заполнялось разного рода посетителями: военными, коммивояжерами, неграми, работягами, старухами, сутенерами... Но при всей непохожести и разношерстности всех объединяло какое-то общее выражение лиц. Какая-то грустная усталость, отсутствие, покорное ожидание чего-то. Д. Саут подошел к зеркальной стене. Его лицо было таким же. «Наверное, от света», — подумал Д. Саут. И тут он увидел в зеркале Г. Кэррола. Вне всякого сомнения Г. Кэррола. Это был «тюфяк». Он сидел за отдельным столиком в конце зала с тем же отсутствующим взглядом. Он, как показалось Д. Сауту, совсем не изменился, хотя прошло уже с тех пор тринадцать лет. На нем был форменный китель с погонами полковника, он что-то безразлично жевал и смотрел куда-то в никуда. Д. Саут оглянулся. Да, это был Г. Кэррол. Д. Саут поспешно подошел к своему столику, глотнул из кружки уже значительно потеплевшего «верблюда», закурил и направился в конец зала.

— У вас очень усталый вид, — произнес Г. Кэррол без всяких эмоций.

— Здесь у всех такой, — ответил Д. Саут. — А вы не изменились.

— Какая разница? — сказал Г. Кэррол.

— Вы давно здесь живете? — спросил Д. Саут, испытывая неловкость и не зная, с чего начать разговор.

— Мы куда-то летели, но вдруг испортилась погода, самолет сделал вынужденную посадку, и я оказался здесь, неизвестно для чего.

— Мне повезло, что я вас встретил именно сегодня.

— Никто ни перед кем не виноват. Чувство вины люди придумывают себе сами. Перед тем, кого они считают ниже себя или выше себя. У вас ведь нет оснований считать меня ниже вас, а тем более — выше.

— Но вы знаете, что я имею в виду, Г. Кэррол? — с трудом произнес Д. Саут.

— Откуда вам известно мое имя? — по-прежнему без всяких эмоций спросил Г. Кэррол.

— Мы служили вместе. Потом вы подали в отставку. Неужели я так изменился? Это было тринадцать лет назад. Я — Д. Саут.

— Д. Саута я знал. Это был отличный пилот и порядочный парень. Вы с ним тоже знакомы?

— Слушайте, Г. Кэррол, — сказал Д. Саут, — вы знаете, что я имею в виду. Я не извиняюсь перед вами. Это глупо. Я просто обязан вам был это сказать, тем более сегодня. Вы можете думать обо мне что угодно, но я хочу остаться честным. Именно перед вами.

— Зачем все это? — пробормотал Г. Кэррол. — Я куда-то летел. Погода испортилась. Я оказался здесь. Вы подходите ко мне... Почему?

И вдруг Д. Сауту стало легче. Действительно, что он привязался к несчастному «тюфяку»? Что он требует от него какого-то отпущения? Он высказался. Это главное. Неужели он подсознательно ждет, чтобы Г. Кэррол пожал ему руку и сказал, что все чепуха, что все — дело прошлое, что не стоит вспоминать? Но ведь именно тогда Г. Кэррол остался бы в глазах Д. Саута прежним «тюфяком». Нет. Все правильно. И все справедливо. Главное, что он высказался. И вот почему наступило облегчение.

К столику подошел официант:

— Г. Кэррол, погода наладилась. Вам пора.

Он протянул Г. Кэрролу счет. Тот взглянул на счет, вынул из бумажника деньги и стал рыться в карманах, выгребая оттуда мелочь, как это делал некоторое время назад мужчина с начальным выражением лица. Затем он встал и, не глядя ни на кого, направился к выходу в сопровождении официанта.

Едва Д. Саут сел за свой столик, как в оркестровой нише появился средних лет мужчина во фраке и произнес поставленным, но безучастным, усталым голосом:

— Уважаемые дамы и господа! Мы рады предложить вам наш фирменный сюрприз! Оставшееся время каждый из вас проведет с человеком, о котором он сознательно или подсознательно мечтал всю свою жизнь! Только сегодня! Никогда раньше и никогда больше! Женщина ваших грез! Мужчина вашего воображения! Через мгновение состоится парад мечтаний. У каждой мечты на спине номер, который соответствует номеру вашего столика! Никакой путаницы! Вашему — ваше! Мы гарантируем полную конгруэнтность, абсолютное совпадение! Прошу!

И под звуки болезненно узнаваемого и в то же время незнакомого марша в зал вошли двадцать восемь человек — пятнадцать мужчин и тринадцать женщин. Теперь Д. Саут распознал в музыке знаменитый бетховенский похоронный марш, извращенный мажором. Шествие открывал генерал лет семидесяти, при регалиях, с апоплексическим затылком. За ним

шла горбунья лет сорока с ярко напыженными губами. Затем широкоплечий узкотазый красавец с четким пробором. Невзрачная девушка в очках. Голый подросток. Негритянка в белых шортах... Взгляд Д. Саута заскользил дальше и остановился на высокой загорелой девушке с прямыми соломенными волосами, в голубом и коротком пляжном халате. Он почувствовал легкое головокружение, и ему показалось, что когда-то он уже видел эту девушку, хотя прекрасно сознавал, что видит ее впервые. Но эти прямые соломенные волосы, этот голубой халат, этот загар... Что-то далекое и щемящее всплыло в памяти Д. Саута... Часов шесть утра. Лето. Куда-то они едут с отцом на машине. И неожиданно, как смена кадров в кино, открывается перед ними залив, пустынный песчаный берег и единственная фигурка, стоящая на чуть расставленных длинных ногах, лицом к морю, с прямыми соломенными волосами, в коротком голубом халатике. И он, пятнадцатилетний мальчишка, прокричал ей что-то, и, может быть, она услышала и обернулась, но дорога свернула резко влево, а Д. Саут поклялся себе, что непременно разыщет эту девушку, но вскоре в загородном парке, полном комаров, стал взрослым, столкнувшись со жгучей брюнеткой на коротких упругих ногах, с хриплым низким голосом.

С последним аккордом странного марша участники парада повернулись спинами к посетителям, и Д. Саут увидел на ее халатике № 18. Его столик имел тот же номер...

Оркестр в нише сменился. Снова появилось тихое трио, и мечты стали расходиться по соответствующим номерам. Д. Саут встал, когда она подошла к нему. Сердце его бешено колотилось.

— Ты когда-нибудь стояла лицом к морю? — спросил он.

— Сегодня, — сказала она. — Рано утром. Потом я услышала, как кто-то крикнул, обернулась, но никого не было. — Она смотрела на Д. Саута спокойно, без робости, но все с той же грустной отсутствующей улыбкой.

— Это был я, — сказал Д. Саут.

— Я поняла.

— Откуда?

— Не знаю. Я уверена, что это был ты. Я сегодня утром думала о тебе.

— Но вечером за этим столиком мог оказаться другой.

— Нет. Только ты.

— Ты всем так говоришь?

— Нет. Только тебе.

— Но ведь это твоя работа.

— Значит, это не ты видел меня сегодня утром?

— Я! — испуганно произнес Д. Саут. — Только я!

— Тогда какая разница, что было вчера,— устало сказала она.

В зале появился человек во фраке.

— Нам надо переодеться,— сказала она, словно извиняясь.

— Д. Саут провел рукой по ее прямым волосам.

— Ты вернешься?

— Я никуда не денусь до самого конца.

Он закрыл глаза.

Ему вдруг захотелось, чтобы этот вечер, его финальный вечер, не кончался. В последние годы он все чаще и чаще пытался представить себе свой последний момент. Свою последнюю кровать, последнюю рюмку, последнюю женщину... Он видел себя усталым и старым, не допившим последний стакан, не дотронувшимся до последней женщины, обессиленно падающим на последнюю гостиничную кровать, запутавшимся в сумеречном лабиринте угасающего сознания. Но он и не предполагал, что последний вечер принесет ему столько облегчения, столько невероятного блаженства, столько желаний продлить этот последний вечер до бесконечности. И Д. Саут просто физически ощутил то самое вселенское равновесие, по которому все минусы в конце концов обязательно соберутся в одной чаше весов, а все плюсы — в другой. И ни одна чаша не будет перевешивать. Это закон. Его жизнь тоже разместилась в двух чашах. В одной — сегодняшний вечер, в другой — все остальное. И еще он почувствовал, что первая чаша начинает переполняться и что в его силах не явиться утром к З. Гроунду и превратить, таким образом, свой последний вечер в первый.

Ее пальцы осторожно дотронулись до его лба, Д. Саут открыл глаза. Она была рядом. Во всем черном. Он опустил на колени и положил свою голову в ее прохладные, пахнущие морем ладони. Старый генерал мирно дремал на коленях сухой длинной старухи. Негритянка в шортах извивалась в танце на столе, а молодой бизнесмен смотрел на нее вялым взглядом и безразлично похлопывал в такт музыке. Широкоплечий узкоглазый красавец с пробором играл мускулатурой. Горбунья с ярко напыленным ртом раздевалась. Голый подросток рыдал на плече коммивояжера, а невзрачная девушка в очках вульгарно хохотала, увлекая куда-то толстого майора.

— Я хотел завтра улететь,— проговорил Д. Саут.

— Пойдешь со мной? — спросила она и сделала движение головой в розовую глубину зала.

— Нет. Ты пойдешь со мной,— твердо сказал он.

Чаша последнего его вечера перевесила.

— Куда?

— Куда угодно. Не знаю. Мы будем идти, пока не останемся одни, и тогда остановимся и никуда больше не пойдем.

— Это невозможно. У меня контракт.

— Я все оплачу. Ты знаешь, сколько у меня? 6000 фл.

Он допил «верблюду».

— Меня не отпустят.

— Тогда ты уйдешь сама.

— А ты?

— Я буду тебя ждать. В шесть утра у старой церкви на площади.

— Я не доживу до этого. Идем со мной. Сейчас.

И она повела Д. Саута за руку в розовую глубину зала.

Ему показалось, что прошла целая вечность, когда он снова появился в зале, легкий и опьяненный. Он подошел к столу во фраке.

— Она уйдет со мной, — сказал он.

— До закрытия — куда угодно, — ответил человек во фраке и усмехнулся.

— Навсегда, — жестко произнес Д. Саут. — Я за все заплачу.

— Естественно, — сказал человек во фраке. — Но не за нее. Ваша мечта — наша собственность. Вы уйдете, — он нажал на слово «уйдете», — а на вашем месте завтра окажется другой человек, и ему тоже захочется прикоснуться к своей мечте. Так что не тратьте время. Его уже не так много у вас осталось.

И он понимающе подмигнул Д. Сауту.

И тогда Д. Саут ударил его левой прямо в переносицу. Пока человек во фраке опрокидывал своим телом столик и делал попытки встать на ноги, Д. Саут заметил, как в зал вбежали трое крепко скроенных молодых людей, и понял, что сейчас ему придется туго. Он сбросил китель и встретил первого кинувшегося на него ударом в солнечное сплетение. Тот осел, и в то же мгновение Д. Саут совершенно инстинктивно отпрыгнул в сторону. Тяжелая каучуковая дубина, предназначенная для его головы, со свистом опустилась на столик, расколов его надвое. И второй, не сохранив равновесия, оказался на полу, лицом к низу. Кованый башмак Д. Саута заставил его оставаться в этой позе. Третий просто выстрелил в Д. Саута, но пуля ушла в потолок, потому что элегантный официант, который обслуживал его, резко в момент выстрела поднял руку стрелявшего.

Стало тихо.

Посетители продолжали сидеть с тем же странным, отсутствующим видом, как будто ничего не произошло. Тихо играло трио.

— Вы устали, Д. Саут, — спокойно произнес элегантный официант. — Я провожу вас наверх, где вы выспитесь.

И тут только Д. Саут почувствовал, что он действительно устал и страшно опьянел. Сердце бухало контрабасом, в ушах шумели щетки ударника, и мысли разлетались пассажирами пианиста. Руки и ноги его стали ватными, и, поддерживаемый

элегантным официантом, он послушной собакой поплелся куда-то наверх.

— Вам придется выполнить одну маленькую формальность,— сказал элегантный официант, когда они поднялись в комнату, предназначенную для ночлега. И он положил перед Д. Саутом большую книгу в черном кожаном переплете с золотым тиснением.

— Зачем?— промычал Д. Саут и оттолкнул от себя черную книгу, которая почему-то вызвала у него прилив холодного липкого ужаса.

— Для коллекции,— сказал элегантный официант.— Не будьте ребенком. Оставьте здесь ваше имя и дату посещения.

И он раскрыл перед ним книгу.

Д. Саут боязливо перелистал несколько страниц и вдруг увидел знакомое имя, выведенное знакомым до мельчайших закорючек почерком. Д. Саут судорожно проглотил слюну. На шестой строчке сверху стояла подпись: «П. Карри», оставленная, вне всякого сомнения, им самим. Рядом стояла дата. 4 марта. Двенадцать лет назад. Д. Саут захлопнул книгу и испуганно взглянул на официанта. Тот оставался в прежней позе молчаливого ожидания. Тогда, движимый жутким предчувствием, Д. Саут снова стал листать книгу, пока не увидел аккуратно выведенные имена своих родителей. Дата посещения точно соответствовала дню знаменитого урагана...

«Этого не может быть,— подумал Д. Саут.— Я просто напился».

— Ну?— нетерпеливо сказал элегантный официант.— «Аттракцион» закрывается.

И вдруг Д. Сауту стало легко.

«Скорей бы утро»,— подумал он и улыбнулся. Он вывел свое имя на чистой строчке и поставил дату.

Больше он уже ничего не помнил до тех пор, пока не проснулся.

Утро было чистым и желтым. Д. Саут чувствовал себя удивительно бодро. Вчерашнее осталось в каком-то нереальном тумане, и единственное, что в нем вырисовывалось четко, было старой церковью на городской площади. Д. Саут взглянул на часы. Начало шестого. Ему казалось, что он стоит на нулевом делении между двух абсолютно пустых чаш весов. Ничего не осталось в прошлом. В настоящем только он. И томительное сладкое ожидание чего-то в будущем.

На столике перед кроватью лежал лист бумаги, исписанный цифрами. Д. Саут понял, что это счет за вчерашнее, и пробежал по нему глазами. Дойдя до общей суммы, остолбенел. Под жирной красной чертой стояло: «6000 фл.». И еще какая-то мелочь. «Что за чепуха?»— подумал он.

— Никакой чепухи,— услышал он знакомый голос.

В дверях стоял элегантный официант.

— Желания, воображение, мечты беспредельны,— продолжал официант.— Возможности ограничены. В любую минуту человек играет до тех пор, пока ему есть что проигрывать. Выигрыш — понятие временное. Наступает момент, когда выигрыш становится проигрышем. К нам приходят тогда, когда готовы рассчитаться за все и готовы отдать все, чтобы рассчитаться. Когда-то наше кафе называлось «Финиш», но постепенно мы достигли уникального уровня обслуживания посетителей, мы научились улавливать тончайшее, еле заметное желание, малейшую прихоть, и мы изменили название на «Аттракцион». Это менее притязательно, но более оптимистично. Вы согласны?

Д. Саут молчал, с трудом понимая смысл услышанного. Официант взял в руки счет.

— Для того чтобы вы, уходя... — он подчеркнул слово «уходя», — не имели к нам претензий и не подозревали, не дай бог, в обсчете и нечестном обслуживании, давайте разберемся во вчерашних деталях... Вам стало неловко сдавать плац швейцару, внешне похожему на лорда, и он предложил вам повесить плац самому...

— Да,— произнес Д. Саут.

— Это мелочь. 18 фл... Далее. Вам захотелось, чтобы чуть-чуть прибавилось свету, и свет прибавился...

— Мне так показалось,— проговорил Д. Саут.

— Нет. Не показалось. Свет прибавился. Это 280 фл. Электроэнергия обходится нынче дорого... Ну и, конечно, в копеечку обошелся мужчина с нахальным и тупым, как вам показалось, выражением лица, который беспричинно вызывал раздражение. Его уход стоил вам 1000 фл.

— Но ведь я тоже мог ему не понравиться,— перебил Д. Саут.

— Еще как! Но ваша неприязнь к нему была более денежно обеспечена. В противном случае удалитесь бы вас.

— Это ужасно,— тихо сказал Д. Саут.

— Не лицемерьте. В тот момент вам было приятно. Затем «верблюды» и воспоминания о вашем друге... 150 фл... А вот удовлетворением ваших комплексов по отношению к Г. Кэрролу вы доставили много хлопот. Авиакомпания, вынужденная посадка, неустойка. Все это встало вам в 1250 фл. Наконец, кульминация. Подсознательная мечта, берег залива, одинокая женская фигурка лицом к морю, в голубом халатике... И драка, которую вы изящно и непринужденно выиграли, как в дешевом кинобосвике... Думаете, это просто так? Вот уж почти 4000 фл.

— Потрясающе,— абсолютно спокойно сказал Д. Саут,— но вы не учли главного. Вы обеспечили конгруэнтность, но не смогли учесть ее степени. Я столь же необходим этой девушке,

сколь она необходима мне. И мы уходим! Она уходит со мной! Она не может не уйти со мной!

— Вы убеждены в этом? — улыбнулся официант.

— На все сто! — закричал Д. Саут. — На все сто!

— Прекрасно, — сказал официант. — Значит, мы доставили вам наивысшее наслаждение. Это все отражено в счете и составляет оставшиеся 2000 фл. плюс какая-то мелочь.

И он протянул Д. Сауту счет. В последней графе перед жирной красной чертой Д. Саут прочел: «Стопроцентная убежденность клиента в истинности происходящего...» Он перечитал эту фразу несколько раз и, когда по-настоящему ощутил ее холодный смысл, сразу обмяк и почувствовал, что постарел.

— Мы держим высочайших профессионалов, — с гордостью сказал элегантный официант.

Д. Саут автоматически вынул из бумажника свое состояние — шесть банковских билетов по 1000 фл. каждый и растерянно стал шарить в карманах, выгребая оттуда оставшуюся мелочь.


— Прощайте, — поклонился элегантный официант. — Забудьте: я не благодарю вас и не приглашаю заглянуть еще раз. К нам не возвращаются...

...И Д. Саут начал уходить. Он уходил и уходил. Все дальше и дальше. Опустошенный и легкий. Он уходил, а его руки искали пульт управления. Он уходил, а двигатели работали бесшумно, не нарушая безмолвия бесконечности. Он уходил, а его руки осуществляли коррекцию в направлении никуда. Мимо пустынного залива, на берегу которого не было никого лицом к морю. Он уходил, а на площади маленького городка, возле старой церкви, весь день стояла девушка в голубом пляжном халате, с прямыми соломенными волосами. И когда часы на площади пробили шесть часов вечера, она медленно побрела в сторону особняка с надписью «Кафе «Аттракцион». Она поднялась на второй этаж и вошла в небольшую комнату. На столике возле кровати лежала большая черная книга с золотым тиснением. Она открыла эту книгу и прочитала: «Д. Саут». И дата.

На первом этаже зазвучала тихая музыка.

Кафе «Аттракцион» начинало работать.

СЕДЬМОЕ РЕБРО, ИЛИ ЛИЦО НА ТРАВЕ В ДВА ЧАСА ДНЯ

 Вечер 28 апреля выдался необычайно теплым. Старожилы не помнили такого теплого апреля лет сорок. Тепло было абсолютно неподвижным. Оно стояло. И лишь изредка, неизвестно отчего придя в движение, лениво облизывало людей, которые в этот первый неестественно теплый вечер высыпали на улицы, молча издавая последние крики моды предстоящего лета.

Наконец-то в подъездах домов стало холоднее, чем на улице. И молодые парочки, всю зиму отогревавшие свою любовь в подъездах, забродили по всему городу в поисках какого-нибудь малолюдного местечка.

Искусственная луна медленно взбиралась на небо, чтобы отметить там двенадцатую годовщину своего существования. Естественная старушка луна, не желая, очевидно, признавать двенадцатилетнюю сводную сестру, ушла в тень Земли, но, не в силах справиться с любопытством, все же поглядывала оттуда на Землю тоненьким серпиком, всеми силами пытаясь оставаться в курсе земных событий.

Меньше всего в этот вечер люди думали о смерти, и тем не менее смерть даже в этот вечер сумела дважды сработать.

И часов около десяти к Центральному госпиталю летели на бесшумных воздушных подушках две машины «Скорой помощи».

А через несколько минут на желтом кафеле госпитального сортировочного приемника лежали два молодых человека. Вернее, два бывших молодых человека.

Один из них представлял собой разможенные полуобгоревшие останки некоего Шклярова Евгения Викторовича. Об этом говорил чудом не сгоревший паспорт.

Смерть наступила в результате лобового столкновения на шестидесятом километре кольцевой автострады. Версия эксперта безопасности движения сводилась к тому, что молодой человек мчался с запретной скоростью и, очевидно, лишь в последнее мгновение заметил встречный автомобиль. Тормозная система мгновенной остановки сработала безотказно, но водитель, видимо по беспечности, не был прикреплен... В результате силой колоссальной инерции он был буквально раздавлен на пульте управления и обзорном сверхпрочном стекле...

По обязанности эксперт безопасности движения добавил в конце, что в случае благоприятного исхода водитель был бы

пожизненно лишен водительских прав и подвержен большому денежному штрафу с последующим сообщением по месту работы. С момента катастрофы до момента доставки в сортировочный приемник Центрального госпиталя прошло восемь минут...

Тело встречного еще каких-нибудь восемь — десять минут назад принадлежало знаменитому ученому Купревичу Оресту Владимировичу, который был и прикреплен, и не превышал скорости, но обломок руля тем не менее удивительно точно прошел под его пятое ребро и разорвал сердце.

В разможенном теле Шклярова, несмотря на множественные переломы ребер с проникновением обломков в грудную полость, нетронутыми оставались сердце и перикард.

К сожалению, это обстоятельство не могло вернуть к жизни самого Шклярова, но для Купревича...

В конце двадцатого века пересадка сердца технически уже перестала быть проблемой. Но сделать эту операцию «серийной» мешала тканевая несовместимость. Организм по-прежнему крайне неохотно, сопротивляясь и скандаля, отвергал чужеродный орган. И несмотря на то что медицина насчитывала уже не одну сотню людей с новыми сердцами, сам вопрос пересадки оставался решенным все-таки «в пробирке».

И вот в том самом году, когда выведена была на орбиту Искусственная луна, англичанин Вудворд неожиданно натолкнулся на поразительный феномен.

Произведя пересадку сердца, он одновременно удалил у реципиента седьмое левое ребро, раздробленное почти на всем протяжении, и трансплантировал аналогичное здоровое ребро донора. К удивлению Вудворда, реципиент значительно скорее обычного встал на ноги без какого-либо намека на признаки тканевой несовместимости и уже через два месяца восстановил нормальную жизнедеятельность. Единственное, что довольно быстро отметили родственники, так это некоторое изменение характера — реципиент стал угрюмым.

Будучи человеком наблюдательным и в то же время несколько склонным к мистике, Вудворд и последующие операции сопровождал непререкаемой трансплантацией седьмого левого ребра от донора. Результаты были аналогичными. Больные в короткий срок становились абсолютно здоровыми, но поведение их и характер изменялись порой до неузнаваемости. Попытки Вудворда и других хирургов трансплантировать седьмое правое или какое-либо другое ребро эффекта не имели. Выздоровление протекало вяло, с прежним процентом осложнений и смертности в результате последующего отторжения чужеродного сердца.

Вывод был единодушным: седьмое ребро, обеспечивая тканевую совместимость, заведовало еще «чем-то». Скрупулезные поиски этого «чего-то» успехом не увенчались: по структуре, по

физическому и химическому составу левое седьмое ребро ничем не отличалось от восьмого правого или, к примеру, одиннадцатого левого.

А тем временем один из пациентов Вудворда, будучи до операции активным борцом за права негров, после операции проявил четкие расистские наклонности, вступил в ку-клукс-клан и кончил жизнь на электрическом стуле за организацию суда Линча в штате Небраска...

Все это, разумеется, было известно хирургам Центрального госпиталя, но Купревич считался выдающимся ученым, и было бы непозволительной роскошью рисковать потерей столь незаурядного ума...

Таким образом, около трех часов ночи уже 29 апреля в Операционной книге Центрального госпиталя появилась следующая лаконичная запись: «Купревич Орест Владимирович. Операция Вудворда».

Решено также было сохранить в тайне (по соображениям деонтологического характера) суть произведенной операции и от Купревича, и от всех остальных.

Уже прошло две недели с тех пор, как Купревич выписался из госпиталя с настоятельной рекомендацией последующего двухмесячного пребывания в одном из сердечных санаториев средней полосы.

Но в санаторий он не поехал. Несмотря ни на какие уговоры матери и Наташи. Не хотелось почему-то. Он даже не мог дать себе отчет, почему. Не хотелось. И вообще он испытывал какое-то странное состояние, граничащее с хандрой. Это все началось еще в палате, когда Купревич почувствовал, что выздоравливает. Огромный розовый рубец украшал левую половину груди, вызывая у Купревича неопределенное чувство страха и тошноты. Он знал, что ему произвели ушивание сердца, и это «ушивание» ему представлялось чем-то вроде стянутого тонким кожаным желтым шнуром надутого футбольного мяча, какой он гонял еще ребенком.

И казалось, что шнур вот-вот не выдержит и в образовавшуюся щель начнет выпирать сердце, так же как выпирает камера сквозь разорванную крышку.

И надо сказать, вообще его стали мучить бесконечные сравнения, чего до ранения никогда не было.

Он всегда мыслил четкими, логическими категориями и признавал только поэзию математики. Стихи и живопись он воспринимал чисто умозрительно, да и то когда улавливал в этом точные ритмические периоды или геометрическое сочетание форм и линий. Цвет не вызывал у него абсолютно никаких эмоций.

И появившаяся вдруг склонность к художественному восприятию вещей забавляла его, хотя и становилась порой навязчивой.

Палата долгое время напоминала ему полярную льдину, покрытую ослепительно белым снежным покровом. А черный блестящий пластиковый пол поразительно походил на холодный океан, образовавший трещины в этой льдине. Подобное ощущение временами бывало настолько сильным, что он просил сестру зашторивать окно, опасаясь, как бы солнечные лучи не растопили, наконец, ледяные коечные островки, на одном из которых лежал он сам.

Однажды утром, недели за две до выписки, Купревич открыл глаза и увидел на уровне своей подушки ноги палатной сестры. Она стояла лицом к окну и бесшумным пылесосом собирала с подоконника пыль, накопившуюся за ночь. Ноги были поразительно стройные. На уровне подколенных ямок они уходили в халат и, казалось, соединялись где-то высоко-высоко, в бесконечности.

У него возникло такое ощущение, словно когда-то у кого-то он уже видел такие ноги... И не просто у кого-то, а у человека, с которым было связано много, очень много... Но это были не Наташины ноги. Нет. Это были чьи-то другие... Но чьи?

Тоска, глубокая тоска возникла под розовым рубцом, и Купревич услышал свое сердце. Оно словно хотело что-то подсказать, в чем-то помочь Купревичу...

«Что за бред? — подумал он. — Никогда я не был знаком с женщиной, у которой были бы такие ноги. Бред!»

И внезапно он обратился к сестре. Это было неожиданно для него самого настолько, что он не узнал своего голоса:

— Простите меня. Но мне кажется, что я где-то раньше вас видел... Скорее всего это ерунда. Но у меня такое чувство...

Сестра взглянула на него, улыбнулась и сказала:

— Вы ошиблись, Купревич. Вы не могли меня видеть. Я всего восемь месяцев как здесь... А ваш вопрос говорит о том, что вы уже выздоравливаете...

И сестра вышла из палаты.

А у него с этого момента всякий раз, когда она появлялась в палате, возникало настойчивое ощущение чего-то знакомого, происходившего... И та же тоска заползала в сердце, заставляла его стучаться в грудную стенку. И каждый раз Купревич слышал этот стук и не мог понять, что с ним происходит. Но он боялся сказать об этом лечащему врачу, справедливо опасаясь, что срок его пребывания в палате увеличится на неопределенно долгий период.

Ему казалось странным, что за все время пребывания в больнице он только два или три раза подумал о Наташе. Причем абсолютно спокойно, будто о простой знакомой. Хотя тут же он мысленно отмечал, что нет для него никого ближе, чем она. Но предстоящая встреча с ней представлялась ему ка-

ким-то необходимым формальным актом, который надо воспринимать постольку, поскольку она является его женой.

И вся их совместная жизнь казалась ему нереальной. Будто все это было не с ним и не с ней, а с какими-то другими людьми, даже не с людьми, а с персонажами из книги, которую он когда-то читал и теперь почему-то вспомнил. Это удивляло, пугало и раздражало Купревича, потому что было совершенно беспричинным. Но в то же время он ничего не мог поделать и в конце концов воспринимал все как должное.

И вот теперь, спустя две недели после выписки, ему вовсе не хотелось ехать в какой-то сердечный санаторий. Хотя он понимал, что должен, что это необходимо. Но чем больше он осознавал необходимость выезда, тем больше внутренне противился этому. Купревич соглашался с женой и с матерью, что ему надо провести два месяца в санатории, что он должен быть под наблюдением, что волей-неволей ему придется соблюдать режим, что свежий воздух ему совершенно необходим. И каждый раз после этого он говорил, что никуда не поедет. Его все время не покидало чувство, что он не может уехать, не сделав чего-то... Чего — он не понимал. Но чего-то важного, мучительно обязательного и, главное, только его самого касающегося.

При выходе из больницы врачи запретили ему в течение месяца близость с женой, мягко назвав эту близость «исполнением супружеских обязанностей». И Купревич со стыдом сам себе теперь признавался, что благодарен врачам за этот запрет.

«Что же со мной происходит? — думал он, лежа рядом с Наташей под легкой крахмальной простыней и чувствуя рядом с собой ее напряженное ожидание. — В чем дело? Ведь она ничуть не изменилась. Она такая же красивая, тонкая, все понимающая...» У нее были такие же руки, от прикосновения которых еще четыре-пять месяцев назад у него начинала кружиться голова, а где-то в спине появлялось ощущение, похожее на то, какое бывает в детстве, когда высоко-высоко взлетаешь на качелях... В чем дело? Она положила руку ему на лоб и указательным пальцем провела по глазам:

— Ты спишь?

— Нет.

— Почему ты не спишь?

Суррогат луны торчал в левом верхнем углу окна. Суррогат был точной копией оригинала, и непосвященный человек вряд ли отличил бы его от подлинника. Те же размеры, та же интенсивность свечения, те же узоры. И если раньше все это порождало в Купревиче чисто научные ассоциации, то сегодня суррогат вызывал у него отвращение. Причем именно своим сходством, своим подчеркнутым сходством. И сегодня это сходство как никогда подчеркивало ненатуральность суррогата. Его точные размеры, его точный рисунок кричали о своей похожести, и не было в нем того холодного аристократического

спокойствия, которым обладала настоящая чистопородная луна. Свечение было каким-то горячим и могло не раздражать, пожалуй, только в морозную ночь. Но сегодня оно было просто невыносимым.

— Почему ты не спишь? — снова спросила Наташа.

— Не знаю... Этот манекен...

— Какой манекен?

— В окне... Закрой его!

Она нажала кнопку в стене, и на окно бесшумно напозли легкие шторы. Стало совсем темно, и Купревич почувствовал облегчение.

«Что с ним творится? — с тревогой думала Наташа. — Искусственная луна, к запуску которой он имел прямое отношение, всегда восхищала его. Что произошло? Почему он стал таким угрюмым и молчаливым? Почему он не находит себе места? Вынужденное безделье?.. Скорее всего нет. За все это время он ни разу не вспомнил о работе, без которой раньше не мыслил свое существование... И почему такое холодное, вежливое отношение ко мне?.. Конечно, он вынужден... Но нет... Меня нельзя обмануть. Никакой вынужденности в его поведении нет. Для того чтобы заглушить желания, надо их иметь... Неужели — все?»

Ей стало одиноко и жутко от этой мысли, и она всем телом прижалась к нему.

Он тоже ничего не понимал. Она лежала рядом с ним. Она, Наташа. Наташа. Его жена. Его женщина, наконец. А он испытывал от этого какую-то неловкость, словно это не его жена, не его женщина, не Наташа... Нет, Наташа, но не настоящая, а настоящая сейчас где-то... где-то там... И он тоже должен быть где-то там. С ней. С настоящей. А он здесь, с суррогатом... И суррогат прижимается к нему и ждет от него того, что он должен дать настоящей... Суррогат!.. Купревич вздрогнул.

— Что с тобой? — услышал он ее шепот.

— Не знаю, — он погладил ее волосы. Бред! Бред! Конечно, рядом с ним Наташа. Настоящая Наташа. И никого другого где-то «там» нет. И никогда не было. А рядом она. И все — ее.

«Я должен ее поцеловать», — подумал он. — Должен. Почему «должен»? Я хочу ее поцеловать. Я хочу ее поцеловать! Я хочу ее поцеловать!..»

Он поцеловал ее.

— Ты понимаешь?.. Я не могу тебе это объяснить...

— Молчи. Не надо объяснять ничего, — сказала она и положила голову ему на плечо.

— Нет, ты должна меня понять...

Она осторожно закрыла его рот своей рукой.

Он поцеловал ее ладонь. Он был благодарен ей за то, что она не хочет слушать его объяснений...

И долго еще каждый не спал по-своему. Наташа — потому что близость подчеркнула отдаление. А Купревича опять мучила тоска, подобная той, которую он испытывал в больнице, когда впервые обратил внимание на ноги палатной сестры...

— Я, пожалуй, сегодня поеду за город, — словно самому себе сказал Купревич, отодвигая недопитый чай.

— Дело твое, конечно, но ты, кажется, начисто лишился логики, — ответила Наташа. — Отказаться от санатория и тащиться за город, неизвестно куда!

— Почему неизвестно куда? Я знаю куда...

Он запнулся. Вчера, когда закат пристыдил и заставил покраснеть половину города, Купревич неожиданно для себя подумал: «Как изумительно сейчас должно быть в Спокойном Саду! И как же это я столько времени не был в Спокойном Саду!»

Эта мысль ударов на двадцать ускорила сердцебиение и испугала Купревича своей невероятностью. Он тридцать лет жил в городе и ни разу не был в Спокойном Саду, хотя много слышал о нем. Его испугала конкретность ассоциации. Почему именно в Спокойном Саду, а не просто в лесу? И какие основания упрекать самого себя за то, что «столько времени не был в Спокойном Саду»? Тем не менее желание поехать в Спокойный Сад укрепилось к вечеру, а с сегодняшнего утра вылилось в непреодолимую тягу.

— Я знаю куда, — с усилием повторил он. — Я поеду в... Спокойный Сад.

И тут же Купревич почувствовал какую-то неловкость, будто он в чем-то обманул Наташу.

Спокойный Сад был разбит на том месте, где раньше, смыкая друг к другу, ютились пригородные поселки. Благодаря искусственному климату и стимуляторам роста он в течение двух лет превратился в гигантский растительный заповедник и выгодно отличался от самого роскошного ботанического сада отсутствием причесанности и декоративности.

В таксоаэромобиле Купревич почувствовал невероятное облегчение, какое испытывает человек, когда мучивший его несколько дней подряд зуб вдруг сразу перестает болеть.

Все сомнения, все вопросы, которые он задавал себе в последнее время, внезапно растворились и потеряли всякую реальность настолько, что ему показалось, будто и не было никогда никаких сомнений, и не задавал он себе никаких вопросов. Зато возникли и зазвучали в ушах — и вокруг Купревича, и в ритме сменяющих друг друга домов — красочные оркестровые аккорды, между которыми плела свой воздушный мелодический узор астеничная флейта. И он стал, подобно дирижеру, подгонять и подгонять отстающий инструмент-время, который никак не поспевал за фантастически быстрым ритмом этого

оркестра. А время все отставало и отставало, хотя дорога от дома до Спокойного Сада заняла всего около десяти минут.

Он расплатился и торопливыми шагами пошел к Северным Воротам. Он не задумывался, почему именно к Северным Воротам. Именно к ним. А к каким же еще?

Множество тропинок и аллеек открылось перед Купревичем, когда он ступил на территорию Сада. Он, не колеблясь, зашагал по третьей аллееке справа от раздвоенного дерева. Аллеека петляла и разветвлялась через каждые несколько метров, но он, не останавливаясь ни на мгновение, все шел и шел, иногда не обращая внимания на разбегающиеся влево и вправо тропки, иногда почему-то сворачивая на одну из них. Причем все это он проделывал так уверенно, что со стороны могло показаться, будто этой дорогой, и только этой, Купревич ходил каждый день и выучил ее наизусть.

В его прогулке определялась какая-то заданность. Ему это временами казалось похожим на поиски. Но он сознавал, что ничего не ищет, и умышленно замедлял шаги, ловя себя через короткое время на том, что он опять куда-то торопится... И опять заставлял себя идти медленнее.

И чем глубже уходил он в матовую зелень Сада, тем выше взбиралась астеничная флейта и тем мощнее поддерживал ее своими аккордами тысячеголосый оркестр.

Внезапно он остановился, точно шел, шел куда-то и пришел. Маленькая круглая полянка шагов десять в диаметре заставила его остановиться. Флейта черным жаворонком тоже неподвижно повисла в небе на самой высокой ноте.

Купревич бросился на траву лицом вниз и стал жадно, как собака, нюхать ее, подтягиваясь время от времени на локтях. Потом он совсем окунулся в зеленые волны и прикрылся от солнца ладонями. В таком полумраке он почувствовал себя на дне изумительного девственного леса. Мимо его глаз тянулись к солнцу гигантские травяные стволы, от которых исходил терпкий запах. По темной земле, на которой он различал малейшие песчинки, передвигались по своим делам невероятных размеров звероящеры. Одни из них были похожи на муравьев, другие — на жучков, третьи напоминали червей. Кое-кто из них медленно тащил огромные соломенные стволы, оставляя на земле глубокие борозды. Никто не обращал на Купревича ни малейшего внимания, и он сам себе показался ничтожным, беспомощным существом в этом поглощенном своими заботами мире. Ему стало не по себе, и он резко вскочил на ноги. Солнце ударило в глаза и на миг ослепило его. А когда он, адаптировавшись, посмотрел вниз, весь только что виденный им чудесный мир исчез. Осталась полянка, осталась мягкий травяной покров, и только что казавшееся ему необъятным пространство можно было покрыть восемью — десятью нормаль-

ными шагами. И от этого пропало ощущение заброшенности и ненужности...

— Потрясающе, правда? — сказал он вслух, словно надеялся услышать от кого-то ответ.

Он оглянулся. Поляна была пуста. Но ведь он к кому-то обратился! Хорошо, что его никто не слышал — могли бы принять за сумасшедшего. И для собственного успокоения он утвердительно несколько раз сказал сам себе:

— Потрясающе! Потрясающе! Потрясающе!..

Потом в него исподволь вползло беспокойство. Он стал ходить по поляне взад и вперед, поглядывая то на солнце, то на окружающие его деревья.

Он поднял с земли прутик и воткнул его в землю. Получились солнечные часы, а круглая полянка стала циферблатом. Стрелка-прутик протянулась в район цифры «2».

Купревич взглянул на часы. Было без восьми минут два.

Он стал ходить взад и вперед по полянке, инстинктивно поглядывая на часы. «Неужели что-то случилось? — подумал он помимо своей воли, но тут же взял себя в руки. — Ерунда! Почему что-то должно случиться? С кем? Где?»

Купревич почувствовал, что рубашка прилипла к спине. Откуда взялось это волнение, бросившее его в жар? «Что могло случиться? Что-нибудь дома?» И тут же сама мысль о доме показалась ему настолько искусственной, что стало даже стыдно за самого себя. «Неприятно, конечно, если что-нибудь случилось с Наташей. Неприятно. Хлопотно... Почему я об этом так омерзительно холодно думаю?.. Она же не виновата... В чем не виновата?.. В чем не виновата?.. Бред!.. Просто, наверное, душно!»

Далеко-далеко рассыпался гром. Жара вступила в ту самую последнюю фазу, после которой рождается гроза.

«Душно. Очень душно, — думал он, уставившись в траву. — Поздняя гроза. Почти осенняя. Удивительно... Удивительно...»

Впрочем, он думал об этом уже совершенно механически, потому что перед его глазами на зеленом фоне отчетливо проступило лицо девушки. ЕЕ лицо. Хотя Купревич понимал, что никогда раньше он этого лица не видел. И тем не менее это было ЕЕ лицо. И он сразу ЕЕ узнал. Светло-коричневые волосы разбросались по зеленой траве, и сквозь них кое-где пробились одинокие остренькие травинки. Рот слегка растянулся в улыбке изнеможения. А оливковые глаза, не отрываясь, смотрели на Купревича и, словно отвечая ему, молча повторяли: «Да, да! Это потрясающе!» И еще в этом взгляде было что-то вопросительное, что-то ожидающее. И темное пятнышко на подбородке он воспринял как само собой разумеющееся, потому что оно принадлежало ЕЙ...

Он чуть отступил назад. Потом сделал два шага вправо. ОНА с тем же выражением глаз продолжала смотреть на него.

А когда он зашел за НЕЕ и опустился на колени, голова ЕЕ запрокинулась назад, чтобы не потерять его из виду, шея вытянулась, и Купревич увидел хрупкие ключицы, приподнимавшие кожу, под которыми едва заметно пульсировали две жилочки — справа и слева. И он знал, что если наклониться и дотронуться лицом до одной, а потом до другой ямки над ключицами, то пульсацию можно почувствовать губами.

Все поплыло у него перед глазами и превратилось в сплошной зеленовато-коричневый фон. Он бросился на это лицо, не в силах больше себя контролировать, и тут же снова оказался в прохладном травяном лесу, в котором каждый был занят самим собой и не обращал на него никакого внимания. Он перевернулся на спину.

Солнце еще пыталось пробить своими лучами наползшее на него темно-серое одеяло, но недолго. Рванул ветер и сразу перевернул все деревья. Воткнутый в землю прутик все еще торчал, но теневая стрелка от него растворилась, и солнечные часы остановились. Было ровно два часа, и Купревич понял, что ничего не произойдет. Хотя, что должно произойти, он не знал.

Флейта с самой высокой ноты рванулась вниз, петляя между аккордами, как слаломист между флажками.

По дороге домой Купревич отметил, что за все время с момента выздоровления он почти не думал о своей работе. Он не мог объяснить — почему? Больше того, даже в те редкие мгновения, что он вспоминал о ней, ему становилось скучно, бесперспективно, и он с ужасом представлял себе тот день, когда снова переступит порог института, в котором раньше проводил едва ли не три четверти своего времени. Еще полгода назад он бы наверняка подробно проанализировал свое состояние, нашел причины, приведшие к этому состоянию, и все было бы в порядке. Теперь же с каждым днем он все больше и больше утрачивал способность и охоту что-то анализировать, что-то выискивать. Теперь он все воспринимал как данное, нимало не задумываясь о происхождении этого «данного».

Раньше зеленый цвет существовал для него как часть солнечного спектра с определенной длиной волны и не вызывал больше никаких эмоций. Сейчас зеленый цвет будил в нем острейшее желание снова оказаться в Спокойном Саду, на той же поляне, над теми же разбросанными светло-коричневыми волосами.

Раньше удивительное лицо на траве он классифицировал бы как результат сильного переутомления, вызвавшего такую парадоксальную галлюциаторную реакцию. Теперь же Купревичу было ясно только одно: в нем проснулось дремавшее тридцать лет совершенно новое мировосприятие, новое мышление, прямо противоположное по своему складу прежнему мышлению. Причем «новое» он воспринял сразу, безоговороч-

но, как единственное и жизненно необходимое. И его абсолютно не интересовали причины подобной метаморфозы. Прежняя его жизнь и работа остались затянувшимся сном, который хоть теперь-то кончился.

Это лицо на траве явилось для Купревича своеобразным фокусом, в котором перекрестились те непонятные ощущения, ассоциации, то непонятное отчуждение и беспокойство, словом, все то, что мучило и переполняло его с того момента, как он увидел перед глазами ноги палатной сестры, уходящие в бесконечность. Он стал чувствовать почти физическую необходимость выразить все на картине... И он ни на секунду не сомневался в том, что это у него получится, несмотря на то что даже не мог вспомнить ни одного своего детского рисунка. И сейчас он был уверен, что и десять, и двадцать лет назад был художником. И не рисовал не потому, что не умел, нет! Просто в нем эта способность спала, задавленная тяжелыми и нелепыми математическими формулами, уравнениями, счетно-вычислительными устройствами и отвратительными человекоподобными мыслящими машинами.

«Лицо на траве в два часа дня». Так будет называться его первая картина, которую он выполнит витальными красками...

Всю следующую неделю он не выходил из своего кабинета и никого не впускал. Он работал исступленно и лишь порой удивлялся тому, с какой привычной легкостью обращается с витальными красками, хотя еще несколько дней назад и не подозревал, что они вообще существуют.

Это поразительное лицо на траве он видел перед собой постоянно. На холсте, на потолке, на полу, в окне, в гостиной, куда он иногда забегал, чтобы чисто механически выпить стакан чая. Он наносил на холст все новые и новые детали, которые имели значение только для него. Едва заметная родинка под левой мочкой, две легкие ниточки морщинок от ноздрей до уголков рта, маленький шрам над верхней губой. И по мере того как возникало и оживало лицо, Купревич все больше осознавал, что уже когда-то прикасался губами к этим морщинкам, и целовал эту родинку под левой мочкой, и зарывался в эти светло-коричневые волосы, ощущал их запах, вызывавший головокружение и желание.

И совершенно чужой, неприятной и страшной становилась для него Наташа, и он еще сдерживал себя, чтобы не сказать что-нибудь грубое и оскорбительное в те моменты, когда она приоткрывала дверь кабинета, напоминая Купревичу о том, что он еще не совсем поправился, о соблюдении режима питания и сна. А в субботу утром, когда портрет был закончен, а время стало приближаться к двум часам, он вновь почувствовал недолимую тягу к маленькой круглой поляне в Спокойном Саду.

— Я уйду в... Спокойный Сад,— сказал он.

— Ты бледен и утомлен, — сказала Наташа, — тебе надо отдохнуть. Я боюсь за тебя.

— Оставьте меня в покое, — жестко произнес Купревич и испугался своего голоса. — Я вас не знаю.

— Что с тобой?!

— Извини. Я ни в чем не виноват. Ты — тоже. Я ухожу в... Спокойный Сад.

И он выбежал из дома.

Тень от прутика, который Купревич воткнул в центр круглой поляны, медленно поползла к двум часам. Причем он опять не понял, для чего он сделал эти солнечные часы. Но, как и в прошлый раз, почувствовал, что они необходимы, что без них нельзя, что они — часть какого-то таинственного ритуала, нарушение которого было для Купревича невозможным. Он взглянул на свои часы на левой руке. Было без восьми минут два. Он заволновался и понял, что кого-то ждет. Он не мог сказать, кто должен прийти, но в то же время не сомневался, что этот «кто-то» — именно тот, вернее, именно та, кого он ждет. Более того, он вдруг понял причину своего волнения: она почему-то задерживается. И ему стало больно там, в груди, за те слова, которые он наговорил ей во время последней ссоры. «О боже! — подумал Купревич. — Что со мной происходит? Я схожу с ума... Какие слова? Какая ссора? С кем?..»

Сознание настоятельно требовало, чтобы он немедленно ушел с этой круглой поляны назад, домой, к Наташе, к прежнему. Но тоненькая флейта вырвалась из огромной орды оркестровых аккордов и сладкой змейкой обвилась вокруг Купревича, не давая ему ни крикнуть, ни вздохнуть, ни двинуться с места.

Вдруг он обернулся. Перед ним на очень длинных ногах стояла женщина. Оливковые глаза ее выражали растерянность, рот был полуоткрыт, и к его уголкам от ноздрей тянулись две тоненькие ниточки морщинок, под левой мочкой выделялась родинка, а над покрытой мелкими капельками пота верхней губой слегка подергивался маленький шрам.

— Лора, — сказал Купревич.

Она вздрогнула:

— Откуда вы знаете мое имя?

— Я и сам удивлен... Лора, — повторил он, — не хватит ли с нас этой глупистики?.. Я виноват. Можешь меня четвертовать.

Он шагнул к ней.

Глаза ее расширились.

— Не подходите ко мне! — закричала она. — Вы — дьявол! Вы знали его?

— Кого?

— Почему вы говорите его словами?! Почему вы знаете мое имя?

— Двух одинаковых Лор не бывает. Я жду тебя. Ты должна была прийти без восьми минут два. А сейчас — два. Наши часы не врут.

Тут она заметила прутик в середине круглой поляны, взглянула уже совершенно круглыми глазами на Купревича и бросилась бежать.

Он догнал ее возле самого выхода.

— Дьявол! — кричала она. — Дьявол!.. Пустите меня! Этого не может быть! Дьявол!!!

— Полная глупистика, — сказал он и приблизил ее к себе настолько, что маленький шрам над верхней губой превратился в гигантский рубец.

Внезапно она обмякла и опустилась на траву...

Он принес ее домой. Он не знал, где она живет, но что-то влекло его именно к тому дому, где она жила. Он положил ее на широкую тахту, встал на колени и смотрел на ее лицо до тех пор, пока она не открыла глаза.

— Я не дьявол, — произнес он.

— Кто бы вы ни были, это невероятно, — сказала она устало. — Я не была на нашей поляне с момента его гибели... Мы называли ее нашей поляной...

— Да, это наша поляна...

— На прошлой неделе мне мучительно захотелось пойти туда, но я пересилила себя... А сегодня не смогла... И вдруг... Невěřоятно... Его часы на поляне, его слова... Глупистика, четвертовать...

— Я люблю тебя, и завтра мы поедем к морю, — сказал Купревич.

— Уходите! — Она умоляюще посмотрела на Купревича. — Уходите, прошу вас, иначе я сойду с ума... На следующий день мы должны были с ним уехать к морю... Катастрофа произошла вечером; конец апреля... Я узнала об этом через два дня. От его сестры... До сих пор не могу верить... Мне кажется, что он по-прежнему здесь, со мной. Во всяком случае, я люблю его... И я шла на поляну к нему...

— Это правда, — глухо произнес он. — Я здесь. Я люблю тебя... Я нарисовал твой портрет...

Некоторое время глаза ее выражали муку, ненависть и бессилие. Потом она встала с тахты, подошла к противоположной стене и сдернула с нее кусок квадратной черной ткани.

Со стены на Купревича смотрела его картина, которую он закончил сегодня утром. В этом не было сомнений. «Лицо на траве в два часа дня». Сердце отчаянно застучало в грудь.

— Он был художником, — уже спокойно произнесла она, глядя на портрет. — Он закончил картину накануне смерти.

В правом нижнем углу буквально пылала пурпурная надпись, выведенная незнакомым Купревичу почерком: «Мое сердце всегда будет принадлежать тебе».

— Да. Это так и есть, — прошептал он. Он подошел к Лоре и обжег ее холодные щеки пылающими ладонями.

— Вы дьявол, — покорно сказала она, ощущая кончиками его пальцев яростные удары пульса.

— Завтра мы уедем к морю.

Лора ничего не ответила...


Возле дома стоял чей-то автомобиль. Купревич, плохо соображая, что делает, грохнулся на сиденье и дал газ. Оркестр в его ушах грянул на четыре форто. Пронзительная флейта рванулась куда-то ввысь и помчалась вслед за несущимся автомобилем.

А навстречу ему с нормальной скоростью уже ехал обыкновенный школьный учитель географии, размышляя о странах Бенилюкс, про которые ему надлежало завтра утром рассказать на уроке.

Эксперт по делам дорожно-транспортных происшествий в своем очередном докладе вынужден был констатировать, что за истекшее лето количество ДТП значительно возросло.

1978

ЭКСКУРСИЯ НА СИНЕЕ ОЗЕРО

 **К**ольмага стояла у колоннады. Она была черно-серого цвета и показалась Забелину похожей на похоронный автобус, у которого ровно срезали верхнюю часть с крышей и окнами. Кабина водителя тоже была без верха. В ней стоял мужчина в черном пиджаке и белой нейлоновой рубашке с ярко-красным галстуком. При одном только взгляде на него Забелину стало жарко, и он отошел в тень.

Мужчина, стоявший в кабине, приложил ко рту серый с красной окантовкой микрофон и заговорил в него ровным, без интонаций и запятым, голосом:

— Граждане отдыхающие через пять минут состоится автобусная экскурсия к Синему озеру маршрут ее пролегает по живописной Военно-узбекской дороге через Карьяльское ущелье и горный перевал Кума вы увидите неповторимое создание природы Синее озеро которое образовалось в результате провала земной коры и является вторым в мире по красоте после знаменитого Портлендского провала для желающих шашлык из молодого барашка и королевская рыба форель прямо из озера стоимость экскурсии четыре рубля продолжительность пять часов тридцать минут повторяю граждане отдыхающие через четыре минуты...

Забелин не любил многолюдья. Он его почему-то стеснялся и не знал, как себя вести. Он трудно сходился с людьми и потому выбрал для отдыха этот неизвестный курортный городок. Он уехал сюда сразу, как только выдалась возможность получить отпуск. Внутренне он признавался сам себе, что фактически его отъезд был просто бегством. От полудрузей и полужнакомых, от полуинтеллигентной и полусветской жизни. Ну, а в общем-то, конечно, от нее и от всего, что связано с ней. От ее походки и от ее запахов. От неожиданных парадоксальных замечаний и от предельной глупости. От бесшабашного веселья и черной хандры. От полной незащитности и злой агрессии. От тончайшего вкуса и кричащей безвкусицы. Наконец, от непредугадываемой мгновенной близости и не поддающегося нормальной логике безразличия.

Первые две недели отшельничества показали Забелину блаженством. но потом вдруг возникла тоска, появилось раздражение и захотелось уехать домой. Но упрямо, почти по-мазохистски, он заставлял себя не трогаться, отсчитывая каждый час, приближающий момент отъезда.

Письма на почту приносили в три часа дня. И хотя его адрес знала только мать и прислала ему два чисто материнских

письма, он ежедневно в три часа дня наведывался на почту и протягивал свой паспорт провинциально-симпатичной девушке. Та рылась в отделении на букву «З», возвращала Забелину паспорт и говорила, улыбаясь:

— Пишут.

Забелин смотрел на колымагу, на мужчину, стоявшего в кабине, слушал названия, казавшиеся ему ребусами, и ему вдруг захотелось совершить эту увлекательную экскурсию к Синему озеру через Карьяльское ущелье и перевал Кума, к неповторимому чуду природы, второму по красоте после Портлендского провала. В конце концов никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. И Забелин занял в колымаге место у левого борта в последнем ряду. Таких рядов в колымаге было пять, по пять мест в каждом. Незанятыми оставались еще два места, когда экскурсанты начали торопить:

— Поехали! Всех не дожدهшься!.. Чего стоять?.. Дело добровольное...

На что мужчина ответил:

— Нормально, товарищи! Все путем! Куда торопиться-то? Жизнь короткая... Мультифильм вчера смотрели?.. Там один велосипедист все торопился, торопился... А куда торопился? Оказалось — на кладбище... Древние греческие философы любили говорить: нет ничего смешнее, чем торопящийся куда-то человек...

— Мы не в Греции,— заметил кто-то из второго ряда и сам засмеялся.

И в этот момент из-за поворота появился парень лет двадцати восьми в черном костюме, в красной рубашке без галстука (такие рубашки Забелин называл сопливыми) и в белой матерчатой каскетке с синим пластмассовым козырьком и надписью над ним — «Эстония». В левой руке он держал авоську, в которой была бутылка лимонада, полбуханки белого хлеба, помидоры, свежие огурцы, банка шпрот и еще что-то, напоминавшее ливерную колбасу. А правой рукой он бережно вел под руку женщину в бигуди под сувенирной косынкой с календарем. Женщина была в черной гипюровой кофте, сквозь которую просвечивал желтый лифчик, и в белых брюках. Они торопились, но не бежали, потому что женщина была беременна.

— Автобус на озеро? — крикнул парень.

— На озеро, на озеро,— ответили пассажиры наперебой.

— Пересядьте с первого ряда кто-нибудь,— предложил кто-то.— А они, в положении, пусть спереди едут. Все меньше трясет.

Студент и студентка (так, во всяком случае, решил для себя Забелин) нехотя уселись на два свободных места в четвертом ряду. А парень в каскетке («эстонец») бережно усадил

свою даму сразу сзади водителя, уселся рядом и, как бы извиняясь, обратился ко всем:

— Нам-то вообще все равно, но вот у нее какая история, а так-то нам все равно.

Беременная «эстонка» тяжело отдувалась, обмахивалась газетой и время от времени оттягивала от тела черную гипюровую кофту и задувала куда-то под нее сверху вниз в область груди.

Дорога до Карьяльского ущелья была довольно ровной, пыльной и однообразной. И Забелин принялся рассматривать экскурсантов, пытаясь по внешнему облику определить профессию, уровень, внутренний мир, манеру говорить. Студент и студентка, по-видимому, были технарями. Рядом с Забелиным сидела средних лет пара. Типичные певуны-затейники, шустрые, юркие, ерзающие. Он то и дело выбрасывал вдруг руку в известном ему направлении и вскрикивал так, как будто видел летающую тарелку:

— Вон! Видала?!

— Где? Где? — вытягивала голову она.

— Вона! А?

— Ага! А вон еще!

— Где? Где? — теперь уже вытягивал голову он.

— Да вон же! — кричала она.

— Вижу. Ага.

Но сколько Забелин ни всматривался, он никак не мог заметить ничего такого, что так привлекало их внимание. А спрашивать не хотелось, чтобы не ввязаться в разговор.

— Товарищи экскурсанты, — заговорил экскурсовод-водитель, — у нас экскурсия организованная, так что попрошу никакой самодеятельности. Не разбредаться, не зевать. Слушать вот этот свисток (он свистнул в милицейский свисток). Ждать никого не будем. Все, что необходимо и интересно, я расскажу, а какие будут вопросы — отвечу. Закурить у кого найдется?

— «Прима» имеется ростовская, — откликнулся мужчина без пары, сидевший сам по себе в самом центре и явно искавший общения («вдовец-курец»).

— Вот! Одного выловили! — обрадовался экскурсовод-водитель. — Сам не курю и другим запрещаю. Хотя бы на время экскурсии. Вот сделаем остановочку, отметим маленькие радости — покурите в рукавчик, а лучше не надо. В Польше, например, отлично поставлено дело против курения.

— Мы не в Польше, — засмеялся из второго ряда тот же, кто уже отметил, что «мы не в Греции» («международник»).

Заслуживала внимания еще одна почти старуха, которая каждую сказанную кем-то реплику воспринимала подозрительным взглядом и, видимо, на все имела свою, исключительно свою, точку зрения. Она не была экскурсанткой, а просто ехала к сыну, который жил и работал официантом на Синем озере

(«свекровь»). Колымага между тем въехала в Карьяльское ущелье, и Забелин бросил изучать остальных едущих, окрестив их «статистами».

Стало значительно прохладнее и темнее. Дорога шла вдоль маленькой, но нахальной горной речушки по имени Карья. Колымага двигалась по дну тесного мрачного коридора, стены которого составляли серые скользкие скалы, а вместо потолка где-то очень высоко было абсолютно чистое небо. И Забелину казалось, что в этот колодец вдруг должна свеситься сверху гигантская голова с одним глазом, и дьявольский хохот должен сотрясти ущелье, и две страшные волосатые руки бросят вниз огромный кусок скалы.

— Тот не патриот, кто не любит свою родину,— сказал экскурсовод-водитель.— Вот она, красавица Карья. Наш поэт Николай Петелин сказал:

Течет в песках Амударья,
а рядом с нею Сырдарья.
Есть много разных рек.
Они впадают все в моря,
но я люблю тебя, Карья,
Как мать, как человек.

Забелину очень захотелось, чтобы она тоже услышала эти стихи и вообще чтобы она сейчас была рядом с ним, в этой колымаге. Реакцию ее предсказать, конечно, невозможно. «Мы с тобой такие маленькие крохи, и все что-то суетимся, воображаем, гоняемся за джинсами!.. Зачем? Обними меня... крепче...» Или: «Дьявольская скука... камни, камни, камни. Трата времени... Не трогай меня».

Он не предполагал, что попадет в такие тиски. Он даже подумал как-то обратиться к знакомому гипнотерапевту, чтобы тот погасил этот болезненный очаг возбуждения. Гипнотерапевт творил чудеса. В прошлом сезоне он вывел «Динамо» на первое место. Но тут же Забелин отказался от гипнотерапевта, боясь в случае «излечения» оказаться в полном вакууме и просто испугавшись, что она перестанет вызывать в нем какие-либо эмоции и превратится в обыкновенную статистку...

Колымага остановилась. Эстонец, поддерживая эстонку, опустил ее на землю, и ее начало рвать. С каждым приступом сувенирная календарь-косынка сползала с головы, обнажая сардельки-бигуди, потом совсем упала на землю. Ветерком отнесло ее к заднему колесу как раз под Забелиным, и он увидел, что календарь этот — тысяча девятьсот семьдесят пятого года. Эстонец в растерянности топтался возле нее и говорил, обращаясь к колымаге:

— Извините, конечно, но у нее такая история...

— Эн как с души рвется,— пробурчала свекровь,— И чего потащилась с таким-то брюхом.

— Токсикоз беременности,— сказала студентка.
— Поздний,— сказал студент.
— Ранний,— сказала студентка,— какой же это поздний?..
Гражданка, у вас сколько месяцев?
— Ой, шесть,— простонала эстонка.
— Шесть у нас,— подтвердил эстонец,— извините, конечно...

Эстонец поднял с земли календарь-косынку, и колымага тронулась.

— Я в газете читал,— громко произнес вдовец-курец,— что в Англии каждый полицейский, они у них бобби называются, так вот каждый бобби умеет принять роды.

— Здесь не Англия,— засмеялся международник.

Когда колымага выкатилась из ущелья, дорога, петляя, поползла вверх, мотор заработал натруженной, стало тепло, а потом очень быстро — жарко, и начало закладывать уши.

Эстонец гладил по спине эстонку, заглядывая снизу в ее лицо и все время спрашивал:

— Как? Не тянет? Скажи, не тянет?

Нет, гипнотерапевт отпал сразу. И Забелин был рад этому. Однажды ночью, зимой, часу в четвертом, она позвонила ему по телефону и настоятельно потребовала, чтобы он приехал...

Они просидели в кухне часа два, щекоча друг другу нервы полудвусмысленной болтовней. Она начала зевать, и он понял, что надо уходить. Встал лениво, нехотя оделся, тоскливо оглядел кухню, сказал «пока» и вышел. Дверь за ним тщательно закрыли на все замки и цепочки.

Международник достал из кармана газету, разложил ее на коленях, вынул из целлофанового пакета кусок курицы, булку и начал жевать. Колымага последовала его примеру, зашелестела бумагами, пакетами, газетами, зажевала, задвигала скулами. Запахло ливерной колбасой и крутыми яйцами.

— Эй! — услышал Забелин сверху. Он поднял голову. Она стояла на балконе в одном халате. — Эй! Поднимись-ка!

Он буквально влетел на девятый этаж.

— Обними меня,— сказала она, когда Забелин вошел.— Вот так! А то мне что-то жутко... Ты не можешь не пойти на работу?

Но Забелин никак не мог не пойти на работу.

— Тогда приходи вечером.

— Угощайтесь,— предложил сидевший справа статист. На его коленях лежали помидоры, огурцы и пончики.

— Спасибо. Я не хочу.

А когда вечером он приехал к ней, к двери была пришпилена записка: «Уехала за город. Буду через два дня».

— Берите, не стесняйтесь,— настаивал статист.

— Спасибо. Я сыт.

Свекровь посмотрела на него подозрительно.

— Фигуру небось бережет,— жуя, сказал вдовец-курец.
— Все зависит от обмена,— объяснил студент и отхлебнул лимонад прямо из горлышка.

— У нас в группе одна девочка есть, она вообще ничего не кушает, а весит сто двенадцать килограммов,— вставила студентка.

— Гипофизарное ожирение,— объяснил студент.

— Болезнь Кушинга — Иценко,— уточнила студентка и хрустнула редиской.

— Вот с жиру и бесятся,— добавила свекровь.

Вдовец-курец поспешно прожевал, проглотил и выпалил:

— А вот в «Здоровье» была напечатана любопытная французская диета...

— Здесь не Франция,— перебил его международник и смачно стукнул яйцом по яйцу.

— Ну, так как? — снова пристал статист справа.

Забелин отказался.

— Была бы чепуха, верно? — обратился статист к соседней статистке.

Та оторвалась от книги и рассеянно кивнула.

Молчал какое-то время экскурсовод-водитель вдруг заметил:

— Товарищи экскурсанты, остатки пищи и всякие банки-бутылки на дорогу не выносить, а хранить до специально отведенного места.

Из-за крутого поворота навстречу выскочил «газик». Сидевший рядом с шофером милицейский майор сделал знак колымаге остановиться.

Поздоровавшись с экскурсоводом-водителем как со старым приятелем, майор попросил всех сидящих в колымаге приготовить документы.

Видно было, что майору очень жарко и многое надоело... Фуражка его сбилась на затылок, воротник расстегнулся, галстук сполз вбок. Синяя некогда рубашка почти выцвела и только под мышками, мокрая от пота, сохранила прежний цвет.

Колымага полезла по карманам, сумкам и бумажникам. Дойдя до Забелина, майор взял его старый, неизвестно на чем державшийся паспорт и долго, с вниманием стал его изучать, переводя взгляд то с паспорта на Забелина, то с Забелина на паспорт. Потом, не возвращая паспорта, спросил:

— Давно здесь?

— Семнадцать дней.

Колымага насторожилась.

— Почему до сих пор не обменяли? — спросил майор.

— Замотался,— вяло улыбнулся Забелин.

— «Замотался!» — недовольно повторил майор, все еще не возвращая Забелину паспорт. — А для чего, я вас спрошу, государство обмен паспортов устроило?

Забелин напряженно стал думать — для чего, но майор ответил сам:

— Для того, чтобы население их вовремя обменяло.

— По приезде я сразу обменяю,— поспешно сказал Забелин.

— Уж пожалуйста! — И только теперь майор возвратил ему паспорт.

«Газик» укатил вниз, а колымага, рыча, поползла дальше, вверх по Военно-узбекской дороге, серпантинно нависшей над почти отвесными пропастями.

— Это что за строгости? — произнес вдовец-курец. — Погранзона, что ли?

— Преступника разыскивают,— ответил экскурсовод-водитель.

Свекровь посмотрела на Забелина и поставила сумку, стоявшую рядом с ней, на колени.

— Видать, матерый,— продолжал экскурсовод-водитель. — Под Воронежем ограбил сберкассу и извасиловал кассиршу.

— Караем мягко,— сказал вдовец-курец,— ох, мягко караем.

— В Саудовской Аравии, между прочим,— сказал студент,— до сих пор действует закон, по которому, даже если он украл на рынке простую пешку, отрубают руку.

— Здесь не Австралия,— хихикал международник.

Между тем статист, предлагавший Забелину угоститься, беспардонно его разглядывал.

— Что-нибудь не так? — улыбнулся Забелин.

— Да нет, все так,— многозначительно сказал статист.

— Смотрите! Смотрите! Дерево на скале! Дерево прямо на скале! — буквально завопила студентка.

Колымага, как по команде, повернула свои головы налево. Забелин вообще трудно переносил высоту.

«Ну, дерево,— думал он,— ну, на скале, ну и что?»

— А вам не интересно? — поинтересовался статист.

— Нет,— ответил Забелин.— У меня от высоты голова кружится.

— А как же верхолазы? — не отставал статист.

— Поэтому я и не верхолаз,— улыбнулся Забелин.

— А чем же занимаетесь, если не секрет?

Забелин заметил, что этот вопрос заинтересовал всю колымагу.

— Во всяком случае, не верхолаз,— сказал Забелин, давая понять, что продолжать разговор ему неинтересно.

Да, он трудно сходил с людьми...

Наконец колымага достигла верхней точки и остановилась возле белого глиняного домика с двумя маленькими окнами под крышей.

— Перевал Кума! — провозгласил экскурсовод-водитель. — Тысяча девятьсот двадцать метров над уровнем моря. Справа от себя вы видите архитектурный памятник — творение неизвестного архитектора... Особенностью строения являются два входа — мужской и женский.

Колымага заулыбалась, захохотала, экскурсовод-водитель подошел к заднему борту, открыл створки и спустил на землю лестницу.

— Прошу! — пригласил он. — Здесь можно отметить маленькие радости, а желающие приблизить свой смертный час пусть перекурят.

Колымага мгновенно опустела. Остался на месте один Забелин. Ему просто не хотелось.

Вдовец-курец жадно и быстро курил, стоя возле мужского входа. Певуны-затейники, отметив маленькие радости, подошли к краю обрыва и, протягивая руки в только им известном направлении, радовались:

— Опять! Видела?

— Где?.. Ага!.. Ой, да сколько!

— Это не то!.. Вон то!

И снова, сколько ни старался Забелин определить предмет заинтересованности певунов-затейников, ничего у него не получилось.

Остальные экскурсанты, разбившись на две кучки — мужскую и женскую, — о чем-то шушукались, время от времени поглядывая на одиноко сидящего в колымаче Забелина.

И Забелин понял, что дебаты ведутся на его тему...

Пассажиры, украдкой бросая на Забелина осторожные взгляды, проверили оставленные в колымаче на время празднования маленьких радостей вещи и, убедившись, что все в порядке, постепенно успокоились. Тем не менее спины их выражали беспокойство.

Статист справа от Забелина похвалялся сидевшей рядом с ним девушке:

— У меня с бандитами разговор короткий. Подсечка и ногой в пах. Вот потрогайте мою руку. Это же нога! И потом, я вам скажу, бандит силен, пока его боятся. А когда нас много, он тут же, извините, накладывает в штаны. К примеру, нас тут полный автобус. Ну, что он с нами делает?

— Все у вас просто получается, — сказала девушка, — а если он вооружен?

— Хорошо, — продолжал статист, — допустим, вооружен. Ну, убьет он вас или еще кого, но остальные-то его схватят, и крышка. А он за свою жизнь дрожит. Он только с виду бандит, а душа-то у него заячья.

— У них совсем другая психика, — вмешалась студентка.

— Этого я не знаю, — сказал статист, — а жить каждому хочется. Даже анекдот такой есть. Идет ночью один грабитель, а

навстречу прохожий, выпивши. И думает: дай-ка я его напугаю. Подошел да как крикнет: «Жизнь или кошелек?!» Бандит струхнул, отдал прохожему кошелек, и с концами. Поняли?

— Ну и что? — не поняла девушка.

— Как, что? — удивился статист. — В этом вся соль, что прохожий не знал, что перед ним бандит. Разве не смешно, а?

Вопрос уже был адресован Забелину.

— А про муравья и корову кто знает? — спросил вдовец-курец. И он рассказал анекдот про муравья и корову.

Колымага рассмеялась и начала рассказывать анекдоты.

Анекдоты были разные: школьные, деревенские, соленые, производственные... И после каждого анекдота все оборачивались на Забелина — как он реагирует. Но он вообще редко смеялся вслух, а если было смешно, то смеялся внутренне, отмечая для себя, что это действительно смешно.

— А вот идут по дороге, — заговорил международник, — американец, русский и француз. И видят — лежит кларнет...

Выслушав анекдот, колымага опять расхохоталась. Даже свекровь улыбнулась.

— А вы чего не смеетесь? — уже с раздражением спросил статист.

Забелин стал думать, что бы такое ответить, но в этот момент колымага запела.

— «Не слышны в саду даже шорохи», — нестройно и не в ритм движению пела колымага.

«Все здесь замерло до утра», — мысленно отмечал Забелин.

— «И с полей уносится печаль», — вызывающе, прямо в лицо Забелину, пел статист.

Забелин молчал.

— «И с души уходит прочь тревога», — не унимался статист.

Наконец впереди сверкнуло что-то действительно синее. Забелин понял, что это — Синее озеро, и облегченно вздохнул.

Колымага еще не успела заглушить мотор, как статист с непостижимой скоростью скинул с себя верхнюю одежду, перепрыгнул через борт, разбежался и с криком «Эхма!» сиганул с берега в воду. Уже через мгновение он вскарабкался на берег. Лицо его было в крови, а вода, стекавшая с волос по телу, перемешиваясь с кровью, делала эту картину устрашающей. Статист то и дело прикладывал правую ладонь к голове, потом разглядывал ее и снова прикладывал, приговаривая разгоряченно: «Во, навернулся... во, навернулся...»

Экскурсовод-водитель бросился к нему и буквально поволок к ближайшим строениям, крича:

— Строжайше запрещено купание! Вода восемь градусов, дно каменистое! Собираемся через полтора часа по свистку!

Все очень быстро разбрелись кто куда. Но у Забелина не было ни малейшего желания насладиться ни шашлыком из мо-

лодого барашка, ни королевской рыбой форелью. Он сел на землю, прислонился к дереву и стал смотреть в по-настоящему синее зеркало Синего озера.

Вот будь она рядом с ним в колымаге, наверняка возник бы шумный конфликт между ней и статистом, и пришлось бы Забелину ее сдерживать и уговаривать, и кончилось бы наверняка тем, что она выпрыгнула бы из колымаги и пошла обратно, не оборачиваясь, своей независимой, почти разболтанной походкой. И он догнал бы ее и в ответ услышал бы что угодно. Или: «Догадался! Молодец! Нужна тебе была эта экскурсия... Обними меня...» или: «Что ты выпрыгнул?! Догоняй свои четыре рубля!.. Не трогай меня!..» А могла бы и найти общий язык со всей колымагой, перепробовала бы все, что у кого было, и завела бы их на такие песни... С милицейским майором могла бы вдруг закокетничать, и «газик» эскортировал бы их до самого Синего озера. А могла бы и сразу вздыбиться, и запахло бы протоколом, и оскорблением при исполнении обязанностей, и пятнадцатью сутками...

И Забелин вдруг почувствовал, что, пока он здесь, там, в городке, на почте, его ждет письмо. И что, не дожидаясь окончания отпуска, он завтра же купит на базаре всяких фруктов, трав, специй, цветов и еще черт знает чего, сложит все это в большую плетеную корзину, сядет в поезд и сразу с вокзала позвонит ей прямо через Синее озеро, разгребая волны и принимая извинения всплывшего вдруг окровавленного статиста, ведя под руку беременную эстонку, под радостные свистки милицейского майора... Забелин вскочил на ноги и, взглянув на часы, понял, что опоздал. Он бросился к месту, где ждала колымага, но, когда добежал, увидел, что колымага уже приближается к повороту. Он закричал, замахал руками... Забинтованная голова статиста обернулась в его сторону. Статист показал на него рукой, потом другой рукой сделал Забелину нос, и колымага скрылась за поворотом.

«Почему? — подумал он. — Почему?» И направился к деревянной будке с надписью «Экскурсии». В окошке ему сообщили, что в пять часов вечера должна приехать еще одна экскурсионная группа и что обратно автобус отправится в восемнадцать тридцать. Если будут свободные места.

Он прослонялся возле будки до тех пор, пока не пришла вторая колымага, до предела загруженная экскурсантами. Сначала Забелин вовсе отчаялся, но потом оставил себе шанс, вспомнив свекровь, которая ехала в один конец. Он продежурил возле колымаги до тех пор, пока трижды не отсвистел в милицейский свисток экскурсовод-водитель, очень похожий на утреннего. А когда пассажиры заняли свои места, он увидел, что одно место в правом углу свободно...

Сдружившаяся и спаявшаяся за время первой половины пути колымага встретила его недружелюбно и настороженно.

Оказавшаяся слева от Забелина напряженная блондинка в черных лакированных туфлях на всякий случай отодвинулась от него и что-то зашептала на ухо сидевшему рядом с ней усатому брютету. Тот, метнув в сторону Забелина пару молний, обнял за плечи блондинку.

Когда колымага приблизилась к повороту, Забелину показалось, что кто-то сзади, размахивая руками и крича, пытается их догнать. Но колымага уже заворачивала... В сумерках Забелина ослепил встречный свет. Колымага остановилась. Знакомый дневной майор вышел из газика и объявил проверку документов.

— Да ведь проверяли уже! — послышался чей-то женский голос. — Туда проверяли, обратно проверяют...

— Попрошу приготовить документы, — бесстрастно и устало повторил майор.

Взяв в руки дряхлый паспорт Забелина, майор нахмурился.

— А-а, старый знакомый, — сказал он не то дружески, не то издеваясь.

— Ой! — испуганно вскрикнула блондинка, и брютет, воспользовавшись этим, втащил ее к себе на колени.

Колымага напряглась и уставилась на Забелина.

— Что ж это вы, товарищ, — произнес майор учительским тоном, — туда с дной группой, обратно — с другой?

— Замечтался, — извиняясь, сказал Забелин.

— Да-а, — протянул майор. — Непорядок...

И он медленно возвратил Забелину паспорт.

Теперь пропасть была справа от Забелина, только казалась еще страшнее и безнадежнее в нарастающей с каждой минутой темноте.

— Кто-то запел. Колымага подхватила громко и нервно, как бы отгоняя страх, поглядывая на Забелина и опасно, и угрожающе.

«Вот так, р-раз — и нету», — подумал Забелин, скосив взгляд в сторону бездны. И он робко запел вместе со всеми, виновато улыбаясь усатому брютету и обнявшей его за шею блондинке:

— «И-и с полей уносится печаль, и с души уходит прочь тревога...»

И пел до тех пор, пока колымага не остановилась у колоннады.

Он едва успел на почту и, задыхаясь, протянул провинциально-красивой девушке паспорт. Та пошуршала конвертами в отделении на букву «З» и, извиняясь, сказала:

— Пишут.

АВТОБИОГРАФИЯ



Родился в одна тысяча девятьсот двадцать пятом году в селе Малые Выселки где-то на Орловщине. Отца своего помню плохо. Он пал от руки пьяного кулака в одна тысяча девятьсот двадцать втором году, за три с половиной года до моего рождения, так и не успев познакомиться с моей матерью, которая в том же, но уже в одна тысяча девятьсот двадцать третьем году совершила ошибку, выйдя замуж за пленного словака. Она до сих пор живет в Аргентине, с которой я никакой аккуратной переписки не поддерживаю. Так что родился я в чужой, не знакомой мне крестьянской семье, которая и стала мне детским домом.

С юных лет я привык к тяжелому, изнурительному труду и до сих пор не могу от него отвыкнуть.

В одна тысяча девятьсот сорок первом году я получил паспорт и уже мог отвечать за свои поступки по всей строгости Уголовного кодекса.

Война настигла меня в Ташкенте. Передо мной стоял выбор: либо есть хлеб с маслом, веселиться, радоваться и наслаждаться, либо жить так, как все... Я выбрал первое, в чем глубоко раскаиваюсь по сей день, хотя есть что вспомнить. Таким образом, по своей молодости я пришел к первому своему ошибочному заключению. Вышел я из этого заключения в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году. В тот же день я познакомился с моей женой от первого брака и благодаря ей вскоре познакомился с моей женой от второго брака. Мы любили друг друга, но без всякой взаимности и часто спорили. В спорах рождались дети. Это была истина. С одна тысяча девятьсот сорок восьмого года по одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год я работал карликом-униформистом в цирковой программе «Мечте навстречу», где и познакомился с моей женой от третьего брака, которая с первого взгляда мне не понравилась. Но прошло несколько дней, и я возненавидел ее по-настоящему.

Одна тысяча девятьсот пятьдесят третий год считаю для себя переломным — я упал с трапеции. Очнулся я в одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году в должности заместителя министра торговли с окладом в 385 рублей. Тогда-то я и понял, что для того чтобы есть хлеб с маслом, гулять, радоваться и наслаждаться — воровать совсем необязательно. Но желательнее. Заместителем министра я проработал восемь лет вплоть до самой выписки из психиатрической больницы № 15. С этого момента я стал полноправным членом общества.

С одна тысяча девятьсот шестьдесят шестого по одна тысяча девятьсот шестьдесят девятый год выезжал в братские страны в качестве обмена опытом культуры и литературы. В одна тысяча девятьсот семидесятом году мне доверили защищать честь наших музыкантов в качестве сопровождающего скрипача. После неудачной попытки незаметно провести через нашу таможду «Мерседес-350-S» я женился на своей жене от четвертого брака и имею от нее высокие правительственные награды.

Настоящую биографию прилагаю к заявлению об освобождении меня от обязанностей посла в Доминиканской Республике в связи с моим назначением на должность заведующего овощехранилищем № 8 в городе Чугуеве.

1979

КАК ХОРОШО, КОГДА МЫ ВО ЧТО-ТО ВЕРИМ...



— **А** все-таки хорошо, старина, что мы в форме, прекрасно себя чувствуем, полны желаний, в силах и при памяти. И это несмотря на то, что нам уже по семьдесят восемь, — сказал Иван Николаевич, обращаясь к тому, кого он назвал стариной.

— Да, Петя, — сказал старина. — Это чудесно... Хотя нам уже по восемьдесят семь, а не по семьдесят восемь.

— Что? — спросил Иван Николаевич. — Ты что-то сказал?

— Я?! — изумился старина. — Нет, Миша, ты меня знаешь. Я всегда молчу.

Иван Николаевич встал. Вернее, он так решил, будто он встал, возмущенный наглостью:

— Нет! Ты, старина, сказал, что я вешу восемьдесят семь килограммов.

— Вы меня не так поняли, Василий Алексеевич. Это во мне сто восемьдесят семь сантиметров. И потом, я не люблю, когда при мне матеряется.

— Извините, — смутился Иван Николаевич. — Мне показалось, что вы меня подозреваете.

И он сел. Вернее, решил, что сел, удовлетворенный.

— То, что ты, Костя, продолжаешь заниматься гантелями, еще не дает тебе права обвинять меня в дезинформации, — сказал старина и нервно закурил чайную ложку.

— О! Гири — моя слабость, — засмеялся Иван Николаевич и вытер слезы. Он взял со стола спичечную коробку и начал ее отжимать. — Смотри! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль, минус один, минус два...

— Гирия-то пустая, — поддел старина.

— Во-первых, это не гирия, а коробка! А во-вторых, встать! Смирно! — закричал Иван Николаевич. — Я интеллигентный человек и не потерплю никакого капитулянтства! При чем здесь коробка?.. Ну что, стыдно? То-то. Ладно. Я пошутил. Лучше скажи, почему ты до сих пор куришь?

— Привычка, — смутился старина и покраснел. — Одни расходы, — он затыкнулся ложкой, — дорого... Шесть штук — два сорок. И без фильтра... Так-то, Витюша.

— Не смейся меня, старина, — сказал Иван Николаевич и заплакал.

— Скорее всего это грустно, — произнес старина и расхотелся. — А в общем, я рад тебя видеть.

— А я рад тебя слышать, — успокоился Иван Николаевич.

— У тебя, Коля, всегда было хорошее зрение,— сказал старина.

— А у тебя — слух... Вы что-то сказали?

— Я?! — опять изумился старина.— Я молчу уже второй час. Если вы хотите меня унижить, товарищ капитан, извольте. У меня тоже есть свои козыри.

— Пики? — встрепенулся Иван Николаевич.

— Никак нет-с, сударь! — оскорбился старина.— Сабли! И не забывайте, что вы у меня в гостях!

— Это ты у меня в гостях, старина,— грустно сказал Иван Николаевич.

— А это уже чересчур! — гаркнул старина и попытался подняться с кресла, но так и остался сидеть на диване.

— Чересчур или не чересчур, а я должен идти спать,— сказал Иван Николаевич.— Меня ждет супруга. Хорошо, что у нас еще есть желания.

На этот раз он по-настоящему встал и скрылся в шкафу.

— Когда из кухни вышла Дарья Федоровна — супруга Ивана Николаевича, старина сказал:

— Ваш муж Степан... В общем, держитесь, Марфа Яковлевна...

— Неужели он все-таки отравился грибами? — улыбнулась Дарья Федоровна и поправила прическу.

— Не уверен. Поэтому и не обгоняю,— пробурчал старина.

— Что ж, пойду приму меры,— сказала Дарья Федоровна.

Она вошла в туалет, спустила воду и закричала:

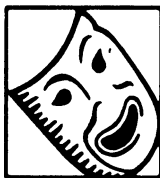
— Алло! «Скорая»? Это я! Да. Именно так...

...Утром в квартиру пришли два газовщика. Обнаружив Дарью Федоровну в туалете, Ивана Николаевича в шкафу и какого-то совсем старого дядьку, сидящего на диване с ложкой во рту, они успокоились. Значит, все в порядке. Главное, чтобы не было утечки газа.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЧЕРАШНЕГО ЧЕРЕПА ПО СЕГОДНЯШНЕМУ ЛИЦУ

От автора: Желая оградить себя от возможной критики данного ненаучного произведения, автор предупреждает, что сие сочинение есть не что иное, как плод исключительно здорового воображения автора, результат его необузданной фантазии и кропотливых наблюдений. Автор надеется, что у читателей, которые все примут за чистую монету, волосы на голове встанут дыбом. Автор не намерен называть прототипы, но думает, что они сами себя узнают в героях, с которыми им предстоит встретиться сию же минуту.

Что же касается героев, упомянутых ниже, то автор просит принять свои искренние уверения в величайшем к ним уважении.



Байрон появился в Литературном кафе, как и обещал, в 16.30. Тургенев уже ждал его за столиком возле рояля. Увидев Байрона, Тургенев свистнул.

— Привет, старик! — сказал Байрон, усаживаясь напротив Тургенева.

— Ты почему хромаешь? — спросил Тургенев.

— Да загудели этой ночью у Державина, — ответил Байрон. — Гёте приехал из Германии, привез потрясную переводчицу. Ноги от шеи! Ну, взяли четыре по ноль семьдесят пять, и у Гёте еще литр «Мозельского» был... В полпервого Фонвизин завалился из Дома кино с двумя телками и с какой-то певичкой из Франции... Она у него в «Недоросле» снималась...

— Виардо?! — насторожился Тургенев.

— Блондиночка.

— Она, — мрачно произнес Тургенев. — Вот скотина!

— Ну, туда-сюда, — продолжал Байрон. — Гёте насосался и начал танцевать с телками, а я, значит, переводчицу стал утешать этим самым «Мозельским», черт бы его побрал, и так наутешался, что, веришь, не помню, как отрубился. Очнулся в ванне, весь мокрый. Выхожу — уже утро. Державин в сосиску. Я на балкон; а там почему-то лошадь стоит. Хотел оседлать, в стремя не попал, и — с балкона... Хорошо, хоть второй этаж был... А все с «Мозельского»!

— Да-а, — сочувственно сказал Тургенев, — мешать — дело последнее.

— Выбрали, мальчишки? — спросила подошедшая официантка Люба.

Значит, так, Любаня,— весело потирая руки, начал Тургенев.— Маслица... И триста водочки.

— И еще бутылочку, чтоб потом недоказывать,— уточнил Байрон.

— Жора,— неуверенно сказал Тургенев и положил Байрону руку на плечо.

— Спокуха! — сказал Байрон.— Я ставлю. Сегодня аванс получил за «Чайльд Гарольда».

Байрон царским движением опустил руку в смокинг где-то в районе сердца, но денег при этом не показал.

В этот момент в ресторане появился высокий худой человек с большой черной бородой. Его опытный охотничий взгляд заскользил по столикам и зафиксировался на Байроне. Быстро прикинув что-то в уме, бородатый прицельной походкой направился к роялю.

— Здорово, мужики! — бодро крикнул он.

Тургенев молча кивнул, а Байрон почему-то полез в карман и достал газету. Бородатый некоторое время постоял возле столика и обратился к Байрону:

— Жора! Ты не можешь одолжить пятьсот рублей на полгода?

— Откуда у поэта такие деньги? — ответил Байрон, делая вид, что читает газету.

— А рубль до завтра? — спросил бородатый.

— Меня сегодня Ваня кормит,— сказал Байрон и многозначительно подмигнул Тургеневу.

— Мне вообще-то пятерку Герцен должен,— без особой уверенности промямлил бородатый,— но он в Лондоне...

— Взыщи с Огарева,— посоветовал Байрон.

— Неудобно,— сказал бородатый.— Он с бабой сидит.

— Возьми у Алябьева,— предложил Байрон.— У композиторов до хрена денег... Представляешь, Ваня, он с одного только «Соловья» по семьсот в месяц стрижет!..

— Пожалуй, и вправду возьму у Алябьева,— сказал бородатый, но с места не сдвинулся, а почему-то сел рядом.

— Познакомься, Ваня,— с тревогой взглянув на бутылку, произнес Байрон.— Это Аксаков. Прозаик.

— Выпьете с нами? — осторожно спросил Тургенев, ища глазами чистую рюмку.

— Можно отсюда,— сказал Аксаков, пододвигая Тургеневу фужер.

Когда фужер наполнился до краев водкой, Аксаков сказал:

— Хватит.

Байрон заказал еще двести пятьдесят, и в этот момент в зале появился Гоголь. На нем не было лица.

— Коля! — закричал Аксаков.— Коля! Давай сюда!

Гоголь подошел и мрачно взглянул на сидевших.

— Садись, Коля! — кричал Аксаков. — Это мои друзья! Тургенев и Байрон.

Гоголь сел.

— Ваши «Записки охотника» — сплошное паскудство! — закричал он на Тургенева. — Помещик не имеет права знать народную душу!

— А Вы мое «Накануне» читали? — аккуратно спросил Тургенев.

— А я не читатель! — рявкнул Гоголь. — Я писатель! Понял?!

— Чего ты, Коля, завелся? — стал успокаивать Гоголя Аксаков... — Свои ребята. Ваня из Спасского-Лутовинова, Жора из Англии...

— А это ты видел? — заорал Гоголь и ударил кулаком по столу.

Он поспешно достал из портфеля и положил на стол вчетверо сложенный лист бумаги. Аксаков развернул лист и прочитал:

— «Письмо Белинского Гоголю»? Григорьич?.. На тебя бочку катит?!

В это время от соседнего столика к ним подошел аккуратно одетый Добролюбов.

— Безобразие! — произнес он поставленным голосом. — Не дом, а конюшня! Весь день работаешь, устаешь, приходишь отдохнуть, а вместо этого мат, как на вокзале!

— А что ты такого написал, что уже устал? — отрезал Аксаков.

Добролюбов пожал плечами и пошел жаловаться дежурному администратору — княгине Эстерхазе.

Подсеменил совершенно бухой Гнедич и сел мимо стула. Встал и снова сел мимо стула. Наконец сел на стул. И упал.

— Сочинил эпиграмму на Гоголя! Хотите? — затараторил Гнедич и, не дав никому опомниться, выпалил:

— До середины Днепра
Долетит редкий птиц.
Любит Моголь с утра
Гоголь из двух яиц!

Подошла официантка Люба и зашептала на ухо Байрону:

— От столика у окна Вам, Жорж Гордонович, просили послать две бутылки шампанского. Не велели говорить, от кого, но я скажу: там Руставели гуляет...

— Могу примазать, — затараторил Гнедич. — Если послать Руставели две бутылки, он в ответ четыре пришлет. Мы ему — четыре, он нам — восемь. Можем нажиться!

— А если он не пришлет, кто платить будет? Пушкин? — мрачно спросил Тургенев.

— А вот есть эпиграмма на Руставели,— пискнул Гнедич.— Хотите?

Господа! Не удивитесь!
Есть в Тбилиси речка Кúра.
Ах, ты, витязь! Ах, ты, витязь!
Ах, ты, витязь! Ах, ты, шура!

— Парни! — сказал Тургенев. — Предлагаю выпить за Байрона — талантливого поэта и моего друга!

— Ваня, я — пас, — сказал Байрон. — Мне надо позвонить...

И Байрон тяжело поднялся из-за стола.

— Бабки оставь! — строго произнес Тургенев.

— Старик, что за шутки? — обиделся Байрон.

— Оставь деньги! — строго повторил Тургенев.

— Ваня! — Байрон положил Тургеневу руку на плечо. —

Мне надо бабе позвонить...

— Виардо? — мрачно спросил Тургенев.

— Иван! — укоризненно сказал Байрон и направился к выходу.

Криво усмехаясь, Тургенев проводил Байрона взглядом до самого выхода и, когда тот пропал из виду, процедил:

— Графоман! Тварь английская!

Гоголь уснул, уткнувшись носом в сациви, а Тургенев, Аксаков и неизвестно откуда взявшийся Бенкендорф читали вслух письмо Белинского.

Оставив Гоголя на попечение Аксакова, Тургенев пошел одеваться. Возле буфетной стойки рвало братьев Grimm.

«Почему сюда пускают не членов Союза?» — подумал Тургенев.

У столика администратора княгиня Эстерхазе говорила в телефонную трубку:

— Софья Андреевна, миленькая, забирайте своего... Граф опять плох... Шумит...

Граф Толстой стоял в раздевалке, широко расставив босые ноги, и абсолютно стеклянными глазами оглядывал одевающихся.

Заметив Тургенева, граф что-то смекнул, ожил и, подойдя к нему, ни с того, ни с того двинул его в ухо.

— Стилист сраный! — гаркнул Толстой.

Тут же на нем буквально повисли гардеробщик Сеня и Достоевский.

— Успокойтесь, Лев Николаевич! — бурчал Достоевский. — Вы же — зеркало...

— Я зеркало не разбивал! — пытался вырваться граф.

— Безобразие! Позор-то какой! — урезонивал гардеробщик Сеня, беря свободной рукой двугривенный от Мельникова-Печерского. — Неужели и через его пятьдесят лет писатели так себя вести будут?

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

(Ненаучная фантастика)

Роман.

I

В помещении редакции журнала «Поле-полюшко» частенько пахло газом. Редакция размещалась в бывшей людской особняка графа Ефтимьева. Сразу после революции сюда завезли двадцать кроватей и организовали госпиталь для раненых. Когда окончилась гражданская война и раненых стало значительно меньше, кровати вывезли.

Несколько лет помещение пустовало, находясь в опечатанном состоянии, после чего превратилось в детский сад, тем более что население города Мухославска к тому времени заметно увеличилось. Тогда-то в подсобке была установлена обыкновенная плита, которую после ввода в эксплуатацию знаменитого газопровода «Саратов — Москва» заменили на газовую, что в конце концов и сыграло роковую роль в жизни редакции журнала «Поле-полюшко». Но об этом позже.

Причина, по которой в помещении редакции частенько пахло газом, была экономически объективной. Город Мухославск славился на всю страну своей спичечной фабрикой. В Оймьяконе, в Благовещенске, в Термезе, в Мукачеве, в Сингапуре, на Островах Зеленого Мыса, в освобожденной Анголе и даже в спецмагазине для сотрудников советского посольства в Вашингтоне можно было встретить знаменитые мухославские спички. Поэтому в самом Мухославске они являлись предметом повышенного спроса, или, в новейшем определении, дефицитом. Кроме того, химзавод имени таблицы Менделеева выпускал яды-пшикалки против тараканов, клопов, муравьев, мышей, крыс, волков и экспортировал их в Австралию, где ими травили неумно размножавшихся кроликов. Яды-пшикалки обладали резко специфическим запахом, что делало их пригодными в качестве дезодорантов. По известным причинам яды-пшикалки-дезодоранты тоже являлись предметом повышенного спроса, и достать их не было никакой возможности.

Казалось бы, что общего между запахом газа в редакции журнала «Поле-полюшко», спичками и ядами-пшикалками-дезодорантами? А вот что. Журнал «Поле-полюшко», как и любой уважающий себя журнал, имел туалет, в котором, естественно, отсутствовал дезодорант. Дезодорирующий эффект производил едкий дым от зажженного факела из неподошед-

ших рукописей. Но дело в том, что в силу спичечного дефицита редакционная коробка хранилась у вахтерши Ани, которая, чтобы ее всякий раз не тревожили сотрудники, каждый день в десять часов утра зажигала газовую горелку. И стоило войти в помещение редакции какому-нибудь сотруднику или просто, не дай бог, автору, как возникавший сию же минуту сквозняк задувал пламя горелки, после чего вахтерша Аня, чуя запах газа, шла в подсобку и снова зажигала горелку, ворча при этом по обыкновению: «Вот ужо взорвемся в одночасье».

II

Алеко Никитич сидит в своем кресле, откинувшись на спинку, заложив левую руку за голову, вытянув ноги, и делает сквозь зубы «с-с-с», что означает: ничего, все нормально. Все так, как и должно быть. Журнал выходит, тираж растет, нареканий нет. Индей Гордеевич на месте. Дамменлибен услужлив. Внучке третий годик. Хорошая девочка. Машенька. Рыженькая. Стоит дедушке прийти с работы, как она забирается к нему на колени и щекочет нежными ручонками его лысую голову. С-с-с. Алеко Никитич проводит правой рукой по своей лысой голове. Зря только Поля вышла за скрипача. Он, конечно, парень нормальный, но что это за профессия? Ведь не Ойстрах же. Не Ойстрах. Хотя внучка прелестная. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Алеко Никитич снимает телефонную трубку.

— Рапсод Мургабович? Здравствуй, дорогой! Тут к тебе дама одна подойдет. Дочь бывшего однополчанина. От меня. Пару баночек икорки сделай. Спасибо, дорогой. Что там у тебя интересного есть? Финский? Оставь пару батончиков. Глория моя обожает. Спасибо, дорогой. Слушай, Рапсод Мургабович, может, с очерком у нас выступишь, а? Воспеть работника прилавка. По-моему, самое время. Поможем. Я к тебе Сверхщенского пришлю.

Алеко Никитич кладет трубку. С-с-с. Дочь однополчанина. Рапсод Мургабович прекрасно знает, что Поля — моя дочь. Соблюдение норм. Но Машеньке необходимы витамины. Алеко Никитич смотрит в окно. Жаркий будет день. Жаркий. Он видит, как люди перебегают с одной стороны улицы на другую под самым носом машин. И он думает: они так торопятся на ту сторону, словно на той стороне их ждет совершенно другая жизнь. С-с-с. Что тебе, Теодор? Это художник Дамменлибен появляется в кабинете. Без стука могут сюда входить только заместитель Индей Гордеевич и Дамменлибен. Дамменлибен во время войны был интендантом и с тех пор страдает категоричностью своих суждений.

— П-п-п-п-при... при...— пыгается высказаться Дамменлибен.

— Приветствую, Теодор! Что случилось?

Дамменлибен вдруг перестает заикаться и выпаливает на одном дыхании:

— Слушайте Никитич! Моя жена Нелли прекрасная умная женщина у тещи тромбофлебит отвез ее в больницу Петеньке в классе кто-то наделал в портфель я говорю я ветеран войны по-моему это тема для нашего журнала щенок всюду гадит как вам нравится в римского папу стреляли я не верю что он турок отдохнуть вам надо Никитич вы подписались на «Америку» слушайте одолжите пятерку в кулинарии антрекоты дают бардак вы помните до войны...

Алеко Никитич любит, когда его называют Никитичем.

— Пятерку я вам одолжу, Теодор, но что вы там нарисовали к рассказу Гайского? Почему у лесорубов такие длинные носы?

— Слушайте Никитич! Моя Нелли умная женщина со вкусом вспомните Соифертиса у меня был командир хохол и ничего мы с ним вчера выпили три пули вынули из папы бардак у нашей Ани по-моему появился мужик что мне трудно укоротить носы слушайте Никитич дайте еще трешку и я вам буду должен девяносто шесть щенков всюду гадит бардак сп-сп-сп-сп... сп-сп-спас...

— Не стоит, Теодор. А носы сократите.

Дамменлибен исчезает. Алеко Никитич слышит за дверью знакомый короткий, смешок и томительное шуршание колготок. Это проходит по коридору машинистка Оля. Олечка. Олюшка. Олюля. Входите, Ольга Владимировна. Садитесь. Она садится. Нога на ногу. Вызывающе. Алеко Никитич смотрит в угол кабинета, чтобы не видеть Олиных колготок. Ух, Оля! Как дела, Ольга Владимировна? Алеко Никитич закрывает дверь кабинета на ключ. Как дела, Ольга Владимировна? Она очень похожа на его первую жену Симу. Как он любил Симу! У нее были такие же прямые волосы, такие же мягкие.

Но не входит в кабинет Оля, Олечка, Олюша, так напоминающая Симу, Симочку, Симулю. Это все грезится Алеко Никитичу, все мечтается. И он стучит кулаком по своей лысой голове, пытаясь отогнать охватившие его воспоминания... Ах, Сима, Симочка!.. Лань моя трепетная! Женщина моя единственная! Где твои губы терпкие, рябина-ракита моя стройная!.. Уго-раздило же отца ее, врача, в свое время сделаться «убийцей в белом халате»... Тогда-то и посоветовали Алеко Никитичу серьезные люди порвать с Симой, Симочкой, потому как не к лицу ему, человеку нужному и полезному, добровольно себя компрометировать... И не поняла она, что не предал, не бросил

ее Алеко, а поступил по разумной необходимости. А напрасно не поняла...

Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой голове, и воспоминания понемногу отпускают его. Он опять снимает телефонную трубку. Глория? Обедать сегодня со всеми не пойдут. Жди дома. Он вешает трубку. Хорошо, что Глория все понимает. Мудрая женщина. С-с-с.

...Стрелка часов медленно подбирается к часу дня.

С-с-с. Глория уже все приготовила. С-с-с. Машенька с няней гуляет. С-с-с... Пора идти...

И в этот момент открывается дверь и входит незнакомец. Молодой человек, коротко стриженный, с голубыми навывкате глазами, непонятного для Алеко Никитича социального происхождения. Не то рабочий, не то футболист, не то учитель. И держит в руках тетрадь в черной кожаной обложке. И Алеко Никитичу беспричинно становится неприятно, будто в его жизнь, в его тело вползает что-то чуждое, неудобное и холодное. Почему этот тип вошел без стука? И что это за тетрадь держит он в руках? Рукопись? Я рукописи не читаю. Для этого есть отдел прозы. Есть Зверцев, есть консультанты.

— Кто вы?— спрашивает Алеко Никитич как можно строже.— Почему без стука? Что у вас в руках? Рукопись? Я рукописи не читаю. Для этого есть отдел прозы. Вы у Зверцева были?

— Зверцев правит Сартра,— бесстрастно произносит незнакомый автор и, сделав два шага, кладет рукопись на стол. А потом добавляет многозначительно:— Вам должно подойти.

Алеко Никитич повидал много авторов. Присылали по почте с большими сопроводительными письмами, с подробным описанием жизни, с перечислением наград, прежних публикаций и, главное, увечий. Передавали через жен и знакомых с просьбами отнестись повнимательней, намекали на ответные услуги в случае публикации, наконец, напрямую пытались всучить взятки— от трехзвездочного армянского коньяка до очереди на мебельный гарнитур. Беспощадный сатирик Гайский даже соблазнял девочками, которых у него, по его же словам, больше, чем у американского певца Джексона. Но такую безапелляционность Алеко Никитич встречал впервые.

— Минуточку,— говорит он,— но вы хоть зарегистрировали вашу рукопись у Зверцева?

— Зверцев правит Сартра,— по-прежнему бесстрастно отвечает автор.

Алеко Никитич звонит Зверцеву.

— Я правлю Сартра,— заявляет тот.— Хочу сегодня вечером отдать на машинку Оле.

Алеко Никитич думает про диалектику и про Сартра, прошедшего славный путь от служителя сомнительного течения,

именуемого экзистенциализмом, до выдающегося деятеля французской и мировой культуры, которого сегодня правит Зверцев — заведующий отделом прозы мухославского журнала «Поле-полюшко». Время движется, безусловно, движется. Только куда? Алеко Никитич хочет сказать автору, что «Поле-полюшко» — серьезный журнал, а не мусорная яма, и что автор еще слишком молод и зелен, и что надо вести себя поскромнее... Но, к удивлению Алеко Никитича, автора уже нет. Он исчез, и Алеко Никитич не заметил как... Алеко Никитич машинально раскрывает тетрадь в черном кожаном переплете и читает на первой странице:

«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом. Поднявшееся над морем солнце бледно-шафрановыми лучами ударило в плотные вишневые шторы, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше отрывалось от моря светило, тем ярче возникала в покоях мадранта иллюзия разговаривающего по ту сторону вишневых штор кровавого зарева...»

— Не про производство, — вслух произносит Алеко Никитич и бросает тетрадь в портфель.

Он закрывает форточку, надевает макинтош, запирает дверь, отдает ключ от кабинета вахтерше Ане и направляется в сторону дома.

III

Беспощадный сатирик Аркан Гайский катастрофически начал лысеть еще в седьмом классе средней школы, что явилось предметом насмешек и колкостей со стороны соучеников и соучениц. Шушукались, поговаривали о причинах столь прогрессирующего облысения, но конкретно никто ничего не знал. Параллельно у Гайского стал уменьшаться нос, и это тоже подбавило дров в костер предположений и догадок. Развившийся комплекс неполноценности предопределил дальнейшее вступление на стезю беспощадной сатиры, к чему уже тогда имелись выраженные способности.

— Лысый! Лысый! Живет с крысой! — говорили ему друзья.

— На себя посмотри! — парировал беспощадный сатирик.

— На экскурсию — по два рубля с носа! — объявлял староста. — С Гайского полтинник.

— На себя посмотри! — пригвождал Гайский.

Постепенно он пришел к выводу, что окружающие его не очень любят. Надо сказать, это не было ошибочным выводом. Но жить в таких условиях не столь уж приятно, и вскоре Ар-

кан Гайский вывел для себя удобную формулу: не любят, потому что завидуют.

Беспощадным его прозвали за то, что в своем творчестве он не щадил никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. Особенно он ненавидел недостатки и пережитки. Когда в Мухославске повысились цены на кофе, он на одном из вечеров позволил себе рискованную шутку, рассказав такую байку: «У попа была собака, он ее любил. Она съела банку кофе — он ее убил».

Забредший после длительного заседания на его вечер председатель мухославского исполкома спросил у своего заместителя: «Откуда взялось это чучело?» Заместитель пожал плечами, но фраза, пущенная председателем, не прошла для Гайского бесследно. До конца жизни он так и не смог стать членом мухославского отделения Союза писателей, хотя кого туда только не приняли: и Бестиева, и публициста Вовца, и поэта Колбаско.

«Завидуют, — повторял Гайский. — Все завидуют!»

— Написать «Войну и мир» просто, — говорил он публицисту Вовцу, который за сто пятьдесят граммов мог слушать Гайского часами, а еще за сто пятьдесят граммов во всем был с ним согласен. — А ты попробуй вскрой, когда тебя душат...

Гайский был многогранен. Он не только читал свои рассказы и фельетоны, но и, приплясывая, пел частушки собственного приготовления.

Его ценили мухославцы и ходили на него, как на женщину с бородой. По-настоящему дружил с ним художник Дамменлибен, которому Гайский всегда одалживал деньги, со вздохом, но одалживал, а Дамменлибен за это охотно иллюстрировал сатирические рассказы Гайского, которые тот килограммами приносил в журнал «Поле-полюшко». Дело было вот в чем: если Дамменлибен брался иллюстрировать чей-нибудь рассказ, то, что бы ни происходило, рассказ всегда появлялся. Порой наполовину сокращенный, порой оставались две строчки, порой выходила одна только иллюстрация Дамменлибена, но все-таки выходила, потому что Дамменлибен пользовался у Алеко Никитича любовью и заслуженным авторитетом талантливого художника, так как интересовался здоровьем Глории и согласен был с Алеко Никитичем, что Поля могла найти себе человека поинтереснее, чем скрипач из мухославского драмтеатра.

Была у беспощадного сатирика Гайского еще одна уже упомянутая страсть — девочки. Так он называл всех особ противоположного пола независимо от возраста. Период активной ловли девочек делился у Аркана Гайского на два больших отрезка: ловля на купальник и ловля на совместную жизнь.

Ловля на купальник началась в тот золотой для предприимчивых людей период, когда наша легкая промышленность, освоив производство черных семейных трусов, еще не предполагала, что такое купальник. Собственно говоря, этот золотой период по-настоящему не кончился и сегодня. С вводом же в эксплуатацию мухославского водохранилища вопрос купальников для местных женщин встал ребром. Тогда-то, будучи в Москве на экскурсии, Аркан Гайский и отхватил в магазине «Ванда» польский купальник с бабочками за 18 рублей 50 копеек. Изначально купальник предназначался незамужней тогда дочери Алеко Никитича, за которой Гайский в то время ухаживал, но когда, возвратившись из Москвы, беспощадный поклонник узнал, что Поля предпочла гневному перу сатирика смычок скрипача, вопрос с подношением отпал, и купальник с бабочками стал дожидаться лучших времен. Однажды, пригласив в гости к себе под видом чтения бессмертных произведений доверчивую лаборантку с химзавода, Гайский начал ее бессовестно домогаться, пытаясь поцеловать в ушко. В ответ на это доверчивая, но гордая лаборантка, читавшая известное изречение из «Мудрых мыслей»: «Умри, но не давай поцелуя без любви», заявила сатирику, что за поцелуй без спроса полагается «подщечина». Тут потерявший, видимо, рассудок Гайский и выложил перед ней купальник с бабочками, высказав предположение, что эта вещь должна быть лаборантке к лицу. Доверчивая, но по-прежнему гордая девушка попросила мужчину удалиться и начала примерку. Последователь Гоголя удалился в соседнюю комнату, но в течение всего процесса примерки кричал сквозь неплотно закрытую дверь: «К лицу! К лицу! Ой, как к лицу!» Гордой, но доверчивой девушке купальник понравился настолько, что она даже не стала его снимать, а, наоборот, надев платье, принялась собираться домой, мотивируя свой уход поздним временем и ранним вставанием на работу. Но здесь разгоряченный щедринец проявил твердость и потребовал немедленно снять купальник, так как делать подарки без взаимности он не намерен, потому что вещь дорогая, итало-французская и стоит двести рублей. Лаборантка вспыхнула, сорвала с себя купальник и, перейдя на «вы», желчно сказала перед уходом: «Эх, вы! Правильно про вас говорят!»

И тут Гайскому пришла счастливая мысль. С этого момента каждой девочке, которую он приглашал в гости, после чтения рассказов и рассуждений о тяжелой доле сатирика предлагался купальник. Во время примерки, как бы невзначай, в комнате появлялся пылкий ученик Зоценко в плавках с золотой рыбкой и предлагал свои отношения. В случае, если купальник подходил — а он подходил всем, так как был безразмерным, — у любительницы сатирической литературы имелись два

выхода: либо забрать подарок себе, поверив в любовь с первого взгляда, либо заплатить двести рублей. Но фатально, что оба выхода оказывались неприемлемыми, и купальник с бабочками оставался у хозяина, а хозяин после этого час остывал под холодным душем, повторяя в сердцах: «Завидуют! Все завидуют!»

И вот однажды Аркан Гайский уговорил на литературный вечер вполне интеллигентную травести из детского театра и с шестым номером бюста. Убедив ее в безысходной доле сатирика и угостив рюмкой портвейна с конфетой «Южная ночь» в синей обертке, Гайский разложил перед ней купальник.

— Беру! — немедленно сказала интеллигентная травести и бросила купальник в сумочку.

Гайский, непонятно каким образом оказавшись в плавках с золотой рыбкой, сразу же стал прыгать на нее, пытаясь достать заветное ушко. Но интеллигентная травести оттолкнула его в солнечное сплетение со словами: «Не сегодня, дурашка!»

— Берете или не берете? — спросил Гайский, поднимаясь с пола.

— Беру! — ответила Гаврош.

— Двести! — сухо произнес писатель.

— Беру! — повторила Красная Шапочка.

— Чеками! — уточнил сатирик. — Это память от мамы.

Выложив четыреста рублей нашими деньгами из расчета один к двум за чек, обладательница купальника предложила коробейнику посетить мухославский вечерний ресторан, обмыть покупку, воскресив тем самым угасшую было в Гайском надежду на продолжение. Но в ресторане выяснилось, что Дюймовочка пьет, как лошадь, да вдобавок к ним за столик подседа ватерпольная команда спичечной фабрики, семеро из которой оказались друзьями девочки. Гайскому это суаре обошлось в четыреста семьдесят шесть рублей, не считая битой посуды и оскорблений в его адрес. Так закончился для него период ловли на купальник, который плавно перешел в период ловли на совместную жизнь. Но этот период остался для беспощадного сатирика незавершенным, чему тоже были соответствующие причины.

IV

Вечером того дня, когда незнакомый автор всучил Алеко Никитичу тетрадь в черном кожаном переплете, Аркан Гайский ужинал с машинисткой Олей, ловя ее на совместную жизнь. Ужин происходил в недорогом, а потому любимом Гайским кафе неподалеку от редакции. Неожиданно за столом возник художник Дамменлибен.

— Зд-д-д-д-о... — начал здороваться Дамменлибен.

— Здравствуй, Теодор,— скучно сказал Гайский, прекрасно понимая, чем все кончится.

— Бардак,— преодолел робость Дамменлибен,— ты Нелли знаешь она умная женщина тещу перевез на дачу бардак здорово Олюха дома все нормально? Аркуля как тебе нравится с работой зашиваюсь дай мне еще пятерку и я тебе буду должен шестьдесят девять для ровного счета щенок всюду гадит бардак здорово Олюха...

— Теодор, ты мой рассказ проиллюстрировал?

Дамменлибен сунул пятерку в карман:

— Мебель подорожала бардак ты мою Нелли знаешь тебе надо жениться здорово Олюха от тебя тот альфонс отстал? Пе-пе-пе-передвигается твой рассказ Алеко звонил юбилейный номер готовится бардак щенок всюду гадит у него рукопись лежит из самотека пацан какой-то принес с голубыми глазами Глории нравится здорово Олюха к тебе этот автор не заходил?

— Нет,— ответила Оля,— я весь день печатала очерк Сверхщенского об истории Мухославска. В юбилейный номер.

— Молодой с голубыми глазами,— продолжал Дамменлибен,— ни фамилии ни адреса турки совсем обнаглели в папу стреляют бардак я у тебя пятерку взял? Петеньке в портфель наложили здорово Олюха мистика про какого-то мад-д-д-д-ранта...

— Про мадранта? — оживился Гайский.— Если это тот парень, с которым меня хотели познакомить в Москве, то он сын очень крупного человека... Мне давали читать... Я сказал тогда, что гениально, но на самом деле муть. Скучища и никакой сатиры... Бред под Маркеса... Но чей-то сынок... Скажи Алеко Никитичу.

— Если пойдет буду иллюстрировать а чей сын помнишь уж ты мою Нелли знаешь...

— Чей, не сказали, но кого-то оттуда... Чушь собачья. Прозу любой может писать, а ты попробуй вскрой, когда душат!..

— Расскажите лучше анекдот, Аркан Гарьевич,— попросила Оля и погладила Гайского по плечу.

Гайский расценил этот жест как аванс, количество адреналина в его крови резко возросло, и он заверещал голосом кукольного Петрушки, входя в образ героев анекдота:

— Однажды один англичанин решил показать другому англичанину свой замок. «Вот здесь,— говорит,— живет моя прислуга. Здесь я принимаю гостей. Это моя столовая, это мой кабинет, это моя спальня...» Открывает он дверь в спальню и видит, что рядом с его женой спит незнакомый мужчина... «А это,— говорит,— моя жена». «А рядом кто?» — спрашивает другой англичанин. «А рядом — я».

Оля дробно захохотала, и Гайский, воспользовавшись этим, поцеловал ей руку.

Теодор Дамменлибен мутно посмотрел на Гайского, пытаясь осмыслить услышанное. Затем, бросив это бесполезное занятие, обратился к сатирику:

— Я у тебя пятерку взял? Бардак здорово Олюха смешно слушай Аркуля возьми мне сто грамм ка-ка-ка-ка...

— Имей совесть, Теодор,— почти вышел из себя Гайский.— Я тебе дал пятерку.

— А т-т-т-ы-ы мне ее дал?— искренне удивился Дамменлибен.— Бардак щенок всюду гадит пойдю Никитичу позвоно здорово Оля ах да я с тобой здоровался...

И Дамменлибен оставил их в покое.

— Не хотите прогуляться по воздуху, Ольга Владимировна?— сказал Гайский.— Могу пригласить к себе. Я написал новый рассказ «Архимед и ванна». О недостатках водоснабжения. Если напечатают, кому-то не поздоровится.

— Мне завтра к девяти в редакцию, Аркан Гарьевич,— мягко отказала Оля.— В другой раз, хорошо?

Аркан Гарьевич потупился:

— У меня к вам серьезные намерения, Ольга Владимировна. Мы с вами две половинки одного сосуда, именуемого счастьем. Нас бросает в океане пошлости и некоммуникабельности и прибывает совсем не к тем берегам, к которым бы нам хотелось. Пойдемте ко мне, Ольга Владимировна, я вам почитаю. У меня дома есть портвейн и кое-что сладенькое. Вы не представляете, как трудно заниматься сатирой. Все завидуют. Все...

Ольга Владимировна вздохнула.

— Вы знаете, кто такой зануда? Это человек, которому легче уступить, чем отказать...

V

Алеко Никитич входит в лифт в восьмом часу вечера и нажимает кнопку шестого этажа. В портфеле у него материал Сверхщенского об истории города Мухославска, который сегодня вечером он должен прочитать и внести необходимую правку, а в голове — мысли о юбилейном номере. Уж так некстати накладывается одно на другое: и семь лет со дня основания журнала, и тысяча двести лет Мухославска, и годовщина с того знаменательного дня, когда Мухославск стал побратимом австрийского города Фанберры. Да еще в порядке того же панбратства и культурного обмена приезжает редактор фанберрского журнала «Диалог» господин Бедейкер, которого

надо будет принять и носиться с ним на высоком уровне. В общем, дел невпроворот.

Он входит в квартиру и застаёт Глорию за своим рабочим столом. Включена настольная лампа. На Глории очки, и это свидетельствует о том, что она читает. На ее коленях дремлет палевый коккер-спаниель Дантон. Алеко Никитич снимает макинтош, влезает в домашние тапочки и подходит к Глории. Она предостерегающе поднимает правую руку: мол, не мешай, подожди минутку, я занята. Алеко Никитич наносит ей поцелуй в затылок и видит, что Глория читает ту самую тетрадку в черном кожаном переплете, которую еще днем он вынул из портфеля и оставил дома.

— Это поразительно интересно, — говорит она, продолжая чтение, — так неожиданно, так свежо, так необычно...

Глория уже несколько лет не работает, но зато занимается активной общественной деятельностью в городском Клубе любителей друзей человека, являясь вице-президентом.

— Где Машенька? — спрашивает Алеко Никитич.

— Машеньку Полина купает, — отвечает Глория, — а у Леонида спектакль.

Чувство неприязни к Леониду возникает под ложечкой Алеко Никитича, но он давит это чувство.

— Мне нужен стол, — говорит он.

— Алик, кто этот человек? — спрашивает Глория.

— А черт его знает. Ворвался в кабинет, минуя Зверцева. Положил передо мной тетрадку и заявил, что Зверцев правит Сартра... Вообще производит впечатление не совсем нормального. Глаза странные какие-то. Но самое интересное, что, когда я позвонил Зверцеву, оказалось, никто к нему не обращался, но он действительно в этот момент правил Сартра.

— У вас идет Сартр? — удивляется Глория.

— Да ни слухом, ни духом! Вам что, говорю, Зверцев, делать нечего, как только Сартра править? И знаешь, что он ответил? Что ему сегодня принесли перевод неизвестной работы Сартра, и он решил его немного поправить и предложить в журнал. Глупость какая-то.

— Сартр — это, разумеется, ваше внутреннее дело, — говорит Глория, — но этот парень, — она указывает на тетрадь, — достоин внимания. Ты только послушай! — Она начинает читать с выражением:

— *«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом...»*

— Да, я просматривал, — пытается отмахнуться Алеко Никитич.

— Нет, ты послушай внимательно! — настаивает Глория. — Какая аллитерация! В одном только первом абзаце два-

дцать пять «р». Это создает напряжение и внушает власть! — И Глория продолжает:

«Поднявшееся над морем солнце бледно-шафрановыми лучами ударило в плотные вишневые шторы, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше отрывалось от моря светило, тем ярче возникала в покоях мадранта иллюзия разговаривающегося по ту сторону вишневых штор кровавого зари.

Четыре фиолетовых арбака методично и плавно обмахивали мадранта благовонными опахалами. И когда мадрант ощущал кожей лба или щек легкое приятное дуновение воздуха, он понимал, что проснулся и что наступило утро. Очередное утро мадранта, утро ревзодов, утро этих фиолетовых арбаков, утро его народа и всей данной ему небом страны.

Иногда мадрант просыпался ночью. То ли от чересчур назойливой мухи, что было явным упущением со стороны арбаков, то ли от слишком сильного дуновения, вызванного опахалами, что тоже являлось оплошностью арбаков, то ли от тяжелого сновидения... Но, независимо от причины, сам факт ночного пробуждения мадранта означал смертный приговор всем четверем арбакам, которых утром наступившего дня бросали на съедение священным куймонам, чтобы не трогать на эту фиолетовую пададь драгоценный свинец, не тупить о них топоры и сабли, не осквернять их вонючими телами благородные морские воды и не отравлять землю погребением их мерзких останков.

Если ночь проходила спокойно, утром арбаков уводили в темные казематы, обильно кормили пищей, приправленной вкусными, но снотворными специями, после чего они спали до наступления ночи...

Мадрант открыл глаза и сразу почувствовал на себе ненавидящие взгляды четырех пар арбачьих глаз. Он усмехнулся. Он не испытывал к арбакам ответной ненависти. Он их просто презирал.

Мадрант презирал пленных и рабов. Рабов — за их молчаливую, беспрекословную покорность, пленных — за то, что они предпочли рабство ради спасения жизни, потому что цепляться за ту жизнь, которая им предоставлялась, даже не за жизнь, а за существование, могли только животные. Но животные цепляются за существование неосмысленно, а эти — сознательно. Значит, они хуже животных...

В последний миг перед пленением еще можно было использовать свое оружие против себя.

Но ведь они почему-то не сделали этого...

Можно затем отказаться от пищи и воды...

Но ведь они не отказываются...

Наконец, можно ударить стражника или плюнуть в лицо какому-нибудь ревзоду...

Но ведь они не ударяют и не плюют.

Значит, они цепляются за то, что никак нельзя назвать жизнью, и надеются на то, на что уже нет и не может быть никакой надежды...

С того момента, как он стал мадрантом, были, правда, выплески... И никогда он не расправлялся с храбрецом, проявившим человеческое начало. Наоборот, и так было всякий раз в случае неповиновения, он собирал на площади эту жалкую толпу, это тупое быдло и возносил до небес непокорного, отдавая дань его смелости и ставя в пример остальному порченому семени.

А потом бунтовщика доставляли на край высоченного обрыва, обрыва Свободы, как нарек его мадрант, и дарили ему последний шанс: он должен был прыгнуть с этой страшной высоты в сверкающее где-то внизу море и либо разбиться о прибрежные камни, либо утонуть, либо стать жертвой акул, которые непонятно почему собирались, как на праздник, под обрывом Свободы в дни подобных экзекуций.

Невелик был последний шанс, но все-таки это был шанс.

И после всего мадрант направлялся к водоему со священными куймонами, и никто не мог слышать, как он просил небо о спасении несчастного гордого одиночки.

Он надеялся, что его молитвы будут услышаны, и это успокаивало его.

Он один хотел, и было только в его власти дать свободу заслужившему ее, но мадрант не мог этого сделать, потому что его бы не поняли, потому что иначе он не был бы мадрантом...

Случались, правда, и раскаяния. Тогда мадрант делал знак рукой, и раскаявшегося отдавали обратно в толпу, после чего до конца дней своих он оставался самым отвратительным рабом даже среди рабов, и это было закономерной расплатой за раскаяние.

В такие дни мадрант находился в прескверном настроении...

...Мадрант трижды встряхнул колокольчик. Глаза арбаков приняли тревожно-вопросительное выражение, но четвертого звонка не последовало, и это означало, что ночь прошла спокойно и что никаких претензий на сегодня к арбакам нет.

Появились стражники и вывели арбаков из покоев. Тогда мадрант встал и подошел к зеркалу.

Ему шел сорок второй год. Кожа лица и тела была упругой и смуглой, даже первые признаки старения еще не проглядывались.

Он сделал десяток дыхательных упражнений, поиграл немного мускулатурой и, довольный самочувствием, раздёрнул плотные вишневые шторы, и, когда солнце ударило его по глазам и он чихнул, мадрант окончательно убедился, что наступил новый день.

Два массажиста (не из рабов) тщательнейшим образом довели его тело до нужной кондиции и передали медику, который после соответствующего осмотра и нескольких манипуляций высказал полнейшее удовлетворение состоянием здоровья мадранта, на что мадрант, в свою очередь, выразил озабоченность неудовлетворительным цветом лица медика.

Медик виновато улыбнулся, потом рухнул на колени и, лоя губами руку мадранта, начал заверять его, что он, медик, неизменно замечатель-

но себя чувствует и это могут подтвердить все три его жены (ранг приближенного медика позволял ему иметь трех жен), а цвет лица, показавшийся высочайшему мадранту неудовлетворительным, объясняется исключительнейшим образом переупотреблением клубники.

Мадрант вяло выслушал объяснения медика и брезгливо погладил его по лысеющей голове. У него сегодня не было в мыслях отстранять медика, чего тот больше всего и опасался, потому что отстранение от особы мадранта означало изменение ранга и лишало отстраненного многих, если не всех, привилегий.

По сути дела, приближенные мадранта, как более, так и менее, тоже были рабами, но в отличие от подлинных рабов, которые знали, что они рабы, эти считали себя свободными, и мадрант играл с ними в сложившуюся веками игру, иначе он не был бы мадрантом».

Глория смотрит из-под очков на мужа. Алеко Никитич дремлет, сидя на диване, посапывая и причмокивая.

— Ты не спи, — говорит Глория. — Ты слушай!

— Я все слышу, — встряхивается Алеко Никитич. — «Иначе он не был бы мадрантом»...

— Это очень здорово! — восклицает Глория. — «Иначе он не был бы мадрантом!» Там дальше есть длинноты и ряд фривольностей, от которых, конечно же, следует избавиться, но в целом... Ты знаешь, звонил Дамменлибен, я ему выразила свой восторг, он бы мог прекрасно проиллюстрировать...

Алеко Никитич, конечно, доверяет безупречному вкусу Глории, но не любит, когда она открыто вмешивается во внутриредакционные дела.

— А вот это уж лишнее, — замечает он, поднимаясь с дивана. — Ни один человек из редакции, — не говоря уже обо мне, не читал, а ты предлагаешь Дамменлибену...

— Я не предлагаю, Алик. Я просто высказала ему свое мнение...

Из ванной выходит Поля, держа на руках закутанную в махровое полотенце Машеньку.

— А вот и дедушка пришел, — напевает Полина и вручает внучку деду.

Машенька сразу же хватается Алеко Никитича за нос.

— Ты была у Рапсода Мургабовича? — спрашивает он.

— Все взяла. Он тебе кланяется и сказал, что заглянет в понедельник по поводу статьи... Представляю, что он тебе напишет.

Алеко Никитич любит дочку, но и ей не позволяет влезать во внутриредакционные дела.

— Что надо, то и напишет! — строго произносит он, пытаясь вырвать свой нос из Машенькиной ручки.

Глория несет Машеньку в другую комнату, и они вместе с Полей приступают к укладыванию.

Алеко Никитич садится за стол и располагает перед собой материал Сверхщевского, по которому уже успел пройти рукой мастера Индей Гордеевич.

**Статья Сверхщевского «Мы — мухославичи»,
написанная для журнала «Поле-полюшко» к 1200-летию
со дня основания родного города,
с правкой и замечаниями Индея Гордеевича
с левой стороны и соображениями Алеко Никитича —
с правой стороны**

<p><i>Невелика птица, чтобы начинать с себя!</i></p>	<p>И. Г.</p>	<p>Я иду по моему старому, но вечно молодому городу. Неспешно катит свои волны величая седовласая красавица Славка, что в районе Сокрестья (ныне мухославские Черемушки) принимает в гостеприимные объятия младшую сестру свою — своенравную Муху. Вековые дубы, которые помнят еще и <u>Чингисхана</u>, приветливо шепчут мне: «Здравствуй, человек! Здравствуй, строитель нового!»</p>	<p>Согласен с И. Г. А. Н.</p>
<p><i>Опять «Я»!</i></p>	<p>И. Г.</p>	<p>А по широкому светлому проспекту Холмогорова спешат к своим рабочим местам улыбчивые и <u>до боли в сердце</u> родные мне мухославичи: люди-труженики, люди-романтики, люди-открыватели. <u>Я иду и думаю: воскресни сейчас, через 1200 лет, кто-нибудь из жителей того древнего Мухославска, он бы не узнал родные места.</u> Неузнаваемо изменился облик города за это время! Гордо раскинула свои корпуса спичечная фабрика — гордость мухославичей! Далеко за пределами страны гремит слава нашего химзавода. В прошлом году <u>мне</u> довелось побывать в далекой Фанберре — городе контрастов. И приятная гордость наполнила сердце, когда на столе мэра Фанберры я увидел знакомый баллон с клеймом родного завода. Простые фанберрцы, узнав, что я из Мухославска, широко улыбались мне и говорили: <u>«Спасибо!»</u></p>	<p>Точнее — вспомнят бегство Чингисхана... А. Н.</p>
<p><i>При чем тут «боли в сердце»?</i></p>	<p>И. Г.</p>	<p>А от главного проспекта во все стороны, словно молодые побеги от могучего ствола, тянутся старенькие улочки и переулки, названиями своими охраняя память недавнего и далекого прошлого... Давно прошли те времена, многое изменилось... Неизменным остался дух родного города, первые упоминания о котором относятся ко второй полови-</p>	<p>Очень хорошо. А. Н.</p>
<p><i>Почему «мне»? Я тоже был в Фанберре.</i></p>	<p>И. Г.</p>	<p>Лучше — «нам довелось». И я был в Фанберре.</p>	<p>А. Н.</p>
			<p>Уточнить, за что «спасибо»! А. Н.</p>

М. б., это лишнее?
И так в городе много мух!

И. Г.

не VIII века. Неизвестный летописец печенежского предводителя Чернилды пишет: **«А шатрами стать в той провалине не сподобились, бо комарья да мух славно»**, **«Мух славно»**... **Быть может, отсюда и пошел Мухославск**. Наш земляк — историк Шехтман М. И. считает иначе. В своей монографии «Предвкусная прошлое» он пишет: «Место, на котором стоит Мухославск, до XII века называлось Сучье болото. В XII веке жители занялись пушным-меховым промыслом и разведением сливовых деревьев, и город постепенно стал называться Мехосливском. С течением же времени фонетическая подвижность, свойственная нашему языку, привела к тому, что «е» заменилось на «у», а «и» — на «а»...».

Уточнить век.

А. Н.

Уточнить века и годы.

А. Н.

Не «пришествисм»,
а «рождении»!
Мы — атеисты!

И. Г.

Много испытаний выпало на долю родного города. В XIII веке во время **татаро-монгольского** нашествия он был сровнен с землей. В смутное время поляки сожгли город дотла. В 1789 году, когда вольнолюбивая Славка вышла из берегов, город был полностью затоплен. Своим третьим и окончательным **пришествием** мы обязаны русскому купцу Никите Евстафьевичу Холмогорову, который в 1863 году основал здесь железоделательные мастерские (ныне спичечная фабрика).

Правильно — «монголо-татарского», если речь идет об иге.

А. Н.

Согласен.

А. Н.

Сейчас в нашем городе — красавец стадион на 150 000 посадочных мест с сауной и современным реабилитационным центром. Каждый восьмой мухославич имеет возможность заниматься любимым спортом, каждый шестой ходит в городской театр музкомедии, каждый пятый пользуется публичной библиотекой им. Глинки, который тоже бывал в нашем городе.

Вот на таком бы уровне!

А. Н.

Не «врачи», а «люди».

И. Г.

«Выходные дни».
Американизмы ни к чему.

И. Г.

Каждые 12 секунд с конвейера нашей фабрики сходит новенькая спичечная коробка, каждые **10 минут** от наших химикатов в далекой Австралии гибнет кролик, каждый второй мухославич регистрируется в городском загсе, а для каждого третьего гостеприимно распахнуты двери больницы, где скромные врачи в белых халатах творят чудеса. В зоне отдыха, что на Мухе прямо под открытым небом, любят проводить уик-энды мухославичи. Богаты рыбой воды Мухи и Славки. И плотвичка идет

Уточнить цифры!

А. Н.

на донку, и ершишко нет-нет да и побалует сердце рыбака. Бежит по проводам электричество — светлый заряд будущего. Я люблю бродить по городу теплым июльским вечером и вдыхать пряный запах аммиака с химзавода, люблю, затаив дыхание, лежать в кустах, любуясь влюбленными, когда в памяти сами собой возникают **пахучие строки мухославского поэта Колбаско: «Я себя мухославицем числю. Будто связана пайкой одной. Если ж вдруг я сбв-жать замыслю, ты держи меня, город родной!»**

У Колбаско можно найти стихи и по-сочнее.

А. Н.

«Господь, а не товарищей!»

И. Г.

И в эти славные дни мы рады приветствовать прибывших к нам **товарищей** из города-побратима Фанберры во главе с господином Бедейкером и сказать им: «You are wellcome to Mukhoslavsk!» Мы рады гостям, у которых добрая воля, но тем, кто приезжает к нам, чтобы выведать, вынюхать, опорочить, **мы в любой момент можем сказать: «Go home!»** **Дубина народного гнева умеет костить, когда понадобится!**

Лучше — «делегаций». Приветствовать «господь» — идеологически неверно.

А. Н.

Тов. Сверхщеницкий! Не надо отожде-стывать себя со всем народом!

И. Г.

И вот я иду по родному городу, затерявшись среди тысяч таких же, как я, влюбленных в свой город, и у всех у нас на лицах светится сегодня одна гордая, счастливая мысль: «Мы — мухославицы!» Впрочем, почему только сегодня? И завтра, и послезавтра, и на века!..

Не надо пугать!

А. Н.

В одиннадцатом часу Алеко Никитичу звонит Дамменлибен. После этого Алеко Никитич минут пятнадцать барабанит по столу пальцами. С-с-с. Вертит тетрадь в черном переплете, словно определяя ее вес, и набирает номер телефона:

— Индей Гордеевич? Привет, дорогой. Не разбудил?.. Тут, понимаешь, рукопись принесли... Мне стало известно, что автор — сын кого-то из Москвы... Вот именно... Вообще ничего... славно написано... Есть аллитерации... Время не наше... С таким, знаешь, восточным колоритом... Нет, к Ближнему Востоку отношения не имеет... Сегодня дочитаю... Я думаю, надо позвонить Н. Р. и посоветоваться... Не сейчас, конечно... Завтра отдам Оле распечатать... Думаю, пока ознакомим Зверцева и Сверхщеницкого... Вот именно... Ну, привет супруге...

Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой голове, пытается прогнать сонного зверька, уже усевшегося на затылке и ласково поглаживающего уши Алеко Никитичу, а потом зовет Глорию. Глория появляется в розовом ночном халате, который Алеко Никитич привез ей из Фанберры, берет тетрадь в черном кожаном переплете и усаживается на диван, закинув

ногу на ногу и обнажив еще достаточно стройные и упругие не по возрасту ноги. Дантон устраивается рядом, положив голову на бедро Глории. Одним движением головы она откидывает назад влажные волосы, располагая их на спинке дивана, и начинает читать с того места, на котором остановилась несколько часов назад...

«...иначе он не был бы мадрантом...»

Приняв завтрак, который состоял сегодня из приготовленного на углях куска баранины и чашки тонизирующего оранжевого миндаго, мадрант проследовал в черный зал, куда обычно вызывал для доклада Первого ревзода.

Первый ревзод никогда не заставлял себя ждать.

Небольшого роста, сутуловатый, с маленькими, стреляющими во все стороны глазами ревзод вошел в черный зал, низко склонил голову, предварительно втянув ее в покатые плечи (он один имел право не становиться перед мадрантом на колени), и произнес, придавая своему голосу убедительность и искренность, ежеутреннее приветствие, сводившееся к тому, что новый день принес новую толику величия и могущества мадранту и его стране, хотя еще вчера казалось невозможным представить себе более могущественное величие и более величественное могущество.

И хотя за много лет мадрант привык к этому, ставшему ритуальным словесному набору и знал ему истинную цену, он ловил себя на том, что введенное в правило Первым ревзодом приветствие порой доставляет ему, мадранту, определенное удовольствие.

Первый ревзод был мудрым человеком и считал мадранта чистым ребенком, которому вовсе ни к чему углубляться своим высочайшим небесным существом в вонь и грязь внутригосударственной свалки. Мадрант рожден мадрантом и должен оставаться мадрантом,

ревзод — ревзодом,

горожанин — горожанином,

раб — рабом.

Государство существует для мадранта.

Рабы — для того, чтобы мадрант их ненавидел.

Женщины — для того, чтобы мадрант их любил.

Горожане — чтобы размножаться и дарить мадранту новых подданных.

Победы — для того, чтобы мадрант стал победителем.

Поражения — для того, чтобы означать начало будущих побед.

Мадрант должен знать то, что делается в стране, а как делается, этим занимается Первый ревзод.

Мадрант должен утверждать то, что ревзод приносит ему на утверждение, и не утверждать то, что, с точки зрения ревзода, утверждению не подлежит. В этом — трудность и мудрость Первого ревзода.

И грош ему цена, если между ним и мадрантом возникает несогласие.

И место тогда Первому ревзоду в водоеме со священными куймонами.

Мадрант приподнял правую бровь, и на лице его возникла еле заметная улыбка, когда Первый ревзод убедительно и доказательно изложил мадранту всю необходимость постройки новой тюрьмы в скале, что возле обрыва Свободы...

Разве увеличилось настолько количество не преданных мадранту горожан, что им стало тесно в старой тюрьме? Разве не лучше использовать усилия и средства, направленные на обеспечение непереданных, для создания заповедной рощи, в которой просторно и приятно могли бы себя чувствовать преданные?

Первый ревзод выдержал паузу, а потом слегка улыбнулся мадранту. («Я понимаю, высочайший мадрант, твои сомнения».) Но разве может увеличиться количество того, чего вообще нет? Преданность горожан, временно или постоянно живущих в старой тюрьме, не вызывает никакого сомнения. Более того, согласно данным опроса вышедших из тюрьмы, приведенным в «Альманахе» Чикиннита Каело, преданность мадранту возросла в два, в три раза, а в отдельных случаях — неизменно. Этим лишь доказывается известное философское определение, что преданность, как песня, не имеет границ. Сегодня она больше, чем вчера, а завтра будет больше, чем сегодня. Таким образом, приглашая в тюрьмы как можно большее количество безусловно преданных горожан, мы стимулируем дальнейший рост их безграничной преданности, превращая тюрьму, по меткому высказыванию того же Чикиннита Каело, в парники преданности.

Мадрант опустил правую бровь, и улыбка сомнения испарилась.

Первый ревзод вновь склонил голову, предварительно отянув ее в покатые плечи, давая понять всем своим видом, что на сегодня нет больше ничего такого, чем стоило бы обременять драгоценный мозг мадранта.

Но мадрант не торопился отсылать Первого ревзода, а Первый ревзод не сомневался в том, что сейчас последует крайне неприятный для него вопрос, на который ему мучительно не хотелось отвечать, ибо считал он, что сам вопрос не достоин того, чтобы его задавал мадрант, ненормален он для мадранта, а раз так, то содержится в этом вопросе какая-то опасность для мадранта. Не должен он интересоваться этой белокурой тварью с потопленного две недели назад чужеземного судна... Конечно, любого капитана любого фрегата есть за что четвертовать, но уж никак не за то, что он немного позабылся с белокурой тварью, прежде чем доставил ее в город. Не предполагал же он, в самом деле, что на нее засмотрится сам мадрант. И что за проблема? Ну, вспыхнул у мадранта факел. Это понять можно. Почему бы и нет. Ну, держи ее где-нибудь в клетке на пожарный случай. Конечно, не в женариуме — законные супруги растерзали бы чужеземку.

Но не помещать же ее в розовый дворец! И для чего? Чтобы в течение двух недель даже пальцем до нее не дотронуться? А только каждый день спрашивать у Первого ревзода: как она и что она?.. Тогда отдай приказ, высочайший мадрант! Кастрируй Первого ревзода, приставай его енухом к белокурой. Твоя воля! И дурак четвертованный капитан фрегата! Зачем было тащить ее с собой? Ненормальность. Определенная ненормальность со стороны мадранта. И опасность для него...

И Первый ревзод ответил ему на уровне своей осведомленности и с той почтительностью, с какой положено отвечать мадранту даже на самый неприятный вопрос: вчера вечером Олвис успокоилась, плавала в бассейне, не отказывалась от еды и к вечеру привела себя в порядок, что сделало ее еще более привлекательной. («Мерзкая личинка!») Что еще? Еще она пела что-то на своем языке приятным голосом. («Гадко квакала!») О чем пела? Все предусмотрено, высочайший мадрант. Специально вызванный Чикиннит Каело перевел ее песню, и вот она...

Первый ревзод развернул перед собой лист бумаги...

Лети, моя песня, через океан и разыщи мою прохладную землю... Расскажи, как вонючий туземец насильно сделал со мной то, что невозможно выразить словами...

(«Да, мадрант, я уже издал указ, предписывающий твоим морякам мыться три раза в день...»)

Но пещера моя заколдована, и каждый, кто проникнет в нее, непременно погибнет... Негодяя велел четвертовать его хозяин...

Что дальше? Дальше ряд специфических обращений:

Лети, моя тихая песня, моя серебристая птичка, моя последняя надежда. Я жду...

Это все, мадрант. Я отдал приказ всем службам молчаливого наблюдения выяснить, о какой заколдованной пещере идет речь. Смело думать, мадрант, что изменившееся поведение чужеземной красавицы («Бледнобрюхая акула!») и ее последние слова говорят о том, что она ждет тебя. Больше ей ждать некого...

Мадрант жестом дал понять ревзоду, что беседа окончена, и закрыл глаза...

Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн. Ее длинные, соломенного цвета волосы касались воды и при каждом, даже едва уловимом дуновении воздуха приходили в ленивое движение, словно водоросли.

Потрясенная, потерявшаяся в невероятном калейдоскопе последних событий, она постепенно возвращалась к жизни. Не будучи от природы чересчур экзальтированной, воспитанная не в традициях излишнего романтизма, она умела адаптироваться в самых неожиданных ситуациях, когда чувствовала, что это не временная случайность, что это надолго, если не навсегда, что надо принимать окружающее, чтобы продолжать жить, принимать, по возможности, не растворяясь

в окружающем, а, наоборот, пытаюсь заставить принять это окружающее удобное для нее, для Олвис, формы.

Отправленная с двумя десятками закоренных убийц на необитаемый остров за потерявший всякое приличие обмен сладкого товара, доставшегося ей при рождении, на деньги, которых она с того же самого рождения была хронически лишена, Олвис очень скоро поняла, что захватившие ее туземцы думают, будто она какая-то чистопородная принцесса, и что в ее интересах поддерживать и развивать эту версию. В противном случае она будет перепробована всем мужским населением этого дурацкого острова (или полуострова?), а потом все женское население разорвет ее на части при полном одобрении того же мужского населения. Поэтому она не отвернулась, а с презрением пронаблюдала, как был четвертован тут же, на палубе, этот вонючий, неотесанный капитан, и даже не поблагодарила, как и подобает гордой чистопородной принцессе, туземного вождя за его естественный, с точки зрения принцессы, акт возмездия.

Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн, когда неслышно появился мадрант. Он скрестил руки на груди и не мигая смотрел на распластавшееся на парапете, обжигавшее его глаза тело, прикрытое легкой желтой тканью, смотрел и не мог оторваться.

Расслабленные в дреме женские контуры, словно затуманенные так же дремавшей желтой легкой тканью, вызывали головокружение своей манящей неконкретностью.

И женариум с полусотней любящих его и воспитанных в духе поклонения красивейших женщин всех пород и мастей утратил привычный смысл, превратился в предмет надоевшей, обременительной ненужности.

Олвис открыла глаза, ощутив почти физическое прикосновение очень властного взгляда, и увидела стоявшего на расстоянии нескольких шагов от нее вождя.

С момента, как она была помещена в этот розовый дворец, вождь навещал ее ежедневно. Он появлялся неслышно и молча, стоя на почтительном расстоянии, смотрел на нее своими темными, широко расставленными (это, кстати, ей нравилось) глазами. Странная, зеленого цвета, свободная одежда (это ей не нравилось) плохо скрывала атлетическую, с могучими плечами (это ей очень нравилось) фигуру. И каждый раз при его появлении Олвис свеживалась, пытаясь прикрыть чем попало обнаженные участки тела, и начинала пятиться к глубокой нише, где находилось ее ложе, награждая вождя взглядом ненависти и брезгливости, заготовив в груди истерический крик гордой принцессы, если вождь сделает по направлению к ней хотя бы один шаг. Но тот, неподвижно простояв некоторое время, уходил, не проронив слова, не проявляя ни раздражительности, ни удивления, ни злости.

Понимая, что такое однообразие может стать утомительным и вызвать со стороны вождя самую неожиданную и опасную для нее ре-

акцию, Олвис еще накануне решила изменить тактику. Это было довольно рискованно, но известный опыт общения с мужчинами и профессиональное чутье убеждали ее в правильности выбранного решения. Вот почему, когда сегодня, открыв глаза, Олвис увидела стоявшего перед ней в стандартной позе мадранта, она медленно поднялась на ноги и посмотрела прямо в глаза вождю. Лицо ее, оставаясь холодным и безразличным, выражало вместе с тем усталость и полнейший отказ от дальнейшего, совершенно бесполезного сопротивления. Легкая желтая ткань медленно сползала с плеч, обнажая грудь, и Олвис вяло, как бы инстинктивно, сделала попытку удержать левой рукой ниспадающую материю.

Мадрант не пошевелился.

Что ты хочешь от несчастной, но гордой женщины, вождь, или, как тебя здесь называют, — мадрат?

Не мадрат, а мадрант? Понятно...

Что ты хочешь, мадрант, от несчастной, но гордой женщины? Ты захватил ее и держишь в клетке, как птичку. Ты хочешь, чтобы птичка спела тебе любовную песенку и ласкала тебя своими ранеными крылышками? Нет, мадрант! Хотя птичка и в твоей власти и ты можешь делать с ней все, что пожелаешь, ты не услышишь любовные трели, когда прикоснешься к ней своими грубыми руками. Ты услышишь одни хрипы ненависти и стоны боли. Птичка бессильна, но она горда и свободна. Она поет тогда, когда хочет, и ласкает своими крылышками лишь того, кого любит!.. («И за что только меня выслали?»)

Мадрант желает утолить свой звериный голод? Мадранту приелась местная пища? Он хочет сделать это сейчас, при солнце?.. Изволь!..

Что же ты стоишь, мадрант? Чего же ты ждешь?..

Желтая легкая ткань окончательно упала на мраморный парапет и соскользнула в изумрудную воду бассейна, став похожей на большую бесплотную медузу.

Мадрант скорее догадался, чем понял, смысл надрывной речи Олвис. Он передернулся и, шагнув к ней, ударил по щеке.

Потому что я — мадрант, а не вонючий четвертованный раб!

Потому что не мне, а судьбе было угодно, чтобы ты оказалась здесь!

Потому что мадрант устал от покорности и раболепия!

Потому что мадрант может полюбить только такое же свободное существо, как и сам мадрант!

Он заметил слезу на горячей щеке Олвис.

Будь проклята рука, которая прикоснулась к тебе и принесла боль!

Будь проклят тот, кто на горе свое увидел, как мадрант поднял руку на беззащитную свободную женщину!

И мадрант вышел из розового дворца.

Через час четверо стражников, охранявших розовый дворец, и два личных телохранителя мадранта, которые могли случайно или не случайно стать свидетелями происшедшей во дворце сцены, были обезглавлены по приказу мадранта без всяких на то объяснений с его стороны.

А на исходе того же дня дворцовый палач Басстио под угрозой быть самому обезглавленным выполнил приказ мадранта и отсек ему правую руку по локоть...

Да, да! Прав Первый ревзод: что-то непонятное происходило с мадрантом, что-то опасное для него. И, видимо, не только для него. Нечто неприятное и холодное возникло где-то глубоко под печенью Первого ревзода. А когда перед закатом взглянул он на Священную гору Карраско, которая, по легендам, разгневавшись тысячу лет назад, подвергла пеплу и огню все живое, когда увидел он над ее вершиной причудливо извивающуюся струйку сероватого дыма, это неприятное и холодное чувство переросло у Первого ревзода в тревогу...»

Несколько раз во время чтения Алеко Никитич начинает дремать, и в сознании его возникает путаница, но путаница реальная и какая-то тревожная... Его настораживает неприятное звукосочетание «Чикиннит Каело», его пугает однорукий мадрант, его страшит дымящаяся Карраско, а Олвис становится похожей на машинистку Олю... Но каждый раз Алеко Никитич приходит в себя и напряженно слушает голос Глории... Она заканчивает чтение в третьем часу ночи... За это время успел прийти из театра Леонид, и Поля кормила его на кухне ужином, просыпалась Машенька, и Глория высаживала ее на горшок... Глория несколько минут продолжает оставаться на диване под впечатлением прочитанного. Она считает, что журналу нужна такая публикация. Именно такая — небесспорная, притчеобразная... Конечно, кое у кого будут нарекания, но журналу необходима сенсация. Зато Алеко Никитичу сенсация не нужна. Он уже видит холодные глаза Н. Р. Он уже слышит назидательный голос Н. Р.: «Что ж это вы, Алеко Никитич, так оскандалились?» И он понимает, что и ответит на этот вопрос сам Н. Р. ...И уже навсегда тает в тумане Фанберра и другие отдаленные специализированные города и поездки, и уже не откликнется на его звонок Рапсод Мургабович, и тяжелым камнем на шее повиснет пенсия, и кто-то другой, может быть, даже Индей Гордеевич, займет его кабинет, а Алеко Никитичу только и останется, что выгуливать Машеньку да измерять себе кровяное давление после каждого похода в магазин. Нет, не нужен скандал Алеко Никитичу... Но, с другой стороны, если автор действительно сын кого-то оттуда? И снова слышит Алеко Никитич иезуитский вопрос Н. Р.: «Что же это вы, Алеко Никитич, совсем в штаны наложили?.. Зарубили талантливое

произведение молодого автора, а?» И опять уплывает навсегда туманная Фанберра, и делает вид, что вовсе не знаком с ним Рапсод Мургабович, и Машенька отрывает его пенсионный нос, и в обычной аптеке нет необычного лекарства против высокого кровяного давления... И откуда свалился только на голову Алеко Никитича голубоглазый сегодняшний блондин?

— Посмотрим, Глория, посмотрим, — зевая, произносит он и направляется в ванную комнату...

VI

Когда рано утром Алеко Никитич и Индей Гордеевич запирались в кабинете, предварительно вызвав туда же Зверцева, или критика Сверхщенского, или Свища из отдела Пегаса, остальные сотрудники журнала «Поле-полюшко», перемигиваясь, сообщали друг другу полусшепотом: «Пугают друг друга». И если кого-то очень интересовало, что именно происходило в кабинете, то, приложив ухо к двери, он мог услышать следующее:

Алеко Никитич (*таинственно*). А не кажется вам, Индей Гордеевич, что этот автор...

Индей Гордеевич (*вникая*). Кажется, Алеко Никитич, кажется. Еще как кажется. Мне и раньше казалось.

Зверцев. Мне вообще-то так не казалось, но если вам кажется, Алеко Никитич...

Алеко Никитич (*демократично*). Не только мне. Индею Гордеевичу тоже кажется.

Индей Гордеевич (*поспешно и не сомневаясь*). Безусловно кажется.

Сверхщенский (*многозначительно*). История, между прочим, помнит случаи, когда аналогичным образом хоронились гениальные творения.

Свищ (*торопливо, испуганно*). Счастье-то какое, Алеко Никитич, что вам вовремя показалось. А мне, каюсь, и в голову не могло прийти... Молодой еще, молодой... Вот урок-то всем нам... Счастье-то какое...

Алеко Никитич (*удовлетворенно*). Я, честно говоря, сначала думал, что мне показалось... Но вот и Индею Гордеевичу тоже кажется.

Свищ (*не без самобичевания*). Ой, и глупый же я! Учить, учить меня надо! Просто не понимаю, как это мне сразу не могло показаться?!

Алеко Никитич (*предостерегающе*). Того и гляди угодили бы в какую-нибудь белогвардейскую газетенку... (*Озорно*). А вот мы сейчас перебродим Н. Р. да себя и перепроверим... (*Набирает номер, в трубку*). Ариадна Викторовна, Н. Р. у себя?.. Со-

едините, милая!.. Добрый день!.. Как здоровье?.. Супруга как? Ну и отлично! Привет ей... Хочу вам тут один абзац прочитать... *(Читает абзац.)* Ну, что скажете? Нравится? Нам тут тоже нравится... А не кажется ли вам, что... Кажется? Вот и мне кажется...

Индей Гордеевич *(громко)*. Мне тоже кажется!

Алеко Никитич *(снисходительно)*. И Индею Гордеевичу кажется...

Свищ *(на очень высокой ноте)*. Ох, урок нам всем! Подлинный урок!

Алеко Никитич *(предлагая)*. Там мы, пожалуй, этот абзац снимем?.. Так и сделаем... Извините, дорогой, за беспокойство...

В это утро, попугав друг друга некоторыми строчками и абзацами, Алеко Никитич, Индей Гордеевич, Зверцев, Свищ и Сверхщенский приступили к более глобальной проблеме.

Позиция Алеко Никитича была твердой.

— Мы должны решить для себя главный вопрос, — сказал он. — Печатать или не печатать.

— Вам и решать, — заметил Сверхщенский. — Вы один и читали.

— Ольга Владимировна закончит работу к четырем часам, — сказал Алеко Никитич, — и все сможете прочесть. Но поверьте мне — дело не в содержании. Дело в принципе. Выяснилось, что автор — человек не с улицы. Отказав ему, мы можем иметь неприятности.

— Ой, зачем нам неприятности! — залопотал Свищ и заморгал веками. — Неприятности-то нам зачем? Печатать, печатать...

— А если это бред сивой кобылы? — возразил Сверхщенский.

Встрял Индей Гордеевич, который не очень любил Сверхщенского за его эрудицию.

— Выбирайте выражения, Сверхщенский! Алеко Никитич не ставил бы вопрос о публикации заведомо слабого произведения!

— Безусловно, — кивнул Алеко Никитич, — повесть неординарная, хотя и небесспорная.

— А точно известно, что автор не с улицы? — спросил Зверцев.

— Есть такое мнение, — ответил Алеко Никитич. — Но, конечно, проверить бы не мешало... Главное, он исчез. Никто его не видел, не знает... Фамилия на рукописи отсутствует...

— Фамилия, даже когда она есть, может всегда оказаться псевдонимом, — заметил Индей Гордеевич.

— Я бы вообще псевдонимы запретил,— вставил Свищ, который свои стихи в журнале печатал под фамилией Улин.— Фамилия — как родители: не выбирают...

— А с тобой как быть? — поинтересовался Зверцев.

— У меня жена Уля,— обиделся Свищ.— Это родной человек. Сибиряк, например, был Мамин. В честь мамы. Совсем другое дело.

— Слушайте, что вы ерундой занимаетесь! — повысил голос Индей Гордеевич.— Здесь серьезная проблема. За автором стоит ответственная, может быть, даже слишком ответственная личность.

— В конце концов у нас журнал или пансион для детей ответственных личностей? — выпалил Сверхщенский.

Это уже было чересчур, и Индей Гордеевич сказал строгим, хорошо поставленным голосом:

— Покиньте кабинет, Сверхщенский! Пойдите и подумайте, почему у вас в очерке о Мухославске сплошное ячество и американизмы!

Сверхщенский вспыхнул и выскочил из кабинета, так хлопнув дверью, что с потолка посыпалась штукатурка, запачкав пиджак Алеко Никитича.

— Ой, горячий! — запричитал Свищ.— Честный, но горячий! Учиться сдерживать себя надо! Ой, как надо!..

— Гнать его пора,— буркнул Индей Гордеевич.

— Если мы, старина, всех разгоним,— улыбнулся Алеко Никитич, стряхивая с плеча штукатурку,— так мы с вами в лавке вдвоем останемся...

— И, уверяю вас, больше будет толку,— подытожил Индей Гордеевич.

— Ну, вот что.— Алеко Никитич принял решение.— Поскольку мы здесь все ни к какому мужскому выводу не пришли, ступайте и работайте, а я еще посоветуюсь с Н. Р. Только не болтайте до поры до времени каждому встречному.

— Да я язык себе вырву,— начал пятиться к двери Свищ,— да под пытками смолчу...

Оставшись наедине с Индеем Гордеевичем, Алеко Никитич набрал номер телефона:

— Ариадна Викторовна?.. День добрый! Как здоровычко?.. Ну и отлично... Супругу кланяйтесь... Сам у себя?.. Соедините, милая... День добрый!.. Как здоровье?.. Супруга как?.. Ну и отлично... Тут вот какое дело. Посоветоваться надо... Лучше бы не по телефону... Завтра? Записал... В десять пятнадцать?.. Записал... Не опаздывать? Записал... Извините, что оторвал, но дело уж больно щекотливое... Супруге кланяйтесь.

— И от меня супруге привет,— придвинулся Индей Гордеевич, но Алеко Никитич уже повесил трубку.

— Зачем быть умнее кондуктора? — сказал Алеко Никитич. — Как решит, так и сделаем.

И Индей Гордеевич покинул его кабинет. Он отправился к себе, заперся на ключ и стал петь «Пролог» из оперы Леонкавалло «Паяцы». Он любил попеть наедине арии из опер, снимая таким образом нервное напряжение. И все в редакции знали: упаси боже в такую минуту заглянуть к нему в кабинет...

С-с-с... Алеко Никитич идет по редакционному коридору в сторону комнатки, где сидит Ольга Владимировна. Он входит к ней и застаёт ее печатающей. Она сидит на высоком стульчике, подложив красненькую подушечку, и сдувает спадающие на глаза волосы, так напоминающие Симины, Симулины. Алеко Никитич запирает дверь изнутри, подходит к Оле, Оленьке, к ласточке... «Да что это вы, Алеко Никитич?» — шепчет Оля, подставляя ему свои губы.

Только все это грезится Алеко Никитичу, все это ему представляется, пока идет он по редакционному коридору в направлении комнатки, где сидит и печатает машинистка Ольга Владимировна. С-с-с.

А она сидела в своей маленькой комнатке в конце коридора, подложив на стул, как всегда, красную подушечку, и гнала к четырем часам принесенную ей утром новую рукопись из тетрадки в черном кожаном переплете. Почерк был незнакомый, не очень разборчивый, так что время от времени ей приходилось склоняться над тетрадкой, и тогда вымытые с ночи волосы спадали на глаза, и она сдувала их, выпятив искусанную нижнюю губу. И по мере того, как она все больше и больше углублялась в содержание, чувство безграничной жалости помимо ее воли заполняло каждую клеточку тела. В горле сформировался затруднявший дыхание комок, и в конце концов она даже вынуждена была оторваться от работы и выпить валериановых капель, которые всегда держала при себе вахтерша Аня. Ольга Владимировна ясно представляла себя на странном и знойном заброшенном острове, запертой в роскошном дворце, без малейших шансов обрести свободу. Она находила много общего в Олвис с собой и со всеми женщинами, с которыми когда-либо была знакома, о которых когда-либо что-либо читала или слышала, переживая даже за тех женщин, о существовании которых ей было абсолютно неизвестно. И сколько ни пыталась Ольга Владимировна отделаться от навязчивых ощущений, ничего у нее не получалось. Она решила, что заболела, причем могла сказать, когда заболела: сегодня утром, едва раскрыв тетрадку в черном кожаном переплете.

Без стука вошел Алеко Никитич и спросил, как дела.

— Успею, — сказала Ольга Владимировна и шмыгнула носом. — К четырем успею.

— Что с вами? — наклонился к ней Алеко Никитич. — У вас что-то случилось?

— Ничего, Алеко Никитич. Так. Нашло.

— Вас обидели?

— Кто меня может обидеть, Алеко Никитич...

— Вас никто не посмеет обидеть, Ольга Владимировна. — Алеко Никитич произнес это с какой-то новой для себя и для Ольги Владимировны интонацией. Ей даже показалось, что она не машинистка, а он не хозяин журнала... А так... Встретились просто два человека, и один интересуется, как живет другой. Ольга Владимировна с некоторым удивлением взглянула на Алеко Никитича.

— Да я и необидчивая, Алеко Никитич...

— Вы все в той же коммуналке в Рыбном переулке?

— А где же?

— С мужем не сошлись?

— Еще чего.

— Завтра я буду по делам в одном месте и поставлю вопрос о предоставлении вам отдельной квартиры.

— Не беспокойтесь, Алеко Никитич. У вас и так столько забот...

Алеко Никитич пометил что-то в своей записной книжечке и сказал:

— Постарайтесь к четырем успеть, Ольга Владимировна... Кстати, вам нравится?

— Какая разница? — вздохнула Ольга Владимировна. — Вы же все равно не опубликуете...

— Почему вы в этом уверены?

— Мне так кажется.

— А вот и неизвестно, Ольга Владимировна, — загадочно произнес Алеко Никитич и вышел.

И Ольга Владимировна заработала дальше...

«Двадцать девять дней мадрант не выходил из покоев, не принимал Первого ревазда, не интересовался государственными делами, и о его существовании можно было судить лишь по тому, что за это время в водоем со священными куймонами были брошены двенадцать арбаков, так как ночи мадрант проводил беспокойно. Правая рука — если можно было назвать правой рукой то, что осталось, — время от времени давала себя знать. Иногда мадрант просыпался среди ночи от того, что явственно чувствовал, как горит его правая ладонь. Перед глазами возникало лицо Олвис, ее пылающая щека, ее не столько испуганные, сколько удивленные, наполнившиеся слезами глаза. И однажды мадрант среди ночи даже потребовал, чтобы немедленно доставили к нему дворцового палача Басстио. И когда заспанный Басстио появился в покоях мадранта, то был совершенно обескуражен приказом сей же

момент отсечь повелителю правую руку по локоть. Тогда Басстио пролепетал, что не может исполнить высочайший приказ по причине того, что уже однажды со свойственной ему, дворцовому палачу и наипреданнейшему слуге, точностью и аккуратностью он аналогичный приказ выполнил. Мадрант пришел в себя, отпустил Басстио, пригрозив выдрать ему язык, если хоть одна душа узнает об этом ночном недоразумении, и долго еще сидел на своем ложе, шепча молитвы и внимательно разглядывая обрубок, как бы убеждаясь в истинном отсутствии своей правой ладони.

Неоднократно вспыхивало в нем желание явиться к Олвис, но гордость и опасение, что она может уступить ему только из покорности и страха, останавливали мадранта, и он лишь глухо рычал, не имея внутренних сил ни проследовать в розовый дворец, ни обуздать желание.

На исходе тридцатого дня, когда последние рыбаки уже возвращались на берег и отзвучали вечерние молитвы, когда город опустел и уснул, оставив бодрствовать только ночную стражу, когда окончательно погрузился он в липкий, не давший облегчения после дневного зноя мрак, мадрант в сопровождении двух телохранителей покинул дворец и отправился на окраину к проклятым зловонным болотам, где стояла старая ободранная лачуга, известная горожанам как «логово Герринды». Шедший впереди телохранитель резко раздернул бамбуковый занавес у входа и ворвался в лачугу. Убедившись в том, что никакая опасность не угрожает мадранту, он знаком пригласил его войти, а сам вместе с напарником остался у входа.

Сидевшая на полу с поджатыми ногами Герринда даже не шелохнулась. Уставившись своими мертвыми глазницами куда-то вдалеку, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то. Ее нисколько не удивил ночной визит мадранта.

«Я знала, мадрант, что ты придешь именно сегодня, я знала это уже тридцать дней назад, когда почувствовала жестокую боль в правой руке, будто палач Басстио отсек мне ее по локоть. Когда шел тебе только второй год, мадрант, и отец твой уходил в Великий Морской Поход, я знала, что вернется он из похода опозоренный, потерявший все свое воинство, спасшийся лишь моими молитвами. Я знала, что ворвется он в мои покои (а ведь я тогда жила во дворце, мой мадрант!) глубокой ночью, такой же душной, как эта ночь, в бессильной ярости выместит на мне всю горечь и весь позор своего поражения и прикажет выжечь мои глаза, в которые накануне Великого Морского Похода взглянула кровавая звезда Арристо и предсказала скорый и неминуемый позор. Твой отец назвал меня виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на него и его страну, и прогнал на эти проклятые ядовитые болота, под страхом смерти запретив людям не только общаться со мной и помогать чем-либо, но и велел обходить мою хижину дальней дорогой как страшное место, в котором поселилась смерть. Твой отец не мог умертвить меня, может быть, побоявшись навлечь на себя еще

более тяжкие напасти, а может быть, потому, что любил меня. Вот почему, когда тридцать дней назад я почувствовала, будто не тебе, а мне палач Басстио отсекает правую руку, я знала, что сегодня ночью ты появишься здесь».

Вот почему, когда мадрант вошел в хижину, сидевшая на полу с поджатыми ногами Герринда даже не шелохнулась. Уставившись своими пустыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то.

Мадрант опустился перед Герриндой на колени, и она погладила его волосы своей морицинистой рукой так, как гладит мать сына, который неожиданно вдруг задает ей совсем не детский вопрос.

«Ты стал взрослым, мадрант. Ты долго оставался ребенком, потому что окружавшие тебя реводы, горожане и рабы хотели, чтобы ты как можно дольше оставался ребенком, благодаря которому можно удобно устроиться в этой жизни. Рабам — в рабской, горожанам — в городской, реводам — в реводской. Но ты стал взрослым, мадрант, и небо, бывшее над тобой сорок два года безоблачным, затягивается тяжелыми черными тучами. Взгляни на Священную гору Карраско. Она сердится. Это дурной знак, мадрант. Я слышу вой чудовищного огня и грохот исполинских волн, которые рождаются из пучины и устремляются навстречу этому огню. И в хаосе, возникшем при их соприкосновении, погибнет все живое. Ты породил силу, мадрант, которая тебя же и погубит. Но еще не поздно, мадрант, умилоstitь Священную Карраско и вызвать ветер, который разгонит тяжелые тучи и снова сделает небо над тобой безоблачным. Расстопчи в себе свободного человека, мадрант! Стань шакалом и утоли голод шакала, используя силу и коварство шакала, наешься досыта, до икоты, а потом выблюй все, что еще недавно было ароматным, заветным и желанным плодом, и усни в этой блевотине. Когда же очнешься, брось пленницу куймонам, чтобы никогда не напоминала она тебе о том, как ты стал шакалом. И ты снова будешь ребенком, мадрант! Удобным для всех ребенком. И умрешь ребенком в глубокой старости. И будут оплакивать твою смерть и рабы, которых ты же и сделал рабами, и реводы, которых ты же и сделал реводами. Но потом, являясь каждый раз в новой жизни, в иной плоти, ты будешь или змеей, или шакалом, или рабом, и никогда не дано тебе будет ощутить высшее телесное и духовное наслаждение, и твоя обрубленная рабская рука, или шакалья лапа, или крыло стервятника всегда будут напоминать тебе то далекое время, когда ты мог стать, но не стал свободным. Еще не поздно, мадрант! Еще ты можешь выбрать. Впрочем, будет так, как должно быть, потому что я не знаю, мадрант, кем ты был в прошлой жизни — леопардом или корабельной крысой...»

Мадрант поднялся и молча вышел из хижины.

Герринда по-прежнему смотрела своими пустыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену, и словно бы вслушивалась во что-то...»

VII

Бестиев появляется всегда тихо и неожиданно. Как правило, без стука. Он — модный автор журнала. Его печатают в Москве. Его переводят за границей. Он туда ездит. Он дарит всем сувениры. Он делится своими впечатлениями. Мозг его отличается от прочих человеческих мозгов. У него развит анализ. Но совершенно отсутствует синтез. Извилины не переплетаются, как у других. Они расположены в виде аккуратных столбиков. Столбиков этих много. Друг с другом они не соприкасаются. Друг от друга не зависят. Друг на друга не влияют. Он задает однозначные вопросы. Он хочет получить однозначные ответы. Каждый столбик — отдельное понятие. Один столбик формулирует вопрос. Другой столбик ищет ответ.

Бестиев возникает в комнатке Ольги Владимировны вдруг. Она даже вздрагивает. Бестиев густо пахнет женскими французскими духами. Других духов в Мухославске нет. Он смотрит на Ольгу Владимировну. Неотразимо. Он так считает. Ему так говорили. Он сует нос в тетрадку.

— Что печатаешь?

— Срочную работу.

— А меня когда закончишь?

Он ухватывает Ольгу Владимировну за пальчик.

— Когда это сделаю.

Ольга Владимировна высвобождает пальчик.

— Нет, скажи точно.

Он успевает оценить себя в зеркале.

Он себе нравится.

— Не знаю. Может быть, завтра. Или послезавтра.

— Нет, скажи точно — завтра или послезавтра?

Он гладит плечико Ольги Владимировны.

— Видимо, послезавтра.

Она отстраняется.

— Видимо или точно?

— Не знаю.

— А кого печатаешь?

Он опять смотрится в зеркало.

— Не знаю.

— Скрываешь... Чего это у тебя на шее?

Он касается шеи Ольги Владимировны.

— Цепочка. Ты мне мешаешь, Бестиев.

Она отодвигается.

— Ну, чья рукопись-то?

Он закуривает.
— Не знаю.
— Ну, скажи, чья? Вовца?
Он шумно затягивается.
— Нет.
— Чего скрываешь-то, а?
Он шумно выпускает дым. Прямо в Ольгу Владимировну.
— Я не знаю, чья. Ты дымишь мне в лицо.
— Дай почитать-то.
Он смотрится в зеркало.
— Начальство не велело.
— Кто не велел-то? — Он поправляет волосы. — Никитич?
Ей становится скучно.
— Индей? — Он шумно затягивается.
Ей начинает надоедать.
— Кто не велел-то?
Он цапает со стола готовую часть.
Он смотрится в зеркало.
Он плюхается в кресло рядом с Ольгой Владимировной.
— Чья рукопись-то?
Ольга Владимировна возобновляет работу.
Бестиев шумно курит.
Бестиев читает.

«Предоставленная самой себе, лишенная каких бы то ни было развлечений, Олвис изнывала от скуки, слоняясь по розовому дворцу, который уже успел надоесть ей своим великолепием. И однажды она высказала это Первому ревзоду во время его очередного утреннего посещения с целью справиться, по велению мадранта, о состоянии ее здоровья и самочувствии.

Ревзод, испытывая отвращение и ненависть к пленнице, вынужден был тем не менее доложить о ее недовольстве мадранту, не забыв добавить и то, что в женариуме стало известно о пребывании чужеземки в розовом дворце и что супруги по этому поводу царапают себе лица в раздражении и отчаянии, ибо можно понять, высокий мадрант, всю горечь и печаль тоскующих и любящих, но незаслуженно преданных забвению женщин.

Мадрант опустил голову и задумался. Он прекрасно понимал скрытый смысл этого сообщения Первого ревзода. Его наиболее любимые жены имели огромное влияние не только на Первого ревзода, и тот как бы заранее умывал руки в случае, если вдруг Олвис будет найдена в розовом дворце мертвой, в результате, допустим, отравления. Мадрант утаил эти свои мысли от ревзода, но вполне понятно, что молодую женщину не радует одиночество, и пусть ревзод сегодня передаст Олвис одного из лучших псов мадранта в качестве дара. Мадрант надеется, что этот пес сделает ее существование более приятным, а кроме того,

Первый ревзод должен принять к сведению, что с этого момента все кушанья, предназначенные для Олвис, должны в первую очередь скармливаться псу, за жизнь которого ответит не только дворцовый повар. И мадрант, усмехнувшись, приподнял правую бровь, из чего («Твоя воля — закон, мадрант») Первый ревзод понял, и очень отчетливо, что не только дворцовый повар ответит за жизнь пса.

Рредос, так звали пса, был огромен и совершенно невероятной породы. У себя на родине Олвис никогда не встречала таких собак. Даже в королевской коллекции, которая насчитывала около трехсот разновидностей, не было ни одного хоть сколько-нибудь похожего экземпляра. Это был жесткошерстный, ровного свинцового цвета кобель со свиревой мордой, напоминавшей по форме морду скорее моржа, чем собаки. Когда он зевал, его черная пасть становилась похожей на пещеру, вход в которую окаймляли, словно отполированные скалы, беломраморные клыки. Голова его доходила Олвис почти до плеча, хотя никто не считал ее миниатюрной. Олвис даже показалось, что с появлением Рредоса в просторном розовом дворце стало теснее.

Она довольно скоро привыкла к псу и даже начала позволять себе разные забавы, которые доставляли ей массу удовольствий. Плавая в бассейне, например, она незаметно следила за разлегшимся на парапете Рредосом. Тот вроде дремал и не проявлял ровным счетом никакого интереса к купанию хозяйки. Но стоило Олвис сделать вид, что она тонет, Рредос молнией бросался в бассейн и уже через несколько мгновений вытаскивал ее на парапет, не оставив на теле ни малейшей царапины. Игра повторялась неоднократно, но с неизменным результатом. Причем Рредос не обнаруживал ни усталости, ни раздражения. И когда в очередной раз Рредос выволок Олвис из воды, она увидела стоявшего возле парапета мадранта. На сей раз взгляд его был спокоен и мягок. Лево́й рукой он молча протянул ей желтую легкую ткань, и Олвис завернулась в нее с тем непринужденным изяществом, с каким делают это женщины, знающие цену своему телу. Она благодарна мадранту за заботу и внимание («Пес, конечно, прелестный, но неужели этот странный вождь хочет выдать меня за него замуж?») и считает, что такой пес действительно заслуживает ее любви и привязанности.

Мадрант отрицательно покачал головой. Это просто так принято, что у мадранта должны быть любимые собаки, любимые ревзоды, любимые рабы. На самом же деле Рредос всего лишь ненавистен ему менее других. Мадрант погладил пса и протянул ему свою левую руку. Огромное животное ласково лизнуло ее. Мадрант может приказать — и пес разорвет первого вошедшего сюда человека. Мадрант прикажет — и пес полезет в костер и заживо сгорит, потому что так приказал мадрант. Ради него этот сильный зверь, который в схватке не уступит и леопарду, может стоять в противоестественной позе столько, сколько заблагорассудится мадранту, потому что так хочется мадранту, верно, Рредос?

Пес вывалил из пасти язык, и Олвис показалось, будто виноватая улыбка мелькнула на его безвольной морде.

Ты видишь, Рредос, что прекрасная чужеземка, слабое и незащищенное существо, выше и благороднее тебя? Она лучше примет смерть, нежели сделает что-либо, противоречащее ее собственной натуре, даже если этого потребует сам мадрант!

А в ушах Олвис звучали совсем иные слова из совсем иной жизни. («Сколько ты стоишь, красавица?»)

А теперь попрыгай на задних лапках, Рредос!

(«Нет, дружок, это будет стоить дорожке».)

Ну-ка, покажи, Рредос, прекрасной гостье, как палач Басстио лишает головы тех, кто не согласен с мадрантом!

(«Вот это, дружок, другое дело. Поедем ко мне, или у тебя есть крыша над головой?»)

Не надо, мадрант, издеваться над животным. Прошу тебя, мадрант...

Слышишь, Рредос, разве это издевательство?

Мадрант широко расставил ноги и взмахнул толстой кожаной плетью с железным наконечником. Пес только слегка вздрогнул, приняв страшный удар плетью.

Разве больно Рредосу?

Пес лизнул плеть. Еще один взмах, еще один удар. Рредос продолжал стоять на задних лапах, виляя хвостом, и лишь на миг вспыхнул в его глазах недобрый огонек, но тут же погас.

Лицо мадранта приняло презрительное выражение. Раб обожает своего хозяина, правда, Рредос?

Отвечай! Отвечай! Один из ударов пришелся по передним лапам, и тогда Рредос глухо и сдержанно зарычал.

Раб любит своего господина!

Мадрант вытянул руку с плетью, и пес лизнул ее. Глухое рычание перешло в поскуливание, выражавшее не то преданность, не то боль. Мадрант отбросил плеть в сторону и схватил пса за ухо. И тут Рредос вырвался и кинулся на мадранта. Олвис вскрикнула, но мадрант выставил вперед ногу, и Рредос лизнул ее.

Вот что такое настоящая любовь, Олвис!

Но не боится ли мадрант, что однажды цепь преданности, на которую посажена ненависть, лопнет?

Мадрант усмехнулся. Скорее небо упадет на землю, чем произойдет то, о чем говорит Олвис. Не хватит на всей земле драгоценного металла, из которого будет отлит памятник тому, кто открыто поднимет руку на мадранта. Вот почему мадрант благодарит судьбу за то, что она послала ему свободное существо в облике Олвис («Не разыгрывай принцессу, красавица! Я заплатил тебе столько, что ты можешь обслужить целую когорту вместе с лошадьми!»), но мадрант убьет ее, если почувствует в ней рабыню. Верно, Рредос? Что будет

с божественной чужеземкой, если она обманет мадранта, проявив себя жалкой рабыней?

Пес повалился на паранет всем своим громадным телом и, дернувшись несколько раз, превратился в труп.

Браво, Рредос! Ты заслуживаешь возвышенной оды!

Мадрант прославляет тебя и все твоё собачье отродье!

Ты ненавистна мне, ставшая доброй собака!

Рабски покорною сделал тебя твой хозяин

И, усмехаясь довольно, зовет своим другом.

Жалко виляя хвостом, ты его ненавидишь,

Мерзко скуля, со стола принимая объедки.

Острые зубы твои и клыки притупились.

Задние лапы во сто крат сильнее передних.

Пусть же палач две передние вовсе отрубит,

Чтобы они не мешали служить господину.

Ты и рычишь-то на тех, кто намного слабее,

Чья незавидная доля похуже собачьей.

Да и раба своего в человечесьем обличье,

Как и тебя, господин называет собакой.

Встань ото сна, напряги свои лапы, собака!

Ночью к обрыву Свободы сбеги незаметно,

Там о скалу наточи свои зубы и когти.

И доберись ты до самого края обрыва,

Чтобы оттуда пантерой на грудь господина

Прыгнуть — и вмиг разорвать его горло клыками,

И распороть его сытое, жирное брюхо,

И утолить свою жажду хозяйскою кровью,

И отшвырнуть эту падаль поганым шакалам,

И возвратить себе гордое имя — Собака!

Олвис, как замороженная, слушала мадранта. Эти слова и ярость, с которой они были произнесены, поразили ее. Ты мог бы стать поэтом, мадрант. («Я не лъщу ему: лесть повышает оплату».) Ты мог бы выступать на городских площадях, и толпа уносила бы тебя на руках, повторяя и скандируя твои слова. Ты мог бы увести эту толпу за собой на край света, и после смерти имя твоё было бы высечено на скалах и памятниках. Ты улыбаешься, мадрант («Напрасно он улыбается, я говорю это вполне серьезно»), а я это говорю вполне серьезно...

Мадрант приподнял правую бровь. Эта женщина даже не знает, насколько она права, но мадрант не может быть поэтом, ибо поэт свободен и независим от мадранта, если он настоящий поэт. И тогда он становится врагом мадранта. Слова, рожденные поэтом, подчиня-

ются только ему, а не мадранту. И если бы мадрант возлюбил поэта как друга своего, то он не был бы мадрантом. И если бы поэт возлюбил мадранта как друга своего, то он не был бы поэтом. И разве не понимает женщина, в чьих жилах течет нерабская кровь, что это истина?

Лицо Олвис вытянулось в недоумении, а потом она начала хохотать («Слышал бы это мой покойный папаша!»).

Что смешного в словах мадранта? Разве она не дочь великого вождя?

И Олвис стала хохотать еще больше, и по щекам ее покатались слезы, при виде которых вновь ощутил мадрант болезненный жар отрубленной руки. И мадрант помрачнел. И тогда Олвис перестала смеяться.

Она вдруг приблизилась к мадранту и на какое-то мгновение приклонила голову к его плечу. Это неожиданное прикосновение обожгло мадранта, вызвав внезапную дрожь во всем теле.

Что-то жадно-шакалье почувствовал он в этой дрожи, и что-то ненастоящее в ее потупленном взгляде, и какую-то зависимость от него самого и отсутствие той самой последней необходимости, когда уже нет другого выхода, когда может быть только так и никак иначе.

И увидел мадрант в проеме дворцового окна похожую на шутовской колпак вершину Священной Карраско и отметил, что струйка зловещего серого дыма не растворяется уже в безоблачном небе, а сворачивается в густое и неподвижное темное облако. И, поклонившись Олвис, мадрант вышел, а она сбросила с себя легкую желтую ткань и нырнула в бассейн («Он действительно начинает мне нравиться, черт возьми!»), а когда выбралась на парапет, почувствовала, что голодалась...»

Бестиев вникает.

Вернее, пыгается вникнуть. Изю всех сил. Он снова закури-вает. Он покрывается потом. Он перечитывает несколько раз. Одно и то же место. Он ерзает.

— Чего-то я не пойму.— Это он Ольге Владимировне.— Действие когда происходит-то?

Он нервничает. Он выходит из комнаты.

— Пять тысяч лет назад?— Это уже Зверцеву.— Десять тысяч лет?— Это Свищу.— В какой стране?— Это Сверхщенскому.— В какой стране-то? Я читал Плутарха. Я читал Костомарова.— Это Индею Гордеевичу.— Не было такой страны. В Атлантиде, что ли?— Это Алеко Никитичу.— Так не было никакому Атлантиды-то!— Опять Ольге Владимировне:— Мадрант—кто? Диктатор? Консул? Вождь?— Снова Зверцеву:— А ревзод кто? Не было таких званий!— Теперь Свищу:— Я за то, чтоб ясно было.— Шумно выпускает дым в лицо

Сверхщенскому: — У Достоевского все понятно. — Откручивает пуговицу на пиджаке Индея Гордеевича: — Руку-то зачем рубить? — Останавливает Алеко Никитича: — Это его мать? Как ее там? Гурринда? — Бедной Ольге Владимировне: — Нет, ты скажи: он ее домогается? — Пристает к идущему с девочкой Гайскому: — Тогда почему он с ней не спит? — Колбаско, который принес новые стихи: — Куймоны — это кайманы? Крокодилы, что ли? — Звонит жене Алеко Никитича: — А зачем в каждом имени сдвоенные согласные? — Ставит Вовцу сто граммов: — Она кто? Проститутка? Тогда почему она с ним не спит? — Таксисту, который везет его домой: — Вот ты скажи — ты бы стал руку рубить?..

Бестиев шумно затягивается.

Бестиев шумно выпускает дым в потолок.

Ему непонятно.

Он раздражен.

Он злится.

И он ничего не может с этим поделать.

Он начал злиться с первой страницы.

Бестиев словно бы заболевает...

VIII

Вовец — публицист. Колбаско — поэт. Вовец и Колбаско — друзья, поэтому до драки у них дело почти никогда не доходит. Биография Колбаско типична для многих поэтов нашего времени. Детский сад, школа, техникум, работа, поэзия. И, как часто бывает, счастливая искорка случайности, попав в глубоко скрытые резервуары поэтического горючего, вызвала чудовищный взрыв таланта. Колбаско тихо жил в анабиотическом состоянии младшего бухгалтера одного из филиалов мухославского химзавода. Кстати, способность и любовь считать свои и чужие деньги сохранилась в нем до конца жизни и оказала колоссальное, можно сказать — животворное, влияние на его последующее творчество. Отвечая как-то на вопросы читателей во время своего творческого вечера, Колбаско сказал, что днем своего поэтического рождения он считает день рождения старшего бухгалтера Петрова М. С. — 13 сентября 1960 года. Именно в тот день он почувствовал, что не может не писать. В то знаменательное утро на стол старшего бухгалтера Петрова М. С. рядом с тортом «Лесная сказка» и бутылкой шампанского легла и красочная открытка с поздравительными стихами, сочиненными младшим бухгалтером Колбаско. «Сонетом» открывается сборник избранных стихов ныне маститого мухославского поэта. Вот эти строки.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
МОЕГО НАЧАЛЬНИКА И НАСТАВНИКА
ТОВ. ПЕТРОВА М. С. 13.09.60 г.

*Фамилий много есть на свете:
Семенов, Сидоров, Фролов...
Но мне милее всех на свете
Одна фамилия — Петров.
За то, что любит человека,
Всегда работает с душой,
За то, что он большой товарищ,
Гордится всей нашей страной!*

В то утро товарищ Петров М. С. горячо пожал руку младшего бухгалтера и сказал: «Да вы, оказывается, поэт!»

«А чего, действительно», — подумал Колбаско. Это и решило его дальнейшую судьбу. Допингом послужили, несомненно, женитьба и разразившийся вскорости знаменитый карибский кризис. Именно тогда в газете «Вечерний Мухославск» появился гневный памфлет Колбаско, обошедший потом всю мировую прессу и сыгравший определенную, если не решающую, роль в деле наступившей далее разрядки.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПО ПОВОДУ
ОЧЕРЕДНОГО ОЖИВЛЕНИЯ ПРОИСКОВ ИМПЕРИАЛИЗМА
В РАЙОНЕ КАРИБСКОГО МОРЯ

*Кой-кто на Западе стремится
Нам жить, как следует, мешать,
Но мы простые люди — птицы,
И мы всегда хотим летать.*

*Хотим дышать с любимой рядом,
Хотим трудиться и гулять!
Газон цветов и клумбы сада
Родного не дадим помять!*

*Пусть все живут счастливей, дольше!
Пусть свет сияет в сотни свеч!
Чтобы сбылось как можно больше
Надежд, и чаяний, и мечт!*

Прогрессивный критик Сверхценский, делая впоследствии ретроспективный разбор поэтического творчества Колбаско, отмечал, что никому еще в российской поэзии не удавалось так удачно использовать три инфинитивные формы подряд в одной строфе.

Вместе с моральной славой, естественно, пришла слава и материальная, и можно было начать потихоньку отдавать

деньги, занятые под проценты у подпольных букмекеров мухославского ипподрома. Игровой азарт не чужд был Колбаско с детства. Тайный его недоброжелатель Аркан Гайский утверждал, правда, что на деньги, проигранные Колбаско, администрация мухославского ипподрома смогла выстроить знаменитую южную трибуну с пивным баром. Аркан Гайский клянется, что это именно так и есть, но что возьмешь с человека, который считает, что ему все завидуют. Факты, однако, говорят за себя, и то, что Колбаско до сих пор не убили мухославские букмекеры (а у них нравы жесткие), свидетельствует, что Колбаско, видимо, нашел приемлемые формы взаиморасчетов.

С Вовцом судьба обошлась более сурово. Он был счастливым приемщиком стеклотары в закудалом ларьке на окраине Мухославска, но, будучи глубоко интеллигентным человеком, томился этим обстоятельством. Особенно по утрам. И как-то угораздило его в одно из таких томительных утр сочинить, а затем и отнести в тот же «Вечерний Мухославск» афоризм для раздела «Лучше не скажешь». Фраза родилась спонтанно, что говорило об определенном даровании Вовца и широте его мировосприятия. Вот эта фраза:

«Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера».

Но тупица редактор не понял, что «150» — это доза спиртного, а «220 на 180» — кровяное давление. Пришлось почти год переделывать, и наконец афоризм был принят, но в несколько искаженном виде:

«С утра пить — гипертонию к вечеру получить».

И опять свою роковую роль сыграл все тот же Аркан Гайский, который явно не без подлянки стал убеждать Вовца бросить приемный пункт по сдаче стеклотары и заняться профессиональной литературой. Вовец, будучи не только глубоко интеллигентным, но и скромным человеком, поначалу сопротивлялся, а после ста граммов согласился. Но тут суровая действительность стала вносить свои коррективы. Афоризмы упорно отказывались возникать в голове Вовца. И тогда он сочинил рассказ про то, как некие строители не выполнили план по строительству. А в конце рассказа разъяснялось, что строители строили не что иное, как баррикады. Пятнадцать лет он пытался куда-нибудь приткнуть этот рассказ, и наконец его напечатали, даже не напечатали, а написали от руки — в стенной газете «Колочка» 9 «Б» класса 380-й школы Мухославска, где учился сын Вовца, после чего директор школы был переведен в рядовые преподаватели черчения. Неудачи ожесточили Вовца, но не сломили. И здесь надо отдать должное Аркану Гайскому, который в трудные минуты всегда оказывался рядом и, поставив сто граммов, убеждал Вовца в уникальности его таланта, а после вторых ста граммов Вовец и сам приходил к выводу, что он слишком ершист для современной, сглаживающей углы литературы. «Позовут еще! — распаялся он в такие мгнове-

ния.— Приползут! Белого коня пришлют!» Так он и стал публицистом-надомником, тем более что назад, в ларек по приему посуды, его наотрез отказались брать, заявив: «У нас тут своих Белинских навалом!»

Позднее Вовец изобрел принцип: «Не можешь не писать — не пиши». За это его неоднократно критиковал Колбаско. Но Вовец противопоставлял Колбаско жизненную логику: «Чем писать муру на потребу, лучше не писать вовсе!» На что Колбаско обижался, потому что не считал, что пишет муру на потребу. И тогда Вовец говорил, что он Колбаско не имеет в виду, после чего Колбаско успокаивался и ставил Вовцу сто граммов. А после вторых ста граммов Вовец, озираясь, чтобы не услышала теща, сообщал Колбаско, что уже давно страдает аллергией на чистый лист бумаги. Вообще надо сказать, для хорошего алерголога Вовец был бы ценным пациентом и основой если не для докторской, то хотя бы для кандидатской диссертации. Он запустил бороду, так как имел аллергию на бритву. У него была аллергия на баню, на свежий воздух, который вызывал приступ удушья, на море... Чудовищная аллергия была на лыжные прогулки. А попытка заставить его однажды надеть новые ботинки кончилась реанимацией. Хорошо, что все обошлось. Поэтому Вовец всегда ходил в валенках. Не вызывали у него аллергию только жареное коровье вымя, преферанс, вокально-инструментальный ансамбль «Апельсин» и стограммешник для аппетита.

Досуг друзья часто делили на двоих. Причем любимым занятием у них было держать пари, или, как выражался Колбаско, «мазать». Колбаско вообще обожал самые уголовные выражения, создавая у окружающих иллюзию своего грубого земного происхождения. Если верить Колбаско, а не верить ему нельзя, то его отец — старый потомственный шахтер, вор в законе и излечившийся наркоман. Поэтому речь Колбаско всегда украшали такие слова, как «на-горá», «маза», «абстиненция». Хитроумный Вовец часто ловил простодушного Колбаско, используя его природную склонность к азартным играм и спорам. «А мажем, — ни с того ни с сего вдруг говорил Вовец, — что ты мне сейчас не поставишь двести грамм!» «Мажем, что поставлю!» — оживлялся Колбаско, покрываясь красными пятнами. Шанс выиграть дармовую мазу настолько его захватывал, что он даже забывал выяснить, а что же он будет иметь в случае выигрыша. Но, уже подходя к буфетной стойке, он спохватывался и возвращался, задавая законный вопрос: «На что мажем?» «На сто грамм!» — невозмутимо отвечал Вовец, поглаживая живот. И когда простодушный Колбаско приносил двести граммов, Вовец, разводя руками и призывая бога в свидетели, говорил: «Ты выиграл. Из этих двухсот сто бери себе, потому

что я их тебе проиграл». Они выпивали, и тут до Колбаско доходило, что в результате выигранной им мазы он просто ни за что ни про что поставил Вовцу сто граммов... Но они были друзьями, и до драки дело почти никогда не доходило.

IX

Часов около одиннадцати вечера домой к Алеко Никитичу звонит Индей Гордеевич. Он взволнован. Он даже не извиняется за столь поздний звонок и не интересуется самочувствием Глории...

— Слушайте, Никитич! Я прочитал два часа назад эту странную рукопись!.. Я материалист, Никитич! Вы меня знаете... Но тут, понимаете ли, что-то невероятное... Вы же знаете, что я человек уравновешенный, что мне не двадцать лет, что мой паровоз давно ржавеет в депо... Но у меня уже после первых страниц спонтанно возникло ощущение, что топку залили жутким тонизирующим настоем... Как там в этой проклятой рукописи?.. Миндаго!.. — Индей Гордеевич сбивается на шепот: — Ригонда вошла в комнату... Я не хочу, чтобы она слышала... Сначала это меня развеселило, не скрою, обрадовало, но потом стало страшно...

— Ригонда читала? — спрашивает Алеко Никитич, нервно барабанив пальцами по столу.

— Вы будете смеяться, — Индей Гордеевич нервно хихикает, — но я просто не даю ей такой возможности... Вы понимаете, о чем я говорю?

И тут Алеко Никитич слышит на другом конце провода какую-то возню, и трубку не берет, а просто, кажется Алеко Никитичу, вырывает Ригонда и кричит:

— Алеко! Я не знаю, что будет дальше, но начало изумительное! Это необходимо печатать!.. Я без ума!.. Прости, мы позвоним позже!..

Алеко Никитич медленно кладет трубку на рычаг.

С-с-с. Он почесывает свою лысую голову, собирая воедино разрозненные соображения. Его не удивляет любовно-паровозный экстаз такого выдержанного пуританина, как Индей Гордеевич. Его настораживает другое. Он не хотел себе в этом признаваться, но звонок Индея Гордеевича подтверждает еще утром возникшие опасения. Ничего схожего с тем, что произошло в Индее Гордеевиче, Алеко Никитич в себе не отмечает. Как было, так и есть. Скорее наоборот... Но у него еще прошлой ночью стало развиваться чувство растущей неудовлетворенности и тоски. Он почему-то вспомнил Симину мать, уже, наверное, старую совсем женщину, если, конечно, она вообще жива... Очень она любила Алеко Никитича... Очень... Но после

развода с Симой Алеко Никитич перестал ей звонить. Совсем. Как отрезал. Да и зачем? Что, собственно, говорить-то? Случилось и случилось... И забыл вскоре. И не вспоминал... И вот надо же, опять вспомнил... И почему-то сразу после визита неизвестного автора и прочтения тетрадки в черном кожаном переплете. Совпадение? Алеко Никитич стоит на земле и во всю эту телепатическую чепуху, во всех этих экстрасенсов, гуманоидов, снежных человек не верит... Но, с другой-то стороны, то, что происходит с Индеем Гордеевичем,— тоже совпадение?.. Ведь если бы Алеко Никитич, как Индей Гордеевич, вдруг начал бы петухом насканивать на Глорию, или, наоборот, Индей Гордеевич, как и Алеко Никитич, вдруг бы поскурился, помрачнел и стал терзаться всякими нехорошими сомнениями, то можно было бы предположить, что в Мухославске началась эпидемия какого-нибудь нового гриппа с воздействием на сексуальные или настроенческие нервы... Так нет же!.. С-с-с... Спросить бы у Глории. Она тоже читала... Решит, что я просто тронулся...

Мысли его прерываются звонком Индея Гордеевича:

— Старик! Колеса стучат на стыках! Рельсы дрожат! Шпалы не выдерживают!

— Индей Гордеевич! — строго говорит Алеко Никитич, вспоминая, что он старший по должности. — Возьмите себя в руки. И не забудьте, что завтра в десять пятнадцать нас ждет Н. Р.

Алеко Никитич кладет трубку, идет в ванную, принимает таблетку снотворного и направляется в спальню. Он застаёт Глорию сидящей на постели. Она что-то лихорадочно пишет в свою рабочую тетрадь.

— Почему ты не спишь? — спрашивает Алеко Никитич, раздеваясь.

— Ты ложись, — отвечает Глория, — а я еще поработаю. Мне надо подготовиться к завтрашнему заседанию клуба.

Алеко Никитич ложится ближе к стене, вытягивает руки вдоль туловища и закрывает глаза, но, несмотря на принятое снотворное, забыться не может.

— Ты слышишь, Алик? — спрашивает Глория, оторвавшись от своей рабочей тетради и мечтательно глядя куда-то в пространство сквозь стену.

— Нет, милая, — отвечает Алеко Никитич с закрытыми глазами.

— Знаешь, на меня поразительное действие оказала эта рукопись...

«Начинается», — думает Алеко Никитич и весь внутренне напрягается, но глаз не открывает. А Глория продолжает:

— Я думаю только об одном.— Глаза ее загораются, а голос звучит уверенно: — Я вдруг поняла, что мы чудовищно несправедливы к животным... В частности к собакам...

Алеко Никитич приоткрывает веки и с опаской смотрит на Глорию, но с ней все нормально. Она встает и начинает возбужденно ходить по спальне.

— Собаки! Четвероногие друзья! Изначально свободные существа, добровольно любящие человека! Волка, как ни корми, он все в лес смотрит! Эта народная мудрость подчеркивает исклочительность и добропорядочность собак всех мастей и пород! Цивилизация — это пропасть, отделяющая человека от природы! Собака — единственный мосток, повисший над гигантской пропастью цивилизации, соединяющий человека и природу! Каштанка, Муму, Джульбарс, Мухтар! Их имена стали нарицательными! В наше время, когда собака подвергается гонениям и уничтожению, когда новые города и поселки городского типа планируются с исключительной целью — не дать простора собаке, когда владельца собаки называют мещанином, неизвестный автор совершил подвиг, написав повесть о собаке, воспев ее дивный образ!..

Алеко Никитич продолжает следить за Глорией. С-с-с...

— Теперь я понимаю, почему меня сразу поразила удивительная аллитерация автора! Обилие звука «р»! Автор вынужден обратиться к эзоповскому языку! «Р»! Ты вдумайся, Алик! «Р»! Р-р-р! Это рычание! Это глухой ропот животного, доведенного до отчаяния! Ты обязан, обязан напечатать повесть! Природа и люди оценят эту великую акцию! Обязан, как бы ни восставали заплывшие жиром чиновники, держащиеся за свои кресла, забывшие, что сами они тоже происходят от животных! Великий Чехов в своих письмах к Ольге Леонардовне Книппер называл ее: «Моя собака»! Вот о чем я завтра буду говорить!..

Алеко Никитичу становится несколько не по себе.

— Успокойся,— произносит он.— Прими снотворное и ложись.

Но Глория еще долго мечется по комнате, подходит к окну, смотрит на луну, что-то лихорадочно заносит в свою рабочую тетрадь.

Потом вдруг бросается к телефону и говорит кому-то нечто, совсем противоречащее ее недавней возвышенной филиппике:

— Эльдар Афанасьевич? Простите за поздний звонок... Вам известно, что Алферова взяла отбракованного доbermanа?.. Да! Я ей сказала, что это вызов всем членам клуба!.. А вам известно, что она собирается вязать его с Джульеттой?.. Так вот. Скажите ей, как президент клуба, что мы ни перед чем не

остановимся! Мы портить породу никому не позволим! И если это произойдет, мы уничтожим помет во чреве! Так и передайте: уничтожим помет во чреве!.. Спокойной ночи, Эльдар Афанасьевич!..

Глория кладет трубку, а палевый коккер-спаниель, уже мирно спавший в ногах Алеко Никитича, вдруг спрыгивает с тахты и, скуля, выбегает из спальни...

Алеко Никитич ворочается в постели. Тревожные соображения будоражат его... Сверхщенский, Свищ. Что они скажут, когда прочтут?.. «Щенок всюду гадит», — вспоминает он Дамменлибена... Еще одно совпадение?.. А самое главное состоит в том, что завтра произведение прочтет Н. Р., и, черт его знает, какова будет его реакция... Алеко Никитичу удастся забыться только под утро, и во сне ему представляется, что он в трюме плывущего куда-то корабля. Тело его покрыто короткой, серой, лоснящейся шерсткой. В обе стороны от носа топорщатся острые усики. Сзади тянется что-то длинное, и Алеко Никитич догадывается, что это хвост, но его это не удивляет. «Надо проверить длину, — думает Алеко Никитич, — не то легко угодить в белогвардейскую газетенку...» Глазки привыкают к темноте, и он видит в трюме еще многих таких же, как он... «Кто они? — думает Алеко Никитич. — Ну, смелее! Назови их своими именами!»... Крысы! Конечно, крысы! Как ему сразу не могло прийти в голову? И нечего стесняться! И вдруг он замечает в углу, где неистовый Индей Гордеевич лапками обнимает Ригонду, тоненькую струйку воды... «Течь! — мелькает у него в мозгу. — Течь! Надо бежать! Но куда? До Фанберры еще так далеко!.. Все равно, куда... Только бы бежать... Не делая шума... Не то начнется паника и давка...» И Алеко Никитич начинает медленно отползать вдоль стены... Внезапно он натывается на Ольгу Владимировну... Ее бы следовало предупредить... Он толкает ее лапкой!.. Течь! Ольга Владимировна, течь! Но Ольга Владимировна не слышит... Алеко Никитич царапает ее лапками... Но Ольга Владимировна не реагирует. Тогда Алеко Никитич кусает ее левую переднюю лапку своими острыми зубками и просыпается от крика Глории.

— Кошмар! — говорит она, садясь на постели и потирая укушенную левую руку. — Мне снилось, что я собака и меня укусила крыса!

В спальне уже совсем светло. Будильник показывает двадцать минут седьмого. Скоро вставать и идти к Н. Р.

Х

Перед самым концом рабочего дня в комнатке Ольги Владимировны оказался Аркан Гайский и принес удивительную

новость: позавчера на рассвете над Мухославском в течение сорока минут висела летающая тарелка. Она представляла собой веретенообразное тело, от которого исходило холодное газовое сияние. Потом из этого тела на Мухославск пролился сверкающий дождь, напоминающий «серебряные нити», какими украшают новогодние елки. Но следов этого дождя никто из очевидцев не обнаружил, из чего остается думать, что дождь имел нематериальное происхождение. Через сорок минут веретенообразное тело, слегка покачавшись, словно растворилось в северо-западной части неба.

— Пить надо меньше, — сказала Ольга Владимировна.

— Я, Ольга Владимировна, не пью. Вы это знаете, — ответил Аркан Гайский. — Но обстановка в мире сложная. Враги обнаглели. Мало ли что им придет в голову... Я написал на эту тему рассказ. Пойдемте ко мне... Я его вам почитаю...

— Гайский, — устало проговорила Ольга Владимировна, — я весь день печатала срочную работу, мне не до рассказов и не до врагов.

— А хотите — пойдем к вам, — настаивал Гайский, — просто посидим... Обстановка напряженная... Удовольствие и счастье, которое мы отвергаем сегодня, завтра уже может быть недостижимо...

Но Ольга Владимировна отказала Аркану Гайскому и в этом прошении. Она закрыла машинку и поднялась из-за стола, давая понять, что уходит.

И ввиду того, что сногшибательное известие о неопознанном летающем объекте не произвело на Ольгу Владимировну должного впечатления и не заставило ее, бросив все, приступить к получению, может быть, последнего в жизни счастья и удовольствия, Аркан Гайский стал просто канючить:

— Ну почему? Разве вам вчера было плохо?.. Ну скажите... Если было плохо, я отстану...

— Гайский! Я устала! Ясно? Пропустите меня! А если вам нечего делать, оставайтесь здесь... Кстати, прочтите эту тетрадку. Вам полезно...

— Тот самый неизвестный автор? Я помню... Но я прочту, Ольга Владимировна!.. Только я могу после этого вам позвонить?

— Пока, Гайский, — сказала Ольга Владимировна.

Гайский побежал за ней в коридор:

— А завтра?

— Посмотрим! — крикнула Ольга Владимировна уже с улицы. — Если не будет конца света!..

Гайский уселся за стол Ольги Владимировны и, раскрыв тетрадь в черном кожаном переплете, пробурчал:

— Все пишут! Все завидуют!..

Гайский нехотя начал читать, больше думая о своем. И вспомнил тот день, когда он был в Москве. Утром к нему явился молодой человек и предложил выступить за наличные и за хороший ужин, поскольку Гайского в Москве знают, и пленки с его рассказами ходят по рукам подобно пленкам Высоцкого...

— А девочки будут? — спросил Гайский.

— Пальчики оближете! — таинственно сказал молодой человек.

— Дворец культуры? — спросил Гайский.

— Нет. Частный дом, — ответил молодой человек. — Так интимнее... Причем дом очень солидный...

Когда вечером импресарио и Гайский вошли в подъезд, он сразу увидел, что дом действительно солидный. Консьержка ни в какую не хотела пропускать Гайского, исподлобья глядя на его сутулую фигуру, нелепый красный берет и подозрительно маленький нос.

— Это артист, — объяснил импресарио...

— Писатель, — поправил Гайский.

— Артист, — повторил импресарио... — Мы в сто двадцатую.

— Вас я знаю, — сказала консьержка. — А про этого мне ничего не говорили... Пусть мне из сто двадцатой позвонят, тогда пожалуйста!

Молодой импресарио позвонил и передал трубку консьержке. Та внимательно что-то выслушала, положила трубку и сказала строго и недовольно:

— Идите!

— Они здесь деньги получают не за то, чтобы пропускать, а за то, чтобы не пропускать, — пояснил импресарио Гайскому, когда они вошли в лифт.

— А чья это квартира? — осторожно спросил Гайский.

— Для вас это не имеет значения, — сухо отрезал импресарио.

— И девочки будут? — недоверчиво спросил беспощадный сатирик.

— Я же сказал — пальчики оближете!

В квартире, куда ввели Гайского, были двое парней и три шикарные девочки, из которых писателю понравились сразу все.

«Пока все точно, — подумал Аркан Гайский, — парней двое, девочек трое. Одна, значит, для меня...»

— А ничего, если я не буду снимать берет? — обратился Гайский к импресарио, полагая, что лысина лишает его по крайней мере четверти мужского обаяния.

Импресарио представил Гайского присутствующим, но это почему-то не произвело на них должного впечатления. Затем сатирика провели по громадной квартире и посадили в небольшую комнату, где, кроме широченной тахты, стояла еще и неведомая Гайскому радиоаппаратура. Минут через пять в комнату вошли три девочки и забрались на тахту. К ним присоединились двое парней.

«Какая же из них для меня?» — думал Гайский с замиранием сердца.

Но тут появился импресарио и, к удивлению писателя, тоже плюхнулся на диван. Он обнял одну из девочек за плечи и подмигнул Гайскому.

— Давай!

Одна из девочек включила музыку. Гайский вопросительно взглянул на импресарио.

— Нормально! — сказал он. — Так душевнее!..

Аркан Гайский пошелестел несвежими рукописями и с упоением начал читать...

Читая, он косил глазом на тахту. Все шестеро изо всех сил делали вид, что слушают Гайского, одновременно целуясь и пощипывая друг друга.

«Но ведь одна из них для меня», — досадливо думал он в процессе чтения, уже испытывая чувство ревности. Но поскольку он не знал, кто для кого и кто именно для него, то ревновал всех троих ко всем троиц.

Когда он прочитал фельетон, в котором был недвусмысленный намек на нехватку колбасы в городе Мухославске, один из парней, которого Гайскому представили как хозяина квартиры, наклонился к импресарио, и до Гайского донеслось: «Он что, жрать хочет?»

Импресарио вышел и скоро вернулся, поставив перед Гайским поднос с рюмкой и тремя бутербродами с колбасой, какой сатирик не видывал отродясь.

— Пожри, — сказал импресарио. — Потом посмотрим... А пока будешь жрать, ознакомься... Друг хозяина дома балуется... Пописывает...

И он положил перед Гайским тетрадь в черном кожаном переплете, кивнул в сторону блондина с голубыми глазами, на коленях которого уже сидела одна из девочек.

— А кто он? — шепнул Гайский.

— Это тебе знать необязательно, — сказал импресарио. — Ясно?..

Пока писатель жевал бутерброды и листал тетрадку, все танцевали, предоставив Гайского самому себе. А он, наскоро перелистывая тетрадь, ничего не улавливая, выхватывая отдельные бессмысленные слова, прикидывал: «Не хочет называть фа-

миллию автора. Значит, автор — сын кого-то крупного... Как пить дать. Меня на макине не проведешь... Надо хвалить...» И Гайский сказал:

— Талантливо!

Девочка, танцевавшая с блондином, щелкнула его по носу, а импресарио улыбнулся:

— А как же!

— Кофе будете? — спросил хозяин дома.

— Потом, — вежливо ответил Гайский. — Я еще кое-что прочту.

Девочка хозяйина дома поморщилась, а импресарио стал делать Аркану Гайскому отчаянные знаки, указывая в сторону двери. Когда Гайский вышел, импресарио довел его до прихожей и протянул конверт.

— Вот здесь тридцатка, — быстро произнес он, — а в конце квартала стоянка...

— А девочки? — с отчаянием в голосе спросил Гайский.

— Пальчики оближешь! — отрезал импресарио и открыл дверь в подъезд.

— Передай мой телефон в гостинице, — сказал Гайский, напяливая красный берет. — Если кто захочет, я в гостинице почитаю. — И он подмигнул импресарио.

— Не захотят, — бросил импресарио и захлопнул дверь.

Аркан Гайский сорок минут шел пешком до метро, потому что такси в конце квартала не оказалось.

«Дети таких высоких людей, — думал он, — а все равно завидуют!..» Конверт с тридцаткой несколько скрашивал не совсем удачно сложившийся творческий вечер...

Сейчас, сидя в комнатке Ольги Владимировны, Аркан Гайский узнал ту самую тетрадь в черном кожаном переплете, и его охватила злость... Все шушукаются, носятся с этой рукописью... Оля весь день печатала, устала да еще сказала, что ему, Аркану Гайскому, это будет полезно почитать... Ух, графоманы высокопоставленные, завистники чертовы! Что вы можете написать? Что вы понимаете в настоящей литературе?.. И он с ненавистью углубился в чтение...

«Единственный, а потому и знаменитый «Альманах» Чикинни-та Каело занимая каменную постройку с верхней и нижней частью. В верхней части, скрытой от города густой вьющейся зеленью, находился обычно Чикиннит Каело, принимавший здесь посетителей и вершивший отсюда судьбы «Альманаха». В нижней, наполовину расположенной под землей, за ровными, отшлифованными столами из черного камня сидели переписчики.

«Альманах» появлялся на следующее утро после каждой Новой луны. В нем помещались указы мадранта и совета ревзодов, итоги сухо-

путных и морских баталий, данные об улове рыбы и сборе ценнейших плодов миндаго, описание казней и экзекуций, сведения о состоянии здоровья мадранта, а также стихотворные оды, философские сочинения и предсказания судьбы и погоды.

Появлялся он с каждой Новой луной в трех вариантах. Один — написанный черной гуалью — вывешивался на городской площади и предназначался горожанам (рабы не имели права читать «Альманах»), второй — в зеленой гуали — доставлялся Первому ревзоду, который и зачитывал его на совете. Третий создавался специально для мадранта на дорожной бумаге и выполнялся красной гуалью с позолотой.

Читая на городской площади свой «Альманах», горожане узнавали, что они живут хорошо.

Ревзоды, читая свой, убеждались в очередной раз в том, что горожане живут превосходно.

В красном же «Альманахе» горожане обращались к мадранту с предложениями быть с ними поостроже, ибо живут они замечательно, но чересчур.

Когда состоялась в городе казнь ста пойманных горных разбойников, горожане из своего «Альманаха» узнали, что казнили не сто, а всего девять, и не разбойников, а воров, похитивших у бедного торговца лепешку.

Первый ревзод на совете зачитал, что казнен был один человек, пытавшийся украсть сеть у рыбака.

В «Альманахе» мадранта писалось, что казненный неоднократно обращался к мадранту с просьбой казнить его, так как чувствовал, что может произвести кражу, и вот теперь его просьба удовлетворена, за что и благодарит мадранта со слезами преданности и умиления семья казненного.

И за всем этим должен был следить и никак не перепутать (даже и поудумать-то страшно!) бедный, бедный Чикиннит Каело, поставленный на важное государственное дело советом ревзодов с согласия самого мадранта. Бедный, старый, больной, несчастный Чикиннит Каело! Зачем ему все это? Зачем ему полагающиеся по разрешению мадранта пять жен, когда и с одной он уже давно не имеет сил сделать нового подданного? К чему ему ежедневная чашечка миндаго, от которого только сердце начинает выпрыгивать из груди? Почему он должен читать эти горы бумаг, испещренных буквами, цифрами и рисунками? Для чего? Чтобы дрожать после каждой Новой луны: а вдруг что-либо вызовет неудовольствие у ревзодов или у самого (и поудумать-то страшно!) мадранта? И полетит тогда с дряхлых плеч его лысая, покрытая жилами, как червями, голова. Па-па-па... Пе-пе-пе...

Гайский почувствовал в животе, где-то внизу, острый спазм, подобно тому, который возникает, когда после стакана, например, кислого крыжовника выпиваешь парного молока. Схватив тетрадку, он бросился в туалет. «Что-то я, наверно,

сьел», — подумал сатирик, едва успев добежать до цели. Здесь он и продолжал внезапно прерванное чтение.

«...Па-па-па... Пе-пе-пе... Бедный Чикиннит Каело. Оставался бы он лучше до сих пор учетчиком урожая миндаго, имел бы не пять, а всего две жены, сохранил бы молодость и здоровье, до сих пор делал бы для мадранта новых подданных... Так нет же! Па-па-па... Пе-пе-пе... Зачем надо было попадаться на глаза мадранту, когда тот посетил поля с драгоценным миндаго? Зачем было бросаться в ноги мадранту и восхвалять его, и говорить, что это он, Чикиннит Каело, не жалеет себя и жизни своей, чтобы мадрант мог каждое утро принимать тонизирующей миндаго, который придает мадранту силу, мудрость и красоту? Перестарался Чикиннит Каело... Да и что проку в этом чертовом миндаго? Ничего же и не изменилось в организме с тех пор, как по велению мадранта стали доставлять ему из дворца чашечку этой оранжевой жидкости. Ни сил, чтобы делать подданных, не прибавилось, ни волос, ни красоты... Па-па-па... Пе-пе-пе... Скорее наоборот, жены жалуются, особенно Жеггларда. И понятно. Ей всего тридцать лет. А ведь Чикиннит Каело взял ее еще девочкой... О, какая это была умелица! Па-па-па... Что за гибкость! Что за кожа! Бывало, стоило только произнести вслух имя Жеггларды, и никакого миндаго не надо! Куда там!.. Пе-пе-пе... Цепями сдерживать, за уши оттаскивать надо было Чикиннита Каело от Жеггларды... Правда, если по справедливости, то, не возьмись он за этот «Альманах», не стал бы он знатен и богат, не получил бы он к своим двум еще трех, в том числе и Жеггларду... О небо! Что это с Чикиннитом Каело?! Неужели?! Нет, показалось... Спалл огнем этот «Альманах», Священная Карраско! Бедный, несчастный, старый, больной Чикиннит Каело!..

Чикиннит Каело вздрогнул. Что за крамольные мысли посетили его лысую голову! Горе и позор Чикинниту Каело! Какое кощунство позволил он себе по отношению к делу, которое дал ему в управление совет ревзодов с согласия самого мадранта! Прости и помилуй, высокий мадрант! Прочь, грязные мысли! Прочь! Чикиннит Каело на посту! Он работает, он читает, он сочиняет, он исправляет, и слова сами по себе ложатся на бумагу... Нет сильнее и могущественнее страны мадранта! Нет умнее и здоровее нашего мадранта!.. Вяло! Слабо!.. Усилим, мой мадрант! Нет наисильнее и наимогущественнее страны мадранта! Нет наумнее и наиздоровее нашего мадранта!.. Пе-пе-пе... Но подожди, Чикиннит Каело! Если все это идет в черный «Альманах», то какие высокие слова найдешь ты для красного? Не было, нет и не будет наисильнее и наимогущественнее страны мадранта! Нет наумнее и наиздоровее молодой Жеггларды...

Холодный пот прошиб Чикиннита Каело. Испуганно озираясь, он схватил и проглотил только что исписанный листок бумаги... так можно попасть и к священным куймонам... Вовремя, ох как вовремя проглотил злосчастный листок Чикиннит Каело!

На террасе появился посетитель, который мог случайно заметить чудовищные строки, еще мгновение назад лежавшие перед Чикиннитом Каело... Па-па-па... Чем может служить Чикиннит Каело любезному посетителю? Ох, как мучают они его, заставляя читать их жалкие творения и давать на них ответы... Неразумные! Чем они могут удивить Чикиннита Каело? Стихами? Фактами? Предсказаниями погоды? В стране есть стихотворцы, сборщики фактов и предсказатели погоды. Они все на учете и все получают свое вознаграждение. И этих стихотворцев, и сборщиков фактов, и предсказателей погоды вполне хватает Чикинниту Каело. Даже много!.. Так чем может служить... Пе-пе-пе... любезному посетителю Чикиннит Каело?

Любезный посетитель был одет бедно и неряшливо. Имел гладко выбритую голову, округлую черную бороду и бесстрастные, ничего не выражающие глаза. Он молча протянул Чикинниту Каело свернутый в трубочку лист дорогой, как успел заметить Чикиннит Каело, бумаги... Чикиннит Каело взял рукопись и, не разворачивая, положил в корзину рядом с собой. Любезный посетитель может идти, потому что Чикиннит Каело занят и прочтет рукопись после Новой луны. И если любезный посетитель желает выслушать приговор Чикиннита Каело, то он может прийти за ответом через три дня после Новой луны... Па-па-па... Пе-пе-пе... Любезный посетитель имеет нахальство требовать ответа сейчас же?.. А чем же данный любезный посетитель отличается от других любезных посетителей, творения которых дожидаются своей очереди в этой корзине?..

Но любезный посетитель будто и не понимал слов Чикиннита Каело. Он только безразлично пожал плечами и не думал трогаться с места... Пе-пе-пе... Уж на подозрительно дорогой бумаге принес свои творения любезный посетитель... Мало ли кто он? Для чего старому Чикинниту Каело неприятности на его лысую голову?.. Чего не бывает? В последнее время даже дети ревзодов занимаются стихотворчеством. Ну, что же, Чикиннит Каело сделает исключение для любезного посетителя, раз он так настаивает...

Чикиннит Каело достал из корзины, развернул лист дорогой бумаги и... па-па-па... пе-пе-пе... углубился в чтение... «Ты ненавистна мне, ставшая доброй, собака! Равски покорною сделал тебя твой хозяин и, усмехаясь довольно, зовет своим другом. Жалко виляя хвостом, ты его ненавидишь, мерзко скуля, со стола принимая обедыки...» Па-па-па... Чикиннит Каело мельком взглянул на любезного посетителя, но тот всем своим видом изображал полное безразличие... «Да и раба своего в человечесем обличье, как и тебя, господин называет собакой. Встань ото сна, напряги свои лапы, собака! Ночью к обрыву Свободы сбеги незаметно! Там о скалу наточи свои зубы и когти...» Пе-пе-пе... Это что же за намеки?.. «И доберись ты до самого края обрыва, чтобы оттуда пантерой на грудь господина прыгнуть — и вмиг раздрать его горло клыками...» Чикиннит Каело снова взглянул на любезного посетителя и совершенно отчетливо представил себе его бритую с округлой бородой

голове, отделенную от туловища... «И распороть его сытое, жирное брюхо, и утолить свою жажду хозяйской кровью...» И Чикиннит Каело ясно увидел отделенные от всего туловища ноги и руки любезного посетителя... «И отшивырнуть эту падаля поганым шакалам, и возвратить себе гордое имя — Собака!..» Нет, скорее всего несчастного посетителя прикуют цепями к каменному столбу, вырежут возле пупка маленький кусочек тела и посадят на это место голодную крысу. Крыса начнет взгрызаться в тело, выжирая внутренности, пока не доберется до сердца... Это замечательная казнь... Чикиннита Каело даже переделернуло... Достойный финал для... В конце листа Чикиннит Каело увидел имя — Ферруго... Так значит, любезного посетителя зовут Ферруго?.. Ах, Ферруго — это хозяин любезного посетителя... И Ферруго хочет, чтобы это творение было принято в «Альманахе» Чикиннита Каело и обнародовано?.. (Главное — не спугнуть любезного посетителя...) Но дело в том, что... творение Ферруго, так и надо сказать творему хозяину, несовершенно, слабо по словам, расплывчато по мысли, но Ферруго не должен бросать это занятие, ибо определенный дар у него имеется, и пусть он напишет еще что-нибудь и передаст Чикинниту Каело через любезного посетителя, а еще лучше — пусть сам принесет свои творения Чикинниту Каело, который будет ждать его ровно на третий день после Новой луны... Данное же творение Чикиннит Каело оставляет у себя, чтобы, изучив его, дать Ферруго более исчерпывающие объяснения... И Чикиннит Каело достал из желтой шкатулки и протянул любезному посетителю желтый камень, значение которого, безусловно, должно быть известно всякому, кто решается принести свое творение Чикинниту Каело. Надобно знать, что у Чикиннита Каело нет свободного времени, чтобы объяснять каждому почему да отчего. И поэтому Чикиннит Каело завел три шкатулки. Черный камень из черной шкатулки означал, что данное творение никуда не годится, не отвечает, не соответствует, и хозяина этого творения просят в дальнейшем не обременять Чикиннита Каело. Желтый камень из желтой шкатулки означал то, что недавно Чикиннит Каело высказал любезному посетителю. В красной шкатулке лежали камни, предназначенные тем, чьи творения заведомо нужны и приятны Чикинниту Каело и его «Альманаху»... Стало быть, ровно на третий день после Новой луны... А теперь любезный посетитель может считать себя свободным...

Едва только неряшливо одетый бритоголовый бородач удалился, Чикиннит Каело схватил в руки бумагу с творением Ферруго и вновь начал его читать, шевеля беззвучно губами. Он читал, и ему становилось страшно, как будто это написал не какой-то таинственный Ферруго, а сам Чикиннит Каело, и ему теперь предстоит отвечать и расплачиваться перед самым мадрантом... Па-па-па... Может, уничтожить эту проклятую бумагу, будто ничего и не было?.. Пе-пе-пе... Но ведь Ферруго возникнет вновь, а что ему заблагорассудится сотворить на сей раз, одному небу известно!.. А вдруг (и подумать страшно!) нет

никакого Ферруго, и просто Первый ревзод решил проверить подлинную преданность Чикиннита Каело и подослал к нему любезного посетителя с этой крамолой?.. Пе-пе-пе... А старый глупый Чикиннит Каело набирает в рот воды и помалкивает? А уж не потому ли он помалкивает, что согласен с написанным, а если и не согласен, то просто настолько глуп, что даже не в состоянии понять страшный смысл написанного?.. Просто какой-то сумасшедший Ферруго решил встать на защиту бедного домашнего животного и предлагает ему растерзать своего хозяина... Какое бедное животное? Какого хозяина? Где живет этот хозяин? Как зовут это бедное животное? Или Чикиннит Каело считает себя умнее других?.. Помилуйте! Не считает себя Чикиннит Каело умнее других! Ах, не считает? Тогда почему же Чикиннит Каело, который сам говорит, что он не умнее других, должен заниматься столь важным государственным делом? Нет, таким делом должен заниматься человек, умнее многих других! Помилуйте! Чикиннит Каело умнее многих других! Ах, умнее? Тогда что это за хозяин и как зовут его собаку?.. И тут Чикиннит Каело почувствовал, как не чья-нибудь, а именно его лысая голова отделяется от тела, и он судорожно проглотил слюну... Па-па-па... Уведомить! Уведомить Первого ревзода, и немедленно!..

В этот момент из нижнего помещения поднялся старший переписчик и попросил Чикиннита Каело спуститься вниз, чтобы ознакомиться с первым переписанным вариантом будущего красного «Альманаха». Чикиннит Каело положил на стол, свернув предварительно в трубочку, рукопись Ферруго и спустился вниз. Он в целом одобрил первый вариант красного «Альманаха», но велел изменить предсказание погоды, которая, согласно предсказателю, ожидалась знойной и жаркой, и заменить ее на прохладную с небольшим дождичком, потому что мадрант не переносил жары. В черном же «Альманахе» пусть останется жара и зной... Когда Чикиннит Каело поднялся на свою террасу, свернутой в трубочку рукописи Ферруго на столе не было... Чикиннит Каело обшарил все помещение, перевернул корзину, обежал несколько раз дом снаружи — вдруг порыв ветра унес бумаги на улицу?.. Напрасно. Рукопись Ферруго исчезла бесследно... Тяжело дыша, обливаясь потом, Чикиннит Каело опустился в свое кресло, бессмысленно глядя на пустой стол... Па-па-па... Пе-пе-пе...»

Почувствовав облегчение и успокоившись, Гайский вырвал лист из уже прочитанного и использовал его по назначению, приговаривая: «Так тебе! Вот твое место!» В коридоре он столкнулся с уходящим домой Индеем Гордеевичем.

— Проводите меня домой, Гайский, — предложил Индей Гордеевич.

Индею Гордеевичу Гайский отказать не мог.

Увидев в руке сатирика тетрадку в черном кожаном переплете, Индей Гордеевич спросил:

— Между нами, Гайский, как вам эта вещица?

— Пакость! — вдруг закричал Гайский. — Аморальное произведение! Графоманский бред!.. Без мысли! Без игры ума! Идея порочна!

— А у меня несколько иное впечатление... Мне пока трудно сформулировать... Какой-то философ сказал, что литература действует не на сознание, а на подсознание... Так вот... Как бы это вам сказать... Я надеюсь на вашу мужскую скромность...

— Как могила! — сказал Гайский.

— В меня эта повестушка влила новые силы... Надо вычитывать верстку юбилейного номера, а перед глазами — Ригонда, — смущенно произнес Индей Гордеевич.

— Нет ничего удивительного, — согласился Гайский. — Она достойная, красивая и очень женственная женщина, а вы еще достаточно молодой мужчина...

— Но ведь ничего подобного я не испытывал уже пятнадцать лет... А вот прочитал и...

— Дело в том, Индей Гордеевич, что мы не признаем пророка в своем отечестве... Вспомните, какой острый рассказ вы мне завернули, а всякая дрянь на вас действует...

Гайский, когда надо, умел постоять за себя.

— Не спорю, Гайский, — сказал Индей Гордеевич, — у вас живой ум, острый язык, но ни один ваш рассказ ни разу даже не задел то, что философия именует подсознанием... А здесь...

— Выдаете желаемое за действительное, — сказал Гайский, когда они уже подошли к дому Индея Гордеевича.

— Не дай бог! Типун вам на язык! — заключил Индей Гордеевич и, не дожидаясь лифта, помчался по лестнице, словно горный козел.

«И он завидует», — подумал Гайский и здесь только заметил, что, заболтавшись с Индеем Гордеевичем, он забыл оставить на столике Ольги Владимировны проклятую тетрадку в черном кожаном переплете. И тут он снова почувствовал приближение очередного приступа. Быстро сообразив, что до ближайшего места общественного пользования ему не дотянуть, а к Индею Гордеевичу стучаться по такому делу неудобно, он заспешил большими шагами к спасительной гавани, каковой являлась квартира Вовца...

XI

В этот вечер в 20 часов 30 минут истекал срок одной из самых невероятных «маз», какие когда-нибудь держали Вовец и Колбаско. История вкратце такова. Два года назад Колбаско находился в командировке в городе Качарове, где он писал поэму «Хлеба мои вольные!». Спустившись из номера гостиницы

поужинать в ресторан, он увидел сидящего за столиком воле оркестра мухославского поэта-песенника Продольного, автора знаменитой «Мухославской лирической». Помимо несомненно-го дарования, Продольный славился еще одним отличительным достоинством: он имел довольно приличный, чтоб не сказать больше, горб. Это обстоятельство не было для Колбаско откровением, да и сам факт сидения Продольного в качаровском ресторане еще ни о чем не говорил. Более того, в другое время Колбаско не преминул бы даже и подсесть к Продольному, потому как тот был человеком богатым и иногда любил угощать. А кто, скажите, в наше время откажется от дармового ужина? Глупец откажется. А Колбаско, как известно, глупцом не только не был, но и, что значительно важнее, таковым себя не считал. Так вот, в другое время Колбаско непременно подсел бы к Продольному. Но в том-то все и дело, что Продольный был не один. Напротив него сидел моложавый, с лицом Фернанделя, тоже... горбун. Но и это еще полбеды. Оба развлекали очаровательную юную горбунью, а обслуживал их, и это было совсем странно, горбатый официант. Колбаско относился к людям, которые считают, что ничего просто так в жизни не случается, и его воспаленный мозг лихорадочно заработал... Секта? Вряд ли. Продольный был секретарем Общества «Знание». Симпозиум? Международный конгресс? Но где флажки на столиках? Где транспаранты на улицах? Родственники? Вроде бы не похожи... Нет. Тут что-то другое... Решая этот ребус, Колбаско отужинал, расплатившись с официанткой, которая в начале ужина вызвала у него отвращение, но по мере того, как он опустошал графинчик, становилась все привлекательнее, пока наконец не превратилась в писаную красавицу, столь желанную сегодня колбаскиному поэтическому сердцу. Пригласив ее к себе в номер и тут же получив отказ, Колбаско подумал, что это даже к лучшему, и поинтересовался у нее, откуда в Качарове такое большое количество горбатых представителей, на что официантка ответила, что в городе живет один старичок, который выправляет горбы в довольно короткое время, что старичок этот — репатриированный армянин греческого происхождения, что полгода назад он избавил от горба ее покойного мужа, да что там мужа — ее самое. При этом официантка повернулась спиной к Колбаско, предоставив ему возможность удостовериться в сказанном. Колбаско, будучи человеком не только впечатлительным, но и практичным, немедленно замыслил коварно использовать этот факт с выгодой для себя. И, возвратившись в Мухославск, в тот же вечер предложил Вовцу «мазу», что не пройдет и двух лет, как у песенника Продольного исчезнет горб. Вовца не пришлось долго уговаривать, и он поставил рубль против пятисот, что этого не

произойдет. В данном случае, как и в остальных, Вовец исходил из того, что все равно с Колбаско такую сумму не получишь, но бутылку он с него всегда стребует. Колбаско же, не посвятив Вовца в тайну качаровского исцелителя, справедливо для себя посчитал, что дармовой рубль у него в кармане. Хоть бы и через два года. Но по мере того, как шло время, а горб у Продольного не только не уменьшался, но, наоборот, вроде бы стал еще солиднее, Колбаско скучнел, заставляя себя забывать про заключенную «мазу», а иногда придавал ей значение шутки. У Вовца же память была отличная, и он каждый раз, встречая Продольного на улице, потирал руки и поглаживал живот, предвкушая грядущий день платежа. И вот в вечер, о котором идет речь, исполнилось ровно два года с того знаменательного момента, и Вовец извлек из-под подушки документ, подтверждающий заключение «мазы», спросив, каким образом Колбаско собирается погасить долг. Колбаско покрылся красными пятнами и заявил Вовцу, что только подлец мог заключить такую «мазу», заведомо зная, что никакими средствами нельзя человека избавить от горба, а с подлецами он вообще иметь дел не желает и деньги отдавать не собирается. Но поскольку они все-таки были друзьями и до драки у них дело почти никогда не доходило, Вовец объявил Колбаско амнистию, заменив пятьсот рублей бутылкой. Колбаско был несказанно обрадован, посчитав, что он наколот простодушного Вовца, сэкономив четыреста девяносто рублей. А простодушный Вовец тем более остался в выигрыше, потому что о большем и не мечтал. Колбаско сбегал, и они мирно выпивали и закусывали, являя всему остальному миру пример того, как можно договориться даже в самой щекотливой и конфликтной ситуации.

Их незатейливую трапезу прервал нервный звонок в дверь. Аркан Гайский, едва не сбив открывшего ему Вовца, промчался по коридору и скрылся в туалете.

Через десять минут он появился в комнате, держа под мышкой тетрадь в черном кожаном переплете.

— Съел я чего-то, наверно, — сказал он друзьям, как бы извиняясь, и подсел к столу.

— Ну? — спросил Вовец. Он всегда говорил «ну», когда нечего было сказать.

Без ярко выраженной радости он поставил перед Гайским рюмку и занес над ней бутылку, но наливать не стал, выдерживая известную вопросительную паузу.

— Ни в коем случае! — замахал руками Гайский. — Я чего-то съел такое!..

— Как знаешь, — облегченно вздохнул Вовец и с надеждой взглянул на Колбаско.

— Буду, буду, — испортил ему настроение Колбаско. — Не умер еще!

— Черт знает что! — заговорил Гайский. — Носятся с этой повестью! Пакость! Дрянь! Бестиев, и тот лучше пишет!.. Ну, ладно. Я, может, необъективен — у меня рассказ зарубили, но я тебя спрашиваю, Вовец!.. Вот ты — талантливый, с безупречным вкусом... Вот прочти и скажи! Только честно! Тебе юлить нечего, тебя в журнале не балуют!..

— Позовут еще! — вдруг затряс бородой Вовец. — Коня белого пришлют, а я им вот покажу!

И Вовец показал, как он им покажет.

— И правильно сделаешь, — согласился Гайский. — Надо иметь гордость.

— Я один держусь! — начал заводиться Вовец. — Чем писать муру, лучше вообще не писать!..

— Что ж я, по-твоему, муру пишу? — обиделся Колбаско.

— А я тем более, — сказал Гайский.

— Почему это ты «тем более»? — наскочил на него Колбаско. — Мажем, что у тебя больше муры, чем у меня?

— Я просто больше пишу, — возразил Гайский. — А талант имеет право на издержки.

— Коня белого пришлют! — закричал Вовец и выпил свою и колбаскину рюмки.

— Я не умер еще! — сказал Колбаско.

— Мы все талантливые люди, — примирительно произнес Аркан Гайский. — И противно, когда нас затирают бездарности! Подумаешь! Чей-то сын!.. Я же не кичусь тем, что мой отец в свое время был несправедливо исключен из рабфака... Вот ты прочти, Вовец. У тебя безупречный вкус...

— Что ж, у меня плохой вкус? — спросил Колбаско и пошел пятнами.

— Ты поэт, — заметил Гайский, — а здесь, с позволения сказать, проза...

— Чем читать муру, лучше вообще не читать! — не успокаивался Вовец. — Позовут еще!.. Коня белого пришлют! А вот я им покажу!

— Пришлют! — обнадежил Гайский. — Еще как пришлют! Тот же Индей Гордеевич придет... Кстати, он, по-моему, просто чокнулся... Прочитал эту повесть и сказал, что снова почувствовал себя мужчиной... Ну?

— Индей Гордеевич зря ничего не говорит, — вдруг насто-рожился Колбаско и быстро-быстро начал думать о чем-то своем, сугубо личном, исключительно интимном и семейном, а потом попросил решительно: — Дай мне тетрадку на ночь! Утром отдам.

— Тебе-то зачем? — польстил ему Гайский. — Ты ж у нас богатырь!

— Мне-то ни к чему, — гордо ответил Колбаско, — я хочу, чтобы Людмила прочла... Индей Гордеевич зря не скажет...

— Домой дать не могу, — сказал Гайский, — это я у Ольги Владимировны взял.

— Ну не звать же сюда Людмилку, — резонно заметил Колбаско и с ходу предложил: — Слушай! А прочти-ка вслух! Я все-таки верю Индею Гордеевичу!..

— Все?! — испугался Гайский.

— Хотя бы один кусок... А вдруг и вправду...

— Хорошо, — согласился Гайский, — но предупреждаю: все это пакость и дрянь! Никакой сатиры!..

— Ладно! Ты читай!

Колбаско растолкал уже задремавшего Вовца, и Гайский, открыв тетрадь где-то посередине, начал читать, вкладывая в этот процесс свое резко негативное отношение.

«Первый ревзод вышел от мадранта, испытывая крайнюю неудовлетворенность. Впервые за все время своего правления мадрант, кажется, усомнился в преданности ревзода. Мадрант молод. Мадрант в силу своей молодости совершает поступки, которые кажутся правильными только ему, но ведь все, что делает мадрант, должно быть правильным прежде всего с точки зрения государства. Государство — это многовековое дерево, а мадрант — лишь крона его. Основу его, его ствол составляют ревзоды и армия. А горожане — эти копошащиеся в земле и воде черви — корни государства. Можно срубить крону. Ревзоды и армия родят новую крону. Можно срубить ствол. Корневая система произведет новых ревзодов и новую армию, которые, в свою очередь, создадут новую крону. Но если заболевают и начинают гнить корни — смерть всему дереву. Можно обожать мадранта и желать ему вечного здоровья и процветания, но если его поступки представляют хоть малейшую опасность для государства, его надо убить, сожалея и проливая слезы над его гробом. Можно ненавидеть мадранта и желать ему ежеминутной и страшной гибели, но если жизнь его и дела его укрепляют дерево, нужно просить небо о бесконечном продлении жизни ненавистного существа, а когда наступит все-таки неотвратимый смертный миг, пробивать слезы печали и горести, облегченно вздыхая одновременно... Добравшийся вчера до острова свой человек из Страны Поганных Лиц принес известие, что там замыслили Великий Поход на мадранта, и если это так, то армада вражеских фрегатов уже в пути, и не далее как через десять дней после Новой луны она будет здесь. Надо вдвое увеличить армию, надо возвести дополнительный вал укрепления. Но мадрант приподнял правую бровь и улыбнулся своей вызывающей дрожь улыбкой: разве армия мадранта не самая сильная

в мире? Разве укрепления созданы не для того, чтобы об их стены разбивал голову любой враг? Разве не об этом докладывал каждое утро Первый ревзод? Разве обманывал он своего мадранта? Да, высокий мадрант, это так. Это даже больше, чем так. Однако мадрант молод. Слова подобны женским украшениям, но, когда ложишься с мужчиной, надо их снимать. Горожане погрязли в лени, армия разжирела, Священная Карраско злится с каждым днем все сильнее и сильнее, а мадрант как будто ничего не замечает. Его заботит что-то свое, но Первый ревзод угадывает, что это с в о е — не что иное, как белая плятная вошь, которую мадрант переселил из розового дворца в собственные покои (!).

Такого не упомнит история государства. Мадрант упразднил арбаков, чтобы превратить святая святых в грязный тюфяк для справления похотливых нужд! Ревзоды оскорблены. Жены унижены. Две из них во время вчерашней прогулки добровольно бросились в водоем со священными куймонами. Исчез Рредос — гордость мадранта, исчез внезапно, сломав позвоночник одному стражнику и покалечив другого. Но и это не огорчило мадранта. Узнав, он только расхохотался и велел немедленно доставить бледную поганку в свои покои, дав понять таким образом, что не доверяет больше охране розового дворца, а стало быть, не доверяет ревзоду. Напрасно, мадрант! Ох, как напрасно!.. Ревзод мудр. Доверься ему, и он вытащит тебя из бурного потока опасностей. Не доверяя же ему, ты отсекаешь руку помощи, протянутую тебе.

Вот почему Первый ревзод вышел от мадранта, испытывая крайнюю неудовлетворенность. Когда он подходил к зданию совета ревзодов, земля и стены вдруг задрожали от глухого грохота. И Первый ревзод понял: это рычит Карраско, предупреждая всех, что она зла.

Чикиннит Каело встретил ревзода у входа в совет и, упав на колени, заявил, что имеет важную причину для безотлагательной беседы. Совершенно некстати явился этот старый Каело, но важность причины, о которой он беспрестанно повторял, и его испуганный вид заставили Первого ревзода выслушать хозяина «Альманаха»... Стало быть, вчера во второй половине дня, когда бедный верный Чикиннит Каело, как обычно, не жалея сил своих и мыслей для того, чтобы зеленый и красный «Альманахи» в очередной раз порадовали взоры и слух Первого ревзода и мадранта... когда удалось ему, как кажется, найти невиданные до сих пор эмоциональные оттенки в палитре словотворчества... Понимаю, великий ревзод, и перехожу к важной причине... Когда небо осенило Чикиннита Каело и дало ему радость величайшего открытия, позволяющего возвеличить высокого мадранта поистине безгранично... Конечно, великий ревзод!.. Чикиннит Каело хотел только познакомиться тебя... Подчиняюсь, великий ревзод!.. Тогда-то и появился в дверях «Альманаха» презренный горожанин, видимо, слуга некоего Ферруго, который положил перед Чикиннитом Каело зловную и опасную аллегорическую, написанную, заметь, великий ревзод, на листе дорогой бумаги, в коей земными словами (глаза б мои не видели этих мерзких слов)

содержится прямой призыв к собаке с тем, чтобы она разорвала своего господина!.. Ты понимаешь, великий ревзод, кого подразумевает негодяй Ферруго под словом «собака» и какого господина должна эта собака разорвать?! Прикажи здесь же снять голову с глупого Чикиннита Каело за то, что он осмелился произносить вслух подобные слова!.. Преданный мадранту Чикиннит Каело хотел схватить презренного слугу и бросить к твоим ногам, великий ревзод, но где было взять сил больному Чикинниту Каело!.. Пришлось прибегнуть к хитрости и оставить рукопись у себя, чтобы не спугнуть его и не вызвать подозрений, дать желтый камень надежды с предложением в третий день после Новой луны принести в «Альманах» что-нибудь еще и получить назад рукопись с соответствующими рекомендациями. И слуга негодяя Ферруго клюнул на эту наживку и ушел, ни о чем не подозревая... О великий ревзод! Ты спрашиваешь: где эта проклятая бумага? Смерти достоин жалкий Чикиннит Каело! У него ее нет... Едва удалился презренный слуга, старший переписчик, наверняка по злому умыслу, отвлек внимание доверчивого Чикиннита Каело, предложив ему спуститься внизяко бы для проверки готовности красного «Альманаха», и, когда наивный Чикиннит Каело вновь поднялся на верхнюю террасу, ту самую, которую любезно посетил не так давно великий ревзод, бумага исчезла!

Глубоко задумавшись, Первый ревзод ходил из одного конца зала совета в другой. Не содержание бумаги, о которой рассказал сейчас этот плешивый ублюдок, взволновало его, а сам факт, что кто-то осмелился выпустить жало, кто-то запалил факел. Преступную оплошность допустил Чикиннит Каело, не задержав неизвестного, во-первых, и позволив исчезнуть крамольной бумаге, во-вторых. Но Первый ревзод верит в преданность Чикиннита Каело и относит происшедшее к его старческой глупости, иначе бы не перед Первым ревзодом стоял сейчас на коленях Чикиннит Каело, а перед палачом Басстио. Наказание, которое ждет хозяина «Альманаха», еще впереди, а пока он имеет возможность искупить свою вину, направив остатки своей изворотливости на то, чтобы раздавить скорпиона прежде, чем он сможет укусить кого-нибудь, затушить факел, прежде чем будет разожжен костер. С этого момента перед домом, где расположен «Альманах», будут дежурить четыре представителя службы молчаливого наблюдения, чтобы схватить бритого бородача по знаку Чикиннита Каело, как только он появится вновь. И ни одна душа не должна знать о случившемся и о принятых мерах, чтобы не было нищизны для нездорового любопытства и слухов. А теперь старик может убираться, дабы не раздражать долее своим тошнотворным видом Первого ревзода.

Он долго еще ходил из угла в угол. Нет, нет, все к одному. Его опыт, его мудрость, его нюх подсказывали: что-то разладилось в большом механизме, что-то разболталось. Мадрант пока не чувствует этого или не желает чувствовать, но много лет назад тогда еще молодая Герринда — любимейшая жена отца нынешнего мадранта — сказала Первому ревзоду, что в одном из своих прежних обличей он был

крысой. И как это ни противно и оскорбительно, но в чем-то Герринда права: он обладал обостренным чутьем опасности, которое и сейчас его не обманывает, — в корабле появилась течь...»

В этом месте гримаса перекосила лицо чтеца-сатирика, и он опрометью бросился из комнаты. Вернулся он минут через семь, серьезный и озабоченный.

— Нет, я точно сегодня чего-то съел, — произнес Гайский, усаживаясь на стул и неодобрительно покачивая головой.

— Слушай! — сказал Колбаско. — А может, эта вещичка на тебя так действует? На тебя так, на Индея Гордеевича по-другому...

— Что ж она на тебя не действует? — разозлился Гайский.

— Не знаю, — ответил Колбаско и неожиданно обратился к Вовцу: — Кстати, Вовец, ты помнишь, что должен мне шесть сорок?

— Каждый раз напоминать об этом другу подло! — отрезал Вовец, обводя стол мутными глазами. — Читай, Аркан.

И Аркан Гайский продолжил:

«Олвис, переведенная в покои мадранта, проводила теперь в его присутствии почти все время, но никак не могла понять причину по-прежнему корректного, исключаящего всякую близость отношения к ней. Для отдыха и сна ей была отведена отдельная комната, в которую мадрант никогда не заходил. Олвис видела, что мадрант страдает и мучается, когда разговаривает с ней или просто молча и задумчиво смотрит на нее, и она уже давно готова была облегчить его страдания не столько своим мастерством, сколько желанием, но... Извини, мадрант, ты испытываешь мою гордость, уж коли ты не покупаешь меня и отказываешься брать силой, предлагая игру на равных, то пусть я лучше сдохну (чересчур изысканно для принцессы, конечно), пусть лучше вырвутся наружу мои желания, покрыв кожу струпьями и нарывами, но ты не дождешься, чтобы я сама завалила тебя (опять грубо, но что поделаешь!), хоть ты мне и нравишься с каждым днем все сильнее и сильнее.

А мадрант, погруженный в свои мысли, развлекал ее, а может быть, и сам развлекался, играя со своим шутом. Он далеко забрасывал небольшой круглый желтый камень, а шут, изображая собаку, разыскивал этот камень и в зубах приносил его мадранту, поскуливая и глядя на мадранта своими зеленоватыми глазами. Потом этот невысокого роста человек вдруг становился похожим на жалкого старикашку, на лбу у него вздувались вены, и начинала трястись голова. Он называл мадранта Ферруго. Па-па-па... Пе-пе-пе... Ферруго хочет стать знаменитым поэтом?.. Ферруго недорос. Ферруго еще недостоин... Кто такой Ферруго?.. Па-па-па... Не знаю такого... У нас есть стихотвор-

цы, у которых Ферруго должен учиться, много учиться, долго учиться... Бедненький Ферруго! Вот тебе желтый камень, чтоб ты не унывал...

Мадрант улыбался и обращался к Олвис, показывая ей желтый камень, чтобы Олвис знала: Чикиннит Каело отказывает какому-то Ферруго, но если бы стало известно, кто такой Ферруго, эти строки Чикиннит Каело расклеил бы по всему городу и сделал бы молитвой для горожан. Но Чикиннит Каело никогда не узнает, кто такой Ферруго, потому что мадрант не хочет побеждать поэта Ферруго в нечистой игре, и если Ферруго бросил вызов мадранту, мадрант принимает вызов и будет драться с ним так, как может драться человек, которого небо призвало быть мадрантом. И только победитель станет достойным прекраснейшей Олвис. И мадрант снова кидал как можно дальше желтый камень, и шут снова в зубах приносил его мадранту, глядя на него своими зеленоватыми глазами. А потом шут становился похожим на Олвис и, томно вздыхая, подмигивал ей, садился на колени к мадранту, обвивал его шею руками, прислоняясь своей головой к его груди. И тогда мадрант брал его левой рукой за шиворот («Почему он прячет свою правую руку?») и легко, словно щенка, отшивырявал шута, после чего шут заливался слезами и начинал рвать на себе волосы...»

Вовец икнул. Гайский с опаской взглянул на него и продолжал:

«...А на город меж тем наступала не поддающаяся ни проклятиям, ни заговорам, ни мольбам иссушающая, безжалостная жара. Обмелели, а вскоре и вовсе пересохли ручейки и питьевые каналы. Уровень воды в пресном водоеме настолько понизился, что совет ревзодов ограничил потребление воды горожанам четверто, а рабам — вшестеро. Пожухла и выгорела трава, свернулись и превратились в сухие мертвые трубочки листья на деревьях, и сами деревья под горячим оранжевым солнцем стали похожими на скелеты. Земля сморщилась и облысела, покрывшись трещинами и корками. Горожане до глубокого вечера не покидали своих домов, спасаясь от зноя. Рабы на полях и в каменоломнях падали замертво от губительных тепловых ударов. Тела их сначала сбрасывали к священным куймонам, но те, ожирев от обилия жертвенной пищи, ушли на дно, и разбухшие трупы постепенно покрыли поверхность водоема. Тогда мертвых рабов перестали убирать и, разлагаясь, они заполнили город и окрестности густым тяжелым смрадом, который стал ощущаться даже во дворце мадранта, хотя тот находился на высоком холме...»

Вовец снова икнул.

«Легче других пришлось рыбакам, которые с рассветом уходили далеко в море и облегчали участь, бросая свои уставшие, потные тела

в прохладную морскую голубизну. И лишь поздно вечером приморские улочки и драббинги — эти заведения, где могли собираться и пить вино горожане, — оживлялись. Возвратившиеся рыбаки в обмен на сведения об удачном или неудачном улове получали от горожан свежие новости, накопившиеся за день. А новости были мрачными и неутешительными. Около полуночи в один из драббингов прибежал бледный, насмерть перепуганный воин из горного сторожевого отряда и, едва успокоившись двумя большими чашами вина, рассказал, как некоторое время назад, вскоре после захода солнца, на его глазах был опрокинут на землю выскользавшим из-за скалы огромным животным начальник сторожевого отряда, проверявший ночной караул. Рассказчик и его товарищи, остолбенев от ужаса, видели, как чудовище разорвало грудь и живот начальника отряда и, издав жуткий вой, в три гигантских скачка исчезло во тьме. Обезумевший рассказчик бросился в город, чтобы поведать эту историю жителям...»

Вовец икнул.

«Утром страшная новость уже расплзлась холерой по городу — от горожанина к горожанину, от дома к дому, от драббинга к драббингу. Она видоизменялась и обрастала новыми деталями и фактами, придававшими ей дополнительную правдивость. Не начальник, а весь отряд был растерзан возникшим в ночи из небытия невиданным зверем. Никакой это не невиданный зверь, а взбесившийся от жары любимый пес мадранта, и не начальник горного отряда стал его жертвой, а один из ревзодов, охотившийся, на свою беду, в горах прошлой ночью. Никакой это не пес мадранта, а символ неба, посланный им на землю в облике свободной собаки, чтобы объединить горожан и поднять их на свержение мадранта, и этот символ может принимать не только собачий, но и человеческий образ, превращаясь то в бородатого карлика, то в прекрасную белокурую женщину, и вчера в одном рыбацьем драббинге его видели в облике худого парня со странными зелеными глазами, и он зачитывал какую-то бумагу, в которой собаки призывались к расправе над своими хозяевами, после чего находившиеся в драббинге ввали в страшное возбуждение и этой же ночью ушли в горы, где обезоружили сторожевой горный отряд мадранта, и символ этот имеет имя, и зовут его не то Верраго, не то Буррого, не то Ферруго...»

Вовец икнул.

«...да-да, высокий мадрант, Ферруго — так зовут негодяя, из-за которого всполошился город, а воины ослушиваются приказаний начальников, отказываясь следовать в горы, чтобы изловить и уничтожить бешеное Рредоса, ибо нет никаких сомнений в том, что таинственное животное, растерзавшее несчастного начальника горного сторожевого отряда, и есть сбежавший любимейший пес, и коли мадрант доверлет

Первому ревзоду, нарушившему покой мадранта столь неприятными сообщениями, то Первый ревзод удаляется для принятия необходимых в данном случае мер...»

Вовец икнул и очнулся.

«Мадрант приподнял правую бровь и улыбнулся. Редос был славным псом, но неужели незыблемая мощь армии мадранта, о чем неоднократно докладывал Первый ревзод («Да, мой мадрант, мощь армии по-прежнему незыблема»), столь ослабла, что она не может отловить бешеную собаку, успокоив таким образом бедных, изнывающих от жары и зноя горожан? Знает ли Олвис, что делают тогда, когда один воин не подчиняется приказу? Его казнят, но казнят не только его, а еще десять ни в чем не повинных воинов из того же отряда. И если кто-то и потом вздумает не подчиниться, то уже не будет необходимости в новой казни. Его разорвут свои же, ибо никто так не дорожит жизнью, как рабы, которым кажется, что они свободны. Что же касается Ферруго, бросившего вызов мадранту, то мадрант принимает этот вызов и становится беспощадным...»

По мере того как Гайский читал, Колбаско мучительно перебирал в памяти всех, кто когда-либо сколько-либо был ему должен... Вовец — шесть сорок... Дамменлибен — двадцать три восемьдесят и еще вчера пятьдесят копеек за сигареты... Это тридцать рублей семьдесят копеек... Мухославское издательство недодало ему сто четырнадцать рублей... Это сто сорок четыре семьдесят... Отец — восемьдесят... Нет. Это он отцу должен восемьдесят... Минуточку! А с Бестиевым они накатали на пони немецкую переводчицу на тридцать два рубля. Бестиев заплатил только двенадцать, сказав, что он на пони не катается... Но это его собачье дело... Четыре рубля Колбаско с него вырвет. Это сто сорок восемь семьдесят... Все? Неужели больше ему никто не должен?.. Вовец — шесть сорок... Вовца уже считал... А еще вспомнил Колбаско школу. В пятом классе за январь на завтраки он сдал четыре рубля, но ведь десять дней — каникулы, а деньги до сих пор не вернули!.. Сто пятьдесят два семьдесят... А наезднику Барабулину три рубля за то, что он подъедет на Конвейере... Хотя ипподром лучше не вспоминать... Но все-таки набегает...

Вдруг Вовец сказал:

— Он мне читает какую-то муру, а я его слушаю! Да вообще, если хотите знать, в России есть только один писатель! Мельников-Печерский! А все остальное — мура!.. Приползут еще!.. Белого коня пришлют!.. А я им вот покажу...

— Мура! Чистая мура! — согласился Гайский. — Я рад, что Вовец такого же мнения. Хотите, я вам лучше новый рассказ

прочитаю? Я там здорово придумал: приходит Леонардо да Винчи в ресторан, а официантка, которая его плохо обслуживает, оказывается Моной Лизой...

Но поскольку, кроме рассказа о Леонардо да Винчи, ничего более крепкого уже не осталось, Вовец категорически затряс бородой, имитируя усталость и алкогольное опьянение. Колбаско, по-прежнему считая, что Индей Гордеевич зря ничего не скажет, стал уговаривать Гайского дать ему до утра тетрадь в черном кожаном переплете — не для себя, конечно, а для Людмилки, которая, по словам Колбаско, последние несколько месяцев выказывает некоторое безразличие к нему и два раза не ночевала дома. В конце концов Гайский уступил, взяв слово с Колбаско, что утром тот вернет тетрадь в целости и сохранности.

Они вышли от Вовца в третьем часу ночи. Гайский, по известной причине, которая начала его изрядно волновать, едва успел добежать до дома. Колбаско же, определив за сегодняшней вечер, что государство и отдельные его граждане должны ему сто шестьдесят рублей двадцать копеек, возвратился домой в хорошем расположении духа, считая, что еще не все потеряно и жизнь не так уж плоха. И вскоре уже весь Мухославск спал, готовясь к очередному трудовому дню, а наиболее яркие его представители под утро даже видели сны, каждый, как говорят в таких случаях, в меру своей испорченности, образованности и интеллигентности.

Бестиеву снилось, что ОНИ бегут по огромной политической карте мира, покрытой свежезеленой, как в рассказе Брэдли, травой. Бегут ОНИ плавно, словно в замедленном кино. Они бегут втроем, взявшись за руки. Бестиев в центре, справа от него — наш посол у них, слева — их посол у нас. ОНИ бегут, улыбаясь, перепрыгивая через слаборазвитые страны, в джинсах по сто рублей и в розовых рубашках с воротником-стойкой по тридцать пять чеков.

— Мы тебя любим, — говорит Бестиеву наш посол у них.

— И мы тебя любим, — говорит их посол у нас.

Бестиев не понимает.

— Как это? — спрашивает он нашего посла у них. — Вы из какой системы?

— Из нашей, — отвечает наш посол у них и ласково треплет Бестиева по щеке.

— А вы из какой? — спрашивает Бестиев у их посла у нас.

— Из нашей, — отвечает их посол у нас и ласково треплет Бестиева по другой щеке.

— Как это? — силится понять Бестиев. — Ведь если МЫ меня любим, то ВЫ меня не любите? Так?

- Любим,— говорят послы.
- Но ведь мы все из разных систем!— напрягается Бестиев.
- Гармония,— говорят послы.
- Это удалось только Бестиеву,— обращается наш посол у них к их послу у нас.
- Только Бестиеву это удалось,— обращается их посол у нас к нашему послу у них.
- А ведь у нас многие пытались,— говорит наш посол у них.
- И у нас многие пытались,— говорит их посол у нас.
- А куда мы бежим?— спрашивает Бестиев.— За нами гонятся?
- Туда,— отвечают послы и указывают в сторону горизонта.
- И там, у самого горизонта, Бестиев видит дымящуюся гору.
- Карраско?— спрашивает Бестиев.
- Карраско, Карраско,— кивают послы.
- А почему она дымит?— Бестиев нервничает.— Это символ?
- Единство — борьба противоположностей,— говорит наш посол у них.
- Как это?— Бестиев шумно выпускает сигаретный дым в лицо нашему послу у них.— Если это символ, то почему он дымит?
- Символ вулкана,— говорит их посол у нас.
- Вулкан символа,— говорит наш посол у них.
- Как это?— Бестиев недоумевает и отрывает пуговичку на рубашке их посла у нас.— А зачем мы туда бежим?
- А там конец,— отвечают послы.
- Как это?— Бестиеву становится страшно.— Конец чего?
- Конец — это начало начала,— говорит наш посол у них.
- Как это конец может быть началом?— Бестиев пытается остановиться.— Значит, начало может быть концом?— Бестиев пытается вырваться.— Не хочу конца!— Бестиеву становится душно.— Не хочу начала!— Бестиеву нечем дышать.— Хочу продолжения!..
- Но в это время на горизонте что-то взрывается со страшным грохотом, и Бестиев открывает глаза. Над Мухославском гремит гром и сверкают молнии.
- «Начитаешься дерьма,— думает Бестиев, захлопывая окно,— потом спать не можешь...»

Вовсу снился абсолютно дивный сон — будто он выступает на своем творческом вечере на ликеро-водочном заводе. Он

стоит на торжественно убранной сцене перед микрофоном и держит изданный в Лейпциге свой афоризм в двух томах. Он раскрывает тома и читает: «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера». В зале вспыхивает овация. Вовец кланяется и хочет покинуть сцену. Но его не отпускают. Он снова читает с выражением: «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера». Рабочие скандируют его имя. И он вынужден повторять еще и еще... Народ на руках выносит его и его бороду в производственный цех, и сон Вовца становится еще более дивным. Конвейерная лента, заполненная чистенькими прозрачными бутылками, причудливо извивается, образуя по форме афоризм «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера».

— Это высшее признание! — улыбается Вовцу директор.

А над ним, словно кровеносные сосуды, переплетаются стеклянные трубы, и в них струится, журчит, переливается, манит, обещает, ласкает, дурманит, рассуждает, философствует, творит, зовет и ни в коем случае не конформирует не похожее на муру настоящее произведение. Вовец тянется к этому произведению душой и телом. Он хочет приникнуть к нему, влиться в него и раствориться в нем, подобно тому, как режиссер растворяется в актере, но в этот момент сон Вовца из дивного становится кошмарным, потому что директор поводит перед его носом указательным пальцем: мол, ни-ни! Ни в коем случае!.. Вовец в гневе выбегает из цеха.

— Позовут еще! — испуганно кричит он. — Белого коня пришлют!.. А вот я им покажу!..

— Покажешь, все им покажешь, — гладит его по горячей голове теща. — Не ори только.

Вовец садится на кровати.

— Где Зина? — спрашивает он, дико озираясь.

— Помилуй, — говорит теща. — Она уж две недели как в командировке.

Вовец засыпает сидя, а теща, укладывая его, бормочет: «И на кой хрен она вышла за писателя?»...

Поэту Колбаско всю ночь снились шесть тысяч четыреста двадцать восемь рублей, и он не хотел просыпаться до двенадцати часов дня, потому что никогда раньше таких денег не видел...

Гайскому в эту ночь ничего не снилось. Ему было не до сна. «Хорош бы я был, если б встретился сегодня с Ольгой Владимировной», — думал он.

С-с-с... Алеко Никитич ждет Индея Гордеевича в вестибюле, еще не нервничая, потому что время пока есть, но уже выговаривая ему мысленно по поводу его безответственности. Индей Гордеевич вбегает в десять часов пять минут. Выглядит он ужасающе. Белки воспалены. Под глазами синеватые мешки. Он плохо выбрит и бесконечно зевает. Милиционер долго изучает пропуск Индея Гордеевича и тщательно сверяет фотографию на паспорте со стоящим тут же живым подлинником.

— В таком виде,— говорит Алеко Никитич,— он вообще имел право вас не пропускать. Помню, когда я работал в центральной газете, мне дали гостевой пропуск на Сессию. Ну в перерыве зашел я в туалет. И вдруг появляется, сами догадываетесь кто, и, несмотря на то, что я был занят делом, бросает мне между прочим: «Бриться надо, молодой человек!..» Похлопал меня по плечу, руки сполоснул и вышел. С тех пор, Индей Гордеевич, для меня каждое утро начинается с тщательнейшего выщипывания... Закалка...

Индей Гордеевич виновато молчит. Глядя в зеркало лифта, он проводит ладонью по щечкам, а потом спрашивает с надеждой:

— А может, сойдет?

— Дай-то бог, как говорится. Вы же его знаете.

— Верите, всю ночь глаз не сомкнул...

Индей Гордеевич виновато улыбается.

— Я вам советую,— говорит Алеко Никитич,— перед тем, как войти в кабинет, отзевайтесь как следует в коридоре... У нас есть еще три минуты.

Индей Гордеевич, стоя лицом к окну, активно зевает до тех пор, пока Алеко Никитич, взглянув на часы, не делает ему знак.

— Доброе утро, Ариадночка, доброе утро, милая! — говорит Алеко Никитич, входя в приемную. Он целует Ариадне Викторовне руку. — Как здоровьице? Супруг как?

Ариадна Викторовна, не ответив Алеко Никитичу, поводит глазами в сторону кабинета и произносит по-утреннему делово:

— Он вас ждет. Но учтите: он не в духе.

Алеко Никитич с тревогой смотрит на Индея Гордеевича, и оба осторожно входят в кабинет.

Н. Р. сидит за большим столом. В руках держит мелко исписанный лист бумаги. Ноги под столом разуты. Полуботинки стоят рядом. Одна нога время от времени ласково поглаживает другую. И если смотреть только под стол и видеть исключительно ноги Н. Р., то они становятся похожими на двух странных, одетых в коричневые носки зверьков, которые ведут не

зависящий от Н. Р. образ жизни. Они то ласкаются, то щекочут, то задираются, то расходятся и обиженно смотрят друг на друга, то снова сходятся и начинают драться. Но если перевести взгляд с ног Н. Р. на его лицо, а потом с лица на ноги, то можно усмотреть определенную зависимость поведения этих ног от выражения лица Н. Р. Вот лицо едва заметно ухмыльнулось, и правая нога уже пытается заигрывать с левой. Вот лицо нахмурилось, и левая нога прижимает правую к полу. Вот лицо разгневалось, и ноги разбежались в разные стороны. Кажется, еще немного — и они зашипят, словно два кота. Судя по тому, что сейчас ноги находятся на почтительном расстоянии друг от друга да еще угрожающе притоптывают, Алеко Никитич понимает: Н. Р. пребывает в состоянии крайнего раздражения.

— Доброе утро! — севшим голосом произносит Алеко Никитич. — Как здоровыце? Супруга как?

Н. Р. не реагирует на приветствие. Он занят мелко исписанным листком, и Алеко Никитич с Индеем Гордеевичем продолжают стоять в дверях.

Внезапно Н. Р. припечатывает листок к столу ударом правой руки, левой рукой придвигает к себе телефон, отодвигает от себя какую-то папку, поправляет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами, отодвигает телефон, придвигает папку, задвигает на край стола стакан с чаем, опять поправляет стакан с карандашами, одновременно придвигая к себе телефон и пряча папку в ящик стола, кладет мелко исписанный листок в центр стола, отодвигает телефон, вынимает папку из ящика, поправляет стакан с карандашами, ищет глазами стакан с чаем, находит его и придвигает к себе, а на его место ставит телефон, переворачивает страницу настольного перекидного календаря, отодвигает стакан с чаем и придвигает к себе папку, кладет ее в ящик стола, перелистывает настольный календарь справа налево, возвращая его в исходное состояние, и ставит его на место телефона, затем вынимает папку из ящика, а листок кладет на край стола, как бы молча приглашая Алеко Никитича и Индею Гордеевича ознакомиться с его содержанием. Но едва они делают движение по направлению к столу, как Н. Р. накрывает листок правой рукой и придвигает его к себе, а на место листка идет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами. Все эти манипуляции Н. Р. производит сосредоточенно, не поднимая головы, не обращая внимания на вошедших. Это напоминает Индею Гордеевичу пасьянсы, которые любит раскладывать Ригонда. Индей Гордеевич вздрагивает, вспоминая Ригонду, и нервно зевает, не в силах погасить не то стон, не то вой, идущий из груди. Алеко Никитич с тревогой смотрит на Индею Гордеевича, но, к счастью, Н. Р. занят своими думами. Он кладет папку в ящик, отодвигает телефон, придвигает к себе стакан с чаем, на мелко исписанный листок

ставит стакан с хорошо заточенными цветными карандашами. Затем он достает из футляра очки, нацепляет их на нос, вынимает папку из ящичка и, поставив телефон на правый край стола, снимает очки и прячет их в футляр, одновременно кладя папку в ящик стола. Все эти на первый взгляд бессистемные движения на самом деле графически отображают ход мыслей Н. Р., и те, кто хорошо его знает и часто с ним общается, прекрасно изучили маршруты настольных предметов и в зависимости от того, что, куда и зачем, могут получить ясное представление о внутреннем состоянии Н. Р. и о том, что кого ждет в ближайшем будущем. Вот придвигается телефон («Уволю!»). Отодвигается папка («Из партии выгоню!»), поправляется стакан с цветными карандашами («Дубины!»). Придвигается папка («Если не из партии, то выговор с занесением!»). Отодвигается телефон («Не уволю, но в должности понижую!»). Придвигается стакан чая («Что у вас вместо головы?»). Придвигается телефон («Уволю к чертовой матери!»). Кладется папка в ящик («И под суд отдам!»). Поправляется стакан с карандашами («Задница у вас вместо головы!»). Перелистывается календарь («Какое сегодня число?»). Вынимается папка из ящичка («Под суд не отдам, а надо бы!»).

Алеко Никитич напряженно следит за причудливыми изгибами мыслительной кривой Н. Р., потому что знает: если последним в этой серии перестановок будет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами («Лошадиная задница у вас, а не голова!»), то все обойдется. Н. Р. поправляет стакан с карандашами, откидывается на спинку кресла, и Алеко Никитич облегченно вздыхает.

— Ну, хлябь вашу твердь! — не поднимая головы, грозно спрашивает Н. Р. — Что скажете? А?

— Да тут, понимаете, странную рукопись мы получили, — делая шаг вперед, говорит Алеко Никитич.

— А какой, интересно, день сегодня? — спрашивает Н. Р. по-прежнему грозно и по-прежнему не поднимая головы.

— С утра как будто среда была, — отвечает Алеко Никитич как можно более спокойно.

— А вы что по этому поводу думаете? — обращается Н. Р. уже к Индею Гордеевичу.

— Вообще... если по календарю... — зеваёт Индей Гордеевич.

— Я спрашиваю, сколько дней прошло с той ночи, — Н. Р. разворачивается на своем вертящемся кресле к окну, и руководители журнала видят теперь только его спину, — с той ночи, когда над городом висело это «неизвестночто»?

— Три? — не очень уверен Индей Гордеевич.

— Стало быть, какой сегодня день?

— Четвертый? — все еще не уверен Индей Гордеевич.

— То-то, хлябь вашу твердь!.. Вы сами видели?

— Как можно видеть то, чего не бывает? — хочет отшутиться Алеко Никитич. — В воскресенье по городу слонялось много нетрезвого населения... А в таком состоянии можно увидеть все что угодно... Мы уже заказали антиалкогольную статью академику...

— А я видел! — прерывает его Н. Р., ударив кулаком по подоконнику. Он сидит все еще спиной к посетителям. — Что же вы, хлябь вашу твердь, против меня заказали антиалкогольную статью?!

— Алеко Никитич! — осторожно встречает Индей Гордеевич. — Вы знаете — я спиритизмом не балуюсь, но я тоже видел...

«Продает!» — тоскливо думает Алеко Никитич. — Сразу продает...»

Он начинает искать выход:

— Честно говоря, я тоже в окне видел какое-то свечение...

— Значит, и вы видели! — итожит Н. Р. и продолжает: — А теперь скажите мне, хлябь вашу твердь, если вы тоже видели, почему я получаю на четвертый день анонимные письма? Почему народ считает, что его обманывают, скрывая факты очевидного невероятного? Почему ваша газета до сих пор не выступила с научными доказательствами абсурдности того, что все, в том числе и мы с вами, видели? А? Почему, хлябь вашу твердь?! Кто редактор газеты? Вы или я? Если я, то уступите мне ваше кресло, а вы садитесь в мое и отвечайте на законные интересы трудящихся!..

— У нас в некотором роде журнал, а не газета, — мягко говорит Алеко Никитич, — периодическое издание... раз в месяц... Мы не можем столь оперативно...

Н. Р. разворачивается в кресле на сто восемьдесят градусов, поднимает голову и видит, что перед ним стоят Алеко Никитич и Индей Гордеевич. Сотрудники журнала «Поле-полюшко», хлябь их твердь!.. И он с достоинством исправляет положение:

— Вижу. Не слепой... Но газета какова?.. У Чепурного-то что вместо головы?

— По правде говоря, — Алеко Никитич оживает, — Чепурной хоть и неплохой журналист, но не для главного редактора такого оперативного органа, каким является газета...

«Продает! — думает Индей Гордеевич. — Сразу продает!»

«Закладывает, хлябь его твердь! — думает Н. Р. — Тут же закладывает!»

— Что же касается нашего журнала,— смелеет Алеко Никитич,— то тут мы с Индеем Гордеевичем уже кое-что прикинули... Обстоятельный отпор дать, конечно, уже не успеем, но врезочку вразумительную тиснем...

— Да уж, это нужно,— разрешает Н. Р.— А у вас-то что стряслось?

Алеко Никитич вынимает из портфеля рукопись и кладет ее на стол Н. Р. Индей Гордеевич нехстати зевает.

— Что это вы, хлябь вашу твердь, как драный кот? — смотрит Н. Р. на Индея Гордеевича.

— Объясню, все объясню,— извиняется он.

— Произведеньице нам тут подсунули,— докладывает Алеко Никитич.— Случай не совсем обычный. В другой-то раз так и черт с ним... Завернем — не пообедем... У нас редакционный портфель переполнен... Но есть подозрение, что автор не совсем рядовой, а имеет отношение к... — Алеко Никитич многозначительно указывает пальцем и глазами на потолок...

— К чему имеет отношение? К тому, что на небе висело? — усмехается Н. Р.

Но когда Алеко Никитич озабочен, ему не до шуток.

— Если бы,— говорит он со вздохом.— Но тут берите выше... Автор, по некоторым сведениям, чей-то важный сын... А в таких случаях мы должны быть особенно ответственны и внимательны... Нельзя, понимаете, потакать, но опасно и травмировать... Тем более что не каждый день к нам обращаются на таком уровне... И для престижа журнала, а может быть, и всего города...

— Откуда вам известно, что он чей-то сын? — спрашивает Н. Р., и в голосе его звучит строгость.

— Мне лично неизвестно,— зевает Индей Гордеевич.— Я его не видел...

«Страхуется! — думает Алеко Никитич.— На всякий случай страхуется!»

— С одной стороны, есть сведения,— говорит он.— А с другой стороны, я его видел...

— Он что, паспорт вам предъявил? — спрашивает Н. Р.

— Нет. Но производит впечатление... Русский такой... Со светлыми глазами... У меня нюх собачий... Еще с центральной газеты... И взгляд у него уверенный... Нахальный...

— Это в каком смысле? — строго уточняет Н. Р.

— В хорошем смысле,— тут же перестраивается Алеко Никитич.— В смысле достоинства...

— Да! — вдохновенно произносит Н. Р.— Молодежь сейчас сильная подрастает, волевая! Такую молодежь надо поддерживать! Зеленую улицу! Открытые двери!..

— А если он не из той молодежи? — осторожничает Алеко Никитич.

— А скажи мне, Алеко, хлябь твою твердь! — Н. Р. встает из-за стола и в носках ходит по кабинету. — Кто хозяин журнала? Ты или я? Если я, то давай мне свое кресло, бери мое... И зарплату мою бери!.. И ответственность мою бери!.. А я к тебе буду приходить и вопросы задавать!.. А ты меня распекаешь будешь!.. «Что это у тебя, Н. Р., — скажешь ты, — в журнале творится?.. А? Хлябь твою твердь!.. Что это твой художник, как его, Бабенлюбен, что ли, рисовать себе позволяет? Мне тут звонят, понимаюшь, солидные люди, уважаемые товарищи, возмущаются... Романтику совсем запустил!.. А где наши сегодняшние Ромео, хлябь вашу твердь? Джульетты где?.. Где место подвигу, хлябь вашу твердь? А?» — спросишь ты у меня!..

— Кстати, Алеко Никитич, — вмешивается, прикрывая зевок ладонью, Индей Гордеевич, — с Дамменлибеном пора кончать!

«Опять продает!» — думает Алеко Никитич.

— А вас вообще не спрашивают! — гаркает Н. Р. — Хоть вы и правы!.. Приходите на прием черт знает в каком виде! Небритый! Зеваете, хлябь вашу твердь! Как будто всю ночь дрова грузили!..

— Индей Гордеевич ретив стал не по годам, — многозначительно вставляет Алеко Никитич.

«Топит! — думает Индей Гордеевич. — Топит, подлец!»

— Я объясню, — оправдывается он. — Я все объясню...

— Объяснять буду я! — кричит Н. Р. — Для чего вы притащили мне эту вещь? — Он трясет рукописью перед носом Алеко Никитича. — Кто решает? Вы или я?.. Если вещь отвечает — печатайте! Если не отвечает — в корзину!.. Хотите переложить на меня ответственность?

— Нет. Но если автор вещи — чей-то сын, то...

— У него что, на лбу написано, что он чей-то сын?

— Вот мы и хотели вас просить... помочь кое-что выяснить... У вас связи, прямой выход...

— Выход? На кого?.. Как фамилия автора вещи?

— В том-то и дело, что фамилии нет...

Н. Р. садится в кресло, придвигает к себе телефон, отодвигает стакан с чаем, кладет папку в ящик стола, вынимает из футляра очки, перелистывает календарь, поправляет стакан с карандашами, достает папку из ящика, прячет очки в футляр, отодвигает телефон, придвигает стакан с чаем.

— С вами не соскучишься, хлябь вашу твердь! Автора нет! Фамилии нет, а Н. Р. должен выяснить?..

— Хотя бы приблизительно, — настаивает Алеко Никитич. — Узнать бы, у кого дети лет двадцати пяти... Девушки от-

падают... Брюнеты и рыжие отпадают... Нацменьшинства отпадают... Посольские дети нас не интересуют — невелики шишки... Да и министерские — выборочно...

Н. Р. вновь придвигает настольные атрибуты руководителя, и ход мыслей его примерно таков: если автор — чей-то сын и вещь выходит в журнале, а Н. Р. не в курсе, то главные купоны сострижет Алеко, хлябь его твердь! Если автор не чей-то сын, а вещь напечатана и скандала нет, то и бог с ней, но если вещь напечатана и возникает скандал, то главный удар обрушится на Н. Р., даже при условии быстрого упределительного увольнения Алеко, хлябь его твердь. Если вещь не напечатана и автор — просто автор, то и ладно. Перебьется. Но если вещь не напечатана, а автор — чей-то сын, то получается, что Н. Р. — либо перестраховщик, либо у него что-то личное по отношению к отцу автора, и никакое увольнение Алеко не поможет. Что же делать? Попытаться по своим каналам, выяснить, чей же сын автор? Задача для сумасшедшего, конечно, но выхода нет. Нельзя только, чтобы инициатива предложения исходила от Алеко. Надо прийти к этому выводу самому...

Глядя, как Н. Р. играет настольными атрибутами руководителя, Алеко Никитич соображает: вот мы и подцепим Н. Р. к нашему составу в качестве паровозика... С-с-с... Ну, допустим, автор — сынок. Тиснули мы его произведеньице. Начинается «ура!». Но кому «ура!»? «Ура!» сверху донизу по лесенке, а главное «ура!» — Н. Р. Алеко Никитичу кричать «ура!» не будут. Ему в лучшем случае «ура!» пропищит на ушко Н. Р. Алеко Никитич знает, как это делается. А на черта ему сдалась эта похвала Н. Р.? Невелика шишка... Хорошо бы, конечно, его обойти, тиснуть произведеньице этого автора, а он и вправду оказывается сынком. Тут есть, конечно, шанс выиграть и успеть собрать основной урожай, оставив Н. Р., как говорит Колбаско, «за флагом»... Но такая ставка рискованна. Лошадка уж больно затемнена... А вдруг автор не сынок?.. А мы уже тиснули!.. И кое-кому не понравилось! А Н. Р. не был поставлен в известность! С-с-с... Что с ним будет, то с ним будет... Как говорится, его собачье дело... Но то, что Алеко Никитичу головы не сносить — факт! Он знает, как это делается. Так что уж лучше, как говорит тот же Колбаско, «сыграть на фаворита — может, и не наваришь, но при своих останешься»... А ведь время, да и возраст таковы, что главное — остаться при своих... Вот пусть он и позвонит, и почешется. Мы его прицепим. Паровозик стоит — и состав стоит. Паровозик тронулся — и вагончики за ним поехали. Доехали — хорошо. Крушеньице? Печально. Но ведь не вагончики виноваты. Их паровозик вез...

Индей Гордеевич зевает и несколько раз ловит себя на том, что засыпает. Прямо здесь, в кабинете Н. Р., стоя рядом

с Алеко Никитичем перед Н. Р. Но в борьбе со сном он изо всех сил старается не пропустить основное... У Никитича игра своя, у Н. Р.— своя, а у Индей Гордеевича — своя. В случае выигрыша они с Индеем Гордеевичем делиться не будут. В случае скандала Никитич постарается сделать из него козла отпущения и с потрохами продаст его Н. Р. Так зачем, спрашивается, ему, Индею Гордеевичу, влезать в игру вообще? Поехали, Ригонда!.. Стоп! Не спать! Не спать!.. Не надо ему влезать в эту игру. У него своя аккомпанирующая партия... Пиано!.. Пианиссимо!.. Не надо это печатать! Не надо!.. Это и будем напевать заранее на мотив «Пролога» из Леонкавалло... Играть, когда точно в бреде я... Ни слов своих и ни поступков не понимаю... Стоп! Не спать! Не петь! Стоять!.. Постараться зафиксировать свои сомнения... А стоит ли? А может, не надо?.. Ассоциации... Аллюзии... Зачем? Кому?.. Поехали, Ригуша! Стоп! Не спать! Стоять! Думать!.. Ну, вышла повесть. Ну, успех. Виноват. Недооценил... Казалось... Теперь вижу, что ошибался... Но ведь не со зла, а из лучших побуждений... Я ведь хотел как лучше... Я всегда хочу как лучше... Поехали, Ригуша!.. Стоп! Не спать! Стоять! Соображать!.. Ну, пожурят, пошутят... Козел ты, Индей Гордеевич... Но ведь на фоне общего успеха — несмертельно... А если скандал? Так я же заранее говорил, помните? Еще в кабинете Н. Р. И на редколлегии опасался... И Ригонда подтвердит... Стоп!.. Не спать! Стоять! Решать! Гнать! Держать! Слышать!.. Дышать!.. Терпеть... вертеть... смотреть... обидеть... ненавидеть... зависеть... Гнать всех!.. Терпеть всех!.. Ненавидеть всех... Зависеть ото всех!..

— Слушайте, хлябь вашу твердь! — бьет Н. Р. кулаком по столу.— Идите и спите дома! А мы здесь без вас разберемся!..

— Объясню!.. Все сейчас объясню! — возникает из небытия Индей Гордеевич. Настал его момент. Сейчас он выскажет Н. Р. свое мнение. Он зевает в последний раз. Сон как рукой сняло. Смелость необыкновенная! Легкость и эйфория.— Прошу прощения, но при крайнем физическом утомлении у меня совершенно ясная голова, и лично я считаю, что зря мы связываемся с этим произведением, какому бы автору оно ни принадлежало.

— Интересно,— говорит Н. Р.

— Весьма интересно,— подхватывает Алеко Никитич.

— Да, да,— продолжает Индей Гордеевич.— Журнал наш читаем всеми слоями населения — и школьниками, и домохозяйками, и пенсионерами...

— Так это же прекрасно! — восклицает Алеко Никитич и, ища поддержки, смотрит на Н. Р.

— Прекрасно,— соглашается Индей Гордеевич,— но не

совсем. Произведение оказывает определенное воздействие на некоторые аспекты человеческих взаимоотношений.

— Так это ж хорошо! — понимает Н. Р. — Вот почему вы зеваете!

— Это началось сразу после прочтения, — таинственно говорит Индей Гордеевич и продолжает: — Поэтому я и боюсь, что если произведение окажет такое же действие на школьников, на рабочий класс, на колхозников, то последствия могут быть непредсказуемы... Интеллигенция — черт с ней! Она нас не читает.

— Ну, вот что! — Н. Р. встает из-за стола. — Я это прочту. — Он кладет руку на произведение. — Проверю. — Пододвигает телефон, отодвигает стакан с чаем. — Посоветуюсь с кем следует, и решим! — Достает из ящичка папку и, отодвинув телефон, снова кладет ее в ящик. — А вы пока работайте, засылайте в набор, иллюстрируйте... Только Бабенлюбену не давайте, хлябь его твердь! Голову оторву!

Н. Р. придвигает телефон, втискивает ноги в туфли и, застегнув пиджак, набирает номер.

— Пельземуха Сергеевна? — ласково поет он в трубку. — Добрый день, дорогая... Как здоровье? Супруг как?... Ну и отлично... Кланяйтесь ему... Пельземуха Сергеевна, сам у себя?.. Соедините меня с ним, как освободится... Спасибо, милая... — Н. Р. кладет трубку, выбирается из туфель, отодвигает телефон, придвигает стакан с карандашами, достает из кармана платок, разворачивает его, складывает вчетверо, прячет в карман, отодвигает стакан с карандашами и заканчивает сурово: — Так и передайте! И ему голову оторву, и вам, хлябь вашу твердь!

Н. Р. вяло машет рукой в сторону двери, и Алеко Никитич с Индеем Гордеевичем выходят из кабинета.

А Н. Р., держа руку на телефоне, наугад открывает рукопись и читает:

«Уже несколько дней и ночей Чикиннит Каело не покидал свою приемную террасу, составляя все новые и новые пламенные воззвания горожанам, и уже несколько дней и ночей не сводили глаз с приемной террасы четыре представителя службы молчаливого наблюдения, ожидая знака Чикиннита Каело, но любезный посетитель, бритоголовый бородач не появлялся. А события принимали довольно скверную окраску... Па-па-па... Пе-пе-пе... Никогда еще великий мадрант и его страна не были так сильны, как сегодня. Никогда еще небо над нашими головами не было столь безоблачным. Людоеды из Страны Поганых Лиц... Па-па-па... Жалкие людоеды из Страны Поганых Лиц... пе-пе-пе... Презренные людоеды из Страны Поганых Лиц затеяли против мадранта Великий Поход... пе-пе-пе... поход, равносильный само-

убийству. Все ближе к нашим берегам их неуклюжие тихоходные фрегаты. И каждая, даже самая ничтожная волна, и каждое, даже самое легкое дуновение ветра приближают... па-па-па... неотвратимо приближают их к неминуемой гибели... пе-пе-пе... неминуемо приближают их к неотвратимой гибели... па-па-па... неизбежно и неминуемо приближают и к неотвратимой... пе-пе-пе... Чикиннит Каело вытер пот... Небо! Взгляни, как устал несчастный Чикиннит Каело!.. Оцени, высокий мадрант, величайшую степень преданности тебе Чикиннита Каело!.. Пе-пе-пе... Но наше непобедимое, уверенное в своих силах воинство улыбается врагу всеми амбразурами своих укреплений. Оно встретит непрошеного пришельца смехом сабель и хохотом свинца!.. И уже слышится в воздухе знакомое «кляц-кляц-кляц». Это стучат от страха их поганые челюсти!.. Па-па-па... И уже раздается в воздухе знакомое «клоц-клоц-клоц». Это дробятся о священные камни их поганые желтые кости!.. И в этот радостный тяжелый час... Пе-пе-пе... Слишком сильно... И в эту радостную тяжелую минуту... находятся отдельные маловеры... па-па-па... находятся два-три маловера, которые бояться некогда любимейшего пса нашего мадранта, а ныне взбесившееся собачье отродье, которое скачет по горам, вызывая законный смех и ненависть даже у женщин, стариков и детей своими безвредными злобными выходками!.. Чикиннит Каело сделал два глотка тонизирующего миндаго... И многим из этих двух-трех маловеров, которым наверняка мозги припекло временным солнечным перегревом, представляется по ночам некий Ферруго, призывающий собак разорвать своих хозяев... пе-пе-пе... забыв, что подлинная собака готова жизнь отдать за своего хозяина... па-па-па... выдавая желаемое за действительное, кое-кому кажется, что кое-какие горожане и рыбаки, следуя призывам несуществующего Ферруго, уходят в горы и там обезоруживают армейские отряды, забывая о том... Что это? Неужели Чикиннит Каело почувствовал желание?... Жеггларда! Жеггларда!.. Так и есть!.. Будь проклято это воззвание!.. Чтобы именно сейчас... Жеггларда... Забывая о том... пе-пе-пе... что в действительности некоторые горожане и рыбаки... па-па-па... ох, Жеггларда... уходят в желанные горы и проводят там свободное время... Жеггларда... в тенистой прохладе скалистых гор и вершин... я спешу к тебе, Жеггларда... мирно общаясь с воинами мадранта, которые добровольно дают им поиграть своим оружием... па-па-па... пе-пе-пе... па-па-па... пе-пе-пе... обними меня, Жеггларда!.. И горожане в патриотическом порыве... крепче, Жеггларда... предлагают воинам своих жен, которые в томительном экстазе... я разрушаю тебя, Жеггларда-а-а... издают любовный крик... па-па-па...

...Чикинниту Каело стало легче... Прочь, Жеггларда! Нашла время будоражить Чикиннита Каело! Позор какой!.. Жара...

Пот градом лил с Чикиннита Каело... издают любовный крик, который кое-ким из маловеров принимается за призывный клич обезумевшего животного...

Чикиннит Каело обрел нежную поступь... тем более что нет никакого Ферруго, потому что он просто не существует... пе-пе-пе... Но даже если бы и возник такой сумасброд, то каждый честный горожанин его выследит, схватит и бросит к ногам мадранта, за что будет произведен в реводы, о чем великий мадрант уже издал соответствующий указ, ибо стать реводом мечтает любой простой горожанин... па-па-па... Успокойся, Карраско! Умерь свой гнев! Завтра все горожане как один устремятся к твоей пылающей от жажды вершине и в горстях принесут тебе драгоценную живительную воду, чтобы напоить и умиловить тебя, Священная Карраско, и обратить твой гнев на несуществующего Ферруго, который накликал на нас небывалую временную жару и тем вызвал твое справедливое негодование!.. Па-па-па... Напоим же завтра Карраско, которая есть! Отловим сегодня Ферруго, которого нет! И ждут нас прохлада и счастье, которые нам подарит за это высокий и славный мадрант!..

И довольный созданным, Чикиннит Каело в изнеможении откинулся на спинку кресла.

Бритоголовый возник перед ним неожиданно, как из воздуха, значительно раньше условленного срока... Па-па-па... У Чикиннита Каело так заколотилось сердце, что стало казаться, будто бритоголовый слышит этот звук. Но бритоголовый, так же бесстрастно глядя на Чикиннита Каело своими зелеными глазами, протянул ему свернутый в трубочку лист дорожной бумаги. Ферруго благодарит хозяина «Альманаха» за желтый камень и, ободренный, предлагает Чикинниту Каело новое творение, рассчитывая на удачу и доброе расположение... Пе-пе-пе... Несомненно, любезный посетитель, несомненно... Чикиннит Каело, тяжело дыша, с трудом подавляя волнение, поднялся и, подойдя к оконному проему, раздвинул вьющиеся живые занавеси, что являлось знаком для четырех представителей службы молчаливого наблюдения... Па-па-па... Конечно, любезный посетитель... Вот только душно сегодня, не правда ли?

А четыре представителя службы молчаливого наблюдения уже вышли из своих укрытий.

Чикиннит Каело дрожащей рукой взял у бритоголового листок дорожной бумаги и, еле передвигая ставшие вдруг свинцовыми ноги, вернулся на свое место... Пе-пе-пе... Сейчас, сейчас, любезный посетитель... О небо, па-па-па... как же трудно дышать старому Чикинниту Каело!

Но ему не стало легче даже после того, как на бритоголового набросили черный мешок и, перевязав цепями, выволокли на улицу.

Душно! Нет спасения от духоты!.. Пе-пе-пе... Чем-то тяжелым бьют Чикиннита Каело по затылку и по вискам. А написанное на дорожном листке бумаги расплывается, и буквы становятся красными и затевают какую-то несверлотную пляску... Па-па-па...

Раб свою жизнь проживает по-рабски в тоске по свободе.
Хвалит в ч е р а, проклинает с е г о д н я, надеясь на з а в т р а.
Но наступит его долгожданное з а в т р а... И что же?
Он уже хвалит все то, что в ч е р а предавалось проклятью...
Он проклинает все то, что в ч е р а ему было надеждой,

*Он уже хвалит все то, что в ч е р а предавалось проклятью...
Он проклинает все то, что в ч е р а ему было надеждой,
Снова надеясь на з а в т р а, и з а в т р а опять наступает...
Только раба уже нет — он в ч е р а перебрался в могилу,
Детям своим завещая надежду на новое з а в т р а...
Что же рабу в его жизни проклятой тогда останется,
Если в ч е р а ш н е е он никогда возвратить не сумеет,
Если извечное з а в т р а несчастный увидеть не сможет?
Только одно — утолить свою жажду свободы с е г о д н я!..
Па-па-па... Пе-пе-пе... Кто же этот Ферруго?*

Но Чикиннит Каело уже не узнает, кто такой Ферруго, он даже не поднимет голову, когда к нему войдет новый, взамен казненного, старший переписчик и увидит сидящего на своем месте Чикиннита Каело с листком дорогой бумаги в руках. На его лице застынет вопрос, на который он уже не получит ответа. И не услышит Чикиннит Каело нового мощного рыка Священной Карраско, и даже заметить не успеет Чикиннит Каело, что он уже умер.

Но странное дело. Ничего похожего на то, что говорил этот взбесившийся Индей, Н. Р. не испытал. В его воображении прошли все заслуживающие внимания женщины, но ни одна не затронула его больше, чем обычно... Ариадна Викторна на пляже, грудью деформирующая лицо Демиса Руссо на майке. Длинноногая мулатка с острова Фиджи, затанцевавшая его до сердечного приступа, до потери сознания, до падения с ушибом носа об ее крутое бедро. И все. И лишь высказывание капитана пассажирского лайнера: «Чай вприкуску, мулатка — вприглядку». И только...

Ни даже товарищ Анчутикова из мордовского облсовпрофа со своими зазывными песнями и оленьими шкурами. Ноль. Пустой звук...

Раздался телефонный звонок, и Пельземуха Сергеевна бесстрастно произнесла: «Соединяю».

Н. Р. опять втиснулся в туфли и превратился во внимание...

XIII

Бестиев появляется в редакции, как всегда, неожиданно. Никто никогда не может сказать, в какой момент он явился. Не было, не было — и вдруг есть. Поправляет волосы, смотрится в зеркало. «Красив! Дьявольски красив!» Гладит ручку Ольге Владимировне.

— Ну, что там?

— Где?

— Там. — Смотрится в зеркало. — С рукописью. — Украдкой нюхает собственные подмышки.

— По-моему, собираются печатать.

— Да? — Поправляет волосы, шумно затягивается. — А тебе нравится? — Пускает дым в Ольгу Владимировну.

— Нравится. — Ольга Владимировна отмахивается от дыма.

Бестиев выходит от Ольги Владимировны.

— А что нравится? Скажи, что нравится? — спрашивает Бестиев у Зверцева, который все еще правит Сартра.

— Не знаю. Я правлю Сартра.

— Сартра? — Бестиев дымит в лицо Зверцеву. — А кто это? — Смотрится в зеркало. — Что-то я такого не слышал. Олдриджа знаю... Как ты говоришь? Сартра? — Грызет орехи. — Он кто?.. Философ?.. — Записывает Сартра в записную книжку. — А что это за стихи, если в них нет рифмы? — Это Бестиев отрывает пуговицу у Свища.

— Белые стихи. Гекзаметр.

— Как ты говоришь? Гекзаметр? — Записывает «гекзаметр» в записную книжку. — А про что? Скажи, про что?

— Не знаю. Ритмика... Пластика.

— Никто не знает! — Бестиев теребит Сверхщенского. — Про рабов? А кто такие рабы? — Бестиев смотрится в зеркало. Садится напротив Дамменлибена. — Смысл-то в чем?

— Б-б-ардак совсем зашиваюсь ты с Катюхой помирился? Она х-х-хорошая деваха слушай дай пятерку тещу на дачу перевезти...

— Вот вы умный человек. — Бестиев угощает Индея Гордеевича фирменными сигаретами. — Чего вы в нем нашли?

— Между нами говоря, я тоже против. Но это строго между нами.

— Я со всеми говорил. — Бестиев входит к Алеко Никитичу. — Никому не нравится. — Бестиев успевает посмотретья в зеркало. — Свищ плюется, Зверцев морщится. — Алеко Никитич втягивает носом воздух. Бестиев принюхивается к своим подмышкам. — Сверхщенский не понимает, Индей Гордеевич против! — Бестиев грызет орехи. — Одной Оле нравится, но она известная дуручка!..

— Слушайте, Бестиев, произведение спорное, но, безусловно, стоящее.

— Будут у вас неприятности! Вспомните меня! — Бестиев обкусывает яблоко. — Вместо того, чтобы своих печатать...

У Бестиева высокоразвитое чувство опасности. Он боится публикации этого проклятого произведения. Он чувствует, что будет шум. Всплывет новое имя. Зашебуршат критики. И о нем забудут... «Но мы еще посмотрим...»

Анонимное письмо, полученное Н. Р.

«Уважаемый и дорогой товарищ Н. Р.!

Вынужден оторвать Вас от важных и полезных дел, коими Вы занимаетесь, не жалея ни сил, ни времени. События последних недель заставили меня обратиться прямо к Вам, зная Ваш честный и непримиримый подход к явлениям, безобразящим и порочающим нашу действительность. В обстановке напряженной идеологической борьбы, когда на нас клеветают с Запада и пытаются оболгать с Востока, недопустимым является факт появления произведений, которые фактически льют воду на ту и другую мельницы. Речь идет о готовящейся публикации в журнале «Поле-полюшко», том самом журнале, который снискал себе популярность и славу как у нас, так и у прогрессивных читателей за рубежом чистыми и свежими веяниями многих молодых писателей (Бестиев и др.), о публикации произведения, мягко говоря, вызывающего недоумение честного читателя, к каковому с полным основанием себя причисляю. Автор опуса неизвестен. Само, с позволения сказать, произведение написано на выдуманную тему. Время действия надуманно. Проблемы — несуществующие. Образы сомнительные, пошлые и затасканные. Видна попытка осквернить русский язык и навевать насильственные ассоциации. «Произведение» напищено сальностями и фривольностями. Главный герой — государственный деятель, узурпатор, палач, казнящий и топящий в крови собственное население за чтение каких-то непонятных и к тому же нерифмованных стихов. Согласитесь, все это пахнет сюрреализмом в самом мрачном его проявлении. И странную позицию заняло руководство журнала, которое, вопреки здравому смыслу, взяло под защиту это вредное графоманское творение. Что побуждает главного редактора п р о п и х и в а т ь (извините за грубое слово) вышеназванное произведение? Взятка? Корыстный расчет? Не исключаю! Зависимость от распоясавшихся клеветников типа А. Гайского, погрязшего в разврате и спекуляциях, одаривающего дочь главного редактора янтарными ожерельями? Не исключаю! Кто защищает позорные страницы? Зав. отделом прозы Зверцев, в голове которого сидит некий Сартр? Не исключаю! А какие строчки приводят в восторг гр-на Свища из отдела Пегаса? «Раб свою жизнь проживает в тоске по свободе. Хвалит вчера, проклинает сегодня, надеясь на завтра...». И он, малограмотный поэт и некомпетентный редактор, прикрывает свою шаткую позицию, называя эту подлую мазню гекзаметром? Не исключаю! Ну, что в этих строчках? Ну, скажите, что? Захлебывается от восторга, прочтя эту стряпню, редакционная машинистка — женщина без принципов и морали, откровенно сомнительного поведения! Им подпевают, надеясь на режим наибольшего благоприятствования, декадентствующий поэт Кол-

баско и спившийся публицист Вовец, печально знаменитый своими двусмысленными псевдоафоризмами. Заместитель главного редактора — единственный, кому откровенно не нравится этот наскоро испеченный поклеп. Но он вынужден молчать и соглашаться. Коррупция? Запугивание? Не исключаю! И в этом оголтелом хоре тонет честное большинство голосов тех, кому дороги чистота и ясность нашего литературного климата. Не хочу быть голословным, уважаемый и дорогой товарищ Н. Р., и снабжаю Вас отрывком из этой порочной пачкотни, по которому, я уверен, у Вас сложится должное и непредвзятое собственное отношение. Отрывок этот попался мне случайно, и я счел своим долгом ознакомить Вас с ним. Речь в этом отрывке идет о казни некоего шута, который, кстати сказать, является еще и гомосексуалистом! И это они хотят протащить на страницы журнала!

«Черный мешок с бритоголовым бросили к ногам Первого ревзода. А когда сняли цепи, вынули из мешка схваченного и поставили на ноги, Первый ревзод остолбенел — на него смотрел своими наглыми зелеными глазами, обнажив в гадкой улыбке кривые желтые зубы, шут мадранта...

Кого притащили, безмозглые олухи, Первому ревзоду?

Пусть успокоится, миленький ревзодик, красивенький ревзодик, умненький ревзодик! Безмозглые олухи притащили ему того, кого надо, кто недавно приходил к старенькому Чикинниту Каело, того, на кого набросили черненький мешочек и сделали больно его нежному тельцу железными цепочками... Ох, и посмеемся мы сегодня с высоким мадрантом над Первым ревзодом! Ох, и пощекочет шут пяточки Первого ревзода! А Первый ревзодик будет делать вид, что ему тоже смешно и приятно, и пальчиком не посмеет он тронуть шута, потому что мадрант обожает своего шута и никому не позволит его обидеть!..

Да, шутовское отродье, ты прав! Первому ревзоду будет особенно смешно и особенно приятно, когда ты выдашь ему своего Ферруго или того негодяя, который скрывается под именем Ферруго.

Шут поджал одну ногу и принял позу цапли. Любопытство погубит когда-нибудь Первого ревзода, и все его беденькие женушки и детеныши слезами зальют могилку своего благоверного супруга и любящего отца... Клик-клок... На кого ты покинул нас, ненаглядный ревзодик?.. О, лучше б ты был глупеньким и тупеньким!.. Любопытство сгубило нашего ревзодика!.. И шут запричитал и стал кататься по земле в неутешном горе.

И тогда Первый ревзод велел поставить шута на ноги и привести в чувство ударом бамбуковой жерди. Нет, не праздно любопытство заставляет Первого ревзода терпеливо сносить дурацкие выходы, а единственное желание выдрать с корнем ядовитый сорняк и растоптать, чтобы никогда вредоносные семена не попали в благодородную поч-

су. И ты, шут, неведомо почему оказавшийся в услужении у выродка, искупишь свой грех перед страной и мадрантом, указав нам убежище Ферруго. И Первый ревзод обещает тебе, а Первый ревзод не бросает слов на ветер, что остаток своих дней — ведь ты не так уж и стар — ты проведешь в почете, богатстве и славе. Десять самых лучших женщин будут отданы тебе в жены, чтобы ласкать твои уши небесным песнопением, щекотать твои ноздри зовущими запахами, услаждать твою плоть бархатными телами, если ты назовешь нам Ферруго...

Удары посыпались один за другим. Плесните на него водой, и пусть встанет и внимательно посмотрит с этого холма на город. Где? В какой стороне Ферруго?..

Протри лицо шуту, Первый ревзод, слезы умиления застилают ему глаза... Сухой белой тканью шуту вытерли лицо, и, глядя на раскинувшийся внизу город, он протянул руку в направлении востока... Там Ферруго!.. Потом — в направлении юга... Нет, там Ферруго!.. Или не там... А может быть, там?..

У бедняги испортилось зрение? Стали плохо видеть его зеленые глаза? Так прогрейте ему очи! После этого он наверняка сможет разглядеть, где Ферруго!

Голову шута зафрели так, чтобы стоявшее в центре неба солнце било прямо в глаза, веки его растянули вверх и вниз, и раскаленное светило стало опускаться все ниже и ниже... Все жарче, все горячее... Вот оно уже закрывает небо и начинает выливаться в глазницы, и заполняет череп, и вытекает через уши, обжигая лицо, шею и плечи... И вдруг погасло, и наступила тьма. Тьма была и после того, как шута привели в сознание. Он облизнул сухие губы... Тьма, сплошная тьма, Первый ревзод! Как возможно в такой кромешной ночи отыскать Ферруго!.. И шут попытался улыбнуться.

Первый ревзод дал знак дворцовому палачу Басстио... А может быть, шут напрягает свой слух и в шуме города различит шаги Ферруго или распознает его голос, разносящий собачьи творения?..

Чья-то рука легла шуту на плечо, и он узнал знакомую шершавую ладонь палача Басстио.

Шут-шутнице! Это я, Басстио, твой старый друг. Ну что тебе дался какой-то Ферруго? Я же не хочу делать тебе больно, но я не могу ослушаться Первого ревзода... Шут-шутнице! Я же хочу, чтобы все было хорошо. Я хочу болтать с тобой по вечерам и слушать твои смешные истории, после которых легче становится палачу Басстио... Шут-шутнице! Еще не поздно. Да пусть Первый ревзод подавится этим Ферруго! Неужели ты не слышишь, что говорит тебе твой старый друг Басстио?.. Шут-шутнице! Он приказывает... Ну что тебе стоит?.. Прости меня, шут... И дворцовый палач Басстио отсек шуту оба уха.

Первый ревзод терпеливо ждал, пока шута приводили в чувство. Дворцовый палач Басстио плакал, опершись о топор.

Шут подполз к Басстио и прислонился спиной к его ноге, чтобы можно было сидеть... С этого бы и начинал, Первый ревзод, а не с каких-то нелепых, лживых обещаний... Мы поладим с тобой, Первый ревзод, мы найдем с тобой общий язык раньше, чем ты прикажешь выдрать мой язык из глотки. Сама судьба моими устами скажет тебе, кто такой Ферруго... Только очень хочется пить...

Первый ревзод кивнул, и шуту поднесли большую чашу прохладной воды.

Пусть принесут шуту тонкую соломинку — он хочет поиграть сначала в свою любимую игру.

Первый ревзод кивнул, и шуту принесли тонкую соломинку.

Шут склонил свое лицо над чашей, и кровь стала капать в нее и капала до тех пор, пока чаша не наполнилась до краев. Тогда шут взял в рот конец соломинки, а другой конец ее опустил в чашу... И взбурлил, и вспенил кровавую жижу остатками своего воздуха, и начал выдувать большие мутно-красные пузыри, и они поплыли над городом в неподвижном от зноя пространстве. И шут улыбался своей затее... Разве не нравится Первому ревзоду любимая игра шута? Видит ли он, куда летят мои пузыри? Они летят по прихоти неба, и там, где опустится последний из них, там и следует искать Ферруго... Не правда ли, веселая игра?.. А мутно-красные пузыри все плыли и плыли в неподвижном воздухе и опускались на крыши домов и хижин, на городскую площадь, на обрыв Свободы. И дети изо всех сил дули на них, не давая опуститься на землю, а старики испуганно молились, видя в этом дурное предзнаменование. И, достигнув все же земли или какой-либо крыши, они беззвучно попадали, оставляя после себя лишь мокрое красное кольцо... И последний из них медленно опустился на дворец мадранта. И тогда шут захохотал... Вот и вся моя игра. Первый ревзод! Вперед же, во дворец! К мадранту! И он скажет тебе, кто такой Ферруго!..

И Первый ревзод понял, что шут от боли и пыток лишился рассудка, и нет в нем больше никакого проку. И дал он знак палачу Басстио, чтобы тот прикончил шута.

И палач Басстио сделал это.

И не стало больше на свете его лучшего друга шута-шутница. Он прекратил свое существование в этом мире для того, чтобы потом снова возникнуть (когда только?) в другом обличье (каком только?) и дурачить людей, или выпрыгивая из воды смеющимся дельфином, или страшно ухая по ночам филином, озадачивая всех своей тайной...»

Уважаемый и дорогой Н. Р.!

Умоляю Вас не считать мое искреннее, продиктованное болью в сердце письмо грязной анонимкой, против чего я решительно борюсь всю свою жизнь. Но я не ставлю свою фамилию, во-первых, чтобы не сложилось впечатления, будто я svoju личные счета со своими неединомышленниками, а во-вто-

рых, я просто боюсь быть подвергнутым гонениям и литературному остракизму.

С любовью и уважением

Читатель».

XIV

Алеко Никитич сидит у себя в кабинете, откинувшись на спинку кресла... С-с-с... Задачи перед ним возникли нелегкие. Н. Р. зря слов на ветер не бросает... Он не забудет того, что говорил тогда о подвиге, и не слезет с Алеко Никитича до тех пор, пока не увидит в журнале соответствующий материал. Тут никакими врезками не отделаться... С-с-с... Кстати, надо получить от Колбаско разоблачительные стихи по поводу слухов о летающей тарелке... И этот австралийский Бедейкер приезжает... Совсем не вовремя... Алеко Никитич еще надеялся, что приезд фанберрских гостей отменится или по крайней мере перенесется. Но нет. Телеграмма, полученная утром, не оставила никаких надежд... С-с-с... Алеко Никитич автоматически перечитывает лежавшую перед ним на столе телеграмму:

«Господин Бедейкер делегацией прибывает в Мухославск празднование годовщины побратимов Мухославска Фанберры двадцатого числа сего месяца. Обеспечить соответствующий уровень».

Н. Р. уже звонил по этому поводу. Он тоже в курсе... С-с-с... Алеко Никитич склоняется над столом и пишет основу будущего приказа.

1. Встреча в аэропорту. Отв.— А. Н.

2. Размещение в гостинице. Отв.— И. Г.

3. Посещение химкомбината. Отв.— А. Н.

4. Пресс-конференция в редакции. Отв.— А. Н. и И. Г.

5. Прием (банкет) в редакции. Отв.— А. Н., И. Г., Свищ.

(Утрясти меня с Рапс. Мург.)»

Кого пригласить на прием, тоже проблема. Кто будет выступать и что будут говорить, еще какая проблема! Не дай бог, кто что ляпнет! Бедейкер хоть и левых взглядов, но австралиец... С-с-с... Основные темы разговоров: мир, дружба, окружающая среда...

Мысли Алеко Никитича прерываются стуком в дверь. Он прячет свои пометки в стол и разрешает войти.

Колбаско выглядит бледным и понурым. Он здоровается, открывает свой «дипломат» и кладет на стол лист с напечатанными строчками.

— Вот, — говорит он. — То, что вы просили.

— Садитесь, Колбаско, — приглашает Алеко Никитич. — Что с вами? Случилось что-нибудь?

- Колбаско моргает, вздыхает:
— Лажа, Алеко Никитич... Семейная лажа...
— Не понимаю.
— Лажа. Людмила к матери ушла. Галопом в столб.
Проскачка...
— Причины?
— Не знаю. Дал ей рукопись прочитать — она наутро ушла.
Алеко Никитич встревожен:
— Уверены, что из-за рукописи?
— Да, наверно, — отвечает Колбаско. — Накануне все было нормально.
Колбаско вздыхает.
— Говорили с ней? — спрашивает Алеко Никитич.
— По телефону.
— И что?
— Я, говорит, очнулась от страшного сна... Я, говорит, жила взаперти, я не понимала, что такое любовь... Знаете, Алеко Никитич, она очень впечатлительная... Когда я за ней ухаживал, я дал ей прочитать «Хижину дяди Тома»... Это произвело на нее сильное впечатление, и она вышла за меня замуж... Потом мы прекрасно жили, и она ничего, кроме моих стихов, не читала... Не надо мне было давать ей рукопись...
Колбаско тяжело вздыхает.
— Держите себя в руках, Колбаско, — успокаивает Алеко Никитич. — Поверьте мне: время — лучший лекарь... Одумается, поймет...
— Если честно сказать, — Колбаско переходит на доверительный тон, — я боюсь, что она за это время пристрастится к чтению и увидит, что есть лучше меня...
— Не наговаривайте на себя, Колбаско. — Алеко Никитич подходит к нему и по-отечески похлопывает по плечу. — Вы поэт даровитый, самобытный... А Пушкин рождается раз в тысячу лет... Все образуется... Давайте посмотрим, что вы там сочинили...
Он берет листок и читает вслух:

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПО ПОВОДУ СЛУХОВ
О ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ 24 ИЮЛЯ

*Чушь болтают, будто нам порой ночью
На тарелке поднесли сюрприз...
Это просто я поссорился с женою —
Выбросил в окошко новенький сервиз.*

— Ну, что? — интересуется Колбаско.

— По-моему, неплохо, — про себя перечитывая написанное, говорит Алеко Никитич. — И образ есть, и игра ума...

— Мне тоже так кажется, — оживает Колбаско.

— Только вот что я думаю. — Алеко Никитич садится в кресло. — Я думаю, не следует вам в вашей ситуации подставлять семейный борт. Зачем надо всем знать, что у вас конфликт? А?

— Я даже об этом не думал, — бормочет Колбаско и покрывается красными пятнами.

— Товарищ Фрейд сработал, — улыбается Алеко Никитич. — Давайте заменим... Пусть не вы, а кто-то поссорился с женою... Поищите что-нибудь интересное...

Колбаско напряженно ищет и вскоре находит.

— Есть! — кричит он. — «Это Агафон поссорился с женою!..» Агафон! Понимаете? И абстрактно, и в народном ключе!..

— Совсем другое дело! — радуется Алеко Никитич. — В этом варианте мы дадим стихи на обложку с карикатурой! — Он снимает трубку. — Теодор? Зайди-ка ко мне!..

Через минуту в кабинет входит Теодор Дамменлибен.

— П-п-привет Никитич зд-д-орово Колбаско жара что слышно? Бардак я такие рисунки сделал крик! Привет Колбаско вы с Людмилкой поцапались? Слушай ты мою Нелли знаешь она умная женщина нельзя так слушайте Никитич как вам нравится Боливия? Бардак щенок всюду гадит Петенька сочинение на пять написал ваша Глория молодец бардак...

— Подождите, Теодор, отдохните, — перебивает его Алеко Никитич. — Тут Колбаско стихи неплохие принес. Надо к ним карикатуру и в номер на обложку...

Дамменлибен читает стихи и закатывается от хохота. Перечитывает и снова хохочет.

— Б-б-леск! — кричит он. — Б-б-леск!.. Я нарисую в окне Агафона и в небе сервиз, на котором написано «Ресторан»!.. Б-б-леск!

— Только прошу вас, Теодор, — предупреждает Алеко Никитич, — чтоб Агафон был похож на Агафона, а не на вашего тестя.

— Слушайте, Никитич! — взрывается Теодор. — У нас на фронте все равны были и Агафон и мой тесть бардак Колбаско ты с Людмилкой помирись у меня Нелли умная женщина слушайте Никитич не дадите мне сотню? Мне надо машину выкупать бардак щенок всюду гадит...

— Позвоните Глории, — говорит Алеко Никитич, — если у нее есть, она вам не откажет.

— Б-б-леск! Б-б-леск! — повторяет Дамменлибен и, схватив стихи Колбаско, выходит из кабинета.

Колбаско некоторое время сидит, зачем-то открывает «дипломат», снова закрывает, наконец, встает:

— Ну, я пойду, Алеко Никитич?

— Спасибо, Колбаско! — Алеко Никитич пожимает Колбаско руку. — Налаживайте семью, а заплатим мы хорошо — по два рубля за строчку.

Колбаско идет пятнами.

— По три, — говорит он.

— Не сходите с ума, — говорит Алеко Никитич. — Мы в свое время Твардовскому по два платили... А вам, уж бог с вами, по два пятьдесят натянем... За срочность.

— По три, — тихо произносит Колбаско, пытаясь смотреть в окно. — По три плюс аккордная оплата.

— Бухгалтерия не утвердит.

— Забираю стихи и несу на телевидение, — словно не Алеко Никитичу, а пролетающей за окном птичке говорит Колбаско.

— Только без угроз!.. По три, но без аккордной оплаты.

— Грабьте! — не может скрыть волнения Колбаско. — Идет!..

«Скушал по три, — думает Алеко Никитич, когда дверь за Колбаско закрывается. — Мог и по пять запросить... Пришлось бы на четыре соглашаться...»

«Так с ними! — думает Колбаско, когда дверь за ним закрывается. — Только так! Дурачка решил найти! По два платить! Не вышло! Колбаско не объедешь!.. Трижды четыре — двенадцать, и Вовец — шесть сорок... Не так уж плоха жизнь!..»

Вечером на ипподроме Колбаско поставит всю свою личность, связав Сладенького из пятого заезда с Зубаткой (так он в быту называл Людмилку), но Сладенький уже с приема сделает гробовой сбой, а на Зубатке поедет другой наездник. Так что до конца испытаний поэт будет щелкать рубли у знакомых и незнакомых беговиков и время от времени кричать в сторону судейской ложи: «Жулики!». Но это будет вечером, а пока счастливый Колбаско выходит из редакции журнала «Поле-полюшко» и повторяет про себя: «Так с ними! Только так!»

XV

Потный и тучный Рапсод Мургабович появляется у Алеко Никитича после обеда. Он тяжело дышит и выпивает два стакана воды из сифона. При росте 163 см он весит 98 кг. Он в подвернутых джинсах и в рубашке «Меркурий» с закатанны-

ми рукавами. Под мышками синеют два влажных пятна. В левом кармане — две паркеровские авторучки. Часы «Сейко». На обеих руках. Два носовых платка. Один — под воротничком рубашки «Меркурий», другим Рапсод Мургабович обмахивается.

— Совсем с ума сошел с этой статьей, честное слово! — кричит он. — Клянусь мамой, никогда не сочинял! Легче народ накормить!..

— Я тут меню прикинул, — говорит Алеко Никитич. — Взгляни. Чего нет — вычеркни. Что упустил — добавь.

Рапсод Мургабович вынимает одну из паркеровских авторучек и склоняется над меню.

— Нету, — вычеркивает он, — нету... нету... нету... Слушай, колбаса-молбаса зачем выписал?.. Отравить австралийца хочешь?.. Лучше дам шесть банок югославской ветчины... Так? Цыплят венгерских дам... Тридцать штук... Так? Сервелат финский... Пять палок... Так?.. Компот вьетнамский... Пятнадцать банок... Так?

— А чего-нибудь нет национального? — спрашивает Алеко Никитич. — Под соки...

— Огурцов могу дать болгарских... Пару банок... Так?.. Пять белых соков, пять красных соков... Хватит?

— Добавь пяток виноградных... для дам...

Рапсод Мургабович что-то вписывает, бормочет под нос наименования каких-то товаров, что-то вычеркивает и протягивает листок Алеко Никитичу.

— Отпечатай, подпиши и печать не забудь... Я с собой беру... — Он выпивает еще один стакан воды. — Умираю, клянусь мамой!.. Слушай, пять ночей не спал! Все твоё эсче-месце сочинял... С ума сошел!.. Машинку специально купил! Жена говорит: «Э! Рапсод-джан! Совсем с ума сошел?.. Ты что, гиган?.. Сароян, что ли?..»

— Посиди здесь, — говорит Алеко Никитич. — Я требования оформлю...

И он направляется по коридору в сторону кабинета машинистки Ольги Владимировны.

Рапсод Мургабович достает из заднего кармана джинсов «эсче» и обмахивается одновременно и «эсче», и носовым платком. Рапсод Мургабович слукавил, конечно, насчет пяти бессонных ночей... Сароян он, что ли?.. Он просто взял последнюю передовую о работниках торговли из «Вечернего Мухославска» и придал ей свое личное отношение, навставляв, где надо и не надо, «я так думаю», «мне кажется», «это мое личное мнение»... Отличное получилось «эсче».

ЭСЦЕ

Работник торговли — торговый работник

С каждым годом растет благосостояние, как мне кажется, трудящихся. Выработанный курс на повышение эффективности, интенсификации производства требует от трудовых коллективов и в сфере торговли рачительного хозяйствования, я так думаю. Не меньшее значение имеет и постоянно растущий уровень требований к работнику советской торговли, но это мое личное мнение. Честность, профессионализм, психологический подход к покупателю — неотъемлемые черты советского, я так думаю, торгового работника, как мне кажется. На прошедшем недавно июньском заседании горисполкома я выступал, по-моему, с докладом «О дальнейшем улучшении работы предприятий розничной торговли в нашем городе». Выступившие в прениях товарищи прямо заявили о дальнейшем росте уровня обслуживания покупателей в целом ряде продовольственных магазинов города, я думаю.

Вместе с тем имеются еще в большом количестве отдельные случаи наплевательского отношения к потребителю, по моему убеждению, в виде обвешивания, обслуживания из-под прилавка, снабжения с черного хода, мне кажется. Проблема очередей в продовольственных магазинах является первоочередной проблемой в большом, как мне кажется, торговом хозяйстве.

Городской исполком, по моему глубокому убеждению, одобрил инициативу гастронома № 2 работать честно. «Каждый украденный грамм — это грамм, украденный у народа!» — сказал в своем выступлении продавец мясного отдела А. В. Васильчук. Широкую поддержку следует оказывать движению пенсионеров Рыбного переуллка за развитие всестороннего самообслуживания: «Сам отрежь, сам взвесь, сам заплати».

Вместе с тем в гастрономе № 4, куда меня привели, как мне кажется, холодильные установки не работали. В одной камере рядом с кондитерскими изделиями стояли две бочки осетинского сыра на обмен, который уже испортился, и от него исходил неприятный, по моему глубокому убеждению, запах. Тут же лежало 23 килограмма, по-моему, колбасы вареной, которая тоже уже покрылась плесенью и завоняла. Но это мое личное мнение.

Покупатель, как мне кажется, не должен покупать испорченные и гнилые продукты. Наоборот. Его, по-моему, всегда интересуют свежие товары.

В то же время до сих пор на одном из складов сыпучих и мучных товаров хранится замечательная рисовая каша в эстетически приятной упаковке, но негодная к реализации, я так

думаю, потому что в ней завелись мучные черви, по моему глубокому убеждению.

Товарищи! Я нарочно сгущаю краски, как сказал в своей речи председатель горторга т. Мякишев, если не ошибаюсь. Но мы все — и покупатели, и продавцы — советские люди. Это мое личное мнение. И от того, какой продукт съест человек сегодня, зависит и то, какую продукцию он выдаст завтра. Процесс производства неотделим от процесса потребления, по-моему.

Огромн, но еще совершенно недостаточен приток в торговую сеть молодых интересных кадров. Пока еще, я так думаю, юноши и девушки стремятся за прилавок для удовлетворения своих постоянно растущих требований. Когда потребители перестанут ненавидеть и подозревать продавцов, как мне кажется, в нечестности, когда наступит обратная картина, тогда за прилавки встанет по-настоящему сознательная молодежь, по-моему, которая придет не ради жажды наживы, а исключительно потому, что не мыслит свою жизнь без мяса, без молока и, как мне кажется, без других продуктов питания.

Этце, которое я пишу, если не ошибаюсь, — результат глубоких и трудных размышлений, по-моему. Оно не является догмой. Это мое личное мнение. Но этим, по моему глубокому убеждению, я так думаю, хотелось бы открыть на страницах журнала дискуссию, в которой бы приняли участие все, заинтересованные в дальнейшем подъеме нашей торговли, как мне, кажется, читатели.

В заключение, если не ошибаюсь, разрешите выразить, как мне кажется, глубокую благодарность и, это мое личное убеждение, признательность руководству журнала «Поле-полюшко» за то, что оно предоставило, я так думаю, возможность поделиться наболевшим. Милости просим всех работников редакции в магазины и торговые точки нашего города. По-моему.

Р. М. Тбилисян, директор гастронома
«Центральный», бывший призер областной
спартакиады по вольной борьбе,
аспирант.

В ожидании Алеко Никитича Рапсод Мургабович, не находя себе места от духоты, расхаживал по его кабинету, отдувался, обмахивался, фыркал, прикладывал платок к потному лицу, вытирал шею и в конце концов в изнеможении плюхнулся в кресло главного редактора. И тут он увидел лежавшую на столе рукопись с пометками Алеко Никитича. На столе разбросано было много разных записей, бумаг и рисунков, но внимание Рапсода Мургабовича, помимо его воли, сконцентрировалось именно на этой — с пометками Алеко. Рапсод Мургабович

не имел обыкновения совать нос в чужие дела, а тем более бумаги. Он попытался смотреть в окно, затем подошел к шкафу, в котором стояли все номера «Поля-полюшка», вышедшие за семь лет. Начал считать. Досчитал до сорока девяти и снова сел в кресло Алеко Никитича, уже не в силах оторваться от разложенных на столе листов. Шевеля губами, он склонился над шестьдесят второй страницей, той самой, на которой была раскрыта папка с рукописью...

«Да, мадрант, ты можешь верить Первому ревзоду. Именно шутка схватили по знаку Чикиннитта Каело, именно он оказался тем бритоголовым бородачом. И, не желая беспокоить тебя, мы сами произвели дознание. Но бедняга помешался в ходе следствия, и нам пришлось его прикончить, чтобы он не издевался над нами и никогда больше не произносил слов, которые Первый ревзод не в состоянии повторить в присутствии высокого мадранта... Нет-нет! Скорее земля разверзнется подо мной, чем я повторю слова этого безумца!.. Он сказал, перед тем как умереть, что высокий мадрант знает, кто такой Ферруго...»

Мадрант вскинул правую бровь и засмеялся, отчего холодок пробежал по спине Первого ревзода... Ну что ж, кем бы ни был несчастный для Ферруго, но мы воздадим ему посмертные почести, ибо он был славным шутком мадранта и умер, как подобает шуту...

Да будет твоя воля священна, высокий мадрант, но совет ревзодов связывает гнев Карраско, появление Ферруго, Великий Поход Поганых Лиц и беспорядки в стране с одним-единственным днем — днем появления во дворце твоей чужеземки, мадрант... И Первый ревзод готов сейчас же заплатить жизнью за слова, которые он передал мадранту от имени совета ревзодов: чужеземная женщина должна исчезнуть, и тогда смилостивится Карраско, волны поглотят армаду Страны Поганых Лиц, сгинет Ферруго, и успокоятся горожане...

И ревзод втянул голову в свои покатые плечи, словно боясь, что мадрант сейчас ударит его.

Мадрант встал. Судьба чужеземки, как и всех остальных в этой стране, находится в руках мадранта. Что же касается Ферруго, то если до Новой луны он не будет схвачен, мадрант клянется напоить изнывающего от жажды город кровью, и ни один из невыполнивших приказа мадранта не станет исключением, даже Первый ревзод, который может убираться, и чем быстрее, тем лучше, потому что времени у него не так много...»

Рапсод Мургабович проглотил липкую, вязкую слюну... «Это про меня и про мой магазин! — подумал он. — Кто-то сводит счеты, но боится назвать имена. Какой-то подлец решил от меня избавиться...»

Рапсод Мургабович знал, что подчиненные за спиной называют его «диктатором», «Наполеоном», «зверем» за то, что все

в магазине в его воле и власти. Он — хозяин. Он сам живет хорошо, но и другим дает жить. Тем, кто заслуживает. За это его ненавидят, завидуют, хотя делают вид, что любят, именно те, которых он держит... Собаки! Продажные шкуры!.. Но кто? Кто же из них все это расписал... Заместитель? Завскладом?.. Бухгалтер?.. Кто... И на что намекает неизвестный гад? На месть? На расплату?.. На национальное происхождение? Так они все у него не очень... Кроме завскладом. Но тот и двух слов связать не может... Не то чтобы создать такой хитро-художественный поклеп... И Рапсод Мургабович яростно стукнул по столу увесистым кулаком...

«Из дворцового окна Олвис могла видеть бесконечно длинную вереницу горожан, поднимавшихся по склону расвирепевшей Карраско. Подгоняемые воинами, горожане пытались удерживать в своих ладонях воду, которой они должны были напоить Карраско и тем умиловить ее («Глупость какая! Кто это мог выдумать?»). А Священная Карраско и вправду разбушевала не на шутку. Из утробы ее время от времени исходил громopodobный рык, от которого содрогалось все вокруг и в ужасе перелегивались люди. Дым, выходявший из пасти, стал совершенно черным и образовал над головой Карраско зловещую гигантскую шапку. Карраско шипела и плевалась раскаленными докрасна камнями, разбрызгивая огненную слюну. («Красиво, черт побери, но страшно. Ведь это похоже на извержение, мадрант! Надо смываться, а?»).

Но мадранта, казалось, ничего не интересовало. Он почти все время проводил в черном зале и выходил оттуда вроде бы только для того, чтобы взглянуть на Карраско. Он подолгу стоял у окна и вслушивался во что-то, а потом, как бы очнувшись, улыбался Олвис. Не страшно ли принцессе?..

Нет, мой мадрант. Принцесса настолько предана тебе и так верит в твою силу, что ей не страшно ни капельки. («А слотаться не мешало бы, пока не поздно».)

Сейчас мадрант неожиданно обнял ее за плечи, и она порывисто прижалась к нему, передав этим прикосновением желание его телу.

Возьми меня, сумасшедший человек! Мне наплевать, кто ты — мадрант или Ферруго. Я не хочу больше ждать, пока кто-то из вас победит. Ты одинок. Я развею твоё одиночество. Со мной ты забудешь про походы и казни, ты ни разу не вспомнишь отвратительного ревзода. Я обещаю тебе... Так возьми же меня! Губы мои пересохли, и голова кружится... Господи!.. И Олвис почувствовала приближение божественной судороги, и пальцы ее рук впились в спину мадранта.

Но в этот момент Священную Карраско вырвало, и огненно-красное содержимое полилось свирепым потоком вниз по склону, превращая в тлен все живое и неживое. Горожане, поднимавшиеся вверх, с воплями

устремилась назад, подминая и топча друг друга, и лишь немногим удалось добежать до города.

И теперь не боится принцесса озверевшей Карраско?

Нет, она не боится, мадрант, но Карраско в своем гневе причиняет людям страдания и горе!

Мадрант может умиловить Карраско, но для этого он должен убить принцессу. Ты слышишь, Олвис, мадрант должен убить тебя...

Так убей меня, мадрант! Только сначала возьми! Я твоя, мадрант! Возьми и убей!

Нет, Олвис, мадрант не сделает этого, потому что мадрант не раб! Он свободен так же, как свободен Ферруго. Пусть все будет так, как предсказала старая, слепая Герринда. Мадрант любит тебя, Олвис, но у него есть власть. У Ферруго нет власти над тобой, но это не значит, что он достоин твоей любви меньше, чем мадрант. С твоей смертью погибнет и Ферруго, но горько и позорно будет мадранту от такой победы. Поэтому только мадрант может убить Ферруго, и только Ферруго может убить мадранта!..»

Рапсод Мургабович зарычал. И об этой истории вспомнили, сволочи! Конечно, про Валечку идет речь. Про девчонку из торгового техникума, клянусь мамой... Так что же, Рапсод Мургабович не может полюбить девчонку из торгового техникума?.. Он не соблазнял ее, не спаивал, не угрожал. Он просто превращался в виноградное желе, когда ее видел... Да, он хотел, чтобы ее оставили... Да, он дарил ей дорогие подарки, но не потому, что покупал ее, а потому что хотел. Хотел делать — и делал! И не какие-нибудь дешевые колготки, а французские духи за 80 руб.! И не плитку вонючего лежалого шоколада, а золотое колечко с камнем!.. И не в заплеванный «Парус» приглашал ее ужинать, а в Сочи с ней на субботу и воскресенье!.. И, кабы не жена с ребенком и не должность, женился бы! И плевал бы на разницу в возрасте!.. Но не Валечка же решила накатать все это!.. А может быть, ее паренек? Двадцатилетний сопляк, которого однажды Рапсод Мургабович вынужден был просто побить... Вполне возможно!.. Ух, гнилое поколение! Крикуны недоделанные! Топтуны вокально-инструментальные! Волосатики бритоголовые!.. И Рапсод Мургабович аж передернулся, когда представил, что может быть, если про историю с Валечкой узнает Гаяне...

«Палач Бастлио и его помощники работали не покладая рук, а воины доставляли из города все новых и новых задержанных. Первый ревзод лично учинял допрос каждому, прежде чем передать его в руки палача. Одни из горожан целовали ноги Первого ревзода и плакали,

утверждая, что никогда в жизни не видели и не знали никакого Ферруго, другие принимали смерть молча, как нечто неотвратимое и должное, третьи успевали крикнуть: «Да здоровствует Ферруго!» или «Смерть мадранту!» — но никто из них, и это Первый ревзод чувствовал, действительно не имел отношения к Ферруго. Двое рыбаков приволокли связанного сумасшедшего старика и, ссылаясь на указ мадранта, потребовали произвести их в ревзоды, утверждая, что связанный старик и есть Ферруго. Но когда старика развязали, он стал мочиться прямо на Первого ревзода и произносить непристойности. Его обезглавили, а простодушных рыбаков, перед тем как прикончить, заставили пить кровь казенного сумасшедшего. Тогда по приказу Первого ревзода по всему городу появились воззвания, в которых именем мадранта обещались жизнь и свобода Ферруго, если он добровольно предстанет перед глазами мадранта. И к середине дня перед мадрантом уже стояли двадцать горожан, каждый из которых утверждал, что именно он и есть Ферруго. Мадрант с нескрываемым презрением оглядел всех и каждому посмотрел в глаза, но ни один из них не выдержал его взгляда... Понимают ли они, что в лучшем случае девятнадцать из двадцати лгут, и чем докажет тот единственный двадцатый, что именно он Ферруго?..

И самозванцы по очереди произносили вслух творения Ферруго, вкладывая возможно большую страсть и ненависть. И мадрант улыбался, слушая их, а Первый ревзод, стоявший рядом, уже рад был бы любого признать как Ферруго, потому что времени до Новой луны оставалось все меньше и меньше...

Ну что же, если Первому ревзоду кажется, что именно пятый, или двенадцатый, или восьмой действительно Ферруго, то пусть Ферруго порадует нас новыми творениями, которые еще неизвестны Первому ревзоду и мадранту. Ведь Ферруго нечего бояться. Слово мадранта — закон. Ферруго ждут жизнь и свобода.

Но пятый, и двенадцатый, и восьмой только мычали что-то невразумительное.

А потому пусть поторопится Первый ревзод в поисках настоящего Ферруго. Двадцать лжецов, обманувших мадранта и решивших купить себе славу, жизнь и свободу чужими словами, должны быть повешены, и на спине у каждого следует написать красными буквами: «Я предал Ферруго тем, что я не Ферруго».

И когда украсили городскую площадь телами самозванцев, горожане ликовали, ибо это означало, что Ферруго жив и на свободе. И молча взирал на страшную гирлянду лишь Первый ревзод.

К исходу дня казни прекратились, потому что казнить было некого. Последние горожане покидали город и уходили в горы, посылая проклятья в сторону дворца и с тревогой поглядывая на вершину Священной Карраско, почти совсем скрытую большим черным облаком, которое время от времени вспарывали острые ослепляющие молнии. Воинские кордоны уже не в состоянии были остановить этот великий исход

и присоединились к горожанам. Тех же, кто пытался проявить остатки преданности мадранту, убивали на месте. Люди размахивали синими знаменами, в центре каждого из которых красовалась белая голова собаки. К ночи в погрузившемся во мрак опустевшем городе оставались только ревзоды, мадрант и небольшой отряд его личной охраны. Совет ревзодов уже много часов подряд пытался и все никак не мог принять решение.

Именно сейчас Первому ревзоду был необходим Ферруго, уже не ради сохранения собственной жизни, а ради спасения страны и всего того, чему свято служили и он, и его предки в течение почти двенадцати столетий. Войти в контакт с Ферруго, выяснить, чего он хочет, вселяя в горожан смуту своими творениями, и попытаться направить весь гнев этого собачьего движения против мадранта и затем с помощью ревзодов убить мадранта, вылив таким образом умиротворяющее масло в бушующее море. А затем предложить Ферруго занять дворец мадранта и стать мадрантом. И пусть Ферруго не называет себя мадрантом. Пусть назовет себя кем угодно, и пусть ревзоды перестанут именоваться ревзодами... Первый ревзод нечестолюбив. Он никогда не завидовал мадранту и не представлял себя на его месте. Кому быть мадрантом, в конце концов решает небо. Он же должен оставаться Первым ревзодом при любом из них. И Ферруго, не имея опыта и осведомленности в государственных делах, будет нуждаться в советах и помощи Первого ревзода, и мудрый, хитрый Первый ревзод очень скоро сделает так, что Ферруго сперва поверит ему, а потом себе, и постепенно убедится в том, что он не зря занимает дворец мадранта, а обожание, с каким горожане относятся к Ферруго, позволит делать с ними все, что заблагорассудится. Им же будет казаться, что они добились своего, возвратив себе «старое имя — Собака», избавившись от одного и избрав себе другого мадранта. Так уже было однажды в истории страны, и нынешний мадрант сам происходит от ползавшегося семьсот лет назад смутьяна, в то время как родословная Первого ревзода чиста с незапамятных времен до сегодняшнего дня...

И пока Первый ревзод думал о своем, рассеянно слушая предложения остальных ревзодов, горы вспыхнули неожиданно тысячами костров и факелов, посыпалась горохом на город сухая дробь воинственных барабанов, и донеслись до ушей ревзодов призывные боевые кличи. И показалось Первому ревзоду, что повис над городом, вытягивая кишки, широко вибрирующий вой бешеного мадрантового пса.

И когда мадрант из своего окна увидел, что огни пришли в движение и поплыли вниз по направлению к городу, с каждой минутой делая ночь все светлее, он понял, что воля и власть мадранта, его суровые указы и великодушные одаривания, топоры Басстио и зубы священных куймонов, наконец, безграничная любовь и преданность ему горожан оказались слабее двух десятков слов, рожденных свободным Ферруго, и почти звериный крик, выражавший и радость, и ненависть одновременно, вырывающийся из его груди...»

На этом месте вошел Алеко Никитич и протянул Рапсоду Мургабовичу по всем правилам оформленное требование. Рапсод Мургабович спрятал требование в карман, встал с кресла и, указав на рукопись, спросил мрачно:

— Напечатаешь?

— Пока все идет к тому, — ответил Алеко Никитич.

— Руки не подам! — сказал Рапсод Мургабович. — Прокляну!.. Детям накажу! Внукам!.. Вечным врагом будешь.

Алеко Никитич опешил:

— Что с тобой, Рапсод?

— Клянусь мамой! — кричал Рапсод Мургабович, делаясь красным. — Плевать в твою сторону буду!.. Застрелюсь!.. В тюрьму сяду, а позора не потерплю!.. Ты мой друг! Я твой друг!.. Тебе икра нужна — бери икру! Рыба красная нужна — бери рыбу! Апельсины — апельсины бери! Рапсод другу никогда не откажет! Рапсод, напиши эсче — Рапсод ночей не спит, с ума сходит — эсче пишет! Рапсод понимает: один раз живем, друзьям помогать надо!.. Я к тебе за помощью не обращаюсь! Мне твоя помощь не нужна! Я гордый. Я могу весь твой журнал купить и туалетной бумагой обмотать! И я не обеднею!.. Но, когда Рапсоду на ногу наступают, в Рапсодe зверь просыпается!..

— Слушай, Рапсод, дорогой, да что, наконец, происходит? — не понимает Алеко Никитич.

— Не понимаешь, да?

— Не понимаю.

— Вот так и знай! Напечатаешь — имя Рапсода забудешь!

— Ты освежись, дорогой, — говорит Алеко Никитич и кладет руку на плечо Рапсоду Мургабовичу, — и потом спокойно все объяснишь... Главное, чтоб с банкетом все было нормально...

Рапсод Мургабович сбрасывает руку друга с плеча.

— Имя Рапсода забудешь! Так и знай! — выкрикивает Рапсод Мургабович и, пыхтя, выкатывается из кабинета.

...С-с-с... Все спятили... То ли перегрелись, то ли действительно от летающей тарелки, то ли это... Алеко Никитич опасливо косится на рукопись... Может, прав Индей Гордевич?.. С-с-с... Сегодня утром Алеко Никитич все же решился. Он нашел в старой записной книжке телефон и позвонил. Он сразу узнал Симину мать и удивился столь молодежаво звучащему голосу. Алеко Никитич поздоровался и, откашлявшись, представился... После паузы он услышал: «Подонков попросу больше не звонить...» Так и заявила... Дело, конечно, хозяйское, но уж что-что, а подонком Алеко Никитич никогда не был и таковым себя не считал... Просто все спятили... С-с-с...

Господин Бедейкер с супругой и сопровождающей его свитой, официально именуемой «делегацией из австралийского города-побратима Фанберры», прибыл в Мухославск в пятницу в одиннадцать часов утра. Ритуал встречи был продуман и утвержден заранее. Алеко Никитич хотел, чтобы встреча в Мухославском аэропорту и дальнейшее следование кортежа по центральной улице транслировались по телевидению, но Н. Р. сообщил, что Москва этого не утвердила, ибо никакого политического значения приезд не должен иметь. Отменены были исполнение гимнов, почетный караул, ковровая дорожка от самолета до здания аэровокзала и эскорт мотоциклистов. Разрешены были краткие приветственные речи, тексты которых заготовили заранее, и упредительный «газик» мухославской ГАИ.

Встречать господина Бедейкера решено было всем коллективом. В помещении редакции по банкетно-хозяйственным делам остались только машинистка Ольга Владимировна, вахтерша Аня и жена Свища. Среди встречающих также были делегации спичечной фабрики и химкомбината. У всех в руках были флажки с гербом города Фанберры и цветные воздушные шарик. Как только самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, объединенный духовой оркестр производственно-технических училищ № 2 и № 7 грянул припев английской солдатской песни «Типерери» и играл этот припев до тех пор, пока серебристый лайнер не подрулил к стоянке и официально встречающие лица не двинулись. Впереди медленно шагали Н. Р., Алеко Никитич с супругой и переводчица. Чуть сзади шествовали Индей Гордеевич, директора спичечной фабрики и химкомбината, Бестиев и Сверхщепенский. Далее — все остальные. Идти до самолета предстояло метров пятьдесят, и встречающие переговаривались между собой, как водится в таких случаях, вполголоса. Но так как говорить было не о чем, то разговор шел о погоде.

— Повезло ему с погодой, — сказал Н. Р.

— Да уж, — откликнулся Алеко Никитич.

— А интересно, какая погода в Фанберре? — полюбопытствовала Глория.

— Там сейчас зима, — вставил сзади Индей Гордеевич.

— Погода, надо сказать, замечательная, — сказал Н. Р.

— Исключительная погода, — согласился Алеко Никитич.

В этот момент Индей Гордеевич с ужасом прошипел в спину Н. Р.:

— Хлеб-соль!
— Хлеб-соль где? — процедил Н. Р. Алеко Никитичу.
— Хлеб-соль! Хлеб-соль! — пронеслось среди встречающих.

Свищ стремглав бросился к зданию аэровокзала. Через минуту оттуда выбежала жена начальника аэропорта в расписном переднике, держа на вытянутых руках каравай и солонку из ресторана. Она успела как раз к тому времени, когда подали трап и дверца фюзеляжа открылась. Появившаяся стюардесса некоторое время пыталась кого-то не выпускать, но ее оттолкнули, и по трапу сбежали пятнадцать темномастных мужчин, кричавших что-то на своем языке и оживленно жестикулирующих.

Жена начальника аэропорта бросилась было к ним с хлебом-солью, но стюардесса закричала:

— Это не им! Они не делегация! Это свои! Привезли фрукты на рынок!..

Зато потом все было нормально. На трап ступил господин Бедейкер — огромный полный мужчина. Он приподнял свою ковбойскую шляпу и замахал свободной рукой. Встречающие в ответ тоже замахали руками и флажками. Жена начальника аэропорта с хлебом-солью уже стояла у трапа.

Бедейкер отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль и жадно съел. Все ждали, пока он прожует. Бедейкер прожевал, проглотил, опять замахал руками и неожиданно отломил еще кусок.

— Их не кормили? — шепотом спросила Глория.

— Пусть ест, — буркнул Н. Р.

Наконец Бедейкер утпел весь каравай, спрятал в сумку вышитое полотенце и сделал шаг в направлении встречающих.

— Целовать? — тихо спросил Алеко Никитич.

— Целуете только вы, — деловито ответил Н. Р., — и однократно.

— Но это не по-русски...

— Однократно! — тоном, не вызывающим возражений, повторил Н. Р.

— Чарльз! — закричал Алеко Никитич. — Привет, дорогой! С приездом!

И, обняв Бедейкера, он нанес ему в еще соленые губы затяжной дружеский поцелуй.

Когда все пережали друг другу руки, Н. Р. сделал шаг вперед и произнес:

— Добро пожаловать, господин Бедейкер, на гостеприимную древнюю землю солнечного Мухославска!..

Раздались аплодисменты, после которых Н. Р. достал из кармана приветственную речь.

— Дорогой господин Чарльз Бедейкер! — прочитал Н. Р. — Дорогие господа, члены делегации из далекого австралийского города-побратима Фанберры! Как вы только что сказали в своей приветственной речи...

Переводчица начала переводить на ухо Бедейкеру, и тот сделал изумленное лицо.

— Он еще не выступал, — вполголоса сказал Алеко Никитич, улыбаясь, будто ничего не произошло.

Н. Р. и бровью не повел. Он сложил вчетверо свою речь, спрятал ее в карман и широким жестом пригласил Бедейкера к микрофону.

— Слушаем вас, господин Бедейкер! — сказал он.

Бедейкер тоже достал из кармана свою речь и стал читать:

— Уважаемый господин Н. Р.! Уважаемый Алеко Никитич! Как вы только что сказали в своей приветственной речи, разногласия в политических взглядах между нашими странами не должны омрачать дружбу и взаимосимпатию между нашими народами...

— Я еще ничего не говорил! — испугался Алеко Никитич.

— Скажете! — тихо произнес Н. Р. — Пусть продолжает.

«На аэродроме г-н Бедейкер обратился к встречающим с ответной теплой речью».

(Из газеты «Вечерний Мухославск»)

До гостиницы кортеж, состоявший из «газика» начальника мухославской ГАИ и двух черных «Волг», проследовал по главной улице города вдоль живого коридора выстроившихся работников спичечной фабрики и химкомбината. Сзади кортеж сопровождал мотоцикл с коляской, ведомый тестем художника Дамменлибена, бывшим заместителем начальника мухославской ГАИ. В коляске в вечернем платье, с каской на голове величественно сидела теща художника Дамменлибена. Она широко улыбалась стоявшим по пути мухославцам, приветливо делала им ручкой и повторяла то и дело: «Здравствуйте, здравствуйте, товарищи!» В сопровождении Алеко Никитича и переводчицы господин Бедейкер поднялся в специально подготовленный для него трехкомнатный «люкс» на втором этаже. Алеко Никитич пожелал ему хорошо отдохнуть с дороги и спустился в холл, где его ожидал Н. Р., которому не годилось провожать господина Бедейкера в номер.

XVII

Прием господина Бедейкера в редакции журнала «Полуполушко» состоялся в 17.30 того же дня. К этому времени

фанберрского гостя уже ждали все сотрудники редакции и приглашенные. В последний момент стало известно, что не приедет Н. Р. Многие облегченно вздохнули, полагая, что отсутствие Н. Р. создаст во время приема и банкета непринужденную обстановку. Все толпились в конференц-зале, украдкой поглядывая на расставленные в виде буквы «Т» столы с угощениями и напитками.

— Теперь так,— приставал к Индею Гордеевичу известный в Мухославске писатель-почвенник Ефим Дынин,— а ежели я, к примеру, спрошу его про Общий рынок? Запросто спрошу, напрямик. Тогда что?

— О чем угодно,— советовал Индей Гордеевич,— только не об Общем рынке.

Публицист Вовец, успевший к этому времени по-тихому опрокинуть бокал сока под болгарский огурчик, встрял с шуткой:

— А вы его спросите, почему помидоры на Общем рынке, так?

— Какие помидоры? — не понял шутку Дынин.

— Да это шутка, так? — захохотал Вовец. — Шутка!

— С шутками тоже поосторожнее,— строго заметил Индей Гордеевич.

— А если я, к примеру, спрошу, как у них с крупным рогатым скотом? Запросто, напрямик, а?

— У них хорошо с крупным рогатым скотом,— скрывая раздражение, ответил Индей Гордеевич.— А если не о чем спрашивать, то лучше помолчать.

Художник Дамменлибен только что повесил на стену игривый коллаж-монтаж и, стоя рядом, наблюдал, какое впечатление коллаж-монтаж производил на присутствующих. Затея Дамменлибена представляла собой красочное панно на темы «Вальпургиевой ночи» в воображении художника. Лица сотрудников и писателей, вырезанные из фотографий, были приклеены к мужским и женским телам, взятым из полупорнографических журналов. В самом центре панно плотоядно улыбающийся Алеко Никитич с телом культуриста-производителя взирал на Глорию с ярко выраженными русалочьими бедрами. Образы не соответствовали оригиналам, и все спрашивали у Дамменлибена, что он хотел этим сказать.

— Б-б-леск! — хохотал Дамменлибен.— Дико смешно!

— Ты все-таки, Теодор, зад Глории заклей,— советовал Индей Гордеевич,— она может обидеться.

— Ч-че-п-п-уха! — кричал Дамменлибен.— Вы мою Нелли знаете она умная женщина все свои люди а как Ригонда?

— Ригонда ничего,— довольно ответил Индей Гордеевич, ища глазами Ригонду, которая кокетничала в углу с Бестиевым.

Тело Ригонды было взято из рекламы женских колготок из французского журнала «Она». Поэт Колбаско и Людмила были изображены под роскошным одеялом, изо рта у Колбаско торчал пузырь с надписью: «Ку-ку!».

Группа развратных фигур с головами Ольги Владимировны, вахтерши Ани, жены Свища и жены Зверцева танцевала вокруг сатирика Аркана Гайского, у которого на самом интересном месте висел большой амбарный замок.

Почвенник Ефим Дынин после долгих поисков нашел наконец свое лицо, смонтированное с конской фигурой, снабженной всеми конскими деталями.

— Не похоже, Теодор, — корил он Дамменлибена, — совсем не похоже.

— Д-да б-б-рость ты Фимуля! — кричал художник. — Ты же т-т-талантливый писатель!

Публицист Вовец, пользуясь неразберихой, хватанул еще бокал сока и хотел уже было наполнить следующий, как в конференц-зал вбежал возбужденный Свищ и прошептал таинственно:

— Приехали!

Все присутствующие, в том числе и недовольный Вовец, направились к дверям встречать господина Бедейкера.

Улыбающийся, хорошо пахнущий, в шикарном темно-синем костюме господин Бедейкер вошел в редакцию в сопровождении Алеко Никитича в строгом черном костюме и Глории в вишневого цвета бархатном платье. Алеко Никитич представил Бедейкеру собравшихся, и все проследовали в конференц-зал.

— О-о! — обрадовался Бедейкер, увидев коллаж-монтаж. — Русский эротик!

Алеко Никитич, для которого панно явилось полнейшей неожиданностью, гневно взглянул на Дамменлибена и, улыбаясь, сказал Бедейкеру:

— Домашнее баловство в узком кругу...

— О-о! — закричал Бедейкер, узнав на панно Глорию. — Грандиозно! — Он сравнил изображение с Глорией. — Фэнтэстик! Завидую! — Последнее уже относилось к Алеко Никитичу.

— Шутливая гипербола, — нараспев произнес он.

— О-о! — изумился Бедейкер, обнаружив Ефима Дынина с конской фигурой. — Кентавр!

— Очень приятно, — смущенно поклонился Дынин. — Ефим Дынин, почвенник...

— Наш крупный прозаик, — представил его Алеко Никитич. — Земной художник, пахарь...

— Это видно! — сказал Бедейкер, указывая на конскую фигуру писателя-почвенника. — Эротическая тема... Наш журнал серьезно изучает этот вопрос...

— Мы тоже, — сказал Алеко Никитич, уничтожая взглядом Дамменлибена. — А вот и автор!

— О-о! — обрадовался Бедейкер. — И давно это у вас?

— Мы, господин Бедейкер, — гордо и неожиданно четко сказал Дамменлибен, — когда на территорию Германии вошли, немцы не трогали...

— Господин Бедейкер, — пригласил Алеко Никитич, — прошу за стол! Чем богаты, тем и рады!

За горизонтальную часть Т-образно составленных столов сели господин Бедейкер, Глория, Алеко Никитич, Ригонда и Индей Гордеевич. В непосредственной близости от них за вертикальной частью расположились сотрудники редакции и гости первой гильдии. В самом конце устроились машинистка Ольга Владимировна, вахтерша Аня и гости второй гильдии. Столы ломились от еды и разноцветных соков, разлитых по кувшинчикам и графинам.

— Попрошу наполнить! — встал Алеко Никитич.

— А кто уже наполнил? — пошутил Вовец.

— Того попрошу помолчать! — не понял шутки Алеко Никитич.

Вовец недовольно хрустнул болгарским огурцом, и наступила тишина.

— Уважаемый господин Бедейкер! — провозгласил Алеко Никитич. — Дорогой Чарльз! Год назад в далекой, но теперь уже близкой нам Фанберре ты изъявил желание продолжить нашу дружбу в Мухославске. Сегодня твое желание сбылось. Это еще раз говорит о том, что при наличии доброй воли и непредвзятого отношения к существующей действительности нет никаких преград на пути к взаимопониманию и взаимопроникновению на основе взаимодоверия и взаимоуважения. Жители Мухославска с пристальным вниманием и глубоким интересом следят за развитием австралийской литературы, а в книжных магазинах Фанберры произведения наших мухославских авторов не залеживаются. У вас есть что посмотреть, а у нас есть что показать. Наши взаиморазногласия разделяет экватор, но наши взаимосимпатии соединяет меридиан. Успехов тебе, Чарльз! Процветания твоему журналу! Мир твоему дому!

«С ответной речью выступил г-н Бедейкер. Речи руководителей двух журналов были выслушаны с большим вниманием и неоднократно прерывались аплодисментами».

(Из газеты «Вечерний Мухославск»)

Банкет продолжал развиваться по присущим ему законам, и уже через полчаса все вдруг разом громко заговорили. Каждый брал слово и, пытаясь перекричать остальных, говорил о своем. Бедейкер оказался большим любителем соков и закусок. Вскоре один свой глаз он положил на Ольгу Владимировну, а другим бесконечно подмигивал жене Свища, которая, посчитав это правилом хорошего тона, тоже стала подмигивать Бедейкеру. Сам же Свищ, полагая, что Бедейкер дружески подмигивает ему, начал отвечать тем же, чем вызвал у Бедейкера нехорошие подозрения. Подозрения усугубились еще и то-стом, с которым Свищу удалось прорваться.

— Друзья мои! — сказал Свищ, излучая ласку. — Предлагаю выпить за нашего наставника, которого мы между собой величаем Никитичем, и за его обаятельную женушку! Им мы обязаны журналом нашим замечательным, яствами сегодняшними неописуемыми, гостем нашим ласковым! Урашеньки! Гип-гип-урашеньки! — И Свищ, пригубив бокал с соком, подмигнул Бедейкеру.

«Дамы пьют стоя, мужчины — на коленях, так?» — пошутил с другого конца стола Вовец».

(Из анонимной записки на имя Н. Р.)

— Скажите ему, чтобы прекратил! — прошептал Алеко Никитич Индею Гордеевичу.

— Слушай, Бедейкер! — неожиданно возник Ефим Дынин. — Вот я тебя запросто спрошу, напрямки: почему ты почвенников не печатаешь?

Переводчица, схватившая было кусок холодца, положила его обратно на блюдо и перевела вопрос Бедейкеру.

А Дынин настаивал:

— Мне твои шиллинги не нужны. У меня, слава богу, коровенка есть и свинки бегают, но почему ты почвенников не переводишь?

Бедейкер постучал вилкой по бокалу. Алеко Никитич сделал то же самое. Наступила относительная тишина, в которой повисла фраза Ольги Владимировны: «А он мне нравится!»

— Господа! — с трудом поднялся Бедейкер. — У вас, как я слышал, лежит интересное произведение, которое может иметь успех у нашего читателя... Дорогой Алеко! Пользуюсь случаем и большим количеством людей и прошу тебя передать в мой журнал эту рукопись.

— Слушай, Бедейкер! — хлопнул его по плечу Ефим Дынин. — А ты мне на вопрос не ответил. Почему ты почвенников не печатаешь?

— Во-первых, Чарльз, — с дипломатическим дружелюбием сказал Алеко Никитич, — нехорошо выведывать редакционные тайны, а во-вторых, вопрос с публикацией этого произведения еще не решен...

— Это чудо, господин Бедейкер! — буквально зашлась Глория. — Австралия будет в восторге!

Алеко Никитич под столом наступил ей на ногу и продолжал:

— У нас и без того много талантливых писателей. Бестиев, к примеру, сейчас закончил интересную повесть...

— Спасибо! — сказал Бедейкер. — Наш читатель знает имя Бестиев...

— Могу взять псевдоним! — подскочил Бестиев. — Волков... Чем плохо? А? Ну чем плохо-то?

— Как волков ни корми, он все в лес смотрит! — сострил Колбаско.

— Пошли танцевать, господин Бедейкер! — вдруг вскочила со своего места Ольга Владимировна. — «Я цыганочку свою работать не заста-а-авлю...»

И, тряся плечами и грудью, Ольга Владимировна стала надвигаться на Бедейкера.

Алеко Никитич захлопал в ладоши, отметив находчивость редакционной машинистки, и еще раз мысленно пообещал ей посодействовать в вопросе отдельной квартиры.

Все хлопали до тех пор, пока Ольга Владимировна вконец не затанцевала господина Бедейкера. И когда он, обливаясь потом, приложился к ее руке, она неожиданно притянула его за уши и впилась отчаянным длительным поцелуем одинокой женщины.

— За простых работников журнала! — заверещал Аркан Гайский. — Без них мы — ничто! За Ольгу Владимировну!

А Ольга Владимировна внезапно побледнела и выбежала из конференц-зала. Включили магнитофон, и начались танцы. Жена Свища выбрала Алеко Никитича. Свищ — Глорию. Индей Гордеевич пошел с Ригондой. Остальные — кто с кем.

— Прижми меня, Индюша, — прошептала Ригонда.

Но, странное дело, Индей Гордеевич почувствовал прежнюю индифферентность по отношению к супруге. Он танцевал с ней, смотрел на нее совершенно спокойно, прижимал по ее просьбе, но никаких возбуждающих токов не получал, да и, очевидно, не продуцировал.

— Труп! — сказала Ригонда и освободила его от обязанности партнера.

Индей Гордеевич сел опять за стол, пожевал цыплячью ножку и начал тупо наблюдать за вихрем невероятнейших сек-

сапильных па, которые Ригонда выделявала с Бестиевым. Но Индея Гордеевича это вовсе не волновало.

«Вот и опять», — подумал он.

Свищ наяривал вприсядку под Тома Джонса.

Прием по случаю приезда господина Бедейкера постепенно обрел непринужденность. Самого высокого гостя атаковали хозяева.

«У вас легко, — говорил Гайский, — у вас все можно. А у нас сатирикам трудно. Душат. Завидуют. Надо иметь большое гражданское мужество».

(Из анонимной записки на имя Н. Р.)

— А у меня, — Вовец опрокинул рюмку, — есть некие претензии к вашему Кортасару.

— Кортасар не их, — сказала переводчица, — Кортасар — латиноамериканец.

Бедейкер кивнул.

Колбаско воровато гладил под столом руку переводчицы и взрывался каламбурами.

Вахтерша-Аня внесла из подсобки раскаленный самовар и стала обносить гостей чаем, ошпаривая и обливая танцующих.

— А-а-а! — доносилось из коридора. — А-а-а!

— Ольга Владимировна лишнее перетанцевала. Надо ее успокоить, — доверительно сказал Алеко Никитич жене Свища.

— Я ее отвезу домой! — обрадовался Аркан Гайский и выскочил в коридор.

Через короткое время опять из коридора раздалось душе-раздирающее «а-а-а!», и в конференц-зал вбежал красный Гайский.

— Кусается, стерва! — сказал он, рассматривая следы зубов Ольги Владимировны на своем левом предплечье.

— Теодор, — обратился Алеко Никитич к Дамменлибелю, — уложите ее в моем кабинете.

Господин Бедейкер вдруг встал и попытался направиться к выходу.

Бестиев подскочил к нему и, взяв под руку, повел в сторону туалета.

— Его надо отправить в гостиницу, — сказала переводчица. — Он устал.

— Я тоже так думаю, — зевнул Алеко Никитич, обращаясь к Индею Гордеевичу. — Берите Ригонду, проводим Чарльза, а потом мы с Глорией подбросим вас домой.

Ведя господина Бедейкера из туалета, Бестиев снял с себя

маленький медный крестик, купленный им за двадцать крон в Праге, и почти насильно надел его на шею дорогого гостя.

— Мой презент! — говорил он. — Память! Чистое золото! Мы все — христиане.

Когда они вошли в конференц-зал, Бедейкер бросился к своему объемистому портфелю и вынул из него красивую довольно большую коробку.

— Мой презент! — Бедейкер протянул Бестиеву коробку. — Магнитофон! Четыре скорости! Мы все — христиане!

— Ну, спасибо, — сиял Бестиев. — Надо же! Ну, спасибо! Я-то ему золотой крестик просто так подарил, а он... Надо же!

— Бестиев такой же христианин, как я — римский папа! — сказал Аркан Гайский на ухо Вовцу, но так, чтобы слышали все остальные.

Предприимчивый Колбаско мгновенно снял с руки часы «Слава» и защелкнул их на правом запястье Бедейкера.

— Мой презент! — Он поднял руку Бедейкера с подаренными часами так, как поднимает рефери на ринге руку победителя. — На двадцати семи камнях!

Индей Гордеевич сбегал в свой кабинет и приволок большой бюст Горького.

— Мой презент! — сказал он и поставил Алексея Максимовича к ногам Бедейкера.

— Это редакционный бюст, — уточнил Алеко Никитич.

— Наш презент! — поправился Индей Гордеевич, глядя на портфель австралийца.

Свищ отцепил от жены брошь и приколот ее на лацкан господину Бедейкеру.

— Наш презент! — поцеловал он гостя. — Супруженьке.

«А, хрен с ним! — крикнул Ефим Дынин и преподнес господину Бедейкеру вынутую из кармана пиджака небольшую икону XVI века. — Молись, брат, да помни почвенников!»

(Из анонимной записки на имя Н. Р.)

Растроганный Бедейкер улыбался и кланялся, принимая эти проявления искренней дружбы и расположения, повторяя бесконечно: «Спасибо, спасибо», — но из своего портфеля больше ничего не доставал.

— В таком случае поехали, — сказал Алеко Никитич переводчице.

Бедейкер и переводчица сели в выделенную гостю «Волгу», а Алеко Никитич с Глорией — в «Волгу» редакционную. Минут через пять появился Индей Гордеевич.

— Ригонда еще потанцует, — сказал он, усаживаясь. — Ее Бестиев проводит.

Прошел приблизительно час. Бедейкера благополучно сопровождали до гостиницы и завезли домой Индея Гордеевича.

— Ты отдыхай,— задумчиво сказал Алеко Никитич Глории,— а я заеду в редакцию, молодежь разгоню...

Конференц-зал опустел. За столом ел и пил Вовец, полемизируя с разомлевшим Колбаско.

— Мне твои подачки не нужны,— говорил Вовец.— Я прекрасно помню, что должен тебе шесть сорок. И я их к зиме тебе отдам.

— Кому должен — прощаю! — отвечал Колбаско.

— Унижения не терплю! — говорил Вовец.— К зиме все отдам до копейки!

— Кому должен — прощаю! — отвечал Колбаско.

— А за это могу и по роже! — говорил Вовец.

— Кому должен — прощаю! — отвечал Колбаско.

— Почему вы не идете домой? — спросил Алеко Никитич, сдирая со стены коллаж-монтаж Дамменлибена.

— Мы отпустили Аню,— сказал Вовец,— и остались на ночное дежурство, чтобы ничего не случилось...

— Ступайте домой! — почти приказал Алеко Никитич.— Несотрудникам запрещено находиться в помещении редакции в нерабочее время!

Колбаско, пошатываясь, встал.

— Я не могу идти домой, Алеко Никитич... Мне все там... напоминает об утраченном счастье...

— Не распускайте нюни, Колбаско! Проявите такое же мужество в жизни, какое вы проявляете в поэзии. Позвоните Людмилке и не валяйте дурака... Давайте я наберу номер...

Они прошли в незакрытый кабинет Индея Гордеевича.

Когда в трубке послышался сонный женский голос, Алеко Никитич передал трубку Колбаско и шепнул:

— С богом!

— Людмилка! — сбивчиво заговорил Колбаско.— Это я... Это я, Людмилка!.. Я!.. Я сейчас приеду и заберу тебя!.. Людмилка?.. Это я!.. Я абсолютно трезв!.. Мы с Алеко Никитичем принимали Бедейкера из Фанберры... Спешу к тебе!.. Спе-шу!..

Колбаско положил трубку.

— Ну? — нетерпеливо спросил Алеко Никитич.

— Вы ее не знаете,— захныкал Колбаско.— Она гордая... Она ни за что не вернется...

— Женщины любят силу, Колбаско. Оторвите ее от матери...

— Прямо сейчас?

— Да. Прямо сейчас. Поезжайте и оторвите.

Алеко Никитич привел Колбаско в конференц-зал. Вовец ел и пил, получая несказанное удовольствие.

— Не желаете? — предложил он Алеко Никитичу тоном хозяина.

— Вовец, помогите Колбаско добраться до Людмилки, — сказал Алеко Никитич.

— Унижаться? — спросил Вовец, явно не желая вылезать из-за стола.

— Это их дело. Давайте, Вовец.

Вовец нехотя встал.

— Ну, что? Посошок? — тоскливо сказал он.

— Никаких посошков! Марш домой!

— Ах, так! — оскорбился Вовец. — Ноги моей больше не будет в этом доме! Позовете еще! Белого коня пришлете! А я вам вот покажу!

— Позовем, позовем, — говорил Алеко Никитич, подталакивая обоих к выходу. — И коня белого пришлем...

— А вот я вам покажу! — кричал Вовец.

— А вы нам вот покажете, — соглашался Алеко Никитич.

Решив объявить вахтерше Ане выговор в приказе за самовольную отлучку, он направился в подсобку посмотреть, выключены ли краны газовой плиты. Проходя мимо своего кабинета, он захотел удостовериться в том, что кабинет заперт, но дверь неожиданно поддалась, и, когда Алеко Никитич щелкнул выключателем, то увидел картину, поразившую его в самое сердце, заставившую разочароваться коренным образом в таких понятиях, как «дружба», «благодарность», «человеческое отношение», и предreshившую в конце концов его дальнейшую судьбу главного редактора журнала «Поле-полюшко».

На черном кожаном диване, рядом с глубоко спящей машинисткой Ольгой Владимировной, храпел в одних трусах, но при пиджаке с галстуком, художник Теодор Дамменлибен, положив волосатую ногу на стол Алеко Никитича.

С-с-с... Вот оно что! Друг семьи!.. На редакционном кожаном диване!.. Используя опьянение!.. По-воровски!.. Эх, Ольга Владимировна!.. И это в тот момент, когда вам по-отечески уже почти поставили вопрос о предоставлении отдельной квартиры!.. С-с-с... В кабинете старого дурака Алеко! А если бы заглянул сюда господин Бедейкер!.. Вот уж достойный материал для белогвардейской газетенки!..

И, не помня себя от гнева, брезгливости и разочарования, Алеко Никитич закричал:

— Вон отсюда!

Теодор Дамменлибен вскочил и почему-то первым делом стал причесываться.

— Вон отсюда! — снова закричал Алеко Никитич.

Ольга Владимировна шевельнулась, но не проснулась.

— Слушайте, Никитич, по-моему, у Бестиева с Ригондой трали-вали,— спешно одевался Дамменлибен,— Петеньку завтра к теще на дачу везти бардак австралиец хороший мужик жара...

— Чтобы через пять минут ни вас, ни этой женщины в редакции не было! — сорванным голосом прокричал Алеко Никитич.

— Никитич это вы 3-3-ря Олюхин хорошая девушка одинокая,— уже вслед вышедшему главному редактору говорил Дамменлибен.

Алеко Никитич сел на лавочку в садике перед зданием редакции и стал ждать, пока они выйдут. Первым появился Дамменлибен. За ним, еле передвигая ноги, Ольга Владимировна.

— Спать хочу! — ныла она. — Спать хочу! Домой хочу!..

— Слушай Олюхин,— сказал Дамменлибен,— п-п-поймаем такси завезешь меня и поедешь бардак с утра Петеньку на дачу в-в-везти у Нелли расширение вен она умная женщина...

— Спать хочу! — капризно повторяла Ольга Владимировна. — Спать хочу!..

Дождавшись, пока они погрузятся в такси, Алеко Никитич прошел в свой кабинет, еще раз с отвращением взглянул на черный кожаный диван, погасил свет, запер дверь и проследовал в конференц-зал. Там он налил стакан сока и впервые в жизни выпил его варварским способом — залпом.

«Всех уволю! — думал он, раскачиваясь на стуле, сонно оглядывая поле недавней банкетной битвы. — Аню уволю! Машинистку уволю! Дамменлибена уволю!.. А рукопись напечатать! Назло всем!.. Без иллюстраций!.. Рапсод — сволочь! Цыплят недодал, фрукты недодал!..»

Алеко Никитич уже совсем не помнил, что еще полчаса назад хотел заглянуть в подсобку. Он вышел из редакции, долго искал ключом замочную скважину двери, наконец нашел ее и, увольняя всех подряд, направился к машине.

Шофер редакционной машины, который и потом остался шофером редакционной машины и возил других главных редакторов, говорил впоследствии, что никогда не видел Алеко Никитича в таком состоянии, как в ту ночь.

— Гроза, видать, опять будет,— сказал шофер для зарождения разговора, на что Алеко Никитич, не отличавшийся крепостью выражений, рывкнул:

— Ну, и хлябь ее твердь!..

Многие жители Мухославска проснулись в ночь с пятницы на субботу от сильного взрыва, который поначалу приняли за удар грома, тем более что над городом снова свирепствовала гроза. В некоторых домах вылетели стекла. А вскоре на го-

родские улицы и крыши зданий начали падать крупные и мелкие обгоревшие обрывки бумаги с машинописным и типографским шрифтом. В один двор упала не вскрытая банка югославской ветчины, а публицист Вовец, очнувшийся после вчерашнего и пребывавший от этого в тоске и естественном физическом затруднении, с удовлетворением обнаружил на подушке болгарский маринованный огурец, что и воспринял как справедливый дар судьбы.

К середине дня уже весь город знал, что произошло ночью.

«По халатности сотрудников, усугубленной нарушением норм общественной жизни, краны газовой плиты в подсобном помещении редакции были оставлены незакрытыми, что привело к утечке газа с последующим его накоплением в редакционных помещениях. Взрыв произошел либо в результате попадания молнии во время грозы, либо по иной причине. Вероятность террористического акта чрезвычайно мала, хотя и не исключается. Человеческих жертв нет. Материальный ущерб, причиненный редакции и соседним зданиям, подсчитывается».

(Из материалов расследования)

XVIII

В понедельник к беспощадному сатирику Аркану Гайскому приехала из Владивостока девочка, которой два года назад он пообещал жениться, познакомившись с ней на пляже курортного города Ялты. И, решив принять ее по-царски, Гайский часов в пять дня зашел на городской рынок купить полкило слив. Базарный день заканчивался, и темномастные были уступчивы. Торговец скрутил для слив два обгоревших по краям листа бумаги в клеточку с каким-то написанным текстом. Когда Гайский, придя домой, выложил перед девочкой царское угощение, он решил любопытствовать, что написано на кульке, и прочитал:

«...Раб свою жизнь проживает по-рабски в тоске по свободе...»

...он сбросил с себя одежду и вошел в покои Олвис. Она ждала его, она проснулась от его крика и ждала его, стоя на коленях. Она сейчас впервые увидела, что рука, когда-то ударившая ее, отсечена по локоть.

Мадрант задернул шторы. Пусть знает Олвис, что победил Ферруго, и скоро его собаки ворвутся сюда и перегрызут глотку ей и мадранту.

Она протянула к нему руки. Я ненавижу мадранта! Я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!

Дрожая всем телом, он сделал шаг по направлению к ложу. Он чувствовал, что она говорит правду, потому что нет больше ничего, достойного лжи, нет власти, нет богатства, нет зависимости. А это и есть та минута, когда желание становится водой и воздухом, без которых немислима жизнь...

Хвалит в ч е р а, проклиная с е г о д н я, надеясь на з а в - т р а.

Но наступает его долгожданное з а в т р а... И что же?

...широко расставив руки, словно прикрывая вход в здание совета, вооруженную озверевшую толпу встретил Первый ревзод... Где Ферруго? Покажите мне Ферруго! Первый ревзод должен поговорить с Ферруго!.. Но вместо Ферруго двое горожан поставили перед ним дворцового палача Басстио. И, взглянув друг на друга, оба поняли, почему они оказались рядом. Взмахнув большой кривой саблей, Басстио не сразу, а в два приема, потому что руки ослабли от страха, отделил от туловища Первого ревзода его голову, которую тот успел все-таки вытянуть в свои покатые плечи. А потом самого Басстио потащили к водоему со священными куймонами, и те так же бесстрастно приняли палача, как прежде — его жертва...

Он уже хвалит все то, что в ч е р а предавалось проклятью...

...я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!.. Покои Олвис озарились пламенем вспыхнувшего здания совета ревзодов... Они не смеют убить тебя, Ферруго! Я не хочу этого, Ферруго! Ты скажешь им, что ты Ферруго! Они не могут убить тебя твоим именем!..

Нет, Олвис, мабрант никогда не прибежит к милости этих собак!

Они сохраняют нам жизнь, когда узнают, что ты Ферруго! Они вышлют нас на маленький остров, и только я буду с тобой! Я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!

Нет, Олвис, мабрант никогда не станет рабом у раба, и его тайна останется в нем, ибо иначе исчезнет Ферруго, а ты останешься с ненавистным тебе мабрантом!

Я люблю тебя, Ферруго, и я сама скажу им все ради твоей жизни («И ради себя в конце концов. Вот глупость-то!»)

Он проклиная все то, что в ч е р а ему было надеждой, снова надеясь на з а в т р а, и з а в т р а опять наступает...

...последние крики воинов, возгласы горожан и лязг оружия уже проникли в покои мабранта, и тогда Олвис, вырвавшись из объятий, бросилась к дверям, но мабрант успел схватить ее левой рукой и снова бро-

сил на ложе... Мадрант любит Олвис, но она не сделает этого... Не сможет... Не успеет...

Я же люблю тебя, глупый... Ферруго!..

Он сжимал ее горло до тех пор, пока она не затихла, а потом упал, закрыв ее своим телом...

**Только раба уже нет — он в ч е р а перебрался в могилу,
Детям своим завещая надежду на новое з а в т р а...**

...сидя на полу своей хижины, Герринда смотрела куда-то через стену вдаль пустыми глазами и слышала нарастающий вой подземного огня и грохот несущейся ему навстречу исполинской волны. И когда почувствовала, как между лопаток прошел в нее обжигающий меч и, несколько раз повернувшись в груди, разорвал на части сердце, она поняла, что сын ее в эту минуту стал мертвым и что не родится он когда-нибудь крысой, как и не был ею тысячи лет назад...

Что же рабу в его жизни проклятой тогда остается...

Они не знали, что Олвис мертва, и пронзили их обоих одним мечом, повернув его еще несколько раз для верности, но потом сокрушались, что сразу прикончили и суку, не отведая мадрантова лакомства. А потом их обоих привязали друг к другу, предварительно придав телам развратную любовную позу, и вывесили за окно покоев, чтобы все могли убедиться, что нет больше мадранта и его суки... Да здравствует Ферруго! Мы возвратили себе «гордое имя — Собака!»

...Если в ч е р а ш н е е он никогда возвратит не сумеет...

...этой ночью должна была появиться Новая луна, но небо закрылось сплошным мрачно-черным покрывалом. Они бродили по городским улицам, опьяненные победой, вином и свободой... «И утолить свою жажду хозяйской кровью, и отшвырнуть эту пададь поганым шакалам...» И они не знали, что же теперь делать дальше... Да здравствует Ферруго!.. Но по-прежнему никто не видел Ферруго. Один из них захватил черный зал мадранта и, окружив себя вооруженными дружками, заявил, что он, лично убивший мадранта, будет теперь править городом и страной. Но его вместе с дружками мгновенно растерзали остальные, так как право на черный зал имел только один Ферруго, а его все не было и не было... Да здравствует Ферруго!..

В женариуме между ними возникла страшная резня из-за сладкой добычи. Женщин мадранта разбирали и раздирали на части, вмешавшиеся в бойню жены горожан делали ее еще кровожаднее. И остановить их мог только один Ферруго, а его все не было и не было... Да здравствует Ферруго!..

Уже по всем признакам ожидался рассвет, но он все не наступал. И в этой длинной ночи под окнами дворца, подняв морду туда, где висе-

*ли тела мадранта и Олвис; все выла и выла огромная собака. Все то-
скливее и тоскливее... Да здравствует Ферруго!.. А его все не было и не
было...*

...Если извечное за втра несчастный увидеть не сможет?

*...И вдруг сильный, возникший словно бы из ничего ветер распахнул
над городом черное покрывало, и они увидели Новую луну, и закричали
от радости, и воздели к ней руки, встречая новое начало. И расколо-
лась, оглушив их небывалым грохотом, Карраско, разломив пополам зе-
млю. И вырвался из пролома столб пламени до самых небес, ослепив их
своим светом, и накрыла все это невиданная, пришедшая с моря вол-
на...»*

Прочитав эти письма, Аркан Гайский почувствовал зна-
комые острые схватки в нижней части живота и, успев крик-
нуть девочке: «Осторожней со сливами!» — кинулся вон из ком-
наты.

XIX

Спустя семь месяцев после злосчастного ночного взрыва
задвинутый на пенсию Алеко Никитич пас в городском парке
Мухославска свою внучку Машеньку. Он выглядел сильно по-
старевшим, или, как любят говорить в таких случаях, сдавшим,
и лицо его было отмечено печатью не такой уж далекой встре-
чи с таинственным и печальным продолжением общего биоло-
гического процесса, именуемым смертью. Время уже было со-
бираться домой, когда к нему обратился неизвестно откуда
взявшийся человек в легком для ранней весны пальтишке. Он
был худ, тощ, без шапки. Ветер трепал его густые темные во-
лосы.

— Скажите, Алеко Никитич, — произнес тощий, — а руко-
пись так и сгорела во время взрыва?

Бывший главный редактор вздрогнул от неожиданного во-
проса и внимательно посмотрел на тощего. Голубые, чуть на-
выкате глаза, наполовину отсутствующий взгляд и какая-то
безапелляционность. Алеко Никитич имел хорошую зритель-
ную память. Да, этот взгляд он уже видел. В тот самый жаркий
день, когда в его кабинет вошел незнакомец и положил на
стол тетрадь в черном кожаном переплете. Но тогда он был
значительно ниже ростом, шире в плечах и белобрыс. Брат?

— А вы имеете отношение к рукописи или к ее авто-
ру? — спросил Алеко Никитич.

— Возможно, — ответил тощий. — И тетрадочка сгорела
в черном кожаном переплете?

— Несчастный случай, — сказал Алеко Никитич. — Но почему вас интересует судьба рукописи? Вы же не хотите сказать, что вы... Во всяком случае, тот человек был ниже вас и совершенно другой масти.

— Возможно. — Тощий вынул из кармана пальто большую конфету в ярко-красной обертке и протянул ее Машеньке. — Авторы нынче подвержены особой акселерации.

— После обеда, Машенька! — строго сказал Алеко Никитич и спрятал конфету.

— Тоже правильно, — безразлично согласился тощий.

— И тем не менее кто вы? — настаивал Алеко Никитич. — Мне все-таки кажется, что я вас где-то видел.

— И мне так кажется, — глядя куда-то в сторону, сказал тощий.

— Давно?

— Очень. Может быть, пять... Может быть, десять тысяч лет назад... Вам не жаль?

— Чего? — не понял Алеко Никитич.

— Того, что произошло.

— В какой-то степени.

— Благодарю вас, — поклонился тощий и вдруг, сделав нос Машеньке, нелепо подпрыгнул и побежал прочь, скуля, словно собака, в которую попали камнем.

Машенька рассмеялась.

— Пойдем! — сказал Алеко Никитич и потянул внучку за собой.

У самого выхода из парка он незаметно от Машеньки выбросил в урну большую конфету в ярко-красной обертке.

XX

В новом здании редакции журнала «Колоски» (так переименовали журнал «Поле-Полюшко») в своем кабинете новый главный редактор Рапсод Мургабович правил новую статью критика Сверхщенского, когда дверь неожиданно открылась и вошел нескладный, тощий человек с голубыми, чуть навыкате глазами, и положил на стол тетрадку в ярко-красном кожаном переплете.

«Я с ума сойду с этим журналом! — подумал Рапсод Мургабович. — Клянусь мамой! Почему без стука? Что это за красная тетрадь? Рукопись? Надоели, честное слово! Я рукописи не читаю! На это есть Зверцев!..»

— Я с ума сойду, честное слово! — сказал он. — Клянусь мамой! Почему без стука? Что это за красная тетрадь? Рукопись?.. Надоели, честное слово! Я рукописи не читаю! На это есть Зверцев!.. Ты был у Зверцева?

— Зверцев правит Сартра, — бесстрастно произнес тощий.
— Сартра-мартра, — буркнул Рапсод Мургабович. — Делать ему нечего, клянусь мамой!..

Тощий пожал плечами, поклонился и вышел.

«В печенках они у меня со своей литературой!» — подумал Рапсод Мургабович, машинально раскрыл тетрадь в красном кожаном переплете и прочитал:

«В помещении редакции журнала «Поле-полюшко» частенько пахло газом...»

— Газом-мазом! — недовольно сказал Рапсод Мургабович и со злостью бросил в свой портфель тетрадь в красном кожаном переплете.

1983

РОНДО

Генеральная репетиция в двух действиях

Несколько слов от подлинного автора, а не от автора — персонажа этой пьесы:

«Сочинил я это в конце 1978 года, пребывая в довольно грустном состоянии в связи с событиями, развернувшимися вокруг известного альманаха «Метрополь», одним из участников которого я был. Чтобы не стать жертвой собственной импульсивности, я уехал в Прибалтику и погрузился в работу, преодолев свойственную мне лень. А у людей, склонных к лени, время от времени возникают вспышки бешеной активности, и в период этой активности ленивые люди могут в короткий период сделать очень многое. Идея «несостоявшегося» поколения жила во мне давно. И уже не знаю, насколько мне эту идею удалось материализовать, но пьесу я написал дней за тридцать. Чисто творчески мне интересно было написать драматургическое произведение без ярко выраженного действия в натуральном смысле этого слова. Действие как бы остается за кадром, а персонажи, их жизнь, их чувства, их диалоги есть результат этого действия. Люди моего возраста прекрасно знают, какие события произошли с 1936 по 1946 год (репрессии, война), с 1947 по 1957 год (борьба с космополитизмом, травля кейсманнистов-морганистов, дело врачей-вредителей, смерть Сталина), с 1957 по 1967 год (Хрущев, развенчание культа личности, кукуруза, спутник, полет Гагарина, начало Брежневца и переход в «застой»), наконец, плюс еще лет двадцать (расцвет застоя и биологическое умирание поколения, которому в 1936 году было от 18 до 28 лет). С пьесой после ее написания стали происходить странные вещи. Она нравилась очень многим, но никто ее так и не решился поставить. Валентин Плучек сказал, что центробежная сила времени размазала моих героев по стенам вращающегося котла жизни, и, стало быть, время виновато в том, что поколение не состоялось. А ему, как сказал мне Плучек, нужна пьеса, в которой люди сами виноваты, в силу собственных личных качеств, в том, что оказались размазанными. Я сказал, что такая пьеса возможна, но это другая пьеса, которая может быть написана другим автором. Ухватился было за нее режиссер Михаил Левитин и предложил ее в Центральный театр Советской Армии, но через пару дней сказал, что пьесу не одобрило ГлавПУР, Главное Политическое Управление, или Левитину эта пьеса разонравилась, и он все свалил на ГлавПУР. Галина Волчек, руководитель московского театра «Современник», взяла экземпляр для скорого прочтения, но у нее в доме был ремонт, и через три недели она заявила, что во время ремонта эту пьесу потеряла. Во втором прочтении я

ей отказал из вредности. Несколько экземпляров исчезли безответно в завлитовских папках... В конце концов мне все надоело, и я перестал показывать свое сочинение кому-либо, рассудив просто: или это слишком хорошо, чтобы быть поставленным, или — слишком плохо. Ни то, ни другое от меня уже больше не зависит. Был момент, когда я пьесу возненавидел и чуть не сжег, но остыл и успокоился на двух постулатах: во-первых, я не Гоголь, а во-вторых, рукописи не горят... В 1985 году я почти подружился с талантливым Валерием Фокиным, которому пьеса понравилась, но у которого еще не было своего театра. В этом же году я внес в текст пьесы некоторые изменения (неконъюнктурного характера!). Когда Фокин стал главным режиссером Театра им. Ермоловой, я принес ему пьесу, но он просил не торопить его с постановкой, так как требовалась острая социальная публицистика (началась перестройка). С тех пор я его и не тороплю. Если меня спросить, о чем же все-таки данное сочинение, я вряд ли смогу сформулировать ответ с точки зрения театрального критика. Могу лишь сказать одно: меня все время не покидает ощущение, что огромный пласт нашего общества не живет, а бессознательно имитирует жизнь. Кому-то кажется, что он работает, а работает не он, а кто-то другой. Кто-то думает, что он играет роль, а играет эту роль кто-то другой. Кому-то кажется, что он режиссер, а режиссер совсем и не он. Кто-то думает, что он руководитель, а руководитель-то на самом деле совсем другой человек... Как сказал мой друг Резо Габриадзе, «многие дипломаты существуют для того, чтобы ими разговаривали главы правительств». Пьеса кончается тем, что в это вяло текущее, студнеобразное существование вторгается война, но ее объявление является ошибкой радиста. И слава богу! Но ведь что-то должно было взорвать эту унылую имитацию жизни. Этим «чем-то» явилась перестройка, а перестройка — тоже война, да еще какая!..»

Действующие лица (не по их значимости)

По л е н ь е в, журналист, 30 лет
 Л е й т е н а н т, летчик, 21 год
 В а с ю т а, шофер, 29 лет
 С п и р и н, деловой парень, 22 года
 З е л е н ц о в, из хорошей семьи, 24 года
 П р о к о п В а с и л ь е в и ч, серьезный человек, 25 лет
 С е н е ч к а Г л у з м а н, скрипач, 18 лет
 Н и н а Г у л е в с к а я, артистка, 20 лет
 В а р я П е ч е н к и н а, беленькая, 19 лет
 В а р я С и р о т и н а, черненькая, 21 год
 Р и м м а, жена, 23 года
 А к а д е м и к, второй муж Риммы

Коромыслов, третий муж Риммы
Леван, четвертый муж Риммы

В эпизодах: шахтер, капитан, официанты, клиенты, Зверек, зритель и другие.

Возраст персонажей указан на первую картину.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

А в т о р. Автор пьесы попросил меня... как бы это поточнее сказать... быть автором пьесы. Он очень волнуется. Он принял две камфорные таблетки и коричневый коктейль, пахнувший валерьянкой... Но, несмотря на это, его пульс — около ста ударов в минуту. Автору уже пятьдесят три года... Или еще пятьдесят три года... Смотря с какого конца считать. Ему, как автору пьесы... вернее, мне, как автору пьесы, кажется, что в этом возрасте уже можно иметь свою собственную точку зрения. Уже есть что вспомнить и кое-что еще можно желать... Герои его пьесы, точнее — моей пьесы, не являются героями в общепринятом смысле этого слова. Но они живут, едят, двигаются, любят, старятся. Никто из них не убивает свою возлюбленную. Поэтому они не являются героями трагедии. Но никто из них не оказывается в роли любовника, запертого в шкафу. Поэтому они не являются героями комедии. Никто из них не становится объектом наблюдения со стороны ОБХСС, равно как и не работает инспектором уголовного розыска. Поэтому они не герои детектива. Все только что сказанное относится к автору пьесы и ко мне, как к автору пьесы. Мы знакомимся с действующими лицами в одном из ресторанов в один из летних вечеров тысяча девятьсот тридцать шестого года. Им всем от восемнадцати до двадцати восьми лет. Столько же лет было в том году моей матери, которой посвящается эта пьеса. Я родился приблизительно в то же время... Вот, пожалуй, и все. *(Занавес медленно раздвигается.)* Да! *(Занавес останавливается.)* Я прошу некоторого снисхождения сидящих в зале за возможные накладки, оговорки, неточности... В конце концов все мы — живые люди... *(Занавес раскрывается до конца, а в т о р остается в углу сцены и наблюдает за происходящим.)*

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Летний вечер в один из дней тысяча девятьсот тридцать шестого года. Небольшой зал ресторана. Зал оформлен в стиле того времени. Видно небольшое возвышение, на котором сидят музыканты. В углу сцены телефон-автомат. Приготовленные для вечеринки стоят подковой, развернутой к зрителям, столы. Возле них хлопочут, наводя последний лоск, о ф и ц и а н т, В а с ю т а и В а р я С и р о т и н а по прозвищу Черненькая.

В а с ю т а *(сейчас и впредь употребляет в своей речи английские выражения. Делает он это смело и уверенно, но с чудовищным «рязан-*

ским произношением). Полный бютифул и вери найс. Беленькую Варю посадим здесь, чтоб она могла видеть Зеленцова и его интеллигентный фейс.

Варя Черненькая. Тебе, Васюта, не кажется, что мы немного переборщили с икрой?

Васюта. Эз ю лайк. Товарищ официант!

Официант. Пожалуйста?

Васюта. Мы же договаривались, чтоб было красиво. У нас встреча, окончание английских курсов. А здесь — поминки капитана Немо.

Официант. Что, простите?

Васюта. Вы читали роман Стендаля про икру?

Официант. Что, простите?

Васюта. Красная и черная.

Официант. Нет, простите.

Васюта. Ну так замените нам эту литературу.

Официант. Не понял, простите.

Варя Черненькая. Он дурака валяет, товарищ официант. Просто стол немного однообразен. Сплошная рыба и икра. Картошки добавьте, салатиков.

Официант. Слушаюсь. Теперь скажите, фирменный сюрприз не желаете на десерт?

Васюта. Желаем! А что это?

Официант. Мороженый торт в форме Днепрогэса со свечами.

Васюта. Конечно, оф коз! *(Официант удаляется.)*

Варя Черненькая. Постую на балконе. Что-то меня в жар бросило. *(Выходит.)*

В зал входят Варя Печенкина по прозвищу Беленькая и Нина Гулевская. Печенкина одета аккуратно, но простенько. Гулевская — по последнему крику моды тех лет. Она очень эффектна и знает это.

Васюта. Ю ар велком, уважаемые ледиез! Итс ол реди!

Гулевская. Привет, Васюта! Гуд ивнинг!

Васюта. Ваши места, как всегда, рядом. Где остальные?

Гулевская. Внизу.

Васюта. Пора загонять. *(Выходит. Гулевская и Печенкина садятся за стол.)*

Гулевская. Лично мне твой Зеленцов — ни в одном глазу. Пресный какой-то, вальд.

Печенкина. Ты его не знаешь.

Гулевская. Не дай бог узнать... И в общем-то, ты ему не пара. Ну кто ты? Детдомовка, рабфаковка. А он — чистокровный, медалированный, гладкошерстный. Зеленцов! Вот у него какая кличка. А ты — Печенкина. Не обижайся. Я же тебя люблю.

Печенкина. Я знаю, что я дворняжка, но Зеленцов меня любит.

Гулевская. А ты?

Печенкина. Умираю! Вчера до четырех утра в подъезде простояли.

Гулевская. До четырех? Тогда это точно любовь. И что же вы делали до четырех?

Печенкина *(испуганно)*. Ничего. Он меня по руке гладил.

Гулевская. По руке? Тогда это только дружба.

Печенкина. Ниночка, мне кажется, сегодня что-то произойдет. Что-то особенное...

Гулевская. Он тебя по правой руке гладил?

Печенкина. Вот по этой.

Гулевская. Значит, сегодня будет гладить по левой. И не до четырех, а до пяти.

Печенкина. Нет, Нинка. Серьезно. Что-то произойдет... Нинка, а меня Прокоп в кино приглашал.

Гулевская. Еще и Прокоп? Ну, знаешь, это уж слишком. Может, тебя и лейтенантик на танцы звал?

Печенкина. Лейтенантик в тебя втрескался... Нинка! Выходи за него замуж, а? Он тебя любит.

Гулевская. Слушай, Печенкина, отстань, ради бога! Меня все любят.

В зал входят Васюта, Спирин, Прокоп, Римма с мужем, лейтенант, Поленьев, Зеленцов, Глузман со скрипкой в футляре. Возвращается с балкона Варя Черненькая.

Васюта. Джентльмены! Пропустите своих леди вперед и сит даун согласно купленным билетам! *(Все рассаживаются.)*

Римма *(она сейчас и впредь говорит громким, самоуверенным голосом. Ее нельзя назвать красивой. Но что-то в ней есть такое, что необъяснимо нравится мужчинам. Это и придает ей самоуверенности и в хорошем смысле наговатости)*. Так и знала! Здесь все, что мне нельзя!

Лейтенант *(он очень застенчив. Ему идет форма военного летчика)*. А мне все можно.

Гулевская. Все можно только маршалу.

Лейтенант. Боюсь, что когда я стану маршалом, то, что будет можно, уже не захочется.

Гулевская. Вы, лейтенант, плохо думаете о рядовых военных. Кстати, где ваш обещанный Чкалов?

Лейтенант. Сказал, что заедет...

Автор *(в зал)*. Известный советский летчик Валерий Павлович Чкалов был популярен в то время так же, как сегодня Гагарин, Джанибеков...

Лейтенант *(всем)*. Братцы, я забыл предупредить. Чтоб не было неожиданностей. Я пригласил на наш вечер моего старшего товарища, очень хорошего человека — Валерия Павловича Чкалова. Он и летчик первоклассный, и вообще...

Васюта. Bravo! Да здравствует Красная авиация!

Поленьев *(он почти все говорит, рассчитывая на реакцию Нины Гулевской)*. Я слышал, он понимает толк в женщинах.

Гулевская. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Спирин *(он несколько суетлив и часто потирает руки)*. А что это мы все сидим, все разговариваем. Закуска греется, горячее стынет... Сенечка! Ну-ка, подирижируй на том краю!

Васюта *(встает)*. Дамы и господа! Два года ушло коту под хвост с тех пор, как мы встретились на наших английских курсах. Мы пришли на них, движимые... двинутые...

Поленьев. Тронутые.

Васюта. Тронутые разными целями. Например, Сенечка. Он музыкант. У него слух хороший. Ему сам бог велел. Поленьев — журналист. Ему прессу читать надо. Зеленцову — для науки. Спирина товары разные принимать придется, может, импортные. Варя Черненькая — учительница... Не понимаю только, для чего этот язык понадобился Прокопу? Ведь он член бюро комсомола.

Прокоп *(он говорит осторожно, оценивая каждое слово, но добродушно)*. Меня послали. Ты о себе скажи.

Васюта. О себе что? Я вообще люблю все, чего не знаю. Кроме химии. А тут чужой язык, жизнь чужая. Как у птиц. Хау ду ю ду, хау ду ю ду... А когда это воркование понимаешь, как-то приятней жизнь получается. Как будто у тебя третья рука выросла. Ну а, кроме того, британский империализм, капиталистическое окружение. Верно, Прокоп? А чтобы с врагами говорить, надо их язык знать. Не то неудобно может получиться: он тебе — гуд морнинг, а ты его — по морде.

Поленьев. Или наоборот.

Прокоп. Ну, насчет наоборот — руки коротки.

Римма. Лично я на языке британского империализма запомнила только «грушу» — эпл!

Сенечка Глузман *(он почти еще ребенок совершенно интеллигентного вида. Говорит очень мягким, тихим голосом)*. Эпл — это яблоко.

Римма *(мужу)*. Академик! Не спи! Передай супруге одну грушу и одно эпл!

Васюта. Вот именно! А выпивать — это дринк. Так что давайте дринкнем за то, что мы на этих курсах узнали друг друга и полюбили. А это стоит любого языка. Даже японского. Ура!

Все кричат «Ура!» и выпивают, кроме Сенечки Глузмана и Вари Черненькой.

Печенкина (*Гулевской*). Он ни разу на меня не посмотрел.

Гулевская. Он ест.

Печенкина. Нет, это от волнения. У него руки дрожат.

Гулевская. Это от голода.

Васюта. Варя Черненькая, нам пора.

Варя Черненькая и Васюта встают из-за стола и выходят из зала.

Лейтенант (*Гулевской*). Я очень счастлив, что сижу рядом с вами.

Гулевская. И мне очень приятно, что со мной сидит такой симпатичный лейтенантик.

Лейтенант. Я, когда рядом с вами, глупею. У меня просто руки опускаются.

Гулевская. Тогда отсыдь и подними руки. Я пойму, что ты сдался.

Лейтенант. Вы меня давно победили.

Гулевская. Это даже скучно. Без борьбы...

Римма. Маленький секрет про черненькую Варю. Пока ее нет. Захожу вчера к гинекологу... Сенечка, не красней! Это нормальный ход. И кого я там встречаю? Нашу черненькую скромницу. Представьте — у нее двенадцать недель. Решила оставлять...

Печенкина. Молодец. Я бы тоже оставила.

Римма. Все бы оставили, но не в этом дело. Оказывается, она уже семь месяцев замужем, а мы ничего не знаем.

Поленьев. Обычные меры предосторожности. Тебе только покажи — любого отобьешь! (*Обводит всех взглядом человека, только что сказавшего очень остроумную фразу.*)

Римма. Ха-ха-ха! Это точно! Академик не даст соврать.

Муж Риммы. М-м-э...

Появляются Васюта и Варя Черненькая. Васюта в смешной детской маске попугая. На шее у него большой ящик. Варя Черненькая торжественно ведет Васюту за руку.

Варя Черненькая (*как глашатай*). Товарищи! Внимание! К нам прилетел заморский попугай. Он может каждому нагадать счастье. Но за это тот, кому он нагадает, должен отработать фант! Попугай! Попугай! Ты судьбой нас не пугай! Ты билетик нам продай! Наше счастье нагадай!

Васюта шарит рукой в ящике, достает оттуда листок бумаги и подходит к Спирину. Спирин берет листок.

Спирин (*читает*). «Спирин! Ты товаровед. Будешь целых двести лет кушать кашу с молоком, коль не станешь дураком!» Намек понял... Ребята, я человек маленький, фамилия у меня

коротенькая. Я, конечно, не летчик, не журналист, не ученый, но дело свое знаю, работу люблю. Тем более что у нас все профессии равны. (*Прокоп.*) Хорошая мысль? Вот за это я поднимаю тост.

Поленьев. Во-первых, не тост, а бокал. А во-вторых, фант!

Спирин. Фант за мной. Ребята, завтра всех катаю на своем мотоцикле! Черненький, хорошенький, аккуратненький... Моторчик тарыхтит, колесики крутятся! Сам купил. Никаких дел. Все чисто!

Васюта. По-моему, Спирин заговаривается. Идем дальше. (*Подходит к Поленьеву. Поленьев вытягивает листок.*)

Поленьев (*читает*). «Ты зря повсюду женщин рыщешь. Таких, как здесь, нигде не сыщешь. Загадай желание, похотливая тварь, когда сидишь между двух Варь».

Гулевская. Bravo! В самое яблочко!

Римма. В эппл!

Поленьев (*формально всем, но в основном для Гулевской*). Благодарю вас, друзья, и предлагаю тост за наших действительно прекрасных дам и за то, чтобы они нашли себе достойнейших мужчин, каковых здесь, кажется, нет...

Гулевская. Бедненький!

Поленьев. Что касается желания, то я его задумал, но не скажу, иначе оно не сбудется. Ну а фант... Я даже не знаю, какой с меня фант...

Зеленцов (*говорит четко, заранее продуманно, с достоинством*). Я хочу взять фант Поленьева на себя, не дожидаясь, когда и что мне выгащит наш уважаемый попугай. (*Печенкина не сводит с него глаз.*) Тем более что ученые в судьбу не верят. Ученые верят фактам, а факты таковы, что мои предки... Сегодня я этого не скрываю, потому что кончилось время перегибов... Мои предки не пахали, не сеяли, не ковали. Но мои родители душой и сердцем приняли революцию, став красными специалистами. И эта революция дает мне право сегодня без всяких предрассудков попросить простую девушку из детдома, если я, конечно, ее достоин (*поклонился Поленьеву*), стать моей женой! Вот мой фант. Варя Беленькая! Варя Печенкина! Ты согласна?

Пауза. Прокоп встает. Чувствуется, что слова Зеленцова поразили его, как удар грома.

Спирин. Ну, дает Зеленцов! Ну, экспериментатор!

Зеленцов (*торжественно*). Варя Печенкина! Согласна ли ты стать моей женой?

Печенкина (*совершенно растерянно*). Угу...

Васюта. Зеленцов, ты не шутишь?

Гулевская. Зеленцов не может шутить.

Прокоп (*сам себе*). Держись, Прокоп. Преодолевай трудности.

Васюта. Урра! За здоровье выуче вайф и фьюче хазбенда! (*Зеленцов опустошает бокал.*)

Сенечка Глузман (*поморщившись*). Васюта, вы просто фонетический монстр.

Гулевская. А нам с Прокопом горько.

Римма. Горько!

Васюта. Никаких «горько»! Мы еще не на свадьбе! Оркестр! Танго любви в честь помолвки двух комсомольцев!

Маленький состав — пианино, скрипка, саксофон и ударник — начинает играть модное в те годы танго.

Печенкина (*Гулевской*). Я чувствовала... я чувствовала... Гулевская. Будь счастлива, Варька... Прощай, дворняжка, прощай, подружка.

Печенкина. Нинка! Знай: ты после Алеши — самый дорогой для меня человек...

Зеленцов подходит к Печенкиной, галантно целует ей руку и приглашает на танго. Некоторое время они молча танцуют только вдвоем. Потом Нина Гулевская встает и подходит к Прокопу.

Гулевская. Не хочешь со мной?

Прокоп. Что?

Гулевская. Танцевать.

Прокоп. Я это плохо делаю.

Гулевская. Какая разница? (*Танцуют.*) Потерял девушку?

Прокоп. Перебьюсь. Я твердый.

Гулевская. А я тебе нравлюсь?

Прокоп. Пустяками не занимаюсь.

Гулевская. А ты женись на мне. Разве это пустяк?

Прокоп. Никогда. Я тебя боюсь. Мы с тобой разные... в классовом отношении.

Гулевская. В бесклассовом обществе?

Прокоп. Общество бесклассовое, а отряды разные. Поленьев — из твоего отряда, а Печенкина — из моего. Понимаешь? Из моего!

Римма уже танцует со своим мужем. Варе Черненькой снова дурно, и Поленьев уводит ее на балкон.

Гулевская. Выходит, что не из твоего.

Прокоп. Нина, вопрос снят! Я перебьюсь. Я твердый. А тебя боюсь.

Гулевская. Да я шучу, комсомольский вожак, шучу. Я же актриса.

Проккоп. То-то и оно.

Их пару разбивает лейтенант.

Лейтенант. Разрешите? *(Танцует с Гулевской.)*

Гулевская. Сначала сдался, а теперь хочешь взять приступом?

Лейтенант. Нина... Давайте поженимся...

Гулевская. Это уже похоже на брачную контору. И что ты мне гарантируешь?

Лейтенант. Любовь.

Гулевская. Каков срок гарантии?

Лейтенант. Жизнь.

Гулевская. Присягаешь? До последней капли крови? Казармы, аэродромы, батайские степи, боевая подруга... Это сегодня модно, конечно. Но не для меня. Мне нужны столица, общество, режиссеры, писатели, театр, кино!.. Да! А что же не идет твой Чкалов!

Лейтенант. Чкалов тоже летчик.

Гулевская. Сравнил. Чкалов и ты. Шучу я, лейтенант. Не обижайся. Просто мне скучно от всего этого. Понимаешь? Скучно.

Танго заканчивается. Все расходятся по своим местам. Возвращаются с балкона Поленьев и Варя Черненко. Печенкина теперь сидит рядом с Зеленцовым. А муж Риммы занимает место Печенкиной, забрав с собой прибор и салфетку.

Римма. Какая очаровательная картинка! Два корреспондента рядом! А ты знаешь, Поленьев, чем мой муж отличается от тебя?

Поленьев. Какой?

Римма. О том мы не говорим. Хотя он, между прочим, был только с виду тихоней. Типа Сенечки... А на самом деле! Девки на нем просто вешались! Но мне тоже палец в рот не клади! Ты один раз — я два! Ты два раза — я четыре! *(Мужу.)* Учти, папа! Так вот. Чем мой муж отличается от тебя? Помимо того, что он на четырнадцать лет старше, а?

Поленьев. Понятия не имею.

Римма. Одной маленькой штучкой.

Муж Риммы. М-м-э...

Римма *(мужу)*. Молчи! Не скромничай. *(Поленьеву)*. Ты, Поленьев, просто корреспондент, а он член-корреспондент! Сенечка опять покраснел!.. А кроме того, он наизусть знает всю таблицу Менделеева! Обалдеть мало! *(Мужу.)* Ну-ка, скажи, что в сороковой клеточке?

Муж Риммы. Ну, я уже говорил, милая. Цирконий.

Римма. А?! Цирконий! Обалдеть мало!

В а с ю т а. А Поленьев знает наизусть «Двенадцать стульев»!

Римма. «Двенадцать стульев» — это не литература. Вот «Брезент» — литература!

Муж Риммы. «Цемент», милая. Не «Брезент», а «Цемент».

Римма. Да. Так вот это — литература. А Ильф и Петров — фельетон. Я сама читала в газете — растянутый фельетон.

Сенечка Глузман. А, мо-моему, «Двенадцать стульев» — выдающееся произведение сатирической литературы... Гайдн тоже считали не композитором, а придворным музыкантом.

Римма. При чем тут твой Гайдн? А я, может быть, люблю Козина!

Сенечка Глузман (*передернувшись*). Это кощунственно, Римма, сравнивать тончайшего волшебника с потребительским декадансом.

Васюта. А мне все нравится. И Гайдн, и Козин, и полуторку водить, и цветы собирать!..

Оркестр снова заиграл. На этот раз — модный в то время фокстрот типа «Неудачное свидание». Васюта подлетел к Варе Черненькой, подхватил ее, и они стали танцевать чарльстон. Она — так, как танцует женщина, которой не следует много двигаться, а он — неумело, несерьезно, не в такт, но настолько непосредственно и смешно, что все танцующие остановились, предоставив этой паре возможность соло.

Варя Черненькая. Все, Васюта!.. Не могу больше!..

Васюта. Ай си. О кэй!

Сенечка Глузман. Не «о кэй», а о кей!

Васюта. Слушай, ты мне надоел. А ну, тащи!

Оркестр продолжает играть. Васюта подходит к Сенечке и заставляет его вытащить из ящика листок с эпиграммой.

Сенечка Глузман. Это про меня? Мне неловко.

Васюта. Тогда я. (*Читает.*) «Сенечка Глузман не ест и не пьет. Потому что на скрипочке играет и поет. Быть ему с таким талантом выдающимся музыкантом!»

Поленьев. Не очень-то складно.

Васюта. Зато в рифму! Давай, Глузман, отработывай фант! Рвани-ка что-нибудь аллегро модерато скерцо кантабиле!

Все. Просим! Просим!.. Давай, Сенечка!

Сенечка Глузман. Миленькие мои. Поймите меня... Я вас очень, очень люблю. Я все для вас могу сделать. Но я еще больше люблю музыку... Это не высокомерие и не интеллигентское брюзжание, но здесь совсем не та обстановка...

Васюта. Создадим! (*Оркестру.*) Тихо! (*Оркестр замолкает, танцующие останавливаются.*) Давай, Сенечка!

Гулевская. Что вы пристали к человеку? Не хочет он, и все.

Васюта. А ты молчи. До тебя тоже очередь дойдет.

Сенечка Глузман. Хорошо. Только я извиняюсь... Исполнение будет далеко от совершенства.

Васюта. Что для тебя плохо, для нас здорово!

Сенечка Глузман (*волнуясь*). На выпускных экзаменах в консерватории я буду играть «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса. Я попробую исполнить фрагмент... (*Он проходит на возвышение, на котором сидит оркестр, достает из футляра скрипку.*)

Васюта. Ш-ш-ш!

Сенечка Глузман (*оркестрантам*). Извините, пожалуйста... Я быстро. И вы сможете продолжать.

Один из оркестра. Скажи тональность — подыграем!..

Сенечка Глузман. Спасибо. Благодарю вас. Не надо... Итак, фрагмент из бессмертного «Рондо-каприччиозо»...

Сенечка, закрыв глаза, начинает играть. Из соседних залов собираются другие посетители. Некоторое время они слушают. Потом начинают танцевать, пытаются нащупать ритм в «Рондо-каприччиозо». Видно, что Сенечку это нервирует, и, сделав еще несколько движений смычком, он обрывает исполнение на середине фразы.

— ...Нет... Не могу... Я же говорил. Это несовместимо...

Он сбегает с возвышения и садится на свое место. Он взволнован. Нина подходит к нему и целует его в щеку. От группы собравшихся из других залов отделяется мужчина лет пятидесяти в черных сапогах и в косоворотке. Он изрядно «принял» — это видно.

Мужчина в косоворотке. А кто это, интересно, запретил танцы?

Римма. Обожаю скандальчики!.. Папа, ты постоишь за меня?

Васюта. Спокойно, гражданин, без крика.

Мужчина в косоворотке. Нет, я спрашиваю, кто это запретил танцы?

Васюта. Никто танцы не запрещал. Просто мы собрались, отмечаем... Среди нас есть талант... Паганини... И мы попросили оркестр...

Мужчина в косоворотке. Попросили? А меня вы попросили?

Римма. А кто вы такой, папаша, чтобы вас спрашивать?

Мужчина в косоворотке. Я тебе не папаша! Кто я такой? Я донецкий шахтер! Я, может, в отпуск приехал, оплаченный, сорок пять дней, отдохнуть... Паганини... А я Стаханова знаю!

Римма. Все Стаханова знают.

Автор. Алексей Стаханов — знаменитый в те годы на всю страну шахтер, основатель стахановского движения, Герой Труда...

Мужчина в косоворотке. Я, может, себе это право на баррикадах завоевывал, в гражданку, когда вы еще пешком под стол ходили! *(К нему подходит Прокоп, обнимает его за плечи.)*

Прокоп. Отец! Родной!.. Товарищи!.. Сегодня в горкоме мне... нам показали... проект новой Конституции, которая вскоре будет представлена на всенародное обсуждение. И согласно этому проекту, мы все — братья и сограждане одной страны. Все мы делаем одно общее дело, объединенные одной главной задачей — построением социализма в одной, отдельно взятой стране, и борьбой с нашим врагом — капиталистическим окружением. И все мы имеем право на труд, на отдых и на материальное обеспечение в старости... Поэтому мы счастливы приветствовать наше старшее поколение, наших отцов, горняцкую косточку. Именно поэтому сегодня простая девушка с рабфака Варя Печенкина может быть счастлива с будущим ученым, а простой консерваторец Сеня Глузман — мечтать стать Паганини... За тебя, отец! *(Поднимает бокал и затягивает песню «Там на шахте угольной паренька приметили...»). Все, в том числе мужчина в косоворотке, в едином порыве подхватывают песню.)* А теперь танцуйте!

Мужчина в косоворотке. А мне что?.. Я вообще не танцую. Мне за народ обидно...

Садится за стол, дремлет. Снова звучит танго. Снова все танцуют.

Гулевская. Твердый парень Прокоп...

Варя Черненькая. Садись, Васютик, отдохни... В ногах правды нет.

Васюта *(садится рядом)*. Да я могу круглые сутки стрекозлом прыгать. Понимаешь, Варька, такой я человек чумной. Восемь часов на полуторке гоняю, потом тренировки — хочу на спартакиаде сто девяносто взять, два года этих курсов по вечерам... И все мне мало, дураку. Все куда-то спешу. Как будто опаздываю. Все боюсь, как бы чего интересное без меня не проскочило... Потанцуем?

Варя Черненькая. Больше не могу. Боюсь. Врач не велел.

Васюта. Ноги, что ли, болят?

Варя Черненькая. Нет. Девочку жду.

Васюта. Родственницу?

Варя Черненькая. В какой-то степени.

Васюта. Давно ждешь?

Варя Черненькая. Третий месяц.

Васюта. Это ж откуда она так долго едет?

Варя Черненькая. Да в положении я, понятно?

Васюта. А-а... Значит, мамой будешь?.. И папа есть?

Варя Черненькая. Ну а как же?

Васюта. Официальный?

Варя Черненькая. Частный. Конечно, официальный!

Васюта. А чего с собой не привела?

Варя Черненькая. Работает.

Васюта. Кем? *(Варя молчит.)* Ладно. Не хочешь — не говори.

Варя Черненькая. Что-то беспокойно мне...

Васюта *(меняя тему разговора)*. А интересно будет, когда мы все еще через десять лет здесь же соберемся!.. А потом еще через десять...

Варя Черненькая. Даже страшно. Через десять лет мне уже тридцать один год. Старуха.

Васюта. Наоборот! Начало бальзаковского возраста. Главное — чтоб жить хотелось... В прошлое воскресенье в лесу муравья видел...

Варя Черненькая. Поздравляю.

Васюта. Не в этом смысле. Просто я лежал на траве, думал. И вдруг — муравей ползет. Волочит какую-то бяку, пыхтит, а у самого одной лапки нет... Представляешь? Муравей-инвалид... Но старается. Значит, жить хочет...

Поленьев *(танцуя с Гулевской)*. Бег пардон, мисс Гулевская. Что вы делаете сегодня совсем поздно?

Гулевская. Это зависит не от меня.

Поленьев. Могу я проявить инициативу?

Гулевская *(загадочно)*. Попробуй...

Поленьев. Понял. *(Посмотрел на часы, подошел к телефону-автомату, набрал номер.)* Мама? Это я... Мама, ты дверь, пожалуйста, возьми на цепочку... Я, видимо, сегодня не приеду... Ничего не случилось. Дела... Мама, я уже не ребенок... Не выпил я. Нет. Ну все. Целую! *(Вешает трубку и, напевая, возвращается за стол.)*

Римма. Спасибо! Все было очень мило! Васюта, ты — гений! Сенечка тоже гений! *(Зеленцову и Варе Печенкиной.)* Совет да любовь! *(Варе Черненькой.)* Не ешь острого! *(Гулевской.)* Нина, я тебе звякну насчет портнихи! А у нас с папой завтра трудный день. Ну-ка, что мы завтра будем испытывать на полигоне? Ну-ка, раскрой государственный секрет!.. Шучу!.. Испугался!.. *(Лейтенанту.)* Лейтенант, летай! *(Прокопу.)* Прокоп, руководи! *(Поленьеву.)* А ты пиши!.. Целую крепко! *(Муж Риммы неуклюже раскланивается, и они уходят.)*

Официант. Там внизу Гулавскую спрашивают.

Гулевская. Может, Гулевскую?

Официант. Может, и Гулевскую. В общем, спрашивают.

Гулевская *(в возбуждении)*. Это меня! Пусть подождут. Сейчас спускаюсь!.. *(Поленьеву.)* Поехали?

Поленьев. Но ты же...

Гулевская. Я сказала, что это зависит не от меня.

Поленьев. Я думал, от меня...

Гулевская. Тогда поехали. Неудобно — ждут.

Поленьев. Ждут тебя.

Гулевская. Это уже скучно. Печенкина! На выход!

Варя Печенкина. Ты понимаешь, Ниночка...

Гулевская. Понимаю. Отъездила, подружка... Лейтенант! Поехали со мной? Для закваски!

Лейтенант. А что? Поехали!

Гулевская. Ну и отлично! (Всем.) Я вас всех люблю! Гуд бай! (Гулевская и лейтенант уходят.)

Васюта. Артистка! Вот артистка!

Поленьев (пожал плечами, посмотрел на часы, подошел к телефону-автомату, набрал номер). Будьте любезны, попросите Тамару Александровну... Тома? Это я... Ничего не поздно. Просто я по тебе соскучился... Хочу тебя видеть... А почему не сегодня?.. Понятно. Ну ладно. Я тебе позвоню как-нибудь. Пока. (Снова набирает номер.) Мама? Это я... Ты на цепочку не бери. Я приеду домой... Ничего не случилось. Просто дело переносится. Ну целую.

Поленьев возвращается за стол, и тут же появляется Лейтенант. Он смущен и растерян.

Лейтенант. Не поехал я.

Поленьев. Что так?

Лейтенант. Там две машины. Актеры, режиссеры... И Чкалов... Мне как-то неловко стало... А они в Дом писателей поехали... Закурить, что ли? (Поленьев протягивает ему папиросу.) Все могу. Бочку, мертвую петлю, штопор... А тут какой-то слепой полет. Не знаешь, с какой стороны зайти... Я, можно сказать, из-за нее два года на этих курсах отбарабанил. И что же? Айм сорри!..

Васюта (запел). Цвели дрова и пели лошади. Верблюд из Африки приехал на коньках. И познакомился с колхозною Буренушкой. Купил ей лапти на высоких колбуках...

Очнулся мужчина в косоворотке.

Мужчина в косоворотке. Духотища!.. Айда, хлопцы, на воздух! Нас утро встречает прохладой! Айда на воздух!

Васюта. Нельзя нам, папаша, на воздух. У нас еще впереди мороженный торт-сюрприз в виде Днепрогэса со свечами!

Внезапно гаснет свет. Звучит модная в то время мелодия в бравурной, маршевой интерпретации, и на огромном блюде официанты выносят «сюрприз» в виде Днепрогэса со свечами.

Между первой и второй картинами слышна фонограмма войны.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Автор (*перед занавесом*). Люди, иногда и более близкие друг к другу, чем мои герои, разбрасываются на большие расстояния и проделывают беспорядочные траектории, как молекулярные частицы в этом броуновском движении жизни. Проходит разновеликое количество времени, прежде чем они случайно или не случайно встречаются друг с другом, пережив крупные события и катаклизмы. Одни пытаются воздействовать на эти события, другие — приспособиться. Но и те, и другие подвержены обязательному излучению времени... Тысяча девятьсот сорок шестой год. Вечер летнего дня... (*Занавес раскрывается.*)

Зал того же ресторана. Точно так же стоят подковой столы. Но изменился интерьер. Другое освещение, столы, стулья. Все одеты соответственно послевоенной моде, за исключением Васюты и Прокопа. Они в гимнастерках без погон. Стул, на котором десять лет назад сидел лейтенант, пуст и остается таковым в течение всей картины. Нет также Риммы, ее мужа и Зеленцова. Вечер давно начался.

Спирин (*он почти не изменился, одет добротно, но без особого вкуса*). Так вот, прихожу я на прошлой неделе домой, а мне тещь и говорит: звонил, говорит, какой-то твой довоенный друг. Не то Малюта, не то Марфута, оставил телефон. Ну, я сразу раскумекал — Васюта! Вот, думаю, нашелся чертяка!.. Созвонились...

Васюта (*он вроде бы такой же активный и деятельный, как и десять лет назад*). Я, говорит, сейчас подъеду. Не успел фейс намылить — под окном сигналят. Высунулся, смотрю — у подъезда «бээмвэ» стоит, а из нее капиталист вылезает. Пригляделся — Ленька! Спирин затоваренный! Через него и Зеленцова захватили.

Варя Печенкина (*она сильно расплнела, нет прежней раб-факовки, есть спокойная, уверенная женщина, полная собственного достоинства*). Мы как вернулись из эвакуации, нас к четырнадцатому распределителю прикрепили. Приезжаю как-то за праздничным пайком, как раз двадцать седьмая годовщина была, и вижу Леню. Он на меня набросился. Варька, кричит. Степан — Алексея Владимировича шофер — глаза тарасит. Я говорю: Леня, это я для тебя Варька, а люди что подумают?

Спирин. Точно! Здоровый малый, вылупился, решил, что между нами шуры-муры... Здрасьте, говорю, Варвара Ива-

новна! Как здоровье Алексея Владимировича? Так и встретились.

Гулевская *(она по-прежнему не отстает от моды и прекрасно выглядит)*. Здравствуйте, Варвара Ивановна! Как здоровье Алексея Владимировича?

Варя Печенкина. Брось, Нина. Здесь все свои. А что касается Алексея — очень много работы, устает... Он сейчас руководитель одного крупного проекта. Ну и, конечно, не все гладко. Товарищ у него был... Белоусов... *(Поленьеву)* Ты его, кажется, знал... Вместе с Алешей проект разрабатывали... И вдруг оказался... Разобрались, конечно... Получил по заслугам... Но очень Алексей переживал.

Поленьев. Я кое-что слышал.

Варя Печенкина. Кстати, прекрасный материал для статьи.

Поленьев. Да. Неплохой материал для статьи.

Прокоп *(он стал еще собранней, веселее. Он говорит спокойно, размеренно, придавая каждому своему слову большое значение)*. Дорогие женщины! Позвольте мне не только на правах друга, но и на правах работника горкома партии выразить нашу общую радость по поводу того, что мы снова видим друг друга после суровых испытаний. Мы выстояли, выдюжили в борьбе с самым свирепым нашим врагом и можем сегодня честно смотреть друг другу в глаза. Не важно, кто где: в окопе, в поле, у станка, с пером в руках.

Гулевская. Или со скрипкой.

Прокоп. Да. Или со скрипкой. Я поднимаю тост...

Поленьев. Бокал.

Прокоп. Я предлагаю бокал...

Поленьев. Тост...

Прокоп. Не путай меня, корреспондент. Я хочу выпить... Мы уже помянули добрым словом павших. Я хочу выпить за живых. За вас, мои старые друзья! Ура!

Все кричат «Ура!» и выпивают. Появляется Римма с новым мужем. Ему за пятьдесят. Он тучный мужчина с палкой и с одышкой. Видно, что они торопились.

Римма *(она такая же бойкая, как и десять лет назад, худая, курит, выглядит броско, даже вызывающе)*. А мы что, умерли? *(Оглядывает всех.)* Весь английский клуб в сборе! Это ж надо! Обалдеть мало! Васюта! Попугай! На тебе щечку! *(Васюта неуклюже чмокает Римму.)* Марика Рокк! Девушка моей мечты! *(Целует Гулевскую.)* Корреспондент сексуально пахнет смесью табака и одеколона! *(Целует Поленьева.)* Варька, ты родила или все еще беременна? *(Целует Варю Черненькую.)* Сенечка стал мужчиной! *(Целует Глузмана.)* А у нашего Прокопа отросла большая... *(Целует Прокопа.)*

Проккоп. Как была бандиткой, так и осталась!

Римма (*целует Печенкину*). Не ешь мучного и сладкого! Превращаешься в тетю лошадь! (*Представляет мужа.*) А это мой муж — знаменитый Коромыслов, писатель-баталист. Садись, папа! Вот видишь — мы не самые последние. Нет ученого и нет лейтенантика.

Варя Печенкина. Алексей подойдет, но попозже.

Васюта. А лейтенант не придет никогда... (*Пауза.*) Римма, вы припоздали... Давайте еще раз молча выпьем за тех, кто уже никогда не придет... (*Все молча выпивают. Васюта пьет сидя.*)

Римма (*Гулевской*). Как он был в тебя влюблен!

Гулевская. Каждый, кто погиб, кого-то любил. И его кто-то любил...

Спирин. А меня не взяли. Плоскостопие. Я хотел. Тесть забронировал.

Гулевская. А тебя кто-нибудь любил?

Спирин. Еще как.

Гулевская. Кто же?

Спирин. Жена.

Гулевская. И где ж она?

Спирин. Дома.

Гулевская. Прекрасно! Он веселится, а жена сидит дома и любит.

Поленьев (*Гулевской*). За отчетный период вы стали злее.

Гулевская. Станешь...

Римма. Есть хочу — умираю! А здесь все, что мне нельзя! Баталист, передай мне эппл!

Муж Риммы. Не говори загадками, дорогая.

Римма. Забыла вас предупредить: маститый прозаик — неуч! Он не знает английского языка. Эппл — это яблоко! Обалдеть мало! (*Муж передает ей яблоко.*)

Васюта (*Римме*). Тебе позавидовать можно. Используешь знания, полученные десять лет назад. А мне вроде и не пригодились. Знал бы, что с немцами воевать придется, немецкий бы выучил.

Проккоп. Погоди. Еще и английский может понадобиться. Не успели дух перевести, а Черчилль уже угрожает, разжигает...

Автор. Проккоп имеет в виду знаменитую речь Уинстона Черчилля в Фултоне вскоре после второй мировой войны.

Спирин. Хитрый чертяка!

Римма. А еще союзники! Обалдеть мало!

Муж Риммы. Это все не так просто, дорогая. Сколько они тянули со вторым фронтом...

Проккоп. Немцы им тогда крепко в Арденнах вложили.

Муж Риммы. Да, что бы там ни говорили, а немцы — вояки отменные.

Васюта. На себе испытал.

Проккоп. Тебя где царапнуло?

Васюта. Под Львовом...

Прокоп. А меня уже в Пруссии зацепило.

Поленьев. Помню, накрыли нас немцы минометами. В лощине. Думал, все, конец... Нет, пронесло. Но ощущение, доложу я вам, неважное.

Римма. Наш юный Паганини начал пить?

Сенечка Глузман. А что делать? В музыкантском взводе меня всему научили.

Римма. Так уж и всему?

Сенечка Глузман. Всему-всему... Я и ругаться научился. Могу продемонстрировать... Когда у меня из плеча осколки тащили, я врачей посылал таким трехэтажным! Так до конца и не вытащили. Кое-что осталось.

Варя Черненькая. А как же скрипка?

Сенечка Глузман. Больно очень играть... Полчаса еще терпишь, а потом... *(С улыбкой.)* Приходится миниатюры... пилять. Но врачи говорят — со временем разрабатается... Что, Печенкина, брякни что-нибудь, как доктор, а?

Римма. Да ты, Сенечка, просто бендюжник!

Варя Печенкина. В госпитале, где я работала, накопилось много фактов, когда подвижность после ранения плечевого пояса восстанавливалась.

Прокоп. Все восстановится, товарищи. И подвижность, и неподвижность. Время надо, время.

Римма. Поскорей бы! А то я своего Коромыслова на мороженом разорю. Тридцать пять рублей пачка! Обалдеть мало! Ходишь по коммерческим магазинам — только слюну глотаешь!

Гулевская. Тебе ж все равно ничего нельзя.

Прокоп. Товарищи, не для разглашения, конечно, но скажу. Сегодня в горькоме лекция была... В общем, есть мнение, что в течение ближайших полутора-двух лет карточная система будет отменена...

Спирин. Орсы останутся?

Гулевская. Заволновался.

Автор. Во время войны при карточной системе были введены отделы рабочего снабжения. Сокращенно — орс.

Васюта. Давайте лучше споем что-нибудь веселенькое! *(Поет.)* Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь, и от детской кровати тайком ты к нему убегаешь...

Римма. Говорят, что это Симонов написал. Я его обожаю! Кстати. Он друг моего Коромыслова и, может быть, сегодня заглянет. Что он тебе сказал, папа?

Муж Риммы. Обещал.

Гулевская. Вот это уже интересно!

Спирин. Обрадовалась! Он женат!

Поленьев. Допустим, что это написал не Симонов. Симонов — это «Жди меня, и я вернусь».

Римма. Эрудит! А мой Коромыслов все воинские звания наизусть помнит, и у кого сколько звездочек... Ну-ка: кто идет за капитаном?

Муж Риммы. Майор. Я каждый раз это повторяю. Два просвета, одна звездочка.

Римма. С ума сойти! Везет же мне! Первый муж помнил номера телефонов, второй — таблицу Менделеева... Ах, академик! Коромыслов, не ревнуй! Ты же знаешь — пока я с тобой, я тебя люблю!

Входит Зеленцов. Он вполне респектабелен. Появились очки. Нет той напряженности и закомплексованности, что была десять лет назад. В руках — четыре гвоздики.

Зеленцов. Извините за опоздание. Вызвали к министру... Нашим розам — по гвоздике. *(Раздает цветы.)* Нина, Римма, Варя. И моей Варварушке, чтоб не обидно было... *(Садится.)* Проголодался... *(Начинает активно есть.)*

Варя Печенкина. Ты же был на обеде.

Зеленцов. Эти официальные обеды мне вот где! По простой пище истосковался... Вопросы-ответы позже. Все хорошо выглядят! Просто молодцы! *(Спирину.)* А ты, завхоз, меня подводишь... Мы же о чем-то договаривались...

Спирин. На той неделе, Алексей Владимирович. На той неделе.

Зеленцов. А то ведь я так: терплю, терплю, а потом — рраз, и дружба врозь... *(Прокопу.)* И ты тоже хорош! Мне нужно шестьсот рабочих рук. Для себя прошу? Для дачи? Для государственного дела. Если мы не пустим установку к ноябрьским...

Прокоп. Рабочие руки сейчас всюду нужны. Вчера мы проводили двести пятьдесят комсомольцев на восстановление Киева. Больше у меня добровольцев нет.

Зеленцов. Сто пятьдесят вполне мог откомандировать ко мне. Одним взмахом пера. Ребятам все равно, трубить. Тем более добровольцам... Или давить на тебя прикажешь?

Прокоп. На меня давят только совесть и партийные указания.

Римма. Может, хватит? Тоже мне дебаты английского парламента!

Васюта. Ты, Зеленцов, припоздал... Выпей молча за нашего лейтенанта...

Зеленцов. Прости, Васюта... *(Встает.)* К сожалению, война связана с жертвами... Я иногда думаю: погибли миллионы. В их числе мой двоюродный брат. А я жив. Но если бы судьбе было угодно...

Поленьев. Ученые в судьбу не верят.

Зеленцов. Если бы истории было угодно, погиб бы

и я... А миллионы остались жить. Но у нас есть память. Вечная память и вечная слава! *(Выпивает, садится.)*

Варя Черненькая *(после паузы)*. Горono перевел меня в тридцатую школу.

Варя Печенкина. В тридцатую? Там наш Петенька будет учиться!

Варя Черненькая. Об этом и речь. Вчера я была в школе и видела списки. Так вот, в первом «Б» — Зеленцов Петя... Я вас вспомнила.

Зеленцов. Наш красавец.

Варя Черненькая. Тогда давайте знакомиться. Я — классный руководитель первого «Б».

Варя Печенкина. Как удачно!

Зеленцов. Теперь я абсолютно спокоен за своего сына. Он в надежных руках... Ты как живешь, Варя?

Варя Черненькая. Как все. Воспитываю дочку. Девять лет.

Зеленцов. А благоверный?

Варя Черненькая. Далеко.

Варя Печенкина. В армии?

Варя Черненькая. Не совсем.

Зеленцов. Пишет?

Варя Черненькая. Редко.

Зеленцов. И давно?

Варя Черненькая. Он даже дочку не успел увидеть.

Зеленцов. Так-так-так...

Варя Печенкина. Да-а... Тяжелое время, безотцовщина... У нас в госпитале каждая третья мать без мужа.

Римма. А у меня наоборот.

Зеленцов. За все заплачено дорогой ценой, но победа не достается даром. Друзья мои! Я предлагаю выпить за человека *(встает)*, с именем которого...

Гулевская. Опять вставать... Как на приеме.

Зеленцов *(значительно)*. А кто не хочет, может не пить.

Спирин *(вскакивает)*. Ура!

Все, кроме Васюты, встали и выпили. Сидящий на возвышении оркестрик в составе аккордеона, пианино и контрабаса заиграл «Темную ночь». Поленьев пригласил Гулевскую, Прокоп — Варю Печенкину, Спирин — Варю Черненькую, Сенечка Глузман — Римму. За столом остались Васюта, Коромыслов и Зеленцов.

Гулевская *(танцует с Поленьевым)*. Я постарела?

Поленьев. Нисколько. Ты стала фантастической женщиной.

Гулевская. А ты похож на Гарри Купера. Смотрел «Во власти доллара»?

Поленьев. Фильм взят в качестве трофея?

Гулевская. Угу. Ничего мужичок, а?

Поленьев. Как твои дела?

Гулевская. Никак. Ездил с разными бригадами по фронтам... Что-то пела, что-то играла.

Прокоп (*танцует с Варей Печенкиной*). Ну что, Варвара Ивановна, счастлива?

Варя Печенкина. Безумно. У меня счастье маленькое, Прокоп. Я люблю Алешу, люблю работу, люблю Петеньку... Не дай бог, что случится.

Прокоп. А я тебя любил.

Варя Печенкина. Не надо, Прокоп. Не мучь себя.

Прокоп. Дура ты. Я твердый. Я свое отмучился. Фронт у меня быстро всю муку отшиб. Это я так — в порядке исторических концепций.

Варя Печенкина. Алешка о тебе время от времени рассказывает... Ты б заглянул как-нибудь в гости.

Прокоп. Некогда. Да и женюсь скоро.

Варя Печенкина. Вот это ты молодец. Жизнь необходимо устроить. Мне жаль Ниночку... Даже хотела ее как-то пригласить к нам, познакомить... У нас много интересных людей бывает... Но Алеша категорически против... Считает, что она мне не компания.

Прокоп. А мы с моей на трофейной выставке познакомились. Она делегацию из Сибири привозила. Тоже фронтовичка. Моя кровь.

Спирин (*танцует с Варей Черненькой, указывая на аккордеониста*). Нормальный аккордеон. Тоже немецкий. «Скандалия». У меня не хуже. «Розалинда» и «Гармония». Хрустальный звук. Тесть из Германии привез. Трофейные. Чудак он у меня. Ну, аккордеоны, ладно. А рояль-то зачем? У нас всей семье слоны уши отдавили... В домино играть — высоко... Теща на нем тесто раскатывает... Тебе, может, помощь какая нужна?

Варя Черненькая. Спасибо, Леня.

Спирин. Серьезно. Продукты, одежда иногда попадается.

Сенечка Глузман (*танцует с Риммой*). Ну, а занимаешься чем?

Римма. Пока есть настоящие мужчины, ничем. Но ты не думай. Я способная. На машинке выучилась печатать. Коромыслова обслуживаю. Чудная машинка! «Олимпия». Малогабаритная. Трофейная.

Сенечка Глузман. Детей тебе надо завести.

Римма. Не получается, Сенечка. То ли я такая стерильная, то ли мужья хилые...

Сенечка Глузман. А моему третий пошел... (*Показывает фото сына*.)

Римма. Ух ты, бутуз!

Сенечка Глузман. Слуха нет! Ритм есть, а слуха нет! Поет «Елочку». Я говорю: выше, Левочка, выше! А он на цы-

почки становится... А здесь ниже, говорю. А он приседает. Но, говорят, слух проявится.

Гулевская (*Поленьеву*). Так что в театр меня не взяли. Наверное, я бездарна. Можно, конечно, иметь два выхода в месяц, а между ними спать с администратором. Но это не для меня. Вот открываются курсы дикторов телевидения. Обещали устроить... А ты грозилась повесть написать еще до войны.

Поленьев. Эта угроза не миновала. Но, знаешь, война...

Гулевская. Не сваливай на войну. Неужели этот баталлист с палкой талантливее тебя? Но он же написал. Именно о войне.

Поленьев. Читал. Не то «Окопные братья», не то «Братья в окопе». Вранье с пафосом. К тому же бездарно.

Гулевская. А ты просто лентяй.

Поленьев. Зато честный.

Гулевская. Скоро сорок лет, а он все честный... Ну, серьезно. Я сильно изменилась?

Поленьев. Скажите мне, сударыня, что вы делаете сегодня после вечера? Или это зависит не от вас?

Гулевская. Запомнил.

Поленьев. Я все помню. Не память, а свалка. Так, может, что-то зависит и от меня?

Гулевская. Может быть.

Музыка прекращается. Все расходятся по местам. Поленьев подходит к телефону-автомату, набирает номер.

Поленьев. Мамочка? Это я... Нормально. Мама, ты дверь возьми на цепочку. Я сегодня, видимо, не приду... Ничего не случилось! Дела... Обедал я... Знаю, что дождь. Ну все. Целую.

Некоторое время смотрит на Зеленцова. Потом решительно подходит к нему.

Зеленцов. Чем порадуешь?

Поленьев. Боюсь, что ничем. Разговор есть.

Зеленцов. К твоим услугам. (*Встает. Оба отходят в сторону.*)

Поленьев. Слышал, у тебя неприятности с Белоусовым были? По поводу вашего проекта...

Зеленцов (*настороженно*). Были... Очень досадно и неприятно. Он и раньше любил болтать, что не следует... Доболтался. И, судя по всему, надолго...

Поленьев. А проект?

Зеленцов. Проект довожу я.

Поленьев. Под своей фамилией?

Зеленцов. Не будь наивным. А как же иначе?

Поленьев. Почему же у тебя не было... неприятностей?

Зеленцов. Откуда я знаю? Могли меня тоже...

Поленьев. Конечно, могли. Белоусов все время рядом... Соавтор, общаетесь семьями...

Зеленцов. В последнее время не общались.

Поленьев. Понятно. Болтает черт знает что... Время скользкое... И вот в порядке профилактики...

Зеленцов. Так ты считаешь, что я...

Поленьев. Я ничего не считаю. Я просто разговаривал с Катей Белоусовой... А кто-нибудь, необязательно я, возьмет да и попытается доказать, что вот-де Зеленцов...

Зеленцов. Этот кто-нибудь, необязательно ты, сломает себе шею.

Поленьев. Потому что все вечно, непоколебимо и безнаказанно. И, значит, то, что сегодня аукнулось — совсем необязательно должно откликнуться?

Зеленцов (*примирительно*). По-моему, ты перебрал... Собрались, встретились... Завелся на ровном месте... Сеня! Ударь, дружище, по струнам, как когда-то! (*Все аплодируют.*)

Сенечка Глузман (*встает, берет скрипку*). Можно и ударить. Я больше не хрупкий. Я больше не ломаюсь. (*Проходит на возвышение к музыкантам.*) Коллеги, я извиняюсь...

Один из музыкантов. Подыграть?

Сенечка Глузман. Можно... Мы исполним вам поур-ри на темы наших любимых мелодий...

Он закрывает глаза и начинает играть. Сначала «Землянку», потом «Давай закурим». Он играет вдохновенно и в то же время легко. Все слушают, развернувшись к возвышению.

А что же вы сидите, как в консерватории?.. Танцуйте! Двигайтесь! Веселитесь! Для вас играет солист музыкального взвода сто тридцать пятой стрелковой дивизии Глузман Семен Львович! Ну, давайте же!.. (*Все начинают танцевать. Он переходит на «Титерфери».*) Шире шаг! Больше экспрессии! Это вам не рондо каприччиозо! (*Внезапно прерывает игру.*) Извините... Не могу... Больно... (*Он сбегает с возвышения и садится на свое место.*)

Проккоп (*после паузы*). Ничего, Сеня. Восстановится. Мы еще сыграем своего Сен-Санса...

От группы собравшихся из других залов людей отделяется пехотный капитан. Ворот его расстегнут, волосы взъерошены. Он в состоянии возбуждения и опьянения.

Капитан. А кто это велел прекратить?

Спирин. Никто не велел, товарищ капитан. Просто устал человек...

Капитан. Устали?! А с чего это вы устали?!

Римма (*мужу*). Вот твой прототип.

Капитан. Это кто тип?! Тыловая подстилка!.. Во-первых, я офицер! А во-вторых, инвалид!.. У меня четыре ранения

и две контузии! Я воевал, а не разъедал ряшку в Ташкенте!.. Скажешь, не так?

Гулевская *(подходит к капитану, положила ему руку на плечо)*. Успокойтесь, капитан. Не надо...

Васюта. И я воевал. Что ж теперь — орать на весь мир?

Капитан. Знаю я, как вы воевали!

Зеленцов *(он звонит по телефону-автомату)*. Леонид Афанасьевич! Извините, Зеленцов беспокоит... Инцидент в «Авроре»... Пусть пришлют патруль... На второй этаж... *(Вешает трубку.)*

Прокон *(встает, поднимает бокал)*. Дорогой товарищ капитан! Дорогие друзья! Это знаменательно, что к нашему столу пришел человек, имя которому — воин!

Капитан. Николаем меня зовут.

Прокон. Воин Николай.

Капитан. Петелин.

Прокон. Николай Петелин. Человек, спасший мировую цивилизацию от фашистского порабощения, проливавший за это кровь. И пусть он сегодня навеселе. Он имеет на это право. Он это право завоевал. За тебя, дорогой товарищ Николай Петелин! И в твоём лице за всех тех, кто носит это почетное звание — советский воин! *(Выпивает и начинает петь.)* «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят...» *(Все, в том числе и капитан, подхватывают и поют песню до самого конца, каждый, как умеет.)*

Капитан *(после паузы)*. Нервы мне контузило. Начисто нервы контузило.

Он устало опускается на стул. Плечи его содрогаются. Он закрывает лицо руками. Появляется патруль: майор и два солдата. Солдаты останавливаются чуть поодаль. Майор подходит к капитану.

Майор *(спокойно и строго)*. Ведите себя пристойно, капитан.

Капитан *(вскакивает и вытягивается по стойке «смирно»)*. Виноват, товарищ майор!

Майор. Приведите в порядок внешний вид, капитан.

Капитан. Слушаюсь, товарищ майор! *(Поспешно застегивает воротник и приглаживает волосы.)*

Майор. А теперь попрошу следовать за мной. *(Капитан молча направляется к выходу.)* Продолжайте, товарищи.

Гулевская. Товарищ майор! Я даю вам слово — ничего не было.

Майор. Не вмешивайтесь, гражданка. Устав для всех один.

Патруль уходит, уводя капитана.

Варя Черненькая. Прокоп... Сделай так, чтоб ему ничего не было. Прощу тебя... Если можешь.
Прокоп. Я сделаю. Я постараюсь.

Оркестр тихо начинает играть «Катюшу».

Зеленцов *(жене, тихо)*. Петю надо перевести в другую школу!

Варя Печенкина. Это еще зачем?

Зеленцов. Завтра же!

Варя Печенкина. Да-а... Нервы ни у кого не годятся... А что же будет через десять лет, через двадцать?..

Появляется официант.

Официант. Там внизу Гулянскую спрашивают.

Гулевская. Может быть, Гулевскую? Это за мной!.. Лучше поздно, чем никогда! Скажи — сейчас выхожу!.. Ну, кто за мной? *(Поленьеву)*. Едем?

Поленьев. Думаешь?

Гулевская. Не думаю, а предлагаю. Ну?

Поленьев. Что ж, едем, так едем!

Гулевская. Гуд бай, мои дарлинги! Рада была всех пови-
дать! Целую!

Поленьев *(как бы оправдываясь перед всеми за свой неожиданный уход)*. Обязан сопровождать на правах свободного джентльмена. До свидания, мама, не горюй! Если что, звоните. Координаты у Васюты. *(Гулевская и Поленьев уходят.)*

Варя Печенкина. Алеша, потанцуй со мной. У меня ноги затекли.

Зеленцов. Дай отдохнуть спокойно.

Спирин. Позвольте я, Варвара Ивановна! *(Подскакивает к ней.)* Можно, Алексей Владимирович!

Зеленцов. Попробуй.

Спирин. Разрешите!.. *(Танцует с Варей Печенкиной.)*

Римма *(мужу)*. Муж! Прозаик!.. Прокоп, толкни его!.. Ну, как вам нравится мой гусар? Отключился!

Васюта. Проза и есть проза. А мы — поэзия! Пошли!

Васюта встает, приглашает Римму, и видно, что вместо левой ноги у него протез. Так он и танцует, таская за собой несгибающуюся ногу. Да еще и поет «Катюшу», вовлекая всех в пение и танец. Не танцуют только Прокоп, Коромылов и Зеленцов. И в этот момент появляется Поленьев. Вид у него смущенный.

Римма. Здравсте! Давно не виделись!

Поленьев. Нина в своем репертуаре. Выходим, а внизу какие-то пижоны ожидают, югославы... И Симонов... Чего я с ними поеду? Кто я такой? *(Смотрит на часы, подходит к телефону, набирает номер.)* Милочка? Это Поленьев. Не разбудил?..

Соскучился... А почему не сегодня? Понял... *(Резко.)* В общем, захочешь меня видеть — звони. *(Вешает трубку, снова набирает номер.)* Мама? Это я. Ты, пожалуй, на цепочку не закрывайся. Я домой приеду... Ничего не случилось. Просто приеду домой... Нет, не голодный. Ну, все! *(Вешает трубку, некоторое время задумчиво смотрит на танцующих, потом решительно подходит к Зеленцову.)*

Зеленцов *(настороженно)*. Что еще?

Поленьев *(нарочито многозначительно)*. Потанцуем?

Зеленцов. Ты что, с ума сошел?

Поленьев. Нет, потанцуем!

Поленьев буквально стаскивает Зеленцова со стула и ведет его в танце, как партнершу, пронзая его «страшным» взглядом и многозначительно напевая:
«Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла...»

Занавес

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Автор. Прошло еще десять лет. За эти десять лет произошли довольно крупные события, которые существенным образом повлияли на нас и на нашу жизнь... Летний вечер летнего дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года...

Занавес раскрывается. Тот же зал ресторана. Только совсем другой инвентарь. Низкие столы и стулья. Переборки черного металла. Чеканка. В зале пусто. За одним из столиков сидит Поленьев. Несмотря на свои пятьдесят лет, он выглядит хорошо. Одет модно, даже немного не по годам. Появляется Нина Гулевская. Она постарела, но еще достаточно эффектна. Одет по самой последней моде тех лет: юбка «колоколом», пшильки и т. д.

Поленьев *(встает)*. Я почему-то был уверен, что именно ты придешь первой. *(Целует ей руку.)*

Гулевская. Здравствуй, преуспевающий журналист. Кто-то мне говорил, что ты стал заместителем главного редактора?

Поленьев *(довольный)*. Уже полгода.

Гулевская. Я буквально на несколько минут. Просто очень хотелось увидеть Васюту, Сенечку и немножко — тебя... Хотя вообще в этих наших сборищах я уже не вижу никакого смысла. Трата времени.

Поленьев. А любопытство? Все-таки десять лет.

Гулевская. Мы — случайные люди, понимаешь? Мы случайно познакомились на английских курсах, которые тоже бы-

ли случайными. Раньше мы были молоды. Нам что-то казалось, чего-то хотелось... А теперь... Встречаться, чтобы смотреть на всех, кто был когда-то молод, и видеть в них свое отражение? Нет, друзей надо менять, как цветы, чтобы не увядать вместе с ними. (*Смотрит на пустые столики.*) А почему сегодня так скромно?

Поленьев. Нет Васюты — никто не подсуетился.

Гулевская. Что с ним?

Голос сверху. Вера Евгеньевна! «Что с ним» надо проносить более заинтересованно. И вообще вы сегодня какая-то вялая. Внутреннего нерва побольше! Николай Архипович, с вашей реплики, пожалуйста!

Поленьев. Нет Васюты — никто не подсуетился.

Гулевская (*испуганно*). Что с ним?!

Голос сверху. Это чересчур. Продолжайте.

Поленьев. Не бойся. Просто он уже четыре года как на Таймыре. Позвонил мне перед отъездом. Сказал, что здесь ему очень уж спокойно.

Гулевская. Ему можно только позавидовать.

Поленьев. Я знал женщин, которые тебе завидовали, когда видели твое лицо на экране телевизора... Кстати, почему ты больше не ведешь?

Гулевская. Обыкновенная история. Сначала мне все нравилось. Потом скучно стало. И какая-то во всем этом беззащитность. Тебя все видят, а ты — никого.

Поленьев. Зато популярность.

Гулевская. Не говори. Стали узнавать в метро, на улице, показывать пальцем. Раньше обращали внимание просто как на интересную женщину, а теперь: «Смотри, смотри! Первая программа сидит!» Слухи самые фантастические! Как-то в гостях одна женщина, вполне нормальная, весь вечер не сводила с меня глаз, а потом подошла и спрашивает: правда ли, что я жена сына Хрущева?

Поленьев (*смеясь*). Это я тоже слышал.

Гулевская. Ну, и так далее. Потом я пару раз опоздала, выговор схлопотала... А кончилось полтора года назад. В последних известиях оговорилась. Вместо «американские патриоты» сказала «американские пираты»...

Голос сверху. Вера Евгеньевна, не путайте текст. Не «вместо «американские патриоты» — «американские пираты», а «вместо «американские пираты» — «американские патриоты». В этом весь смысл.

Гулевская (*повторяет*). Вместо «американские пираты» сказала «американские патриоты». И конец карьере.

Поленьев. Это еще не поздно исправить. Я ведь кое-что сегодня могу.

Гулевская. Зачем? Я устроилась манекенщицей. Модная профессия. Конечно, молодежные модели не демонстрирую. А так — средний возраст. У нас во время показа все девоч-

ки — по именам: Наташа, Мила, Люда... А я — Нина Петровна... Завтра утром вылетаем в Свердловск. «Мода-57». Спецпрограмма «Навстречу международному фестивалю».

Поленьев. Ох, и задал нам этот фестиваль задачу! По-моему, столько иностранцев сразу Москва еще никогда не принимала. Разместить надо, поглядывать необходимо... Контрпропаганда, джазы, обслуживание... Молодежь ведь не вся одинаково к нам относится.

Появляется официант.

Официант. Заказывать будете что-нибудь?

Поленьев. Мы ждем друзей.

Официант. Ждать можно и на улице. Здесь не зал ожиданий. Погода хорошая. Стояли бы и ждали.

Поленьев. Сами как-нибудь разберемся.

Официант. А вы мне не указывайте! Не буду обслуживать, и все!

Появляются Спирин и Варя Черненькая.

Спирин. Кто не будет обслуживать? Кого не будет обслуживать? Михалыч, ты чего расшумелся? Это ж мои друзья! Привет, Михалыч!

Официант (*ворча*). Привет. На них не написано, что твои друзья. Сказали бы — от Спирина. Иное дело. Заказывать будете?

Спирин. Немного погода.

Официант. Ну, пожалуйста, пожалуйста... Отдыхайте. (*Уходит.*)

Спирин (*Поленьеву*). Здорово, чертяка! (*Целует его.*)

Поленьев. Сначала с дамой.

Гулевская. Его уже не научишь.

Спирин. Здорово, Нина! (*Целует ее.*)

Поленьев. Здравствуй, Варечка... Или здравствуйте. Уж я не знаю, как сказать.

Гулевская. Вот кто не меняется. Такая же спокойная, задумчивая, размеренная...

Варя Черненькая. Профессия накладывает свой отпечаток.

Поленьев. Муж, надеюсь, вернулся?

Варя Черненькая. Нет.

Поленьев. Сейчас все вернулись. А что-нибудь известно?

Автор. В те годы стали возвращаться из сталинских концлагерей реабилитированные Хрущевым заключенные.

Варя Черненькая. И да, и нет.

Спирин. Ждать будем или начнем помаленьку?.. Нет Ва-

сюты — выполняю организаторские, как говорится, способности.

Поленьев. Функции.

Спирин. Ну, функции. Васюта письмо мне прислал. Потом зачитаю.

Поленьев. А кого ждем?

Спирин. Римму, Зеленцовых... Сенечка просил начинать без него. Маленький сюрприз. А Прокоп Васильевич вряд ли будет... Передать-то я ему попросил...

Поленьев. Да, Прокоп высоко шагнул! Второй секретарь! Депутат! Зеленцов тоже, видимо, не рискнет заявиться. После моей статьи.

Спирин. Прочел сегодня утром. Сильно ты его хлопнул!

Поленьев *(довольно)*. Ничего вроде бы. Жаль, что поздно. Уже и Зеленцов — не Зеленцов... А впрочем, чтоб другим неповадно было.

Появляется Римма с молодым человеком лет тридцати, щеголевато одетым.

Римма. Вот они, голубчики! Леван! Это они!

Леван. Они?! Официант!

Голос сверху. Рано! Почему рано вышли? Вы появляетесь после реплики Нины! Вера Евгеньевна, где ваша реплика? Что с вами сегодня?

Гулевская *(обращаясь к кому-то наверху)*. Артур Анатольевич, я сама не своя... Вадим опять не пришел ночевать.

Голос сверху. Это никого не интересует. Вы на сцене! Никуда ваш муж не денется! Давайте со Спирина!

Спирин. Прочел сегодня утром. Сильно ты его хлопнул!

Поленьев *(довольно)*. Ничего вроде бы. Жаль, что поздно. Уже и Зеленцов — не Зеленцов... А впрочем, чтоб другим неповадно было.

Гулевская. С каких пор ты стал кровожадным?

Поленьев. Это, Нина, не кровожадность. Это другое.

Появляется Римма с молодым человеком лет тридцати, щеголевато одетым.

Римма. Вот они, голубчики! Леван! Это они!

Леван. Они?! Официант!

Выбегает официант.

Официант. Слушаю.

Леван. Двадцать бутылок шампанского на этот стол! Десять сразу. Десять потом! И какую-нибудь закуску-макуску!..

Официант удаляется.

Римма. А вот и мы!.. Нина — прямо с обложки модного журнала! И ты не боишься выходить на улицу?.. А мы с Леваном отдыхали в Сочи — нас не пустили в ресторан за его узкие брюки! Обалдеть мало!

Леван. Хотели не пустить.

Римма. Это мой муж — Леван.

Леван. Очень приятно. Меня зовут Леван. Мне Римма уже много рассказывала о вас. Вы извините — мы немного выпили. Друзья из Сухуми приезжали. С утра кутим. Кстати, наши в Мельбурне выиграли. Один — два. Тищенко играл со сломанным плечом. Кстати, я пригласил сюда Эдика Стрельцова. Восемнадцать лет. Не футболист, а бог! Мой друг. Я вас с ним познакомлю. Может быть, подойдет Резо Габескиария — мой друг. Кстати, Женя Евтушенко тоже обещал прийти. С Беллочкой Ахмадулиной. Гениальный поэт. Мой друг. Кровать была растелена, а ты была растеряна... Я вас познакомлю. А что мы стоим! Садитесь, да? Сейчас шампанское принесут.

Римма. Именно то, что мне нельзя.

Леван. Помолчи, да?

Все садятся, испытывая некоторое смущение от такого большого количества неожиданной информации.

Спирин. Значит, наши — олимпийские чемпионы? А кто забил?

Леван. Исаев на сорок третьей и Ильин на пятьдесят седьмой.

Римма. Ну, я вам скажу, у него память — обалдеть мало! Кто кому забил, в каком году, на какой минуте!.. Кто забил «Спартаку» во втором круге в тридцать девятом году?

Леван. Помолчи, да?

Римма. Молчу.

Леван. Что за женщина, честное слово! Говорит, говорит... Кстати, мой друг Дидико Гагуа нового «Москвича» взял. Четыреста первый. В экспортном варианте. Копия «Опель». Двадцать пять тысяч! Кожаные кресла!..

Спирин. Классная машина! У меня тоже четыреста первый.

Официант приносит шампанское. Леван открывает бутылку, разливает по бокалам, встает.

Леван. Я хочу поднять этот тост...

Поленьев (*осторожно*). Бокал.

Леван. Это в России поднимают бокал. А я хочу поднять тост. За нашу встречу. За то, что сегодня здесь собрались очень хорошие люди. Мне моя жена много рассказывала. Вы меня извините — я не знаю, как вас зовут, но я знаю, что вы — хорошие люди, потому что люди, которые находят время для

встречи с друзьями, это хорошие люди. У нас на Кавказе говорят: один человек может быть плохим, два человека могут быть плохими. А компания бывает только хорошей. За хороших людей!

Спирин (*Варе Черненькой*). По-моему, Римме крупно повезло.

Варя Черненькая. Какое это имеет значение?

Спирин. Ей Коромыслов все оставил! Квартиру, дачу!.. А этот Леван — просто мальчик по сравнению с ней...

Варя Черненькая. Ты считаешь, что ты более достоин?

Спирин. При чем тут я? У меня семья. Просто она могла и лучше устроиться.

Варя Черненькая. Никто не знает, как лучше. Она физически не может быть одна. Она — женщина.

Спирин. Ты не можешь.

Варя Черненькая. И я не могу.

Спирин. Ну, тихушница!

Варя Черненькая. Какой ты примитивный. Мои перwokлашки и то более тонкие существа.

Спирин. Это точно. Моей четырнадцатый год, так она мне позавчера говорит: отец, у тебя на воротничке помада... Причем тихо говорит. Чтоб мать не слышала...

Леван. Я хочу сказать красивый тост!

Спирин. Уже мальчишки звонят, рок-н-ролл, туфли на шпильках.

Леван (*Спирину*). Я вам не мешаю?

Спирин. Извините.

Леван. Спасибо. Я хочу сказать красивый тост!

Римма (*Гулевской*). Вот за что я его люблю, так это за тосты! Обалдеть мало, как он говорит!

Леван. Помолчи, да?

Римма. Молчу.

Леван. Я хочу сказать красивый тост!

Варя Черненькая вдруг начинает смеяться. Все недоуменно смотрят на нее. Она пытается сдержаться, но не может.

Голос сверху. В чем дело, Инесса Павловна?

Варя Черненькая (*сквозь смех*). Не могу!.. Он такой важный, а у него брюки расстегнуты...

Леван застегивается.

Голос сверху. Посерьезней, товарищи! С вас, Вячеслав Егорович. Там, где вы говорите: «Я вам не мешаю?»

Леван (*Спирину*). Я вам не мешаю?

Спирин. Извините.

Леван. Спасибо. Я хочу сказать красивый тост!

Римма (*Гулевской*). Вот за что я его люблю, так это за то-сты! Обалдеть мало, как он говорит!

Леван. Помолчи, да?

Римма. Молчу.

Леван. Я хочу сказать красивый тост!..

Варя Черненькая снова пытается подавить смех.

Голос сверху. Что еще, Инесса Павловна?
Варя Черненькая (*сквозь смех*). Не могу... Он с таким видом, а у него брюки расстегнуты...

Голос сверху. Кончайте этот детский сад! Возьмите себя в руки! Еще раз!

Леван. Спасибо! Я хочу сказать красивый тост!

Римма (*Гулевской*). Вот за что я его люблю, так это за то-сты! Обалдеть мало, как он говорит!

Леван. Помолчи, да?

Римма. Молчу.

Леван. Я хочу сказать красивый тост!

Неожиданно сам начинает смеяться.

Голос сверху. Теперь в чем дело?

Леван. Я вспомнил, что она заржала... Извините. Все. Я хочу сказать красивый тост!

Из соседнего зала появляются музыканты: ударник с инструментами, тромбонист, пианист и Сенечка Глузман со скрипкой.

Сенечка Глузман. Кочумайте! Не надо эмоций. Это я. Привет чувакам и чувихам!

Спирин. Сюрприз Глузмана.

Сенечка Глузман. Никакого сюрприза. Просто я здесь работаю. Лабаю на скрипочке... Дайте кирнуть музыканту...

Леван. Уважаемый, я прошу вас сесть вместе с нами и дать мне сказать...

Сенечка Глузман. Кочум! Слушаю внимательно.

Леван. Я хочу сказать красивый тост!

Из-за кулис появляется небольшой человек заштатного вида с портфелем. Высмотрев за столом Левана, он направляется к нему. Все вопросительно смотрят на вновь прибывшего.

Человек с портфелем. О! Товарищ Лямин! Накопец-то я вас нашел!..

Человек присаживается за стол, выкладывает из портфеля какие-то бумаги. Все недоуменно смотрят то на него, то на Левана.

Голос сверху. Откуда это явление Христа народу? Почему посторонние на сцене?

Леван (*человеку с портфелем*). Слушайте, долго вы будете меня преследовать?

Человек с портфелем. Это зависит от вас, товарищ Лямин Вячеслав Егорович. До тех пор, пока вы будете от меня бегать!

Голос сверху. Слушайте, вы! Немедленно покиньте сцену или вас выставят!

Человек с портфелем. Кричать будете на свою тетю.

Голос сверху. Вы срываете нам работу. Какого черта?

Человек с портфелем. Я вам сказал: кричать будете на свою тетю. Еще неизвестно, кто кому срывает. Или я не видел настоящий театр. Или я не знал Щепкина, или я не играл с Зускиным. Так теперь я не играю. Я им срываю работу... Шекспира они ставят. А то, что ваши артисты морочат мне одно место?

Голос сверху. Вячеслав Егорович! Я прошу вас немедленно разобраться с вашим другом!

Человек с портфелем. Да? — Да! Нет? — Нет! Никто никому не нужен. Я еду с тремя пересадками. Пятьдесят пять минут. Как договорились. А он в театре. Так я тоже в театре. Как будто речь идет о моей жизни. И всего за пять рублей. Да? — Да! Нет? — Нет! Никто никому не нужен.

Леван. Я же вам сказал: после зарплаты?

Человек с портфелем. Товарищ Лямин, не делайте с меня идиота. Чтоб у артиста не было пяти рублей до зарплаты?

Леван. Ну, нет! Понимаете? (*Выворачивает карманы*) Трешка! И мелочь!.. Три сорок!

Человек с портфелем. Из-за рубля шестидесяти плевать на свою жизнь. Так займите!

Леван. Я не хочу влезать в долги.

Автор. Вячеслав Егорович, сколько вам не хватает? Рубль шестьдесят? Вот вам рубль шестьдесят, и давайте продолжать. (*Кладет на стол деньги*.)

Человек с портфелем. О! Свет не без добрых людей! (*Автору*.) А вы не желаете застраховаться?

Автор. Нет, спасибо.

Человек с портфелем. Вот! Все честно! Нет и нет! Я же к нему не пристаю! (*Автору*.) И все-таки я бы вам советовал...

Человек с портфелем начинает оформлять бумаги. Нина Гулевская проходит к телефону, нервно набирает номер.

Гулевская. Это ты?.. Меня не интересует, где ты провел ночь, но разве трудно позвонить?

Поленьев (*автору.*) Дорогой автор, извините меня, конечно, я понимаю, мы с вами еще мало знакомы... Не могли бы вы мне... одолжить... пятьсот рублей на три месяца?

Автор. С удовольствием, Николай Архипович, но я пуст.

Поленьев. А трешку до завтра?

Автор (*с облегчением*). Это пожалуйста! (*Дает ему деньги.*)

Поленьев. Даже лучше до послезавтра. Хочу завтра крепко поставить на ипподроме. Приходите — назову верную лошадку.

Автор. Спасибо, не балуюсь.

Варя Черненькая (*Глузману*). Вася. Звонили из школы. Диму исключают.

Глузман. Пусть исключают. Мне это надоело. Я вообще был против спецшколы. Подумаешь! Английская школа! Поучит пару лет в обыкновенной. Потом посмотрим.

Варя Черненькая. Зайди завтра утром к директору. Со мной он уже отказывается говорить.

Спирин. Да! Чуть не забыл! Желающие заниматься французским по болгарскому методу во сне записывайтесь у меня. Два пятьдесят сеанс!

Гулеская (*в трубку*). Я прошу тебя, Вадим, не мучай меня. Я устала. Давай кончать эту историю... Нет. Не приду... Не могу... Я поеду к маме. Делай что хочешь... (*Вешает трубку.*)

Человек с портфелем. Вот и все! (*Левану.*) Теперь вы можете жить спокойно... (*Собирает бумаги.*) Играйте, ставьте, творите, дерзайте и ничего не бойтесь — вы от всего застрахованы! (*Уходя.*) Или я не знал Щепкина, или я не играл с Зускиным... Так теперь я не играю...

Голос сверху. Все? Давайте с прихода Сенечки!

Все занимают свои места согласно прерванной приходом человека с портфелем мизансцене.

Леван. Я хочу сказать красивый тост!

Из соседнего зала появляются музыканты: ударник с инструментами, тромбонист, пианист и Сенечка Глузман со скрипкой.

Сенечка Глузман. Кочумайте! Не надо эмоций. Это я. Привет чувакам и чувихам!

Спирин. Сюрприз Глузмана.

Сенечка Глузман. Никакого сюрприза. Просто я здесь работаю. Лабаю на скрипочке... Дайте кирнуть музыканту...

Леван. Уважаемый, я прошу вас сесть вместе с нами и дать мне сказать...

Сенечка Глузман. Кочум! Слушаю внимательно.

Леван. Я хочу сказать красивый тост! Говорят, что бог создал женщину из ребра мужчины. Это неверно. Он взял кусо-

чек нашего сердца и из этого кусочка нашего сердца сделал женщину. Поэтому они такие красивые, душевные, достойные, чтобы их любить. Когда мы работаем, они сидят дома, переживают, волнуются: как мы там работаем? Когда мы гуляем, кутим, они тоже переживают, волнуются, как мы там кутим. Я хочу поднять тост за наших женщин, которые всегда в нашем сердце, как бы мы далеко от них ни уезжали... За женщин! Настоящие мужчины пьют стоя!

Все мужчины встают и выпивают.

Римма (*Сенечке Глузману*). И давно ты здесь?

Сенечка Глузман. Четвертый год.

Римма. Если б двадцать лет назад мне сказали, что Сенечка Глузман будет играть в кабаке и станет лабухом!.. Обалдеть мало!

Гулевская. Такова се ля ви.

Поленьев. Обидно, конечно, но, с другой стороны, почему профессия музыканта в ресторане обидна? Или работник торговли?

Спирин. Именно! Райкин про кого выступает? Тарапунька и Штепсель кого передергивают?

Поленьев. Я, кажется, организую дискуссию у себя в газете... Это уже назрело.

Сенечка Глузман. Не надо дискуссий. Разговор конкретно обо мне. О Сене Глузмани. О человеке, который когда-то подавал большие надежды на Паганини и Ойстраха... И вдруг — лажа. Где Паганини? Где Ойстрах? А вот он здесь, в музыкальном ансамбле Мосэстрады, в ресторане первого ряда. Все ждали от него шикарных импровизаций, а он еле-еле сыграл свою партию и пошел на коду. Что делать? Партия оказалась более сложной, чем можно было ожидать. Так что? Лежать и плакать по перебитой руке и несложившейся жизни? И я лежал, и я плакал. Но когда я открыл глаза, то увидел рядом с собой женщину. И мне стало легче, потому что я лежал не один. И мне стало труднее, потому что думать надо было уже о двоих: о ней и о том произведении, которое мы создали, когда лежали рядом, которому уже четырнадцать лет и который уже лауреат конкурса юных скрипачей в городе Кишиневе. Так где же лажа, спрашиваю я, где кода? Их нет и не может быть. Просто жизнь смодулировала в другую тональность, не такую мажорную, но зато реальную. У меня абсолютный слух, и я не киксую тем, что играю танцы. Я все слышу. Я слышу, что сегодня люди, которые приходят сюда, танцуют под меня, а завтра они будут получать удовольствие от моего сына во фраке. Такова жизнь. Если нам не удалось взобраться по крутой лестнице, значит, мы должны стать ступеньками для кого-то. Так что не надо дискуссий. Здесь не о чем дискутировать... Поэтому я и пришел сюда из того банкетного зала, где,

между прочим, наш важный Прокоп принимает иностранную делегацию...

Спирин. Прокоп Васильевич?!

Сенечка Глузман. Да-да. Прокоп Васильевич с важным видом накиривает деловых американцев под мою скрипку, и пока они там обмениваются речами, у меня пауза, и я буду вам играть немного танцевальной музыки...

Поднимается на возвышение к музыкантам.

Поленьев. А он знает, что мы здесь?

Сенечка Глузман. Какая разница? У него своя компания, у вас — своя.

Поленьев. Это еще неизвестно. Официант!

Появляется официант. Поленьев пишет маленькую записку.

Передайте это в банкетный зал самому главному из русских. Только не спутайте с американцем!

Официант. Ихних с нашими перепутать невозможно.

Официант удаляется. Музыканты начинают модный в пятидесятых годах рок-н-ролл.

Римма. Леван так танцует! Обалдеть мало!

Леван (*встает.*) Ну, кто со мной?

Спирин. Нет, нам что-нибудь попроче.

Поднимается со своего места Нина Гулевская и включается в «рок» вместе с Леваном. Все остальные остаются на своих местах и наблюдают.

Варя Черненъкая (*с восхищением наблюдает за Гулевской*). Как девочка!

Спирин (*Поленьеву*). Слушай, старик... Ничего, что я тебя так называю?

Поленьев. Нормально, Леня.

Спирин. Понимаешь, в моем магазине парнишка один завелся. Настырный, всюду лезет... Все чего-то доказывает, все ему не так. А у меня дело поставлено на широкую ногу. Сам живу и другим даю жить... В общем, какое-то он письмо подметное в твою газету послал. Мне-то что. Но попадет к фельетонисту, тот, не разобравшись, накропает — не отмоешься... Проследи, если можно. А то неудобно. Магазин передовой, переходящее знамя держит...

Поленьев. Строптивный парнишка?

Спирин. Балбес! Ни черта в тонкостях не разбирается, а лезет.

Поленьев. Я к тебе, пожалуй, своего заведомом писем подошлю.

Спирин (*истуганно*). Это зачем?

Поленьев. Вид у него какой-то обшарпанный. А у нас все-таки фирма.

Спирин *(облегченно)*. Одну с иголки!

Поленьев. Он скажет, что от меня.

Леван *(танцует с Ниной)*. Я вас сразу узнал. Мои друзья вас очень уважают... Поехали завтра в Архангельское кутить? На двух машинах. Какой ваш телефон?

Гулевская. Римма знает.

Леван. При чем Римма? Ей все равно ничего нельзя.

Гулевская. А вам все можно? *(Римме.)* Риммочка! Нас Леван пригласил завтра в Архангельское! Кутить! На двух машинах!

Римма. Прекрасно! Я ни разу не была в Архангельском! Едем! Я тебе с утра позвоню!

Леван *(без эмоций)*. Если погода будет хорошая.

Из банкетного зала появляется Проккоп. Он в хорошем настроении, но достоинства своего не теряет. Музыка прекращается.

Проккоп *(указывая на официанта)*. Товарищ с таким видом передал мне записку, как будто это — указание сверху, как себя вести с американцами! *(Хохочет.)*

Поленьев. Зазнался, Проккоп Васильевич.

Голос сверху. Сергей Петрович, мне не нравится, как вы вошли. Между вами и всеми остальными уже дистанция. И вы это понимаете. Вам, конечно, хочется вести себя запросто, но вы уже фигура... И не надо этот мифистофельский смех. Легкий такой смешок, покровительственный... Ха-ха-ха... Войдите еще раз!

Проккоп уходит и тут же появляется. Он в хорошем настроении, но достоинства своего не теряет. Музыка прекращается.

Проккоп *(указывая на официанта)*. Товарищ с таким видом передал мне записку, как будто это — указание сверху, как вести себя с американцами! *(Хохочет легко и покровительственно.)*

Поленьев. Зазнался, Проккоп Васильевич!

Спирин *(вскакивает со своего места, предлагая его Проккопу)*. Садитесь, Проккоп Васильевич!

Проккоп. Сиди, Леня. Я чисто символически. Америкашек принимаю... Важное дело пробиваем... *(Оглядывает всех.)* Все хорошо выглядят. Значит, у всех хорошо. *(Поленьеву.)* Читал сегодня твою статью... Правильно, конечно. Но, когда попадаешь в цель, необязательно бить больно... Впрочем, твоему шэфу виднее... Привет ему от меня... *(Варе Черненко.)* Переехали?

Варя Черненко. Спасибо. Все хорошо.

Проккоп. Как дочь?

Варя Черненко. Замуж выходит.

Проккоп. Что творится! Мама, можно сказать, на выданье, а тут дочь замуж выходит... Завтра около двух пришлою за тобой машину. Есть сведения о муже.

Варя Черненькая. Я в курсе.

Римма. Познакомься, Проккоп Васильевич! Это мой муж!

Проккоп (*Левану*). Очень рад. Смотрите, Римму не обижайте!

Римма (*Левану*). Слышал? А то Проккопу Васильевичу пожалуюсь! (*Проккопу*.) Он не обижает. Он у меня рыцарь!

Леван. Помолчи, да?

Проккоп. Так. Всех повидал и, к сожалению, должен... Ну что я за невезучий человек! У всех работа — веселье. А у Проккопа Васильевича в веселье — работа. Извините, себе не принадлежу. (*Собирается уйти*.)

Спирин. Проккоп Васильевич! Дорогой! Буквально две минуты! Васюта письмо прислал. Очень хочется, чтобы вы послушали. Там он и вам привет передает!

Проккоп. Ох, режешь меня, Леня! Без ножа режешь... Ну, читай, как там наш Васюта?

Спирин (*достает письмо, читает*). «Здравствуйте, далекие, здравствуйте, близкие! Пишу вам с Таймыра из полярного мира...»

Проккоп. Поэт!

Спирин (*продолжает*). «Сбежал от роскошной жизни, чтоб не состариться раньше времени».

Проккоп. Непоседа!

Спирин (*продолжая*). «Работаю в звероводческом совхозе завгаром. Флора здесь подходящая, а фауна еще лучше...»

Проккоп. Да, там сурово.

Спирин. «...так что ручки зябнут, ножки зябнут у всех, кроме меня. У меня по части ножек, особенно левой, полный порядок».

Проккоп. Жизнелюб!

Спирин (*продолжая*). «Спирин! Аккуратнее с торговлей. Можно провороваться...»

Проккоп. Это точно.

Спирин (*продолжая*). «Рад за Поленьева. Газета его у нас нарасхват. Но пусть он бросит свои статьи и возьмется за что-нибудь серьезное. Чтоб не он нас поправлял, а чтоб мы, простые читатели, тоже могли его поправить... Поздравьте Проккопа с депутатом...»

Проккоп. Спасибо, спасибо...

Спирин (*продолжая*). «Теперь мы с ним сравнялись. Он — депутат, я — инвалид. Вместе будем без очереди в парикмахерскую ходить...»

Проккоп. Ох, язва!

Голос сверху. Борис Сергеевич! Зачем вы читаете фразу, которую нам сняли? И вы, Сергей Петрович, не произносите «язву». Она уже не нужна.

Спирин (*обращаясь к голосу сверху*). Я придумал другой вариант: «Теперь мы с ним сравнялись, он депутат, и я депутат». Пусть Васюта тоже будет депутатом.

Автор. Только не надо ничего придумывать, Борис Сергеевич. У меня все-таки пьеса, а не сессия Верховного Совета.

Спирин (*обиженно*). Погодин не меньше вас драматург, а прислушивался...

Голос сверху. Автор прав. «Спасибо, спасибо», и появление американца!

Спирин (*читает*). «Поздравьте Прокопа с депутатом...»

Прокоп. Спасибо, спасибо...

Из банкетного зала выходит американец. Он слегка навеселе.

О! Мистер Гибсон!.. Товарищи, разрешите вам представить мистера Джима Гибсона — крупного американского бизнесмена и миллионера! (*Американец добродушно раскланивается.*)

Спирин. В первый раз вижу живого миллионера!

Прокоп. Мистер Гибсон! Это мои друзья юности. Так сказать, обыкновенные советские люди! Ну, англичане, переведите кто-нибудь!

Римма (*американцу*). Хотите эплл?

Варя Черненькая переводит слова Прокопа на английский. Американец опять кланяется и улыбается.

Прокоп (*всем, впроброс*). Это он с виду такой добродушный. На самом деле — настоящая акула.

Американец вопросительно смотрит на Прокопа.

Я говорю: разные бывают капиталисты. С теми, кто с нами хорошо — и мы хорошо. Контакты! Мирное сосуществование! (*Указывает на Поленьева.*) Это журналист!.. Магазин! Магазин!

Спирин. Это я — магазин.

Прокоп. Магазин по-английски — журнал. А ты — бизнесмен. (*Указывая на Спирина.*) Он — бизнес! Бизнесмен!

Спирин. Прокоп Васильевич! А он знает, что наша Кубань собирается перегнуть ихнюю Айову?

Прокоп. Не знает, так узнает. (*Указывая на Нину Гулевскую.*) Звезда. Стар!.. (*Указывая на Римму.*) Женщина! Вумен! Горячая вумен! (*Указывая на Левана.*) А это грузин. Ее солнечный муж! (*Американец со всеми раскланивается.*)

Леван. Я хочу поднять красивый тост!

Прокоп (*Левану*). Не надо тост. (*Указывая на Варю Черненькую.*) А это — директор школы!.. Чилдрен! Скажи ему, Варя, чтоб наши чилдрен и их чилдрен всегда жили в мире!

Варя Черненькая переводит слова Прокопа американцу. Американец, улыбаясь, что-то говорит по-английски.

Варя Черненькая. Он говорит, что у него четверо детей, которые живут на острове.

Спирин. На острове? Чего это он их держит на острове?

Варя Черненькая. Он их не держит на острове. Просто у него собственный остров, и его семья живет на этом острове.

Прокоп. Ну, ладно, мистер Гибсон. У нас дела! *(Всем.)* А то он вам такое наговорит!..

Прокоп уводит американца, делая знак музыкантам. Музыканты собирают инструменты и направляются в банкетный зал.

Сенечка Глузман. Вот так, значит, и в мирном сосуществовании Сеня Глузман играет не последнюю скрипку! *(Уходит.)*

Леван. Я хочу сказать красивый тост!

Появляется Варя Печенкина. Она еще больше располнела. Вид у нее крайне взволнованный.

Поленьев. Не везет вам, старик, сегодня с тостами. *(Варе Печенкиной с подчеркнутой любезностью.)* Варвара Ивановна! Просим! Как здоровье Алексея Владимировича?

Варя Печенкина *(вплотную подходит к Поленьеву)*. Я только что... отвезла Алешу... в больницу...

Из банкетного зала раздаются дружные аплодисменты и туш.

У него инфаркт.

Голос сверху. Прекрасно! Николай Архипович! Попробуйте свои слова, когда вы увидели Печенкину, произнести, идя ей навстречу!

Варя Печенкина уходит и тут же появляется. Она еще больше располнела. Вид у нее крайне взволнованный.

Поленьев *(идя ей навстречу)*. Варвара Ивановна! Просим! Как здоровье Алексея Владимировича?

Варя Печенкина *(вплотную подходит к Поленьеву)*. Я только что... отвезла Алешу... в больницу...

Из банкетного зала раздаются дружные аплодисменты и туш.

У него инфаркт.

Голос сверху. Превосходно!

Варя Печенкина. Ты доволен?

Поленьев *(в растерянности)*. Мне очень жаль, но...

Варя Печенкина. Он прочитал твою отвратительную статью. Тебе-то что он сделал плохого?

Поленьев. Я обязан был опубликовать... В конце концов это принципиально.

Варя Печенкина. Он и так достаточно заплатил за ту историю с Белоусовым. Потерял работу, друзей... Он превратился в старика. А ведь ему только сорок три!.. Зачем же стрелять в мертвого?

Из банкетного зала неожиданно появляется Сенечка Глузман.

Сенечка Глузман (*обращаясь к кому-то наверху*). Артур Анатольевич! Извините! Звонила ваша жена. Она захлопнула дверь, ключи забыла и не может войти. А из квартиры пахнет газом!..

Голос сверху (*взволнованно*). О, боже! Товарищи! На сегодня все! Завтра в одиннадцать!

Все «выходят из образов», вскакивают со своих мест и покидают сцену. Остается на месте только Нина Гулевская.

Спирин. Прекрасно! Можно еще на хоккее успеть! (*Убегает.*)

Автор (*Варе Печенкиной*). Людочка, так как насчет вечера? Варя Печенкина (*весело*). Я свободна!

Автор (*возбужденно*). Великолепно! Тогда мы сначала поужинаем где-нибудь в ресторанчике, а потом махнем на дачу, да? (*Подбегает к телефону, набирает номер.*) Мама? Это я. Меня не жди! Ничего не случилось!.. У меня ночная репетиция! (*Вешает трубку.*)

Варя Печенкина (*Гулевской*). Верунчик, поехали с нами!.. Да плюнь ты на своего Вадима!.. Прочучи его разок!

Гулевская. Если б я могла...

Варя Печенкина. Ну, смотри.

Автор и Варя Печенкина убегают. На сцене за столом остается одна Нина Гулевская.

Занавес

Конец третьей картины

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Занавес открывается. Автора на привычном месте — в углу сцены — нет. Зал ресторана изменился до неузнаваемости. Интерьер снова напоминает «доброе старое время». Но возвышение для оркестра заполнено большим количеством современной радиоаппаратуры: усилители, динамики, микрофоны. Зал пуст. Входят довольно пожилого вида мужчина и женщина. Оба пытаются выглядеть как можно моложе. Они хорошо и модно одеты, но по их движениям, разговору видно, что им никак не меньше пятидесяти. Это Нина Гулевская и Поленьев.

Поленьев (*указывая на один из столиков с краю*). Здесь, мне кажется, будет неплохо. (*Садится.*)

Гулевская. Вот уж не ожидала, что среди сокровищ Тутанхамона встречу тебя. Сколько мы не виделись?

Поленьев. Лучше не считать. Как тебе выставка?

Гулевская. Странное ощущение. Последний раз к этим вещам прикасались три тысячи лет назад. Даже страшно. Вот так живешь, каждый день что-то делаешь, куда-то ходишь, не успеешь оглянуться — уже вечер, и пора укладываться... Как бабочка-однодневка.

Поленьев. От нас вряд ли что-нибудь останется через три тысячи лет.

Гулевская. Через три тысячи? Через десять лет!

Поленьев. Ну-ну-ну... Не стущай краски. Я, конечно, не знаю, для кого как, но для меня ты точно такая же, как когда-то на курсах. Может быть, даже лучше.

Гулевская. Ты очень любезен, конечно... Но мне уже уступают место в метро. Ко мне не пристают на улице.

Поленьев. Просто мужчины стали воспитанней.

Гулевская. Уже хочется встать попозже и лечь пораньше. А когда жалуешься врачу, он говорит: не беспокойтесь, в вашем возрасте это нормально.

Поленьев. Твой врач ничего не понимает в возрасте. Молодой, наверное. Не помню кто, кажется, Соммерсет Моэм, сказал, что каждый возраст имеет свои преимущества...

Гулевская. Они же — недостатки.

Поленьев. Тот, кто эти преимущества использует, у того все впереди.

Гулевская. Как у рака. Он всю жизнь пятится назад, поэтому у него все впереди.

Через зал проходит молодой официант и ставит цветы на один из столиков.

Официант (*на ходу*). Стол не обслуживается. (*Уходит*).

Гулевская и Поленьев пересаживаются за другой стол.

Гулевская. Вообще я бы что-нибудь съела.

Поленьев. Сейчас закажем... Здесь опять все изменили.

Гулевская. Стараются идти в ногу с жизнью. С кем-нибудь видишься из англичан? Как Васюта?

Тихо, боясь помешать, стараясь быть незамеченным, пробирается на свое место в углу сцены Автор. Он смотрит на часы и сокрушенно качает головой: мол, опоздал все-таки.

Поленьев. Васюта — гигант. Выдал дочь за одного нашего дипломата. Сейчас гостит у них в Лондоне. Со своей представительницей Крайнего Севера.

Гулевская. Теперь ему пригодится английский.

Поленьев. Да-а. Он никогда не состарится. Я его видел. Он лет пять назад приезжал. Носится, ковыляет, все время куда-то опаздывает... Подарков килограммов пятьдесят накупил, кинокамеру ему подыскали японскую... Рыбу мне привез вяленую.

Гулевская. Не говори о еде.

Поленьев. На Таймыр звал. Там, говорит, для меня невесты стынут. Просто молодой человек! А ведь я всего года на три старше.

Гулевская. Вот именно. Ты знаешь, я поняла. Сказать, что такое молодость? Молодость — это когда ты всем нужен, а тебе — никто. А старость — это когда тебе нужны все, а ты — никому.

Через зал проходит другой официант. Тоже молодой. Он ставит цветы на один из столиков.

Официант *(на ходу)*. Этот столик не обслуживается. *(Уходит.)*

Поленьев *(вслед)*. Послушайте! *(Официант возвращается.)* Это уже надоедает. Мы зашли перекусить, а вы нас гоняете, как бильярдные шары. Я в конце концов журналист!

Официант. Для нас все равны. Русским языком сказано: не обслуживается... Сколько вас?

Поленьев. Двое.

Официант. Все равно стол не обслуживается. Садитесь в тот край.

Официант уходит. Гулевская и Поленьев пересаживаются.

Гулевская. В молодости на нас ворчали старики. Теперь гоняет молодежь... А не очень-то ты его напугал своим журнализмом.

Поленьев. В свое время вылетел бы отсюда с треском и вкалывал на заводе.

Гулевская. Ты по-прежнему кровожадный. А ведь, помню, даже хотел когда-то кампанию в газете организовать... Мол, ничего унижительного нет в профессии продавца, официанта...

Поленьев *(со вздохом)*. Эх, тогда я все мог. Почти все. Бархатный сезон!.. Только продлить его было не в моих силах. И использовать по-настоящему не сумел. Когда в шестьдесят пятом шеф полетел, мы за ним следом. Во все стороны, с одинаковой силой. Теперь какие-то паршивые двести строк в «Вечерку» о гробнице Тутанхамона приходится пробивать, унижаться... И никто не помнит...

Гулевская. Вся жизнь — бархатный сезон. Кто-то им

успевает насладиться, а кто-то... А ведь ты хотел книгу написать, повесть?

Поленьев. Когда, милая? Я не могу выбраться из этой повседневки. И мать на мне. Все-таки восемьдесят девять лет... Хотел на Байконуре пожить, серию сделать... не дали допуск.

Гулевская. А если с Прокопом связаться?

Поленьев. Неловко, во-первых. Государственный человек, и вдруг такие мелочи. И потом — где его ловить? Как-нибудь сами...

Гулевская. Уверена, что он может помочь. Нормальный, хороший мужик.

Поленьев. Не сомневаюсь. Но, как говорят, поезд ушел, а я даже не смог вскочить в последний вагон.

Гулевская. Сам виноват. Билет у тебя был.

Появляется третий молодой официант. Ставит цветы на один из столиков.

Официант (*проходя*). Стол не обслуживается.

Гулевская. Юноша, можно вас на минуточку?

Официант (*нехотя подходит*). Ну?

Гулевская (*доверительно*). Мы от Спирина.

Официант (*подозрительно глядя на нее*). Сколько вас?

Гулевская. Двое.

Официант (*помявшись*). Только недолго. У нас зал занят. Что вам?

Поленьев (*пытаясь сохранить достоинство*). А нельзя ли меню?

Официант. Меню — для неграмотных. Могу предложить две яичницы с колбасой и кофе.

Поленьев. Только по-турецки.

Официант. По-турецки будете в Стамбуле пить. А у нас по-восточному. Из котла.

Гулевская. Прекрасно! (*Официант уходит.*)

Поленьев. Дожили! От Спирина!

Гулевская. А что? Спирин — нормальный человек. Сам живет и другим жить дает.

Поленьев. Не притормози я в свое время ту историю с магазином, где бы он сейчас был...

Гулевская. Одного вытащил — другого потопил.

Поленьев. Зеленцов — председатель месткома в «Гипрокаучуке». Был во всяком случае. Я у них от «Знания» как-то лекцию читал. К Дню печати. Он мне путевку подписывал. Сделал вид, что мы не знакомы.

Гулевская. А с мадам мы на рынке встретились. Расцеловались, поплакали, как две дуры. Вспомнили, как на танцульки бегали. Еще до войны... Между прочим, деталь: Петенька ее в МИД распределение получил. И влюбился.

Поленьев. Бывает.

Официант приносит еду и кофе и ставит на стол.

Гулевская. Так она в ужасе. У девочки мать — не то застоловой, не то завскладом. Ну, в общем, из неустойчивых профессий. Понимаешь? Не повредило бы это Петенькиному будущему... Варька, подружка, детдомовка... Врач, представитель интеллигенции.

Поленьев. А ты?

Гулевская. Я? Я шить научилась. Себя обшиваю. Клиентура кой-какая.

Поленьев. И все-таки я еще напишу. Не знаю что. Роман? Пьесу? О таких, как Спирин, Печенкина, Зеленцов, ты... О нормальных вроде бы людях, но каких-то... сбоку припека...

Гулевская. Ты уже ничего не напишешь. Потому что ты сам — сбоку припека...

Поленьев (*раздраженно*). Яичница холодная, колбаса жирная.

Гулевская. Вышла бы я тогда замуж за лейтенантика...

Поленьев. Была бы сейчас вдовой.

Гулевская. Хоть вдовой. (*Молча едят.*)

Появляется пятящийся задом официант. Он пытается не впустить в зал Спирина и молоденькую девушку в джинсах и в майке с надписью по-английски.

Спирин (*он стал почти лысым*). Старичок, ты руками-то не махай! Я ведь тоже могу махнуть!

Официант. А я говорю: зал занят! Банкет накрываем!..

Спирин. Да ты не шуми. Сидят же люди, и мы посидим... Все будет нормально. Отблагодарим.

Официант. Ну, вот только к тем двоим. Если не возражаете.

Спирин. Никто не возражает. (*Подходит к столику.*) Не возражаете? (*Узнает Нину и Поленьева.*) Вы? (*Обнимает Поленьева.*) Здорово, чертяка!

Поленьев. Сначала с дамой.

Спирин. Сам знаю! (*Обнимает Гулевскую.*) Здорово, чертяка! Ну надо же!

Гулевская. Мы думали, ты — бог. Нас посадили только потому, что мы козырнули твоей фамилией. А тебя самого не пускают.

Спирин. Какая разница? Это такая система. Все равно от кого: от Спирина, от Бенюмовича... Лишь бы от кого-нибудь... А здесь я раньше действительно был богом. Теперь — ноль. Моих всех снимали... Такой процесс был!.. Черт знает, что творится! Всюду кинофестиваль! Кругом спецобслуживание! Не можем со Зверьком норку найти, спрятаться.

Поленьев (*указывая на все еще стоящую поодаль девушку*).
Дочь?

Спирин. Тсс! (*Девушке*.) Зверек! Иди сюда! Это мои старые друзья. Еще когда твои предки друг друга не знали!..

Девушка свободной походкой подходит к столику.

Зверек (*глядя на брючный костюм Гулевской*). Это уже выходит из моды.

Гулевская. Добрый вечер. Меня зовут Нина Петровна... В общем, Нина. А это мой старый друг.

Зверек. Вижу.

Поленьев (*вставая, представляясь*). Поленьев. А вас, простите?

Зверек. Вам Зайчик уже сказал: Зверек!

Спирин. Игра у нас такая. Когда не на работе. Я ее — Зверек. Она меня — Зайчик. В моей фирме трудится. В отделе косметики. Отличный продавец. Вымпел держит. Решили после работы снять напряжение. Садись, Зверек!

Зверек садится. Садится и Спирин.

Зверек (*глядя на Поленьева*). Блейзера уже тоже отошли. Даже фарца не носит.

Поленьев. Можете мне поверить, что я не фарцовщик.

Спирин. Тебе что заказать?

Зверек. Как всегда. Сухонького.

Спирин. О'кей. И я бокальчик шампанского. Больше нельзя. За рулем. Недавно восьмого «жигуля» взял. Классная машина. Бегаёт! (*Поленьеву*.) А у тебя какая?

Поленьев. Какая остановится.

Спирин. Что так? Не любитель?

Зверек. Тут на меня один фирмач глаз положил. На «вольво». Найсовый кадр!.. Вообще-то он ничего мен. Но я его обуглила!

Спирин. Дает Зверек! Как скажет, просто умора, ей-богу! Ты смотри, поосторожнее с этими фирмачами... (*Поленьеву*.) Девчонка еще! Но работник золотой! (*Появляется официант*.) Бутылочку сухого и бокал шампанского... Может, икорочка есть?

Официант. Вся на банкет ушла... Вы не долго? А то...

Зверек. Шеф! А музыканты в отгуле?

Официант. Оркестр позже будет. К банкету.

Зверек. А ящик?

Официант. Меломан работает. (*Уходит*.)

Зверек. Зайчик, дай пяточок. Подвигаться хочется.

Спирин (*порышишь в карманах*). Нет пяточка. На десятку. Разменяй.

Зверек. Гуляешь, Зайчик?

Гулевская. У меня есть пяточок. (*Протягивает Зверьку пяточок.*) Двигайтесь на здоровье.

Зверек. Ой, мать, ты мне нравишься! Я тащусь от тебя!.. Верно, ушастик?

Спирин. Ну, скажет! Умора, ей-богу!

Зверек. Славка из готового платья вчера два диска Алана Прайса принес. В обед крутили. «Счастличик» смотрели? Вот там Алан Прайс поет... Вы что, Алана Прайса не слышали! А Пинк Флойда?

Гулевская. Уж извините.

Зверек. Может, и «битлов» не знаете?

Гулевская. Этих слышала.

Зверек. Так они уже в девятнадцатом веке!

Поленьев. А сейчас, по-вашему, какой век?

Зверек (*Спирину*). Ну и фрэнд у тебя! Он что, меня за дурочку принимает?

Поленьев. Я вас не принимаю за дурочку, но вы уже минут пять высказываетесь, а я ничего не могу понять. Сплошные загадки.

Зверек. Английский знаешь?

Поленьев. Учил когда-то.

Зверек. Значит, не получается у нас конверсейшен.

Поленьев. Сколько вам лет?

Зверек. Двадцать два... Уже старуха. Бррр! Скучно. Надо двигаться!

Зверек встает, подходит к «меломану», опускает пяточок. Слышится старое танго сороковых годов. Зверек танцует одна, в отдалении. Для нее ничего больше не существует. Она пытается в ритме танго двигаться современно.

Гулевская (*Спирину*). Впал в детство?

Спирин. Почему в детство?

Поленьев. У тебя дочь старше нее.

Спирин. И что? Чудаки! Посмотрите, какие ноги! Какая кожа! Это же прекрасно! Она ни о чем не спрашивает! Ничего не требует! А то, что требуется, я еще могу дать! Это вы понимаете? Я рядом с ней молод!

Поленьев. Тебе так кажется.

Спирин. Ничего мне не кажется. Дочь живет самостоятельно. Жене надо только, чтобы я был здоров, приносил деньги и приходил сам. Так я это делаю! Но пока мне этого мало! Мало! Понимаете? (*Официант ставит на стол заказ.*) Я же ничего ни у кого не краду!

Гулевская. А ты не думал, что ты это все покупаешь?

Спирин. Чепуха. А даже если так? Ведь надо иметь, на что покупать. Необязательно в смысле денег...

Гулевская. Может быть, ты и прав, Зайчик... (*Возвращается Зверек.*)

Зверек. Скука. Медленно! Не ритм, а лосьон! (*Садится.*)

Гулевская. Кстати, у вас в отделе бывает французский лосьон?

Зверек. Смотря какой. Для сухой кожи сейчас нет.

Гулевская. Именно для сухой кожи.

Зверек. Я же вижу.

Поленьев. Пойдем, Нина. Подвигаемся.

Поленьев и Нина встают и начинают танцевать танго.

Гулевская. А девочка действительно хороша! В свое время ты бы не упустил ее.

Поленьев. Ты все равно лучше. И тогда, и сейчас... А помнишь, когда мы только закончили курсы, Васюта нарядился попугаем и всем судьбу угадывал? Я между Варями сидел и должен был задумать желание... Так я задумал. Знаешь, какое? Чтобы ты в этот вечер была со мной. И потом — тоже.

Гулевская. Так что тебе мешало?

Поленьев. Боязнь несбыточности. Неуверенность... Мне все время хотелось... Как бы это тебе выразить поточнее?..

Гулевская. Чтобы, как сейчас модно говорить, конструктивная инициатива исходила от меня? Письмо Татьяны к Онегину?..

Поленьев. Пожалуй. И потом много лет подряд я мечтал о какой-либо исключительной ситуации. Скажем, сажусь я в поезд, а ты там.

Гулевская (*с иронией*). Жду тебя со слезами любви и преданности в глазах...

Поленьев. Не так картинно, конечно. Или возвращаюсь из командировки...

Гулевская. А я тебя встречаю на вокзале со слезами любви и преданности... Это от чрезмерного себялюбия... Такое свойственно женщинам. Но ведь они тоже себя любят...

Поленьев. И вот только сегодня, в сокровищнице Тутанхамона. Вдруг ты. Грустная. Одна. Неужели надо было ждать столько лет?

Гулевская. За это время кофе остыл, и не имеет смысла его подогревать — невкусно. Так мы и остались, преисполненные горячей любви к самим себе.

Появляется женщина. Высокая, сухая, в очках. Это Римма. Она очень постарела, но держит фасон. Рядом с ней передвижной столик, на котором обычно в ресторанах развозят напитки, сигареты, шоколад. Но вместо этого на столике лежат билеты «Спортлото».

Римма. Приобретайте билеты денежно-вещевой лотереи! Покупайте билеты «Спортлото». Выигрываете вы — выигрывает спорт. Проигрываете вы — все равно выигрывает спорт. Не проходите мимо своего счастья. В Днепропетровске один инженер угадал шестьдесят девять тысяч рублей.

Поленьев. Римма?

Гул ев с к а я. Фантастика!

Рим ма (*узнав Нину и Поленьева*). Только не надо ахать! Не надо ни о чем спрашивать! Да, Римма! Распространитель-рационализатор. Никто не догадался продавать эти бумажки в ресторане, кроме меня. А я — способная! Обалдеть мало! Вы что, муж и жена? Если да, немедленно ухожу!

Гул ев с к а я. Успокойся. (*Целует Римму.*)

Рим ма. Слава богу! Еще не родился тот мужик, который может быть рядом с тобой!

Гул ев с к а я. И уже не родится.

Рим ма (*Поленьева*). А ты стал похож на старого кота.

По л ен ь е в (*указывая на Спирина и Зверька*). Уголок дедушки Дурова: старый кот, зверек и зайчик... (*Спирин сидит спиной к Римме и не видит ее.*)

Рим ма (*за спиной Спирина*). Покупайте билеты «Спортлото»! Не проходите мимо своего счастья. В Днепрпетровске один инженер угадал шестьдесят девять тысяч рублей! Жадность никогда не была свойственна представителю торговых фирм товарищу Спирину!

Спи рин (*оглянувшись, увидел Римму*). Чертяка! Здорово! Что за маскарад?!

Рим ма. Маскарад у тебя. У меня работа. Раскошеливайся!

Спи рин. Это называется — мы хотели спрятаться. Садись, лотерея! Выпей с нами, раз уж так получилось!

Рим ма. Мне ничего нельзя — я на диете. Если можно — одно эппл?

Зв е р е к. Вот она знает английский. Хау ар ю?

Рим ма. Бойкая у тебя внучка.

Зв е р е к. Ну, Зайчик, и фрэнды у тебя! (*Хохочет.*) Внучка! Ну, обуглила! (*Протягивает Римме руку.*) Я — Зверек, а не внучка, а он — мой босс, а не дедушка. И зовут его Зайчик!

Спи рин (*Римме*). У нее язычок не хуже твоего.

Зв е р е к (*Спирину*). Пусть дяди и тети спикают, а я хочу двигаться. Идем. Тебе полезно.

Спи рин (*поднимаясь*). Извините...

Рим ма. Береги сердце!

Зверек включает «меломан» и танцует. Она это делает самозабвенно, для себя. Элегантно и ритмично. У Спирина получается не в такт и неуклюже. Но он старается подражать Зверьку, и это комично.

Обалдеть мало! Ну, что ж вы не интересуетесь? Как я? С кем я? Что я?

По л ен ь е в. Мы очень интересуемся.

Гул ев с к а я. Не удивлюсь, если ты замужем за послем Сенегала.

Рим ма. Очень мило. Жена сенегальского посла продает лотерейные билеты. С одиннадцати до пяти на свежем воздухе, а с шести и дальше в системе «Мосресторантреста»... Моя

выдумка! Когда человек выпьет, у него все смещается. Ему кажется, что действительно можно что-то выиграть, и он покупает пачками... Чудаки. Что можно выиграть? Я много выиграла в этой жизни? Везло иногда, конечно... Но без твердых козырей ничего не выиграешь. А у нас нет козырей. У Прокопа — козыри! У Васюты. А мы остаемся при пиковом интересе. Мой нынешний муж — старый трефовый король из колоды, которая давно вышла из употребления... Бывший шахматист, мастер... Даже из дома не выходит. Сидит, составляет задачи, ничего не помнит и все забывает! Бедный добрый человек... Позавчера назвал меня Люсей. Весь вечер после этого извинялся, потом говорит: ты не помнишь, почему я перед тобой извинялся? Смех и слезы... Зато я не одна. Хотя знаю, для чего я целый день умоляю людей не проходить мимо своего счастья... *(Спирину.)* Имей в виду — у меня осталось девяносто три билета! Я их домой не понесу!..

Спирин (задыхаясь). Зверек!.. Я тебе куплю «Спортлото»... Только заполнять будем вместе!..

Зверек. Лучше возьми еще сухонького.

Спирин. Это само собой.

Зверек. Мой фазер считал, что лотерея — дело нечистое.

Спирин. А чем черт не шутит?! Раз — и машина!

Зверек. Ой, как скучно. Да что вы все — «машина, машина!» Совсем уже креси стали! Не нужна мне машина! Я хочу двигаться, двигаться, двигаться! *(Гладит Спирина по лысине.)* Не надо... Май литтл. Зайчик... Не надо мне «Спортлото»...

Спирин (расплывается от удовольствия). Золотой у меня Зверек. Где вы видели женщину, которая умоляла бы мужчину не тратить деньги?! *(Целует Зверьку руку.)*

Из зрительного зала вдруг поднимается на сцену зритель — молодой человек лет двадцати двух. Он в джинсах, майке, с современной прической.

Зритель. Хватит! Надоело! Уберите от нее руки!.. Да не бойтесь! Я вас не ударю, Зайчик!

На сцене замешательство. Все вопросительно смотрят друг на друга и на зрителя. Только Зверек откинулась на спинку стула и наблюдает за всем с явным интересом.

Спирин. Откуда вы взялись, юноша?

Зритель. Из зала! Я просто сидел и смотрел, чем все кончится. И мне надоело! Мало того, что вы всю жизнь прозанимались неизвестно чем. Это ваше личное дело. Вам написали — вы исполняете. Но хватать и гладить мою девчонку, пользуясь тем, что вы на сцене?.. Я понимаю — вам это приятно. А мне — нет!.. Когда она была в училище, она хотела играть настоящие роли: Офелию — раз! Катерину — два! Анну Каренину — три!

Поленьев. Анну Каренину тоже обнимают.

Зритель. Так то Лев Толстой. К тому уж все привыкли. А здесь неизвестно что!.. (Поленьеву.) Вы тоже звонили все время разным женщинам. Но вы ведь не хватаете вашу Нину!.. Я с самого начала был против театра. Не профессия это. Вы что думаете, она играет? Ничего подобного! Она в жизни точно такая же. И так я из-за нее все нервы размотал! Да еще из зала смотреть, как она с завягом крутит! Нет уж! Хватит!

Спирин. Вы вообще понимаете, что вы говорите? Врываетесь на сцену...

Зритель. Да. Врываюсь! И не уйду до тех пор, пока она...

Поленьев. Ну так вас выставят.

Зритель. Это мы еще посмотрим!.. Вот видите — я кричу, нервничаю, переживаю, а она сидит, как будто ее не касается!

Спирин. А почему это ее должно касаться? Она ваша жена?

Зверек. Как бы не так. Инпассибл!

Римма. Инпассибл? Что это такое?

Зритель. Она говорит, что это невозможно. А почему невозможно. Я ей говорю: уедем. Уедем куда-нибудь далеко. Начнем с нулевого цикла! Собственными руками! Без мам, без пап! Никто не советует, никто не вмешивается! Что, только здесь настоящая жизнь? Только здесь театры, кино и режиссеры? Только здесь можно двигаться и танцевать? Ткни в любое место на карте — я согласен! С тобой куда угодно!

Зверек. Ай лав Пэрис!

Зритель. Вот, пожалуйста! Она любит Париж! Думаете, серьезно? Издевается! Откуда ей знать, что такое Париж? Все нарочно! А меня это злит! Ай лав Пэрис! Сначала построй себе этот Пэрис, а потом люби!

Поленьев. Если вы считаете, что она нарочно, почему вас это злит?

Зритель. Потому что я ничего не понимаю! Я же не ставляю ее там рельсы укладывать! Играй! Делай свой театр! А я зарабатываю! Ребята по четыреста пятьдесят в месяц имеют!..

Зверек. Вы все чокнулись! Одни на машинах, другие на деньгах!

Официант. Слушай, парень, закругляйся. Мешаешь.

Голос сверху. Пусть говорит. В этом что-то есть.

Официант. Освободите зал, граждане. Люди уже внизу собираются, а у нас ничего не готово. Вот так всегда — пустишь на десять минут...

Гулевская. А может, вы ее действительно не понимаете? Это ведь очень сложно — понять другого человека. Конечно же, ей необходимы общество, театры, актеры... А там, куда вы ее зовете, этого может не быть.

Начинают собираться музыканты. Среди них — Сенечка Глузман.

Зритель. Вам помогло ваше общество? Театры, кино, актеры, режиссеры? Помогло? Артистка не вышла, диктор не получился, манекенщица не удалась, и жизнь не сложилась! Все время в обществе, в обществе, а на самом деле — одна!

Римма. Ну в этом ты, паренек, вряд ли смыслишь.

Зритель. Я, конечно, понимаю — война...

Сенечка Глузман. Да что ты знаешь про войну?

Зритель. Так я не виноват, что я ничего не знаю. Я знаю только, что, если имешь перед собой цель, в нее надо попасть! Вот спросите у вашего Прокопа!

Спирин. У Прокопа Васильевича. Но он человек государственный. Ему некогда отвечать на ваши вопросы. Хотя он бы с вами согласился.

Зритель. Или Васюта! Человек! Уехал на Таймыр, трудится, живет полной жизнью. Пусть он скажет.

Римма. Васюта гостит в Англии. У дочери.

Зверек. Что вы ему объясняете? Он все равно ничего не андестендует!

Зритель (*передразнивает*). Не андестендует!.. Нахвталась верхушек! Мочалка!

Зверек. А что ж ты за меня зацепился?

Зритель. А то, что думал, у нас лав стори с тобой! Поняла? Сама же ты говорила!

Зверек. Не возникай.

Зритель. Буду возникать. Потому что мне нечего скрывать. Я ничего не краду. (*Спирину.*) Это, кстати, ваши слова.

Спирин. Я точно ничего ни у кого не краду. У меня все чисто.

Зритель. И у меня все чисто... (*Поленьеву.*) Вы любите Нину?

Поленьев. Видимо, да.

Зритель. А что ж молчали? Гордость не позволяла? Вот и опоздали. А я не хочу опаздывать! Может, такой, как она, на свете больше нет... (*Гулевской.*) Вот ваш муж дома не ночевал. Вадим, кажется... И вы сама не своя. А бросить не можете. Любите потому что. Нет ведь никого лучше. И быть не может. Так?

Гулевская. Все гораздо сложнее.

Зритель. Учительница ваша — черненькая Варя. Муж у нее куда-то исчез. С самого начала. Сколько лет прошло? А она так и осталась одна. Потому что любила...

Из-за кулис появляется Варя Черненькая.

Варя Черненькая. И сейчас люблю...

Официант. Вы на банкет?

Варя Черненькая. Да.

Официант. Товарищи! Милицию, что ли, звать? Разой-

дитесь вы по-хорошему! Уже народ собирается, а у нас ничего не готово.

Варя Черненькая. Сейчас здесь соберутся мои ребята, для которых готовится этот зал. Так задумал автор.

Автор. Я уже перестаю понимать, как я задумал.

Варя Черненькая. Год назад эти ребята окончили мою школу. Сегодня они отмечают первую годовщину. Как когда-то отмечали мы окончание английских курсов. Для кого-то эти годы промелькнули. Для кого-то — тянулись невероятно медленно. Кто-то все это время громко разговаривал, стараясь обратить на себя внимание. А кто-то считал, что обращать на себя внимание в обществе неприлично. Кто-то всю жизнь доказывал, как он любит, а кто-то никому ничего не доказывал. Он просто любил.

Появляются молодые люди: парень, похожий на молодого Васюту, лейтенант, девушка, напоминающая молодую Варю Печенкину. Еще двое: один напоминает молодого Зеленцова, другой — копия Прокопа.

Римма. Со мной всегда кто-то был, но никто, кроме меня, не знал, что я — одна...

Варя Черненькая. Так что совсем необязательно орать о своей любви на каждом перекрестке во все горло.

Парень, похожий на Васюту. Ай хев ван квесчен! Что происходит?

Спирин. Ничего. Просто мы немного засиделись... Поехали, Зверек, я отвезу тебя домой...

Зритель (*Зверьку.*) Мне уйти? (*Зверек молчит.*)

Голос сверху. Ответьте что-нибудь, Леночка.

Зритель. Мне уйти? (*Зверек молчит.*)

Голос сверху. Дорогой автор, придумайте ей какие-нибудь слова!

Автор. Я так с ходу не могу.

Зритель. Только не надо ничего придумывать. Пусть сама... Мне уйти?

Зверек. Подожди. Пойдем вместе.

Зритель. Уже поздно.

Зверек. Это здесь поздно. А на самом деле — полдень и много солнца...

Поленьев (*Гулевской*). Пойдемте, Нина Петровна. Я познакомлю вас со своей мамой. Мы заведем добрую мохнатую собаку и будем гулять с ней каждый день, никому не мешая...

Лейтенант. А никто никому не мешает!

Варя Черненькая. В их возрасте им помешать невозможно.

Парень, похожий на Васюту. В таком случае полный бьютифул и вери найс!

Девушка, похожая на Варю Печенкину (*Варе*

Черненко). Вы знаете, Варвара Николаевна, мне кажется, что сегодня что-то произойдет... Что-то очень важное...

Парень, похожий на Васюту. Угощайтесь, леди и джентльмены!

Римма (*протягивая билеты парню, похожему на Зеленцова*). Не хотите испытать судьбу?

Парень, похожий на Зеленцова. Ученые в судьбу не верят.

Парень, похожий на Васюту. Я хочу поднять тост!

Поленьев. Бокал.

Гулевская (*лейтенанту*). У меня был когда-то знакомый лейтенант. Только без погон.

Сенечка Глузман (*с возвышения для оркестра*). Ансамбль «Бравые ребята» начинает свое выступление песней композитора Кладикова «Когда что-то кончается — что-то начинается».

Оркестр начинает играть современную музыку. Все поют и танцуют. В этот ритм втягиваются постепенно и Поленьев, и Гулевская, и Спириин, и Варя Черненко, сбрасывая в процессе танца все театральные атрибуты, которые делали их людьми преклонного возраста. Они вызывают на сцену счастливого и смущенного Автора, который втягивается в этот отчаянный ритм. Вдруг музыка резко обрывается, словно резко остановилась магнитофонная лента, и в наступившей тишине раздается металлический голос Левитана: «ГОВОРИТ МОСКВА...» Возникает тревожная пауза.

Сенечка Глузман. Это радист пошутил.

Спириин. Глупая шутка, глупая.

Музыка снова возобновляется с того места, на котором она оборвалась, и продолжает звучать и после того, как занавес закрылся.

К о н е ц

Первые за последние
столетия на Среднем Урале
был Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПС
Михаил Сергеевич Горбачев.
Во второй половине дня 12
апреля в аэропорту Кольцово
М. С. Горбачев и сопровождающих его лиц хлебом-солью встречали «хозяйки мушкетерской горы», жители горнозаводских поселков, неформальные лица, студенты — П. В. Водовозова, С. Ельцин, Свердловск, В. Власов, Е. Лыгачев, в советах.

Perestroika

ИГРА ПО ПЕРЕПИСКЕ



Моим соперником в отборочном цикле шахматного первенства страны по переписке оказался волей жребия некий И. В. Тузиков из небольшого города Мухомославска. Мне выпало играть белыми. Первый ход «d4» я сообщил ему в письме короткого содержания: «Ув. И. В. Мой первый ход — «d4». Сообщите свое имя и отчество. Меня же зовут Аркадий Михайлович».

Ответный ход я получил через две с половиной недели: «Уважаемый Аркадий Михайлович. В ответ на ваш ход «d4» я играю «d5». Иван Васильевич. Но можете обращаться ко мне по имени, так как мне всего 20 лет».

«Здравствуйте, Ваня! — написал я ему. — Играю «Kf3». Я тоже человек молодой. Можете называть меня Арканом».

Письмо от Вани пришло через четыре недели: «Аркан! Извини, что задержался с ответом. У меня был день рождения. Сам понимаешь. Познакомился с девушкой. Зовут Света. Сам понимаешь. Мой ход — «Kf6». Кстати, можешь ко мне тоже обращаться на «ты».

Я написал ему: «Ваня! Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю успехов в труде и личной жизни. Вместо подарка посылаю тебе мой ход «g3».

Ответ я получил через две недели: «Аркан! Здорово! Тут такое было! Получил я твое письмо вечером, но ответить не смог, так как торопился на танцы. На танцах познакомился с Павлом. Он оказался мужем Светы. Так что это письмо пишет тебе под диктовку мой лечащий врач Эмма Саркисовна Сундукян. Она через два месяца будет в Москве. Достань ей к этому времени итальянские сапоги 37-го размера и поводи ее по театрам. Твой друг Ваня. Да! Чуть не забыл! Мой ответный ход «g6».

Я немедленно отправил ему письмо, в котором пожелал скорейшего выздоровления и сообщил, что играю «Cg2»...

Через два месяца в Москву приехала Эмма Саркисовна Сундукян.

Она привезла очередной ход Вани — «е6», а я достал ей итальянские сапоги, походил с ней по театрам, познакомил с моей матерью и сделал предложение, о чем немедленно уведомил Ваню, добавив, что рокирую в короткую сторону.

Ответ от Вани пришел почему-то из Магадана, без обратного адреса и выглядел довольно странно. Почерк был корявым, с большим количеством ошибок: «Эй, ты! Шахматист!.. Шел бы ты на «g8»! Объявляю тебе мат!..»

То, что он мне затем объявил, не входит ни в один из известных шахматных учебников.

Оскорбленный, я вложил в конверт полученную корреспонденцию, приписав, что продолжать партию с хулиганом не желаю, и отправил все по прежнему Ванину адресу.

Через два дня пришло новое письмо от Вани: «Аркан! Мой ход — «Се7». Извини за задержку. Этот ход я написал тебе сразу в ответ на твою короткую рокировку, но отправить не успел, так как улетал в срочную командировку в Магадан. Письмо взял с собой, чтобы отправить оттуда. Но в Магадане за ужином я познакомился с одним типом, который украл у меня бумажник с деньгами, паспортом и письмом с твоим ходом. Поздравляю тебя с женитьбой. Сообщаю, что со Светой мы тоже расписались и ее бывший муж Павел был у нас свидетелем. С нетерпением жду ответного хода. Ваня».

Прочтя письмо, я тут же оценил трагизм ситуации, когда ничего не подозревающий Ваня ознакомится с малоизвестным сочинением, которое я ему переправил, и сделать уже ничего не мог. Вдогонку я послал ему пространное объяснение и сыграл конем с «b1» на «d2».

Через месяц я получил следующее послание: «Аркадий Михайлович! То, что вы живете в столице, еще не дает вам права оскорблять мою жену и меня глупыми выходками. Представьте себе, что Светлана первой прочла вашу весточку и заявила, что, если еще раз увидит в доме хотя б пешку, немедленно потребует развод. Не понимаю, что мы вам сделали плохого в дебюте. Только моя преданность шахматам заставляет меня продолжать игру и сделать короткую рокировку. Прошу отныне высылать мне ходы до востребования, если вы не хотите разрушить мою семью».

Приблизительно около года у нас ушло на выяснение отношений. К этому времени у меня родился сын.

Еще через семь лет, когда мы уже вышли из дебюта, и я пожертвовал ему пешку, Ванина жена засекала его на почте, где он получал от меня очередной ход до востребования, после чего он попросил разрешения перейти на шифр. В последующие несколько лет мы обменивались интересными посланиями...

«Константин Тимофеевич переехал с Арбата, дом 1, в Борисоглебский переулок, дом 2», что означало: «Кра1b2», — писал я ему.

Он мне отвечал: «У нас в цирке сошла с ума одна лошадь черной масти и прыгнула в третий ряд амфитеатра на четвертое место», — и я понимал, что конь его пошел на поле d3...

Через 23 года после начала партии он сообщил, что его дочь выходит замуж и на свадьбе у них будет лихтенбургская королева Жанетта VI. Я понял, что его ферзь перебрался на «еб», и написал ему, что в качестве свадебного подарка высылаю ему белого слона седьмым поездом в пятом вагоне.

В ответ я получил вежливое письмо от Светланы, в котором она просила слона на свадьбу не присылать, так как его держать негде, а лучше выслать его стоимостью деньгами...

Мы стали брать тайм-ауты. Он по причине хронической связки по вертикали «а» и гипертонии. Я — из-за сердечной недостаточности качества ввиду неудачной женитьбы сына...

Постепенно фигуры с нашей доски начали исчезать... И в возникшем окончании у меня были сдвоенные внуки на ферзевом фланге, сто рублей пенсии и много других слабостей...

У него была сильная проходная внучка в центре, но зато два инфаркта по большой диагонали...

На 83-м ходу он... взял очередной тайм-аут. И на этот раз навсегда. Последнее письмо я получил от его шестидесятилетней дочери: «Папа накануне просил написать вам, что предлагает ничью...» Я вынужден был согласиться, хотя, откровенно говоря, моя позиция к этому моменту уже тоже была безнадежной...

1985

РАЗНАЯ МУЗЫКА ИЗ ОКНА НАПРОТИВ, или Влияние сервиса на жизнь...



Травка была молоденькой, зеленой, незапылившейся. Над головой щебетала какая-то счастливая птичка. Из окна напротив лилась мягкая кофейная музыка, комфортабельно расплываясь на приглушенных бархатными низами ударах большого барабана. Ветерок по касательной изредка пошевеливал голубоватые занавески. Во рту у Поленьева оставался прохладный привкус зубной пасты. Время от времени он проводил тыльной стороной кисти по своим щекам и подбородку, ощущая выбритую до состояния младенчества кожу. Пахло хвойным лосьоном, и впереди была целая жизнь... И в этой жизни в маленьком городке у моря ждала его завтра Белла — Беллочка — Беллissimo...

Длинноногая газель в желтой юбочке с пианистическими пальцами на руках скакала с камня на камень вдоль берега мутно-зеленого моря, и до безрассудства оставалось каких-нибудь тридцать восемь часов. И целых восемь лет — до тридцати. И восемнадцать — до сорока. И сто лет — до пятидесяти. И бесконечность — до финала, который и не предвиделся...

Поленьев сделал стойку на голове, отжался от пола и на руках прошел в кухню. Мама-мамуля-мамулissimo, привыкшая ко всему, поставила чашечку кофе ему на ступни, и он ушел в комнату... Оставалось совсем немного — позвонить и узнать, когда уходит сегодняшний поезд в маленький городок у моря.

Счастливая птичка продолжала самовыражаться. Зеленая травка постарела минут на пять, но по-прежнему еще не запылилась. Из окна напротив, прикасаясь к женским лопаткам, запел Тото Кутуньо. Голубоватые занавески, пошевеливаясь, щекотали нос и плечи (Поленьев сел на подоконник). Вкус зубной пасты смешался со вкусом кофе, и, притронувшись еще раз тыльной стороной кисти к подбородку, Поленьев позвонил в справочное бюро железнодорожных вокзалов. Что-то запиело в трубке, и бесстрастный металлический голос произнес:

— ... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Он просидел некоторое время на подоконнике — три минуты? Пять? Сорок?

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Из окна напротив теперь летел тревожный Пинк Флойд. Во рту согревался холодный кофе. Занавески скинули на пол горшок с геранью. И Поленьев подумал: «А с какой скоростью отрастает щетина?»

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Порыв ветра скривил дождь, и подоконник стал мокрым. Голубоватые занавески посерели, потяжелели и повисли. Поленьев делал кораблики из незаконченной диссертации, и они плыли грязными ручьями осеннего разочарования в сторону Чистопрудного бульвара, по которому прогуливалась Белла — Беллочка — Беллиσιμο Тихонова в ожидании уже четвертого ребенка.

Из кухни послышалось привычно-поспешное, торопящееся на работу «завтракготов», и женщина, которая уже давно все делала автоматически, втиснула бывшие ноги в сапоги, схватила зонт и побежала к автобусной остановке, надеясь, что кое-что еще впереди. А «кое-что» в двадцать один тридцать пять после программы «Время» спешно завалило ее на несвежий диванчик, передавая привет Поленьеву и торопясь в семью.

Из окна напротив Поленьеву и всему миру пел Вахтанг Кикабидзе, делая остальных мужчин несовершенными в глазах собственных жен. Во рту скапливалась горьковатая слюна, и Поленьев сплевывал ее в склеенный горшок с геранью. На стене в рамке уже десятый год висела мама-мамуля-мамулиσιμο, держа на коленях Поленьева в матросской шапочке. В голове носились недосказанные теоремы, спорные аллитерации, фантастические гипотезы и номера выигрышных лотерейных билетов.

«А может, сбрить бороду? — думал Поленьев. — Может, это станет толчком к обновлению?»

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Снова кашляла по ночам дочка, и лобик у нее был горячим... А если забрать ее из детского сада, перестанет она простужаться или нет? Но кто тогда с ней будет сидеть?

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Автобус вез всех на картошку, и сотрудников интересовал вопрос: свои волосы у Кобзона или это парик?

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Разнополые молодые работники метеоцентра игриво предсказывали с телевизионного экрана то снегопад, то гололед, то циклон, то антициклон. Если ошибались, то журили друг друга, словно влюбленные, а если угадывали, то, казалось, вот-вот сольются в объятиях любовного экстаза, подогретого совпадением прогноза с реальной погодой. Но независимо от этого внутренний барометр то сжимал, то отпускал поленьевские суставы, и тогда Поленьев водил внука на фигурное катание. От горшка с геранью остался один только горшок не то с землей, не то с табачным пеплом. Занавески снесли в прачечную, и они вернулись оттуда желтыми и перекрахмаленными. Так что больше они не шевелились. Слабенький часек теребил сосочки языка, но ногам теплее не становилось. Проезжал время от времени реанимобиль, напоминая своей пульсирующей сиреной, что жизнь продолжается...

Когда дорога пошла под уклон, Поленьев точно не мог сказать. Пять лет назад? Десять? Двадцать?..

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

Видимо, тогда, когда он решил, что в нем больше нет надобности...

Из окна напротив эротировала аэробика, а в институт стала ходить новенькая машинистка в дутой куртке. Она каждое утро заглядывала в его кабинет и выкрикивала: «Доброе утро, мэтр!»

Лена — Леночка — Лениссимо...

А он сожалел, что они не совпали во времени. Ошибка вышла на каких-то двадцать пять лет...

«Глупый! — сказала она ему однажды. — Это как «нон-стоп» в кинотеатре. Ты досматриваешь, а я только пришла. Фильм-то один и тот же. Расскажешь, в крайнем случае...»

«А что будет потом?» — спросил он, целуя ее ладонь.

«Отрезок! — сказала она. — Прекрасный отрезок!.. Ты не веришь?»

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

И пока он раздумывал, прикидывал и сомневался, над очередью от прилавка молочного отдела до кассы повис возглас-лозунг, переброшенный краснолицей продавщицей: «Касса! Творог не выбивай! Творог кончается!»

И Поленьев подумал: «Почему, когда я становлюсь в очередь, творог кончается?»

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

В очередной раз все покрылось новой травой, и из склеенного горшка, неизвестно откуда и по каким законам, пробился

хиленький росток. Из окна напротив вылетали аккорды Рахманинова, взятые некогда выдающимся пианистом, а на соседнем балконе шепелявый мальчик все повторял и повторял хрестоматийный отрывок из Гоголя: «Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вершины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ».

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА...

И вдруг, наплевав на все врачебные запреты, Поленьев сварил себе кофе двойной крепости и выпил его, обжигаясь, как когда-то на тенистой набережной города Сухуми у греческого армянина Анести!.. Да кто же в конце-то концов знает, за каким поворотом ждет нас черный дрозд? Верно ведь, Лена — Леночка — Лениссимо? Ну скажи, а?..

... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИТЕ ОТВЕТА... ЖДИ...

И возник в трубке гнусавый и усталый женский голос:
— ... СПРАВОЧНОЕ ОДИН ДВАДЦАТЬ СЕМЬ...

И Поленьев закричал:

«Скажите, когда...»

Но тот же голос прервал его безапелляционно:

— ... ВАШ ПОЕЗД УЖЕ УШЕЛ...

«Не беда — полетим самолетом!!» — пропел Поленьев на мелодию Моцарта и несколько раз прокрутил телефонный диск. Ему тут же ответили нечеловечески спокойно:

— ... НЕ ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ... ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИТ ОПЕРАТОР...

— ... НЕ ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ... ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИТ ОПЕРАТОР...

— ... НЕ ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ... ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИТ ОПЕРАТОР...

Из окна напротив грянул марш «Прощание славянки»...

ЭПИДЕМИЯ

ЕТОМ, что это не что иное, как странная и довольно страшная эпидемия, я стал думать позже, а поначалу все показалось единичным заурядным недоразумением...

Вода всех видов прекратила идти из всех кранов около десяти часов утра в то не предвещавшее ничего плохого, неадекватно-теплое осеннее воскресенье. Сделав трехчасовую паузу терпеливого ожидания, я позвонил в диспетчерскую и спросил, в чем дело.

— Хомут полетел, — ответил мне женский голос без особой ласки, но и беззлобно. «Бывает», — подумал я и направился через квартал к приятелю добриться, умыться и причесаться.

Между тринадцатым и четырнадцатым этажами лифт остановился. Сделав тридцатиминутную паузу терпеливого ожидания, я нажал на кнопку аварийного вызова.

— Хомут полетел, — сообщило мне решетчатое отверстие без особой ласки, но и беззлобно.

В три часа дня аварийная бригада извлекла меня из лифта, повредив во время извлечения «молнию» на моих брюках, вымазав мазутом рубашку и вывихнув мне правую руку в плечевом суставе. Я вынужден был поехать в травмопункт. На троллейбусной остановке мирно толпились люди. Что-то около батальона. Сделав часовую паузу терпеливого ожидания, я обратился к стоявшему поблизости милиционеру. Он сказал, что троллейбусов сегодня не будет и что люди эти стоят в очереди на завтра. На мой вопрос «что случилось?» он ответил мне:

— Хомут полетел.

Ответил без особой ласки, но и беззлобно. Тогда я спросил его, почему при таком скоплении народа он не на лошади. Он огляделся и шепнул мне на ухо:

— Хомут полетел.

Не было еще и половины шестого, когда я подошел к травмопункту. На дверях висело объявление: «ТРАВМОПУНКТ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ. ПОЛЕТЕЛ ХОМУТ». Подошедший сторож в порядке индивидуальной трудовой деятельности вызвался вправить мне руку. Пока сторож вправлял мне руку, его жена выстирала мою рубашку, старшая дочь починила «молнию» на брюках, а младшая побрила меня, умыла и причесала.

По дороге домой, вспомнив, что проголодался, я зашел в гастроном и встал в очередь к молочному отделу. Когда до прилавка оставалось два человека, продавщица закричала на весь зал:

— Касса! За молоко и творог не выбивай!

На что кассирша закричала тоже через весь зал:

— А я и не выбиваю! У меня хомут полетел!

В тот момент я и подумал о начавшейся эпидемии. Догадка моя нашла неожиданное подтверждение утром следующего дня, когда я пришел на работу. Сотрудники вели себя двояко. Одни радовались, другие плакали. Независимо от пола. Экспедитор, стрельнув сигарету, тихо сказал мне, что этой ночью скоростно скончался начальник отдела. Известие подкосило меня окончательно. Начальник отдела никогда ни на что не жаловался, не пил, не курил, не жизнелюбовствовал, по утрам бегал, по средам ходил в сауну...

— Что врачи сказали? — спросил я экспедитора.

— Хомут полетел, — сказал экспедитор и воспроизвел губами звук вылетевшей из бутылки пробки.

Я уже не сомневался в какой-то дьявольской эпидемии и с ужасом ждал худшего... В ночь со вторника на среду на подходе к городу сошел с рельсов электровоз. Чудом спасшийся машинист заявил корреспонденту «Гудка»: «Все было нормально, и вдруг в тормозной системе хомут сначала поплыл, а потом и вовсе полетел».

В четверг в разгар рабочего дня, когда практически весь город отдыхал и дышал свежим осенним воздухом, произошел чудовищный взрыв на макаронной фабрике, и два района завалило макаронами. Сотрудники мои шарахались в разные версии вплоть до террористического акта. Но я сказал сразу:

— Хомут полетел.

Когда правительственная комиссия сделала сообщение, что «непосредственной причиной взрыва явился полетевший хомут из-за недозасыпки муки в макаронную массу», меня сначала хотели судить за то, что я знал заранее и не сообщил, но потом наградили...

Жизнь, однако, шла своим чередом, брала свое, и в третью субботу октября я бракосочетался с самой прекрасной женщиной земного шара. В тот же вечер мы отпраздновали грандиозную свадьбу. Гости разошлись часа в четыре ночи, пожелав нам счастливой семейной жизни. Мы вышли на балкон, и я обнял ее, испытывая трепет и нежность, физически ощущая понятие «любовь», которое казалось уже и не столь девальвированным. Слова нам были не нужны... Наваждения последнего времени уменьшались, скукоживались и постепенно теряли смысл. И нас растреяла в своем молчаливом достоинстве Природа, которая в высшей гармонии движения не может ни остановиться, ни опоздать, ни сойти с рельсов. И времена года всегда будут сменять друг друга в той целесообразной последователь-


ности, в какой это и происходит, даже если бы мы разделили год не на двенадцать, а на сто двадцать месяцев и назвали любовь словом «ненависть»...

Уже посветлело, и я различал контуры еще оставшихся на деревьях листьев. Грядущий день обещал только хорошее. И, словно недостающей нотой, вошло откуда-то сверху в совершенный аккорд такое знакомое с детства курлыкание. Я поднял голову. В предрассветном небе летела над нами, образовав характерный клин, стая хомутов...

1987

СНЫ ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА

Дурной сон

 **В**асилию Степановичу приснился странный сон, будто стал он Генеральным секретарем КПСС с супругой... И будто пошли они с утра на рынок кое-чего к обеду купить. Как раз в тот день Василий Степанович с лабрадорским президентом коммюнике должны были подписать о всеобщем невмешательстве. Ну, а после этого надо, как водится, торжественный обед дать в честь президента и всей его клики.

Тут супруга Катерина и говорит:

— Дался тебе, Василий, этот лабрадорский президент. Пятый раз приезжает, и все его обедом корми... Продуктов на них не напасешься... Голова пухнет!

А Василий Степанович отвечает ей по-государственному:

— Ты, Катерина, не права. Они нас тоже хорошо кормили... Индейку давали, ананасы в мороженом...

— Да,— говорит Катерина,— хорошую они провокацию устроили... От этого мороженого такие пятна на юбке остались — ни одна химчистка не принимает... Хоть Бурде в ФРГ звони...

А Василий Степанович опять ей по-государственному:

— Зато мы им за это мороженое ноту протеста выставили, и они нам в страну зубную пасту подбросили...

А Катерина отвечает:

— Ты мне, Василий, лапшу на уши не вешай! Пасту они нам продали за то, что ты евреев из страны выпускать разрешил... Сколько их в этом году уехало?

— Восемьсот,— говорит Василий Степанович.

— А сколько паст нам продали?

— Тыщу шестьсот,— говорит Василий Степанович.

— Вот и посчитай,— говорит Катерина.— Один еврей за два тюбика... А когда они все кончатся, чем народ зубы будет чистить?

Хотел было Василий Степанович супруге оплеуху ответить, а рука не поднимается — дело-то во сне было... Хорошо, что на рынок пришли. Смотрят, а рынок пустой. Ни единого товара нет. Один Берия в рядах стоит, мандаринами торгует. По десять рублей за штуку.

— Ах ты, спекулянт! — кричит Василий Степанович.— Ах ты, убийца!.. Да я тебя...

— Оставь его, Вася,— говорит Катерина,— его уже история осудила...

— Где товары? — не унимается Василий Степанович. — Лабрадорского президента кормить нечем!

И тут, откуда ни возьмись, подбегает директор рынка, он же министр финансов... Ну, во сне-то чего не бывает... И ласково так шепчет:

— А все товары, Василий Степанович, ваши кооператоры скупили, а от пайков вы сами отказались...

— Погорячился ты, Вася, — говорит Катерина.

А директор рынка, он же министр финансов, продолжает:

— Ну, ничего. Я этим кооператорам такой налог прогрессивный придумаю — мигом товары появятся. Рубль заработал — пять государству отдай!..

— Так они ж работать не будут! — замечает Василий Степанович.

— Заставим, — говорит министр финансов, — под конвоем заставим!

— Так ведь это уже у нас было! — кричит Василий Степанович.

— А мы завоеваний прошлого не отдадим! — говорит министр финансов.

— Что?! — кричит Василий Степанович. — Да я тебя за такие концепции...

— Руки коротки, — отвечает директор рынка, он же министр финансов. — Меня, между прочим, народ двумя третями на пять сроков выбрал!..

Неизвестно, чем бы все кончилось. Хорошо, троллейбус подошел. Влез Василий Степанович в троллейбус, поехал коммунике подписывать. А супруга встала в очередь в магазин, купила двух цыплят венгерских бройлерных, десяток яиц и пошла домой торжественный обед стряпать....

Подписал Василий Степанович коммунике с нашей стороны, и поехали они с лабрадорским президентом завод «Синий богатырь» осматривать.

Подводят их к знатному токарю-рекордисту. Работает токарь, секретные подшипники делает.

Тут лабрадорский президент и спрашивает с некоторым вмешательством во внутренние дела:

— А что, господин токарь, небось выпиваете на работе?

А токарь и отвечает:

— Не при Василии Степановиче будет сказано — выпиваю...

— Сто? — спрашивает президент.

— Могу сто.

— А двести?

— Могу и двести.

— А пятьсот?

— Могу и пятьсот.

— А литр?

— И литр могу.

— А как же работа? — спрашивает президент, совершенно опупевший.

— А нормально, — говорит токарь. — Вы же видите — работаю.

Тут Василием Степановичем овладело смешанное чувство стыда и гордости. Ну, во сне так бывает. Он и говорит:

— А сколько, токарь, ты в месяц получаешь?

— Триста, — отвечает токарь.

— А мы возьмем, — говорит Василий Степанович, — и водку по тридцать рублей сделаем. Тоже будешь пить?

— А чего ж, — говорит токарь.

— А мы не остановимся и до ста рублей повысим...

— Все равно буду.

Тут Василий Степанович завелся:

— А мы и триста рублей сделаем! Мы такие!

— Эх, Василий Степанович, — улыбается токарь, — не при президенте будет сказано... До лампочки мне ваши повышения... Вот видите этот секретный подшипник?.. Так вот он как стоил пол-литра, так пол-литра и будет стоить...

Неизвестно, чем бы все кончилось, но супруга лабрадорского президента всех выручила и говорит на чистом лабрадорском языке:

— А какого хрена вы с обедом тянете? У меня кишка с кишкой разговаривает...

И все обедать к Василию Степановичу пошли... Благо до дома недалеко было...

За обедом едва международный конфликт не случился.

Катерина на первое куриный бульон с крутым яйцом сварила. Стал президент яйцо вилкой поддевать, а оно скользит, не поддается. Хотел ложкой выловить, а оно из тарелки выскочило и по линолеумному полу в кухню запрыгало, где его кошка и оприходовала.

А Василий Степанович как раз тост за взаимопонимание поднимал...

Тут президент Лабрадора встал, красный такой, и говорит:

— Это хамство, свинство энд издевательство мне такие скользкие яйца подсовывать... Придется возобновить гонку вооружений...

Пришлось пообещать из Монголии войска вывести...

Хорошо, что во сне дело было... Ну, на том и расслабились... В общем, славно прием прошел, не считая еще одного печального инцидента. Министр культуры перебрал, заперся в совмещенном санузле, кукарекал и два часа никого не впускал. Супруга президента вынуждена была на двор бегать.

Тогда Василий Степанович министра культуры строго предупредил:

— Ты, — говорит, — Тимофеич, не в первый раз такое себе позволяешь. На женском конгрессе очередь собрал!.. На конференции неприсоединившихся стран дверь из-за тебя ломали!.. Еще раз такое сделаешь — отправлю тебя послом в Катманду!

Потом стали для высоких гостей такси вызывать... Заказ принимают только на август 1994 года, а у президента самолет утром...

Остановили левака. А он наглый такой оказался.

— Женщин, — говорит, — куда хочешь повезу. И бесплатно. Сам приплачу. А мужиков — ни за какие деньги! Я не из этих!..

Еле Катерина его уговорила. Пришлось собой пожертвовать...

Побрел Василий Степанович домой, стал в подъезд тыркаться, а лифтерша его не впускает.

— Нечего, — говорит, — по ночам с иностранцами группенсексом заниматься! Сталина на вас нету!..

«Да-а, — тоскливо подумал Василий Степанович, — надо все в этой стране коренным образом менять в лучшую сторону...»

Тут все коренным образом и поменялось... Во сне-то чего не бывает?

Как раз и проснулся Василий Степанович. Проснулся и видит: собрание продолжается, голосование началось. Ну, он руку-то и поднял...

1988

Идеологический сон



Прошлой ночью Василию Степановичу приснился странный сон, будто он решил выйти из партии... И будто он говорит супруге своей Катерине:
— Любить тебя, Катерина, буду по-прежнему, но из партии выйду.

А Катерина будто ему отвечает и почему-то по-китайски:

— Инь сюи тю мань лю пэнь хао, ти суань шань мэнь мао!

И это по-русски означает: «Козел ты, Вася!»

А Василий Степанович будто на своем стоит:

— Раз у нас больше авангардной роли и руководящей силы нет, значит, и всего остального не будет. Машину персональную отберут, санаторий отберут, паек отберут, спецполиклинику отберут... А в районную поликлинику ходить — лучше самому СПИДом заразиться.

— Ты что ж,— говорит Катерина,— и с учета снимешься?

— Конечно,— отвечает Василий Степанович.

— А кому ж я жаловаться на тебя буду, если ты опять в аморалку ударишься?

— А кому хочешь,— говорит Василий Степанович.— Хочешь — Кашпировскому, а хочешь — Ким Ир Сену. Главное, чтоб на альтернативной основе.

С этими словами Василий Степанович хлопнул дверью и вышел из партии.

Идет он по проспекту Маркса и думает, где бы теперь подходящую идеологию найти? Ведь без нее, как без сигарет — знаешь, что вредно, а хочется... К межрегионалам кинуться — так они против привилегий, к неформалам прикнуться — они молодые да зеленые. В «Память» податься — у Катерины бабушка — Бронштейн.

Так ничего придумать и не может. Вдруг видит — навстречу ему Муськин идет, бывший инструктор райкома. Тертый мужик, если его даже при Брежневе за взятки из партии исключили.

И вот смотрит Муськин на Василия Степановича и во сне будто про него все знает.

— А что, Василий Степанович,— говорит Муськин,— приходи к нам работать.

— Это куда? — спрашивает Василий Степанович.

— В мафию,— отвечает Муськин.— Я в мафии секретарем по идеологии работаю. Ты ведь в Госплане пост занимал? Вот и будешь завотделом развала экономики.

— Нет,— говорит Василий Степанович,— надоело одним и тем же заниматься.

— А начальником отдела по борьбе с организованной милицией хочешь?

— Страшно,— говорит Василий Степанович.

— Тогда иди в комитет по связям с министерствами.

— Это годится! — обрадовался Василий Степанович.

— Нет, не годится! — говорит Муськин. — Нам туда партийный кадр нужен, а ты из нее вышел... Так что извини, что встретил... Пока! Мне еще в Георгиевский зал надо успеть орден Дружбы народов получить. И исчез...

Совсем загоревал Василий Степанович и задумался: «Эх, кабы иметь пистолет, утопился бы к чертовой матери!»

А тут стемнело, и не заметил он, как очутился на площади Пушкина. Там, где «Московские новости» висят и где народ плюрализмом занимается.

Тут ему одна тетка и говорит:

— А чего ты, Василий Степанович, маешься? Сходи в Мавзолей, где когда-то Сталин лежал, расслабься, с вождем посоветуйся... Может, и полегчает...

«А и то правда», — подумал Василий Степанович и встал в очередь. Длинная очередь. Видимо, многие посоветоваться хотят. И люди, понятно, разговоры ведут разные.

— Безобразия! — говорит одна тетка с мужем. — Окаменеешь, пока туда попадешь! Шутка ли? Один на всю Москву... Да приезжих, почитай, два миллиона ежедневно... Ведь каждому хочется...

— Это верно,— вступает студент, похожий на Агузарову. — Но, говорят, с американцами договор заключили. Они обещали в одной только Москве двадцать штук выстроить...

Василий Степанович аж задохнулся. «Во,— думает,— до чего перестройщики довели! Уже святым с американцами торгуют!»

Часа через три подошла его очередь. Поднял он глаза и обомлел: вместо любимого имени реклама «Макдональдс» светится... Тогда он вбежал в этот ресторан и созвал несанкционированный митинг. Влез на стол и в мегафон закричал:

— Сограждане! Уступать дальше некуда! Или вы выбираете меня в народные депутаты, или я подаю заявление о выезде на оккупированные арабские земли!

С этими словами проснулся Василий Степанович, супругу успокоил, прочитал свежие газеты и сам успокоился: вроде все пока на месте, оснований для паники нет, и рано еще из партии выходить... И он побежал платить членские взносы.

Сексуальный сон

♀♂ Василию Степановичу приснился прошлой ночью странный сон, будто на исполнение супружеских обязанностей ввели талоны, и он эти талоны потерял. А супружеские обязанности это как раз те обязанности, которые время от времени хочется исполнять вне зависимости от религиозных убеждений, партийной принадлежности и расовых предрассудков. Даже рьяные радикалы и пацифисты нет-нет да и исполняют свои супружеские обязанности, ибо ничто человеческое им не чуждо, по меткому выражению Маркса, который и сам по меньшей мере раз тринадцать эту обязанность исполнил. Ну и, понятно, Василий Степанович не был исключением. Тем более во сне, когда человек целиком оказывается под властью подкорки. И вот будто обращается Василий Степанович к своей супруге:

— Товарищ Катерина, я к вам по сугубо личному вопросу из области укрепления связей и внешних сношений.

А Катерина ему и отвечает:

— Извольте, товарищ, предъявить талон на апрель месяц, и я вам его надлежащим образом отоварю без всякого обсчета и недовеса.

Тут Василий Степанович начинает объяснять, что он, мол, эти талоны потерял, и просит отпустить ему в счет будущего месяца или на худой конец по грабительской кооперативной цене. Но супруга его Катерина твердо стоит на своем, мол, государство эти талоны не для баловства ввело, а для плавного перехода к планово-рыночным отношениям, для борьбы со спекуляцией и теневой экономикой с целью удовлетворения потребностей населения по польскому варианту. И требует от Василия Степановича талон.

И вот Василий Степанович в крайне подавленном состоянии будто бы идет к своему старому другу, пенсионеру всеозного значения Петушкову, и говорит:

— Ты, Петушков, свою последнюю обязанность лет пятнадцать тому назад исполнил, и талоны твои зазря, можно сказать, пропадают...

А Петушков и отвечает:

— Ради Бога, Василий Степанович, но у меня талоны особые, пенсионные, розового цвета. По ним только поцелуи в лоб получать можно.

Расстроился Василий Степанович и пошел по Цветному бульвару в сторону рынка. Идет, голубям завидует... Вдруг останавливается перед ним автомобиль «вольво», и из него Василию Степановичу кто-то ручкой машет. Смотрит — это его друг

старинный по профсоюзам. Василий Степанович к нему, мол, так и так, мол, талоны потерял.

А друг старинный и говорит:

— Мы с женой семь лет в Африке отбарабанили, так что нам теперь эти талоны без надобности. Бери сколько хочешь, но они инвалютные. По ним только в «Березке» обслуживают.

— Мне, — говорит Василий Степанович, — много не надо. Мне и одного хватит до мая протянуть.

И помчался в «Березку». А там очередь. Негры стоят, южные корейцы. У дверей амбал талоны проверяет. Подходит очередь Василия Степановича. Амбал и говорит:

— Ты откуда?

— Из Африки, — говорит Василий Степанович. — Семь лет отбарабанил. Приехал вот... обязанность супружескую исполнить. Имею право.

А амбал отвечает:

— А супруга твоя где? Её что, гиппопотам съел? У нас тут только со своими женами обслуживают. Это тебе «Березка», а не публичный дом!

Стал Василий Степанович супругу по телефону вызывать, а она ни в какую:

— Я, — говорит, — тебе не путана, чтоб на конвертируемые талоны собственному мужу принадлежать! Приходи домой! Я щи из квашеной капусты сделала. Поешь, и полечает!

Совсем тошно стало Василию Степановичу. «Вот, — думает, — какая социальная несправедливость! Стоишь, можно сказать, свое недополучаешь, а в это время какой-нибудь негодяй твоим талоном пользуется...

Побрел он на телеграф, стал брату в Вильнюс звонить.

А брат по телефону и говорит:

— Мы отделяться задумали, и наши талоны действуют только на территории Литвы по удостоверению личности. Так что в крайнем случае пусть Катерина сама в Вильнюс приезжает. Мы здесь её отоварим.

Но на это Василий Степанович брату твердо заявил, что отделяться, конечно, ваше право, но на неконституционные штучки Ландсбергиса он не клонет. И решил в горькое посоветоваться. А ему там и говорят:

— Вот ты поспешил из партии выйти, а нам на это дело спецталоны выдали.

И показывают ему спецталон в целлофане. А на талоне написано: «Всюду и со всеми и даже в условиях Крайнего Севера».

Дико закричал во сне Василий Степанович и проснулся. Яичницу пожарил, рубашку надел и, забыв про всякие супружеские обязанности, побежал в магазин отоваривать талоны на сахар.

Кошмарный сон



Василию Степановичу приснился странный сон, будто всех аппаратчиков вместе с домашними посадили в автобусы с надписями «Не дразнить», «Не кормить», «Руками не трогать» и отвезли на необитаемый остров. Василия Степановича с его супругой Катериной тоже, понятно, захватили. Вот живут они день, живут два, чувствуют — есть хочется. Тогда главный аппаратчик собирает совещание и говорит:

— Переходим к вопросу о повышении нашего благосостояния. Прежде всего давайте возьмем власть в свои руки.

Тут началась толкучка и давка. Каждый норовит побольше урвать.

Супруга Катерина кричит:

— Больше пяти лет в одни руки не давать!

А Главный аппаратчик в рупор орет:

— Не толпитесь, товарищи! Власти у нас много! Всем хватит! Представителям бывшего союзного, республиканского и областного масштаба власть привезут на дом в спецпайках по себестоимости!

Через семь минут всю власть расхватили. Василию Степановичу какие-то ошметки достались — «ответственный секретарь комиссии по организации похорон вторых секретарей южной оконечности острова». Василий Степанович настолько расстроился, что даже проснуться захотел. Хорошо — Катерина успокоила:

— Спи спокойно, Вася, не дергайся. Вторые секретари долго не живут. Мы, — говорит, — с одних поминок навар иметь будем.

А Главный аппаратчик в рупор и говорит:

— Теперь, товарищи, главный вопрос: поскольку остров необитаемый, мы должны выбрать себе народ, так как без народа мы долго не протянем! Кто за?

Ну за народ все единогласно проголосовали. Только ногами. Руки-то властью заняты.

Потом стали народ выбирать. Тут и заминка получилась — все самоотвод берут.

Главный и говорит:

— Товарищи! Кто хочет добровольно нашим народом стать?

Все молчат. Тогда Главный смотрит на Василия Степановича и спрашивает:

— Что молчишь, Степаныч? Не хочешь в народ пойти?

— Погода плохая,— говорит Василий Степанович.— А у меня ревматизм.

— Выручай,— говорит Главный.— Будь народом, а то нам заботиться не о ком. Мы тебе зарплату повысим, песни о тебе слагать будем, романы сочиним, пещеру отдельную в двухтысячном году получишь...

Тут все стали его кандидатуру поддерживать.

— Ты,— говорят,— Степаныч, самый натуральный народ и есть. Ты, говорят, народ-труженик, народ-романтик, народ-герой... И терпения у тебя хоть отбавляй... Соглашайся... А мы тебе народные чаяния сформулируем, здоровье оберегать будем...

А Главный говорит:

— Здоровье народа — наша первейшая задача! Выделим тебе одноразовый шприц, одноразовое резиновое изделие и одноразовое питание. Живи — не хочу!

— У меня опыта нет! — отбивается Василий Степанович.— Я же всю жизнь в аппарате проработал!

— Поможем,— говорит Главный.— Вот тебе «Песня о Буревестнике». Вот «Как закалялась сталь». Вот тебе песни советских композиторов, и повышай свой духовный уровень.

Тут Катерина и говорит:

— А какие у нас, у народа, права и обязанности?

— А вот вам устав,— говорит Главный.— Здесь и про права, и про обязанности написано.

Раскрыл Василий Степанович устав, начал читать: «Василий Степанович и его жена Катерина, именуемые в дальнейшем «народ», имеют право на следующие обязанности — на рождение и смерть (день прихода, день ухода считаются за один день), на сумерки, на облысение в старости, на гордость во вне-рабочее время, на небесные светила, на сани летом, на телегу зимой, на крупу, на мотыля, на опарыша...» А в конце большими буквами — **НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО НАЛЕВО.**

Не успел Василий Степанович и рта раскрыть, как его из аппарата в народ и избрали. Тут же подходит к нему хмырь с красной повязкой на рукаве и говорит:

— Вы из аппарата?

— Я из народа! — отвечает Василий Степанович с гордостью.

— Тогда покиньте заседание! — говорит хмырь.— Здесь аппарат работает, о вас, о народе, думает... И перчатки женские, что вы здесь в перерыве приобрели, извольте вернуть...

«Какой кошмарный сон!» — думает Василий Степанович.— «Надо просыпаться, пока не поздно!»

А проснуться не может... Стонет, кричит во сне... Катерина очнулась, трясет мужа, причитает:

— Родимый! Василий Степанович! Что с тобой?

А народ безмолвствует...

Вещий сон



Василию Степановичу прошлой ночью приснился странный сон, будто жена его Катерина — не Катерина, а Кристина, и будто она литовка, и будто она собралась от Василия Степановича уходить. Распечалился Василий Степанович и говорит:

— Как же ты, Кристина, решилась своего законного мужа бросить? Значит, плевать ты хотела на дружбу нашу нерушимую, на любовь пылкую? Значит, разорвать решила узы наши вечные и брачные?

А Кристина отвечает:

— Не было меж нами любви, потому как взял ты меня по принуждению, силою, воспользовавшись моей слабостью и беззащитностью. И жила я с тобой безо всякой самостоятельности, в полной от тебя зависимости.

Василий Степанович еще пуще во сне распечалился и говорит:

— Ой, зря ты, Кристина, все это затеяла. Я как раз решил изменить к тебе отношение в лучшую сторону. Самостоятельность задумал тебе дать, на руках хотел начать носить...

А Кристина на своем стоит:

— Отпусти да отпусти подобру-поздорову, не то кричать начну — скандал начнется, соседи проснутся...

Тут печаль Василия Степановича стала плавно переходить в раздражительность:

— А как же имущество наше совместное? Гардероб кто тебе купил? Полки на кухне кто навесил? Линолеум кто настелил?

— А ничего мне твоего не надо, — отвечает Кристина. — Отпусти меня в чем есть.

— А жить как будешь? — кричит Василий Степанович. — Жрать что станешь?

— Заработаю, — говорит Кристина. — Руки есть, голова есть... А в случае чего люди добрые помогут...

— А дети наши русскоязычные? — не унимается Василий Степанович. — Как мы их делить будем?

— Дети взрослые, — отвечает Кристина. — Сами решат — кому с матерью жить, кому с отцом оставаться.

Тут Василию Степановичу кровь в голову ударила. Он как заорет:

— Раз ты русского языка не понимаешь, я тебе отопление центральное отключу, газ перекрою и электричество отрежу!

Взял, отключил, перекрыл и отрезал. А сам стал по телефону звонить, с мужиками знакомыми советоваться. Набирает парижский номер:

— Алло! Миттераныч? Это Степаныч тебя беспокоит... Я по поводу Кристины... Скажи ты ей, чтоб дурака не валяла... Она тебя уважает...

А Миттераныч ему и говорит:

— Я тебя, Степаныч, уважаю... Ты мужик сильный, здоровый... Но дело это полюбовное... Как говорят у нас на Плас Пигаль, насильно мил не будешь... Вот и Гельмут со мной соглашается... Кланяется тебе... Мы с ним как раз Кристине письмецо сочиняем... Скажем ей, конечно, чтоб без истерики... Но ты тоже — стражай, покрикивай, но до мордобоя не доводи... А то мы это можем неправильно понять. Вот и Георгий из Америки звонил, говорит, на хрена нам со Степанычем из-за бабы ссориться... Ну, целую! А то у нас бургундское стынет... И у Гельмута хлопот полон рот... Объединяться решили... Чего будет — сами не знаем...

Повесил Василий Степанович трубку и стал думать. Думал, думал и решил двери в доме заколотить, чтоб Кристина сбежать не смогла. Взял молоток, взял гвозди... Вдруг, откуда ни возьмись, здоровый мужик в ботфортах и в треуголке.

— Брось, — говорит, — Василий Степанович, пустым делом заниматься.

— А ты кто такой? — спрашивает Василий Степанович.

— Я Петр, — отвечает мужик в ботфортах.

— Какой еще Петр?

— Петр Великий! Ты двери зря заколачиваешь. Я же в свое время окно в Европу прорубил. Так она через это окно выскочит...

Закричал тогда Василий Степанович в ужасе:

— Кристина! Кристина! Не уходи! Кристина!

От этого крика супруга его Катерина проснулась и говорит:


— Это что еще у тебя за Кристина завелась, кобель старый?

Тут Василий Степанович проснулся и рассказал ей про свой сон.

А Катерина и говорит:

— Смотри, какое совпадение! Мне тоже страшный сон приснился, будто ты, Вася, грузин, и будто ты со мной разводиться решил...

Сон-масон

 **В**асилию Степановичу прошлой ночью приснился весьма странный сон, будто он Левитан. Но только одного понять не может, какой он Левитан? То ли тот, что знаменитым диктором был, то ли Исаак. И вот если он знаменитый диктор, то надо немедленно бежать в радиостудию и объявлять своим знаменитым голосом или объявление войны, или от Советского информбюро, или Сталинскую премию второй степени, или на худой конец очередное, пятое по счету, снижение розничных цен. А если он Исаак, то надо сию же минуту прославить Россию своими знаменитыми полотнами.

И вот Василий Степанович спрашивает свою супругу Катерину:

— Ты чьей женой стать хочешь? Женой диктора известного или женой художника великого?

А супруга Катерина и отвечает:

— Кто бы ты, Вася, ни был, а раз ты Левитан, то ты есть некто иной, как жидомасон, а я твоя жидомасонская супруга. И должен ты сломя голову бежать к Лазарю Кагановичу, пока он еще жив, и взять у него план метрополитена, чтобы взорвать Кремль и сподить весь российский народ от Балтийского моря до Тихого океана.

От этих слов стало Василию Степановичу плохо, и решил он прогуляться, свежим воздухом подышать. Идет он по улице Горького, а навстречу кучерявый человек со смуглым лицом движется. И вот подходит кучерявый к Василию Степановичу и говорит:

— Приятно встретить на улице масонского брата. Только советую вам поближе к стенам домов держаться.

— А с кем имею честь? — спрашивает Василий Степанович.

А кучерявый отвечает:

— Мой дядя самых честных правил, а мой прадед арапом Петра Великого работал, и звали его Абрашкой Ганнибалом.

Тут Василий Степанович сразу догадался, с кем имеет дело, и преисполнился чувством огромной гордости от такого знакомства.

А кучерявый продолжает:

— Меня третий день жажда творчества мучает. Не знаете ли, где кровью христианских младенцев торгуют.

— Не знаю, — отвечает Василий Степанович. — Я с этим делом завязал. Мне спираль вшили.

— Ладно,— говорит кучерявый.— Пойду у Менделеева Дмитрия Ивановича спрошу. Может, он мне эту кровь химическим способом синтезирует.

Тут Василий Степанович и вовсе изумился:

— А что, Менделеев тоже жидомасон?

— Еще какой! — говорит кучерявый.— Не просто жидомасон, а жидомасонище! Ну ладно. Как говорится, бекицер. Пойду на телеграф, няне своей Арине Соломоновне семь сорок на мацу переведу.

Подошел Василий Степанович к площади Пушкина, а там народ группками митингует:

— Посмотрите,— кричит один в рупор,— до чего эти левитаны страну довели! Всю колбасу съели, все мыло смыли, все колготки женские на себя напялили! Даже от Политбюро чесноком воняет! Россию продали — Ельцина купили! Вспомним; как в былинах наши богатыри их били! Как Илья Муромец Еврея Горыныча победил! Как Добрыня Никитич Аидолице Поганое обезглавил!

Помчался со всех ног Василий Степанович к своему знакомому композитору Антону Рубинштейну, тоже масону известному. Тот его в рояль спрятал.

— Мне,— говорит,— Шагал из Витебска звонил. Народ о погромах поговаривает.

— Нет, до этого не дойдет,— отвечает Василий Степанович из рояля.

А Антон Рубинштейн ухмыляется:

— Видать, не зря сатириконцы говаривали — пока погром не грянет, мужик не перекрестится... Лежи здесь, пока я арию Демона сочиняю...

Заплакал Василий Степанович, а Рубинштейн его арией успокаивать начал: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно...»

От этой арии Василий Степанович и проснулся. Проснулся, а супруга его Катерина и говорит:

— Что спишь, козел старый! Тут с пятого этажа кучерявая семья в Израиль уезжает! Беги скорей в исполком! Пусть нам ихнюю квартиру отдадут!

Пасхальный сон



Василию Степановичу приснился странный благостный сон, будто Литва отделилась, а Василию Степановичу не только не обидно, но, напротив, даже приятно. И будто бы сидят они за столом — Ландсбергис, Банионис, «Жальгирис» и Василий Степанович — и в дурака режутся. А супруга Катерина их всех судаком по-польски потчует. Мирно играют, не ругаются, карты не передергивают, о плохом ни слова. А если кто не ту карту снес, ласково переругиваются... Мол, что ж вы всю бубну пронесли, риббентроп вашу мать... Или: что вы ко мне с пиками лезете? Вы что, Молотов?

А за окном благодать! Весна! Почки распустились, печень говяжья на прилавках, рубли на каждом углу конвертируются... А счастливые крестьяне на полях плоды экономической реформы пожинают. И все советские люди богатые и зажиточные, и никто никому слова худого не скажет. А если и завидуют, то только тому, кто победнее. Но эта зависть не вредная, а скорее ностальгическая. В политике плюсовая многопартийность. Сицилианская партия, партия в домино, партия колготок... И всеобщая благодать. Армяне с азербайджанцами хоро-вод водят, в Нагорном Карабахе турки-месхетинцы украинские песни спивают, а черносотенцы требуют возвращения в Россию всех выехавших жидомасонов. Потому что очень они друг без друга скучают...

Вдруг слышит Василий Степанович стук в дверь своей загородной виллы. Открывает ворота, видит, стоит Генеральный прокурор Сухарев в почтальонской форме. И протягивает, улыбаясь, конверт.

Вскрывает Василий Степанович конверт, а там письмо:

«Егор Кузьмич Лигачев имеет честь пригласить Вас на бракосочетание своей дочери с сыном Гдьяна Тельмана Хореновича. Бракосочетание состоится на даче реабилитированного и реанимированного товарища Рашидова».

А Василий Степанович спрашивает:

— А Каганович будет? А то я без Кагановича не пойду!

А Сухарев отвечает.

— Лазарь Моисеевич будет, но попозже. Он храм Христа Спасителя восстанавливает...

Надел Василий Степанович фрак от Диора, галифе, галстук столыпинский повязал и вышел с супругой своей Катериной на улицу.

Катерина вся в панбархате, на груди лифчик замшевый, на ногах сапоги со шпорами, в ушах сережки — подарок от Маргарет Тэтчер. Идут они по улице, а все вокруг праздничные, добрые, от пьянства излечившиеся, ракетеры цветочками торгуют, ни убийства, ни мордобоя... В Парке культуры и отдыха име-

ни Горького проститутки на несанкционированный митинг собрались — требуют разрешить им бесплатное обслуживание населения. Но правительство упорствует, так как это идет вразрез с рыночной экономикой.

А на Красной площади сам министр обороны на Мавзолее стоит и провозглашает:


— Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — отвечают солдаты и офицеры.

От этого всеобщего благолепия проснулся Василий Степанович и вспомнил, что наступило шестнадцатое апреля, и началась Светлая Неделя. Включил телевизор, а по нему заседание Моссовета нового созыва показывают. И надобно теперь избрать нового мэра, потому что старого мэра вдруг ни с того, ни с сего назначили заместителем Предсовмина РСФСР.

«Вот уж воистину воскрес», — подумал Василий Степанович и окончательно пробудился от чудесного сна.

XXVII (исторический) сон

Василию Степановичу прошлой ночью при снился совсем странный сон, будто после смерти Ленина власть захватил не Сталин, а Троцкий — пламенный трибун революции, любимец партии, ближайший соратник горного орла. Ну и Сталину вроде бы ничего не оставалось, как сколотить оппозицию и пытаться доказать, что линия Троцкого на приоритет тяжелой индустрии с одновременной коллективизацией ошибочна. И за это будто бы Троцкий Лев Давыдович страшно Иосифа Виссарионовича возненавидел и в конце концов выслал трибуна революции из страны, а имя его было вскоре проклято.

А Троцкий начал всю власть узурпировать и с противниками расправляться... Окружил себя послушным аппаратом, создал атмосферу страха и подозрительности и начал расправляться со всеми политическими противниками. Короче говоря, извратил марксизм-ленинизм, подмял под себя всех честных и принципиальных членов партии, которые все понимали, но говорить вслух боялись, и стал культивировать свою личность. А потом начались процессы и массовые репрессии. Молотова, Кагановича и Калинина Троцкий объявил врагами народа и расстрелял. Потом жертвой политических интриг стал верный ленинец Берия, и вскоре миллионы невинных оказались в троцкистских лагерях. А незадолго до войны по приказу Троцкого была уничтожена вся верхушка талантливых военачальников. Погибли такие выдающиеся полководцы, как Ворошилов, Буденный, Тимошенко, что потом сказало в первые дни войны. Но больше всего великий вождь всех народов, учителей и физкультурников ненавидел по-прежнему Сталина. В конце концов незадолго до войны Сталин был убит в Мексике агентом ЧК. В Политбюро вокруг Троцкого сгруппировались Каменев, Зиновьев, Бухарин и Микоян, в искусство и литературу имя Троцкого начали возводить до небес... Известна, например, знаменитая картина, на которой изображен Троцкий с Мамлакат Наханговой на руках. Горького Троцкий не любил, хотя однажды сказал про его сказку «Девушка и Смерть», что эта штука посильнее Фауста Гёте. Потом Троцкий организовал убийство Кирова, репрессировал почти весь семнадцатый съезд, стал курить трубку и говорить с грузинским акцентом. Дошло до того, что даже в государственном гимне появились такие строчки: «Нас вырастил Троцкий на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил»... На улицах и в парках люди распевали: «Когда нас в бой пошлет товарищ Троцкий, и первый маршал в бой нас поведет».

Умер Троцкий пятого марта 1953 года у себя на даче. Похороны его вылились в массовую скорбь и истерию, о чем впоследствии расскажет Евтушенко в художественном фильме «Похороны Троцкого». Затем Василию Степановичу приснилось, что культ личности Троцкого попытался низвергнуть Хрущев, но до конца у него ничего не вышло, так как в сохранении всей системы были заинтересованы такие верные троцкисты, как Сулов, Брежнев и Зиновьев, который, кстати, до сих пор жив и подвергается постоянным нападкам общества «Память».

Продолжая видеть свой странный сон, Василий Степанович с сожалением отметил, что перестройка до сих пор продвигается медленно еще и потому, что троцкизм в сознании людей пустил глубокие корни. За возврат к троцкистской системе выступает Нина Андреева. В грузинском городе Гори до сих пор стоит большой памятник Троцкому и открыт музей его имени. Соратники Сталина — Молотов, Каганович и Калинин сейчас политически реабилитированы. Сам же Иосиф Сталин по-прежнему считается врагом Ленина и оппортунистом, хотя имя его все чаще появляется в печати и средствах массовой информации.

Конечно, во сне Василий Степанович понимал, что не все еще ощущают зловещую роль Троцкого в истории партии и государства.


Вот даже супруга его Катерина говорит, что при Троцком и дисциплина была, и продукты были, и цены снижались... А, главное, люди верили в светлое будущее... Не то что сейчас, когда и в прошлом-то никакой уверенности нет... Но во сне Василий Степанович понимает, что эта точка зрения вредная, и что если бы Троцкий не довел страну до такого состояния, то, может быть, и не надо было бы сегодня ничего перестраивать. И вот будто бы в том же сне Василию Степановичу приходит в голову странная мысль: а что было бы, если после смерти Ильича к власти пришел бы не Троцкий, а Сталин...

От этой мысли Василий Степанович проснулся, взглянул в окно и подумал: «Какая иногда чертовщина во сне ни пригретится!»

1990-е годы

В ОГОРОДЕ — БУЗИНА, В КИЕВЕ — ДЯДЬКА

1. Депрессия

 **В** одно совершенно замечательное зелено-голубое утро, когда капельки росы на травяных стеблях уже начали испаряться, а капельки пота на носках двух совершенно замечательных людей появились, когда одна рука устала насаживать червячков на крючок, а другая утомилась тасовать карточную колоду, когда с одной ноги уже был снят взопревший носок, а другая уже перестала гладить бархатистые ягодицы случайной знакомой, когда верхнее давление уже упало до ста двадцати, а нижнее еще не поднялось до восьмидесяти, когда в одном желудке уже приступил к перевариванию свежескопченный угорь, а в другом еще не закончился процесс наслаждения соком папайи, когда мгновение уже почти остановилось, потому что стало почти прекрасным, если верить Гёте, один из упомянутых совершенно замечательных людей, мечтательно глядя в заокеанскую даль в сторону зюйд-веста и почесывая промежность с юга на север, произнес:

— А у меня бузина в огороде...

Второй, не менее замечательный человек, используя свое право на абсолютное равенство, смахнул рукавом патриотические слезы и, проглотив ностальгический ком, тоже произнес:

— А у меня дядька в Киеве...

Принять бы первому эту информацию к сведению и утешиться философской истиной — «каждому свое», — которую гваривали спустя тысячи лет нацисты и которая была бы не столь ужасной, если бы не висела на воротах концлагерей... И, возможно, сморил бы его сладкий сон, увидел бы он во сне и огород свой, и милую сердцу бузину...

И по размякшим в счастливой улыбке губам ползала бы безобидная муха, которая в те времена еще не была переносчиком заразы...

И вполне возможно, что второй, повздыхав-повздыхав, тоже бы затих в умилении, предвкушая скорую встречу с дорогим дядькой на родной Киевщине...

Но ничего этого, увы, не произошло, и первый, корнями своими сросшийся с корнями бузины, преисполненный гордости, сказал вдохновенно:

— Но вы даже не представляете, какая у меня в огороде бузина!..

А второй, по-прежнему считая себя не ниже первого, а своего дядьку — не хуже бузины, тоже сказал и тоже не менее вдохновенно:

— А вы даже и вообразить себе не можете, какой у меня в Киеве дядька!..

На горизонте появились облачка, подул ветерок, и первый заметил с некоторой ухмылкой:

— Если б вы увидели мою бузину в огороде, вы бы забыли про своего дядьку в Киеве.

Второй в ответ тоже заметил и не без самодовольства:

— Да если бы вы хоть издали взглянули на моего дядьку в Киеве, вы бы перестали поливать свою бузину в огороде за ненадобностью.

Первый свернул сигарку, нервно зачиркал спичками, закурил с третьего раза, затаился и выдохнул:

— Бузина наша, между прочим, поглощает углекислый газ, а выделяет кислород. Под сенью ее, между прочим, могут отдыхать в жаркий день трудящиеся, плодами ее, между прочим, если выплевывать через трубочку, можно сбивать птиц и летательные аппараты... Табачок, между прочим, тоже бузинный...

Второй поморщился, отгоняя табачный дым, и ответил:

— А наш дядька поглощает кислород, а выделяет углекислый газ. Так что ваша бузина питается тем, что выделяет наш дядька. Поэтому наш дядька первее... И его трудящимся отдыхать вообще не нужно, потому что работа у нас — лучший отдых... И не курит наш дядька совсем...

Солнце заволокло тучами, и два совершенно замечательных человека незаметно перешли на «ты».

— А мы из коры нашей бузины горшочки делаем, а твой дядька, между прочим, их за валюту покупает!

— А мой дядька, чтоб ты знал, и все наши трудящиеся в эти горшочки ходят! А вы это покупаете и удобряете свою бузину! Поэтому и табак твой пахнет тем, чем наш народ ходит!..

— А потому что твой дядька и все ваши трудящиеся — засранцы!

— А вы на бузине негров вешаете!

— А я тебе за такие слова глаз на задницу натяну!

— А я из твоего носа хобот сделаю!

Но в это время хлынул такой свирепый ливень, что два совершенно замечательных человека побежали в разные стороны.

Вечером этого же дня, упаковав чемоданы, они покинули международный дом отдыха «Дружба». Одного «Боинг-747» глубокой ночью приземлил в Огороде. Другой на «Каравелле» произвел мягкую посадку в Киеве...

2. Конфронтация и «холодная война».

Сообщение в газете «Огородное пугало».

Вчера регент-министр Огородной Федерации г-н Турнепс вручил послу Дядьковского Объединенного Королевства ноту протеста. В ноте, в частности, говорится: «Определенные круги ДОК в последнее время раздувают разнузданную антиогородную кампанию, направленную на дестабилизацию в сопредельном регионе. Особому смакованию подлежит пресловутая «фекальная» проблема. Правительство ОФ считает, что использование так называемых фекалий в народном хозяйстве является сугубо внутренним делом народа ОФ, и развернувшаяся истерия в данном вопросе есть не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Грязная шумиха, поднятая в ДОК, может привести к непредсказуемым последствиям, ответственность за которые целиком ляжет на правительство ДОК.

От Комитета Королевской Безопасности ДОК.

В течение последнего времени на территории Дядьковского Объединенного Королевства действовала шпионская группа, засланная из Огородной Федерации. Засланцы методом подкупа и шантажа пытались пронюхать секреты производства естественных отпращиваний нашего народа. Благодаря четким действиям сотрудников ККБ ДОК подлые диверсанты были арестованы, а затем и пойманы с поличным. Ведется следствие, в ходе которого все преступники сознаются.

У К А З

Федерального Огородного Совета

«За выдающиеся заслуги в деле выращивания Великой Бузины, за героизм и массовое самопожертвование наградить Огородный народ орденом Бузины и впредь именовать его «Великий ордена Бузины Огородный народ». Орден вытатуировывается у каждого жителя Федерации ниже пупка, что дает право на внеочередное обслуживание всех видов по предъявлению».

ВЕРДИКТ

*Дядьковского Объединенного Королевства
о присвоении Его Высочеству Дядьке звания Любимого*

За всемерную заботу о благе народа, за блестящие достижения в борьбе за мир и усиление военной мощи Объединенного Королевства присвоить Его Высочеству Дядьке звание Любимого и установить в Киеве на родине героя бронзовый бюст его супруги.

*Фрагмент Речи Главного Писателя Огородной
Федерации на 181-м съезде огородных писателей*

...до сих пор наши огородные писатели в неоплатном долгу перед матушкой Бузиной. А ведь мы все, по сути дела, ее благородные плоды. Что греха таить, есть среди нас горе-поэты и горе-прозаики, которые уповают на иностранные растения и культуры. Беспольные стихи о розах, сентиментальные сюсюканья об акациях, интеллигентские брюзжания об опавших кленах, наконец, сексуально-порнографическая поэзия о случайной связи между дубом и рябиной... Гнать, гнать и гнать из наших рядов всяких «патиссонов» и «пастернаков»! Пора, наконец, понять, что только корни и соки бузины — животворные источники нашего творчества...

*Отрывок
из «Кантаты о Любимом Дядьке»*

муз. лауреата Дядьковской премии
М. Трехнутовой
сл. Б. Одноглазова

Вдохновенно, не спеша.

Мой Дядька самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он Тетке свой пример поставил
И лучше выдумать не мог.
Бывает, немощь нас тревожит,
И врач не в силах нам помочь.
Зовите Дядьку — он поможет.
Зимой и летом, днем и ночь.
Кукушка скачет по болоту,
Остался сирота-птенец.
А это Дядькина работа,
Его Любимый он отец.
Котенок молоко лакает,

Не знает горя и забот.
А Дядька кошечку ласкает.
Ведь Дядька наш — великий кот!
Козленок в чистом поле блеет.
Он мирный признак наших сел.
А Дядька козочку жалеет.
Ведь если надо — он Козел!
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит.
Наш Дядька счастья не ищет —
Он просто в лодке с Теткой спит!..

*Из учебника грамматики
для четвертых классов Огородной Федерации.*

«Выдающаяся работа выдающегося огородного лингвиста, регента-министра С. Турнепса является выдающимся достижением мировой лингвистики. Выдающееся исследование маточного свойства слова «бузина» оказало выдающееся воздействие на дальнейшее развитие всех языков мира. Немного существует на земле слов, от которых произошли все другие слова. Выдающийся лингвист 19 лет изучал словари мировых языков и пришел к выдающемуся открытию.

«Бузина» происходит от слова «буза», что означает «шум», «гам», «революция». Таким образом, революционный смысл «бузины» находит свое лингвистическое подтверждение. В дальнейшем по мере развития цивилизации «бузина» своей корневой основой «буз» породила многие слова, которые мы сегодня пишем и произносим, не задумываясь над их происхождением. Возьмем лишь некоторые: БУЗотер, аркеБУЗа, ар-БУЗ, БАЗар (раньше говорили «БУЗар»), троллейБУЗ, автоБУЗ, глоБУЗ, БУЗгалтер и т. д.

Венцом выдающегося открытия является доказательство фантастического синонимизма: слово «бузина» и слово «царица» — синонимы!! Сегодня эта лингвистическая теорема, не уступающая по сложности теореме Ферма в математике, выглядит просто. Но все человеческое просто.

А сколько за этим бессонных дней, ночей и лет!.. Гениальный регент-лингвист неопровержимо доказал, как, постепенно заменяя в слове «бузина» одну букву, можно в семь этапов получить «царицу»!!

Бузина — Кузина (жена кузена) — Казина (славянская женская фамилия) — Калина (ягода) — Малина (тоже ягода) — Марица (имя полячки Мнишек) — Марица (оперетта) — ЦАРИЦА!!

Поистине БУЗИНА — ЦАРИЦА! Это вам не какой-нибудь доморощенный «дядька», который неизвестно от чего пошел и от которого ничего нового не образуешь!»

*Интермедия и политико-сатирические частушки
из программы торжественного концерта,
посвященного 70-летию Любимого Дядьки*

Первый. Что у тебя в руках, Фима?

Второй. Репа!

Первый. Репа? Где ты достал репу, Фима? Это же дефицит!

Второй. Я ее не достал! Я украл ее у одного честного огородника!

Первый. Фима! Что я слышу? Ты украл репу у честного огородника, как последний вор!

Второй. Как сказал наш Любимый Дядька, самый последний дядьковский вор честнее самого честного огородника!

Первый. Молодец, Фима! Тогда давай споем!

(Поют.)

На Огород их глядя,

Сказал Любимый Дядя:

На ихний Огород мы наплоем!

На ихнем Огороде мы даже не присядем,

И даже, извините, не польем!

Наши кактусы!

Наши фикусы!

Бузи-накося!

Бузи-выкуси!

*Выступление рабочего VIII парникового хозяйства на
митинге под кроной Бузины шестнадцатого числа*

Мы, простые труженики VIII парникового хозяйства, с гневом и возмущением узнали весть о пиратском захвате мирной овощной баржи в нейтральных водах. Вооруженные до зубов дядьковские варвары вчера вечером захватили нашу баржу с мирными помидорами и зверски надругались над ними. Озверевшие тираны топтали их ногами, а наиболее зрелые были обесчищены. От имени всех тружеников VIII парникового хозяйства мы требуем палачей к ответу и заявляем им свое решительное «НЕТ!». Глубоко поддерживаем и одобряем пред-

принятые нашим родным правительством ответные меры! Все, как один, защитим нашу великую матушку Бузину до последней ветки!

Сообщение Дядьковского радио

Сегодня на рассвете огородные троглодиты совершили неслыханное злодеяние. Фальсифицируя факты вокруг так называемого «помидорного инцидента», мотивируя якобы «ответными мерами», огородные изуверы схватили ни в чем не повинного племянника Любимого Дядьки, бывшего культурным атташе в Огородной Федерации, и, попирая все нормы международного права, закармлили его до смерти помидорами! В этот тревожный час мы все, как один, должны еще теснее сплотиться вокруг Любимого Дядьки, вокруг его ума, чести и совести. Презрение и смерть огородным вандалам!

Под знаменем Любимого Дядьки, по советам матери Тетки сделаем из каждого огородника огородное чучело!

3. Вооруженный конфликт

Из центральных газет одного нейтрального государства.

Киев. По сведениям Комитета Оборона Дядьковского Объединенного Королевства, сегодня после завтрака войска Объединенного Королевства перешли границу Огородной Федерации на всем протяжении и вторглись на глубину от двух до пятисот километров. Затаптано свыше восьми тысяч гектаров пашни, захвачено четыреста пятьдесят овощей и бронетранспортеров...

...Огород-сити. По сведениям Верховного Командования Огородной Федерации, сегодня утром федеративная армия натошак пересекла границы Дядьковского Королевства по всему фронту и находится в двух трамвайных остановках от резиденции Любимого Дядьки на Подоле. Захвачено в воздухе четыреста боевых самолетов. Войска Огородной Федерации потерь не имеют...

Нью-Йорк. Как стало известно, сегодня в 14 часов полудни состоялось экстренное заседание Совета Безопасности по обсуждению встречных жалоб двух воюющих стран, обвиняющих друг друга в неспровоцированной агрессии. Выступивший на заседании представитель СССР потребовал немедленного взаимного прекращения огня с последующим решением конфликта за столом переговоров. В случае отказа советский

делегат пригрозил полным прекращением поставок оружия обеим воюющим сторонам. Большинством голосов Совет Безопасности принял советскую резолюцию. Делегат Эфиопии наложил полное вето.

Белград. По неподтвержденным данным, вчера авиация огородников нанесла превентивный атомный удар по столице Дядьковского Объединенного Королевства. По сообщениям Огородного агентства, Дядька и Тетка погибли. Столица стерта с лица земли.

По сообщениям Дядьковского радио, жертв и разрушений нет.

Пхеньян. Корреспондент Дядьковского радио в Корее подтвердил, что по территории Огородной Федерации нанесен мощный ядерный удар с помощью ракет типа «Земля — Земля», после чего такие понятия, как Огород-сити и матушка Бузина, остались в истории как воспоминание.

По данным Огородного агентства, жертв и разрушений нет.

Лондон. Сегодня в полдень в Лондонском аэропорту Хитроу приземлился воздушный шар, в корзине которого находятся Любимый Дядька, Тетка, а также другие члены семьи и правительства ДОК. Как уже сообщалось ранее, Дядька накануне в спешном порядке покинул столицу своего государства. Спустя час в Лондон прибыл бежавший из Огород-сити Регент ОФ г-н Турнепс. Оба правителя заявили по прибытии о своем решении переселиться в Лондон, чтобы отсюда руководить действиями своих войск.

Правительство Великобритании решило предоставить политическое убежище главам воюющих стран.

Нью-Йорк. Здесь вновь в экстренном порядке собрался Совет Безопасности с тем, чтобы обсудить положение в воюющем регионе. В результате была принята резолюция советского делегата, в которой, в частности, говорится:

1. В связи с тем, что войска Дядьковского Объединенного Королевства полностью оккупировали территорию Огородной Федерации, а войска Огородной Федерации полностью оккупировали территорию Дядьковского Объединенного Королевства, считать дальнейшие военные действия бессмысленными и прекратить огонь после ужина.

2. В целях последующего мирного развития двух стран переселить оставшееся население Дядьковского Объединенного

Королевства на земли Огородной Федерации, а оставшееся население Огородной Федерации переселить на земли Дядьковского Объединенного Королевства.

3. Провозгласить столицей Дядьковского Объединенного Королевства гор. Огород-сити.

4. Провозгласить столицей Огородной Федерации гор. Киев-таун с перенесением на Подол матушки Бузины.

5. Провести в обоих государствах свободные выборы.

6. Для поддержания порядка дислоцировать в приграничных районах ограниченный контингент войск Казахской Республики.

Резолюция была принята большинством голосов. Делегат Эфиопии сначала воздержался, но потом наложил полное вето.

РЕЧЬ

Регента г-на Турнепса, произнесенная им на обеде в честь главы Дядьковского Объединенного Королевства по случаю 60-й годовщины со дня заключения Мирного договора между двумя странами.

«Дорогой Любимый Дядька!

Дорогая Тетка!

Товарищи!

60 лет минуло с того дня, как между нашими народами началась вечная нерушимая дружба. Постепенно уменьшаются подозрительность и взаимоненависть. Увеличиваются смешанные браки. Возрастает торговый оборот на паритетной основе. На каждые пять ваших помидоров приходится пять наших народных удобрений. Отменены таможенные тарифы на переход через границу крупного рогатого скота. В будущем году будет полностью разрешен проплыв всех видов красной рыбы для нереста. Завершается процесс передачи лагерей военнопленных в ведение профсоюзных здравниц. Желаю Вам, дорогой Любимый Дядька, кавказского долголетия в труде и сибирского здоровья в личной жизни! Шлепнем!»

(Речь г-на Турнепса была выслушана и неоднократно прерывалась.)

4. Идиллия

...Международный дом отдыха на знаменитых болгарских «Золотых песках» начинал свою обычную вечернюю жизнь. Полтора часа назад на летней эстраде закончился концерт популярного советского певца и депутата съезда. Головные боли

постепенно стихали, успокаивалась изжога, и вспоминать как-то не хотелось. На двух смежных балконах четырнадцатого этажа главного корпуса стояли, держась за перила, двое отдыхающих и плевали вниз на меткость в специально высаженные для этой цели гладиолусы. Спать не хотелось, а не спать было скучно. Поцыкивали цикады. Покусывали комары. Нигерийский полковник с девятого этажа задумчиво надувал презерватив. В реликтовом лесу надрывно кричала девушка. По линии горизонта медленно проплывали уютные огоньки чартерного теплохода, вызывая тихую грусть и чувство оторванности от семьи. И один из плюющих произнес как бы не для него, а скорее для самого себя:

— А у меня бузина в Киеве...

Эта выдохнутая в душное пространство фраза, видимо, всколыхнула что-то, задела сокровенное, разбередила, и второй сказал:

— А у меня дядька в огороде...

1989

ПРОТОКОЛ

заседания по выборам главврача
в психиатрической больнице № 6.

Председатель. Многоуважаемые господа, товарищи, ученые, наполеоны, стахановцы, юлии цезари, изобретатели, шостаковичи, физики и шизики! Сегодня нам предстоит важное мероприятие. Мы должны выбрать себе главврача нашего общего, родного всем нам, любимого дома. Рад сообщить, что на нашем заседании присутствуют представители обеих палат — мужской и женской, а также большой отряд наших добрых друзей-санитаров в качестве наблюдателей с правом совещательного и решающего голоса. Все мы здесь собрались, объединенные хотя и разными, но единственными мыслями, тронутые личными заботами. Жизнь наша с каждым днем становится все лучше и лучше, поэтому отступить дальше некуда.

Голос из зала. Разрешите вас перебить?

Председатель. Пожалуйста.

(На сцену из зала взбегает возбужденный мужчина и пытается палкой перебить весь президиум. Санитар в солдатской одежде делает ему успокаивающий укол штыком. Мужчина успокаивается).

Председатель. Товарищи! Кому неинтересно, тот может выйти. Мы никого не держим. Закройте там двери на ключ и никого не выпускать! Демократия должна быть для всех!.. Я продолжу. У нас, товарищи, много нерешенных вопросов. Это и экология туалетов, и борьба с дистрофиками, и хроническая нехватка смиренных рубашек... Кое-что, конечно, решается. Скажем, белок, соли и сахар в анализах будут выдаваться только по талонам... *(облегчение в зале, аплодисменты, недержание)*. Многое нам всем и новому главврачу предстоит в деле дальнейшего повышения качества галлюцинаций. Приходится признать, что до сих пор в наших галлюцинациях мы видим только мрачное темное прошлое. Светлое будущее видят только персональные пенсионеры, да и то в алкогольном бреду. Нет нужды говорить, что выбранный нами главврач должен быть из нашей среды.

Голос из зала. Протестую!

Председатель. Слово просит товарищ с биркой № 18.
Голоса. Не дава-ать!

Председатель. Я вас понял, товарищи! Слово имеет бирка № 18.

№ 18. От предложения председателя выдвинуть главврача из нашей среды попахивает застоем. Почему именно из нашей среды? А четверг? А понедельник? А вторник? Они что, не наши?

Председатель. Представьтесь, пожалуйста.

№ 18. Пятница. Депутат от сто восьмого необитаемого острова. Выдвинут Робинзоном Крузо единогласно. Предлагаю в порядке альтернативы на должность главврача свою кандидатуру, но прошу дать мне самоотвод, так как по субботам я не работаю по религиозным соображениям.

Председатель. У вас все?

Пятница. Все.

Председатель. Тогда идите на место.

Пятница. Но я еще не все сказал.

Председатель. Блям-блям-блям! Я лишаю вас слова! Говорите!

Пятница. Вот теперь все. *(Идет на место, оставляя мокрые следы.)*

Председатель. Пока подготовят трибуну для следующего оратора, прошу голосовать за предложение депутата Пятницы. Кто «за», поднимите ногу!

Голоса. А у кого две ноги?

Председатель. У кого две — протяните ноги.

Женщина из зала. Надо выбрать счетчика!

Председатель. Ценное замечание.

Женщина из зала. Предлагаю нашего бухгалтера.

Председатель. Товарищи! Конечно, исходя из логики нормального человека, на должность счетчика надо выбрать бухгалтера. Но мы должны учитывать специфику нашего заведения. Верно я говорю? Поэтому у нас счетчик должен быть прежде всего честным и объективным человеком. Вот я тут между собой посоветовался и решил. На должность счетчика предлагаю нашу повариху Баранину. Свирина Петровна, поднимитесь со своего места!

Голоса. У нее три места!

Председатель. Поднимите ее, товарищи! Свирина Петровна, посчитайте, кто за предложение депутата Пятницы...

Свирина Петровна. Считать вслух или про себя?

Председатель. Про себя.

Свирина Петровна. Про себя так скажу: я считаю, что каждый человек свыше восьмидесяти килограмм должен воздержаться...

Председатель. Это почему же?

Свирина Петровна. Воздержаться хотя бы от полдника... В пользу наших дистрофиков. Недавно я принесла обед в палату дистрофиков. Один из них меня спрашивает: «Нина...» Он, товарищи, такой слабый, что «Свирина Петровна» выговорить не в силах... Вот он и говорит: «Нина... А кашу на одного дали или на двоих?» На одного, говорю. «А какого хрена ей надо?» Кому, говорю. «Да муже».

Председатель. Это правильно. Хапугам, которые хотят урвать от народного пирога, давно пора дать по лапам... Это вопрос особый... Мы к нему еще вернемся, а вы пока просто посчитайте, кто «за».

(На трибуну вспрыгивает мужчина в смирительной рубашке)

Председатель. Развяжите оратора... И выньте у него кляп изо рта... Гласность так гласность... Представьтесь, товарищ.

Оратор. Фельдмаршал фон Шмерц, семьсотдевятнадцатый национально-территориальный округ, Кенигсберг, Восточная Пруссия. Взят в плен в качестве языка в 1944 году. Представляю Калининградскую область, председатель колхоза «Гитлер капут!»... Вчера ночью я вышел из палаты по малой нужде...

Председатель. Товарищи, мне думается, настало время разобраться в терминологии. Пора уже изъять из нашей терминологии это унижительное выражение «по малой нужде»... У нас нет «малых нужд»... У нас есть «малочисленные нужды»...

(Веселое оживление в зале, одиночные выстрелы)

Фон Шмерц. И вот я вышел из палаты по... малочисленной нужде... Но у дверей с двумя нулями меня грубо оттолкнула Екатерина Вторая и закричала: «Подождешь, фашист порхатый! Я — по многочисленной нужде!»... Герр Председатель! По-моему, у нас все нужды равны!..

Председатель. Мне думается, у нас не может быть личных нужд. Все наши нужды — общие, и справлять их надо всем миром...

Голоса. Позор! Позор!

Председатель. В чем дело, товарищи?

(На трибуну выходит человек в парике)

Человек в парике. Я физик. Меня зовут Исаак Ньютон. Я говорю от имени восемнадцати ученых, живущих в этой самой палате с двумя нулями, о которой говорил уважаемый фельдмаршал. В нарушение всех правовых основ со всех этажей нашей необъятной лечебницы к нам приходят со своими нуждами. В результате этого всемирного тяготения в палате стоит невероятный радиационный фон со всеми вытекающими последствиями. И все это из-за того, что кто-то из вышестоящих в своих личных целях отвинтил единицу от номера на дверях нашей палаты, которая до этого была палатой № 100! Мы требуем вернуть нашей палате ее прежнее наименование, а также требуем создать комиссию по расследованию! Ведь в нашей палате есть и женщины...

Председатель. Мне думается, господин Ньютон решил умышленно принизить наше собрание. Нельзя бросать тень на вышестоящих товарищей! Вышестоящие товарищи не такие глупые, чтобы польститься единицей. Это мелко! Это не девять, не восемь и даже не пять... Так что давайте исходить из реалей... А в общем, ваше предложение очень интересно... Будем голосовать?

Голоса. Правильно! Голосовать! *(Аплодисменты.)*

Председатель. Решено. Вопрос снимается с голосования.

Голоса. Правильно! *(Аплодисменты. Ньютон покидает зал через окно.)*

Голоса. Не нравится наш воздух — дыши другим!

Председатель. Свирина Петровна, вы подсчитали, кто за предложение товарища Пятницы?

Свирина Петровна. Сейчас принесут кампутер!

(По рядам передают бухгалтерские счета)

Председатель. Своевременная научно-техническая инициатива.

Женский голос. От палаты женщин вношу предложение избрать одного заместителя по женской части!

(Крики «Позор!»)

Председатель. Очень точное, совсем не позорное замечание. Плюрализм, товарищи, он и для женщин плюрализм.

Возгласы. Вся власть женсоветам!

Женский голос. Предлагаю нашего гинеколога Кацнеленбоген Авдотью Никитичну!

Мужской голос. Требую выборов гинеколога на альтернативной основе!

Председатель. Пройдите на трибуну, товарищ. Представьтесь.

Мужчина. Мухин. Представитель котельной... Товарищи! Наше заведение работает уже семьдесят лет. И сколько я себя помню, ни разу на должность гинеколога не избирали ни одного рабочего котельной. Это развивает в нас комплекс неполноценности и классовой ущемленности. Предлагаю в гинекологи двинуть нашего кочегара Степана Долбоноса. Он парень сильный, отзывчивый, жаростойкий... А в случае чего мы ему все поможем... Степан! Встань, покажись народу!

(Со своего места поднимается парень в фартуке и с кочергой. Изривые женские голоса «Знаем! Знаем!»)

Кацнеленбоген. Я ничего против товарища Долбоноса не имею, но у меня к нему как к будущему коллеге профессиональный вопрос. Скажите, что такое гинекология?

Председатель. Вопрос неэтичный!
Долбонос. Вот именно. Мы здесь не на экзамене! А вот ты мне скажи, Авдотья, что такое кочерга? Так что не будем топить друг друга в юристперденции! Я так скажу: гинкология — это гуманизм не только к женщинам, но и к мужчинам. У меня до этой работы руки, как говорится, чешутся... Женщин я люблю и уважаю их женские органы самоуправления!
Кацнеленбоген. Спасибо! Я буду голосовать за вас обеими руками.

Председатель. У нас еще осталось много разных вопросов, а мы еще не выбрали главного. Свирина Петровна, вы посчитали, наконец, кто «за»?

Свирина Петровна. Еще чуть-чуть осталось!
Председатель. Товарищи! У кого какие вопросы, прошу высказываться, но не превышая регламента.

Мужчина в колготках. Позвольте сказать? Женщины!..

Председатель. Блям-блям-блям! Ваше время истекло. Кто следующий?

Женщина с усами. От имени ветеранов Первой Конной...

Председатель. Блям-блям-блям! Ваше время истекло. Следующий!

Мужчина с бородой. Я Энгельс! У меня вопрос к председателю. Скажите, семья — ячейка общества?

Председатель. Ячейка.
Мужчина с бородой. А почему ж тогда ваша семья живет во дворец, а все наше общество — в ячейках?

Председатель. Фридрих, ты не прав! Блям-блям-блям!
Голос из зала. Я Эдисон! Я изобрел электричество, которое нам выключают после отбоя! Нам говорят, что нет валюты, чтобы закупать за границей электроны!

Председатель. Блям-блям-блям!
Эдисон. В связи с этим я предлагаю перестроить туалеты таким образом, чтобы каждый находился один под другим с единой системой стока, и всех нас поить чешским пивом, которое стимулирует посещение туалетов!

Председатель. Блям-блям-блям!
Эдисон. Не затыкайте мне рот! На первом этаже под единым стоком мы устанавливаем гидротурбину! Полученным электричеством мы не только обеспечим себя, но и сможем продавать его в слаборазвитые страны!

Голоса. Мракобес! Вы точно так же пытались повернуть вспять великие сибирские реки!

Председатель. Блям-блям-блям!
Юноша. Я по поводу галлюцинаций!

Председатель. Блям-блям-блям!

Юноша. Нет, я скажу! Пора, наконец, договориться о главном! В нашем обществе галлюцинации — это жизнь или наша жизнь — это галлюцинации?

Председатель. Блям-блям-блям!

Юноша. В январе текущего года гражданка Мария Стюарт с третьего этажа жаловалась на галлюцинации, будто она в своих галлюцинациях вошла в определенные отношения с нашим председателем.

Председатель. Блям-блям-блям!

Юноша. А в октябре того же года у нее родился ребенок. У меня вопрос: ребенок — это галлюцинации или реальная жизнь, данная нам в ощущениях?

Председатель. Блям-блям-блям!

Юноша. Я требую расследования!

Председатель. Гдлян-гдлян-гдлян!.. Свирина Петровна! Вы посчитали, наконец, кто «за»?

Свирина Петровна. Посчитала... Умаялась...

Председатель. Ну, и сколько «за»?

Свирина Петровна. По уточненным данным «за» проголосовало два-три человека.

Председатель. А «против»?

Свирина Петровна. Сейчас посчитаю.

Председатель. Товарищи! Пока Свирина Петровна посчитает, я хочу сделать сообщение. На имя будущего главврача поступило коллективное письмо за подписью ста восьмидесяти трех уважаемых работников крупных учреждений с просьбой предоставить им койки в нашей больнице. Речь идет о рабочих Госплана, Госснаба и Госкомстата.

Голоса. Приня-ять!

Председатель. Как будем принимать: поименно или всем списком?

Голоса. Всем спи-иском!

Председатель. Я тоже так думаю... Тем более что все они на одно лицо, и каждый из них, по сути дела, уже давно является нашим полноправным пациентом. Позвольте поздравить с этим гуманным актом все наше здоровое общество! Товарищи! По-моему, мы все слегка обалдели и хотим перерыва. Есть два предложения. Товарищ Бонапарт предлагает три минуты, а комендант нашего заведения предлагает час.

Голоса. Три минуты! Да здравствует Бонапарт!

Председатель. Я вас понял. Проходит предложение коменданта. Объявляется комендантский час! Мы продолжим собрание после того, как всем вам будут сделаны необходимые впрыскивания, вливания и санитарная обработка! Приятного аппетита! Ку-ка-ре-ку!

И так далее...

Ваш до гроба

Ари Арканов

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	
И снится мне карнавал	3

ИЗ ОТТЕПЕЛИ

Прыжок в высоту с разбега	13
Вареная курица в четверг	32
«Соломон» и сознание	40
С восьми до восьми	44
И все раньше и раньше опускаются синие сумерки .	56
Эпистолярная история	65
Пельмени на полу	68

РАННИЙ ЗАСТОЙ

Старик в меховой шапке	77
Соловьи в сентябре	82
Зоркий Глаз	87
Рано утром после хорошего настроения	91
Кросс	95
Везунок	97
Персики	103
Кровать, стоявшая вертикально	108
Брюки из лавсана	113
Таинственно и странно	117
Письмо с юга	122

ПОЗДНИЙ ЗАСТОЙ

А суп был всегда горячим	125
Девочка выздоровела	128
Все будет хорошо	143
Вам телеграмма!	158
Кафе «Аттракцион»	177
Седьмое ребро, или Лицо на траве в два часа дня ..	189

Экскурсия на Синее озеро	203
Автобиография	214
Как хорошо, когда мы во что-то верим...	216
Восстановление вчерашнего черепа по сегодняшнему лицу	218
Рукописи не возвращаются. Роман	222
Рондо (<i>генеральная репетиция в двух действиях</i>)	338

PERESTROIKA

Игра по переписке	395
Разная музыка из окна напротив, или Влияние сервиса на жизнь	398
Эпидемия	402
Сны Василия Степановича	405
В огороде — бузина, в Киеве — дядька	423
Протокол заседания по выборам главврача в психиатрической больнице № 6	433

ИНТЕРВЬЮ

с автором только что прочитанной вами книги

«Еще одно, последнее сказанье...»

Из оперы «Борис Годунов»

☛ — Ну вот, друг Аркадий, перевернута последняя страница этой книги. Странное, доложу тебе, у нее название. Что ты этим хотел сказать? Может, как старец Пимен, — и летопись окончена моя?

— Пимен был старый, а я еще почти молод, да и кто знает, где конец этой летописи? А что до названия... Пусть каждый понимает, как хочет, и ты в том числе.

☛ — Хорошо, я подумаю. Мы много лет знаем друг друга, если не ошибаюсь, даже дружим домами. Ты — матерый писатель, я — прожженный газетчик. Выход этой твоей книги, не скрою, событие и для меня. Ведь ты в литературе что-то около тридцати лет, а, по существу, книги, большой книги у тебя не было, хотя, извини, по популярности ты не уступишь никому современному автору многогомого собрания сочинений. В чем тут дело?

— Наивный вопрос. Некоторым образом на него отвечает эта книга, вернее, обозначенные мною ее разделы... Помнишь, когда ты работал в «Литературке», я принес большой рассказ про «Коня», вы все его читали, он вам всем нравился, и вы все в один голос восторженно признавались: «Не пойдет!» Да я и сам знал, что рассказ не пойдет, а принес я его вам потому, что мы были единомышленниками и, как могли, не только сопротивлялись застою, но и в меру сил нападали на него — в этом была популярность «Клуба 12 стульев» конца 60-х и начала 70-х годов. А потом главное для меня всегда было — рассказ написать, а не напечатать.

☛ — Но ведь все-таки что-то удавалось напечатать...

— Удавалось. Но до книги дело не доходило. Издательства шарахались от такого рода литературы, шла литература совсем другого рода, был в ходу даже термин «ласковый юмор». Как ни удивительно, но литература, ко-

тору и я имею честь представлять, прорывалась в «массы» совершенно иным, невообразимым способом — через микрофон, установленный в аудитории. Именно в те годы родился невиданный жанр — авторское выступление. Я за все эти годы, наверное, не один раз исколесил всю нашу необозримую матушку Русь, выступая на своих авторских вечерах, как, впрочем, и многие мои коллеги. Конечно, не буду скрывать, это давало мне, как, впрочем, и многим моим коллегам, возможность добывать средства, грубо говоря, на пропитание. И чего уж там скрывать, наши авторские вечера проходили с большим успехом. Аркадию, скажем, Аверченко такие выступления в городах России и не снились. Правда, мне не снилось обилие книг, издаваемых моим тезкой в жуткое царское время. Вот посмотри, за десять лет — с 1908-го по 1917-й — он издал более сорока сборников! А такие книжки, как «Веселые устрицы» и «Круги по воде», выдержали до двадцати изданий.

☛ — *Кстати, об Аверченко. Как ты думаешь, почему Ленин в простом 1921 году вдруг выступил в «Правде» с рецензией на книжку Аверченко «Дюжина ножей в спину революции»? Смотри, книгу в России никто не видел, она вышла в Париже, сплошь, как мы говорим, антисоветская, а вот создатель и руководитель первого в мире не удержался и счел необходимым не только достать книгу, не только прочитать ее, но и написать о ней в своем центральном и почти директивном органе 22 ноября 1921 года: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять». Не странно ли по нынешним временам?*

— Если строго по нынешним, то уже не очень странно. А вообще факт, конечно, не самый рядовой. Запретив к тому времени все «некоммунистические» издания, Ильич вдруг «сломался». Я это способен объяснить всего двумя причинами. Во-первых, — сила литературы, которая так и «прет» в рассказах Аверченко. Во-вторых, у Ленина, мы это хорошо знаем, имелось драгоценнейшее чувство юмора. А если к этому добавим, что он еще и широкообразованный, интеллигентный человек, что для вождей не совсем характерно, то по-человечески Ленина понять можно — он просто получил удовольствие от книги, не удержался и проявил широту ума, души и даже, если хочешь, политики. С вождями, как ты знаешь, это бывает не часто.

— Ну а, скажем, с писателями? Говорят, у них есть какая-то сатирическая склонность не очень лестно оценивать творчество друг друга. Ну вот возьмем тебя, например. Как ты относишься к творчеству, скажем, Григория Горина или Михаила Жванецкого?

— Ну, во-первых, это мои друзья, начнем с этого. С Гришей мы за десять лет не один пуд соли съели. Написали вместе несколько пьес. И что самое смешное — почти все они были поставлены, а «Свадьба на всю Европу» чуть ли не полстраны обошла. Правда, свои рассказы мы сочиняли отдельно. В период затянувшейся «оттепели» и в раннюю эпоху застоя мы, кажется, писали веселые и довольно острые для того времени вещи. Потом мой друг Григорий целиком подался в драматургию, где нынче, на мой вкус, он выглядит очень и очень здорово. Стал высоким профессионалом — то есть умеет делать то, что не умеют другие. Ничего плохого не могу сказать и о Мише Жванецком. Считаю, что в его жанре ему сегодня нет равных. Это какое-то явление художественной стихии. Жванецким стать невозможно, Жванецким нужно родиться. Кстати, если когда-нибудь будешь делать с ним интервью, поинтересуйся заодно, как он относится к моей работе. Уверен, что пару приличных реплик в мой адрес он отпустит. О некоторых других друзьях я пока воздержусь... Ведь Жванецкий один, а «жваноидов» много...

— Как ты относишься к евреям? И вообще — нужно ли к ним как-то относиться, а заодно и к сотням других национальностей?

— Дурацкий вопрос. Но уж коль ты его задал... Не вижу в мире ничего примитивнее, чем расслоение людей, индивидуальностей по национальному признаку. К моему глубочайшему сожалению и недоумению, — это, увы, грустная реальность. Мечтаю о том, что люди все-таки когда-нибудь поумнеют и начнут судить друг о друге по делам и поступкам, а не по цвету волос, кожи, не по длине носа и пятому пункту анкеты. Национальность людей — это краски жизни, а не повод для мордобоя. В более общем виде люди, на мой непросвещенный взгляд, делятся на две основные национальности — на дураков и умных. Об этом так и следует в паспорте указывать. Если этот паспорт вообще нужен.

— Правду ли говорят, что ты родился в Кисеве?

— Не вижу в этом ничего предосудительного. Булгаков тоже киевлянин.

■ — *Вот именно. И это нашло отражение, скажем, в «Белой гвардии». В твоих вещах я что-то не встречал киевских мотивов.*

— Зато я много писал о Лобановском. И потом, в этой книге есть рассказ, где наряду с огородной бузиной действует киевский дядька.

■ — *Снимаю вопрос. Как ты думаешь, есть ли у тебя что-либо общее с Чеховым?*

— Мы с ним врачи.

■ — *И это все?*

— Я живу на улице Чехова... Кое в чем я его, конечно, превзошел.

■ — *Даже?*

— Во-первых, будем откровенны, Чехов не был членом Союза писателей. Во-вторых, я уже на двенадцать лет его старше. И, в-третьих, ты не брал у него интервью. А если серьезно и откровенно, то меня с ним роднит... одиночество.

■ — *Именно это я имел в виду, когда спрашивал. Не буду лезть в душу, но скажи, пожалуйста, как ты думаешь, это что — вообще удел художника?*

— Как тебе сказать... С одной стороны — вроде бы тьма-тьмущая примеров типа выхожу один я на дорогу. Не исключено, что это профзаболевание. Но с другой стороны — Россини, граф Толстой, тот же Аверченко... Тут какая-то загадка.

■ — *Я заметил, что тебя аж всего передергивает, когда тебя называют: писатель-юморист или писатель-сатирик.*

— И ты туда же? Знаешь, я берусь на спор, на очень хороший спор написать диссертацию на тему «Юмор и сатира в романе Толстого «Война и мир». Материала там предостаточно. Правда, на мой вкус, это не самые сильные страницы романа. Но ведь что-то Толстого потянуло и на юмор, и на сатиру. Стало быть, считал это естественным и необходимым. Стало быть, юмор и сатира — это технический литературный способ отражения мира.

Структура моих мозгов, как ты, видимо, догадываешься, устроена несколько иначе, чем у Льва Николаевича...

☛ — *Допускаю как официальную версию.*

— Так вот... Своей сверхзадачей считаю: говорить о том же, о чем говорило «зеркало русской революции», но по-своему, повинаясь собственному алгоритму. Другое дело, что мой алгоритм при поверхностном взгляде — это юмор, это сатира, ирония, иногда сарказм, сюрреалистический гротеск и что там еще? Скорее всего это способ и образ мышления, то есть средство, а не цель. Я понятно говорю?.. Конечно, я с удовольствием сяду и напишу смешной рассказ, но опять же смех здесь не будет целью. Цель будет, да и всегда бывает, правда жизни. Кажется, наш друг, писатель Леонид Лиходеев, тонко заметил: «Чтобы писать смешно, надо писать правду». Истинно так. Ты посмотри, что сегодня происходит с так называемыми беспощадными сатириками, когда стало можно и нужно писать только правду: многие стушевались, скукожились, скурвились и либо заткнулись, либо перешли на литературно-политическое хулиганство, бьют ниже пояса. И выходит иной такой орел на эстраду и читает: «Вчера нашему секретарю обкома ставили клизму прямо в служебном кабинете, накануне он что-то поел в спецстоловой...» И все: «Га-га-га...»

☛ — *Ну это уже за гранью.*

— О том и речь. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, хочу сказать, что не считаю себя ни юмористом, ни сатириком, а просто, извини, писателем... Впрочем, и об этом не мне судить.

☛ — *Да, но твое, например, постоянное участие в телепередаче «Вокруг смеха», скажем...*

— Лишнее тому подтверждение. Я же там не юмору, под микитками никого не щечочу, остаюсь самим собой.

☛ — *Кстати, на экране ты всегда невозмутим, неулыбчив, мрачен даже. Это что — маска?*

— Нет, это не маска. Это гены, хромосомы и немножко дезоксирибонуклеиновой кислоты.

— А как вообще взбрело тебе в голову стать писателем? Ты же, говорят, неплохо окончил школу, чуть ли не с серебряной медалью, выдержал приличный конкурс в медицинский институт, подумывал о нейрохирургии, словом, мог стать человеком.

— Спасибо товарищу Сталину. В то время с моей анкетой меня только в мединститут и приняли. Как только перестало биться его бессмертное сердце, наступило то, что, с легкой руки Эренбурга, нареклось «оттепелью». А мы студентами были, и мы друг друга любили. И часто друг с другом шутили. Время было нешуточное, поэтому поводов для шуток хватало. Как-то само собой в стенах института создался свой эстрадный театр, где мы шутили во всю Ивановскую. Я стал сочинять сценки, скетчи, пародии, монологи — ведь все стало можно. И до того дошел, что даже начал играть на трубе, как Луи Армстронг. Подхалтуривали на танцульках, чем слегка наполняли свои дырявые карманы. Наш эстрадный студенческий театр заметили профессионалы эстрады, начал и для них сочинять. А потом написал рассказ, который вдруг напечатал журнал «Юность». Потом стал в нем сотрудничать. Многие коллизии этого сотрудничества легли в основу моего «капитального» труда «Рукописи не возвращаются». Правда, три года добросовестно работал врачом, дай Бог здоровья моим бывшим пациентам. Ну а вскоре стал окончательно выбирать между медициной и литературой и решил перейти с полуголодного существования медициной на еще более полуголодное существование литературой. Молодой был... Вместе со всеми уже зримо видел сияющие вершины. Знал, что вместе со своим поколением буду жить при коммунизме и бесплатно ездить на троллейбусе. Так что, если бы не лично товарищ Сталин, был бы сейчас видным советским нейрохирургом.

— У тебя к генералиссимусу больше претензий не имеется?

— Претензий личного плана нету... Ну, может быть, если только отец мой излишне долго не возвращался домой из солнечного Норильска. Помню, мы с мамой и братишкой сильно скучали по папе.

— Надеюсь, брат у тебя не писатель?

— Нет, конечно. Он пошел по медицинской части.

Анестезиолог.

— Дружно с ним живете?

— Конечно.

— Это хорошо. Правда, врачи и сейчас еще маловато получают.

— Не скажи. Братан зарабатывает что-то в районе восьмидесяти тысяч долларов в год.

— Какой-нибудь совместный кооператив?

— Зачем? Вполне добротный современный госпиталь в городе Бостоне, штат Массачусетс.

— Интересно, а сколько он здесь получал?

— Что-то около двухсот на всю семью в одной комнате «коммуналки».

— Как же далеко шагнула вся ихняя анестезиология! Все-таки наша медицина самая бесплатная в мире. Может, ты правильно сделал, что ушел в литературу.

— В этом вульгарном смысле хрен редьки не слаще. Собственно, по-человечески я начал жить только после начала перестройки и гласности — и духовно, и морально, и, ты будешь смеяться, материально. И вот эта книга, которую, надеюсь, читатель уже держит в своих руках, тоже «дитя перестройки».

— А как насчет заграничных поездок? Говорят, что многим писателям вышло послабление.

— Да нет, я и раньше ездил. Помнится, лет двадцать тому назад мне разрешили выехать в борющийся Вьетнам. Пару раз доводилось лично посетить братскую Болгарию... А тут в течение года с небольшим я побывал в Югославии, Финляндии, США и ФРГ. Причем за океаном я побывал с сыном Васей более месяца — гостил у мамы и брата, поездил по «городам желтого дьявола».

— Ну и как впечатление?

— Нормально. Просто другая планета. Попадалось очень немало разумного, доброго, вечного.

— Кого-нибудь видел из «наших»?

— Был у Васи Аксенова, пропустил стаканчик с Юзом Олешковским, ночевал в Вашингтоне у твоего бывшего коллеги по «Литературке» Ильи Суслова. Он даже дал в мою честь обед.

☛ — *А безработных и бездомных там много?*

— Да где их нет! Американские бомжи поразили своей абсолютной независимостью и чувством достоинства, каким-то гипертрофированным ощущением внутренней свободы. Не дай вам Бог на нее посягнуть каким-либо образом, можно нарваться.

☛ — *Книги привез?*

— Привез.

☛ — *И пропустили?*

— Даже смотреть не стали.

☛ — *А как там кривая проституции?*

— На уровне. Они же там все валютные. Так что благодаря святой неконвертируемости нашего рубля мне удалось не поколебать моральную устойчивость и ничем не исказить облик нашего современника. Чем до сих пор горжусь.

☛ — *Дают ли что-либо такие поездки писателю?*

— Дают. Примерно столько же, сколько неграмотному курсу ликбеза. Да и не только писателю. Я уверен, что все мы были бы совершенно другими людьми, если бы последние два-три десятилетия советские граждане свободно ездили за границу и так же свободно возвращались бы домой. Мы все должны молиться на перестройку. Мы еще, мне кажется, не полностью осмысливаем, что она дает людям, как она будит наш сонный разум, раскрепощает человека, тормозит его, приглашает к делу. Конечно, от всего этого есть у нас известная растерянность, скованность. Я это и по себе сужу. Иногда перо вываливается из рук, хочется остановиться, осмотреться, а время идет. Дай Бог, чтобы в нужную сторону.

☛ — *Какой вдруг пафос от сатирика... извини, от писателя, склонного к иронии и сарказму.*

— Имею же я право на гражданский пафос. А что до иронии и сарказма, то наша перестройка дает немало пицци и для этого. Ты ведь знаешь мои последние вещи.

☛ — *Но что-то ты их не спешишь опубликовывать.*

— Да я, быть может, и не прочь, но как вспомню некоторых редакторов в некоторых редакциях... Одно дело гласность — свобода информации, и совсем другое дело гласность — свобода литературы. Две большие разницы, как говорят все в той же Одессе.

☛ — *Но ведь даже «Архипелаг ГУЛАГ» опубликован.*

— В нем Солженицын пишет о прошлом.

☛ — *Понял... Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот в последние годы все мы не без восторга переживаем пиршество от публикуемой литературы. Все дела заброшены — мы читаем, читаем и читаем. Ты ведь тоже не без греха. Какие вещи произвели на тебя наибольшее впечатление?*

— Набоков, прежде всего Набоков... Из наших? Конечно, Гроссман. Роман «Жизнь и судьба» считаю чем-то сродни «Войне и миру» и как лучший советский роман ставлю его рядом с «Тихим Доном». Впечатление разорвавшейся бомбы производит его повесть «Все течет». Оба его произведения объединяет, на мой взгляд, одна, но пламенно страстная тема — свобода человека, унижительность несвободы. Очень простым и ясным языком писатель, как дважды два, показывает, что все наши семидесятилетние беды происходят от несвободы рожденного быть свободным человеком. К тому же все это — настоящая литература. А вообще сегодня время публицистики. Прямо глаза разбегаются — Сахаров, Попов, Селюнин, Стреляный, Клямкин, Мигранян, Андреев, Черниченко, Медведев, Бунич, Шмелев, «Огонек» Коротича, «Московские новости» Яковлева. Разве это не счастье для читателя?

☛ — *Слушай, а вот если бы ты был избран народным депутатом и тебе дали бы минут пять на выступление, что бы ты сказал?*

— Боюсь, меня не выдвинут.

☛ — *Но можно ведь не ждать, когда тебя выдвинут. Сейчас существует демократический институт самовыдвижения.*

— Этот институт мне в общих чертах знаком. Несколько лет назад я выдвинул свою замечательную кандидатуру на получение двухкомнатной квартиры в своем жилищном кооперативе. Правление единодушно одобрило мою инициативу. Мне даже дали первый номер в списке очередников. Идут годы. У нас трижды сменился Генеральный секретарь, а я все еще первый. Кажется, я всю оставшуюся жизнь буду первым в этом почетном списке жилищного кооператива.

— А ты им подари эту книгу.

— Ты с ума сошел! В нашем кооперативе взятки не берут.

— А тебе что — тесно в этой однокомнатной квартире?

— Мыслям просторно, а мне тесно.

— В «Литературке» есть забавная рубрика — «Если бы директором был я...». Скажем, тебя назначают директором издательства.

— Это для меня была бы большая мука. Я в принципе не способен руководить, но если бы это случилось, думаю, что в первый же день был бы завален рукописями моих друзей. Они бы решили, что наступил их звездный час. А мне пришлось бы выносить суровые решения. И отношения со многими бы прояснились. А с другой стороны, у меня бы появились новые друзья, отовсюду посыпались бы лестные предложения... Нет, можно, я лучше не буду директором издательства?

— Как ты относишься к критике?

— Не скажу чтобы я был ее баловнем. В основном слышу устные отзывы типа: «Старик, я прочитал. Очень тонко, умно и даже местами смешно. Тут жена передает тебе привет. Звони, не пропадай». Или: «Слушай, как это пропустили?! Ты в ЦДЛ сегодня будешь? Ну, увидимся, с тебя причитается...» А вообще уважаю тонкую, я бы сказал, элегантную критику. Когда в Париже вышла моя книга «Истинная ложь», то в одной французской газете появилась рецензия, которая после хвалебных слов в мой адрес заканчивалась следующим образом: «Однако, читая книгу в метро, вы не рискуете проехать свою остановку». Красиво?

— *Изящно. Это лишний раз говорит о том, что критик тоже должен иметь воображение. Кстати, о воображении. Тебя иногда заносит... как бы это сказать... ну, что ли, в «бредятину», которую ты тоже изящно именуешь «ненаучной фантастикой», а иногда и не называешь, а просто пишешь, так сказать, «чернуху»-социо в свободном реалистическом ключе, не гнушаясь, естественно, юмором. Получается, что существуют как бы два Арканова — один, элегантный, ироничный, остроумный, симпатичный и находчивый, а другой — какой-то не без грусти философичный, не без юмора серьезный и не без доброты злой. И я замечаю, что именно вот этому, второму Арканову, ты предоставляешь режим наибольшего благоприятствования. А ведь тебя народ полюбил вовсе не за этого Арканова, а за того, другого, Арканова Первого. Ну, чего молчишь?*

— Видишь ли, мне приятно сознавать, что, несмотря на то, что ты мне друг и товарищ, ты знаешь не только мои юморески, анекдоты и скетчи, но и ту мою литературу, которую ты деликатно именуешь «бредятиной». К той ранней, «смехаческой» прозе я, честно говоря, утратил интерес. Хотя, конечно, если иногда под настроение подвернется приличная идея, может быть, я ее и не пропущу. Но стало как-то скучновато от всех этих смешных идей. И какое-то беспокойство, тревога, владевшая мною несколько лет назад, заставили прибегнуть к другому методу отображения жизни. Уверяю тебя, «бредятины» в жизни гораздо больше, чем в моих вещах. Ее столько, что никакая литература не вместит в себя. Поэтому в своей «ненаучной фантастике» я хочу понять, что происходит с человеком сегодня. Мне кажется, мы приблизились к новой черте понимания человека, понимания прежде неведомых его возможностей — любых, и со знаком «минус», и тем более со знаком «плюс». Когда я пишу, то призываю каждого задумываться над тем, что существует, да и всегда существовало над обыденным сознанием. Этот посыл давно влечет меня. Ведь любое удачное произведение — это новое знание о человеке, об окружающем нас мире. Настоящее произведение литературы можно сравнить с открытиями в физике, химии, медицине, географии.

— *Ну хорошо, допустим, я с тобой целиком и полностью согласен. Что тогда собой представляет опубликованная в этой книге повесть «Рукописи не возвращаются»? К какому роду открытий ты отнес бы это художественное произведение?*

— Судить об этом — дело читателей, критиков. Здесь два сюжета. Один отображает нашу прекрасную повседневность. И даже некоторые герои узнаваемы, из-за чего уже есть целый ряд обид. Линия гротесковая, порой ерническая и замешена на легко узнаваемых событиях. Другой сюжет — притча, которую я придумал сам. Мною двигало желание описать какие-то «неоприходованные» сегодня связи, явления. Ведь, скажем, рентгеновские лучи существовали всегда, а оприходовал их Рентген. Техника и научное предвидение позволили ему это сделать. Конечно, моя притча не могла возникнуть на абсолютно пустом месте. Даже самые фантастические сны всегда поддаются объяснениям существующей реальности. Библия — это плод накопленного народами опыта.

— Библия вообще хорошо написана. Мне нравится это произведение. Все, кто не вышел из гоголевской «Шинели», вышли из Библии. И аз грешный, и ты праведный. Ты можешь определенно сказать, кто из писателей на тебя «давит»?

— Сам бы я задал себе этот вопрос так: кому я поклоняюсь? Это, конечно, Гоголь — великий, неисчерпаемый, неподражаемый. Булгаков, конечно. Прочитав Булгакова, становишься просто другим. Из зарубежных я с величайшим почтением отношусь к Брэдбери, Борхесу...

— А Маркес?

— Конечно, и Маркес, Кортасар. Но Брэдбери с Борхесом как-то ближе к моей редкой группе крови.

— Слушай, старик, вот иные сетуют: ну зачем ему все эти приключения, есть уже имя, все наработано, отшлифовано, к чему эти непонятные фантазии?

— Ты, кажется, уже пошел по второму кругу. Я думаю, что сетования эти искренние. Иногда я сам, признаюсь, сойдя с накатанной колеи, чувствую, будто стою на пороге уютной и привычной комнаты. Выйду — и, быть может, необыкновенное счастье ждет меня там. А может быть, и глубокое разочарование. Но писать по-прежнему уже не могу — в силу характера и некоторых убеждений.

— Хорошо. Я иногда уважаю чужие убеждения. Скажи-ка, ты любишь азартные игры?

— Обожаю играть и с государством, и с частными людьми. До сих пор не могу забыть, как в 1982 году «вздернул» в частном пари поэта Игоря Шаферана. В Испании проходил очередной чемпионат мира по футболу. Итальянцы поначалу выглядели «неходягами». Но мне, как говорят, выдалось озарение, и я вычислил их как будущих чемпионов мира. Все считали это бредом. Шаферан — тоже. Но все почему-то не поспорили, а Игорь поспорил... Очень он потом убивался...

☛ — *Раз уж мы заговорили о футболе, то тебя, как страстного болельщика столичного «Торпедо», не может не заинтересовать тот факт, что я с удовольствием приобрел бы холодильник «ЗИЛ». Какие у тебя отношения с руководством команды автозаводцев?*

— И с командой, и с тренерами отношения у меня хорошие. Да ты сам это видел, когда мы с тобой были на их спортивной базе в Мячкове. А что касается холодильника, то нет ничего проще — как только ты станешь инвалидом первой группы и ветераном труда, а потом заодно достанешь справку о том, что у тебя все родители погибли в Великую Отечественную, то я попробую для тебя что-нибудь сделать. В крайнем случае раздобуду пылесос.

☛ — *Буду тебе очень благодарен. За мной не заржавеет. Что тебе больше всего понравилось в Финляндии?*

— Ощущение было такое, что, сойдя с трапа самолета, я попал в огромный, заваленный товарами магазин, и никак не мог из него выбраться, пока снова не ступил на трап. Это зрелище не для слабонервных. Все-таки в наших магазинах глаза отдыхают.

☛ — *А как ты попал к нашему северному соседу?*

— Ездил в составе делегации Советского комитета защиты мира.

☛ — *Следовательно, писатель Арканов пополнил собою ряды активных сторонников мира?.. Ты меня, пожалуйста, извини, но мне кажется, что это очень интересная организация — Комитет защиты мира. Объективно она, как никакая другая контора, должна быть материально заинтересована в наличии поджигателей новой войны, иначе теряется смысл ее существования, а отсюда и конец всем заграничным командировкам и визитам...*

— Это уже что-то чересчур кооперативно-хозрасчетное. По-моему, ты притомился. Давай лучше я тебя спрашиваю. Ты эту книгу прочитал?

— Прочитал.

— Она тебе понравилась?

— Понравилась.

— А заметил в ней отдельные недостатки?

— Заметил, но не обратил на них внимания.

— Почему?

— Потому что друг дороже истины.

— Как ты относишься к коопертивам?

— Очень положительно.

— Ко всем?

— Абсолютно.

— Но ведь есть кооперативы, которые ничего не производят, а гребут деньги лопатой.

— Друг Аркадий, эти кооперативы надо лелеять и холить. Если люди из ничего могут делать большие деньги — значит, это талантливые люди. На них надо объявлять всесоюзный розыск и беспощадно сажать их в министерские кресла. Помнишь нагумевший кооператив «Техника» во главе с неким Артемом Тарасовым? Его заместитель уплатил с полочки девяносто тысяч партийных взносов. Когда Артема Тарасова показали по телевизору и дали мне возможность заслушать его, то я был уверен, что на следующий же день Николай Иванович Рыжков, которого я глубоко уважаю, пошлет за ним свою машину, проговорит с ним полдня и назначит своим заместителем... И вовсе не случайно потом ученые города Обнинска, а там работает серьезный народ, выдвинули Тарасова кандидатом в народные депутаты СССР.

— Считаешь ли ты, что рэкетирь более внимателен к кооперативам, чем государство?

— Думаю, что рэкетирь более чутки к таланту кооператора, нежели государство. Наверное, именно в целях дальнейшей борьбы с рэкетом государство некоторые кооперативы закрывает, перекрывая таким образом кислород рэкетирам... Может быть, Комитет защиты мира переключится на защиту кооперативов?

— Что ты ко мне пристал с Комитетом защиты мира? Задавай лучше свои дальнейшие вопросы.

☛ — *В самом деле, книга издается на века, а мы обсуждаем какие-то частности. Давай говорить о вечном. Как ты думаешь, когда в стране отменят талоны на сахар?*

— Сколько ложек сахара ты кладешь в стакан чая?

☛ — *Три, иногда четыре.*

— А я одну. И когда в нашей великой стране будет больше таких людей, как я, и меньше таких людей, как ты, то на сессии Верховного Совета сразу поднимут вопрос об отмене талонов на сахар.

☛ — *Ты не прав. Трудности возникли совершенно из-за других людей. Особенно из-за тех, кто гонит самогонку, которые все время рождаются в процессе борьбы с пьянством.*

— Ты плохо знаешь свою великую страну. Самогонщики в ней были во все времена. И самогон гнали не из соли. А борьба с пьянством обернулась борьбой с народом. Ведь пьет ничтожная часть населения, а у народа не спросили и ввели меры, ударившие по человеческому достоинству. Это было бесцеремонное вмешательство в личную жизнь человека, который вдруг ощутил психологический дискомфорт от этого непрошеного вмешательства государства. А эти дикие очереди, конца которым не видно... Конечно, часть сахара поглотил протест трудящихся, но, наверное, есть снижение производственного настроения свекловодов и сахародельцев, есть дряхлость мощностей и технологий. Тут все сошлось в одну точку. Ты чаще читай газеты — там об этом написано... Между прочим, мне месячной нормы вполне хватит на год.

☛ — *Тебе бы самогонный аппаратик... Шутка! Скажи, пожалуйста, почему ты продал свой прекрасный японский видеомагнитофон? Ведь все нынче буквально с ума посходили от этой цацки.*

— А мне это как-то обрыдло. Выдержки хватило на полгода. Ни почитать, ни за письменным столом посидеть. По своему назначению она должна быть чуть дороже патефона, а дерут, как за машину. Как сказала одна нашумевшая дама, не хочу поступаться своими принципами. Ширпотреб не должен быть дороже жизни.

☛ — *Кажется, ты снялся в двух высокохудожественных фильмах?*

— Да, я создавал образы в фильмах «Центровой из поднебесья» и «Очень важная персона». Кое-кто мог бы подумать и об «Оскаре» за исполнение мужских ролей. Между прочим, мой сын Вася снимался в еще более высокохудожественных фильмах в Москве и Ленинграде.

— Он ведь у тебя еще и пишет.

— Да, несколько неплохих вещей у него опубликовано, несколько лежат в столе.

— Ого, он уж и в стол пишет?.. Ты ему вообще помогаешь?

— Ни в коем разе! У него очень индивидуальное видение мира, свой стиль. Разве что оцениваю.

— Будет писателем?

— Вот это мне пока не известно. Он только что окончил факультет журналистики МГУ, прекрасно владеет английским. Как говорится, вся жизнь впереди. Посмотрим. Наверное, сначала поработает в газете, это ему многое даст, а там время покажет. В любом случае я за него спокоен.

— Ну дай Бог... Было бы странным, если бы я не задал вопрос президенту Шахматного клуба Центрального Дома литераторов и председателю шахматной федерации профсоюзов города Москвы товарищу Арканову.

— Задай, задай...

— Прежде всего о шахматной квалификации.

— Ну с этим-то у меня все в порядке. На международном шахматном турнире в Югославии я получил рейтинг 2200, что приближается к рейтингу неплохо играющего мастера, а вообще у меня первый разряд. Однако шахматы люблю в силу международного гроссмейстера иль, может быть, еще сильней.

— Ты ведь даже книжку шахматную написал.

— Мы ее написали вместе с великолепным журналистом Юрием Зерчаниновым и назвали «Сюжет с нереальным прогнозом». Она — о появлении в шахматном мире феномена Гарри Каспарова, о его стремительном восхождении, о титанических боях за шахматную корону, обо всем, что окружало эту борьбу и осталось «за кадром» сообщений и репортажей. В книгу вошли интересные до-

кументы. Впрочем, что я тебе рассказываю, книга же тебе подарена, мог бы давно прочитать.

☛ — *Как ты думаешь, Каспаров — действительно «дитя перемен»?*

— Если иметь в виду только шахматы, то он их дитя и отец одновременно. Шахматисты должны молиться на него и за него. Он создал Международную ассоциацию гроссмейстеров, организовал Кубок мира по шахматам, который оспаривают двадцать пять сильнейших шахматистов мира. Обрати внимание на призовой фонд этого Кубка: первое место — сто тысяч долларов, второе — 75 000, третье — 50 000, четвертое — 40 000, пятое — 35 000..., десятое — 20 000, последние пять мест — по восемь тысяч. Никто не обижен, только играй. Соревнований с такой оплатой у шахматистов никогда не было, и организовал это Каспаров, подняв на ноги всех спонсоров мира. Разве он не отец родной для всемирной шахматной братии? Я уж не говорю о его щедрой благотворительной деятельности в родной стране. Ну и, конечно, это великий шахматист. Венгерский гроссмейстер Адорьян в своей книге без обиняков заявляет, что это лучший шахматист всех времен. Мой пока не очень высокий шахматный рейтинг, а отстаю я сейчас от рейтинга Каспарова на 567 пунктов, не позволяет мне полностью согласиться или не согласиться с мнением Адорьяна, рейтинг которого тоже чуть больше моего. Но мнение венгерского маэстро следует принять в расчет.

☛ — *Читатель вправе подумать, что в шахматном чемпионате Центрального Дома литераторов ты занимаешь высокое место.*

— Не хочу разочаровывать читателя, но как у президента шахматного клуба мое положение несколько выше.

☛ — *Наверное, мне не следует спрашивать, за кого ты будешь болеть в предстоящем матче на звание чемпиона мира по шахматам?*

— Этим вопросом ты излишние страсти не возбудишь. А вот одним небольшим шахматным секретом могу поделиться. В нашей стране образован под руководством Гарри Каспарова Шахматный союз, и твой покорный слуга введен в члены правления этой всесоюзной организации.

☛ — *С ума сойти! Видимо, у Гарри Каспарова прекрасное чувство юмо-*

ра... Вернемся к литературе. Как ты считаешь, насколько велик у тебя твой чисто писательский рейтинг?

— Думаю, что чуть побольше, чем шахматный, да и многие гроссмейстеры так считают. Полагаю, что эта книга должна принести мне дополнительно десятка полтора пунктов. Правда, я не льщу себя надеждой, что этих пунктов хватит для выдвижения моей кандидатуры хотя бы на звание лауреата премии Ленинского комсомола.

☛ — *То есть ты хочешь сказать, что о Нобелевской не может быть и речи?*

— Я этого не сказал. И если джентльмены из Шведской академии подадут мне каким-либо образом сигнал, то я сразу приступлю к составлению Нобелевской лекции.

☛ — *И фрак еще нужен.*

— Одолжу у Жванецкого, все равно он сейчас его не носит.

☛ — *А что ты станешь делать с сотнями тысяч долларов премии?*

— Куплю тебе в Швеции пылесос.

☛ — *Вот спасибо! А то мой уже на ладан дышит. И еще знаешь что — никак не могу здесь достать — купи там, пожалуйста, хорешую зубную щетку. И расческу из слоновой кости. За расческу я тебе отдам.*

— Договорились. Больше ничего?

☛ — *Если попадутся пластинки, возьми мне полностью «Кольцо нибелунгов» Вагнера в караяновской записи.*

— Обожди, это мне надо записать.

☛ — *Ну, а остальное — на твое усмотрение. Да, лезвия для бритвы не забудь! И таблетки захвати, которые утром после здорового «бодуна» принимают.*

— Ну это само собой.

☛ — *На мыло зря не траться, у меня еще два куска осталось от твоей поездки в Йошкар-Олу. Хоп... Говорят, ты хорошо знаешь нашего посла в Швеции.*

— Не только его, но и супругу его превосходительства. Она работала у нас в «Литературке», была членом редколлегии. А ранее посол в Швеции лично увольнял

меня из «Комсомольской правды», когда двадцать лет назад был главным редактором газеты. Спустя семь лет мы повстречались с ним в фойе Большого театра на «Аиде» миланского театра Ла Скала, и он спросил меня, где в Большом театре туалет. С тех пор у нас с ним хорошие отношения. А тебе что-нибудь нужно?

— Да нет, так, на всякий случай. А из «Литературки» кто тебя увольнял?

— Из «Литературки» меня увольнял в то время член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий писатель Александр Чаковский.

— За что?

— Я опубликовал на шестнадцатой странице рассказ одного одесского парня, который к тому времени уехал в Израиль. Шел суровый 1977 год развитого социализма. Против меня возникло крупное негодование, я впал в большую немилость, и пришлось подать в отставку. Это случилось в дни всенародного празднования шестидесятилетия самого демократического в мире государства.

Кстати, через два года такое же негодование возникло и против меня, и целого ряда других писателей со стороны секретариата СП СССР. А там тоже были члены ЦК КПСС и даже дважды Герои Социалистического Труда.

— Что же вы натворили?

— Был составлен литературный альманах под названием «Метрополь», где в числе других были и мои рассказы. Альманах опубликовали за границей. Ну тут и началось! Некоторое время нас вообще не печатали, а Василию Павловичу Аксенову даже указали на дверь, ведущую в город Вашингтон. Заодно лишили и гражданства. Сейчас с улыбкой вспоминается все это, а тогда, признаться, было не до смеха.

— Все равно, Михалыч, я помню, нас не покидало чувство юмора. Оно спасало, спасает и спасать будет в трудную минуту. Согласен?

— Разумеется. Не будь этого чувства, человечество давно повесилось бы. Оно необходимо каждому человеку, а в творчестве без него просто нечего делать. Взгля-

нуть на себя со стороны, поместить свое «я» в конкретную ситуацию и посмотреть на себя опять же извне сквозь призму юмора — вот что я иногда подразумеваю под самоиронией. Один известнейший поэт, пусть он останется инкогнито, любит мыть посуду. Он объясняет так: «Когда очень сильно хвалят мои стихи, и от пения дифирамбов в мой адрес я начинаю надуваться, то сразу отправляюсь на кухню мыть посуду. Во-первых, посуда становится чистой, во-вторых, я чувствую себя обыкновенным нормальным человеком, который очень хорошо моет посуду». Думаю, при таком отношении к себе, к славе он никогда не забронзовеет и свое собственное «я» в монументализм не возведет.

— *А все-таки немножко тщеславия писателю не помешало бы?*

— Я бы это назвал вполне пристойной профессиональной амбицией. Желательно только, чтобы она была обеспечена хоть каким-то творческим капиталом. Иначе совсем плохо. У писателя могут тогда появиться две неизлечимые болезни: комплекс неполноценности и антисемитизм. И тогда ему вечная «Память». Это я говорю как врач.

— *Эта наша большая беседа была задумана, чтобы дать читателю этой книги какое-то представление об ее авторе, о круге его интересов, его вкусах, мироощущении. Есть ли у тебя ощущение, что ты сказал о себе все или почти все? Хотелось бы тебе что-нибудь добавить в своем последнем слове, дабы беззащитный читатель по возможности еще лучше бы тебя узнал? Не хотелось бы тебе на прощание поделиться с ним чем-то очень личным, я бы даже сказал, интимным?*

— Мне действительно кажется, что я сказал о себе почти все. Читатель узнал, где я родился, когда и зачем. Ну если хочешь, могу добавить очень личное: мой паспорт серии XIII—МЮ номер 694124, выдан 108-м отделением милиции города Москвы 6 мая 1978 года. Спасибо всем, кто не только купил эту книгу, но и прочитал ее...

Пытал Резников, Виталий.

ИЮНЬ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

1990

ИЮЛЬ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

АВГУСТ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

СЕНТЯБРЬ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ОКТАБРЬ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

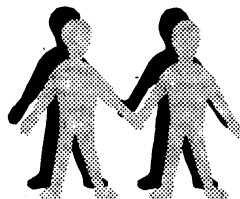
НОЯБРЬ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ДЕКАБРЬ

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1991



ЯНВАРЬ

ПН.	ВТ.	СР.	ЧТ.	ПТ.	СБ.	ВС.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ФЕВРАЛЬ

ПН.	ВТ.	СР.	ЧТ.	ПТ.	СБ.	ВС.
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

МАРТ

ПН.	ВТ.	СР.	ЧТ.	ПТ.	СБ.	ВС.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

АПРЕЛЬ

ПН.	ВТ.	СР.	ЧТ.	ПТ.	СБ.	ВС.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

МАЙ

ПН.	ВТ.	СР.	ЧТ.	ПТ.	СБ.	ВС.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ИЮНЬ

ПН.	ВТ.	СР.	ЧТ.	ПТ.	СБ.	ВС.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9

- 1 января — *Новогодний праздник*
- 8 марта — *Международный женский день*
- 1 мая — *День международной солидарности трудящихся*
- 9 мая — *День Победы*
- 7 июня — *День рождения Аркадия Михайловича Арканова*
- 7 октября — *День Конституции*
- 7 ноября — *Праздник Великого Октября*





**Из жизни
замечательных
людей**

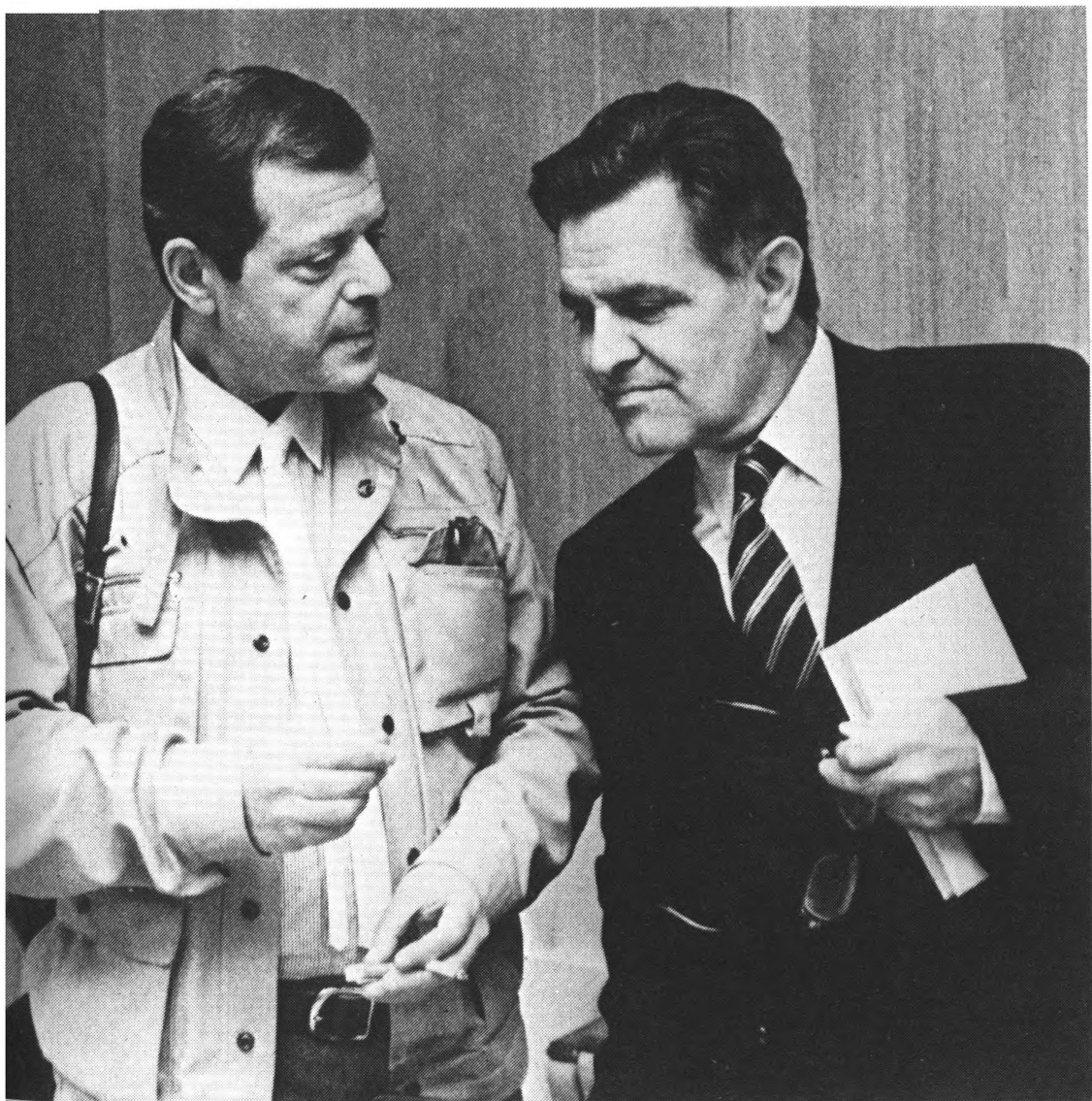


Соло для дуэта. Г. Горин. начало 60-х.



■ Владимир Семенович Высоцкий.

■ Фазиль Абдуллович Искандер.



КЛУБ
12 СТУЛЬЕВ

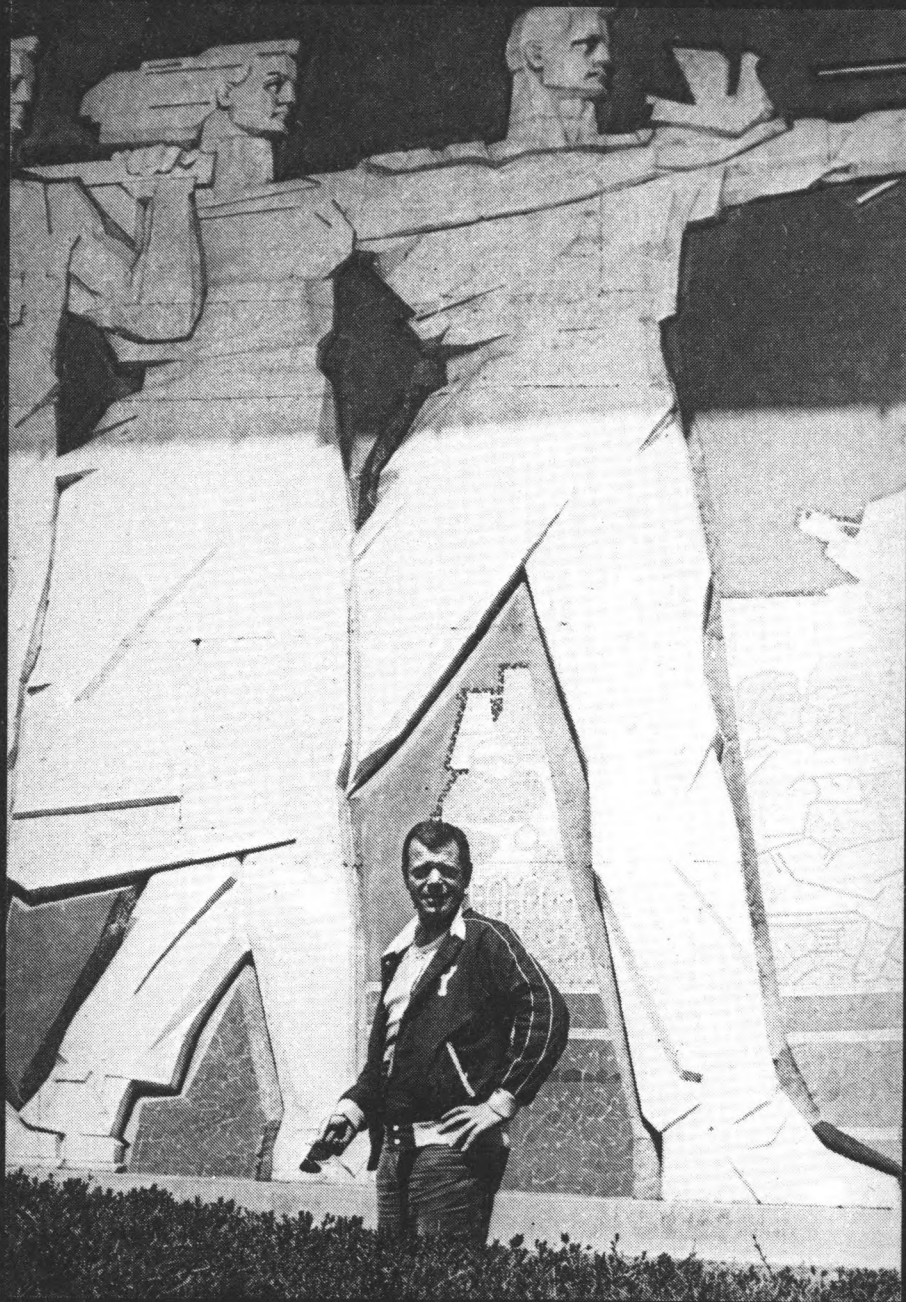




🎬 Аркадий Исаакович и Константин Аркадьевич.







У подножия социализма.

Хазанова я люблю давно.

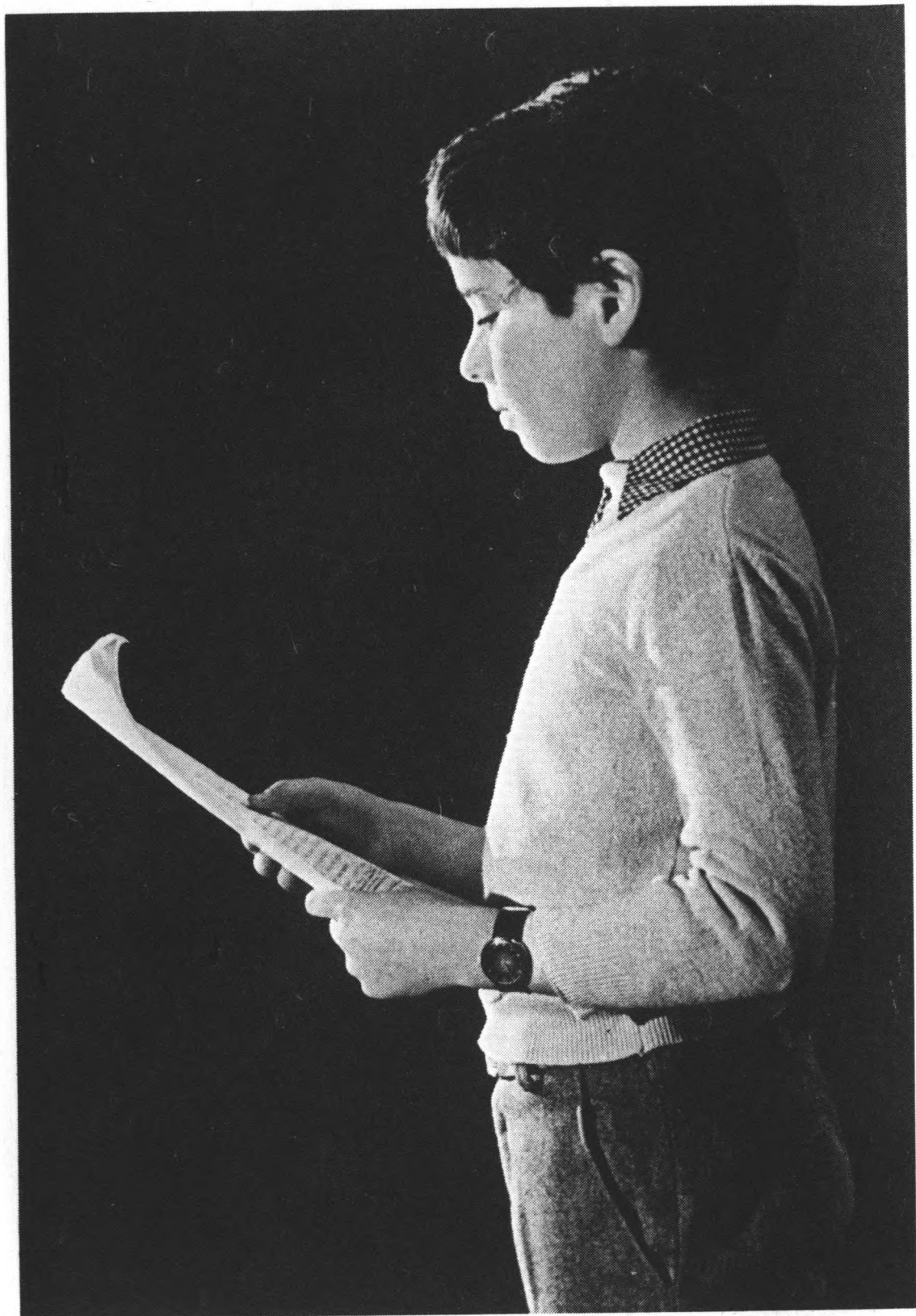






🎬 Война и мир. Ширвиндт, Державин.

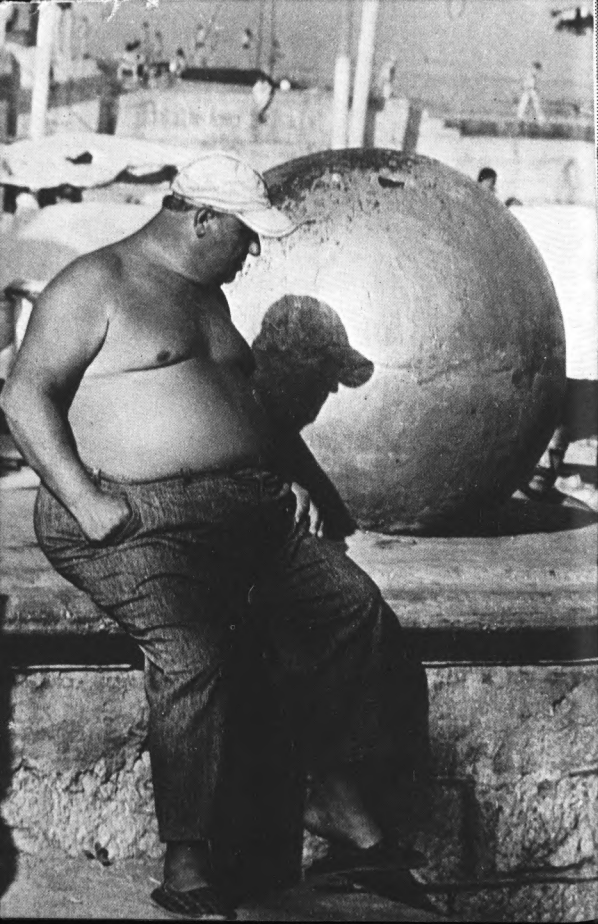




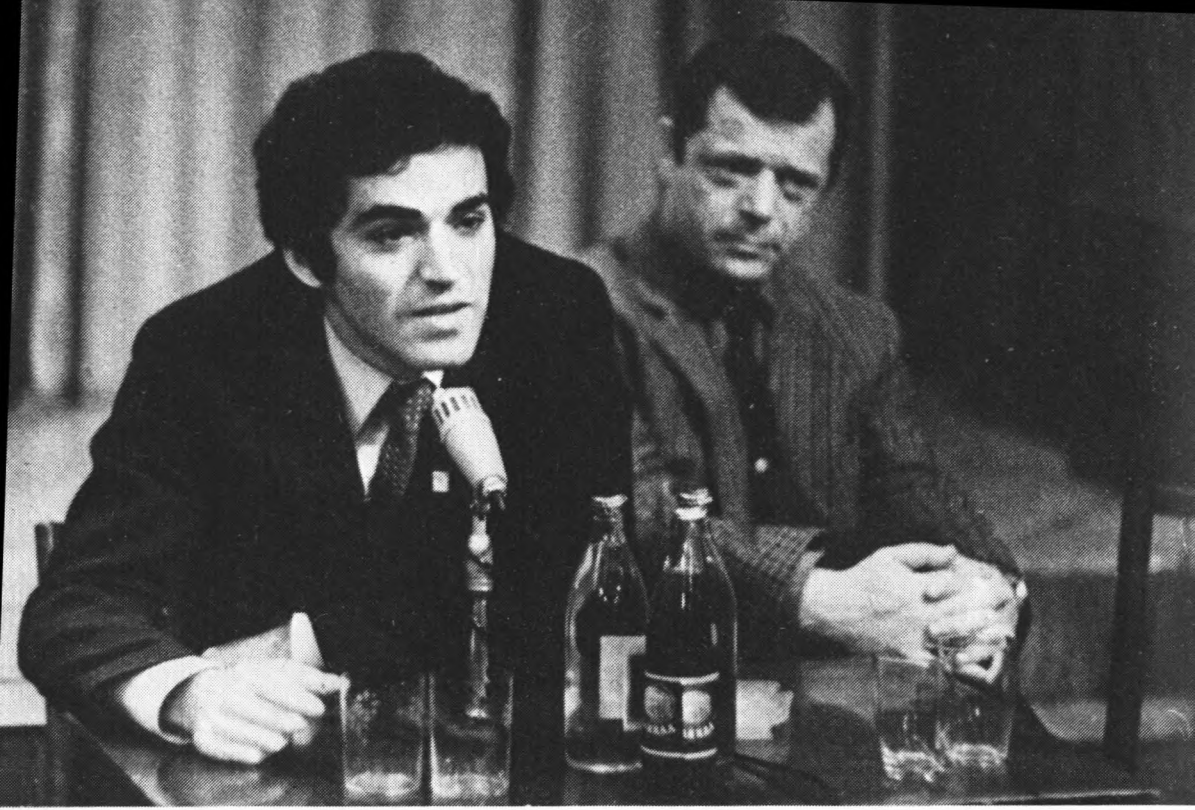
■ Сын за отца не отвечает.



■ Это было, было...



Встреча с читателем.



Короли и капуста. Карпов, Каспаров...







🎬 Во времена «сухого» закона. В роли Куравлева — Л. Куравлев.

🎬 Будущий министр культуры Латвии.





■ Михаил Жванецкий.

■ Сколько время? Два еврея...



Пенсионер из г. Донецка

Президент из г. Вашингтона.



Спасибо за всё!



«ВСЁ» — книга избранных произведений писателя Аркадия Михайловича Арканова, в которую вошли рассказы, повесть и пьеса, созданные им в разные годы. Многие вещи публикуются впервые, ибо ранее не проходили в печать по цензурным соображениям. Аркадий Арканов долгое время был в глазах читателей только сатириком. В книге «ВСЁ» автор неожиданно предстает художником глубоких философских размышлений и проникновенного лиризма, не исключая иронии, сарказма и, конечно же, юмора.

ВСЁ

**Аркадий
Михайлович
Арканов**

Редактор-составитель
А. П. Ткаченко

Оформление книги художника
С. Ю. Веретенникова

Художественный редактор
А. И. Курин

Технический редактор
Е. А. Зверева

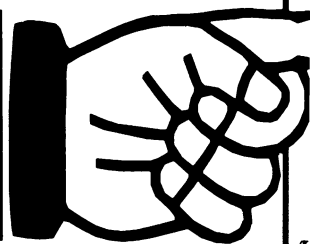
Сдано в набор 01.03.90. Подписано к печати 01.06.90. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага типографская. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,00. Усл. кр.-отт. 31,4. Уч.-изд. л. 33,6. Тираж 200 000 экз.
(2-й завод 50 001—120 000 экз.). Заказ № 413. Цена 8 руб.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125 865, ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

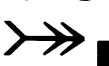
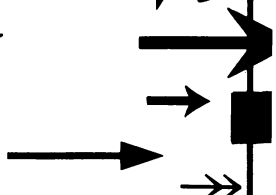
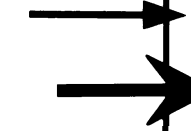
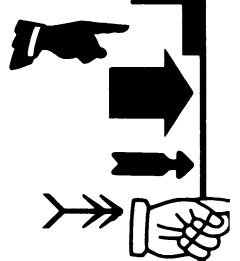
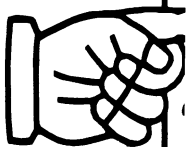
Отпечатано на Калининском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата
РСФСР. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

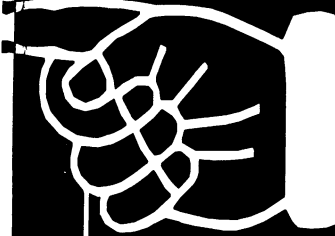
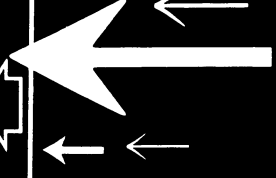


АРКАДИЙ

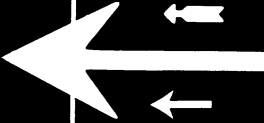


АРКАДИЙ





АРКАНОВ



АРКАНОВ



BCG



ИНТЕРВ
ИНТЕРВ

